ПРОСПЕР МЕРИМЕ

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

НОВЕЛЛЫ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Сампер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

НОВЕЛЛЫ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

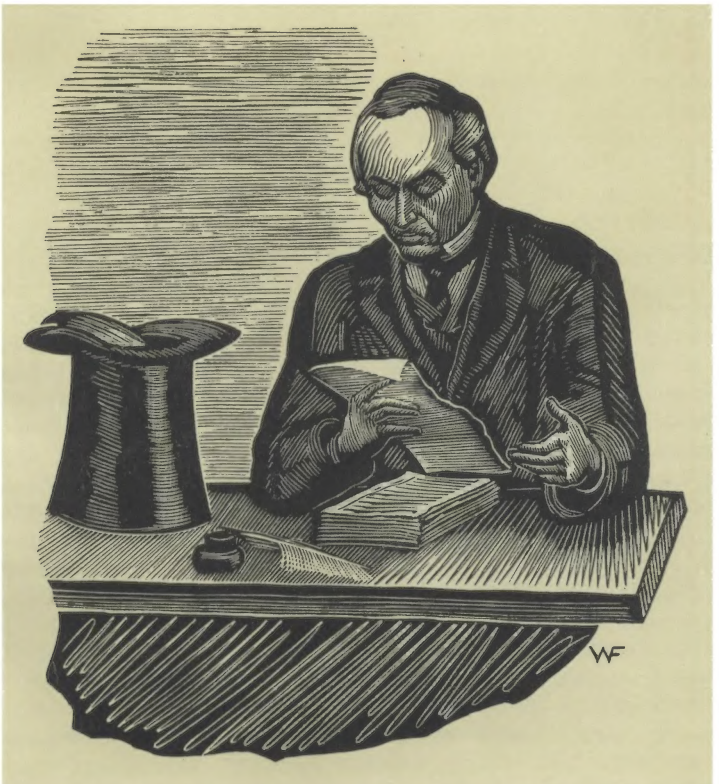
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1968

Вступительная статья
Ю. Виппера

И (Фр)
М 52

Иллюстрации
С. Бродского и А. Гончарова

7-3-4
Подп. изд.


WF

ПРОСПЕР МЕРИМЕ — РОМАНИСТ И НОВЕЛЛИСТ

Проспер Мериме (1803—1870) — один из замечательных французских критических реалистов XIX века, блестящий драматург и мастер художественной прозы. Мериме, в отличие от Стендаля и Бальзака, не становился властителем дум целых поколений; воздействие, оказанное им на духовную жизнь Франции, было менее широким и мощным. Однако эстетическое значение его творчества огромно. Созданные им произведения неувядаемы: столь глубоко воплощена в них жизненная правда, столь совершенна их форма.

Писатель прошел длинный и сложный творческий путь. Как художник он завоевал известность и признание раньше Стендаля и Бальзака, в годы, когда романтики еще только поднимались на штурм твердыни классицизма, а литература критического реализма давала первые ростки. Последняя же новелла Мериме — «Локис» — увидела свет в 1869 году, за два года до событий Коммуны, одновременно с «Воспитанием чувств» Флобера и сборником стихотворений Верлена «Галантные празднества». К этому времени критический реализм успел перейти на новую ступень развития по сравнению с первой половиной столетия, уже вырисовывались очертания возникающего натуралистического течения, все ощутимее давали о себе знать в художественной культуре буржуазной Франции симптомы зреющего декаданса.

Внутренний облик Мериме, присущие его мироощущению противоречия, особенности его художественной манеры невозможно постичь, не учитывая своеобразия пережитой им эволюции. Художественное развитие Мериме оказалось теснейшим образом связанным с ходом общественной жизни страны. Его основные вехи в целом совпадают с переломными, ключевыми моментами истории Франции, и прежде всего — с революциями 1830 и 1848 годов.

Юный Проспер Мериме не знал тех резких конфликтов, того упорного сопротивления семейной среде, которыми было отмечено детство Стендаля и которые рано взрастили в душе будущего создателя «Красного и черного» семена бунтарства. Выдающийся французский новеллист и драматург вырос в семье, где его с детства окружала атмосфера размеренного уюта и любви к искусству. Его отец был довольно известным живописцем, впоследствии секретарем Школы изящных искусств. Мать писателя была женщиной весьма образованной, горячей поклонницей просветительской культуры. Именно под ее влиянием Мериме впитал вольтерьянские традиции, и в первую очередь — жгучую антипатию к церкви.

Интерес к самостоятельному литературному творчеству стал проявляться у Мериме еще в начале 20-х годов, в студенческую пору (в 1823 г. он окончил юридический факультет Парижского университета). Первоначально эстетические пристрастия Мериме носили исключительно романтический характер. Он с упоением читал Байрона, начал переводить «Песни Осспана». Однако решающую роль в становлении творческого облика Мериме (хотя сам он впоследствии и пытался преуменьшить значение этого воздействия) сыграло, бесспорно, знакомство в 1822 году со Стендалем, к тому времени человеком уже совершенно сложившимся, человеком незаурядного жизненного и литературного опыта.

Стендаль увлек Мериме боевым духом своих политических убеждений, непримиримостью вражды к режиму Реставрации. Именно он, знакомя Мериме с учением Гельвеция и Кондильяка, с идеями их ученика Кабаниса, и направил по материалистическому руслу эстетическую мысль будущего автора предисловия к «Хронике царствования Карла IX». Многое почерпнул Мериме-драматург из художественной программы, выдвинутой Стендалем в литературном манифесте «Расин и Шекспир».

Вскоре после знакомства со Стендалем и начинается самостоятельная литературная деятельность Мериме. Впервые, однако, широкую известность Мериме завоевал в 1825 году, опубликовав сборник пьес «Театр Клары Газуль». Выход в свет этого произведения был связан с дерзкой и вызвавшей немало толков мистификацией. Мериме выдал свой сборник за сочинение некоей — вымышленной им — испанской актрисы и общественной деятельницы Клары Газуль. Для вящей убедительности он выдумал преисполненную боевого духа биографию Клары Газуль и предпослал ее сборнику. Мериме, очевидно, не желал афишировать себя как автора книги ввиду политической остроты ее содержания и строгости королевской цензуры (впрочем, в литературных кругах имя создателя «Театра Клары Газуль» ни для кого не было секретом). Но, в первую очередь, пожалуй, сказалось другое: врожденный вкус

молодого, озорно настроенного литератора к розыгрышам и подделкам и естественное стремление продолжить ту линию стилизации, которая пробивалась наружу в отдельных пьесах сборника.

«Театр Клары Газуль» — чрезвычайно самобытное явление во французской драматургии 20-х годов XIX века. Пьесы Мериме, пронизанные симпатией к освободительному движению испанского народа, звучали задорно, дышали оптимистической верой в неизбежность победы прогрессивного начала. Произведение начинающего писателя было вместе с тем одной из самых ранних и наиболее решительных попыток низвергнуть иго окостеневших в своем догматизме эпигонов классицизма, которые господствовали в то время на французской сцене.

Современников Мериме, привыкших к пространным рассуждениям и растянутым, выспренним монологам драматургов-классицистов, поражало в пьесах Мериме стремительное развитие действия, непрерывное чередование кратких выразительных сцен, полное игнорирование правил о трех единствах, неожиданные и резкие переходы от сатирических эпизодов к пассажам, насыщенным высокой патетикой и трагизмом.

Следующее произведение Мериме, названное им «Гюзла» («Гусли»), было вновь связано с литературной мистификацией. Первое издание «Гюзлы» (1827) состояло из двадцати девяти баллад в прозе, сочиненных самим Мериме и воспевавших величие и героизм народа, который напрягал свои силы в беззаветной борьбе за свободу против иноземных поработителей. Добавив к ним поэму, представляющую собой перевод сербской народной песни, Мериме объявил свою книгу сборником произведений сербского фольклора. Мистификация Мериме увенчалась блестящим успехом. Пушкин и Мицкевич приняли стихи «Гюзлы» за творения славянской народной поэзии и сочли возможным некоторые из них переложить на родной язык (Мицкевич перевел балладу «Морлак в Венеции», а Пушкин включил в свои «Песни западных славян» переработку одиннадцати поэм «Гюзлы»).

В 1828 году типография, принадлежавшая тогда Оноре де Бальзаку, отпечатала героическую драму Мериме «Жакерия», посвященную бурным событиям далекого XIV века.

Завершает первый период литературной деятельности Проспера Мериме его исторический роман «Хроника царствования Карла IX» (1829) — своеобразный итог идейных и художественных исканий писателя в эти годы.

В период Реставрации (1815—1830), когда к власти вновь вернулась свергнутая народом в годы революции династия Бурбонов, творчество Мериме отличалось политически воинствующим характером, было пронизано злободневной проблематикой. Оно заключало в себе резкое разоблачение феодальных порядков, власти церковников

и дворян, осуждение шовинизма и религиозного фанатизма. Мериме был убежденным сторонником лагеря либералов, враждебно настроенного по отношению к режиму Реставрации. Однако идейное звучание произведений молодого писателя выходило за рамки общественных устремлений и идеологических воззрений, типичных для французских либералов тех лет. Мериме-художник с годами все сильнее тяготел к реалистическому отражению конфликтов окружающей социально-политической действительности.

Проспер Мериме в начале своего творческого пути, как уже отмечалось, примыкал к романтическому движению. В отдельных пьесах «Театра Клары Газуль» и в «Гюзле» много черт, обязанных своим происхождением романтической музе. Однако уже вскоре (в том же «Театре Клары Газуль» — например, в дилогии «Инес Мендо») со всей очевидностью стало выявляться своеобразие эстетических позиций Мериме, их отличие от художественных устремлений романтиков.

Влияние романтической эстетики долго продолжало сказываться в произведениях писателя: оно ощутимо еще в новеллах начала 30-х годов. Но постепенно литературная деятельность Мериме принимала все более отчетливо выраженный реалистический характер. Наглядное воплощение этой тенденции мы находим в «Хронике царствования Карла IX».

Драма «Жакерия» и роман «Хроника царствования Карла IX» Мериме — яркие примеры того живого интереса к исторической проблематике, к изучению и осмыслению национального прошлого, который охватил передовую общественную и художественную мысль Франции в 20-х и в начале 30-х годов XIX столетия. В годы ожесточенной борьбы за свержение режима Реставрации мощный расцвет переживает французская историческая наука, выдвигающая плеяду таких блестящих имен, как Тьерри, Гизо, Минье, Мишле, Кине. Этот период — своеобразная вершина и в развитии исторического жанра в литературе. Его расцвет был предвосхищен и подготовлен творческой мыслью Стендаля, автора «Расина и Шекспира». Он принес затем богатейшие плоды в области исторического романа и исторической драмы. В этой связи, наряду с произведениями Мериме, достаточно вспомнить пьесу А. Дюма «Генрих III и его двор», «Кромвеля» и «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, «Сен-Мара» и «Жену маршала д'Анкр» Альфреда де Виньи, «Шуанов» Бальзака.

В «Хронике царствования Карла IX» («Chronique du règne de Charles IX»), как и в «Жакерии», Мериме обратился к изображению значительных, переломных по своему характеру общественных потрясений. Действие его романа протекает в годы религиозных и гражданских войн, охвативших Францию во второй половине XVI века. Кульминационный момент в развитии этого действия — Варфоломеевская

ночь, страшная резня гугенотов, учиненная католиками. Выбор темы был и в данном случае внутренне связан с острыми, волнующими проблемами современности. Толчком для возникновения замысла «Жакерии» послужила освободительная борьба народных масс в годы господства режима Реставрации. В «Хронике» же Мериме изображает общественную смуту, развязанную правящей верхушкой. Эта тема звучала не менее злободневно во Франции конца 20-х годов XIX века. Ведь близкие к правительству круги дворянской реакции собирались насильственно изменить конституцию и подготавливали восстановление абсолютистской диктатуры (художественное преломление этих зловещих политических тенденций мы находим также в «Красном и черном» Стендаля, в эпизодах заговора маркиза де ла Моля). У всех в памяти были еще свежи и воспоминания о страшных днях белого террора, сопутствовавшего возвращению Бурбонов к власти.

Однако было бы заблуждением искать в «Хронике» прямолинейных аналогий между политической борьбой эпохи Реставрации и исторической действительностью XVI столетия. Осмысляя события далекого прошлого, Мериме не подгонял их под современность, а искал в них ключ к закономерностям интересовавшей его эпохи, а тем самым и к открытию более широких исторических обобщений.

Об историзме Мериме-художника, о его стремлении к объективному, непредвзятому изображению явлений прошлого наглядно говорит, прежде всего, его предисловие к роману — один из примечательных эстетических документов в истории становления реалистической литературы Франции. Здесь Мериме в какой-то мере полемизировал с концепцией исторического романа, выдвинутой романтиками, и, в частности, с литературными воззрениями Альфреда де Виньи, автора «Сен-Мара». Романтический подход к толкованию истории представлялся Проспперу Мериме чрезмерно произвольным и упрощенно тенденциозным. «Вот почему я убежден,-- пишет он, излагая свои взгляды,— что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX». Мериме требует, чтобы критерий для оценки изображаемых событий писатель искал прежде всего в обстоятельствах исторического порядка: изучая уровень нравственных представлений эпохи, национальные особенности страны.

Писатель осмеивает также склонность романтиков выдвигать на первый план выдающиеся исторические личности, тщательно описывать их поведение, строить догадки относительно глубокомысленных изречений, высказываемых ими в решающие исторические минуты (в этом отношении особенно примечателен остроумный «Разговор между читателем и автором», составляющий восьмую главу). По мысли Мериме, такие попытки ведут только к фальши, к нагро-

мождению домыслов. Истинные причины исторических сдвигов надо искать в нравственной жизни страны в целом, в умонастроениях различных социальных слоев общества. Вот почему Мериме в «Хронике» детально описывает нравы придворного дворянства, представителей католической церкви, верхушку гугенотского лагеря и его священнослужителей, повадки немецких рейтаров, судьбу мелких буржуа, образ мысли простых солдат. Но мы не найдем в «Хронике» ни Екатерины Медичи, ни Гизов, ни целого ряда других крупнейших политических фигур того времени. Писатель только мельком упоминает будущего Генриха IV и в своеобразном, смело взятом ракурсе, в момент, когда король как бы застигнут врасплох, изображает Карла IX.

Для Мериме многотомные сочинения профессиональных историков имеют гораздо меньшую ценность, чем воспоминания и записки очевидцев, рядовых людей, непосредственно воспроизводящих картину нравов и характеров данной эпохи. «Я с удовольствием отдал бы Фукидида,— признается Мериме,— за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение *человека,* а меня это главным образом занимает и интересует». Здесь сказывается отнюдь не пристрастие к так называемой «малой» истории, к историческим анекдотам и курьезам, в котором нередко обвиняли писателя, а только жажда достоверности, жизненной правды, не прикрашенной и не преображенной в свете умозрительных схем.

Руководствуясь такой точкой зрения, Мериме и осмысляет события гражданской войны XVI века. Варфоломеевская ночь для него — это своего рода государственный переворот, осуществленный сверху, но государственный переворот, ставший возможным лишь благодаря тому, что он был поддержан широкими кругами рядовых французов. Что же побудило их решиться на жестокое избиение гугенотов? Истинные корни Варфоломеевской ночи заключаются для Мериме не в коварстве и безжалостности отдельных представителей правящих кругов Франции XVI века, не в чудовищной аморальности и преступности Карла IX, Екатерины Медичи или Генриха Гиза. Основная вина за совершившееся кровопролитие, за братоубийственную смуту, принесшую Франции неисчислимые бедствия и поставившую ее на грань национальной катастрофы, падает на религию и ее фанатических служителей, которые разжигают в народе предрассудки и изуверские инстинкты. В этом отношении для Мериме нет никакого различия между благословляющими человеческую бойню католическими священниками и обезумевшими от ненависти, исступленными протестантскими патерами. «Хроника царствования Карла IX» — одно из наиболее глубоких проявлений страстного антиклерикализма Мериме.

Нетерпимость, насаждаемая церковью, находит особенно благодарную почву в дворянской среде — этом скопище воинственных рубак, готовых по любому поводу хвататься за оружие. Варфоломеевская ночь, как показывает Мериме, была порождена не одним лишь религиозным фанатизмом, но одновременно и язвами, разъедавшими дворянское общество.

Однако дворянство XVI века — не только кружки циничных прожигателей жизни и отряды отчаянных головорезов. Это не только толпа придворной знати, развращенной бездельем и властью. Дворянство выдвигает из своей среды и благороднейших людей эпохи. Они мечтают о прекращении братоубийственной гражданской междоусобицы, об установлении в стране мира и единства, о победе принципов веротерпимости и свободы совести. Таковы, например, взгляды командующего гугенотской крепостью Ла-Рошель военачальника Лану.

К лучшим, наиболее сознательным представителям французского дворянства второй половины XVI века принадлежат и главные действующие лица романа, братья Бернар и Жорж де Мержи. В соответствии со своими эстетическими воззрениями Мериме выдвигает в качестве героев повествования не знаменитых исторических деятелей, а рядовых людей. Братья де Мержи — выходцы из кругов бедного провинциального дворянства. Бернар и Жорж глубоко привязаны друг к другу, но им суждено оказаться в противоположных, враждебных общественных лагерях. Таким образом, уже с самого начала жестокий общественный конфликт эпохи придает трагический оттенок личной судьбе героев.

В этой связи следует отметить и еще один момент. Контрастное противопоставление двух образов, внутренне между собой связанных и как бы родственных, но своеобразно «расщепленных», возникает в «Хронике царствования Карла IX» не случайно. Оно характерно для художественных замыслов Мериме в конце 20-х годов. Мы встречаем этот мотив и раньше, в «Жакерии». Между двумя главными действующими лицами исторической драмы — латником Пьером и монахом братом Жаном — существуют тесные узы духовной общности (Пьер — воспитанник и друг брата Жана). Много сходного и в их общественной судьбе: эти незаурядные, талантливые люди — жертвы сословного неравенства. Однако жизненные пути их, в конце концов, расходятся в диаметрально противоположных направлениях.

По замыслу автора, основным героем романа должен был стать младший из братьев де Мержи — Бернар. История его любви к Диане де Тюржи занимает существенное место в сюжетной канве «Хроники царствования Карла IX». Рассказ о приключениях, пережитых неопытным провинциальным дворянином на пути в столицу, потом в самом Париже, а затем во время бегства в Ла-Рошель, и позволяет Мериме

нарисовать яркие картины французского общества XVI века. Юный гугенот — натура чистая и цельная. Несмотря на все испытания, соблазны и опасности, он остается верным своим унаследованным от отцов убеждениям и своему делу. Однако само дело, которому он так преданно и ревностно служит, несет на себе печать религиозного фанатизма и исторической ограниченности.

Старший брат Бернара, Жорж — натура интеллектуально более сложная. Если Бернар — это прежде всего человек действия, то Жорж — человек мысли. Упорные размышления привели его к выводу, что всякая религия есть заблуждение, сделали его атеистом. Жорж стал последователем возрожденческого вольномыслия. Его настольная книга — преисполненный бунтарского духа народный роман Рабле. Он тонкий ценитель искусства, влюбленный в чувственную красоту мира эпикуреец. Жорж поглощен непрестанными поисками истины. Его образ дан писателем в перспективе сложного внутреннего развития и только в свете этого развития может быть понят.

Разочарование фанатической одержимостью гугенотов и личные обиды, нанесенные ему вождями партии, побудили Жоржа перейти на сторону католиков и принять их вероисповедание. Ему казалось к тому же, что таким образом он сможет лучше оградить свою внутреннюю свободу: католическая церковь требует по преимуществу соблюдения внешней обрядности и не особенно вмешивается в личную жизнь своих приверженцев. Жорж не может, однако, примириться с совершенным им поступком: ведь в его поведении существенную роль сыграли мотивы эгоистического порядка. Однако дальнейший ход событий выявляет присущую его натуре принципиальность. Жорж де Мержи отвергает преступные поручения, с которыми к нему обращается король Карл IX. В страшную Варфоломеевскую ночь он отказывается принимать участие в кровавой резне и с оружием в руках обрушивается на убийц, расстреливающих беззащитную женщину с ребенком. Его бросают в тюрьму. Выйдя на свободу, он дает себе слово не вынимать больше шпаги из ножен и не участвовать в религиозной смуте, ибо он достаточно убедился в ее пагубности и в изуверстве обеих сторон.

Как развивались бы дальше искания Жоржа, этого опередившего свое время гуманиста-одиночки, мы не знаем. Под стенами Ла-Рошели Бернар вовремя не опознает брата, и тот гибнет, сраженный пулей. Сцена кончины Жоржа, преисполненная стоического величия и мужества, заключает действие романа. Развитие сюжета на ней обрывается. Повествование о дальнейших судьбах персонажей уже не интересует автора, так как оно — Мериме в этом убежден — не может обогатить ничем принципиально новым идейный смысл его произведения. В брато-

убийстве, совершаемом главным героем, бесчеловечность и жестокость гражданской междоусобицы, развязанной от имени религии и церкви правящими кругами страны, находит свое предельное, почти символическое по своему звучанию, выражение.

Трагический конец «Хроники» вносит новые акценты в авторское отношение к обоим героям. Если на протяжении ряда глав фигура Жоржа находилась в тени, была заслонена более цельным, мажорным и вместе с тем прямолинейным образом Бернара, то в заключительных частях романа она (вероятно, в разрез с первоначальным замыслом) выдвигается на первый план. Возможно, что в ходе работы над «Хроникой» этот персонаж объективно оказался более близким духовному складу самого Мериме.

«Хроника царствования Карла IX» — произведение, свидетельствующее об абсолютной зрелости художественного мастерства писателя. В нем достигнуто поразительное соответствие формы и идейного содержания. Художественные приемы Мериме определяются в конечном итоге концепцией произведения: стремлением всесторонне и объективно охарактеризовать общественную атмосферу, господствовавшую в стране в годы религиозных войн, выдвинуть на первый план изображение нравов и настроений рядовых людей.

Такой подход обусловил особенности композиции романа, близость ее жанру исторической хроники (эта черта не случайно выделена автором в заглавии произведения). В романе Мериме отсутствует единый, резко выраженный сюжетный стержень, автор издалека и исподволь подводит читателя к кульминационному моменту — описанию Варфоломеевской ночи, постоянно переносит действие из одного места в другое, отдельные главки романа как бы обособляются, приобретают характер небольшого законченного целого. Композиция «Хроники» к тому же очень динамична. Быстрая смена эпизодов, стремительный темп повествования способствуют созданию атмосферы напряженной и ожесточенной борьбы противодействующих сил, горячего накала страстей.

В работе над своим романом Мериме использовал большой драматургический опыт, который он накопил в течение предшествующих лет. Писатель стремится быть предельно лаконичным, избегает присущих романтикам пространных описаний и лирических отступлений. Рисуя внешний облик своих персонажей, он строит эту характеристику, как правило, на основе какой-то одной особенно выразительной художественной детали. Подобный прием позволяет ему создать целую галерею запоминающихся фигур, составляющих тот пестрый и живой бытовой и исторический фон эпохи, на котором более рельефно выступают фигуры основных протагонистов романа, скупо, но четко и изящно очерченные.

* * *

«Хроника царствования Карла IX» завершает первый этап литературной деятельности Мериме. Существенные изменения в жизни писателя вызывает Июльская революция. В годы Реставрации правительство Бурбонов пыталось привлечь Мериме к государственной службе, однако эти попытки остались тщетными. После Июльской революции Мериме, Стендаль и целый ряд других близких к либеральному лагерю писателей сочли, что препятствия, мешавшие им применить свою энергию на государственном поприще, уничтожены (иную позицию, как известно, занимал Беранже; и при господстве конституционной буржуазной монархии Луи-Филиппа он, по соображениям принципиального порядка, не пожелал занимать никаких официальных постов). В феврале 1831 года (за месяц до того, как Стендаль был назначен консулом в Чивита-Веккью) влиятельные друзья выхлопотали для Мериме место заведующего канцелярией министра морских дел. Затем он перешел в министерство торговли и общественных работ, а оттуда в министерство внутренних дел и культа. Мериме аккуратнейшим образом выполнял свои обязанности чиновника, но они его очень тяготили. Нравы правящей среды его отталкивали и возмущали. В письмах к Стендалю он не говорит о ее представителях иначе как с презрением, подчеркивает их «отвратительную низость», называет их «сволочью», а депутатов парламента — «животными». Состоя на службе у правительства Луи-Филиппа, Мериме одновременно ясно отдавал себе отчет в антинародном характере существующего порядка. В одном из своих писем он определил Июльскую монархию как «...господство 459 бакалейщиков, каждый из которых думает лишь о своих частных интересах». Характерно, что в течение первых трех лет административной службы Мериме совершенно отходит от художественного творчества. Он пытается найти отдушину в светских развлечениях, но и это времяпрепровождение не излечивает его от внутренней тоски. Именно в эти годы окончательно кристаллизуется внутренний облик Мериме. Маска холодного, язвительного скептика и невозмутимого денди служит ему защитой: под ней он скрывает чувствительное сердце, отзывчивую и ранимую душу.

Определенный просвет наступает в 1834 году, когда Мериме назначают главным инспектором исторических памятников Франции. Занимая почти в течение двадцати лет эту должность, Мериме сыграл заметную и почетную роль в истории художественной культуры страны. Ему удалось спасти от разрушения и порчи много прекрасных памятников старины, церквей, скульптур, фресок. Своей деятельностью он способствовал развитию интереса к романскому и готическому искусству и его научному изучению. Служебные обязанности побуждали Мериме совершать неоднократно длительные поездки по стране. Плодом их

явились книги, в которых Мериме объединял описания и анализ изученных им памятников, перемежая эти научные материалы путевыми зарисовками («Заметки о поездке на юг Франции» и др.). Мериме написал за эти годы и целый ряд специальных археологических и искусствоведческих трудов (например, о средневековой архитектуре, стенной живописи и т. д.). Наконец он стал заниматься и чисто историческими исследованиями (наиболее значительные из них посвящены истории Рима).

Начиная с 1829 года, когда вышла в свет «Хроника царствования Карла IX», серьезные изменения происходят и в творческом развитии писателя. В годы Реставрации Мериме увлекался изображением больших общественных катаклизмов, воспроизведением широких социальных полотен, разработкой исторических сюжетов, его внимание привлекали крупные монументальные жанры. В своих художественных произведениях 30—40-х годов он, за редкими исключениями, непосредственно не затрагивает политической проблематики, углубляясь в изображение конфликтов этических, внутренних и вместе с тем уделяя большее внимание тематике современной, чем исторической. Теперь Мериме-художник отходит от романа и почти не занимается драматургией, сосредоточивая свой интерес преимущественно на малой повествовательной форме — новелле, и достигая в этой области выдающихся творческих результатов.

Критические и гуманистические тенденции находят в новеллистике Мериме столь же яркое воплощение, как и в его предшествующих произведениях, но они меняют свою направленность. После Июльской революции противоречия, порождаемые буржуазными отношениями, становятся ведущими во французской действительности. Эти общественные сдвиги отражаются в творчестве писателя, и прежде всего в проблематике его произведений. Внутренний идейный пафос его новеллистики — в изображении буржуазных условий существования как силы, нивелирующей человеческую индивидуальность, воспитывающей у людей мелкие, низменные интересы, насаждающей лицемерие и эгоизм, враждебной формированию людей цельных и сильных, способных на всепоглощающие, бескорыстные чувства. Охват действительности сужался в новеллах Мериме, но писатель глубже — по сравнению с произведениями 20-х годов — проникал во внутренний мир человека, реалистически более последовательно показывал обусловленность его характера внешней средой.

После творчески плодовитого 1829 года художественная деятельность Мериме развивается в дальнейшем менее бурно. Он теперь не столь активно участвует в повседневной литературной жизни, реже публикует свои произведения, подолгу их вынашивая, кропотливо отделывая их форму, добиваясь ее предельной чеканности и простоты.

В работе над новеллами художественное мастерство писателя достигает особенной отточенности и совершенства.

Новеллы Мериме пронизывает несколько ведущих тем. Они содержат в себе, в первую очередь, принципиальное и резкое разоблачение нравов господствующего общества. Эти критические тенденции, весьма многообразные по своим формам, отчетливо выявились уже в первых новеллистических опытах писателя, относящихся к 1829—1830 годам и вошедших впоследствии в сборник «Мозаика» (1833).

В новелле «Таманго» (1829) Мериме с язвительной иронией рисует образ типичного представителя лицемерной и бездушной буржуазной цивилизации, работорговца капитана Леду. Капитану Леду и его помощникам противостоят в новелле негритянский вождь Таманго и его соплеменники. Выступая против колонизаторской деятельности белых и угнетения негров, Мериме подхватывал тему, распространенную в передовой французской литературе 20-х годов. Так, большой популярностью пользовался в эти годы роман Гюго «Бюг-Жаргаль» (второй его вариант был напечатан в 1826 г.). В отличие от Гюго, который именно тогда прокладывал пути романтизму, Мериме не создавал идеализированного и приподнятого над действительностью образа вождя чернокожих. Он подчеркивал первобытность и дикость своего героя. Таманго, как и другие негры, невежествен, подвержен темным суевериям, подвластен слепым инстинктам, эгоистичен и жесток. Однако Таманго присущи и глубоко человеческие черты, возвышающие по-своему негра над его поработителями. Они сказываются в непреодолимом стремлении Таманго к свободе, в силе его привязанности, в его способности испытывать пусть необузданные, но мощные чувства, в той гордости и выдержке, которые он проявляет в момент тяжелых испытаний. Так постепенно читатель приходит к выводу, что в цивилизованном, но гаденьком буржуа Леду скрыто, по сути дела, больше варварства, чем в дикаре Таманго.

Поэтому таким острым сарказмом насыщается концовка новеллы, рассказывающая о жалкой и мрачной участи, которая ожидала Таманго в плену. Здесь каждое слово писателя заключает в себе глубокий иронический подтекст. Плантаторы были убеждены, что они облагодетельствовали Таманго, вернув ему жизнь и превратив его в примерного полкового литаврщика. Однако привыкший к свободе чернокожий гигант зачах от этих «благодеяний», запил и вскоре умер в больнице.

Концовка «Таманго» обозначает новую веху в решении колониальной тематики реалистической литературой XIX века на Западе. Трагическая судьба негров в условиях двуличной буржуазной цивилизации предстает здесь в ее неприкрашенно-обыденном, прозаически тягостном виде. Ее изображение не только далеко отходит от рационалистических утопий просветителей XVIII века (вспомним Робинзона Крузо у Дефо и его идеальные, подчиненные воспитательным задачам взаимоотноше-

ния с чернокожим Пятницей). Оно принципиально отлично и от возвышенно-патетической трактовки этой темы романтиками.

Это не означает, что Мериме, работая над «Таманго», проходил мимо творческого опыта романтиков. Наоборот, писатель использовал и своеобразно преломлял его в этом художественно многогранном произведении (как и в целом ряде других новелл, написанных на рубеже 20—30-х годов). Об этом говорят, например, страницы, изображающие слепой, но вместе с тем могучий и глубоко человечный порыв невольников к свободе. Именно романтические ассоциации помогли Мериме придать широкий, обобщающий поэтический смысл образу корабля, захваченного неграми и гонимого ветром по бескрайним морским просторам.

Утверждение несовместимости нравственного достоинства с подчинением грязной власти денег пронизывает и другую раннюю новеллу Мериме, «Партия в триктрак» (1830). В ней раскрывается душевная драма молодого морского офицера лейтенанта Роже. Мысль о том, что ради денег он изменил своему характеру и опустился до воровства, не дает покоя Роже. Она постепенно разрушает его душевное равновесие. Мериме вводит в свою новеллу эти идейные и психологические мотивы, завершая ее картиной нарастающего смятения человека, который внезапно утрачивает ощущение душевной цельности. Воспроизводя переживания, вырывающиеся из-под контроля рассудка, писатель преодолевал унаследованные от XVIII века рационалистические представления о закономерностях душевной жизни и расширял рамки психологического анализа в художественной литературе. Вместе с тем этот анализ отнюдь не являлся для писателя самоцелью. Рассказывая о трагических переживаниях лейтенанта Роже, Мериме, в первую очередь, стремился обнаружить обусловившие их объективные причины.

В целом ряде своих новелл («Этрусская ваза», «Двойная ошибка», «Арсена Гийо») Мериме раскрывает бездушие и черствость так называемого «света». Порочное и лицемерное светское общество, как показывает Мериме, не терпит ярких индивидуальностей. Оно враждебно всякому проявлению подлинной страсти и стремится уничтожить всех, кто хоть сколько-нибудь не похож на него самого. Оно порождает в людях, чувствительных по натуре, обостренную ранимость и болезненное недоверие к окружающим. Герой новеллы «Этрусская ваза» (1830) Сен-Клер — человек искренний и нежный, способный, не в пример своему опустошенному светскому окружению, испытать сильное чувство. Именно поэтому светское общество и проникается к Сен-Клеру враждой и в конце концов губит его.

Реалистически углубленное решение той же темы мы находим в одной из лучших новелл Мериме — «Двойная ошибка» (1833). В этой новелле (высокую оценку ей дал Пушкин в предисловии к «Песням западных славян») три главные персонажа. Все они в той или иной

мере заражены эгоизмом, искалечены и порабощены царящей вокруг них властью денег. Шаверни — типичное воплощение грубого и пошлого собственника. Он и на красавицу жену привык смотреть как на приобретенную по дорогой цене вещь. Дарси как будто человек совсем иного, возвышенного, интеллектуального плана. Но при ближайшем рассмотрении и он оказывается эгоистом до мозга костей. Наконец, и Жюли во многом сама виновата в том, что ее жизнь оказалась разбитой. И ей тоже присущ эгоизм. Но это — эгоизм натур слабых, боящихся посмотреть правде прямо в глаза, прикрывающих свое себялюбие сентиментальными мечтами. Они-то и породили в Жюли призрачные надежды, что Дарси, которому она сама же когда-то нанесла неизгладимую душевную рану, захочет самоотверженно прийти ей на помощь. Герои «Двойной ошибки», новеллы, лишенной какого-либо дидактического привкуса, не делятся на виновных и их жертв. Истоки зла, уродующего жизнь хороших по своим задаткам людей и мешающего им достичь счастья, коренятся в самой природе господствующего общества — таковы, по существу, выводы, вытекающие из идейного содержания новеллы.

О противоестественности буржуазного брака-сделки повествует и другая известная новелла Мериме — «Венера Илльская» (1837). Сам Мериме считал это произведение своей лучшей новеллой. В ней очень своеобразно и искусно сочетаются черты бытового реализма и элементы фантастики. При этом подобное сочетание не нарушает художественной гармонии целого, ибо и фантастические мотивы в руках Мериме обретают реалистический смысл, служат раскрытию объективных общественных закономерностей. Статуя Венеры становится символом красоты, оскверненной пошлостью буржуазной среды. Пейрорад-отец, этот педантичный, преисполненный самомнения и лишенный эстетического вкуса провинциальный любитель старины (с многочисленными прототипами этого персонажа Мериме неоднократно приходилось сталкиваться во время своих поездок по Франции), не способен понять красоту в искусстве. Что же касается Пейрорада-сына, то его образ вызывает уже не усмешку, а отвращение. Этот ограниченный, бестактный и самовлюбленный буржуа, признающий лишь одну ценность в жизни — туго набитый кошелек, растаптывает красоту в человеческих взаимоотношениях, в любви, в браке. За это и мстит ему разгневанная Венера.

Через всю свою жизнь Мериме, рационалист и наследник просветительских традиций, пронес враждебное отношение к церкви и религии. Эти идейные мотивы нашли свое отражение и в новеллах писателя. В этой связи в первую очередь, конечно, следует упомянуть «Души чистилища» (1834). Художественной манере, в которой написаны «Души чистилища», присущ оттенок стилизации, подражания старинной хронике. Они созданы как будто человеком благочестивым, верующим, искренне возмущенным кощунственными поступками дона Хуана и от

души приветствующим его религиозное обращение. Этот повествовательный прием не раз вводил в заблуждение критиков, побуждал их приписывать писателю совершенно чуждые ему религиозно-апологетические цели. На самом деле идейная направленность новеллы заключается прямо в противоположном.

Романтики, обращаясь к обработке легенды о доне Жуане, были склонны поэтизировать знаменитый литературный образ, придавать ему сугубо положительное звучание. Подобная концепция свое первое и очень яркое воплощение получила в новелле Гофмана «Дон-Жуан» (1806). Немецкий романтик наделил дона Жуана чертами бунтаря, восстающего против серости и никчемности мещанского существования и оказывающегося трагической жертвой своей собственной исключительности, своего духовного превосходства над буржуазным окружением.

Мериме в «Душах чистилища» пошел по иному пути. В своей новелле он примкнул к старой, восходящей к Тирсо де Молина и Мольеру, разоблачительной, антидворянской и антиклерикальной по своему духу традиции в истолковании образа севильского обольстителя. Но он развил эту традицию, применив повествовательные навыки, характерные для реалистической литературы XIX века.

Он стремился, во-первых, максимально индивидуализировать образ дона Жуана и поэтому, рассказывая о его судьбе, отказался от привычной классической сюжетной схемы. Мы не найдем в новелле Мериме ни донны Анны, ни убитого командора, ее мужа, ни истории со смелым вызовом, бросаемым доном Жуаном статуе, ни вмешательства адских сил. Не встретим мы в «Душах чистилища» и привычного комического образа слуги дона Жуана.

Во-вторых, пересказывая историю жизни дона Жуана, Мериме особенно большое внимание уделял изображению окружающей этого персонажа общественной среды, ее воздействию на формирование нравов героя. Внутренний облик этой среды, плотью от плоти которой и является дон Хуан, образно запечатлен писателем в заглавии новеллы. «Души чистилища» — это люди, подобные дону Хуану, или его родителю, или бесчисленному количеству таких же, как они, испанских дворян. Это люди, которые сознательно делят свою жизнь пополам. Первую половину они посвящают необузданной жажде наслаждений, удовлетворению любой ценой своих мирских инстинктов, плотских вожделений. Затем, когда они вдоволь пресытились мирскими благами, они переживают обращение, начинают изображать из себя святош. Религия помогает им замаливать грехи, сулит блаженство в загробной жизни. Именно двойственность и оказывается характерной для судьбы дона Хуана.

Уже с детства родители готовили сына к такой двойной жизни. Образ душ чистилища проходит через всю новеллу Мериме. Он сопутствует герою на всех важнейших этапах его жизненного пути. Он воз-

никает перед ним и в тот переломный момент, когда дон Хуан решает отвлечься от своего распутного прошлого и найти укрытие от угрожающего ему суда человеческого в лоне церкви. Эпизод религиозного обращения дона Хуана (использованный в свое время еще Мольером в его замечательной комедии) играет важную роль в содержании новеллы Мериме. Ее основной идейный смысл и заключается в раскрытии того эгоизма и бессердечия, которое скрывается за лицемерной личиной религиозного ханжества. Именно нежелание опуститься до этого лицемерного обмана и возвышает над доном Хуаном одного из его совратителей, необузданного дона Гарсию. Если неверие дона Гарсии приобретает характер твердого убеждения, смелого бунтарства, то дон Хуан на поверку оказывается половинчатой и непоследовательной «душой чистилища». Новелла Мериме таким образом развивает идейные тенденции, типичные для автора «Театра Клары Газуль» и «Хроники царствования Карла IX».

Существенную роль в новеллах Мериме играет художественное воплощение писателем его положительного идеала. В целом ряде ранних новелл (таковы, например, «Этрусская ваза», «Партия в триктрак») Мериме связывает поиски этого идеала с образами честных, наиболее принципиальных и чистых представителей господствующего общества. Постепенно, однако, взор Мериме все более настойчиво обращается к людям, стоящим за пределами этого общества, к представителям народной среды. В их сознании Мериме открывает те дорогие его сердцу душевные качества, которые, по его мнению, уже утрачены буржуазными кругами: цельность характера и страстность натуры, бескорыстие и внутреннюю независимость. Тема народа как хранителя жизненной энергии нации, как носителя высоких этических идеалов играет значительную роль в творчестве Мериме 30—40-х годов.

Вместе с тем Мериме был далек от революционно-республиканского движения своего времени, враждебно относился к борьбе рабочего класса. Волновавшую его воображение романтику народной жизни Мериме (этот «гений безвременья», согласно крылатому выражению А. В. Луначарского) пытался искать в странах, еще не поглощенных буржуазной цивилизацией, на Корсике («Маттео Фальконе», «Коломба») и в Испании («Кармен»). Однако, создавая овеянные суровой поэзией образы героев, людей из народа, Мериме отнюдь не стремился на руссоистский или романтический лад идеализировать патриархальную или первобытную сторону их жизненного уклада. С сочувствием изображая благородные, героические черты их внутреннего облика, он не скрывал и отрицательных, уродливых сторон их сознания, порожденных, в свою очередь, окружавшей их дикостью, отсталостью и нищетой.

Впервые эта тема зазвучала в ставшей классической новелле «Маттео Фальконе» (1829), в исключительно рельефном образе ее за-

главного героя. Сходные идейные мотивы нашли выражение и в некоторых новеллах 30-х годов (в этой связи заслуживает внимания, например, фигура гида-каталонца из новеллы «Венера Илльская»). Однако с наибольшей полнотой они выявились в произведениях, созданных писателем в 40-х годах, и прежде всего в большой, особенно заметно приближающейся к типу повести, новелле «Коломба» (1840).

Эта новелла построена на контрасте. Воспроизводя перипетии кровной вражды, которая разгорелась между семьями делла Реббиа и Барричини, Мериме противопоставляет друг другу два совершенно различных мироощущения, две концепции жизни. Одна из них представлена главной героиней повести, Коломбой, и уходит своими корнями в гущу народных представлений о справедливости и чести. Другая же развилась на гнилостной почве новых, буржуазных нравов и воплощена в облике скользкого и вероломного адвоката Барричини. Если для Коломбы нет ничего выше воинской доблести и отваги, то основным орудием Барричини оказываются деньги, подкуп, юридические кляузы.

Выразительно, пластично вылеплены писателем и остальные образы этой повести. Это прежде всего брат Коломбы — Орсо, уволенный в отставку офицер французской армии, участник битвы при Ватерлоо. История внутренних переживаний Орсо, уже во многом оторвавшегося от родной почвы, составляет важную идейную линию произведения. В развитии показан писателем внутренний облик Лидии, дочери добродушного ирландца, полковника сэра Томаса Невиля. Взбалмошная и избалованная светская девушка, сталкиваясь с живой действительностью, постепенно начинает забывать о светских условностях и все сильнее подчиняется порыву непосредственных и горячих чувств. Изящная, но хрупкая и в какой-то мере тепличная фигурка Лидии Невиль помогает писателю еще резче выделить неповторимую и дикую красоту центральной героини повести.

Прием контраста использован Мериме и в его знаменитой новелле «Кармен» (1845). С одной стороны, перед нами рассказчик, любознательный ученый и путешественник, представитель утонченной, но несколько расслабленной европейской цивилизации. Этот образ привлекает симпатии читателя. В нем есть, бесспорно, автобиографические детали. Он напоминает самого Мериме гуманистическими и демократическими чертами своего склада мысли. Но фигура его освещена в какой-то мере и светом иронии. Ироническая усмешка скользит по устам автора, когда он воспроизводит ученые изыскания рассказчика, показывает их умозрительность и отвлеченность, или когда он рисует склонность своего героя к спокойному наблюдению за бурной жизненной драмой, кипящей вокруг него. Назначение этих характерных штрихов — как можно ярче оттенить глубокую самобытность, страстность, стихийную мощь, присущую Кармен и дону Хосе.

В способности Кармен и дона Хосе отдаваться всепоглощающей власти страстей и заключается источник цельности их натур, поражающей читателя, и обаяния, излучаемого их образами. Кармен впитала в себя много дурного от того преступного окружения, в котором она выросла. Она не может не лгать и не обманывать, она готова принять участие в любой воровской авантюре. Но в противоречивом внутреннем облике Кармен таятся и такие прекрасные душевные качества, которых лишены изнеженные или очерствевшие представители господствующего общества. Это — искренность и честность в самом сокровенном для нее чувстве — любви. Это — гордое, непреклонное свободолюбие, готовность пожертвовать всем, вплоть до жизни, ради сохранения внутренней независимости.

Выдающееся место в литературном наследии Мериме принадлежит и новелле «Арсена Гийо» (1844), произведению, в котором сливаются воедино основные идейные мотивы Мериме-новеллиста: изображение отталкивающего эгоизма, который скрывается за лицемерной маской добропорядочных представителей и представительниц буржуазного общества, осуждение религиозного ханжества, сочувствие человеку из народа. Главный персонаж «Арсены Гийо» — это уже не обитатель «экзотических» стран, вроде Испании или Корсики, это — жительница столицы Франции, одна из бесчисленных жертв буржуазной цивилизации, представительница парижского «дна». При этом перед нами персонаж реалистический, свободный от того налета приторной морализации, которая окрашивает, скажем, изображение деклассированных парижских низов в романах-фельетонах Эжена Сю (его роман «Парижские тайны» вышел в свет в 1842 г.).

Беспросветная нужда толкает Арсену Гийо на путь проституции. В глазах светских дам она — существо «падшее». Жизнь бедной Арсены невыносимо тяжела, но у нее остается одно утешение, одно согревающее ее чувство — любовь к Салиньи, воспоминания о былых счастливых днях, возможность мечтать. Однако и в этой радости ей отказывает ее богатая и набожная покровительница. Лицемерно взывая к законам нравственности и предписаниям религии, госпожа де Пьен изводит Арсену попреками, отнимая у нее даже право думать о любви. То, что не удалось сделать нищете, завершает филантропия и ханжество. Мериме, не скрывая своего возмущения, показывает, сколько деспотического самодурства, душевной бестактности и, главное, низкого эгоизма заключает в себе внешне столь умилительная филантропическая опека, которую госпожа де Пьен устанавливает над Арсеной. Ведь за благопристойностью и добродетелью покровительницы таятся на самом деле отнюдь не возвышенные мотивы. В глубине души госпожа де Пьен ревнует Арсену, видит в ней соперницу.

Разоблачительная новелла Мериме и была воспринята светским обществом как дерзкий вызов, как громкая пощечина. Ханжи, святоши и блюстители светских приличий завопили о безнравственности и нарушении жизненной правды. Академики, которые за день до выхода в свет «Арсены Гийо» (она была опубликована 15 марта 1844 г.) подали свои голоса за Мериме на выборах во Французскую Академию, теперь осуждали писателя и открещивались от него. Однако «Арсена Гийо» осталась последним значительным достижением Мериме-новеллиста. Приближалась революция 1848 года, которая вызвала новый серьезный поворот и заметный спад в его творческом развитии.

Первоначально революционные события не вызывали особых опасений у Мериме: он с сочувствием отнесся к установлению республики. Однако постепенно настроения писателя изменяются, становятся все более тревожными: он предчувствует неизбежность дальнейшего обострения общественных противоречий и страшится его, боится, как бы оно не стало роковым для существующего порядка. Июньские дни и рабочее восстание усугубляют его опасения. Страх за судьбу собственнического мира, который он испытал в эти дни, уже никогда больше не изгладится из его памяти. С этого момента консервативные тенденции в общественных взглядах некогда бунтарски настроенного либерала резко усиливаются.

Именно боязнь новых революционных выступлений пролетариата и побуждает Мериме принять государственный переворот Луи-Бонапарта, смириться с установлением в стране диктатуры. В годы Империи (1851—1870) Мериме оказывается одним из приближенных Наполеона III и его двора (во многом в результате многолетней дружбы с семьей испанской аристократки Евгении Монтихо, ставшей в 1853 г. императрицей Франции). Мериме тяготится этими обязанностями сановника и придворного. Его общественное положение в годы Империи вызывает резкое осуждение в среде демократически настроенной французской интеллигенции. Однако стареющий писатель, хотя и скрепя сердце, все же продолжает играть взятую им на себя роль.

Тяжелый и длительный кризис переживал после 1848 года и Мериме-художник. Это не означает, что умственная деятельность Мериме в эти годы ослабла, стала менее активной. Для того чтобы убедиться в ошибочности такого предположения, достаточно ознакомиться с многообразнейшей перепиской, которую он особенно интенсивно вел в этот период. Прогрессивные устремления не глохнут в сознании писателя. Если ему больше не удавалось выразить их в художественной форме (противоречия, обострившиеся в мировоззрении Мериме, мешали ему в окружающей французской действительности улавливать ее передовые тенденции, сковывали полет художественной фантазии, леденили творческую мысль), то он находил другие пути для их воплощения — как

историк, литературный критик, переводчик. В этом отношении особенно значительную роль сыграло увлечение Мериме Россией, русской историей и литературой, достигшее своего апогея в 50—60-х годах (Мериме усиленно изучал русскую историю XVII—XVIII веков, переводил Пушкина, Гоголя, Тургенева, посвятил их творчеству развернутые статьи). Осмысление русской общественной жизни, обращение к передовой русской культуре стало своеобразной отдушиной, позволявшей Мериме и в эти сложные для него годы удовлетворять в какой-то степени дорогие его сердцу и уму духовные интересы.

На заключительном этапе своей литературной деятельности Мериме пишет всего лишь несколько новелл. Конечно, и в «Голубой комнате» (1866), и в «Джумане» (1868), и особенно в «Локисе» (1869) мы найдем проблески отточенного художественного мастерства Мериме-новеллиста. Достаточно в этой связи указать на характерный, запоминающийся образ немецкого ученого-лингвиста, от лица которого ведется повествование в «Локисе». Рукой мастера написаны и некоторые другие образы этой новеллы: обаятельная юная и избалованная панна Ивинская, заядлый скептик доктор. Однако теперь это мастерство не служит уже значительным идейным целям. В «Локисе», правда, мы ощущаем горячую и неизменную любовь Мериме к миру народных представлений, чувств, верований (сведения о литовском фольклоре, о поэтическом облике природы Литвы писатель почерпнул, по-видимому, прежде всего в поэме Мицкевича «Пан Тадеуш»). И все же в своих последних новеллах Мериме ставит в первую очередь развлекательные задачи, стремится интриговать читателя изображением и обыгрыванием таинственного. Начало занимательное, склонность к мистификации становятся самоцелью. Эти новеллы уступают, с точки зрения своей художественной ценности, предшествующим достижениям писателя. Своеобразные приметы художественной манеры Мериме особенно выпукло проявились не в них, а в новеллах конца 20—40-х годов (они и составляют основное содержание новеллистического раздела настоящего тома «Библиотеки всемирной литературы»).

В этой связи следует отметить прежде всего тяготение к подчеркнуто объективному, безличному тону повествования, прямо противоположному сугубо субъективной манере изложения, присущей романтикам. Автор предпочитает оставаться в тени, сдерживает и скрывает собственные чувства, свое личное отношение к изображаемым событиям, избегает лирических отступлений, не сливается с героями, а держится на расстоянии от них, пытается придать своему рассказу характер беспристрастного исследования жизненных явлений. Тургенев заметил о Мериме, что он «в литературе дорожил правдой и стремился к ней, ненавидел аффектацию и фразу... требовал выбора, меры, антич-

ной законченности формы. Это заставляло его впадать в некоторую сухость и скупость исполнения...»[1] Однако встречаются и исключения. Иначе, например, написана «Арсена Гийо». Здесь автор дает волю своим чувствам, возмущается лицемерием светского общества и ханжеством госпожи де Пьен, открыто сочувствует несчастной Арсене.

Мериме-новеллист значительно углубил в литературе изображение внутреннего мира человека. Психологический анализ в новеллах Мериме последовательно реалистичен. Он неотделим от раскрытия тех общественных причин, которыми порождены переживания героев. И в этом направлении Мериме осуществил примечательные, имевшие значительный историко-литературный отзвук открытия. Вспомним в этой связи, в дополнение к ранее сказанному, хотя бы его маленькую, но ставшую классической новеллу «Взятие редута» (1829). Создавая этот шедевр реалистического искусства и предвосхищая знаменитое описание битвы при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля, Мериме открывал совершенно новую страницу в истории батальных описаний. Мериме изображал военные действия совсем не так, как это делали романтики и классицисты: не с точки зрения стороннего наблюдателя, восхищенного живописностью и красочностью развертывающейся перед ним величественной картины, и не в той обобщенной перспективе, которая раскрывается полководцу с его расположенного на возвышенности командного поста. Он воспроизводил суровую и хаотичную атмосферу боя как бы изнутри, такой, какой она предстает сознанию рядового участника сражения.

В отличие от романтиков, Мериме не любил вдаваться в пространные описания эмоций как таковых. Неохотно прибегал он для этой цели и к помощи внутреннего монолога. Он предпочитал раскрывать переживания персонажей через их жесты и поступки. Его внимание в новеллах сосредоточено, в первую очередь, на развитии действия: он стремится максимально лаконично и выразительно мотивировать это развитие, передать его внутреннее напряжение.

Композиция новелл Мериме всегда тщательно продумана и взвешена. В своих новеллах писатель, как правило, не ограничивается изображением кульминационного момента в движении конфликта. Он охотно воспроизводит его предысторию, набрасывает сжатые, но насыщенные жизненным материалом биографические характеристики своих героев. Большое значение, как уже отмечалось, писатель придавал обрамлению и образу рассказчика, способам ввода его в ткань повествования. Произведения Мериме часто построены на контрасте между обыденностью и заурядностью той действительности, которая возникает

---

[1] «Проспер Мериме. Некролог».— И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XI, Гослитиздат, М. 1956, стр. 247.

в обрамляющем новеллу рассказе, и драматизмом, необычайностью тех событий, о которых читатель узнает из самой новеллы.

В новеллах Мериме, как и в его творчестве в целом, значительную роль играет сатирическое начало. Сатира Мериме в новеллах носит эмоционально более сдержанный характер, чем в его юношеских произведениях, скажем, в «Театре Клары Газуль». Его любимым оружием становятся теперь не сарказм, не сатирическая гипербола, а ирония, скрытая, но, несмотря на свою иносказательность, завуалированность, весьма язвительная сатирическая усмешка. Мериме с особенным блеском применяет ее, разоблачая фальшивость, двуличность, пошлость буржуазных нравов (наглядный пример — фигуры капитана Леду, Шаверни, госпожи де Пьен). А. В. Луначарский очень метко назвал Мериме «великим графиком слова». По словам замечательного критика-марксиста, «Мериме вооружен холодной, как лед, и прозрачной, как лед, алмазной иглой. Это его стилистический инструмент, его «стиль».

Новеллы Мериме, может быть, наиболее популярная часть его литературного наследия. Кому не знакомы нарисованные рукой выдающегося мастера образы Маттео Фальконе и Кармен, Таманго или Коломбы! Они стали вечно живым достоянием мировой культуры. Лучшие произведения Мериме-новеллиста сыграли важную роль в развитии французской реалистической литературы нового времени. Восприняв передовые традиции французской повествовательной прозы XVIII века, продолжая заветы Лесажа и Прево, Вольтера — автора философских повестей, и Дидро-беллетриста, Мериме-новеллист выступил вместе с тем смелым новатором, расчищавшим путь дальнейшим завоеваниям Флобера, Мопассана и Анатоля Франса. Проза Мериме принадлежит к числу самых блестящих страниц в истории французской литературы XIX столетия.

Ю. ВИППЕР

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последнее время я прочитал довольно много мемуаров и памфлетов, относящихся к концу XVI века. Мне захотелось сделать экстракт прочитанного, и я его сделал.

В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение *человека,* а меня это главным образом занимает и интересует. Не по Мезре, а по Монлюку, Брантому, д'Обинье, Тавану, Ланý и др. составляем мы себе представление о *французе* XVI века. Слог этих авторов не менее характерен, чем самый их рассказ.

У Этуаля сказано мимоходом:

«Девица Шатонеф, одна из милашек короля до его отъезда в Польшу, увлеклась флорентинцем Антинотти, начальником галер в Марселе, выскочила за него замуж, а потом, обнаружив, что он впал в блуд, взяла да собственными руками его и убила».

При помощи этого анекдота и множества других — а у Брантома их полно,— я мысленно воссоздаю характер, и передо мной оживает придворная дама времен Генриха III.

Мне представляется любопытным сравнить тогдашние нравы с нашими и обратить внимание на то обстоятельство, что

сильные чувства выродились, зато жизнь стала спокойнее и, пожалуй, счастливее. Остается решить вопрос: лучше ли мы наших предков, а это не так легко, ибо взгляды на одни и те же поступки с течением времени резко изменились.

Так, например, в 1500 году убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причем никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанес ему кровное оскорбление.

Вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX. Что́ в государстве с развитой цивилизацией считается преступлением, то в государстве менее цивилизованном сходит всего лишь за проявление отваги, а во времена варварские, может быть, даже рассматривалось как похвальный поступок. Суждение *об одном и том же деянии* надлежит, понятно, выносить еще и *в зависимости от того, в какой стране оно совершилось,* ибо между двумя народами такое же точно различие, как между двумя столетиями.

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, в один прекрасный день приглашает к себе во дворец на праздник их главных военачальников. Не успели они войти, как ворота за ними захлопываются. Спрятанные на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али царит в Египте единовластно.

Что же из этого? Мы ведем с Мехметом-Али переговоры, более того: он пользуется у европейцев уважением, во всех газетах о нем пишут как о великом человеке, его называют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее совершенного с заранее обдуманным намерением убийства беззащитных людей? Но все дело в том, что подобного рода ловушки узаконены местными обычаями и объясняются невозможностью выйти из положения иначе. Ну как тут не вспомнить изречение Фигаро: *Ma, per Dio, l'utilita!* [1]

Если бы в распоряжении одного министра, которого я здесь называть не стану, находились албанцы, готовые по его приказу кого угодно расстрелять, и если бы во время одного из

[1] Черт с ним, наплевать, зато польза! *(итал.)*

званых обедов он отправил на тот свет наиболее видных представителей оппозиции, то *фактически* его деяние ничем бы не отличалось от деяния египетского паши, а вот с точки зрения нравственной оно в сто раз более преступно. Убивать — это уже не в наших нравах. Но тот же самый министр уволил многих либеральных избирателей, мелких правительственных чиновников, запугал других, и выборы прошли, как ему хотелось. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он бы дальше этого не пошел, а французский министр, очутись он в Египте, непременно начал бы расстреливать, оттого что увольнения не произвели бы на умы мамелюков должного действия.

Варфоломеевская ночь была даже для того времени огромным преступлением, но, повторяю, резня в XVI веке — совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. Считаем нужным прибавить, что участие в ней, прямое или косвенное, приняла бóльшая часть нации; она ополчилась на гугенотов, потому что смотрела на них как на чужестранцев, как на врагов.

Варфоломеевская ночь представляла собой своего рода национальное движение, напоминающее восстание испанцев 1809 года, и парижане, истребляя еретиков, были твердо уверены, что они действуют по воле неба.

Я — рассказчик, и я не обязан последовательно излагать ход исторических событий 1572 года. Но уж раз я заговорил о Варфоломеевской ночи, то не могу не поделиться мыслями, которые пришли мне в голову, когда я читал эту кровавую страницу нашей истории.

Верно ли были поняты причины резни? Была ли она подготовлена заранее или же явилась следствием решения внезапного, быть может — делом случая?

На все эти вопросы ни один историк не дал мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательства историки приводят городские слухи и воображаемые разговоры, которые очень мало значат, когда речь идет о решении столь важной исторической проблемы.

Иные утверждают, что Карл IX — это воплощение двуличия, другие рисуют его человеком угрюмым, взбалмошным и вспыльчивым. Если он задолго до 24 августа грозил протестантам,— значит, он исподволь готовил их избиение; если он обласкал их,— значит, он двуличен.

В доказательство того, как легко подхватываются самые

неправдоподобные слухи, я хочу рассказать только одну историю, которую вы можете найти везде.

Будто бы уже приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был составлен план резни. Вот в чем он заключался: в Пре-о-Клер должны были построить деревянную башню; туда решено было поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами-католиками, а адмирал с протестантами должен был разыграть атаку — якобы для того, чтобы король поглядел, как происходит осада. Во время этого своеобразного турнира по данному знаку католикам надлежало зарядить свое оружие и перебить врагов, прежде чем они успеют изготовиться к обороне. Чтобы разукрасить эту историю, рассказывают еще, будто фаворит Карла IX Линьероль из-за собственной неосторожности разоблачил заговор,— когда король словесно изничтожал протестантских вельмож, он ему сказал: «Государь! Потерпите немного. У нас есть крепость, и она отомстит за нас всем еретикам». Прошу, однако, заметить, что никто еще не видел ни одной доски от этой крепости. Король велел казнить болтуна. План этот будто бы составил канцлер Бираг, а вместе с тем ему приписывают фразу, свидетельствующую о совершенно иных намерениях: дабы избавить короля от его недругов, ему, Бирагу, нужно, мол, всего несколько поваров. Последнее средство было гораздо более доступным, тогда как план с башней в силу своей необычности представляется почти неосуществимым. В самом деле: неужто у протестантов не возбудили бы подозрений приготовления к военной игре, в которой два стана, еще недавно — враждебных, столкнулись бы лицом к лицу? Да и потом, кто хочет расправиться с гугенотами, тот вряд ли станет собирать их всех в одном месте и вооружать. Ясно, что если бы заговорщики ставили своей задачей истребление всех протестантов, то насколько же целесообразнее было бы перебить их, безоружных, поодиночке!

По моему глубокому убеждению, резня была непреднамеренной, и мне непонятно, что́ заставляет придерживаться противоположного мнения авторов, которые, однако, сходятся на том, что Екатерина — женщина очень злая, но что это один из самых глубоких политических умов XVI века.

Оставим пока в стороне нравственные принципы и рассмотрим этот мнимый план только с точки зрения его выгодности. Так вот, я стою на том, что план этот был невыгоден двору; к тому же осуществлен он был в высшей степени бестолково, из чего приходится сделать вывод, что составляли его люди весьма недалекие.

Рассмотрим, выиграла бы или проиграла королевская власть от такого плана и в ее ли интересах было согласиться на то, чтобы он был приведен в исполнение.

Франция делилась тогда на три крупные партии: на партию протестантов, которую после смерти принца Конде возглавил адмирал, на королевскую партию, слабейшую из трех, и на партию Гизов — тогдашних ультрароялистов.

Ясно, что король, у которого было ровно столько же оснований опасаться Гизов, сколько и протестантов, должен был постараться укрепить свою власть, сталкивая между собой эти два враждебных лагеря. Раздавить один из них — значило отдать себя на милость другому.

Система балансирования была уже тогда достаточно известна и применялась на деле. Еще Людовик XI говорил: «Разделяй и властвуй».

Теперь посмотрим, был ли Карл IX набожен. Ревностное благочестие могло толкнуть его на неосторожный шаг, но нет: все говорит о том, что если он и не был вольнодумцем, то, с другой стороны, не был и фанатиком. Да и руководившая им мать, не задумываясь, принесла бы в жертву свои религиозные убеждения, если только они у нее были, ради своего властолюбия.

Предположим, однако, что сам Карл, или его мать, или, если хотите, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, истребить протестантов во Франции. Когда бы они такое решение приняли, то уж, конечно, взвесив все способы, остановились бы на наиболее верном. Тогда первое, что пришло бы им на ум как наиболее надежное средство, это одновременное избиение реформатов во всех городах королевства, дабы реформаты, подвергшись нападению численно превосходящих сил противника, нигде не могли оказать сопротивления. Для того чтобы с ними покончить, потребовался бы всего один день. Именно так замыслил истребить евреев Ассуэр.

Между тем мы знаем из истории, что первый указ короля об избиении протестантов помечен 28 августа, то есть он был издан четыре дня спустя после Варфоломеевской ночи, когда весть об этой страшной бойне давно уже опередила королевских гонцов и должна была всколыхнуть протестантов.

Особенно важно было захватить крепости протестантов. Пока крепости оставались в их руках, королевская власть не могла чувствовать себя в безопасности. Следовательно, если бы католический заговор действительно существовал, то ясно, что католикам надлежало принять две наиболее срочные меры:

24 августа захватить Ла-Рошель и держать целую армию на юге Франции с целью помешать объединению реформатов.

Ни того, ни другого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы люди, замыслившие чреватое столь важными последствиями преступление, так неумело его совершили. В самом деле, принятые меры оказались настолько слабыми, что спустя несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война разгорелась с новой силой, и вся слава в этой войне досталась, конечно, реформатам, и они извлекли из нее новые выгоды.

Далее: за два дня до Варфоломеевской ночи произошло убийство Колиньи,— не отметает ли оно окончательно предположение о заговоре? К чему убивать главаря до всеобщего избиения? Не значило ли это вспугнуть гугенотов и заставить их быть начеку?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают убийство адмирала только одному герцогу Гизу. Однако, не говоря о том, что общественное мнение обвинило в этом преступлении короля и что убийца получил от *короля* награду, я бы извлек из этого факта еще один аргумент против предположения о наличии заговора. В самом деле, если бы заговор существовал, герцог Гиз непременно принял бы в нем участие, а в таком случае почему бы не отложить кровную месть на два дня, чтобы уж отомстить наверняка? Неужели только ради того, чтобы ускорить на два дня гибель своего врага, надо было ставить на карту успех всего предприятия?

Итак, по моему мнению, все указывает на то, что это великое избиение не явилось следствием заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне непредвиденным, стихийным народным восстанием.

Попытаюсь в меру моих скромных сил разгадать эту загадку.

Колиньи трижды вел переговоры со своим государем на равных правах — уже это одно могло возбудить к нему ненависть. Когда умерла Жанна д'Альбре, оба юных принца — и король Наваррский, и принц Конде — были еще слишком молоды, никто бы за ними не пошел, а потому Колиньи был действительно единственным вождем партии реформатов. После смерти Колиньи оба принца оказались как бы пленниками во враждебном лагере, участь их теперь всецело зависела от короля. Значит, только смерть Колиньи, только его одного, была нужна для укрепления власти Карла IX, который, вероятно,

помнил слова герцога Альбы: «Голова одного лосося стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы король одним ударом мог избавиться и от адмирала, и от герцога Гиза, то он стал бы неограниченным властелином.

Вот что ему следовало предпринять: прежде всего он должен был возложить убийство адмирала на герцога Гиза или, во всяком случае, свалить на него это убийство, а затем объявить, что он готов выдать его головой гугенотам, и начать против него преследование как против убийцы. Мы не можем ручаться, был герцог Гиз соучастником Морвеля или не был, но что он с великою поспешностью покинул Париж и что реформаты, которым король для вида покровительствовал, угрожали принцам Лотарингского дома,— это мы знаем наверное.

Парижский люд был тогда до ужаса фанатичен. Горожане создали нечто вроде национальной гвардии, которая представляла собой настоящее войско и готова была взяться за оружие, едва лишь заслышит набат. Насколько парижане любили герцога Гиза — и в память отца, и за его личные заслуги,— настолько гугеноты, дважды их осаждавшие, были им ненавистны. В ту пору, когда одна из сестер короля была выдана замуж за принца, исповедовавшего гугенотскую веру, гугеноты пользовались при дворе некоторым расположением, но от этого они стали еще заносчивее и еще ненавистнее своим врагам. Словом, для того чтобы фанатики бросились резать своих впавших в ересь соотечественников, нужно было кому-нибудь стать во главе их и крикнуть: «Бей!», только и всего.

Опальный герцог, которому угрожали и король и протестанты, вынужден был искать поддержки в народе. Он собирает начальников городского ополчения, сообщает им, что существует заговор еретиков, требует перебить заговорщиков, пока они еще не начали действовать, и *только после этого* решено было учинить резню. Строгость тайны, в которую был облечен заговор, а также тот факт, что, хотя в заговор было втянуто множество людей, никто этой тайны не выдал, объясняется весьма просто: после возникновения замысла и до его осуществления прошло всего лишь несколько часов. Если бы дело обстояло иначе, это было бы нечто из ряда вон выходящее, ибо *в Париже любой секрет распространяется мгновенно.*

Теперь трудно определить, какое участие принял в резне король; если он ее и не одобрил, то уж, вне всякого сомнения, допустил. Спустя два дня, в течение которых совершались

убийства и насилия, он от всего отрекся и попытался остановить бойню. Но ярости народной дай только волю — небольшим количеством крови ее тогда уже не утолить. Ей понадобилось шестьдесят с лишним тысяч жертв. Монарх вынужден был плыть по течению. Он отменил указ о помиловании и вскоре издал другой, вследствие которого волна убийств прокатилась по всей Франции.

Вот каков мой взгляд на Варфоломеевскую ночь, но, изложив его, я повторю слова лорда Байрона:

I only say, suppose this supposition.
«D. J u a n», cant I, st. LXXXV [1].

1829

ГЛАВА ПЕРВАЯ
РЕЙТАРЫ

The black band came over
The Alps and their snow,
With Bourbon the rover
They passed the broad Po.

L o r d B y r o n, The deformed transformed [2]

Когда едешь в Париж, то неподалеку от Этампа еще и сейчас виднеется большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное грубыми изваяниями. Над входом — ниша; прежде там стояла каменная мадонна, но во время революции она разделила участь многих святых мужского и женского пола: ее торжественно разбил председатель ларсийского революционного клуба. Впоследствии ее заменили другой статуей девы Марии,— правда, из гипса, но благодаря шелковым лоскуткам и стекляшкам она выглядит даже нарядно и облагораживает находящийся в самом здании кабачок Клода Жиро.

Более двухсот лет тому назад, а именно — в 1572 году, это здание тоже служило приютом для жаждущих, но тогда

---

[1] Я говорю одно: предположим. *«Дон Жуан», песнь I, строфа LXXXV (англ.).*

[2] Черная шайка
Во главе с разбойником Бурбоном,
Перевалив снежные Альпы,
Перешла через По. *Л о р д Б а й р о н, Преображенный урод (англ.).*

у него был совсем другой вид. Надписи на его стенах говорили о превратностях гражданской войны. Тут можно было прочесть: *Да здравствует принц!,* а рядом: *Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!* Поодаль какой-то солдат нарисовал углем виселицу и повешенного, а во избежание недоразумений подписал внизу: *Гаспар де Шатильон.* Вскоре, однако, в том краю взяли верх, по-видимому, протестанты, так как имя их предводителя кто-то зачеркнул и написал: *Герцог Гиз.* Другие надписи полустерты и прочтению поддаются с трудом, а еще труднее передать их смысл в выражениях пристойных, однако из них явствует, что о короле и его матери отзывались в ту пору столь же непочтительно, как и о главарях обоих станов. Но особенно, должно быть, пострадала от разбушевавшихся гражданских и религиозных страстей несчастная мадонна. Следы пуль, повредивших статую местах в двадцати, свидетельствовали о той ярости, с какой гугеноты разрушали «языческие кумиры»,— так они называли подобные изображения. Набожный католик, проходя мимо статуи, из чувства благоговения снимал шляпу, а всадник-протестант почитал своим долгом выстрелить из аркебузы, и если попадал, то испытывал такое же точно удовлетворение, как будто он сокрушил апокалипсического зверя или же искоренил идолопоклонство.

Несколько месяцев тому назад между двумя враждовавшими вероисповеданиями был заключен мир, но клятвы произносились при этом не от чистого сердца. Озлобление в обоих лагерях не ослабевало. Все напоминало о том, что военные действия прекратились совсем недавно, все предсказывало, что мир не может быть прочным.

Гостиница *Золотой лев* была набита солдатами. Выговор и особая форма одежды обличали в них немецких конников, так называемых *рейтаров,* которые являлись предлагать свои услуги протестантам чаще всего именно тогда, когда протестанты бывали в состоянии щедро вознаградить их. Ловкие наездники и меткие стрелки, рейтары представляли собой грозную силу в бою, но они стяжали себе еще и другую славу — неумолимых победителей, грабивших все подряд, и вот эта слава была ими, пожалуй, в большей мере заслужена.

Отряд, разместившийся в гостинице и состоявший из пятидесяти конников, выступил накануне из Парижа, чтобы нести в Орлеане гарнизонную службу. Одни чистили привязанных к стене лошадей, другие разводили огонь, поворачивали вертела,— словом, готовили себе еду. Несчастный хозяин гостиницы мял шапку в руках и со слезами смотрел на беспорядок в

кухне. Его птичник был уничтожен, погреб разграблен; солдаты не давали себе труда откупоривать бутылки, а прямо отбивали у них горлышки. К умножению всех бедствий, хозяин отлично знал, что от людей, которые обходятся с ним как с неприятелем, возмещения убытков он не дождется, хотя против нарушителей воинской дисциплины король издал свирепые указы. В то жестокое время — все равно, мирное или военное,— вооруженное войско всегда находилось на иждивении местных жителей, и это установление никто не решался оспаривать.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел рейтарский капитан. Это был высокий тучный человек лет пятидесяти, с орлиным носом, багровым лицом, редкими седеющими волосами, не закрывавшими широкого рубца, начинавшегося от левого уха и пропадавшего в густых усах. Панцирь и каску он снял; его камзол из венгерской кожи почернел, оттого что об него постоянно терлось оружие, а в некоторых местах был тщательно зачинен. Сабля и пистолеты лежали на скамейке,— в случае чего капитан легко мог до них дотянуться, а на себе он оставил широкий кинжал: с этим оружием человек благоразумный расставался тогда, только ложась в постель.

Слева от него сидел молодой человек, румяный, высокий и довольно стройный. Его камзол был вышит, да и весь его костюм отличался несколько большей изысканностью, нежели костюм соседа. Между тем он был всего только штандарт-юнкером, а сосед — капитаном.

С ним разделяли компанию сидевшие за тем же столиком две молодые женщины, обе — лет двадцати с небольшим. Их одежда, явно с чужого плеча, которую они, по-видимому, взяли в добычу, представляла собой странную смесь роскоши и нищеты. На одной был лиф из камки, шитый золотом, которое давным-давно потускнело, и простая холщовая юбка; на другой — лилового бархата платье и мужская, серого войлока, шляпа с петушиным пером. Обе были миловидны. Их смелые взгляды и вольные речи указывали на то, что они привыкли жить среди солдат. Они выехали из Германии, не ставя перед собой определенных целей. Женщина в бархатном платье была цыганка — она гадала на картах и играла на мандолине. Другая имела кое-какие познания в хирургии и, по всем признакам, пользовалась особым расположением штандарт-юнкера.

Перед каждым из сидевших за столиком стояла большая бутылка и стакан, и в ожидании ужина все четверо болтали и потягивали винцо.

Голод, однако, брал свое, и собеседники вяло поддерживали разговор, но в это время у ворот гостиницы остановился молодой человек высокого роста, довольно нарядно одетый, верхом на добром соловом коне. Со скамьи встал рейтар-трубач и, приблизившись к незнакомцу, взял его коня под уздцы. Незнакомец, приняв это за проявление учтивости, хотел было поблагодарить трубача, но очень скоро понял, что заблуждался, так как трубач разжал коню зубы и с видом знатока осмотрел их, затем отошел на несколько шагов и, проведя глазами по ногам и по крупу благородного животного, в знак удовлетворения закивал головой.

— Знатный у вас конь, *каспадин!* — сказал он на ломаном языке и добавил несколько слов по-немецки, вызвавших взрыв хохота у его товарищей, в кругу которых он поспешил снова усесться.

Бесцеремонный этот осмотр не понравился путнику. Однако он ограничился тем, что бросил на трубача презрительный взгляд, а потом без посторонней помощи слез с коня.

Хозяин, как раз в эту минуту вышедший во двор, почтительно взял у него из рук поводья и сказал ему на ухо, так, чтобы рейтары не могли услышать:

— Милости просим, молодой барин! Но только не в добрый час вы к нам прибыли: эти безобразники, чтоб им святой Христофор шею свернул,— не очень приятная компания для таких добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек насмешливо улыбнулся.

— Это что же, протестантская конница? — спросил он.

— Еще того чище — рейтары,— пояснил трактирщик.— Приехали час тому назад, а уже, чтоб им ни дна, ни покрышки, половину вещей успели у меня переломать. Такие же лихие разбойники, как их атаман, чертов адмирал Шатильон.

— У вас борода седая, а до чего же вы неосторожны! — заметил молодой человек.— А ну как вы напали на протестанта? Ведь за такие речи он вас по головке не погладит!

Произнося эти слова, молодой человек похлопывал хлыстом по своим сапогам из белой кожи.

— Как?.. Что такое?.. Вы — гугенот?.. То есть протестант?..— в полном изумлении воскликнул трактирщик.

Он отступил на шаг и с головы до ног оглядел новоприбывшего,— он словно хотел отыскать в его одежде какой-нибудь признак, по которому можно было бы определить, какую веру тот исповедует. Одежда и открытое, улыбающееся лицо молодого человека несколько успокоили трактирщика, и он заговорил еще тише:

— Протестант в зеленом бархатном камзоле! Гугенот в испанских брыжах! Нет, это вздор! Меня, молодой барин, не обманешь: еретики так нарядно не одеваются. Пресвятая дева! Камзол из самолучшего бархата — это будет слишком жирно для таких голодранцев, как они!

В ту же минуту со свистом разрезал воздух хлыст и ударил бедного трактирщика по щеке — так его собеседник выразил свой символ веры.

— Нахальный болтун! Я тебя выучу держать язык на привязи! А ну, веди моего коня в стойло! Да смотри, чтобы у коня всего было вдоволь!

Трактирщик, понурив голову, повел коня в некое подобие сарая, шепотом посылая проклятья и немецким и французским еретикам. И если бы молодой человек не пошел за ним поглядеть, как он будет обращаться с конем, бедное животное, вне всякого сомнения, было бы не накормлено на том основании, что конь еретика тоже еретик.

Незнакомец вошел в кухню и, изящным движением приподняв широкополую шляпу с изжелта-черным пером, поздоровался. Капитан ответил ему на поклон, а затем оба некоторое время молча рассматривали друг друга.

— Капитан! — заговорил юный незнакомец.— Я дворянин, протестант, я рад, что встретил моих единоверцев. Если вы ничего не имеете против, давайте вместе отужинаем.

Богатое одеяние незнакомца, а также его изысканная манера выражаться произвели на капитана благоприятное впечатление, и он сказал, что почтет это за честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы уже упоминали, поспешила подвинуться. Будучи от природы услужливой, она даже уступила незнакомцу свой стакан, а капитан немедленно наполнил его.

— Меня зовут Дитрихом Горнштейном,— чокаясь с молодым человеком, сообщил капитан.— Вы, уж верно, слыхали о капитане Дитрихе Горнштейне? Это я водил Бедовых ребят в бой под Дре, а затем под Арне-ле-Дюк.

Незнакомец сообразил, что у него не прямо спрашивают, как его зовут.

— К сожалению, капитан, я не могу похвастаться таким славным именем, как ваше,— отвечал он.— Я говорю только о себе, потому что имя моего отца во время гражданской войны стало широко известно. Меня зовут Бернаром де Мержи.

— Мне ли не знать это имя! — воскликнул Дитрих Горнштейн и налил себе полный стакан.— Я, господин Бернар де Мержи, знал вашего батюшку. Мы с ним познакомились

еще в первую гражданскую войну, мы были закадычными друзьями. За его здоровье, господин Бернар!

Дитрих Горнштейн поднял стакан и сказал своему отряду несколько слов по-немецки. Как скоро он поднес стакан ко рту, все конники подбросили в воздух шапки и что-то при этом прокричали. Хозяин, вообразив, что это знак к избиению, упал на колени. Самого Бернара несколько удивили необыкновенные эти почести. Со всем тем он почел своим долгом в ответ на это изъявление немецкой вежливости выпить за здоровье капитана.

Бутылки еще до его прихода подверглись ожесточенной атаке, а потому на новый тост вина не хватило.

— Вставай, ханжа! — обратившись к хозяину, который все еще стоял на коленях, приказал капитан.— Вставай и сходи за вином! Ты что, не видишь, что в бутылках пусто?

Штандарт-юнкер для пущей убедительности запустил в него бутылкой. Хозяин побежал в погреб.

— Он изрядный наглец,— заметил де Мержи,— однако ж если б вы в него попали, то ему бы не поздоровилось!

— Наплевать! — с громким хохотом отозвался штандарт-юнкер.

— Голова паписта крепче бутылки,— вмешалась Мила.— Но зато в ней уж совсем пусто.

Штандарт-юнкер захохотал еще громче и заразил всех остальных, даже Мержи, хотя его заставила улыбнуться не столько язвительная шутка цыганки, сколько ее премилый ротик.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан заговорил снова, но уже с полным ртом:

— Как мне не знать господина де Мержи! Когда начался первый поход принца, он был уже в чине полковника и служил в пехоте. Во время первой осады Орлеана мы с ним два месяца стояли на одной квартире. А как он сейчас себя чувствует?

— Слава богу, для его преклонного возраста недурно! Он много рассказывал мне о рейтарах и об их лихих наскоках во время сражения под Дре.

— Я знал и его старшего сына... вашего брата, капитана Жоржа... то есть знал до того, как он...

Мержи приметно смутился.

— Это был отчаянный храбрец,— продолжал капитан,— но, черт его дери, больно горячая голова! Мне было так обидно за вашего батюшку! Я думаю, отступничество сына его очень огорчило.

Мержи покраснел до корней волос. Он что-то пролепетал в оправдание своему брату, однако легко можно было заметить, что в глубине души он строже судит своего брата, нежели рейтарский капитан.

— Я вижу, вам этот разговор неприятен,— молвил Дитрих Горнштейн.— Ну что ж, поговорим о другом. Это потеря для протестантов и ценное приобретение для короля,— как слышно, он у короля в большом почете.

— Ведь вы только что из Парижа,— постарался переменить разговор Мержи.— Адмирал уже там? Вы его, конечно, видели? Ну, как он теперь?

— Когда мы выступали, он вместе с двором возвратился из Блуа. Чувствует он себя превосходно, свеж и бодр. Такой молодчина, как он, еще двадцать гражданских войн выдержит и не охнет! Его величество так к нему благоволит, что все папошки готовы лопнуть с досады.

— Он это заслужил! Король перед ним в неоплатном долгу.

— Послушайте: я вчера был в Лувре и видел, как король пожимал адмиралу руку на лестнице. Гиз плелся сзади с видом побитой собаки. Знаете, что мне в эту минуту почудилось? Будто какой-то человек показывает на ярмарке льва: заставляет протягивать лапу, как делают собачки. Но хоть вожак и храбрится и не подает виду, а все-таки ни на секунду не забывает, что у этой лапы, которую он держит, страшные когти. Да, да, не сойти мне с этого места, если король тогда не почувствовал адмиральские когти.

— У адмирала длинная рука,— вставил штандарт-юнкер. (В протестантском войске это выражение вошло в поговорку.)

— Для своих лет он мужчина хоть куда,— заметила Мила.

— Если б мне пришлось выбирать между ним и молодым папистом, я бы взяла себе в любовники адмирала,— подхватила подружка штандарт-юнкера Трудхен.

— Это оплот нашей веры,— сказал Мержи: ему тоже захотелось принять участие в славословии.

— Вот только насчет дисциплины он уж чересчур строг,— покачав головой, сказал капитан.

Штандарт-юнкер многозначительно подмигнул, и его толстую физиономию исказила гримаса, которая должна была изобразить улыбку.

— Этого я от вас не ожидал, капитан,— молвил Мержи,— старому солдату не к лицу упрекать адмирала в том, что он требует от своего войска неуклонного соблюдения дисциплины.

— Да, конечно, дисциплина нужна. Но ведь и то сказать: доля солдата нелегкая, так если ему в кои-то веки представится случай весело провести время, то запрещать ему веселиться не следует. А впрочем, у каждого человека свои недостатки, и хотя адмирал меня повесил, я предлагаю выпить за его здоровье.

— Адмирал вас повесил? — переспросил Мержи.— Однако выглядите вы молодцом и на повешенного нимало не похожи.

— Да, *шорт восми,* он меня повесил. Но я на него зла не держу. Выпьем за его здоровье!

Мержи хотел было продолжать расспросы, но капитан, наполнив стаканы, снял шляпу и велел своим конникам троекратно прокричать «ура». Когда же стаканы были осушены и воцарилась тишина, Мержи снова обратился к рейтару:

— Так за что же вас повесили, капитан?

— За чепуху. В Сентонже был сначала разграблен, а потом случайно сгорел паршивый монастырь.

— Да, но *все* монахи оттуда *не* вышли,— ввернул штандарт-юнкер и залился хохотом — так ему понравилась собственная острота.

— Велика важность! Раньше ли, позже ли — все равно этой сволочи не избежать огня! Со всем тем, вы не поверите, господин де Мержи,— адмирал рассердился на меня не на шутку. Он велел меня схватить, а главный профос нимало не медля исполнил его приказание. Вся свита адмирала, дворяне, вельможи, сам Лану, а Лану, как известно, солдатам поблажки не дает, недаром его прозвали *Долбану,*— все полководцы просили адмирала помиловать меня, а он — ни за что. Вот до чего, волк его заешь, обозлился! Всю зубочистку изжевал от бешенства, а вы же знаете поговорку: «Избави нас, боже, от четок Монморанси и от зубочистки адмирала!» Говорит: «Мародерку,— прости, господи, мое согрешение,— надо уничтожить, пока она еще девочка, а если она при нашем попустительстве превратится в важную даму, то она всех нас уничтожит». Тут как из-под земли вырастает священник с Евангелием под мышкой, и нас с ним ведут к дубу... Дуб я как сейчас вижу: один сук торчит, словно нарочно для этого вырос. На шею мне накидывают петлю. Всякий раз, как представлю ее себе, в горле становится сухо, точно это не горло, а трут...

— Здесь есть чем его промочить,— сказала Мила и налила рассказчику полный стакан.

Капитан опорожнил его единым духом и продолжал:

— Я уже смотрел на себя, как на желудь, и вдруг меня

осенило. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Неужто вам не жаль повесить человека, который командовал под Дре Бедовыми ребятами?» Гляжу: вынул зубочистку, берется за другую. «Отлично,— думаю себе,— это добрый знак!» Подозвал он одного из военачальников, по имени Кормье, и что-то прошептал ему на ухо. А потом говорит профосу: «Ну-ка, вздерни его!» — и зашагал прочь. Меня вздернули по всем правилам, но славный Кормье выхватил шпагу и разрубил веревку, а я, красный как рак, грянулся оземь.

— Поздравляю вас,— сказал Мержи,— вы дешево отделались.

Он пристально смотрел на капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, который вполне заслужил виселицу, но в то страшное время преступления совершались на каждом шагу, и за них нельзя было судить так же строго, как судили бы мы за них теперь. Жестокости одного лагеря до известной степени оправдывали ответные меры, ненависть на религиозной почве почти совершенно заглушала чувство национального единства. Притом, откровенно говоря, Мила с ним украдкой заигрывала, а она ему все больше и больше нравилась, да тут еще винные пары, которые на его юные мозги оказывали более сильное действие, нежели на чугунные головы рейтаров,— все это заставляло его относиться сейчас к своим собутыльникам в высшей степени снисходительно.

— Я недели полторы прятала капитана в крытой повозке, а выпускала только по ночам,— сказала Мила.

— А я приносила ему попить-поесть,— добавила Трудхен.— Он может это подтвердить.

— Адмирал сделал вид, что распалился гневом на Кормье, но это они оба разыгрывали комедию. Я потом долго шел за войском и не смел показываться на глаза адмиралу. Наконец во время осады Лоньяка он наткнулся на меня в окопе и говорит: «Друг мой Дитрих! Раз уж тебя не повесили, так пусть расстреляют!» И тут он показал на пролом в крепостной стене. Я понял, что́ он хочет сказать, и смело пошел брать Лоньяк приступом, а на другой день подхожу к нему на главной улице, в руке у меня простреленная шляпа. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Меня расстреляли так же точно, как и повесили». Адмирал усмехнулся и протянул мне кошелек. «Вот тебе, говорит, на новую шляпу!» С тех пор мы с ним друзья... Да уж, в Лоньяке мы пограбили так пограбили! Вспомнишь — слюнки текут.

— Какие красивые шелковые платья нам достались! — воскликнула Мила.

— Сколько хорошего белья! — воскликнула Трудхен.

— Какого жару мы дали монашкам из большого монастыря! — вмешался штандарт-юнкер.— Двести конных аркебузиров — на постое у сотни монашек!..

— Более двадцати монашек отреклись от папизма — до того пришлись им по вкусу гугеноты,— сказала Мила.

— Любо-дорого было смотреть на моих аргулетов! — воскликнул капитан.— Они в церковном облачении коней поить водили. Наши кони ели овес на престолах, а мы пили славное церковное вино из серебряных чаш!

Он повернул голову и хотел было потребовать еще вина, но увидел, что трактирщик с выражением непередаваемого ужаса сложил руки и поднял глаза к небу.

— Болван! — пожав плечами, проговорил храбрый Дитрих Горнштейн.— Только круглые дураки могут верить россказням католических попов. Послушайте, господин де Мержи, в бою под Монконтуром я выстрелом из пистолета уложил на месте дворянина из свиты герцога Анжуйского. Стащил я с него камзол, и что же бы вы думали, я нашел у него на брюхе? Большой лоскут шелка, на котором были вытканы имена святых. Он надеялся, что это убережет его от пули. Черта лысого! Я ему доказал, что нет такой ладанки, через которую не прошла бы протестантская пуля.

— Да, ладанки,— подхватил штандарт-юнкер.— А у меня на родине продают куски пергамента, предохраняющие от свинца и от железа.

— Я предпочитаю на совесть сработанную кирасу из лучшей стали, вроде тех, какие выделывает в Нидерландах Якоб Леско,— заметил Мержи.

— А все-таки я стою на том, что человек может сделаться неуязвимым,— снова заговорил капитан.— Я собственными глазами видел в Дре дворянина,— пуля попала ему прямо в грудь. Но он знал рецепт чудодейственной мази и перед боем ею натерся, а еще на нем был буйволовой кожи нагрудник, так на теле у него даже кровоподтека, как после ушиба, и того не осталось.

— А вы не находите, что одного этого нагрудника оказалось достаточно, чтобы защитить дворянина от пули?

— Ох, французы, французы, какие же вы все маловеры! А если я вам скажу, что при мне один силезский латник по-

ложил руку на стол и кто ни полоснет ее ножом — хоть бы один порез? Вы улыбаетесь? Вы думаете, что это басни? Спросите у Милы, вот у этой девушки. Она родом из такого края, где колдуны — обычное явление, все равно что здесь монахи. Она может вам рассказать много страшных историй. Бывало, длинным осенним вечером сидим мы у костра, под открытым небом, а она рассказывает нам про всякие приключения, так у нас у всех волосы дыбом.

— Я бы с удовольствием послушал,— сказал Мержи.— Прелестная Мила! Сделайте одолжение, расскажите!

— Правда, Мила,— подхватил капитан,— нам надо это допить, а ты пока что-нибудь расскажи.

— Коли так, слушайте со вниманием,— проговорила Мила.— А вы, молодой барин, вы ничему не верите, ну и не верьте, только рассказывать не мешайте.

— Почему вы обо мне такого мнения? — вполголоса обратился к ней Мержи.— По чести, я уверен, что вы меня приворожили: я в вас влюблен без памяти.

Мержи потянулся губами к ее щеке, но Мила мягким движением отстранила его и, окинув беглым взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли ее слушают, начала с вопроса:

— Капитан! Вы, конечно, бывали в Гамельне?

— Ни разу не был.

— А вы, юнкер?

— Тоже не был.

— Как? Неужели никто из вас не был в Гамельне?

— Я прожил там целый год,— подойдя к столу, объявил один из конников.

— Стало быть, Фриц, ты видел Гамельнский собор?

— Сколько раз!

— И раскрашенные окна видел?

— Ну, еще бы!

— А что на окнах нарисовано?

— На окнах-то? На левом окне, сколько я помню, нарисован высокий черный человек; он играет на флейте, а за ним бегут ребятишки.

— Верно. Так вот я вам сейчас расскажу историю про черного человека и про детей.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от великого множества крыс — крысы шли с севера такими несметными полчищами, что земля казалась черной; возчики не отваживались переезжать дорогу, по которой двигались эти твари. Они все пожирали в мгновение ока. Съесть в амбаре це-

лый мешок зерна было для них так же просто, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Мила выпила, вытерла рот и продолжала:

— Мышеловки, крысоловки, капканы, отрава — ничто на них не действовало. Из Бремена тысячу сто кошек прислали на барже, но и это не помогло. Тысячу крыс истребят — появляются новые десять тысяч, еще прожорливей первых. Словом сказать, если б от этого бича не пришло избавление, во всем Гамельне не осталось бы ни зернышка, и жители перемерли бы с голоду.

Но вот однажды — это было в пятницу — к бургомистру приходит высокий мужчина, загорелый, сухопарый, пучеглазый, большеротый, в красном камзоле, в остроконечной шляпе, в широченных штанах с лентами, в серых чулках, в башмаках с огненного цвета бантиками. Сбоку у него висела кожаная сумочка. Он как живой стоит у меня перед глазами.

Все невольно обратили взоры к стене, с которой не сводила глаз Мила.

— Так вы его видели? — спросил Мержи.

— Я сама — нет, его видела моя бабушка. Она так ясно представляла себе наружность этого человека, что могла бы написать его портрет.

— Что же он сказал бургомистру?

— Он предложил за сто дукатов избавить город от этой напасти. Бургомистр и горожане, понятно, без всяких разговоров ударили с ним по рукам. Тогда незнакомец вышел на базарную площадь, стал спиной к собору,— прошу вас это запомнить,— достал из сумки бронзовую флейту и заиграл какую-то странную мелодию — ни один немецкий флейтист никогда ее не играл. Едва заслышав эту мелодию, из всех амбаров, из всех норок, со стропил, из-под черепиц к нему сбежались сотни, тысячи крыс и мышей. Незнакомец, не переставая играть, направился к Везеру, снял на берегу штаны и вошел в воду, а за ним попрыгали гамельнские крысы и, разумеется, утонули. В городе еще оставалась только одна крыса,— сейчас я вам объясню, почему. Колдун,— а ведь это был, конечно, колдун,— спросил отставшую крысу, которая еще не вошла в воду: «А почему еще не пришла седая крыса Клаус?» — «У нее, сударь, от старости лапы отнялись»,— отвечала крыса. «Ну так сходи за ней!» — приказал ей колдун. Крысе пришлось тащиться обратно в город, вернулась же она со старой жирной седой крысой, и до того эта крыса была стара, до того стара, что уже не могла двигаться. Крыса помоложе потянула старую за хвост,

обе вошли в Везер и, как все их товарки, утонули. Так город был очищен от крыс. Но когда незнакомец явился в ратушу за вознаграждением, бургомистр и горожане, приняв в соображение, что крыс им теперь нечего бояться, а что за этого человека заступиться некому и его можно поприжать, не постеснялись предложить ему вместо обещанных ста дукатов всего только десять. Незнакомец возмутился — его послали ко всем чертям. Тогда он пригрозил, что если они не сдержат данного слова, то это им обойдется дороже. Горожане ответили на угрозу дружным хохотом, вытолкали его из ратуши, вдобавок обозвали крысиных дел мастером, кличку эту подхватили ребятишки и гнались за ним по улицам до Новых ворот. В следующую пятницу ровно в полдень незнакомец снова появился на базарной площади, но на этот раз в шляпе пурпурного цвета, лихо заломленной набекрень. Он вынул из сумки флейту, не похожую на ту, с которой он был в прошлый раз, и стоило ему заиграть, как все мальчики от шести до пятнадцати лет пошли следом за незнакомцем и вместе с ним вышли из города.

— А что же обитатели Гамельна, так и позволили их увести? — один и тот же вопрос задали одновременно капитан и Мержи.

— Они шли за ними до самого Коппенберга — в этой горе была тогда пещера, потом ее завалили. Флейтист вошел в пещеру, дети — за ним. Первое время звуки флейты слышались явственно, затем все глуше, глуше, наконец все стихло. Дети исчезли, и с той поры о них ничего не известно.

Цыганка обвела глазами слушателей,— ей хотелось угадать по выражению лиц, какое впечатление произвел ее рассказ.

Первым заговорил рейтар, побывавший в Гамельне:

— Это самая настоящая быль,— когда в Гамельне заходит речь о каком-нибудь необыкновенном событии, жители говорят так: «Это случилось через двадцать или там через десять лет после того, как пропали наши дети... Фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после того, как пропали наши дети».

— Но вот что любопытно,— снова заговорила Мила,— в это же время далеко от Гамельна, в Трансильвании, появились какие-то дети: они хорошо говорили по-немецки, только не могли объяснить, откуда они пришли. Все они женились на местных уроженках и научили родному языку своих детей,— вот почему в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

— Так это и есть те гамельнские дети, которых перенес туда черт? — улыбаясь, спросил Мержи.

— Клянусь богом, что все это правда! — воскликнул капитан.— Я бывал в Трансильвании и хорошо знаю, что там говорят по-немецки, а кругом только и слышишь какую-то чертову тарабарщину.

Объяснение капитана отличалось не меньшей достоверностью, нежели все прочие.

— Желаете, погадаю? — обратилась Мила к Мержи.

— Сделайте одолжение,— ответил тот и, обняв левой рукой цыганку за талию, протянул ей правую.

Мила молча разглядывала ее минут пять и время от времени задумчиво покачивала головой.

— Ну так как же, прелестное дитя: женщина, которую я люблю, будет моей любовницей?

Мила щелкнула его по ладони.

— И счастье и несчастье,— заговорила она.— От синих глаз всякое бывает: и дурное и хорошее. Хуже всего, что ты свою кровь прольешь.

Капитан и юнкер, видимо, одинаково пораженные зловещим концом предсказания, не проронили ни звука.

Трактирщик, стоя в отдалении, истово крестился.

— Я поверю, что ты настоящая колдунья, только если ты угадаешь, что́ я сейчас сделаю,— молвил Мержи.

— Поцелуешь меня,— шепнула Мила.

— Да она и впрямь колдунья! — воскликнул Мержи и поцеловал ее.

Затем он продолжал вполголоса беседовать с хорошенькой гадалкой,— видно было, что их взаимная склонность растет с каждым мгновением.

Трудхен взяла что-то вроде мандолины, у которой почти все струны были целы, и начала наигрывать немецкий марш. Потом, заметив, что ее обступили конники, спела на своем родном языке солдатскую песню, рейтары во все горло подхватывали припев. Глядя на нее, и капитан затянул так, что стекла зазвенели, старую гугенотскую песню, напев которой был не менее дик, чем ее содержание:

Принц Конде убит,
Вечным сном он спит.
Но врагам на страх
Адмирал — в боях.
С ним Ларошфуко
Гонит далеко,
Гонит вон папошек
Всех до одного.

Рейтаров разобрал хмель, каждый пел теперь свое. Пол был усыпан осколками и объедками. Стены кухни дрожали от ругани, хохота и вакхических песен. Вскоре, однако ж, сон при поддержке паров орлеанских вин одолел большинство участников вакханалии. Солдаты разлеглись на лавках; юнкер поставил у дверей двух часовых и, шатаясь, побрел к своей кровати; сохранивший чувство равновесия капитан, не давая крена ни в ту, ни в другую сторону, поднялся по лестнице в комнату хозяина, которую он выбрал себе как лучшую в гостинице.

А Мержи и цыганка? Еще до того, как капитан запел, они оба исчезли.

ГЛАВА ВТОРАЯ

УТРО ПОСЛЕ ПОПОЙКИ

Посильщик

Сию минуту давайте деньги, вот что!

Мольер, Смешные жеманницы

Мержи проснулся уже белым днем, и в голове у него все еще путались обрывки воспоминаний о вчерашнем вечере. Платье его было разбросано по всей комнате, на полу стоял раскрытый чемодан. Мержи присел на кровати; он смотрел на весь этот беспорядок и словно для того, чтобы собрать мысли, потирал лоб. Лицо его выражало усталость и в то же время изумление и беспокойство.

За дверью на каменной лестнице послышались тяжелые шаги, и в комнату, даже не потрудившись постучать, вошел трактирщик, еще более хмурый, чем вчера, но глаза его смотрели уже не испуганно, а нагло.

Он окинул взглядом комнату и, словно придя в ужас от всего этого кавардака, перекрестился.

— Ах, ах! — воскликнул он.— Молодой барин! Вы еще в постели. Пора вставать, нам с вами нужно свести счеты.

Мержи устрашающе зевнул и выставил одну ногу.

— Почему здесь такой беспорядок? Почему открыт мой чемодан? — заговорил он еще более недовольным тоном, чем хозяин.

— Почему, почему! — передразнил хозяин.— А я откуда знаю? Очень мне нужен ваш чемодан. Вы в моем доме еще больше беспорядка наделали. Но, клянусь моим покровителем — святым Евстафием, вы мне за это заплатите.

Пока трактирщик произносил эти слова, Мержи натягивал свои короткие ярко-красные штаны, и из незастегнутого кармана у него выпал кошелек. Должно быть, кошелек стукнулся об пол не так, как ожидал Мержи, потому что он с обеспокоенным видом поспешил поднять его и раскрыть.

— Меня обокрали! — повернувшись лицом к трактирщику, крикнул он.

Вместо двадцати золотых экю в кошельке оставалось всего-навсего два.

Дядюшка Эсташ пожал плечами и презрительно усмехнулся.

— Меня обокрали! — торопливо завязывая пояс, повторил Мержи.— В кошельке было двадцать золотых экю, и я хочу получить их обратно: деньги у меня вытащили в вашем доме.

— Клянусь бородой, я очень этому рад! — нахально объявил трактирщик.— Было б вам не путаться с ведьмами да с воровками. Впрочем,— понизив голос, добавил он,— рыбак рыбака видит издалека. Всех, по ком плачет виселица,— еретиков, колдунов, жуликов,— водой не разольешь.

— Что ты сказал, подлец? — вскричал Мержи, тем сильнее разъяряясь, что в глубине души чувствовал справедливость упреков трактирщика. Как всякий виноватый человек, он хватал за вихор представлявшийся ему удобный случай поругаться.

— А вот что,— возвышая голос и подбочениваясь, отвечал трактирщик.— Вы у меня в доме все как есть переломали, и я требую, чтобы вы мне уплатили все до последнего су.

— Я заплачу только за себя — и ни лиара больше. Где капитан Корн... Горнштейн?

— У меня выпито,— еще громче завопил дядюшка Эсташ,— больше двухсот бутылок доброго старого вина, и я с вас за них взыщу!

Мержи был уже одет.

— Где капитан?! — громовым голосом крикнул он.

— Два часа назад выехал. И пусть бы он убирался к черту со всеми гугенотами, пока мы их не сожгли!

Вместо ответа Мержи закатил ему увесистую оплеуху.

От неожиданности и от силы удара трактирщик на два шага отступил. Из кармана его штанов торчала костяная ручка большого ножа, и он уже за нее схватился. Не справься трактирщик с первым порывом ярости, беда была бы неотвратима. Благоразумие, однако, пересилило злобу, и от его взора не укрылось, что Мержи потянулся к длинной шпаге, висев-

шей над изголовьем. Это сразу же заставило трактирщика отказаться от неравного боя, и он затопал вниз по лестнице, крича во всю мочь:

— Разбой! Поджог!

Поле битвы осталось за Мержи, но в том, что победа принесет ему плоды, он был далеко не уверен, а потому, застегнув пояс, засунув за него пистолеты, заперев и подхватив чемодан, он принял решение идти к ближайшему судье. Он уже отворил дверь и занес ногу на первую ступеньку, как вдруг глазам его внезапно представилось вражеское войско.

Впереди со старой алебардой в руке поднимался трактирщик, за ним — трое поварят, вооруженных вертелами и палками, а в арьергарде находился сосед с аркебузой. Ни та, ни другая сторона не рассчитывала на столь скорую встречу. Каких-нибудь пять-шесть ступенек разделяли противников.

Мержи бросил чемодан и выхватил пистолет. Это враждебное действие показало дядюшке Эсташу и его сподвижникам, насколько несовершенен их боевой порядок. Подобно персам под Саламином, они не сочли нужным занять такую позицию, которая позволила бы им воспользоваться всеми преимуществами своего численного превосходства. Если бы единственный во всем их войске человек, снабженный огнестрельным оружием, попробовал его применить, он неминуемо ранил бы стоявших впереди однополчан, а между тем гугенот, держа под прицелом всю лестницу, сверху донизу, казалось, мог одним пистолетным выстрелом уложить их всех на месте. Чуть слышное щелканье курка, взведенного гугенотом, напугало их так, словно выстрел уже грянул. Вражеская колонна невольно сделала поворот «кругом» и, ища более обширного и более выгодного поля битвы, устремилась в кухню. В суматохе, неизбежной при беспорядочном отступлении, хозяин споткнулся о свою же собственную алебарду и полетел. Будучи противником великодушным, Мержи счел неблагородным прибегать к оружию и ограничился тем, что швырнул в беглецов чемодан; чемодан обрушился на них, точно обломок скалы, и, от ступеньки к ступеньке все ускоряя свое падение, довершил разгром вражеского войска. Лестница очистилась от неприятеля, а в виде трофея осталась сломанная алебарда.

Мержи сбежал по лестнице в кухню,— там уже враг построился в одну шеренгу. Аркебузир держал оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, падая, разбил себе нос, и теперь он, весь в крови, как раненый Менелай за рядами греков, стоял позади шеренги. Махаона или Подалирия заменяла

ему жена: волосы у нее растрепались, чепец развязался, грязной салфеткой она вытирала мужу лицо.

Мержи действовал решительно. Он пошел прямо на владельца аркебузы и приставил ему к груди дуло пистолета.

— Брось фитиль, а не то я тебя пристрелю! — крикнул он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на кончик горящего жгута, загасил его. В ту же минуту союзники, все как один, сложили оружие.

— Что касается вас,— обратившись к хозяину, сказал Мержи,— то легкое наказание, которому я вас подвергнул, надеюсь, научит вас учтивее обходиться с постояльцами. Стоит мне захотеть — и здешний судья снимет вашу вывеску. Но я не злопамятен. Ну так сколько же с меня?

Дядюшка Эсташ, заметив, что Мержи, разговаривая с ним, спустил курок своего грозного пистолета и даже засунул пистолет за пояс, набрался храбрости и, вытираясь, сердито забормотал:

— Переколотить посуду, ударить человека, разбить доброму христианину нос... поднять дикий грохот... Я уж и не знаю, чем можно вознаградить за все это порядочного человека.

— Ладно, ладно,— усмехнувшись, молвил Мержи.— За ваш разбитый нос я вам заплачу столько, сколько он, по-моему, стоит. За переколоченную посуду требуйте с рейтаров — это дело их рук. Остается узнать, сколько с меня причитается за вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел сперва на жену, потом на поварят, потом на соседа — он как бы обращался к ним и за советом и за помощью.

— Рейтары, рейтары!..— сказал он.— Не так-то просто с них получить. Капитан дал мне три ливра, а юнкер дал мне пинка.

Мержи вынул один из остававшихся у него золотых.

— Ну, расстанемся друзьями,— сказал он и бросил монету дядюшке Эсташу, но трактирщик из презрения не протянул за ней руку, и монета упала на пол.

— Одно экю! — воскликнул он.— Одно экю за сотню разбитых бутылок, одно экю за разоренный дом, одно экю за побои!

— Одно экю, за все про все одно экю! — не менее жалобно вторила ему супруга.— У нас останавливаются господа католики, ну, иной раз и пошумят, да хоть расплачиваются-то по совести.

Будь Мержи при деньгах, он, разумеется, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

— Очень может быть,— сухо возразил он,— но господ католиков не обворовывали. Как хотите,— добавил он,— берите экю, а то и вовсе ничего не получите.

И тут он сделал такое движение, словно собирался нагнуться за монетой.

Хозяйка мигом подобрала ее.

— Ну-ка, выведите моего коня! А ты брось свой вертел и вынеси чемодан.

— Вашего коня, сударь? — скорчив рожу, переспросил один из слуг дядюшки Эсташа.

Как ни был расстроен трактирщик, а все же при этих словах он поднял голову, и в глазах его вспыхнул злорадный огонек.

— Я сам сейчас выведу, государь мой, я сам сейчас выведу вашего доброго коня.

Все еще держа салфетку у носа, хозяин вышел во двор. Мержи последовал за ним.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасного солового коня, на котором он сюда приехал, ему подвели старую пегую клячонку с облысевшими коленами, да еще и с широким рубцом на морде! А вместо седла из лучшего фламандского бархата он увидел кожаное, обитое железом, обыкновенное солдатское седло.

— Это еще что такое? Где мой конь?

— А уж об этом, ваша милость, спросите у протестантов, у рейтаров,— с притворным смирением отвечал хозяин.— Его увели эти знатные иностранцы. Лошадки-то похожи,— они, верно, и дали маху.

— Хорош конь! — молвил один из поварят.— Больше двадцати лет ему нипочем не дашь.

— Сейчас видно боевого коня,— заметил другой.— Глядите, какой у него на лбу шрам от сабельного удара!

— И какой красивой масти! Чалой с белым! Ни дать ни взять — протестантский пастор!

Мержи вошел в конюшню — там было пусто.

— Кто позволил увести моего коня? — закричал он в исступлении.

— Да как же, сударь, не позволить? — вмешался слуга, ведавший конюшней.— Вашего коня увел трубач и сказал, что вы с ним поменялись.

Мержи задыхался от бешенства; он не знал, на ком сорвать зло.

— Я разыщу капитана,— проворчал он,— а уж капитан не даст спуску тому негодяю, который меня обокрал.

— Конечно, конечно! Правильно сделаете, ваша милость,— одобрил хозяин.— У капитана — как бишь его? — на лице написано, что он человек благородный.

Но Мержи в глубине души сознавал, что его обворовали если не по прямому приказу капитана, то уж, во всяком случае, с его соизволения.

— А заодно спросите денежки у той барышни,— ввернул хозяин,— она укладывала свои вещи, когда еще чуть брезжило, и, верно, по ошибке прихватила ваши монеты.

— Прикажете приторочить чемодан вашей милости к седлу вашей милости? — издевательски-почтительно спросил конюх.

Мержи понял, что эта сволочь перестанет над ним потешаться не прежде, чем он отсюда уедет. А потому, как только чемодан был приторочен, он вскочил в скверное седло, но лошадь, почуяв нового хозяина, проявила коварство: она вздумала проверить его познания в искусстве верховой езды. Однако она скоро удостоверилась, что имеет дело с опытным наездником, сейчас меньше, чем когда-либо, расположенным терпеть ее шалости. Несколько раз подряд взбрыкнув, за что всадник наградил ее по заслугам, изо всех сил всадив в нее острые шпоры, она рассудила за благо смириться и побежала крупной рысью. Однако часть своих сил она израсходовала в борьбе с седоком, и ее постигла та же участь, какая неизменно постигает в подобных обстоятельствах всех кляч на свете: она, как говорится, свалилась с ног. Наш герой тотчас же вскочил; ушибся он слегка, но был сильно раздосадован насмешками, которыми его не замедлили осыпать. Он было вознамерился отомстить за это мощными ударами сабли плашмя, однако, по зрелом размышлении, решил сделать вид, будто не слышит долетавших к нему издали оскорблений, и снова двинулся, но уже не так быстро, по дороге в Орлеан, а за ним на известном расстоянии бежали мальчишки, и те, что постарше, пели песню про Жана П...упка, а малыши орали истошными голосами:

— Бей гугенота! Бей гугенота! На костер его!

Уныло протрусив с полмили, Мержи умозаключил, что рейтаров он нынче едва ли догонит и что его конь, вне всякого сомнения, продан, а если даже и не продан, то вряд ли эти господа соблаговолят его вернуть. Постепенно он свыкался с тем, что конь потерян для него безвозвратно. А как скоро он в этой мысли утвердился, то, сделав дальнейший вывод, что по Орле-

анской дороге ему ехать незачем, свернул на Парижскую, но не на большую, а на проселочную: проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его несчастий, ему не хотелось. Мержи сызмала привык видеть во всем хорошую сторону, и теперь ему тоже стало казаться, что он еще счастливо отделался: ведь его могли обобрать до нитки, могли даже убить, а ему все-таки оставили один золотой, почти все пожитки, оставили коня, правда, убогого, однако способного передвигать ноги. Сказать по совести, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Когда же он, проведя несколько часов в пути, позавтракал, то уже с умилением думал о том, как деликатно поступила эта честная девушка, вытащившая у него из кошелька, в котором лежало двадцать экю, всего лишь восемнадцать. Труднее было ему примириться с потерей превосходного солового коня, однако он не мог не признать, что закоренелый грабитель на месте трубача увел бы у него коня без всякой замены.

В Париж Мержи прибыл вечером, незадолго до закрытия городских ворот, и остановился в гостинице на улице Сен-Жак.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Jachimo
...The ring is won.
Posthumus
The stone's too hard to come by.
Jachimo
Not a whit,
Your lady being so easy.

Shakespeare, Cymbeline [1]

Мержи полагал, что в Париже важные особы замолвят за него словечко адмиралу Колиньи и что ему удастся вступить в ряды войска, которому, как говорили, предстояло сражаться во Фландрии под знаменами этого великого полководца. Он тешил

---

[1] Якимо
...Вот перстень мой.
Постум
Трудненько вам добраться до него.
Якимо
Супруга ваша труд мне облегчила. *Шекспир, Цимбелин (англ.).*

себя надеждой, что друзья его отца, которым он вез письма, помогут ему и представят его и ко двору Карла, и адмиралу, а у Колиньи было тоже нечто похожее на двор. Мержи знал, что его брат — человек довольно влиятельный, но стоило ли его разыскивать — в этом он был далеко не уверен. Своим отречением Жорж Мержи почти окончательно отрезал себя от семьи, он стал для нее чужим человеком. То был не единичный случай семейного разлада на почве религиозных взглядов. Отец Жоржа уже давно воспретил произносить при нем имя *отступника,* и в суровости своей он опирался на слова Евангелия: *Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его.* Хотя юный Бернар подобной непреклонностью не отличался, тем не менее вероотступничество брата представлялось ему позорным пятном на семейной чести, что, естественно, повлекло за собой охлаждение братских чувств.

Прежде чем решить, как он будет вести себя с братом, прежде чем вручить рекомендательные письма, надо было подумать о том, как пополнить пустой кошелек, и с этим намерением Мержи, выйдя из гостиницы, направился к мосту Сен-Мишель, в лавочку ювелира — тот задолжал его семейству известную сумму, а у Мержи была доверенность на ее получение.

При входе на мост он столкнулся с щегольски одетыми молодыми людьми,— молодые люди держались за руки и загораживали почти весь и без того узкий проход между двумя рядами бесчисленных лавчонок и мастерских, закрывавших вид на реку. За господами шли лакеи, каждый из которых нес длинную обоюдоострую шпагу в ножнах, именуемую *дуэлью,* и кинжал с такой широкой чашкой, которая в случае чего могла заменить щит. По всей вероятности, молодые люди решили, что им тяжело нести это оружие, а быть может, им хотелось показать, как богато одеты у них лакеи.

Молодые люди, должно полагать, были сегодня в духе,— по крайней мере, они все время хохотали. Если мимо них проходила хорошо одетая дама, они кланялись ей с почтительной дерзостью. Иным из этих вертопрахов доставляло удовольствие грубо толкать именитых граждан в черных плащах, и те шарахались от них, шепотом посылая проклятия нахальным придворным. Только один из всей компании шел, понурив голову, и, видимо, не принимал участия в общих развлечениях.

— Черт бы тебя взял, Жорж! — хлопнув товарища по плечу, воскликнул один из его спутников.— Что ты такой скучный? За четверть часа рта не раскрыл. Или ты дал обет молчания?

При имени «Жорж» Мержи вздрогнул, но что ответил человек, которого так назвали,— этого он не разобрал.

— Ставлю сто пистолей,— продолжал первый,— что он влюблен в какую-нибудь недотрогу. Бедняжка! Мне жаль тебя. Наскочить на неподатливую парижанку — это уж особое невезенье.

— Сходи к колдуну Рудбеку,— посоветовал другой,— он тебе даст приворотного зелья.

— Не врезался ли часом наш друг капитан в монашку? — высказал предположение третий.— Эти черти гугеноты, и обращенные и необращенные, житья не дают Христовым невестам.

Голос, который Мержи мгновенно узнал, с грустью ответил:

— Стал бы я вешать голову из-за любовных похождений! Нет, дело не в этом,— понизив голос, добавил он.— Я попросил де Понса передать письмо моему отцу, де Понс вернулся и сказал, что отец по-прежнему слышать обо мне не хочет.

— Твой отец старого закала,— вмешался еще один молодой человек.— Он из тех гугенотов, которые собирались захватить Амбуаз.

При этих словах капитан Жорж случайно обернулся и заметил Бернара. Он вскрикнул от изумления и бросился к нему с распростертыми объятиями. Бернар, не задумываясь, протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, пожалуй, попробовал бы напустить на себя холодность, но именно благодаря ее нечаянности природа вступила в свои права. Они встретились, как друзья после долгой разлуки.

Отдав дань объятиям и первым расспросам, капитан Жорж обернулся к тем из своих приятелей, которые остановились посмотреть на эту сцену.

— Господа! — сказал он.— Видите, какая неожиданная встреча? Уж вы меня простите, я принужден вас покинуть, мне хочется побеседовать с братом: ведь мы с ним лет семь не видались.

— Ну нет, нелегкая тебя побери, лучше и не думай. Обед заказан, и ты должен с нами отобедать.

Молодой человек говорил это, а сам держал Жоржа за плащ.

— Бевиль прав,— молвил другой,— мы тебя не отпустим.

— Да что ты дурака валяешь? — продолжал Бевиль.— Твой брат тоже с нами отобедает. Вместо одного доброго собутыльника у нас будет два, только и всего.

— Извините, пожалуйста,— заговорил Бернар,— но у меня сегодня много дел. Мне нужно передать письма...

— Завтра передадите.

— Нет, я непременно должен доставить их сегодня... А потом,— улыбаясь слегка сконфуженной улыбкой, добавил Бернар,— по правде говоря, я без денег, мне нужно еще их достать...

— Вот так отговорка! — воскликнули все вдруг.— Вместо того, чтобы пообедать с истинными христианами, идти занимать у евреев? Мы этого не допустим.

— Глядите, дружище,— хвастливо тряхнув длинным шелковым кошельком, привязанным к поясу, сказал Бевиль.— Возьмите меня к себе в казначеи. Последние две недели мне лихо везло в кости.

— Идем, идем! Чего мы тут стоим? Идем обедать к *Мавру!* — закричали другие.

Капитан обратился к своему брату, все еще пребывавшему в нерешимости:

— Да успеешь ты передать письма! А деньги у меня есть. Идем с нами. Посмотришь, как живут в Париже.

Бернар согласился. Брат познакомил его по очереди со своими приятелями:

— Барон де Водрейль, шевалье де Ренси, виконт де Бевиль и т. д.

Они наговорили своему новому знакомому уйму приятных слов, и Бернару пришлось со всеми по очереди целоваться. Последним сжал его в объятиях Бевиль.

— Эге-ге! — воскликнул он.— Прах меня побери! Да от вас, приятель, попахивает еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистоли, что вы протестант.

— Вы правы, милостивый государь, я протестант, но только не такой, каким бы следовало быть.

— Я гугенота из тысячи узна́ю! Шут их возьми, этих господ протестантов! Какой важный вид они на себя напускают, когда речь заходит об их вере!

— Мне кажется, о таких вещах шутя говорить нельзя.

— Господин де Мержи прав,— сказал барон де Водрейль.— А вот вы, Бевиль, когда-нибудь поплатитесь за неуместные шутки над предметами священными.

— Вы только посмотрите на этого святого,— сказал Бернару Бевиль.— По части распутства всех нас за пояс заткнет, а туда же суется читать наставления!

— Я таков, каков есть,— возразил Водрейль.— Да, я распутник — я не в силах победить свою плоть, но то, что достойно уважения, я уважаю.

— А я глубоко уважаю... мою мать,— это единственная порядочная женщина, которую я знал. Да и потом, милый мой, что католики, что гугеноты, что паписты, что евреи, что турки — мне все равно. Меня занимают их распри не больше, чем сломанная шпора.

— Безбожник! — проворчал Водрейль и, прикрываясь носовым платком, перекрестил себе рот.

— Надобно тебе знать, Бернар,— заговорил капитан Жорж,— что среди нас таких спорщиков, как ученейший Теобальд Вольфстейниус, ты не найдешь. Мы богословским беседам большого значения не придаем,— слава богу, у нас есть куда девать время.

— А я думаю, что тебе было бы полезно прислушаться к поучениям просвещенного и достойного пастыря, которого ты только что назвал,— не без горечи возразил Бернар.

— Полно, братец! Потом мы еще с тобой, пожалуй, к этому вернемся. Я знаю, какого ты мнения обо мне... Ну, все равно... Сейчас не время для таких разговоров... Я полагаю о себе как о человеке порядочном, и ты в том рано или поздно уверишься... А пока довольно об этом, давай веселиться.

Словно для того, чтобы отогнать от себя тягостную мысль, он провел рукой по лбу.

— Милый мой брат! — тихо сказал Бернар и пожал ему руку. Жорж ответил Бернару тем же, а потом оба прибавили шагу и нагнали товарищей.

Из Лувра выходило множество нарядно одетых господ, капитан и его друзья почти со всеми здоровались, а с некоторыми даже целовались. Тут же они представляли им младшего Мержи, и таким образом Бернар в одну минуту перезнакомился с целой тьмой знаменитостей. При этом он узнавал их прозвища (тогда прозвище давалось каждому заметному человеку), а заодно и некрасивые истории, которые про них рассказывались.

— Видите этого бледного, желтого советника? — говорили ему.— Это мессир *Petrus de finibus*[1], по-французски Пьер Сегье: что бы он ни затеял, он за все горячо берется и всякий раз добивается своего. Вот маленький капитан *Жох,* иначе говоря, Торе де Монморанси. Вот *Бутылочный архиепископ,*—

[1] Петр, цели достигающий *(лат.).*

этот, пока не пообедает, сидит на своем муле более или менее прямо. Вот один из ваших героев, отважный граф де Ларошфуко, по прозванию *Капустоненавистник:* во время последней войны он принял сослепу за отряд ландскнехтов злополучные капустные грядки и велел по ним палить.

Меньше чем за четверть часа Бернар узнал имена любовников почти всех придворных дам, а также число дуэлей, происшедших из-за их красоты. Он понял, что репутация дамы тем прочнее, чем больше из-за нее погибло людей. Так, например, у г-жи де Куртавель, присяжный возлюбленный которой убил двух соперников, было гораздо более громкое имя, нежели у бедной графини де Померанд, из-за которой произошла только одна пустячная дуэль, окончившаяся легким ранением.

Внимание Бернара обратила на себя стройностью своего стана женщина, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел под уздцы конюший. Ее платье, сшитое по последней моде, под тяжестью отделки оттягивалось вниз. Вероятно, она была красива. Известно, что дамы тогда выходили на улицу непременно в масках. Маска, скрывавшая лицо этой дамы, была черная, бархатная. Благодаря прорезям для глаз, было видно или, скорее, угадывалось, что у нее ослепительной белизны кожа и синие глаза.

Завидев молодых людей, она приказала конюшему ехать медленнее. Бернару даже показалось, что она, увидев незнакомое лицо, пристально на него посмотрела. При ее приближении перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на беспрерывные приветствия выстроившихся шпалерами поклонников. Когда же она удалялась, легкий порыв ветра приподнял край ее длинного атласного платья, и из-под платья блеснули зарницей туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

— Кто эта дама, которой все кланяются? — с любопытством спросил Бернар.

— Уже влюбился! — воскликнул Бевиль.— Впрочем, тут нет ничего удивительного: гугеноты и паписты — все влюблены в графиню Диану де Тюржи.

— Это одна из придворных красавиц,— прибавил Жорж,— одна из самых опасных Цирцей для молодых кавалеров. Но только, черт возьми, взять эту крепость не так-то просто.

— Сколько же из-за нее было дуэлей? — спросил со смехом Бернар.

— О, она их считает десятками! — отвечал барон де Водрейль.— Но это что! Как-то раз она сама решилась драться:

послала картель по всей форме одной придворной даме, которая перебила ей дорогу.

— Басни! — воскликнул Бернар.

— Это уже не первый случай,— заметил Жорж.— Она послала госпоже Сент-Фуа картель, написанный по всем правилам, хорошим слогом,— она вызывала ее на смертный бой, на шпагах или на кинжалах, в одних сорочках, как это водится у *записных* дуэлистов.

— Я бы ничего не имел против быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть, какие они в одних сорочках,— объявил шевалье де Ренси.

— И дуэль состоялась? — спросил Бернар.

— Нет,— отвечал Жорж,— их помирили.

— Он же их и помирил,— сказал Водрейль,— он был тогда любовником Сент-Фуа.

— Ну уж не ври! Таким же, как ты,— возразил явно скромничавший Жорж.

— Тюржи — одного поля ягода с Водрейлем,— сказал Бевиль.— У нее получается мешанина из религии и нынешних нравов: она собирается драться на дуэли,— а это, сколько мне известно, смертный грех,— и вместе с тем ежедневно выстаивает по две мессы.

— Оставь ты меня с мессой в покое! — вскричал Водрейль.

— Ну, к мессе-то она ходит, чтобы показать себя без маски,— заметил Ренси.

— По-моему, большинство женщин только за тем и ходит к мессе,— обрадовавшись случаю посмеяться над чужой религией, ввернул Бернар.

— А равно и в протестантские молельни,— подхватил Бевиль.— Там по окончании проповеди тушат свет, и тогда происходят такие вещи!.. Ей-ей, мне смерть хочется стать лютеранином.

— И вы верите этим вракам? — презрительно спросил Бернар.

— Еще бы не верить! Мы все знаем маленького Ферана,— так он ходил в Орлеане в протестантскую молельню на свидания с женой нотариуса, а уж это такая бабочка — ммм! У меня от одних его рассказов слюнки текли. Кроме молельни, ему негде было с ней встречаться. По счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил ему пароль. Его пускали в молельню, и вы легко можете себе представить, что в темноте наш общий друг даром времени не терял.

— Этого не могло быть,— сухо сказал Бернар.

— Не могло? А, собственно говоря, почему?

— Потому что ни один протестант не падет так низко, чтобы провести паписта в молельню.

Этот его ответ вызвал дружный смех.

— Ха-ха! — воскликнул барон де Водрейль.— Вы думаете, что, если уж гугенот, значит, он не может быть ни вором, ни предателем, ни посредником в сердечных делах?

— Он с луны свалился! — вскричал Ренси.

— Доведись до меня,— молвил Бевиль,— если б мне нужно было передать писульку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их попу.

— Это потому, конечно, что вы привыкли давать подобные поручения вашим священникам,— отрезал Бернар.

— Нашим священникам? — побагровев от злости, переспросил Водрейль.

— Прекратите этот скучный спор,— заметив, что *каждый выпад* приобретает *остроту обидную,* оборвал спорщиков Жорж.— Не будем больше говорить о ханжах, какой бы они ни были масти. Я предлагаю — кто скажет: «гугенот», или «папист», или «протестант», или «католик», тот пускай платит штраф.

— Я согласен! — воскликнул Бевиль.— Пусть-ка он угостит нас прекрасным кагором в том трактире, куда мы идем обедать.

Наступило молчание.

— После того как беднягу Лануа убили под Орлеаном, у Тюржи явных любовников не было,— желая отвлечь друзей от богословских тем, сказал Жорж.

— Кто осмелится утверждать, что у парижанки может не быть любовника? — вскричал Бевиль.— Ведь Коменж-то от нее ни на шаг!

— То-то я гляжу, карапуз Наварет от нее отступился,— сказал Водрейль.— Он убоялся грозного соперника.

— А разве Коменж ревнив? — спросил капитан.

— Ревнив, как тигр,— отвечал Бевиль.— Он готов убить всякого, кто посмеет влюбиться в прелестную графиню. Так вот, чтобы не остаться без любовника, придется ей остановиться на Коменже.

— Кто же этот опасный человек? — спросил Бернар. Незаметно для себя, он с живым любопытством стал относиться ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

— Это один из самых славных наших *записных,*— отвечал

Ренси.— Так как вы из провинции, то я вам сейчас объясню значение этого словца. *Записной* дуэлист — это человек безукоризненно светский, человек, который дерется, если кто-нибудь заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут и по всякому другому столь же важному поводу.

— Как-то раз Коменж привел одного человека на Пре-о-Клер,— заговорил Водрейль.— Оба снимают камзолы, выхватывают шпаги. Коменж спрашивает: «Ведь ты Берни из Овéрни?» А тот говорит: «Ничуть не бывало. Зовут меня Вилькье, я из Нормандии». А Коменж ему: «Вот тебе раз! Стало быть, я обознался. Но уж коли я тебя вызвал, все равно нужно драться». И он его за милую душу прикончил.

Тут все стали приводить примеры ловкости и задиристости Коменжа. Тема оказалась неисчерпаемой, и разговору им хватило на все продолжение пути до трактира *Мавр,* стоявшего за чертой города, в глубине сада, поблизости от того места, где с 1564 года строился дворец Тюильри. В трактире собрались дворяне, друзья и хорошие знакомые Жоржа, и за стол села большая компания.

Бернар, оказавшийся рядом с бароном де Водрейль, заметил, что барон, садясь за стол, перекрестился и с закрытыми глазами прошептал какую-то особенную молитву:

— *Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera virginis Mariae quae portaverunt aeterni Patris Filium!* [1]

— Вы знаете латынь, господин барон? — спросил Бернар.

— Вы слышали, как я молился?

— Слышал, но, смею вас уверить, решительно ничего не понял.

— Откровенно говоря, я латыни не знаю и даже не знаю толком, о чем в этой молитве говорится. Меня научила ей моя тетка, которой эта молитва всегда помогала, и на себе я уже не раз испытал благотворное ее действие.

— Мне думается, это латынь католическая, нам, гугенотам, она непонятна.

— Штраф! Штраф! — закричали Бевиль и капитан Жорж.

Бернар не противился, и стол уставили новым строем бутылок, не замедливших привести всю компанию в отличное расположение духа.

Голоса собеседников становились все громче, Бернар этим

---

[1] Хвала господу, мир живущим, спасение души усопшим, блаженно чрево приснодевы Марии, носившее сына предвечного отца! *(лат.)*

воспользовался и, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, заговорил с братом.

К концу второй смены блюд их *a parte* [1] был нарушен перебранкой между двумя гостями.

— Это ложь! — кричал шевалье де Ренси.

— Ложь? — переспросил Водрейль, и его лицо, и без того бледное, стало совсем как у мертвеца.

— Я не знаю более добродетельной, более целомудренной женщины,— продолжал шевалье.

Водрейль ехидно усмехнулся и пожал плечами. Сейчас все взоры были обращены на участников этой сцены; каждый, соблюдая молчаливый нейтралитет, как будто ждал, чем кончится размолвка.

— Что такое, господа? Почему вы так шумите? — спросил капитан, готовый, как всегда, пресечь малейшее поползновение нарушить мир.

— Да вот наш друг шевалье уверяет, будто его любовница Силери — целомудренная женщина,— хладнокровно начал объяснять Бевиль,— а наш друг Водрейль уверяет, что нет и что он за ней кое-что знает.

Последовавший за этим взрыв хохота подлил масла в огонь, и Ренси, бешено сверкая глазами, взглянул на Водрейля и Бевиля.

— Я могу показать ее письма,— сказал Водрейль.

— Только попробуй! — крикнул шевалье.

— Ну что ж,— сказал Водрейль и злобно усмехнулся.— Я сейчас прочту этим господам одно из ее писем. Уж, верно, они знают ее почерк не хуже меня — ведь я вовсе не претендую на то, что я единственный, кто имеет счастье получать от нее записки и пользоваться ее благоволением. Вот записка, которую она мне прислала не далее как сегодня.

Он сделал вид, будто нащупывает в кармане письмо.

— Заткни свою лживую глотку!

Стол был широк, и рука барона не могла дотянуться до шевалье, сидевшего как раз напротив него.

— Я тебе сейчас докажу, что лжешь ты, и ты этим доказательством подавишься! — крикнул он и швырнул ему в голову бутылку.

Ренси увернулся и, второпях опрокинув стул, бросился к стене за шпагой.

---

[1] Разговор между собой *(лат.)*.

Все вскочили: одни — чтобы разнять повздоривших, другие — чтобы отойти в сторонку.

— Перестаньте! Вы с ума сошли! — крикнул Жорж и стал перед бароном, который был к нему ближе всех.— Подобает ли друзьям драться из-за какой-то несчастной бабенки?

— Запустить бутылкой в голову — это все равно что дать пощечину,— рассудительно заметил Бевиль.— А ну, дружок шевалье, шпагу наголо!

— Не мешайте! Не мешайте! Освободите место! — закричали почти все гости.

— Эй, Жано, затвори двери! — лениво проговорил привыкший к подобным сценам хозяин *Мавра.*— Чего доброго, явится дозор, а от него и господам помеха, и чести моего заведения урон.

— И вы будете драться в таверне, как пьяные ландскнехты? — стараясь оттянуть время, продолжал Жорж.— Отложите хоть на завтра.

— На завтра, так на завтра,— сказал Ренси и совсем уж было собрался вложить шпагу в ножны.

— Наш маленький шевалье трусит,— сказал Водрейль.

Тут Ренси, растолкав всех, кто стоял у него на дороге, кинулся на своего обидчика. Оба дрались яростно. Но Водрейль успел тщательно завернуть левую руку в салфетку и теперь ловко этим пользовался, когда ему нужно было парировать рубящие удары, а Ренси не позаботился о том, чтобы принять эту предосторожность, и при первых же выпадах был ранен в левую руку. Дрался он, однако ж, храбро и наконец крикнул лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль, остановив лакея, сказал, что раз у Водрейля нет кинжала, то и противник не должен к нему прибегать. Друзья шевалье возразили, произошел крупный разговор, и дуэль, без сомнения, превратилась бы в потасовку, если бы Водрейль не положил этому конец: он опасно ранил противника в грудь, и тот упал. Тогда Водрейль проворно наступил на шпагу Ренси, чтобы тот не мог поднять ее, и уже занес над ним свою шпагу, намереваясь добить раненого. Правила дуэли допускали подобное зверство.

— Убивать безоружного противника! — воскликнул Жорж и выхватил у Водрейля шпагу.

Рана, которую Водрейль нанес шевалье, была не смертельна, но крови он потерял много. Ему натуго перевязали рану салфетками, и во время перевязки он, смеясь неестественным смехом, бормотал, что поединок еще не кончен.

Немного погодя явились лекарь и монах; некоторое время

они препирались из-за раненого. Хирург все же одолел; он приказал доставить больного на берег Сены, а оттуда довез шевалье в лодке до его дома.

Лакеи уносили перепачканные в крови салфетки, замывали кровавые пятна на полу, а другие тем временем ставили новые бутылки на стол. Водрейль тщательно вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился, а затем, как ни в чем не бывало, достал из кармана письмо. Попросив друзей не шуметь, он прочел первую строку, и ее покрыл громовой хохот собравшихся:

— «Мой дорогой! Этот несносный шевалье, который мне надоел...»

— Уйдем отсюда! — с отвращением сказал брату Бернар.

Капитан вышел следом за ним. Все внимательно слушали чтение письма, так что их исчезновения никто не заметил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБРАЩЕННЫЙ

Дон Жуан

Неужели ты за чистую монету принимаешь то, что я сейчас говорил, и думаешь, будто мои уста были в согласии с сердцем?

Мольер, Каменный гость

Капитан Жорж возвратился в город вместе с братом и привел его к себе. По дороге они и двух слов не сказали друг другу: они только что оказались свидетелями сцены, которая произвела на них тяжелое впечатление, и им обоим не хотелось сейчас говорить.

Ссора и последовавшая за ней дуэль не по правилам были для того времени явлением обычным. Обидчивая чувствительность дворянства приводила всюду во Франции к роковым последствиям: при Генрихе III и Генрихе IV дуэльное бешенство отправляло на тот свет больше дворян, нежели десятилетняя гражданская война.

Убранство помещения, где жил капитан, носило отпечаток тонкого вкуса. Внимание привыкшего к более скромной обстановке Бернара прежде всего привлекли шелковые с разводами занавески и пестрые ковры. Бернар вошел в кабинет, который его брат называл своей *молельней,*— слово «будуар» тогда еще не было придумано. Дубовая скамеечка с красивой резьбой, мадонна кисти итальянского художника, чаша со святой водой и

с большой веткой букса — все как будто подтверждало, что эта комната предназначена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каймой диван, венецианское зеркало, женский портрет, оружие и музыкальные инструменты свидетельствовали о более или менее светских привычках хозяина.

Бернар бросил пренебрежительный взгляд на чашу и ветку букса — на это печальное напоминание об отступничестве брата. Низенький лакей принес варенье, конфеты и белое вино — чай и кофе тогда еще не были в ходу: вино заменяло нашим неприхотливым предкам изысканные напитки.

Бернар, держа в руке стакан, перебегал глазами с мадонны на чашу, с чаши на скамеечку. Затем он глубоко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, сказал:

— А ведь ты настоящий папист! Что бы сказала сейчас наша матушка!

Эти слова, видимо, задели капитана за живое. Он сдвинул густые свои брови и сделал рукой такое движение, словно просил Бернара не затрагивать этого предмета, но брат был неумолим:

— Неужели ты и сердцем отрекся от веры, которую исповедует наша семья, как отрекся устами?

— От веры, которую исповедует наша семья?.. Но ведь я-то ее никогда не исповедовал!.. Чтобы я... чтобы я поверил той лжи, которой учат ваши гнусавые проповедники?.. Чтобы я...

— Ну, конечно, куда приятнее верить в чистилище, в таинство исповеди, в непогрешимость папы! Куда лучше преклонять колена перед пыльными сандалиями капуцина! Скоро ты каждый раз, садясь обедать, будешь читать молитву барона де Водрейля!

— Послушай, Бернар: я ненавижу всякие споры, а тем более споры о религии, но рано или поздно мне все равно пришлось бы с тобой объясниться, и коль скоро мы об этом заговорили, так уж давай выскажем друг другу все. Я буду с тобой откровенен.

— Значит, ты не веришь дурацким выдумкам папистов?

Капитан пожал плечами и, спустив ногу на пол, звякнул одною из своих широких шпор.

— Паписты! Гугеноты! И тут и там суеверие. Я не умею верить в то, что моему разуму представляется нелепостью. Наши литании, ваши псалмы — одна бессмыслица стоит другой. Вот только,— с улыбкой прибавил он,— в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, а у вас — заткни уши, беги вон.

— Нечего сказать, существенное преимущество твоей веры! Есть из-за чего в нее переходить!

— Не называй эту веру моей, я не верю ни во что. С тех пор как я научился мыслить самостоятельно, с тех пор как мой разум идет своей дорогой...

— Но...

— Не надо мне никаких проповедей. Я знаю заранее, что ты мне будешь говорить. У меня тоже были свои надежды, свои страхи. Ты думаешь, я не делал огромных усилий, чтобы сохранить отрадные суеверия моего детства? Я перечел всех наших богословов — я искал у них разрешения обуревавших меня сомнений, но сомнения мои после этого только усилились. Словом, я не мог, я не могу больше верить. Вера — это драгоценный дар, и мне в нем отказано, но я ни за что на свете не стал бы лишать его других.

— Мне жаль тебя.

— Ну что ж, по-своему ты прав... Когда я был протестантом, я не верил проповедям; когда же я стал католиком, я не уверовал в мессу. Да и потом, разве ужасов гражданской войны, черт бы ее побрал, не достаточно для того, чтобы искоренить самую крепкую веру?

— Эти ужасы — дело людских рук, их творили люди, извратившие слово божие.

— Ты повторяешь чужие слова, и, представь себе, они меня не убеждают. Я не понимаю вашего бога, я не могу его понять... А если бы я в него верил, то, как говорит наш друг Жодель, *постольку поскольку*.

— Раз ты к обеим религиям равнодушен, зачем же ты отрекся от одной из них и этим так огорчил и родных и друзей?

— Я чуть не двадцать писем послал отцу, я хотел объяснить ему мои побуждения и оправдаться перед ним, но он бросал их в печку не читая, он обходился со мной, как с великим преступником.

— Мы с матушкой не одобряли крайней его суровости. Если б не его приказания...

— В первый раз слышу. Ну, уж теперь поздно. Меня вот что толкнуло на этот необдуманный шаг,— вторично я бы его, конечно, не совершил...

— То-то же! Я был уверен, что ты раскаиваешься.

— Раскаиваюсь? Нет. Я же ничего плохого не сделал. Когда ты еще учил в школе латынь и греческий, я уже надел латы, повязал белый шарф и пошел на нашу первую гражданскую

войну. Ваш принц-карапузик, из-за которого вы допустили столько ошибок, ваш принц Конде уделял вам только то время, которое у него оставалось от любовных похождений. Меня любила одна дама — принц попросил меня уступить ее ему. Я не согласился, он сделался моим ярым врагом. Он задался целью во что бы то ни стало сжить меня со свету.

Красавчик-карапузик принц
С милашками лизаться любит.

И он еще смел указывать на меня фанатически верующим католикам как на олицетворение распутства и неверия! У меня была только одна любовница, и я не изменял ей. Что касается неверия... так ведь я же никого не соблазнял! Зачем тогда объявлять мне войну?

— Никогда бы я не поверил, что принц способен на такую низость.

— Он умер, и вы сделали из него героя. Так всегда бывает на свете. Он был человек не без достоинств, умер смертью храбрых, я ему все простил. Но при жизни он был могуществен, и если такой бедный дворянин, как я, осмеливался ему перечить, он уже смотрел на него как на преступника.

Капитан прошелся по комнате, а затем продолжал, волнуясь все более и более:

— На меня сейчас же накинулись все пасторы, все хапжи, какие только были в войске. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подольститься к нему, при всех наших полководцах обозвал меня потаскуном. Я ему дал пощечину, а потом убил на дуэли. В нашем войске ежедневно бывало до десяти дуэлей, и военачальники смотрели на это сквозь пальцы. Мне же дуэль с рук не сошла,— принц решил расправиться со мной в назидание всему войску. По просьбе высоких особ, в том числе — к чести его надо сказать — по просьбе адмирала, меня помиловали. Однако ненависть ко мне принца не была утолена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом конных пистолетчиков. Я первым бросался в бой, мои латы погнулись в двух местах от аркебузных выстрелов, мою левую руку пронзило копье — все это доказывало, что я себя не берег. Под моим началом было не более двадцати человек, а против нас был брошен целый батальон королевских швейцарцев. Принц Конде приказывает мне идти в атаку... я прошу у него два отряда рейтаров... а он... он называет меня трусом!

Бернар встал и взял брата за руку. Капитан, гневно сверкая глазами, снова заходил из угла в угол.

— Он назвал меня трусом при всей этой знати в золоченых доспехах,— продолжал Жорж,— а несколько месяцев спустя под Жарнаком знать взяла да и бросила принца, и он был убит. После того, как он меня оскорбил, я решил, что мне остается одно: пасть в бою. Я дал себе клятву, что если я по счастливой случайности уцелею, то никогда больше не обнажу шпаги в защиту такого несправедливого человека, как принц, и ударил на швейцарцев. Меня тяжело ранили, вышибли из седла, и тут бы мне и конец, но мне спас жизнь дворянин, состоявший на службе у герцога Анжуйского,— этот шалый Бевиль, с которым мы сегодня вместе обедали, и представил меня герцогу. Со мною обошлись милостиво. Я жаждал мести. Меня обласкали и, уговаривая поступить на службу к моему благодетелю, герцогу Анжуйскому, привели следующий стих:

Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor [1].

Меня возмущало то, что протестанты призывают иноземцев напасть на нашу родину... Впрочем, я тебе сейчас открою единственную причину, заставившую меня перейти в иную веру. Мне хотелось отомстить, и я стал католиком в надежде встретиться с принцем Конде на поле сражения и убить его. Но мой долг уплатил за меня один негодяй... Это было до того отвратительно, что я забыл про свою ненависть к принцу... Его, окровавленного, отдали на поругание солдатам. Я вырвал у них его тело и прикрыл своим плащом. Но я уже к этому времени связал свою судьбу с католиками. Я командовал у них эскадроном, я уже не мог уйти от них. Но я рад, что мне удалось, по-видимому, оказать некоторые услуги моим бывшим единоверцам: я, сколько мог, старался смягчить жестокости религиозной войны и имел счастье спасти жизнь кое-кому из моих прежних друзей.

— Оливье де Басвиль всюду говорит, что он обязан тебе жизнью.

— Ну так вот: стало быть, я католик,— более спокойным тоном заговорил Жорж.— Религия как религия. С католическими святошами ладить легко. Посмотри на эту красивую мадонну. Это портрет итальянской куртизанки. Ханжи приходят

---

[1] Храброму, как для рыбы — море, любая земля — родина *(лат.)*.

в восторг от моей набожности и крестятся на мнимую богоматерь. С ними куда легче сторговаться, нежели с нашими пасторами,— это уж ты мне поверь. Я живу, как хочу, и лишь время от времени делаю весьма незначительные уступки черни. От меня требуется, чтобы я ходил в церковь? Я и хожу когда, чтобы посмотреть на хорошеньких женщин. Надо иметь духовника? Ну уж это дудки! У меня есть славный францисканец, бывший конный аркебузир, и он за одно экю не только выдаст мне свидетельство об отпущении грехов, но еще и передаст от меня любовные записки своим очаровательным духовным дочерям. Черт побери! Да здравствует месса!

Бернар не мог удержаться от улыбки.

— На, держи, вот мой молитвенник,— сказал капитан и бросил Бернару книгу в красивом переплете и в бархатном футляре с серебряными застежками.— Этот часослов стоит ваших молитвенников.

Бернар прочитал на корешке: *Придворный часослов.*

— Прекрасный переплет! — с презрительным видом сказал он и вернул книгу.

Капитан раскрыл ее и, улыбаясь, снова протянул Бернару. Тот прочел на первой странице: *Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, сочиненная магистром Алькофрибасом, извлекателем квинтэссенции.*

— Вот это книга так книга! — со смехом воскликнул капитан.— Я отдам за нее все богословские трактаты из женевской библиотеки.

— Автор этой книги был, говорят, человеком очень знающим, однако знания не пошли ему на пользу.

Жорж пожал плечами.

— Ты сначала прочти, Бернар, а потом будешь судить.

Бернар взял книгу и, немного помолчав, сказал:

— Обидеться ты был, конечно, вправе, но мне досадно, что чувство обиды заставило тебя совершить поступок, в котором ты рано или поздно раскаешься.

Капитан опустил голову и, уставив глаза в ковер, казалось, внимательно рассматривал рисунок.

— Сделанного не воротишь,— подавив вздох, проговорил он.— А может, я все-таки когда-нибудь вновь обращусь в протестантскую веру,— уже более веселым тоном добавил он.— Ну, довольно! Обещай не говорить со мной больше о таких скучных вещах.

— Я надеюсь, что ты сам к этому придешь без моих советов и уговоров.

— Возможно. А теперь поговорим о тебе. Что ты намерен делать при дворе?

— У меня есть рекомендательные письма к адмиралу, я думаю, что он возьмет меня к себе на службу, и я проделаю с ним поход в Нидерланды.

— Затея никчемная. Если дворянин храбр и если у него есть шпага, то ему незачем так, здорово живешь, идти к кому-то в услужение. Вступай лучше добровольцем в королевскую гвардию, если хочешь — в мой легкоконный отряд. Ты будешь участвовать в походе, как и все мы, под знаменем адмирала, но, по крайней мере, не будешь ничьим лакеем.

— У меня нет ни малейшего желания вступать в королевскую гвардию,— это противно моей душе. Служить солдатом в твоем отряде я был бы рад, но отец хочет, чтобы первый свой поход я проделал под непосредственным начальством адмирала.

— Узнаю вас, господа гугеноты! Проповедуете единение, а сами держите камень за пазухой.

— То есть как?

— А так: король до сих пор в ваших глазах тиран, Ахав, как называют его ваши пасторы. Да нет, он даже и не король — он узурпатор, после смерти Людовика Тринадцатого король во Франции — Гаспар Первый.

— Плоская шутка!

— В конце концов будешь ли ты на службе у старика Гаспара или у герцога Гиза — это безразлично. Шатильон — великий полководец, он научит тебя воевать.

— Его уважают даже враги.

— А все-таки ему повредила история с пистолетным выстрелом.

— Он же доказал свою невиновность. Да и вся жизнь Шатильона опровергает слухи о том, что он был соучастником подлого убийцы Польтро.

— А ты знаешь латинское изречение: *Fecit cui profuit?* [1] Если б не этот пистолетный выстрел, Орлеан был бы взят.

— В католической армии одним человеком стало меньше, только и всего.

— Да, но каким человеком! Разве ты не слыхал двух дрянных стишков, которые, однако, стоят ваших псалмов?

Пока гизары не переведутся,
Мере́ во Франции всегда найдутся.

---

[1] Совершил тот, кому это было на руку *(лат.)*.

— Детские угрозы, не более того. Если бы я сейчас стал перечислять все преступления гизаров, ох, и длинная вышла бы ектенья! Будь я королем, то для восстановления во Франции мира я бы велел посадить всех Гизов и Шатильонов в добротный кожаный мешок, накрепко завязать его и зашить, а затем с железным грузом в сто тысяч фунтов, чтобы ни один не убежал, бросить в воду. И еще кое-кого я бы с удовольствием побросал в мешок.

— Хорошо, что ты не французский король.

Затем разговор принял более веселый оборот. О политике больше уже не говорили, равно как и о богословии, братья теперь рассказывали друг другу о всяких мелких происшествиях, случившихся с ними после того, как они расстались. Бернар в припадке откровенности поведал брату свое приключение в гостинице *Золотой лев*. Жорж смеялся от души и подшучивал над братом и по поводу пропажи восемнадцати экю, и по поводу пропажи знатного солового коня.

В ближайшей церкви заблаговестили.

— Пойдем, черт возьми, послушаем проповедь! — вскричал капитан.— Я убежден, что тебя это позабавит.

— Покорно благодарю, но я еще пока не намерен обращаться в другую веру.

— Пойдем, милый, пойдем, сегодня должен проповедовать брат Любен. Этот францисканец до того смешно толкует о религии, что люди валят на его проповеди толпами. Да и потом нынче весь двор будет у святого Иакова,— стоит посмотреть.

— А графиня де Тюржи там будет? И без маски?

— Ну еще бы, как же ей не быть! Если ты желаешь вступить в ряды ее вздыхателей, то не забудь, когда будешь уходить, стать у двери и подать ей святой воды. Вот еще один премилый обряд католической религии. Боже мой! Сколько я, предлагая святой воды, пожал прелестных ручек, сколько передал любовных записок!

— Святая вода вызывает во мне такое неодолимое отвращение, что я, кажется, ни за что на свете одного пальца бы в нее не окунул.

Капитан расхохотался. Затем оба надели плащи и отправились в церковь св. Иакова, где уже собралось многолюдное и приятное общество.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОПОВЕДЬ

> Горластый, мастак отбарабанить часы, отжарить мессу и отвалять вечерню,— одним словом, самый настоящий монах из всех, какими монашество когда-либо монашественнейше омонашивалось.
>
> *Рабле*

Когда капитан Жорж и его брат шли по церкви в поисках более удобного, поближе к проповеднику, места, их слух поражен был долетавшими из ризницы взрывами хохота. Войдя туда, они увидели толстяка с веселым и румяным лицом, в одежде францисканского монаха. Он оживленно беседовал с кучкой нарядно одетых молодых людей.

— Ну, ну, дети мои, шевелите мозгами! — говорил он.— Дамам невтерпеж. Скорей дайте мне тему!

— Расскажите о том, как дамы водят за нос своих мужей,— сказал молодой человек, которого Жорж сей же час узнал по голосу,— то был Бевиль.

— Что и говорить, мой мальчик, мысль богатая, да что мне остается прибавить к тому, что уже сказал в своей проповеди понтуазский проповедник? Он воскликнул: «Сейчас я наброшу свою камилавку на голову той из вас, которая особенно много наставила мужу рогов!» После этого женщины, все до одной, словно защищаясь от удара, прикрыли головы рукой или же накинули покрывало.

— Отец Любен! — обратился к нему еще один молодой человек.— Я пришел только ради вас. Расскажите нам сегодня что-нибудь поигривей. Поговорите о любовном грехе: он теперь особенно распространен.

— Распространен! Да, господа, среди вас он распространен,— ведь вам всего двадцать пять лет,— а мне стукнуло пятьдесят. В моем возрасте о любви не говорят. Я уж позабыл, какой такой этот грех.

— Не скромничайте, отец Любен. Вы и теперь не хуже, чем прежде, можете об этом рассуждать. Кто, кто, а уж мы-то вас знаем!

— Поговорите-ка о любострастии,— предложил Бевиль.— Все дамы сойдутся на том, что вы в этой области знаток.

Францисканец в ответ на эту шутку хитро подмигнул, и в его прищуре лучились гордость и удовольствие, которые он

испытывал оттого, что ему приписывают порок, присущий людям молодым.

— Нет, об этом мне нет смысла говорить в проповеди, а то придворные красавицы увидят, что я слишком по этой части строг, и перестанут ходить ко мне исповедоваться. А, по совести, если б я и стал обличать этот грех, то лишь для того, чтобы доказать, что люди обрекают себя на вечную муку... ради чего?.. ради минутного удовольствия.

— Как же быть?.. А, вот и капитан! Ну-ка, Жорж, придумай нам тему для проповеди! Отец Любен обещал сказать проповедь, какую мы ему присоветуем.

— Какую угодно,— сказал монах,— но только думайте скорей, черт бы вас подрал! Мне давно пора быть на кафедре.

— Ах, чума вас возьми, отец Любен! Вы ругаетесь не хуже короля! — вскричал капитан.

— Бьюсь об заклад, что в проповедь он не вставит ни единого ругательства,— сказал Бевиль.

— А почему бы и не ругнуться, коли припадет охота? — расхрабрился отец Любен.

— Ставлю десять пистолей, что у вас не хватит смелости.

— Десять пистолей? По рукам!

— Бевиль! Я вхожу к тебе в половинную долю,— объявил капитан.

— Нет, нет,— возразил Бевиль,— я хочу один слупить деньги с честного отца. А если он чертыхнется, то я, клянусь честью, десяти пистолей не пожалею. Ругань в устах проповедника стоит десяти пистолей.

— Я вам наперед говорю, что я уже выиграл,— молвил отец Любен.—Я начну проповедь с крепкой ругани. Что, господа дворяне? Вы воображаете, что, если у вас на боку рапира, а на шляпе перо, стало быть, вы одни умеете ругаться? Ну нет, это мы еще посмотрим!

Он вышел из ризницы и мгновение спустя уже очутился на кафедре. Среди собравшихся тотчас воцарилась благоговейная тишина.

Проповедник пробежал глазами по толпе, теснившейся возле кафедры,— он явно искал того, с кем только что поспорил. Когда же он увидел Бевиля, стоявшего, прислонясь к колонне, прямо против него, то сдвинул брови, упер одну руку в бок и гневно заговорил:

— Возлюбленные братья мои! Чтоб вас растак и разэтак...

Изумленный и негодующий шепот прервал проповедника, или, вернее, заполнил паузу, которую тот сделал нарочно.

— ...не мучили бесы в преисподней,— вдруг елейно загнусил францисканец,— вам ниспослана помощь: это — сила, смерть и кровь господа нашего. Мы спасены и избавлены от ада.

На сей раз его остановил дружный хохот. Бевиль достал из-за пояса кошелек и в знак проигрыша изо всех сил, чтобы видел проповедник, тряхнул им.

— И вот вы, братья мои, уже возликовали, не так ли? — с невозмутимым видом продолжал отец Любен.— *Мы спасены и избавлены от ада.* «Какие прекрасные слова! — думаете вы.— Теперь нам остается только сложить ручки и веселиться. Этого гадкого адского пламени нам бояться нечего. Правда, есть еще огнь чистилища, ну, да это все равно, что ожог от свечки, его можно залечить мазью из десятка месс. А коли так — давай жрать, пить, путаться с девками!»

О закоренелые грешники! Вот вы как рассчитали! Ну, а я, брат Любен, говорю вам: считали вы, считали, да и просчитались!

Стало быть, вы воображаете, господа еретики, гугенотствующие гугеноты, вы воображаете, что спаситель наш изволил взойти на крест ради вашего спасения? Нашли какого дурака! Нет уж, держите карман шире! Стал бы он из-за такой сволочи проливать свою святую кровь! Это все равно, что, извините за выражение, *метать бисер перед свиньями.* А спаситель наш, как раз наоборот, *метал свиней перед бисером:* ведь бисер-то находится в море, а спаситель наш ввергнул в море две тысячи свиней. *Et esse impetu abiit totus grex praeceps in mare* [1]. Счастливого пути, господа свиньи! Вот бы всем еретикам последовать за вами!

Тут оратор закашлялся, обнял взором слушателей и насладился впечатлением, какое произвело на верующих его красноречие. А засим продолжал:

— Итак, господа гугеноты, обращайтесь в нашу веру, да не мешкайте, а иначе... а иначе вам пропадать! Вы не спасены и не избавлены от ада. Стало быть, покажите вашим молельням пятки, и да здравствует месса!

А вы, возлюбленные мои братья-католики, вы уж потираете руки и облизываете пальчики при мысли о преддверии рая? Положа руку на сердце, скажу вам, братья мои: от королевского двора, где вам живется, как в раю, до рая дальше (даже если идти прямиком), чем от ворот Сен-Лазар до ворот Сен-Дени.

Вас спасли и избавили от ада сила, смерть и кровь гос-

---

[1] И вот внезапно все стадо бросилось в море *(лат.).*

пода... Да, в том смысле, что вы очищены от первородного греха, с этим я согласен. Но смотрите, как бы вас снова не сцапал сатана! Предостерегаю вас: *Circuit quarens quem devoret*[1].

О возлюбленные братья мои! Сатана — фехтовальщик искусный, он и Жану Большому, и Жану Маленькому, и Англичанину — всем нос утрет. Истинно говорю вам: он силен в нападении.

Как скоро мы сменим детские наши платьица на штаны, то есть как скоро мы приходим в тот возраст, когда можно впасть в смертный грех, его превосходительство сатана уже зовет нас на Пре-о-Клер жизни. Оружие, которое мы берем с собою туда,— это священные таинства, а он приносит целый арсенал, то есть наши грехи, каковые служат ему и оружием и доспехами.

Я вижу, как он выходит на место дуэли: на животе у него *Чревоугодие* — вот его панцирь; шпоры заменяет ему *Леность;* у пояса — *Любострастие,* это опасная шпага; *Зависть* — его кинжал; на голове он носит *Гордыню,* как латник — шлем; в кармане у него — *Скупость,* так что он всегда может воспользоваться ею в случае надобности; что же касается *Гнева* купно с поношениями и тем, что гнев обыкновенно порождает, он держит все это во рту, из чего вы можете заключить, что он вооружен до зубов.

Когда господь бог подает знак к началу, сатана не обращается к вам, как учтивые дуэлянты: «Милостивый государь! Вы уже стали в позицию?» Нет, он бросается на христианина с налету, без всякого предупреждения. Христианин же, заметив, что его сейчас ударят в живот *Чревоугодием,* парирует удар *Постом.*

Тут проповедник отстегнул распятие и для большей наглядности давай им фехтовать, нанося и парируя удары,— ни дать ни взять учитель фехтования, показывающий наиболее трудные приемы.

— Сатана после отхода обрушивает на вас сильный прямой удар *Гневом,* а затем, прибегнув к обману при помощи *Лицемерия,* наносит вам удар с кварты *Гордыней.* Христианин сперва прикрывается *Терпением,* а затем отвечает на удар *Гордыней* ударом *Смирения.* Сатана, в бешенстве, колет его сперва *Любострастием,* однако ж, видя, что его выпад отпарирован *Умерщвлением плоти,* стремительно кидается на противника, дает ему подножку с помощью *Лености,* ранит его кинжалом

[1] Бродит вокруг и ищет, кого бы сожрать *(лат.).*

Зависти и в то же время старается поселить в его сердце *Скупость*. Тут христианину нужно твердо стоять на ногах и смотреть в оба. *Труд* предохранит его от подножки *Лености*, от кинжала *Зависти* — *Любовь к ближнему* (весьма нелегкий парад, братья мои!). А что касаемо поползновений *Скупости*, то одна лишь *Благотворительность* способна от них защитить.

Но, братья мои, если бы на вас напали и с терца и с кварты и пытались то кольнуть, то рубнуть, многие ли из вас оказались бы в силах отразить любой удар *такого* врага? Я на своем веку видел немало низринутых бойцов, и вот если боец в это мгновение не прибегнет к *Раскаянию*, то он погиб. Сим последним средством лучше пользоваться *до*, нежели *после*. Вы, придворные, полагаете, что на то, чтобы сказать: *грешен*, много времени не требуется. Увы, братья мои! Сколько несчастных умирающих хотят произнести: *грешен*, но успевают они сказать: *греш*, тут голос у них прерывается: фюить! — и душу унес черт — ищи теперь ветра в поле!

Брат Любен еще некоторое время упивался собственным красноречием. Когда же он сошел с кафедры, какой-то любитель изящной словесности заметил, что его проповедь, длившаяся не более часу, заключала в себе тридцать семь игр слов и бесчисленное количество острот вроде тех, какие я приводил. Проповедник заслужил одобрение и католиков и протестантов, и он долго потом стоял у подножья кафедры, окруженный толпою подобострастных слушателей, прихлынувших из всех приделов, чтобы выразить ему свое восхищение.

Во время проповеди Бернар спрашивал несколько раз, где графиня де Тюржи. Брат тщетно искал ее глазами. То ли прелестной графини вовсе не было в церкви, то ли она скрывалась от своих поклонников в каком-нибудь темном углу.

— Мне бы хотелось,— сказал Бернар, выходя из церкви,— чтобы те, кто пришел на эту дурацкую проповедь, послушали сейчас задушевные беседы кого-нибудь из наших пасторов.

— Вот графиня де Тюржи,— сжав руку Бернара, шепнул капитан.

Бернар оглянулся и увидел, что под темным порталом мелькнула, как молния, пышно одетая дама, которую вел за руку белокурый молодой человек, тонкий, щуплый, с женоподобным лицом, одетый небрежно — пожалуй, даже подчеркнуто небрежно. Толпа расступалась перед ними с пугливой поспешностью. Этот ее спутник и был грозный Коменж.

Бернар едва успел бросить взгляд на графиню. Он не мог потом ясно представить себе ее черты, и все же они произвели

на него сильное впечатление. А Коменж ему страшно не понравился, хотя он и не отдавал себе отчета,— чем именно. Его возмущало, что этот хилый человечек уже составил себе такое громкое имя.

«Если бы графине случилось полюбить кого-нибудь в этой толпе, мерзкий Коменж непременно бы его убил,— подумал Бернар.— Он поклялся убивать всех, кого она полюбит».

Рука его невольно взялась за эфес шпаги, но он тут же устыдился своего порыва.

«Мне-то что в конце концов? Как я могу ему завидовать, когда я, можно сказать, и не разглядел той женщины, над которой он одержал победу?»

Тем не менее от этих мыслей ему стало тяжело на сердце, и всю дорогу от церкви до дома капитана он хранил молчание.

Когда они пришли, ужин был уже подан. Бернар ел неохотно и, как скоро убрали со стола, стал собираться к себе в гостиницу. Капитан согласился отпустить Бернара с условием, что завтра он переберется к нему.

Вряд ли стоит упоминать о том, что капитан снабдил своего брата деньгами, конем и всем прочим, а сверх того — адресом придворного портного и единственного торговца, у которого всякий дворянин, желавший нравиться дамам, мог приобрести перчатки, брыжи «Сумбур» и башмаки на высоких каблуках со скрипом.

В гостиницу Бернара по совсем уже темным улицам провожали два лакея его брата, вооруженные шпагами и пистолетами: дело в том, что после восьми вечера ходить по Парижу было тогда опаснее, нежели в наше время по дороге между Севильей и Гранадой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОЖАК

Jacky of Norfolk, be not so bold,
For Dickon thy master is bought and sold.

Shakespeare, King Richard III [1]

Возвратившись в скромную свою гостиницу, Бернар де Мержи печальным взором осмотрел потертую и потускневшую ее обстановку. Стоило ему мысленно сравнить когда-то давно

[1] Сбавь спеси, Джон Норфольк, сдержи свой язык:
Знай, куплен и продан хозяин твой Дик. *Шекспир, Король Ричард III (англ.).*

выбеленные, а теперь закопченные, потемневшие стены своей комнаты с блестящими шелковыми обоями помещения, откуда он только что ушел; стоило ему вспомнить красивую мадонну и сопоставить ее с висевшим у него на стене облупившимся изображением святого, и в душу к нему закралась нехорошая мысль. Роскошь, изящество, благосклонность дам, милости короля и множество других соблазнительных вещей — все это Жорж приобрел ценой одного-единственного слова, которое так легко произнести: важно, чтобы оно изошло из уст, а в душу никто заглядывать не станет. Ему тотчас пришли на память имена протестантов-вероотступников, окруженных почетом. А так как дьявол всегда тут как тут, то Бернару припомнилась притча о блудном сыне, но только заключение вывел он из нее престранное: обращенному гугеноту возрадуются более, чем никогда не колебавшемуся католику.

Одна и та же мысль, принимавшая разные формы и приходившая ему в голову как бы помимо его воли, осаждала его и в то же время вызывала у него отвращение. Он взял женевского издания Библию, ранее принадлежавшую его матери, и начал читать. Когда же чтение несколько успокоило его, он отложил книгу. Перед самым сном он поклялся не оставлять веры отцов своих до конца жизни.

Несмотря на чтение и на клятву, сны его отражали приключения минувшего дня. Ему снились шелковые пурпурные занавески, золотая посуда, затем опрокинутые столы, блеск шпаг, кровь, смешавшаяся с вином. Затем ожила нарисованная мадонна,— она вышла из рамы и начала перед ним танцевать. Он силился запечатлеть в памяти ее черты и вдруг заметил, что на ней черная маска. А эти синие глаза, эти две полоски белой кожи, выглядывавшие в прорези!.. Внезапно шнурки у маски развязались, показался небесной красоты лик, но очерк его расплывался,— это напоминало отражение нимфы в тронутой рябью воде. Бернар невольно опустил глаза, но тотчас поднял их и больше уже никого не увидел, кроме грозного Коменжа с окровавленной шпагой в руке.

Он встал спозаранку, велел отнести свои нетяжелые вещи к брату, отказался осматривать вместе с ним достопримечательности города и пошел один во дворец Шатильонов передать письмо от отца.

Двор был запружен слугами и лошадьми, и Мержи еле протиснулся к обширной прихожей, где было полно конюхов и пажей, вооруженных только шпагами и тем не менее составлявших надежную охрану адмирала. Привратник в черной одежде,

пробежав глазами по кружевному воротнику Мержи и по золотой цепи, которую дал ему надеть Жорж, без всяких разговоров провел его в галерею, где в это время находился адмирал. Более сорока вельмож, дворян и евангелических священников, приняв почтительные позы, с непокрытыми головами стояли вокруг адмирала. Адмирал одет был чрезвычайно скромно, во все черное. Он был высокого роста, слегка сутулился, тяготы войны прорезали на его лбу с залысинами больше морщин, нежели годы. Длинная седая борода спускалась ему на грудь. Щеки, впалые от природы, казались еще более впалыми из-за раны, глубокий след которой едва прикрывали длинные усы. В бою под Монконтуром пистолетный выстрел пробил ему щеку и вышиб несколько зубов. Выражение лица его было не столько сурово, сколько печально. Про него говорили, что после смерти отважного Данделó он ни разу не улыбнулся. Он стоял, опершись на стол, заваленный картами и планами, среди которых возвышалась толстая Библия ин-кварто. На картах и бумагах были разбросаны зубочистки, напоминавшие о его привычке, над которой часто посмеивались. За столом сидел секретарь, углубившийся в писание писем, которые он потом передавал адмиралу на подпись.

При виде великого человека, в глазах своих единоверцев стоявшего выше короля, ибо он объединял в одном лице героя и святого, Мержи преисполнился благоговения и, приблизившись к нему, невольно преклонил одно колено. Адмирал, озадаченный и возмущенный таким необычным почитанием, сделал ему знак встать и с некоторой досадой взял у восторженного юноши письмо. Прежде всего он взглянул на печать.

— Это от моего старого товарища, барона де Мержи,— сказал он.— А вы, молодой человек, удивительно на него похожи,— уж верно, вы его сын.

— Господин адмирал! Если бы не преклонный возраст, мой отец не преминул бы лично засвидетельствовать вам свое почтение.

— Господа! — прочтя письмо, обратился к окружающим Колиньи.— Позвольте вам представить сына барона де Мержи — он проехал более двухсот миль только для того, чтобы примкнуть к нам. Как видно, для похода во Фландрию у нас не будет нужды в добровольцах. Господа! Надеюсь, вы полюбите этого молодого человека. К его отцу вы все питаете глубочайшее уважение.

При этих словах человек двадцать бросились обнимать Мержи и предлагать ему свои услуги.

— Вы уже побывали на войне, друг мой Бернар? — спросил адмирал.— Аркебузную пальбу слышали?

Мержи, покраснев, ответил, что еще не имел счастья сражаться за веру.

— Вы должны радоваться, молодой человек, что вам не пришлось проливать кровь своих сограждан,— строго сказал Колиньи.— Слава богу,— добавил он со вздохом,— гражданская война кончилась, верующим стало легче, так что вы счастливее нас: вы обнажите шпагу только против врагов короля и отчизны.

Положив молодому человеку руку на плечо, он продолжал:

— Вы свой род не посрамите, в этом я убежден. Прежде всего я исполню желание вашего отца: вы будете состоять в моей свите. Когда же мы столкнемся с испанцами, постарайтесь захватить их знамя — вас произведут в корнеты, и вы перейдете в мой полк.

— Клянусь,— с решительным видом воскликнул Мержи,— что после первой же схватки я буду корнетом, или мой отец лишится сына!

— Добро, храбрый мой мальчик! Ты говоришь, как когда-то говорил твой отец.

Адмирал подозвал своего интенданта.

— Вот мой интендант, Самюэль. Если тебе понадобятся деньги на экипировку, обратись к нему.

Интендант изогнулся в поклоне, но Мержи поблагодарил и отказался.

— Мой отец и мой брат ничего для меня не жалеют,— объявил он.

— Ваш брат?.. Капитан Жорж Мержи, тот самый, который еще в первую войну отрекся от нашей веры?

Мержи понурил голову; губы его шевелились беззвучно.

— Он храбрый солдат,— продолжал адмирал,— но что такое смелость, если у человека нет страха божьего? Молодой человек! У вас в семье есть пример, достойный подражания, и есть пример, недостойный подражания.

— Мне послужит образцом доблесть моего брата... а не его измена.

— Ну, Бернар, приходите ко мне почаще и считайте меня своим другом. Здесь, в Париже, легко сбиться с пути истинного, но я надеюсь скоро отправить вас туда, где перед вами откроется возможность покрыть себя славой.

Мержи почтительно наклонил голову и замешался в толпу приближенных.

— Господа! — возобновив разговор, прерванный появлением Мержи, сказал Колиньи.— Ко мне отовсюду приходят добрые вести. Руанские убийцы наказаны...

— А тулузские — нет,— перебил его старый пастор с мрачным лицом фанатика.

— Вы ошибаетесь. Я только что получил об этом известие. Кроме того, в Тулузе учреждена смешанная комиссия. Его величество каждый день предъявляет нам все новые и новые доказательства, что правосудие — одно для всех.

Старый пастор недоверчиво покачал головой.

Какой-то седобородый старик в черном бархатном одеянии воскликнул:

— Да, его правосудие для всех одно! Карл и его достойная мамаша были бы рады свалить одним ударом Шатильонов, Монморанси и Гизов!

— Выражайтесь почтительнее о короле, господин де Бонисан,— строго заметил Колиньи.— Пора, пора забыть старые счеты! Нам не к лицу подавать повод для разговоров о том, что католики ревностнее нас соблюдают заповедь Христову — прощать обиды.

— Клянусь прахом моего отца, это им легче сделать, чем нам,— пробормотал Бонисан.— Двадцать три моих замученных родственника не так-то скоро изгладятся из моей памяти.

Он все еще говорил горькие слова, как вдруг в галерее появился дряхлый старик с отталкивающей наружностью, в сером изношенном плаще и, пробившись вперед, передал Колиньи запечатанную бумагу.

— Кто вы такой? — не ломая печати, спросил Колиньи.

— Один из ваших друзей,— хриплым голосом ответил старик и тут же вышел.

— Я видел, как этот человек утром выходил из дворца Гизов,— сказал кто-то из дворян.

— Это колдун,— сказал другой.

— Отравитель,— сказал третий.

— Герцог Гиз подослал его отравить господина адмирала.

— Отравить? — пожав плечами, спросил адмирал.— Отравить через посредство письма?

— Вспомните о перчатках королевы Наваррской! — вскричал Бонисан.

— Я не верю ни в отравленные перчатки, ни в отравленное письмо, но зато я верю, что герцог Гиз не способен на низкий поступок!

Колиньи хотел было взломать печать, но тут к нему подбежал Бонисан и выхватил письмо.

— Не распечатывайте! — крикнул он.— Иначе вы вдохнете смертельный яд!

Все сгрудились вокруг адмирала, а тот силился отделаться от Бонисана.

— Я вижу, как от письма поднимается черный дым! — крикнул чей-то голос.

— Бросьте его! Бросьте его! — закричали все.

— Да отстаньте вы от меня, вы с ума сошли! — отбиваясь, твердил адмирал.

Во время этой кутерьмы бумага упала на пол.

— Самюэль, друг мой! — крикнул Бонисан.— Докажите, что вы преданный слуга. Вскройте пакет и вручите его вашему господину не прежде, чем вы удостоверитесь, что в нем нет ничего подозрительного.

Интенданту это поручение не пришлось по душе. Зато Мержи поднял письмо, не рассуждая, и разломал печать. В то же мгновение вокруг него образовалось свободное пространство — все расступились, словно в ожидании, что посреди комнаты вот-вот взорвется мина. Но из пакета ядовитый пар не вырвался, никто даже не чихнул. В страшном конверте оказался лишь довольно грязный лист бумаги, на котором было написано всего несколько строчек.

Как скоро опасность миновала, те же самые люди, которые первыми поспешили отойти в сторону, сейчас опять-таки первыми поспешили выдвинуться вперед.

— Что это за наглость? — высвободившись наконец из объятий Бонисана, в запальчивости крикнул Колиньи.— Как вы смели распечатать письмо, адресованное мне?

— Господин адмирал! Если бы в пакете оказался тонкий яд, вдыхание которого смертельно, то лучше, чтобы жертвой его пал юноша вроде меня, а не вы, ибо ваша драгоценная жизнь нужна для защиты нашей веры.

При этих словах вокруг Мержи послышался восторженный шепот. Колиньи ласково пожал ему руку, молча поглядел на него добрыми глазами и сказал:

— Раз ты отважился распечатать письмо, так уж заодно и прочти.

Мержи начал читать:

— «Небо на западе объято кровавым заревом. Звезды исчезли, в воздухе были видны пламенные мечи. Нужно быть сле-

пым, чтобы не видеть, что́ эти знамения предвозвещают. Гаспар! Препояшься мечом, надень шпоры, а не то малое время спустя твоим мясом будут питаться *лисы*».

— Он пишет *лисы* вместо *Гизы*,— догадался Бонисан.

Адмирал презрительно повел плечами. Окружающие хранили молчание, но видно было, что все находятся под впечатлением пророчества.

— Сколько народу в Париже занимается всякой чепухой! — холодно сказал Колиньи.— Кто-то верно заметил, что в Париже тысяч десять шалопаев живут тем, что предсказывают будущее.

— Как бы то ни было, этим предостережением пренебрегать не должно,— заговорил пехотный капитан.— Герцог Гиз открыто заявил, что не уснет спокойно, пока не всадит вам шпагу в живот.

— Убийце ровно ничего не стоит к вам проникнуть,— добавил Бонисан.— Я бы на вашем месте, прежде чем идти в Лувр, всегда надевал панцирь.

— Пустое, мой верный товарищ! — возразил адмирал.— Убийцы на таких старых солдат, как мы с вами, не нападают. Они нас больше боятся, чем мы их.

Потом он заговорил о фландрском походе и о делах вероисповедания. Некоторые передали ему прошения на имя короля. Адмирал всех просителей принимал радушно, для каждого находил ласковые слова. В десять часов он велел подать шляпу и перчатки,— пора было в Лувр. Иные простились с ним, но большинство составило его свиту и в то же время охрану.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВОЖАК

(Продолжение)

Завидев брата, капитан издали крикнул ему:

— Ну что, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял?

— Так ласково, что я никогда этого не забуду.

— Очень рад.

— Ах, Жорж! Что это за человек!

— Что за человек? Приблизительно такой же, как все про-

чие: чуточку больше честолюбия и чуточку больше терпения, нежели у моего лакея, разница только в происхождении. Ему очень повезло, что он сын Шатильона.

— Значит, по-твоему, происхождение обучило его военному искусству? Значит, благодаря происхождению он стал первым полководцем нашего времени?

— Конечно, нет, однако его достоинства не мешали ему быть многократно битым. Ну да ладно, оставим этот разговор. Сегодня ты повидался с адмиралом,— очень хорошо. Всем сестрам нужно дать по серьгам. Молодец, что отправился на поклон прежде других к Шатильону. А теперь... Хочешь поехать завтра на охоту? Там я представлю тебя одному человеку, с которым тоже не мешает повидаться: я разумею Карла, французского короля.

— Я буду принимать участие в королевской охоте?

— Непременно! Ты увидишь прекрасных дам и прекрасных лошадей. Сбор в Мадридском замке, мы должны быть там рано утром. Я дам тебе моего серого в яблоках коня; ручаюсь, что пришпоривать его не придется,— он от собак не отстанет.

Слуга передал Бернару письмо, которое только что доставил королевский паж. Бернар распечатал его, и оба брата пришли в изумление, найдя в пакете приказ о производстве Бернара в корнеты. Приказ был составлен по всей форме и скреплен королевской печатью.

— Вот так раз! — воскликнул Жорж.— Неожиданная милость! Но ведь Карл Девятый понятия не имеет о твоем существовании,— как же, черт побери, он послал тебе приказ о производстве в корнеты?

— Мне думается, я этим обязан адмиралу,— молвил Бернар.

И тут он рассказал брату о таинственном письме, которое он так бесстрашно вскрыл. Капитан от души посмеялся над концом приключения и вволю поиздевался над братом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РАЗГОВОР МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЕМ И АВТОРОМ

— Господин автор! Сейчас вам самое время взяться за писание портретов! И каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самую гущу королевского двора.

И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор. Познакомьте нас с несколькими яркими характерами. Чего-чего мы только сейчас не узнаем! Как должен быть интересен день, проведенный среди стольких великих людей!

— Помилуйте, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать такого рода талантом, который позволил бы мне написать историю Франции, тогда бы я не стал сочинять. Скажите, однако ж, почему вы хотите, чтобы я познакомил вас с лицами, которые в моем романе не должны играть никакой роли?

— Вот то, что вы не отвели им никакой роли,— это с вашей стороны непростительная ошибка. Как же так? Вы переносите меня в 1572 год и предполагаете обойтись без портретов стольких выдающихся людей? Полноте! Какие тут могут быть колебания? Пишите. Я диктую вам первую фразу: *Дверь в гостиную отворилась, и вошел...*

— Простите, господин читатель, но в Мадридском замке не было *гостиной;* гостиные...

— А, ну хорошо! *Обширная зала была полна народу...* и так далее. *В толпе можно было заметить...*

— Кого же вам хотелось бы там заметить?

— Дьявольщина! *Primo* [1], Карла Девятого!..

— *Secundo?* [2]

— Погодите. Сперва опишите его костюм, а потом опишите его наружность и, наконец, нравственный его облик. Теперь это проторенная дорога всех романистов.

— Костюм? Он был одет по-охотничьи, с большим рогом на перевязи.

— Вы чересчур немногословны.

— Что же касается его наружности... Постойте... Ах ты господи, да посмотрите его бюст в Ангулемском музее! Он во второй зале, значится под номером девяносто восьмым.

— Но, господин автор, я провинциал. Вы хотите, чтобы я нарочно поехал в Париж, только чтобы посмотреть бюст Карла Девятого?

— Ну, хорошо. Представьте себе молодого человека, довольно статного, с головой, немного ушедшей в плечи; он вытягивает шею и неловко выставляет вперед лоб; нос у него великоват; губы тонкие, рот широкий, верхняя губа оттопыривается; лицо бледное; большие зеленые глаза никогда не смотрят

---

[1] Во-первых *(лат.)*.
[2] Во-вторых? *(лат.)*

на человека, с которым он разговаривает. И все же в глазах его не прочтешь: ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ или что-нибудь в этом роде. Нет, нет! Выражение лица у него не столько жестокое и свирепое, сколько глупое и беспокойное. Вы получите о нем довольно точное представление, если вообразите какого-нибудь молодого англичанина, который входит в огромную гостиную, когда все уже сидят. Он проходит мимо вереницы разряженных дам — те молчат. Зацепившись за платье одной из них, толкнув стул, на котором сидит другая, он с великим трудом пробирается к хозяйке дома и только тут замечает, что, выходя из кареты, подкатившей к подъезду, он нечаянно задел рукавом колесо и выпачкался. Я убежден, что вам часто приходилось видеть такие испуганные лица. Может быть, даже вы сами подолгу репетировали перед зеркалом, пока, наконец, светская жизнь не выработала в вас полнейшей самоуверенности и вы уже перестали бояться за свое появление в обществе.

— Ну, а Екатерина Медичи?

— Екатерина Медичи? А, черт, вот о ней-то я и позабыл! Думаю, что больше я ни разу не напишу ее имени. Это толстая женщина, еще свежая и, по имеющимся у меня сведениям, хорошо сохранившаяся для своих лет, с большим носом и плотно сжатыми губами, как у человека, испытывающего первые приступы морской болезни. Глаза у нее полузакрыты; она ежеминутно зевает; голос у нее монотонный, она совершенно одинаково произносит: «Как бы мне избавиться от ненавистной беарнезки?» и: «Мадлен! Дайте сладкого молока моей неаполитанской собачке».

— Так! И все же вложите ей в уста какие-нибудь значительные слова. Она только что отравила Жанну д'Альбре,— по крайней мере, был такой слух,— должно же это на ней как-то отразиться.

— Нисколько. Если бы отразилось, то чего бы тогда стоила ее пресловутая выдержка? Да и потом, мне точно известно, что в тот день она говорила только о погоде.

— А Генрих Четвертый? А Маргарита Наваррская? Покажите нам Генриха, смелого, любезного, а самое главное, доброго. Пусть Маргарита сует в руку пажу любовную записку, а Генрих в это время пожимает ручку какой-нибудь фрейлине Екатерины.

— Если говорить о Генрихе Четвертом, то никто бы не угадал в этом юном ветренике героя и будущего короля Франции. У него назад тому две недели умерла мать, а он уже успел

о ней позабыть. Ведет бесконечный разговор с доезжачим касательно следов оленя, которого они собираются загнать. Я вас избавлю от этой беседы — надеюсь, вы не охотник?

— А Маргарита?

— Ей нездоровилось, и она не выходила из своей комнаты.

— Нашли отговорку! А герцог Анжуйский? А принц Конде? А герцог Гиз? А Таван, Ретц, Ларошфуко, Телиньи? А Торе, а Мерю и многие другие?

— Как видно, вы их знаете лучше меня. Я буду рассказывать о своем друге Мержи.

— Пожалуй, я не найду в вашем романе того, что мне бы хотелось найти.

— Боюсь, что не найдете.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПЕРЧАТКА

Cayóse un escarpín de la derecha
Mano, que de la izquierda importa poco,
A la señora Blanca, y amor loco
A dos hidalgos disparó la flecha.

Lope de Vega, El guante de doña Blanca [1]

Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими фрейлинами, ждала у себя в комнате, что король, прежде чем сесть на коня, придет к ней позавтракать. А король между тем, сопутствуемый владетельными князьями, медленно проходил по галерее, где собрались мужчины, которым надлежало ехать с ним на охоту. Он рассеянно слушал придворных и многим из них отвечал резко. Когда король проходил мимо двух братьев, капитан преклонил колено и представил ему нового корнета. Бернар низко поклонился и поблагодарил его величество за незаслуженную честь.

— А, так это о вас говорил мне отец адмирал? Вы брат капитана Жоржа?

---

[1] У сеньоры Бланки с правой руки,
А может быть, и с левой — это безразлично,—
Упала перчатка, и Амур-безумец
Двоих идальго поразил стрелой. *Лопе де Вега, Перчатка доньи Бланки (исп.).*

— Да, государь.

— Вы католик или гугенот?

— Я протестант, государь.

— Я спрашиваю только из любопытства. Пусть меня черт возьмет, если я придаю хоть какое-нибудь значение тому, какую веру исповедуют преданные мне люди.

Произнеся эти памятные слова, король проследовал к королеве.

Несколько минут спустя, как видно, для того, чтобы мужчинам было не скучно, в галерее появился рой женщин. Я расскажу только об одной красавице, состоявшей при дворе, столь обильном красавицами; я разумею ту, которая будет играть большую роль в моей повести, то есть графиню де Тюржи. На ней был костюм амазонки, свободный и в то же время изящный, маски она еще не надела. Ее черные как смоль волосы казались еще чернее от ослепительной белизны лица, везде одинаково бледного. Брови дугой, почти сросшиеся, сообщали ее лицу суровое выражение, но от этого весь ее облик ничего не терял в своем очаровании. Сначала в ее больших синих глазах можно было прочесть лишь высокомерие и пренебрежение, но, едва разговор оживлялся, зрачки у нее увеличивались и расширялись, как у кошки, в них загорался огонь, и тогда даже самому завзятому хлыщу трудно было не подпасть хотя бы на время под ее обаяние.

— Графиня де Тюржи! Как она сегодня хороша! — шептали придворные, и каждый из них пробирался вперед, чтобы полюбоваться на нее.

Бернар, стоявший у графини де Тюржи на дороге, был поражен ее красотой, и оцепенение его длилось до тех пор, пока широкие шелковые рукава ее платья не задели его камзола,— только тут он вспомнил, что надо посторониться.

Она,— быть может, не без удовольствия,— заметила волнение Бернара и соблаговолила заглянуть своими красивыми глазами в его глаза, а он мгновенно потупился, и щеки его покрылись живым румянцем. Графиня улыбнулась и, проходя мимо, уронила перчатку, но герой наш от растерянности стоял как вкопанный и не догадывался поднять ее. Тогда белокурый молодой человек (это был не кто иной, как Коменж), стоявший позади Бернара, оттолкнул его и, схватив перчатку, почтительно ее поцеловал, а затем отдал г-же де Тюржи. Графиня, не поблагодарив его, повернулась лицом к Бернару и некоторое время смотрела на него с убийственным презрением, потом, найдя глазами капитана Жоржа, нарочно громко сказала:

— Капитан! Вы не знаете, что это за ротозей? Сколько можно судить по его учтивости, он, наверное, гугенот.

Дружный смех привел несчастного Бернара в крайнее замешательство.

— Это мой брат, сударыня,— не таким громким голосом ответил ей Жорж.— Он только три дня в Париже. Клянусь честью, Лануа до того, как вы взяли на себя труд его обтесать, был нисколько не менее неуклюж, чем мой брат.

Графиня слегка покраснела.

— Это злая шутка — вот что я вам скажу, капитан. Об умерших дурно не говорят. Дайте руку,— меня просила с вами поговорить одна дама: она вами недовольна.

Капитан почтительно взял ее руку и подвел к амбразуре дальнего окна. Уходя, она еще раз оглянулась на Бернара.

По-прежнему ослепленный появлением прелестной графини, сгорая от желания любоваться ею и в то же время не смея поднять на нее глаза, Бернар почувствовал, что кто-то осторожно хлопнул его по плечу. Он обернулся и увидел барона де Водрейля; барон взял его за руку и отвел в сторону, чтобы, как он выразился, никто не помешал им поговорить с глазу на глаз.

— Дорогой друг! — сказал барон.— Вы новичок и, по всей вероятности, не знаете, как себя здесь вести.

Мержи посмотрел на него с изумлением.

— Ваш брат занят, ему некогда давать вам советы. Если позволите, я вам его заменю.

— Я не понимаю, что...

— Вас глубоко оскорбили. Вид у вас был озабоченный, и я решил, что вы обдумываете план мести.

— Мести? Кому? — покраснев до корней волос, спросил Мержи.

— Да ведь коротышка Коменж только что вас изо всех сил толкнул! Весь двор видел, как было дело, и ждет, что вы это так не оставите.

— В зале полно народу,— что же удивительного, если кто-то меня нечаянно толкнул?

— Господин де Мержи! С вами я не имею чести быть близко знаком, но с вашим братом мы большие друзья, и он может подтвердить, что я по мере сил следую Христовой заповеди прощать обиды. У меня нет никакого желания стравливать вас, но в то же время я почитаю за должное обратить ваше внимание на то, что Коменж толкнул вас *не неумышленно*. Он толкнул вас потому, что хотел нанести вам оскорбление. Даже если б он

вас не толкнул, он все равно вас унизил: подняв перчатку Тюржи, он отнял право, принадлежавшее вам. Перчатка лежала у ваших ног, *ergo* [1], вам *одному* принадлежало право поднять ее и отдать... Да вот, посмотрите туда! Видите в самом конце галереи Коменжа? Он показывает на вас пальцем и смеется над вами.

Мержи обернулся и увидел Коменжа, тот со смехом что-то рассказывал окружавшим его молодым людям, а молодые люди слушали с явным любопытством. У Мержи не было никаких доказательств, что речь идет именно о нем, однако доброжелатель сделал свое дело: Мержи почувствовал, как его душой овладевает ярый гнев.

— Я найду его после охоты и думаю, что сумею...— начал он.

— Никогда не откладывайте мудрых решений. Кроме того, если вы вызовете своего недруга тотчас после того, как он причинил вам обиду, то вы гораздо меньше прогневаете бога, чем если вы это сделаете после долгих размышлений. Вы вызываете человека на дуэль в запальчивости, тут большого греха нет, и если вы потом деретесь, то единственно для того, чтобы не совершить более тяжкого греха — чтобы не изменить своему слову. Впрочем, я забыл, что вы протестант. Как бы то ни было, немедленно уговоритесь с ним о времени и месте встречи, а я вас сейчас сведу.

— Надеюсь, он передо мной извинится.

— Об этом вы лучше и не мечтайте, дружище. Коменж еще ни разу не сказал: «Я был неправ». Впрочем, он человек порядочный и, разумеется, даст вам удовлетворение.

Мержи взял себя в руки и изобразил на своем лице равнодушие.

— Коль скоро Коменж меня оскорбил,— объявил Мержи,— я должен потребовать от него удовлетворения, и он мне его даст в любой форме.

— Чудесно, мой милый! Мне нравится ваша храбрость: ведь вам должно быть известно, что Коменж — один из лучших наших фехтовальщиков. По чести, оружием этот господин владеет хорошо. Он учился в Риме у Брамбиллы. Жан Маленький больше не решается скрещивать с ним клинки.

Говоря это, барон пристально вглядывался в слегка побледневшее лицо Мержи; между тем Бернар был больше взволнован самим оскорблением, чем устрашен его последствиями.

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

— Я бы с удовольствием исполнил обязанности вашего секунданта, но, во-первых, я завтра причащаюсь, а во-вторых, я должен драться с де Ренси и не имею права обнажать шпагу против кого-либо еще.

— Благодарю вас. Если дело дойдет до дуэли, моим секундантом будет мой брат.

— Капитан — знаток в этой области. Сейчас я приведу к вам Коменжа, и вы с ним объяснитесь.

Мержи поклонился, а затем, отвернувшись к стене, начал составлять в уме вызов и постарался придать своему лицу соответствующее выражение.

Вызов надо делать изящно,— это, как и многое другое, достигается упражнением. Наш герой первый раз вступил в *дело* — вот почему он испытывал легкое смущение, но его пугал не удар шпаги, он боялся сказать что-нибудь такое, что уронило бы его дворянское достоинство. Только успел он придумать решительную и вместе с тем вежливую фразу, как барон де Водрейль взял его за руку, и фраза мигом вылетела у него из головы.

Коменж, держа шляпу в руке, вызывающе-учтиво поклонился ему и вкрадчивым тоном спросил:

— Милостивый государь! Вы хотели со мной поговорить?

Вся кровь бросилась Бернару в лицо. Он, не задумываясь, ответил Коменжу таким твердым тоном, какого он даже не ожидал от себя:

— Вы наглец, и я требую от вас удовлетворения.

Водрейль одобрительно кивнул головой. Коменж приосанился и, подбоченившись, что в те времена почиталось приличествующим случаю, совершенно серьезно сказал:

— Вы, милостивый государь, *истец,* следственно, право выбора оружия, коль скоро я *ответчик,* предоставляется мне.

— Выбирайте любое.

Коменж сделал вид, что призадумался.

— Эсток — хорошее оружие,— сказал он,— но раны от него могут изуродовать человека, а в наши годы,— с улыбкой пояснил он,— не очень приятно являться к своей возлюбленной со шрамом через все лицо. Рапира оставляет маленькую дырочку, но этого совершенно достаточно.— Тут он опять улыбнулся.— Итак, я выбираю рапиру и кинжал.

— Превосходно,— сказал Мержи, повернулся и пошел.

— Одну минутку! — крикнул Водрейль.— Вы забыли условиться о времени и месте встречи.

— Придворные дерутся на Пре-о-Клер,— сказал Ко-

менж.— Но, быть может, у вас, милостивый государь, есть другое излюбленное место?

— На Пре-о-Клер, так на Пре-о-Клер.

— Что же касается часа... По некоторым причинам я раньше восьми не встану... Понимаете? Дома я сегодня не ночую и раньше девяти не смогу быть на Пре.

— Хорошо, давайте в девять.

Отведя глаза в сторону, Бернар заметил на довольно близком от себя расстоянии графиню де Тюржи,— она уже рассталась с капитаном, а тот разговорился с другой дамой. Легко себе представить, что при виде прекрасной виновницы этого злого дела наш герой придал своему лицу важное и деланно беспечное выражение.

— С некоторых пор вошло в моду драться в красных штанах,— сообщил Водрейль.— Если у вас таких нет, я вам вечером пришлю. Кровь на них не видна,— так гораздо опрятнее.

— По мне, это ребячество,— заметил Коменж.

Мержи принужденно улыбнулся.

— Словом, друзья мои,— сказал барон де Водрейль, по-видимому, чувствовавший себя в своей родной стихии,— теперь нужно условиться только о *секундантах* и *тьерсах* для вашего поединка.

— Этот господин совсем недавно при дворе,— заметил Коменж.— Ему, наверное, трудно будет найти *тьерса.* Я готов сделать ему уступку и удовольствоваться секундантом.

Мержи не без труда сложил губы в улыбку.

— Это верх учтивости,— сказал барон.— Иметь дело с таким сговорчивым человеком, как господин де Коменж,— право, одно удовольствие.

— Вам понадобится рапира такой же длины, как у меня,— продолжал Коменж,— а поэтому я вам рекомендую Лорана под вывеской *Золотое солнце* на улице Феронри — это лучший оружейник в городе. Скажите, что это я вас к нему направил, и он все для вас сделает.

Произнеся эти слова, он повернулся и как ни в чем не бывало примкнул к той же кучке молодых людей.

— Поздравляю вас, господин Бернар,— сказал Водрейль.— Вы хорошо бросили вызов. Мало сказать «хорошо» — отлично! Коменж не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся пуще огня, в особенности после того, как он убил великана Канильяка. Два месяца тому назад он убил Сен-Мишеля, но это к большой чести ему не служит. Сен-Мишель не принадлежал к числу опасных противников, а вот Канильяк убил

не то пять, не то шесть дворян и не получил при этом ни единой царапины. Он учился в Неаполе у Борелли. Говорят, будто Лансак перед смертью поведал ему секрет удара, которым он и натворил потом столько бед. И то сказать,— как бы говоря сам с собой, продолжал барон,— Канильяк обокрал церковь в Осере и швырнул наземь святые дары. Нет ничего удивительного, что бог его наказал.

Мержи все это было неинтересно слушать, но, боясь, как бы Водрейль хотя бы на краткий миг не заподозрил его в малодушии, он счел своим долгом поддержать разговор.

— К счастью, я никогда не обкрадывал церквей и не притрагивался к святым дарам,— заметил он,— значит, поединок мне не столь опасен.

— Позвольте дать вам еще один совет. Когда вы с Коменжем скрестите шпаги, бойтесь одной его хитрости, стоившей жизни капитану Томазо. Коменж крикнул, что острие его шпаги сломалось. Томазо, ожидая рубящего удара, поднял свою шпагу над головой, а между тем шпага у Коменжа и не думала ломаться и по самую рукоятку вошла в грудь Томазо, потому что Томазо, не ожидая колющего удара, не защитил грудь... Впрочем, вы на рапирах,— это не так опасно.

— Я буду драться не на жизнь, а на смерть.

— Да, вот еще что! Выбирайте кинжал с крепкой чашкой — это чрезвычайно важно для парирования. Видите, у меня шрам на левой руке? Это потому, что я однажды вышел на поединок без кинжала. Я повздорил с молодым Таларом и из-за отсутствия кинжала едва не лишился левой руки.

— А он был ранен? — с отсутствующим видом спросил Мержи.

— Я его убил по обету, который я дал моему покровителю, святому Маврикию. Еще не забудьте захватить полотна и корпии, это не помешает. Ведь не всегда же убивают наповал. Еще хорошо бы во время мессы положить шпагу на престол... Впрочем, вы протестант... Еще одно слово. Не думайте, что отступление наносит урон вашей чести. Напротив того, заставьте Коменжа как можно больше двигаться. У него короткое дыхание; загоняйте его, а потом, выждав удобный момент, кольните хорошенько в грудь, и из него дух вон.

Барон продолжал бы и дальше давать не менее полезные советы, если бы громкие звуки рогов не возвестили, что король сел на коня. Двери покоев королевы отворились, и их величества в охотничьих костюмах направились к крыльцу.

Капитан Жорж отошел от своей дамы и, подойдя к брату, хлопнул его по плечу и с веселым видом сказал:

— Везет тебе, повеса! Посмотрите на этого маменькиного сынка с кошачьими усами. Стоило ему появиться — и вот уже все женщины от него без ума. Тебе известно, что прекрасная графиня четверть часа говорила со мной о тебе? Ну так не зевай! На охоте все время скачи рядом с ней и будь как можно любезнее. Дьявольщина, да что с тобой? Уж не заболел ли ты? У тебя такое вытянутое лицо, как у протестантского попа, которого сейчас поведут на костер. Да ну же, черт побери, развеселись!..

— У меня нет особого желания ехать на охоту, я предпочел бы...

— Если вы не поедете на охоту, Коменж вообразит, что вы трусите,— шепнул ему барон де Водрейль.

— Идем! — сказал Бернар и провел ладонью по горячему лбу.

Он решил рассказать о своем приключении брату после охоты. «Какой стыд! — сказал он себе.— Вдруг госпожа де Тюржи подумала бы, что я трушу!.. Вдруг бы ей показалось, что я отказываюсь от удовольствия поохотиться, потому что мне не дает покоя мысль о предстоящей дуэли!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОХОТА

> The very butcher of a silk button, a duellist, a duellist, a gentleman of the very first house,— of the first and second cause: Ah! the immortal *passado! the punto reverso!*
>
> *Shakespeare, Romeo and Juliet* [1]

Во дворе замка суетилось великое множество дам и кавалеров, нарядно одетых, верхом на знатных конях. Звуки рогов, лай собак, громкие голоса острящих всадников — все это сли-

---

[1] Он настоящий губитель шелковых пуговиц, дуэлянт, дуэлянт, дворянин с ног до головы, знаток первых и вторых поводов к дуэли. Ах, бессмертное *passado! Punto reverso! Шекспир, Ромео и Джульетта (англ.).*

валось в шум, радующий слух охотника, но несносный для обычного человеческого слуха.

Бернар машинально пошел вслед за братом во двор и случайно оказался подле прелестной графини; она, уже в маске, сидела верхом на горячей андалусской лошадке, бившей копытом о землю и в нетерпении грызшей удила. Но и на этой лошади, которая поглотила бы все внимание заурядного всадника, графиня чувствовала себя совершенно спокойно, точно сидела в кресле у себя в комнате.

Капитан под предлогом натянуть мундштук у андалусской лошадки приблизился к графине.

— Вот мой брат,— сказал он амазонке вполголоса, однако достаточно громко для того, чтобы его мог услышать Бернар.— Будьте с бедным мальчиком поласковей: он сам не свой с тех пор, как увидел вас в Лувре.

— Я уже забыла его имя,— довольно резким тоном проговорила она.— Как его зовут?

— Бернаром. Обратите внимание, сударыня, что перевязь у него точно такого же цвета, как у вас ленты.

— Он умеет ездить верхом?

— Вы скоро сами в этом удостоверитесь.

Жорж поклонился и поспешил к придворной даме, за которой он недавно начал ухаживать. Он слегка наклонился к седельной луке, взял лошадь своей дамы за уздечку и скоро позабыл и о брате, и об его прекрасной и гордой спутнице.

— Оказывается, вы знакомы с Коменжем, господин де Мержи? — спросила графиня.

— Кто, я, сударыня?.. Очень мало,— запинаясь, проговорил Мержи.

— Но ведь вы только что с ним разговаривали.

— Это был первый наш разговор.

— Кажется, я догадываюсь, что́ вы ему сказали.

А глаза ее, смотревшие из-под маски, словно хотели заглянуть к нему в душу.

К великой радости Бернара, которого эта беседа смущала невероятно, к графине, догнав ее, обратилась какая-то дама. Тем не менее, сам не отдавая себе ясного отчета, зачем, он продолжал ехать рядом с графиней. Быть может, он хотел позлить этим Коменжа, следившего за ним издали.

Охотники выехали наконец из замка. Поднятый олень скрылся в лесу. Вся охота устремилась за ним, и тут Мержи с удивлением заметил, как ловко г-жа де Тюржи правит лошадью и с каким бесстрашием преодолевает она встречающиеся

на пути препятствия. Мержи ехал на берберийском коне превосходных статей и благодаря этому не отставал от нее, но, к его великой досаде, граф де Коменж, у которого конь был такой же удалый, тоже ехал рядом с г-жой де Тюржи и, невзирая на быстроту бешеного галопа, невзирая на увлеченность охотой, то и дело обращался к амазонке, а Бернар между тем завидовал в глубине души его легкости, беспечности, а главное, его способности болтать милую чепуху, которая, видимо, забавляла графиню и этим злила Бернара. И обоих соперников, вступивших в благородное соревнование, не останавливали ни высокие изгороди, ни широкие рвы,— они уже раз двадцать рисковали сломить себе шею.

Внезапно графиня, отделившись от охоты, свернула с дороги, по которой направились король и его свита, на боковую.

— Куда вы? — крикнул Коменж.— Вы собьетесь со следа! Разве вы не слышите, что рога и лай — с той стороны?

— Ну, так и поезжайте другой дорогой. Никто вас не неволит.

Коменж ничего не ответил и поворотил коня туда же, куда и она. Мержи поехал вместе с ними. Когда же они углубились в лес шагов на сто, графиня попридержала лошадь. Коменж, ехавший справа от нее, и Мержи, ехавший слева, последовали ее примеру.

— У вас славный боевой конь, господин де Мержи,— сказал Коменж,— он даже не вспотел.

— Это берберийский конь, брат купил его у одного испанца. Вот рубец от сабельного удара,— он был ранен под Монконтуром.

— Вы были на войне? — обратившись к Мержи, спросила графиня.

— Нет, сударыня.

— Значит, вы не испытали на себе, что такое огнестрельная рана?

— Нет, сударыня.

— А сабельный удар?

— Тоже нет.

Мержи почудилось, что она улыбнулась. Коменж насмешливо вздернул верхнюю губу.

— Ничто так не украшает молодого дворянина, как глубокая рана,— заметил он.— Ведь правда, сударыня?

— В том случае, если дворянин честно ее заслужил.

— Что значит «честно заслужил»?

— Славу приносит только та рана, которую человек получил на поле боя. А раны, полученные на дуэли,— это совсем другое дело. Они ничего, кроме презрения, во мне не вызывают.

— Я полагаю, что господин де Мержи, прежде чем сесть на коня, имел с вами разговор?

— Нет,— сухо ответила графиня.

Мержи подъехал к Коменжу.

— Милостивый государь! — сказал он тихо.— Как скоро мы присоединимся к охоте, мы с вами можем заехать в чащу, и там я постараюсь доказать вам, что я ничего не предпринимал для того, чтобы уклониться от встречи с вами.

Коменж бросил на него взгляд, в котором можно было прочесть и жалость и удовольствие.

— Тем лучше! Я не имею оснований вам не верить. Что же касается вашего предложения, то принять его я не могу: только мужичье дерется без свидетелей. Наши друзья, которых мы в это дело втянули, не простят нам, что мы их не подождали.

— Как вам будет угодно, милостивый государь,—сказал Мержи и пустился догонять графиню.

Графиня ехала с опущенной головой: казалось, она была занята своими мыслями. Все трое молча доехали до распутья,— тут и кончалась их дорога.

— Это не рог трубит? — спросил Коменж.

— По-моему, звук долетает слева, вон из того кустарника,— заметил Мержи.

— Да, рог, теперь мне это ясно. Могу даже сказать, что это болонская валторна. Будь я трижды неладен, если это не валторна моего приятеля Помпиньяна. Вы не можете себе представить, господин де Мержи, какая огромная разница между болонской валторной и теми валторнами, которые выделывают наши жалкие парижские ремесленники.

— Ее слышно издалека.

— А какой звук! Какая густота! Собаки, едва заслышав его, забывают, что пробежали добрых десять миль. Откровенно говоря, хорошие вещи делают только в Италии да во Фландрии. Как вам нравится мой валлонский воротник? К охотничьему костюму он идет. У меня есть воротники и брыжи «Сумбур» для балов, но и этот совсем простой воротник — вы думаете, его вышивали в Париже? Какое там! Мне его привезли из Бреды. У меня есть друг во Фландрии; если хотите, он вам пришлет такой же... Ах да! — перебил он себя и рассмеялся.— Какой же я рассеянный! Бог ты мой! Совсем из головы вон!

Графиня остановила лошадь.

— Коменж! Охота впереди! Судя по звуку рогов, оленя уже начали травить.

— По-видимому, вы правы, очаровательница.

— А вы разве не хотите принять участие в травле?

— Разумеется, хочу. Иначе мы лишимся славы охотников и наездников.

— В таком случае не мешает поторопиться.

— Да, наши лошади передохнули. Покажите же нам пример!

— Я устала, я дальше не поеду. Со мной побудет господин де Мержи. Поезжайте!

— Но...

— Сколько раз нужно вам повторять? Пришпорьте коня.

Коменж не трогался с места. Кровь прилила у него к щекам. Он бросал злобные взгляды то на Бернара, то на графиню.

— Госпоже де Тюржи хочется побыть вдвоем,— насмешливо улыбнувшись, сказал он.

Графиня показала рукой на кустарник, откуда долетали звуки рога, и кончиками пальцев сделала крайне выразительный жест. Но Коменж, видимо, все еще не склонен был уступать место своему сопернику.

— Что ж, придется сказать вам все начистоту. Оставьте нас, господин де Коменж, ваше присутствие мне несносно. Ну как, теперь вы поняли?

— Отлично понял, сударыня,— отвечал он с бешенством и, понизив голос, прибавил: — А что касается вашего нового любимчика... он недолго будет вас тешить... Счастливо оставаться, господин де Мержи, *до свиданья!*

Последние слова он произнес раздельно, а затем, дав коню шпоры, погнал его галопом.

Лошадь графини припустилась было за ним, но графиня натянула поводья и поехала шагом. Время от времени она поднимала голову и посматривала в сторону Мержи с таким видом, словно ей хотелось заговорить с ним, но потом снова отводила глаза, как бы стыдясь, что не знает, с чего начать разговор.

Мержи был вынужден заговорить первым:

— Я горжусь, сударыня, тем предпочтением, какое вы мне оказали.

— Господин Бернар! Вы умеете драться?..

— Умею, сударыня,— отвечал он с изумлением.

— Просто уметь — этого мало. Вы хорошо... вы очень хорошо умеете драться?

— Достаточно хорошо для дворянина и, разумеется, плохо для учителя фехтования.

— У нас в стране дворяне лучше владеют оружием, нежели те, что избрали это своим ремеслом.

— Да, правда, я слыхал, что многие дворяне тратят в фехтовальных залах время, которое они могли бы лучше провести где-нибудь в другом месте.

— *Лучше?*

— Ну еще бы! Не лучше ли беседовать с дамами,— спросил он, улыбаясь,— чем обливаться пóтом в фехтовальной зале?

— Скажите: вы часто дрались на дуэли?

— Слава богу, ни разу, сударыня! А почему вы мне задаете такие вопросы?

— Да будет вам известно, что у женщины не спрашивают, с какой целью она что-нибудь делает. По крайней мере, так принято у людей благовоспитанных.

— Обещаю придерживаться этого правила,— молвил Мержи и, чуть заметно улыбнувшись, наклонился к шее своего коня.

— В таком случае... как же вы будете вести себя завтра?

— Завтра?

— Да, завтра. Не прикидывайтесь изумленным.

— Сударыня...

— Отвечайте, я знаю все. Отвечайте! — крикнула она и движением, исполненным царственного величия, вытянула в его сторону руку.

Кончик ее пальца коснулся его рукава, и от этого прикосновения он вздрогнул.

— Буду вести себя как можно лучше,— отвечал он наконец.

— Ответ достойный. Это ответ не труса и не задиры. Но вы знаете, что для начала вам уготована встреча с весьма опасным противником?

— Ничего не поделаешь! Конечно, мне придется трудно, как, впрочем, и сейчас,— с улыбкой добавил он.— Ведь до этого я видел только крестьянок, и не успел я привыкнуть к придворной жизни, как уже очутился наедине с прекраснейшей дамой французского двора.

— Давайте говорить серьезно. Коменж лучше, чем кто-

либо из придворных, владеет оружием, а ведь у нас — драчун на драчуне. Он король записных дуэлистов.

— Да, я слышал.

— И что же, вас это не смущает?

— Повторяю: я буду вести себя как можно лучше. С доброй шпагой, а главное, с божьей помощью бояться нечего!..

— С божьей помощью!.. — презрительно произнесла она.— Ведь вы гугенот, господин де Мержи?

— Гугенот, сударыня,— отвечал он серьезно; так он всегда отвечал на этот вопрос.

— Значит, поединок должен быть для вас еще страшнее.

— Осмелюсь спросить: почему?

— Подвергать опасности свою жизнь — это еще ничего, но вы подвергаете опасности нечто большее, чем жизнь,— вашу душу.

— Вы рассуждаете, сударыня, исходя из догматов вашего вероучения, догматы нашего вероучения более утешительны.

— Вы играете в азартную игру. На карту брошено спасение вашей души. В случае проигрыша,— а проигрыш почти неизбежен,— вечная мука!

— Да мне и так и так худо. Умри я завтра *католиком,* я бы умер, совершив *смертный грех.*

— Сравнили! Разница громадная! — воскликнула г-жа де Тюржи, видимо, уязвленная тем, что Бернар в споре с ней приводит довод, основываясь на вероучении, которое исповедовала она.— Наши богословы вам объяснят...

— Я в этом уверен, они все объясняют, сударыня; они берут на себя смелость толковать Писание, как им вздумается. Например...

— Перестаньте! С гугенотом нельзя затеять минутный разговор, чтобы он по любому случайному поводу не начал отчитывать вас от Писания.

— Это потому, что мы читаем Писание, а у вас священники — и те его не знают. Лучше давайте поговорим о другом. Как вы думаете, олень уже затравлен?

— Я вижу, вы очень стоите за свою веру?

— Опять вы, сударыня!

— Вы считаете, что это правильная вера?

— Более того, я считаю, что это лучшая вера, самая правильная, иначе я бы ее переменил.

— А вот ваш брат переменил же ее!

— У него были основания для того, чтобы стать католиком, а у меня свои основания для того, чтобы оставаться протестантом.

— Все они упрямы и глухи к голосу разума! — с раздражением воскликнула она.

— Завтра будет дождь,— посмотрев на небо, сказал Мержи.

— Господин де Мержи! Мои дружеские чувства к вашему брату, а также нависшая над вами опасность вызывают во мне сочувствие к вам...

Мержи почтительно поклонился.

— Вы, еретики, в реликвии не верите?

Мержи улыбнулся.

— Вы полагаете, что одно прикосновение к ним оскверняет?..— продолжала она.— Вы бы отказались носить ладанку, как это принято у нас, приверженцев римско-католической церкви?

— А у нас это не принято,— нам, протестантам, обычай этот представляется по меньшей мере бесполезным.

— Послушайте. Как-то раз один из моих двоюродных братьев повесил ладанку на шею охотничьей собаке, а затем, отойдя от нее на двенадцать шагов, выстрелил из аркебузы крупной дробью.

— И убил?

— Ни одна дробинка не попала.

— Чудо! Вот бы мне такую ладанку!

— Правда?.. И вы бы стали ее носить?

— Конечно. Коли она защитила собаку, то уж... Впрочем, я не уверен, не хуже ли еретик собаки... Я имею в виду собаку католика...

Госпожа де Тюржи, не слушая его, проворно расстегнула верхние пуговицы своего узкого лифа и сняла с груди золотой медальон на черной ленте.

— Возьмите! — сказала она.— Вы обещали ее носить. Вернете когда-нибудь потом.

— Если это будет от меня зависеть.

— Но вы будете бережно с ней обращаться?.. Не вздумайте кощунствовать! Обращайтесь с ней как можно бережнее!

— Ее дали мне вы, сударыня!

Госпожа де Тюржи протянула ему ладанку, он взял ее и повесил на шею.

— Католик непременно поблагодарил бы руку, отдавшую ему этот священный талисман.

Мержи схватил руку графини и хотел было поднести к губам.

— Нет, нет, поздно!

— А может, передумаете? Вряд ли мне еще когда-нибудь представится такой случай.

— Снимите перчатку,— сказала она и протянула ему руку.

Снимая перчатку, он ощутил легкое пожатие. И тут он запечатлел пламенный поцелуй на ее прекрасной белой руке.

— Господин Бернар! — с волнением в голосе заговорила графиня.— Вы будете упорствовать до конца, ничто вас не тронет? Когда-нибудь вы обратитесь в нашу веру ради меня?

— Почем я знаю! — отвечал он со смехом.— Попросите получше, подольше. Одно могу сказать наверное: уж если кто меня и обратит, так только вы.

— Скажите мне положа руку на сердце: что, если какая-нибудь женщина... ну, которая бы сумела...

Она запнулась.

— Что сумела?..

— Ну да! Если б тут была, например, замешана любовь?.. Но смотрите: будьте со мной откровенны! Говорите серьезно!

— Серьезно?

Он попытался снова взять ее руку.

— Да. Любовь к женщине другого вероисповедания... любовь к ней не заставила бы вас измениться?.. Бог пользуется разными средствами.

— Вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно и серьезно?

— Я этого требую.

Мержи, опустив голову, медлил с ответом. Признаться сказать, он подыскивал уклончивый ответ. Г-жа де Тюржи подавала ему надежду, а он вовсе не собирался отвергать ее. Между тем при дворе он был всего несколько часов, и его совесть — совесть провинциала — была еще ужасно щепетильна.

— Я слышу порсканье! — крикнула вдруг графиня, так и не дождавшись этого столь трудно рождавшегося ответа.

Она хлестнула лошадь и пустила ее в галоп. Мержи помчался следом за ней, но ни единого взгляда, ни единого слова он так от нее и не добился.

К охоте они примкнули мгновенно.

Олень сперва забрался в пруд,— выгнать его оттуда оказалось не так-то просто. Некоторые всадники спешились и, вооружившись длинными шестами, вынудили бедное животное снова пуститься бежать. Но холодная вода его доконала. Олень вышел из пруда, тяжело дыша, высунув язык, и стал делать короткие скачки. А у собак, наоборот, сил как будто прибавилось вдвое. Пробежав небольшое расстояние, олень почувствовал, что бегством ему не спастись; он сделал последнее усилие и, остановившись у толстого дуба, смело повернулся мордой к собакам. Тех, что бросились на него первыми, он поддел на рога. Одну лошадь он опрокинул вместе со всадником. После этого люди, лошади, собаки, став осторожнее, образовали вокруг оленя широкий круг и уже не решались приблизиться к нему настолько, чтобы он мог их достать своими грозными ветвистыми рогами.

Король с охотничьим ножом в руке ловко соскочил с коня и, подкравшись сзади, перерезал у оленя сухожилия. Олень издал нечто вроде жалобного свиста и тотчас же рухнул. Собаки бросились на него. Они вцепились ему в голову, в морду, в язык, так что он не мог пошевелиться. Из глаз его катились крупные слезы.

— Пусть приблизятся дамы! — крикнул король.

Дамы приблизились; почти все они сошли с коней.

— Вот тебе, *парпайо!* — сказал король и, вонзив нож оленю в бок, повернул его, чтобы расширить рану.

Мощная струя крови залила королю лицо, руки, одежду.

«Парпайо» — это была презрительная кличка кальвинистов: так их часто называли католики.

Самое это слово произвело на некоторых неприятное впечатление, не говоря уже о том, при каких обстоятельствах оно было употреблено, меж тем как другие встретили его одобрительно.

— Король сейчас похож на мясника,— довольно громко, с брезгливым выражением лица произнес зять адмирала, юный Телиньи.

Доброжелатели,— а при дворе таковых особенно много,— не замедлили передать эти слова государю, и тот их запомнил.

Насладившись приятным зрелищем, какое являли собой собаки, пожиравшие внутренности оленя, двор поехал обратно в Париж. Дорогой Мержи рассказал брату, как его оскорбили и как произошел вызов на дуэль. Советы и упреки были уже бесполезны, и капитан обещал поехать завтра вместе с ним.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗАПИСНОЙ ДУЭЛИСТ И ПРЕ-О-КЛЕР

For one of us must yield his breath,
Ere fram the field on foot, we flee.

«The duel of Stuart and Warton» [1]

Несмотря на усталость после охоты, Мержи долго не мог заснуть. Охваченный лихорадочным волнением, он метался на постели, воображение у него разыгралось. Его преследовал неотвязный рой мыслей, побочных и даже совсем не связанных с завтрашним событием. Ему уже не раз приходило на ум, что приступ лихорадки — это начало серьезного заболевания, которое спустя несколько часов усилится и прикует его к постели. Что тогда будет с его честью? Что станут о нем говорить, особенно г-жа де Тюржи и Коменж? Он дорого дал бы за то, чтобы приблизить условленный час дуэли.

К счастью, на восходе солнца Мержи почувствовал, что кровь уже не так бурлит в его жилах, предстоящая встреча не повергала его больше в смятение. Оделся он спокойно; сегодняшний его туалет отличался даже некоторой изысканностью. Он представил себе, что на месте дуэли появляется прелестная графиня и, заметив, что он легко ранен, своими руками перевязывает ему рану и уже не делает тайны из своего чувства к нему. На луврских часах пробило восемь — это вернуло Бернара к действительности, и почти в то же мгновение к нему вошел его брат.

Глубокая печаль изображалась на его лице; было видно, что он тоже плохо провел эту ночь. Тем не менее, пожимая руку Бернару, он выдавил из себя улыбку и попытался показать, что он в отличном расположении духа.

— Вот рапира и кинжал с чашкой,— сказал он,— и то и другое — от Луно, из Толедо. Проверь, не слишком ли для тебя тяжела шпага.

Он бросил на кровать длинную шпагу и кинжал.

Бернар вынул шпагу из ножен, согнул ее, осмотрел кончик и остался доволен. После этого он обратил внимание на кинжал; в его чашке было много дырочек, проделанных для

---

[1] Ибо один из нас испустит дух,
Прежде чем мы, пешие, убежим с поля боя. *«Дуэль между Стюартом и Уортоном» (англ.).*

того, чтобы не пускать дальше неприятельскую шпагу, для того, чтобы она застряла и чтобы ее нелегко было извлечь.

— По-моему, с таким превосходным оружием мне нетрудно будет себя защитить,— проговорил он.

Затем Бернар показал висевшую у него на груди ладанку, которую ему дала г-жа де Тюржи, и, улыбаясь, прибавил:

— А вот талисман — он защищает лучше всякой кольчуги.

— Откуда у тебя эта игрушка?

— Угадай!

Честолюбивое желание показать брату, что он пользуется успехом у женщин, заставило Бернара на минуту забыть и Коменжа, и вынутую из ножен боевую шпагу, лежавшую у него перед глазами.

— Ручаюсь головой, что тебе ее дала эта сумасбродка графиня. Черт бы ее побрал вместе с ее медальоном!

— А ты знаешь, она дала мне этот талисман нарочно, чтобы я им сегодня воспользовался.

— Ненавижу я ее манеру — снимать перчатку и всем показывать свою красивую белую руку!

— Я, конечно, в папистские реликвии не верю, боже меня избави,— густо покраснев, сказал Бернар,— но если мне суждено нынче погибнуть, я все же хотел бы, чтобы она узнала, что, сраженный, я хранил на груди этот ее залог.

— Как ты о себе возомнил! — пожав плечами, заметил капитан.

— Вот письмо к матери,— сказал Бернар, и голос у него дрогнул.

Жорж молча взял его, подошел к столу, увидел маленькую Библию и, чтобы чем-нибудь себя занять, пока брат, кончая одеваться, завязывал уйму шнурков, которые тогда носили на платье, начал было читать.

На той странице, на которой он наудачу раскрыл Библию, он прочел слова, написанные рукой его матери: «1-го мая 1547 года у меня родился сын Бернар. Господи! Охрани его на всех путях твоих! Господи! Огради его от всякого зла!»

Капитан закусил губу и бросил книгу на стол. Заметив это, Бернар подумал, что брату пришла в голову какая-нибудь богопротивная мысль. Он со значительным видом взял Библию, снова вложил ее в вышитый футляр и благоговейно запер в шкаф.

— Это мамина Библия,— сказал он.

Капитан в это время расхаживал по комнате и ничего ему не ответил.

— Не пора ли нам? — застегивая портупею, спросил Бернар.

— Нет, мы еще успеем позавтракать.

Оба приблизились к столу; на столе стояли блюда с пирогами и большой серебряный жбан с вином. За едой они долго, делая вид, что беседа их очень занимает, обсуждали достоинства вина и сравнивали его с другими винами из капитанского погреба. Каждый старался за бессодержательным разговором скрыть от собеседника истинные свои чувства.

Капитан встал первым.

— Идем,— сказал он хрипло.

С этими словами он надвинул шляпу на глаза и сбежал по лестнице.

Они сели в лодку и переехали Сену. Лодочник, догадавшийся по их лицам, зачем они едут в Пре-о-Клер, проявил особую предупредительность и, налегая на весла, рассказал им во всех подробностях, как в прошлом месяце два господина, один из которых был граф де Коменж, оказали ему честь и наняли у него лодку, чтобы в лодке спокойно драться, не боясь, что кто-нибудь им помешает. Г-н де Коменж пронзил своего противника насквозь — вот только фамилии его он, лодочник, дескать, к сожалению, не знает,— раненый свалился в реку, и лодочник так его и не вытащил.

Как раз когда они приставали к берегу, немного ниже показалась лодка с двумя мужчинами.

— Вот и они. Побудь здесь,— сказал капитан и побежал навстречу лодке с Коменжем и де Бевилем.

— А, *это ты*, — *воскликнул виконт.*— *Кого же* Коменж должен убить: тебя или твоего брата?

Произнеся эти слова, он со смехом обнял капитана.

Капитан и Коменж с важным видом раскланялись.

— Милостивый государь! — высвободившись наконец из объятий Бевиля, сказал Коменжу капитан.— Я почитаю за должное сделать усилие, дабы предотвратить пагубные последствия ссоры, которая, однако, не задела ничьей чести. Я уверен, что мой друг (тут он показал на Бевиля) присоединит свои усилия к моим.

Бевиль состроил недовольную мину.

— Мой брат еще очень молод,— продолжал Жорж.— Он человек безвестный, в искусстве владения оружием не искушенный,— вот почему он принужден выказывать особую щепетильность. Вы, милостивый государь, напротив того, обладаете прочно устоявшейся репутацией, ваша честь только

выиграет, если вам благоугодно будет признать в присутствии господина де Бевиля и моем, что вы нечаянно...

Коменж прервал его взрывом хохота.

— Да вы что, шутите, дорогой капитан? Неужели вы воображаете, что я стал бы так рано покидать ложе моей любовницы... чтобы я стал переезжать Сену только для того, чтобы извиниться перед каким-то сопляком?

— Вы забываете, милостивый государь, что вы говорите о моем брате и что таким образом вы оскорбляете...

— Да хоть бы это был ваш отец, мне-то что! Меня вся ваша семья весьма мало трогает.

— В таком случае, милостивый государь, вам волей-неволей придется иметь дело со всей нашей семьей. А так как я старший, то будьте любезны, начните с меня.

— Простите, господин капитан, по правилам дуэли мне надлежит драться с тем, кто меня вызвал раньше. Ваш брат имеет *неотъемлемое,* как принято выражаться в суде, право на первоочередность. Когда я покончу с ним, я буду в вашем распоряжении.

— Совершенно верно! — воскликнул Бевиль.— Иного порядка дуэли я не допущу.

Бернар, удивленный тем, что собеседование затянулось, стал медленно приближаться. Подошел же он как раз, когда его брат принялся осыпать Коменжа градом оскорблений, вплоть до «подлеца», но Коменж на все невозмутимо отвечал:

— После брата я займусь вами.

Бернар схватил брата за руку.

— Жорж! — сказал он.— Хорошую ты мне оказываешь услугу! Ты бы хотел, чтобы я оказал тебе такую же? Милостивый государь! — обратился он к Коменжу.— Я в вашем распоряжении. Мы можем начать когда вам угодно.

— Спю же минуту,— объявил тот.

— Ну и чудесно, мой дорогой,— сказал Бевиль и пожал руку Бернару.— Если только на меня не ляжет печальный долг похоронить тебя нынче здесь, ты далеко пойдешь, мой мальчик.

Коменж снял камзол и развязал ленты на туфлях,— этим он дал понять, что не согласится ни на какие уступки. Таков был обычай заправских дуэлистов. Бернар и Бевиль сделали то же самое. Один лишь капитан даже не сбросил плаща.

— Что с тобой, друг мой Жорж? — спросил Бевиль.— Разве ты не знаешь, что тебе предстоит схватиться со мной врукопашную? Мы с тобой не из тех секундантов, что стоят

сложа руки в то время, как дерутся их друзья, мы придерживаемся андалусских обычаев.

Капитан пожал плечами.

— Ты думаешь, я шучу? Честное слово, тебе придется драться со мной. Пусть меня черт возьмет, если ты не будешь со мной драться!

— Ты сумасшедший, да к тому же еще и дурак,— холодно сказал капитан.

— Черт возьми! Или ты сейчас же передо мной извинишься, или я вынужден буду...

Он с таким видом поднял еще не вынутую из ножен шпагу, словно собирался ударить Жоржа.

— Ты хочешь драться? — спросил капитан.— Пожалуйста.

И он мигом стащил с себя камзол.

Коменжу стоило с особым изяществом один только раз взмахнуть шпагой, и ножны отлетели шагов на двадцать. Бевиль попытался сделать то же самое, однако ножны застряли у него на середине шпаги, а это считалось признаком неуклюжести и дурной приметой. Братья обнажили шпаги хотя и не столь эффектно, а все-таки ножны отбросили — они могли им помешать. Каждый стал против своего недруга с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре клинка скрестились одновременно.

Жорж тем приемом, который итальянские учителя фехтования называли тогда *liscio di spada è cavare alla vita*[1] и который заключался в том, чтобы противопоставить слабости силу, в том, чтобы отвести оружие противника и ударить по нему, сразу же выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его незащищенной груди, а затем, вместо того чтобы проткнуть его, хладнокровно опустил шпагу.

— Тебе со мной не тягаться,— сказал он.— Прекратим схватку. Но смотри: не выводи меня из себя!

Увидев шпагу Жоржа так близко от своей груди, Бевиль побледнел. Слегка смущенный, он протянул ему руку, после чего оба воткнули шпаги в землю, и с этой минуты они уже были всецело поглощены наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены.

Бернар был храбр и умел держать себя в руках. Фехтовальные приемы он знал прилично, а физически был гораздо сильнее Коменжа, который вдобавок, видимо, чувствовал усталость после весело проведенной ночи. Первое время Бернар,

---

[1] Проворство шпаги спасает жизнь *(итал.)*.

когда Коменж на него налетал, ограничивался тем, что с великой осторожностью парировал удары и всячески старался путать его карты, кинжалом прикрывая грудь, а в лицо противнику направляя острие шпаги. Это неожиданное сопротивление разозлило Коменжа. Он сильно побледнел. У человека храброго бледность является признаком дикой злобы. Он стал еще яростнее нападать. Во время одного из выпадов он с изумительной ловкостью подбросил шпагу Бернара и, стремительно нанеся ему колющий удар, неминуемо проткнул бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство, которое может показаться почти чудом и благодаря которому удар был отведен: острие рапиры натолкнулось на ладанку из гладкого золота и, скользнув по ней, приняло несколько наклонное направление. Вместо того, чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя параллельно ребру, вышла на расстоянии двух пальцев от первой раны. Не успел Коменж извлечь свое оружие, как Бернар ударил его кинжалом в голову с такой силой, что сам потерял равновесие и полетел. Коменж упал на него. Секунданты подумали, что убиты оба.

Бернар сейчас же встал, и первым его движением было поднять шпагу, которая выпала у него из рук при падении. Коменж не шевелился. Бевиль приподнял его. Лицо у Коменжа было все в крови. Отерев кровь платком, Бевиль обнаружил, что удар кинжалом пришелся в глаз и что друг его был убит наповал, так как лезвие дошло, вне всякого сомнения, до самого мозга.

Бернар невидящим взором смотрел на труп.

— Бернар! Ты ранен? — подбежав к нему, спросил капитан.

— Ранен? — переспросил Бернар и только тут заметил, что рубашка у него намокла от крови.

— Пустяки,— сказал капитан,— шпага только скользнула.

Он вытер кровь своим платком, а затем, чтобы перевязать рану, попросил у Бевиля его платок. Бевиль поддерживал тело Коменжа, но тут он его уронил на траву и поспешил дать Жоржу свой платок, а также платок, который он нашел у Коменжа в кармане камзола.

— Фу, черт! Вот это удар! Ну и рука же у вас, дружище! Дьявольщина! Что скажут парижские записные дуэлисты, если из провинции к нам станут приезжать такие хваты, как вы? Скажите, пожалуйста, сколько раз вы дрались на дуэли?

— Сегодня — увы! — первый раз,— отвечал Бернар.— Помогите же ради бога вашему другу!

— Какая тут к черту помощь! Вы его так угостили, что он

уже ни в чем больше не нуждается. Клинок вошел в мозг, удар был нанесен такой крепкой, такой уверенной рукой, что... Взгляните на бровь и на щеку — чашка кинжала вдавилась, как печать в воск.

Бернар задрожал всем телом. Крупные слезы покатились по его щекам.

Бевиль поднял кинжал и принялся внимательно осматривать выемки — в них было полно крови.

— Этому оружию младший брат Коменжа обязан поставить хорошую свечку. Благодаря такому чудному кинжалу он сделается наследником огромного состояния.

— Пойдем... Уведи меня отсюда,— упавшим голосом сказал Бернар и взял брата за руку.

— Не горюй,—молвил Жорж, помогая Бернару надеть камзол.— В сущности говоря, этого человека жалеть особенно не за что.

— Бедный Коменж! — воскликнул Бевиль.— Подумать только: тебя убил юнец, который дрался первый раз в жизни, а ты дрался раз сто! Бедный Коменж!

Так он закончил надгробную свою речь.

Бросив последний взгляд на друга, Бевиль заметил часы, висевшие у него, по тогдашнему обычаю, на шее.

— А, черт! — воскликнул он.— Теперь тебе уже незачем знать, который час.

Он снял часы и, рассудив вслух, что брат Коменжа и так теперь разбогатеет, а ему хочется взять что-нибудь на память о друге, положил их к себе в карман.

Братья двинулись в обратный путь.

— Погодите! — поспешно надевая камзол, крикнул он.— Эй, господин де Мержи! Вы забыли кинжал! Разве можно терять такую вещь?

Он вытер клинок рубашкой убитого и побежал догонять юного дуэлянта.

— Успокойтесь, мой дорогой,— прыгнув в лодку, сказал он.— Не делайте такого печального лица. Послушайтесь моего совета: чтобы разогнать тоску, сегодня же, не заходя домой, поди к любовнице и потрудитесь на славу, так, чтобы девять месяцев спустя вы могли подарить государству нового подданного взамен того, которого оно из-за вас утратило. Таким образом мир ничего не потеряет по вашей вине. А ну-ка, лодочник, греби веселей, получишь пистоль за усердие. К нам приближаются люди с алебардами. Это стражники из Нельской башни, а мы с этими господами ничего общего иметь не желаем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

БЕЛАЯ МАГИЯ

Ночью мне снились дохлая рыба и разбитые яйца, а господин Анаксарх мне сказал, что разбитые яйца и дохлая рыба — это к несчастью.

Мольер, Блистательные любовники

Вооруженные алебардами люди составляли отряд караульных, находившийся по соседству с Пре-о-Клер на предмет улаживания ссор, которые в большинстве случаев разрешались на этом классическом месте дуэлей. Ехали стражники в лодке, по своему обыкновению, крайне медленно, с тем чтобы прибыть и удостовериться, что все уже кончено. И то сказать: их попытки водворить мир чаще всего не встречали ни малейшего сочувствия. А сколько раз бывало так, что ярые враги прерывали смертный бой и дружно нападали на солдат, которые старались их разнять! Вот почему обязанности дозора обыкновенно ограничивались тем, что солдаты оказывали помощь раненым или уносили убитых. Сегодня стрелкам предстояло исполнить только эту вторую обязанность, и они сделали свое дело так, как это у них было принято, то есть предварительно опустошив карманы несчастного Коменжа и поделив между собой его платье.

— Дорогой друг! — обратился к Бернару Бевиль.— Даю вам благой совет: пусть вас с соблюдением строжайшей тайны доставят к мэтру Амбруазу Паре: если нужно зашить рану или вправить сломанную руку,— тут уж он мастак. По части ереси он, правда, самому Кальвину не уступит, но дело свое знает, и к нему обращаются самые ревностные католики. Одна лишь маркиза де Буасьер не захотела, чтобы ей спас жизнь гугенот, и храбро предпочла умереть. Спорю на десять пистолей, что она теперь в раю.

— Рана у тебя пустячная,— заметил Жорж,— через три дня заживет. Но у Коменжа есть в Париже родственники,— боюсь, как бы они не приняли его кончину слишком близко к сердцу.

— Ах да! У него есть мать, и она из приличия возбудит против нашего друга преследование. Ну ничего! Хлопочите через Шатильона. Король согласится помиловать: ведь он что воск в руках адмирала.

— Мне бы хотелось, чтобы до адмирала это происшествие, если можно, не дошло,— слабым голосом молвил Бернар.

— А, собственно, почему? Вы полагаете, что старый бородач разозлится, когда узнает, с каким невиданным проворством протестант отправил на тот свет католика?

Вместо ответа Бернар глубоко вздохнул.

— Коменж хорошо известен при дворе, и его смерть не может не наделать шуму,— сказал капитан.— Но ты исполнил долг дворянина; в том, что случилось, нет ничего затрагивающего твою честь. Я давно не был у старика Шатильона — теперь мне представляется случай возобновить знакомство.

— Провести несколько часов за тюремной решеткой— удовольствие из средних,— снова заговорил Бевиль.— Я спрячу твоего брата в надежном месте — так, что никто не догадается. Он может там жить совершенно спокойно до тех пор, пока его дело не уладится. А то ведь в монастырь его как еретика вряд ли примут.

— Я очень вам благодарен,— сказал Бернар,— но воспользоваться вашим предложением не могу,— это вам повредит.

— Ничуть, ничуть, дорогой мой. На то и дружба! Я вас помещу в доме одного из моих двоюродных братьев — его сейчас нет в Париже. Дом в полном моем распоряжении. Я пустил туда одну старушку, она за вами приглядит. Старушка предана мне всецело, для молодых людей такие старушки — клад. Она понимает толк в медицине, в магии, в астрономии. Она мастерица на все руки. Но особый дар у нее к сводничеству. Разрази меня гром, если она по моей просьбе не возьмется передать любовную записку самой королеве.

— Добро! — заключил капитан.— Мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь, а потом мы его незамедлительно переправим в тот дом.

Разговаривая таким образом, они причалили наконец к правому берегу. Не без труда взмостив Бернара на коня, Жорж и Бевиль отвезли его сперва к прославленному хирургу, оттуда — в Сент-Антуанское предместье, в уединенный дом, и расстались с ним уже вечером, уложив его в мягкую постель и вверив попечению старухи.

Если человек убил другого и если это первое на его душе убийство, то потом в течение некоторого времени убийцу мучает, преимущественно с наступлением ночи, яркое воспоминание о предсмертной судороге. В голове полно мрачных мыслей, так что трудно, очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом — он утомляет и надоедает. А между тем одиночество пугает убийцу, ибо в одиночестве гнетущие мысли приобретают особую силу. Несмотря на частые посещения брата и

Бевиля, первые дни после дуэли Бернар не находил себе места от страшной тоски. По ночам он не спал: рана воспалилась, и все тело у него горело,— это были самые тяжелые для Бернара часы. Только мысль, что г-жа де Тюржи думает о нем и восхищается его бесстрашием, несколько утешала его — утешала, но не успокаивала.

Дом, где жил Бернар, находился в глубине запущенного сада, и однажды, июльской ночью, когда Бернару стало нестерпимо душно, он решил прогуляться и подышать воздухом. Он уже накинул на плечи плащ и направился к выходу, но дверь оказалась запертой снаружи. Он подумал, что старуха заперла его по рассеянности. Спала она далеко от него, в такой час сон ее должен был быть особенно крепок, и он рассудил, что ее все равно не дозовешься. Притом окно его было невысоко, земля под окном была мягкая, так как ее недавно перекапывали. Мгновение — и он в саду. Небо заволокли тучи; *ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа;* редкие порывы ветра как бы пробивались сквозь толщу знойного воздуха. Было около двух часов ночи, кругом царила глубокая тишина.

Мержи прогуливался, отдавшись во власть своих мечтаний. Вдруг кто-то стукнул в калитку. В этом слабом ударе молотком было что-то таинственное; тот, кто стучал, должно быть, рассчитывал, что, едва услышав стук, ему отворят. Кому-то в такую пору понадобилось прийти в уединенный дом — это не могло не показаться странным. Мержи забился в темный угол сада,— оттуда он мог, оставаясь незамеченным, за всем наблюдать. Из дома с потайным фонарем в руке сейчас же вышла, вне всякого сомнения, старуха,— а кроме нее, и выйти-то было некому,— отворила калитку, и в сад вошел кто-то в широком черном плаще с капюшоном.

Любопытство Бернара было сильно возбуждено. Судя по фигуре и отчасти по платью, это была женщина. Старуха встретила ее низкими поклонами, а та едва кивнула ей головой. Зато она сунула старухе в руку нечто такое, отчего старуха пришла в восторг. По раздавшемуся затем чистому металлическому звуку, равно как и по той стремительности, с какой старуха нагнулась и стала что-то искать на земле, Мержи окончательно убедился, что ей дали денег. Старуха, прикрывая фонарь, пошла вперед, незнакомка — за ней. В глубине сада находилось нечто вроде зеленой беседки,— ее образовывали посаженные кру́гом липы и сплошная стена кустарника между ними. В беседку вели два входа, вернее сказать, две арки, посреди стоял каменный стол. Сюда-то и вошли старуха и закутанная

в плащ женщина. Мержи, затаив дыхание, крался за ними и, дойдя до кустарника, стал так, чтобы ему было хорошо слышно, а видно настолько, насколько это ему позволял слабый свет, озарявший беседку.

Старуха сперва зажгла в жаровне, стоявшей на столе, нечто такое, что тотчас же вспыхнуло и осветило беседку бледно-голубым светом, точно это горел спирт с солью. Затем она то ли погасила, то ли чем-то прикрыла фонарь, и при дрожащем огне жаровни Бернару трудно было бы рассмотреть незнакомку, даже если бы она была без вуали и накидки. Старуху же он сразу узнал и по росту и по сложению. Вот только лицо у нее было вымазано темной краской, что придавало ей сходство с медной статуей в белом чепце. На столе виднелись странные предметы. Мержи не мог понять, что это такое. Разложены они были в каком-то особом порядке. Бернару показалось, что это плоды, кости животных и окровавленные лоскуты белья. Меж отвратительных тряпок стояла вылепленная, по-видимому, из воска человеческая фигурка высотою с фут, не более.

— Ну так как же, Камилла,— вполголоса произнесла дама под вуалью,— ты говоришь, ему лучше?

Услышав этот голос, Мержи вздрогнул.

— Немного лучше, сударыня,— отвечала старуха,— а все благодаря вашему искусству. Но только на этих лоскутах так мало крови, что я тут особенно помочь не могла.

— А что говорит Амбруаз Паре?

— Этот невежда? А не все ли вам равно, что он говорит? Рана глубокая, опасная, страшная, уверяю вас, ее можно залечить, только если прибегнуть к симпатической магии. Но духам земли и воздуха нужно часто приносить жертвы... а для жертв...

Дама быстро сообразила.

— Если он поправится, ты получишь вдвое больше того, что я тебе сейчас дала,— сказала она.

— Надейтесь крепко и положитесь на меня.

— Ах, Камилла! А вдруг он умрет?

— Не бойтесь. Духи милосердны, небесные светила нам благоприятствуют, черный баран — последнее наше жертвоприношение — расположил в нашу пользу *того*.

— Я с великим трудом раздобыла для тебя одну вещь. Я велела ее купить у одного из стрелков, которые обчистили мертвое тело.

Дама что-то достала из-под плаща, и вслед за тем Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла шпагу и поднесла к огню.

— Слава богу! На лезвии кровь, оно заржавело. Да, кровь у него, как все равно у китайского василиска: если она попала на сталь, так уж ее потом ничем не отчистишь.

Старуха продолжала рассматривать клинок. Дама между тем обнаруживала все признаки охватившего ее чрезвычайного волнения.

— Камилла! Посмотри, как близко от рукоятки кровь. Быть может, то был удар смертельный?

— Это кровь не из сердца. Он выздоровеет.

— Выздоровеет?

— Да, и тут же заболеет болезнью неизлечимой.

— Какой болезнью?

— Любовью.

— Ах, Камилла, ты правду говоришь?

— А разве я когда-нибудь говорю неправду? Разве я когда-нибудь предсказываю неверно? Разве я вам не предсказала, что он одержит победу на поединке? Разве я вам не возвестила, что за него будут сражаться духи? Разве я не зарыла в том месте, где ему предстояло драться, черную курицу и шпагу, которую освятил священник?

— Да, правда.

— И разве вы не пронзили изображение его недруга в сердце, чтобы направить удар того человека, ради которого я применила свое искусство?

— Да, Камилла, я пронзила изображение Коменжа в сердце, но говорят, что его сразил удар в голову.

— Да, конечно, его ударили кинжалом в голову, но раз он умер, не значит ли это, что в сердце у него свернулась кровь?

Это последнее доказательство, видимо, заставило даму сдаться. Она умолкла. Старуха, смазав клинок шпаги елеем и бальзамом, с крайним тщанием завернула его в тряпки.

— Понимаете, сударыня, я натираю шпагу скорпионьим жиром, а он симпатической силой переносится на рану молодого человека. Молодой человек испытывает такое же точно действие африканского этого бальзама, как будто я лью ему прямо на рану. А если б мне припала охота накалить острие шпаги на огне, бедному раненому было бы так больно, словно его самого жгут огнем.

— Смотри не вздумай!

— Как-то вечером сидела я у огня и тщательно натирала бальзамом шпагу,— хотелось мне вылечить одного молодого человека, которого этой шпагой два раза изо всех сил ударили по голове. Натирала, натирала, да и задремала. Стук в дверь — ла-

кей больного; говорит, что его господин терпит смертную муку; когда, мол, он уходил, тот был словно на угольях. А знаете, отчего? Шпага-то у меня, у сонной, соскользнула, и клинок лежал на угольях. Я сейчас же сняла шпагу и сказала лакею, что к его приходу господин будет чувствовать себя отлично. И в самом деле: я насыпала в ледяную воду кое-каких снадобий, скорей туда шпагу и пошла навещать больного. Вхожу, а он мне и говорит: «Ах, дорогая Камилла! До чего же мне сейчас приятно! У меня такое чувство, как будто я ванну прохладную принимаю, а перед этим чувствовал себя, как святой Лаврентий на раскаленной решетке».

Старуха перевязала шпагу и с довольным видом молвила:

— Ну, хорошо. Теперь я за него спокойна. Можете совершить последний обряд.

Старуха бросила в огонь несколько щепоток душистого порошку и, беспрерывно крестясь, произнесла какие-то непонятные слова. Дама взяла дрожащей рукой восковое изображение и, держа его над жаровней, с волнением в голосе проговорила:

— *Подобно тому как этот воск топится и плавится от огня жаровни, так и сердце твое, о Бернар Мержи, пусть топится и плавится от любви ко мне!*

— Отлично. А теперь вот вам зеленая свеча,— она была вылита в полночь по всем правилам искусства. Затеплите ее завтра перед образом божьей матери.

— Непременно... Ты меня успокаиваешь, а все-таки я страшно тревожусь. Вчера мне снилось, что он умер.

— А вы на каком боку спали — на правом или на левом?

— А лежа на... на каком боку, видишь вещие сны?

— Скажите сперва, на каком боку вы обыкновенно спите. Я вижу, вы хотите прибегнуть к самообману, к самовнушению.

— Я сплю всегда на правом боку.

— Успокойтесь, ваш сон — к большой удаче.

— Дай-то бог!.. Но он приснился мне мертвенно-бледный, окровавленный, одетый в саван.

Тут она обернулась и увидела Мержи, стоявшего возле одного из входов в беседку. От неожиданности она так пронзительно вскрикнула, что ее испуг передался Бернару. Старуха не то нечаянно, не то нарочно опрокинула жаровню, и яркое пламя, взметнувшееся до самых верхушек лип, на несколько мгновений ослепило Мержи. Обе женщины юркнули в другой выход. Углядев лазейку в кустарнике, Мержи, нимало не медля, пустился за ними вдогонку, но, споткнувшись на какой-то предмет, чуть было не упал. Это оказалась та самая шпага, коей он

был обязан своим исцелением. Для того чтобы убрать шпагу и выйти на дорогу, потребовалось время. Когда же он выбрался на широкую, прямую аллею и решил, что теперь-то ничто не помешает ему нагнать беглянок, калитка захлопнулась. Обе женщины были вне досягаемости.

Слегка уязвленный тем, что выпустил из рук столь прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и повалился на кровать. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, все угрызения совести, если только они у него были, все тревожные чувства, какие могло ему внушить его положение, исчезли точно по волшебству. Теперь он думал о том, какое счастье любить самую красивую женщину во всем Париже и быть любимым ею, а что дама под вуалью — г-жа де Тюржи, это для него сомнению не подлежало. Уснул он вскоре после восхода солнца, а проснулся уже белым днем. На подушке он нашел запечатанную записку, неизвестно как сюда попавшую. Он распечатал ее и прочел:

«Кавалер! Честь дамы зависит от Вашей скромности».

Спустя несколько минут вошла старуха и принесла ему бульону. Сегодня у нее, против обыкновения, висели на поясе крупные четки. Лицо она старательно вымыла, и кожа на нем напоминала уже не медь, а закопченный пергамент. Ступала она медленно, опустив глаза,— так идет человек, который боится, как бы земные предметы не отвлекли его от выспренних созерцаний.

Мержи решил, что, дабы наилучшим образом выказать ту добродетель, коей требовала от него таинственная записка, ему прежде всего надлежит получить точные сведения, что́ именно он должен от всех скрывать. Он взял у старухи бульон и, прежде чем она успела дойти до двери, проговорил:

— А вы мне не сказали, что вас зовут Камиллой.

— Камиллой?.. Меня Мартой зовут, господин хороший... Мартой Мишлен,— делая вид, что Мержи ее крайне удивил, молвила старуха.

— Ну, хорошо, Мартой так Мартой, но этим именем вы велите себя звать людям, а с духами вы знаетесь под именем Камиллы.

— С духами?.. Иисусе сладчайший! Что это вы такое говорите?

Она осенила себя широким крестом.

— Полно, не стройте из меня дурачка! Я никому не скажу, этот разговор останется между нами. Кто эта дама, которая так беспокоится о моем здоровье?

— Какая дама?..

— Полно, не виляйте, говорите начистоту. Даю вам слово дворянина, я вас не выдам.

— Право же, господин хороший, я не понимаю, о чем вы толкуете.

Мержи, видя, как она прикидывается изумленной и прикладывает руку к сердцу, не мог удержаться от смеха. Он вынул из кошелька, висевшего у него над изголовьем, золотой и протянул старухе.

— Возьмите, добрая Камилла. Вы так обо мне заботитесь и до того тщательно натираете скорпионьим жиром шпаги, чтобы я поскорей поправился, что, откровенно говоря, мне давно уже следовало что-нибудь вам подарить.

— Да что вы, господин! Ну право же, ну право же, мне невдомек!

— Слушайте, вы, Марта, или, черт вас там знает, Камилла, не злите меня, извольте отвечать! Кто эта дама, для которой вы минувшей ночью так забавно ворожили?

— Господи Иисусе! Он осерчал... Уж не начинается ли у него бред?

Мержи, выйдя из терпения, швырнул подушку прямо старухе в голову. Та смиренно положила подушку на место, подобрала упавшую на пол золотую монету, но тут вошел капитан и избавил ее от допроса, последствий которого она опасалась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

КЛЕВЕТА

King Henry IV
Thou dost belie him, Percy, thou dost belie him.
Shakespeare, King Henry IV[1]

В то же утро Жорж отправился к адмиралу поговорить о брате. В двух словах он рассказал ему, в чем состоит дело.

Адмирал, слушая его, грыз зубочистку — то был знак неудовольствия.

---

[1] Король Генрих IV
Солгал ты, Перси, про него, солгал! *Шекспир, Король Генрих IV (англ.).*

— Мне это уже известно,— сказал он.— Не понимаю, зачем вам понадобилось рассказывать о происшествии, о котором говорит весь город.

— Я докучаю вам, господин адмирал, единственно потому, что знаю вашу неизменную благосклонность к нашей семье, и смею надеяться, что вы будете так добры и замолвите перед королем слово о моем брате. Ваше влияние на его величество...

— Мое влияние, если только я действительно им пользуюсь,— живо перебил капитана адмирал,— основывается на том, что я обращаюсь к его величеству только с законными просьбами.

Произнеся слова «его величество», адмирал снял шляпу.

— Обстоятельства, вынудившие моего брата злоупотребить вашей отзывчивостью, к несчастью, в наше время стали явлением обычным. В прошлом году король подписал более полутора тысяч указов о помиловании. Милость короля нередко распространялась также и на противника Бернара.

— Зачинщиком был ваш брат. Впрочем, может быть,— и дай бог, чтобы это было именно так,— какой-нибудь негодяй его натравил.

Сказавши это, адмирал взглянул на капитана в упор.

— Я кое-что предпринимал для того, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры. Но вы же знаете, что господин де Коменж признавал только то удовлетворение, которое доставляет острие шпаги. Дворянская честь и мнение дам...

— Вот что вы внушаете молодому человеку! Вам хочется сделать из него записного дуэлиста? О, как горевал бы его отец, если б ему сказали, что сын презрел его наставления! Боже правый! Еще и двух лет не прошло с тех пор, как утихла гражданская война, а они уже забыли о потоках пролитой ими крови! Им все еще мало. Им нужно, чтобы французы каждый день истребляли французов!

— Если б я знал, что моя просьба будет вам неприятна...

— Послушайте, господин де Мержи: я бы еще мог по долгу христианина подавить в себе негодование и простить вашему брату вызов на дуэль. Но его поведение на дуэли было, как слышно...

— Что вы хотите сказать, господин адмирал?

— Что он дрался не по правилам, не так, как принято у французских дворян.

— Кто смеет распространять о нем такую подлую клевету? — воскликнул Жорж, и глаза его гневно сверкнули.

— Успокойтесь. Вызов вам посылать некому,— ведь пока еще с женщинами не дерутся... Мать Коменжа сообщила королю подробности, которые служат не к чести вашему брату. Они проливают свет на то, каким образом столь грозный боец так скоро пал от руки мальчишки, который еще совсем недавно в пажах мог бы ходить.

— Горе матери — великое, священное горе. Как она может видеть истину, когда глаза у нее еще полны слез? Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что вы будете судить о моем брате не по рассказу госпожи де Коменж.

Колиньи, видимо, поколебался; язвительная насмешка уже не так резко звучала теперь в его тоне.

— Однако вы же не станете отрицать, что секундант Коменжа Бевиль — ваш близкий друг.

— Я его знаю давно и даже кое-чем ему обязан. Но ведь он был приятелем и Коменжа. Помимо всего прочего, Коменж сам выбрал его себе в секунданты. Наконец, Бевилю служат порукой его храбрость и честность.

Адмирал скривил губы в знак глубочайшего презрения.

— Честность Бевиля! — пожав плечами, повторил он.— Безбожник. Человек, погрязший в распутстве!

— Да, Бевиль — честный человек! — твердо проговорил Жорж.— Впрочем, о чем тут говорить? Я же сам был на поединке. Вам ли, господин адмирал, ставить под сомнение нашу честь, вам ли обвинять нас в убийстве?

В тоне капитана слышалась угроза. Колиньи то ли не понял, то ли пропустил мимо ушей намек на убийство герцога Франсуа де Гиза, которое ему приписывали ненавидевшие его католики. Во всяком случае, ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Господин де Мержи! — сказал он холодно и пренебрежительно.— Человек, отрекшийся от своей религии, не имеет права говорить о своей чести: все равно ему никто не поверит.

Капитан сначала вспыхнул, потом смертельно побледнел. Словно для того, чтобы не поддаться искушению и не ударить старика, он на два шага отступил.

— Милостивый государь! — воскликнул он.— Только ваш возраст и ваше звание позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина, порочить самое дорогое, что у него есть. Но я вас умоляю: прикажите кому-нибудь или даже сразу нескольким вашим приближенным повторить то, что вы сейчас сказали. Клянусь богом, я заставлю их проглотить эти слова, и они ими подавятся.

— Таков обычай господ записных дуэлистов. Я их правил не придерживаюсь и выгоняю тех моих приближенных, которые берут с них пример,— сказал Колиньи и повернулся к Жоржу спиной.

Капитан с адом в душе покинул дворец Шатильонов, вскочил на коня и, словно для того, чтобы утолить свою ярость, погнал бедное животное бешеным галопом, поминутно вонзая шпоры ему в бока. Он так летел, что чуть было не передавил мирных прохожих. И Жоржу еще повезло, что на пути ему не встретился никто из записных дуэлистов, а то при его тогдашнем расположении духа он неминуемо ухватил бы за вихор случай обнажить шпагу.

Только близ Венсена Жорж начал понемногу приходить в себя. Он повернул своего окровавленного, взмыленного коня и двинулся по направлению к Парижу.

— Бедный ты мой друг! — сказал он ему с горькой усмешкой.— Свою обиду я вымещаю на тебе.

Он потрепал невинную жертву по холке и шагом поехал по направлению к дому, где скрывался его брат.

Рассказывая Бернару о встрече с адмиралом, он опустил некоторые подробности, не скрыв, однако, что Колиньи не захотел хлопотать за него.

А несколько минут спустя в комнату ворвался Бевиль и прямо бросился к Бернару на шею.

— Поздравляю вас, мой дорогой! — воскликнул он.— Вот вам помилование. Вы его получили благодаря заступничеству королевы.

Бернар не так был удивлен, как его брат. Он понимал, что обязан этой милостью даме под вуалью, то есть графине де Тюржи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СВИДАНИЕ

Так вот что: барыня хотела быть здесь вскоре
И очень просит вас о кратком разговоре.

Мольер, Тартюф

Бернар переехал к брату. Он лично поблагодарил королеву-мать, а потом снова появился при дворе. Войдя в Лувр, он сразу заметил, что часть славы Коменжа перешла по наследству к нему. Люди, которых он знал только в лицо, кланялись ему почтительно-дружественно. У мужчин, разговаривавших с ним, из-под личины заискивающей учтивости проглядывала

зависть. Дамы не спускали с него глаз и заигрывали с ним: репутация дуэлиста являлась в те времена наиболее верным средством тронуть их сердца. Если мужчина убил на поединке трех-четырех человек, то это заменяло ему и красоту, и богатство, и ум. Коротко говоря, стоило нашему герою появиться в Луврской галерее, и все вокруг зашептали: «Вот младший Мержи, тот самый, который убил Коменжа», «Как он молод!»,«Как он изящен!», «Как он хорош собой!», «Как лихо закручены у него усы!», «Не знаете, кто его возлюбленная?»

А Бернар напрасно старался отыскать в толпе синие глаза и черные брови г-жи де Тюржи. Он потом даже съездил к ней, но ему сказали, что вскоре после гибели Коменжа она отбыла в одно из своих поместий, расположенное в двадцати милях от Парижа. Злые языки говорили, что после смерти человека, который за нею ухаживал, ей захотелось побыть одной, захотелось погоревать в тишине.

Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака, лежа на диване, читал *Преужасную жизнь Пантагрюэля,* а Бернар брал у синьора Уберто Винибеллы урок игры на гитаре, лакей доложил Бернару, что внизу его дожидается опрятно одетая старуха, что вид у нее таинственный и что ей нужно с ним поговорить. Бернар тотчас же сошел вниз и получил из высохших рук — не Мартм и не Камиллы, а какой-то неведомой старухи — письмо, от которого исходил сладкий запах. Перевязано оно было золотой ниткой, а запечатано широкой, зеленого воску, печатью, на которой вместо герба изображен был Амур, приложивший палец к губам, и по-кастильски написан девиз: *Callad*[1]. Бернар вскрыл письмо — в нем была только одна строчка по-испански, он с трудом понял ее смысл: *Esta noche una dama espera a V. M.*[2].

— От кого письмо? — спросил он старуху.

— От дамы.

— Как ее зовут?

— Не знаю. Мне она сказала, что она испанка.

— Откуда же она меня знает?

Старуха пожала плечами.

— Пеняйте на себя: вы себе это накликали благодаря своей славе и своей любезности,— сказала она насмешливо.— Вы мне только ответьте: придете?

— А куда прийти?

---

[1] Молчите *(исп.)*.

[2] Сегодня вечером вас будет ждать одна дама *(исп.)*.

— Будьте сегодня вечером в половине девятого у Германа Оксерского, в левом приделе.

— Значит, я с этой дамой увижусь в церкви?

— Нет. За вами придут и отведут вас к ней. Но только молчок, и приходите один.

— Хорошо.

— Обещаете?

— Даю слово.

— Ну, прощайте. За мной не ходите.

Старуха низко поклонилась и, нимало не медля, вышла.

— Что же от тебя нужно было этой почтенной сводне? — спросил капитан, как скоро брат вернулся, а учитель музыки ушел.

— Ничего,— наигранно равнодушным тоном отвечал Бернар, чрезвычайно внимательно рассматривая изображение мадонны.

— Полно! У тебя не должно быть от меня секретов. Может, проводить тебя на свидание, посторожить на улице, встретить ревнивца ударами шпаги плашмя?

— Говорят тебе, ничего не нужно.

— Дело твое. Храни свою тайну. Но только я ручаюсь, что тебе так же хочется рассказать, как мне услышать.

Бернар рассеянно перебирал струны гитары.

— Кстати, Жорж, я не пойду сегодня ужинать к Водрейлю.

— Ах, значит, свидание сегодня вечером? Хорошенькая? Придворная дама? Мещаночка? Торговка?

— По правде сказать, не знаю. Меня должны представить даме... нездешней... Но кто она... понятия не имею.

— По крайней мере, тебе известно, где ты должен с ней встретиться?

Бернар показал записку и повторил то, что старуха дополнительно ему сообщила.

— Почерк измененный,— сказал капитан,— не знаю, как истолковать все эти предосторожности.

— Наверно, знатная дама, Жорж.

— Ох, уж эти наши молодые люди! Подай им самый ничтожный повод — и они уже возмечтали, что самые родовитые дамы сейчас бросятся им на шею!

— Понюхай, как пахнет записка.

— Это еще ничего не доказывает.

Внезапно лицо у капитана потемнело: ему пришла на ум тревожная мысль.

— Коменжи злопамятны,— заметил он.— Может статься,

они этой запиской хотят заманить тебя в укромное место и там заставить дорого заплатить за удар кинжалом, благодаря которому они получили наследство.

— Ну что ты!

— Да ведь не в первый раз мщение избирает своим орудием любовь. Ты читал Библию. Вспомни, как Далила предала Самсона.

— Каким же я должен быть трусом, чтобы из-за нелепой догадки отказаться от, вернее всего, очаровательного свидания! Да еще с испанкой!..

— Во всяком случае, безоружным на свидание не ходи. Хочешь взять с собой двух моих слуг?

— Еще чего! Зачем делать весь город свидетелем моих любовных похождений?

— Нынче так водится. Сколько раз я видел, как мой большой друг д'Арделе шел к своей любовнице в кольчуге и с двумя пистолетами за поясом!.. А позади шагали четверо солдат из его отряда, и у каждого в руках заряженная аркебуза. Ты еще не знаешь Парижа, мой мальчик. Лишняя предосторожность не помешает, поверь. А если кольчуга стесняет — ее всегда можно снять.

— У меня нет дурного предчувствия. Родственникам Коменжа проще было бы напасть на меня ночью на улице, если б они таили против меня зло.

— Как бы то ни было, я отпущу тебя с условием, что ты возьмешь пистолеты.

— Пожалуйста, могу и взять, только надо мной будут смеяться.

— И это еще не все. Нужно плотно пообедать, съесть пару куропаток и изрядный кусок пирога с петушиными гребешками, чтобы вечером поддержать честь семейства Мержи.

Бернар ушел к себе в комнату и, по крайней мере, четыре часа причесывался, завивался, душился и составлял в уме красивые фразы, с которыми он собирался обратиться к прелестной незнакомке.

Читатели сами, верно, догадаются, что на свидание он не опоздал. Полчаса с лишним расхаживал он по церкви. Уже три раза пересчитал свечи, колонны, *ex-voto* [1], и вдруг какая-то старуха, закутанная в коричневый плащ, взяла его за руку и молча вывела на улицу. Несколько раз сворачивая с одной улицы на другую и все так же упорно храня молчание, она наконец

[1] Приношения по обету *(лат.)*.

привела его в узенький и, по первому впечатлению, необитаемый переулок. В самом конце переулка она остановилась возле сводчатой низенькой дверцы и, достав из кармана ключ, отперла ее. Она вошла первой, Мержи, в темноте держась за ее плащ, шагнул следом за ней. Войдя, он услышал, как за ним задвинулись тяжелые засовы. Провожатая шепотом предупредила его, что перед ним лестница и что ему надо будет подняться на двадцать семь ступеней. Лестница была узкая, ступени неровные, разбитые, так что он несколько раз чуть было не загремел. Наконец, поднявшись на двадцать семь ступенек и взойдя на небольшую площадку, старуха отворила дверь, и яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он вошел в комнату и подивился изящному ее убранству,— внешний вид дома ничего подобного не предвещал.

Стены были обиты штофом с разводами, правда, слегка потертым, но еще вполне чистым. Посреди комнаты стоял стол, на котором горели две розового воску свечи, высились груды фруктов и печений, сверкали хрустальные стаканы и графины, по-видимому, с винами разных сортов. Два больших кресла по краям стола, должно быть, ожидали гостей. В алькове, наполовину задернутом шелковым пологом, стояла накрытая алым атласом кровать с причудливыми резными украшениями. Курильницы струили сладкий аромат.

Старуха сняла капюшон, Бернар — плащ. Он сейчас узнал в ней посланницу, приносившую ему письмо.

— Матерь божья! — заметив пистолеты и шпагу, воскликнула старуха.— Вы что же это, собрались великанов рубить? Прекрасный кавалер! Здесь если и понадобятся удары, то, во всяком случае, не сокрушительные удары шпагой.

— Я понимаю, однако может случиться, что братья или разгневанный муж помешают нашей беседе, и тогда придется им застлать глаза дымом от выстрелов.

— Этого вы не бойтесь. Скажите лучше, как вам нравится комната?

— Комната великолепная, спору нет. Но только одному мне здесь будет скучно.

— Кто-то придет разделить с вами компанию. Обещайте мне сначала одну вещь.

— А именно?

— Если вы католик, протяните руку над распятием (она вынула его из шкафа), а если гугенот, то поклянитесь Кальвином... Лютером... словом, всеми вашими богами...

— В чем же я должен поклясться? — перебил он ее, смеясь.

— Поклянитесь, что не станете допытываться, кто эта дама, которая должна прийти сюда.

— Условие нелегкое.

— Смотрите. Клянитесь, а то я выведу вас на улицу.

— Хорошо, даю вам честное слово, оно стоит глупейших клятв, коих вы от меня потребовали.

— Ну и ладно. Запаситесь терпением. Ешьте, пейте, коли хотите. Скоро вы увидите даму-испанку.

Она накинула капюшон и, выйдя, заперла дверь двойным поворотом ключа.

Мержи бросился в кресло. Сердце у него колотилось. Он испытывал почти такое же сильное и почти такого же рода волнение, как за несколько дней до этого на Пре-о-Клер при встрече с противником.

В доме царила мертвая тишина. Прошло мучительных четверть часа, и в течение этого времени его воображению являлась то Венера, сходившая с обоев и кидавшаяся к нему в объятия, то графиня де Тюржи в охотничьем наряде, то принцесса крови, то шайка убийц и, наконец,— это было самое страшное видение — влюбленная старуха.

Все было тихо, ничто не возвещало Бернару, что кто-то идет, и вдруг — быстрый поворот ключа в замочной скважине — дверь отворилась и как будто сама собой тут же затворилась, и вслед за тем в комнату вошла женщина в маске.

Она была высокого роста, хорошо сложена. Платье, узкое в талии, подчеркивало стройность ее стана. Однако ни по крохотной ножке в белой бархатной туфельке, ни по маленькой ручке, которую, к сожалению, облегала вышитая перчатка, нельзя было с точностью определить возраст незнакомки. Лишь по каким-то неуловимым признакам, благодаря некоей магической силе или, если хотите, провидению, можно было догадаться, что ей не больше двадцати пяти лет. Наряд на ней был дорогой, изящный и в то же время простой.

Мержи вскочил и опустился перед ней на одно колено. Дама шагнула к нему и ласково проговорила:

— *Dios os guarde, caballero. Sea V. M. el bien venido* [1].

Мержи посмотрел на нее с изумлением.

— *Habla V. M. español?* [2]

Мержи не только не говорил по-испански, он даже плохо понимал этот язык.

---

[1] Да хранит вас господь, сударь. Милости просим *(исп.)*.

[2] Вы говорите по-испански? *(исп.)*

Дама, видимо, была недовольна. Она села в кресло, к которому подвел ее Мержи, и сделала ему знак сесть напротив нее. Потом она заговорила по-французски, но с акцентом, причем этот акцент то становился резким, нарочитым, то вдруг исчезал совершенно.

— Милостивый государь! Ваша доблесть заставила меня позабыть осторожность, свойственную нашему полу. Мне захотелось посмотреть на безупречного кавалера, и вот я вижу этого кавалера именно таким, каким его изображает молва.

Мержи, вспыхнув, поклонился даме.

— Неужели вы будете так жестоки, сударыня, и не снимете маску, которая, подобно завистливому облаку, скрывает от меня солнечные лучи? (Эту фразу он вычитал в какой-то книге, переведенной с испанского.)

— Сеньор кавалер! Если я останусь довольна вашей скромностью, то вы не раз увидите мое лицо, но сегодня удовольствуйтесь беседой со мной.

— Ах, сударыня! Это очень большое удовольствие, но оно возбуждает во мне страстное желание видеть вас!

Он стал перед ней на колени и сделал такое движение, словно хотел снять с нее маску.

— *Poco a poco* [1], сеньор француз, вы что-то не в меру проворны. Сядьте, а то я уйду. Если б вы знали, кто я и чем я рискнула, вызвав вас на свидание, вы были бы удовлетворены той честью, которую я вам оказала, явившись сюда.

— По правде говоря, голос ваш мне знаком.

— А все-таки слышите вы меня впервые. Скажите, вы способны полюбить преданной любовью женщину, которая полюбила бы вас?..

— Уже одно сознание, что вы тут, рядом...

— Вы никогда меня не видали, значит, любить меня не можете. Почем вы знаете, красива я или уродлива?

— Я убежден, что вы обольстительны.

Мержи успел завладеть рукой незнакомки, незнакомка вырвала руку и поднесла к маске, как бы собираясь снять ее.

— А что, если бы вы сейчас увидели пятидесятилетнюю женщину, страшную уродину?

— Этого не может быть.

— В пятьдесят лет еще влюбляются.

Она вздохнула, молодой человек вздрогнул.

---

[1] Не всё сразу *(исп.)*.

— Стройность вашего стана, ваша ручка, которую вы напрасно пытаетесь у меня отнять,— все это доказывает, что вы молоды.

Эти слова он произнес скорее любезным, чем уверенным тоном.

— Увы!

Бернаром начало овладевать беспокойство.

— Вам, мужчинам, любви недостаточно. Вам еще нужна красота.

Она снова вздохнула.

— Умоляю вас, позвольте мне снять маску...

— Нет, нет!

Она быстрым движением оттолкнула его.

— Вспомните, что вы мне обещали.

После этого она заговорила приветливее:

— Мне приятно видеть вас у моих ног, а если б я оказалась немолодой и некрасивой... по крайней мере, на ваш взгляд... быть может, вы бы меня покинули.

— Покажите мне хотя бы вашу ручку.

Она сняла надушенную перчатку и протянула ему белоснежную ручку.

— Узнаю эту руку! — воскликнул он.— Другой столь же красивой руки во всем Париже не сыщешь.

— Вот как? Чья же это рука?

— Одной... одной графини.

— Какой графини?

— Графини де Тюржи.

— А!.. Знаю, о ком вы говорите. Да, у Тюржи красивые руки, но этим она обязана миндальному притиранью, которое для нее изготовляют. А у меня руки мягче, и я этим горжусь.

Все это было сказано до того естественным тоном, что в сердце Бернара, как будто бы узнавшего голос прелестной графини, закралось сомнение, и он уже готов был сознаться самому себе в своей ошибке.

«Целых две вместо одной... — подумал он.— Решительно, мне ворожат добрые феи».

Мержи поискал на красивой руке графини отпечаток перстня, который он заметил у Тюржи, но не обнаружил на этих округлых, изящных пальцах ни единой вдавлинки, ни единой, хотя бы едва заметной полоски.

— Тюржи! — со смехом воскликнула незнакомка.— Итак, вы приняли меня за Тюржи? Покорно вас благодарю! Слава богу, я, кажется, чуточку лучше ее.

— По чести, графиня — самая красивая женщина из всех, каких я когда-либо видел.

— Вы что же, влюблены в нее? — живо спросила незнакомка.

— Может быть. Но только умоляю вас, снимите маску, покажите мне женщину красивее Тюржи.

— Когда я удостоверюсь, что вы меня любите... только тогда вы увидите мое лицо.

— Полюбить вас!.. Как же, черт возьми, я могу полюбить вас не видя?

— У меня красивая рука. Вообразите, что у меня такое же красивое лицо.

— Теперь я знаю наверное, что вы прелестны: вы забыли изменить голос и выдали себя. Я его узнал, ручаюсь головой.

— И это голос Тюржи? — смеясь, спросила она с сильным испанским акцентом.

— Ну конечно!

— Ошибаетесь, ошибаетесь, сеньор Бернардо. Меня зовут донья Мария... донья Мария де... Потом я вам назову свою фамилию. Я из Барселоны. Мой отец держит меня в большой строгости, но теперь он путешествует, и я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и посмотреть парижский двор. Что касается Тюржи, то я прошу вас не говорить со мной больше о ней. Я не могу спокойно слышать ее имя. Она хуже всех придворных дам. Кстати, вам известно, как именно она овдовела?

— Я что-то слышал.

— Ну так расскажите... Что вы слышали?..

— Будто бы она застала мужа в ту минуту, когда он изливал свой пламень камеристке, и, схватив кинжал, нанесла супругу довольно сильный удар. Через месяц бедняга скончался.

— Ее поступок вам представляется... ужасным?

— Признаться, я ее оправдываю. Говорят, она любила мужа, а ревность вызывает во мне уважение.

— Вы думаете, что я — Тюржи, вот почему вы так рассуждаете, однако я убеждена, что в глубине души вы относитесь к ней с презрением.

В голосе ее слышались грусть и печаль, но это был не голос Тюржи. Бернар не знал, что подумать.

— Как же так? — сказал он.— Вы, испанка, не уважаете чувство ревности?

— Не будем больше об этом говорить. Что это за черная лента у вас на шее?

— Ладанка.

— Я считала вас протестантом.

— Да, я протестант. Но ладанку дала мне одна дама, и я ношу ее в память о ней.

— Послушайте: если вы хотите мне понравиться, то не думайте ни о каких дамах. Я хочу заменить вам всех дам. Кто дал вам ладанку? Та же самая Тюржи?

— Честное слово, нет.

— Лжете.

— Значит, вы госпожа де Тюржи!

— Вы себя выдали, сеньор Бернардо!

— Каким образом?

— При встрече с Тюржи я ее спрошу, как она могла решиться на такое кощунство — вручить святыню еретику.

Мержи терялся все более и более.

— Я хочу эту ладанку. Дайте ее мне.

— Нет, я не могу ее отдать.

— А я хочу ладанку. Вы посмеете отказать мне?

— Я обещал ее вернуть.

— А что такое обещания! Обещание, данное фальшивой женщине, ни к чему не обязывает. Помимо всего прочего, берегитесь: почем знать, может, вы носите опасный талисман, может, он нашептан! Говорят, Тюржи — злая колдунья.

— Я в колдовство не верю.

— И в колдунов тоже?

— Я немного верю в *колдуний.*— Последнее слово он подчеркнул.

— Ну дайте же мне ладанку,— может, я тогда сброшу маску.

— Как хотите, а это голос графини де Тюржи!

— В последний раз: вы дадите мне ладанку?

— Я вам ее *верну,* если вы снимете маску.

— Вы мне надоели с вашей Тюржи! Любите ее на здоровье, мне-то что!

Делая вид, что сердится, незнакомка отодвинулась от Бернара. Атлас, который натягивала ее грудь, то поднимался, то опускался.

Несколько минут она молчала, затем, резким движением повернувшись к нему, насмешливо проговорила:

— *Válame Dios! V. M. no es caballero, es un monje* [1].

---

[1] Прости, господи, мое согрешение! Вы монах, а не кавалер *(исп.).*

Ударом кулака она опрокинула две свечи, горевшие на столе, и половину бутылок и блюд. В комнате сразу стало темно. В то же мгновение она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то жаркие уста ищут его губ и кто-то душит его в объятиях.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В ТЕМНОТЕ

Ночью все кошки серы.

На ближайшей церкви пробило четыре часа.

— Боже! Четыре часа! Я едва успею вернуться домой, пока не рассвело.

— Бессердечная! Вы меня покидаете?

— Так надо. Мы скоро увидимся.

— Увидимся! Дорогая графиня! Ведь я же вас не видел!

— Ах, какой вы еще ребенок! Бросьте свою графиню. Я донья Мария. При свете вы удостоверитесь, что я не та, за кого вы меня принимаете.

— Где дверь? Я сейчас позову...

— Никого не надо звать. Пустите меня, Бернардо. Я знаю эту комнату, я сейчас найду огниво.

— Осторожней! Не наступите на битое стекло. Вы вчера устроили разгром.

— Пустите!

— Нашли?

— Ах, это мой корсет! Матерь божья! Что же мне делать? Я все шнурки перерезала вашим кинжалом.

— Надо попросить у старухи.

— Лежите, я сама. *Adiós, querido Bernardo!* [1]

Дверь отворилась и тут же захлопнулась. За дверью тотчас послышался веселый смех. Мержи понял, что добыча от него ускользнула. Он попробовал пуститься в погоню, но в темноте натыкался на кресла, запутывался то в платьях, то в занавесках и так и не нашел двери. Внезапно дверь отворилась, и кто-то вошел с потайным фонарем в руке. Мержи, не долго думая, сдавил вошедшую женщину в объятиях.

— Что? Попались? Теперь я вас не выпущу! — воскликнул он и нежно поцеловал ее.

---

[1] Прощайте, дорогой Бернардо! *(исп.)*

— Оставьте, господин де Мержи! — сказал кто-то грубым голосом.— Вы меня задушите.

Мержи узнал по голосу старуху.

— Чтоб вас черт подрал! — крикнул он, молча оделся, забрал свое оружие, плащ и вышел из дому с таким чувством, точно он пил отменную малагу, а затем по недосмотру слуги влил в себя стакан противоцинготной настойки из той бутылки, которую когда-то давно поставили в погреб и забыли.

Дома Бернар не откровенничал со своим братом. Он только сказал, что это была, насколько он мог судить в темноте, дивной красоты испанка, но своими подозрениями относительно того, кто она такая, поделиться не захотел.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ПРИЗНАНИЕ

Амфитрион

Алкмена, я молю, послушайтесь рассудка —
Поговорим без лишних слов.

Мольер, Амфитрион

Два дня он не получал от мнимой испанки никаких известий. На третий день братья узнали, что г-жа де Тюржи накануне приехала в Париж и сегодня не преминет поехать на поклон к королеве-матери. Они поспешили в Лувр и встретились с ней в галерее — она разговаривала с окружавшими ее дамами. При виде Бернара она нимало не смутилась. Даже легкая краска не покрыла ее, как всегда, бледных щек. Заметив его, она, как старому знакомому, кивнула ему головой, поздоровалась, а затем нагнулась к его уху и зашептала:

— Надеюсь, теперь ваше гугенотское упрямство сломлено? Чтобы вас обратить, понадобилось чудо.

— То есть?

— А разве вы не испытали *на самом себе* чудотворную силу святыни?

Бернар недоверчиво усмехнулся.

— Мне придали силы и ловкости воспоминание о прелестной ручке, которая дала мне ладанку, и любовь, которую она во мне пробудила.

Графиня засмеялась и погрозила ему пальцем.

— Вы забываетесь, господин корнет! Разве можно со мной так говорить?

Она сняла перчатку и поправила волосы; Бернар между тем впился глазами в ее руку, а потом заглянул в живые, смотревшие на него почти сердито глаза очаровательной графини. Изумленный вид молодого человека вызвал у нее взрыв хохота.

— Что вы смеетесь?

— А что вы на меня так удивленно смотрите?

— Извините, но последние дни я только и делаю, что даюсь диву.

— Да что вы? Любопытно! Расскажите же нам хоть об одном из удивительных происшествий, которые случаются с вами на каждом шагу.

— *Сейчас* и в этом месте я вам рассказывать о них не стану. А кроме того, я запомнил испанский девиз, которому меня научили назад тому три дня.

— Какой девиз?

— Он состоит из одного слова: *Callad.*

— Что же это значит?

— Как? Вы не знаете испанского языка? — глядя на нее в упор, спросил Бернар.

Графиня, однако, выдержала испытание,— она притворилась, что не постигает скрытого смысла его слов, и молодой человек, глядевший ей прямо в глаза, в конце концов под взглядом той, кому он бросал вызов, принужден был потупить взор.

— В детстве я знала несколько слов по-испански, а теперь, наверно, забыла,— совершенно спокойным тоном отвечала она.— Поэтому, если хотите, чтобы я вас понимала, говорите со мной по-французски. Ну так что же это за девиз?

— Он советует быть молчаливым, сударыня.

— Вот бы нашим молодым придворным взять себе такой девиз, но только с условием, что они станут претворять его в жизнь. Однако вы человек сведущий, господин де Мержи! У кого вы учились испанскому языку? Верно уж, у какой-нибудь дамы?

Мержи взглянул на нее с нежной улыбкой.

— Я знаю по-испански всего лишь несколько слов,— тихо сказал он,— в моей памяти их запечатлела любовь.

— Любовь? — насмешливо переспросила графиня.

Она говорила громко, и при слове «любовь» дамы вопросительно поглядели в ее сторону. Мержи был слегка задет насмешливым ее тоном, такое обхождение с ним его коробило; он

вынул из кармана полученную накануне записку на испанском языке и протянул ее графине.

— Я уверен, что вы не менее сведущи, чем я,— сказал он,— уж такой-то испанский язык вам не трудно будет понять.

Диана де Тюржи схватила записку, прочла, а может быть, только сделала вид, что прочла, и, залившись хохотом, передала даме, которая была к ней ближе всех.

— Вот, госпожа де Шатовье, прочтите эту любовную записку,— господин де Мержи недавно получил ее от своей возлюбленной и намерен, по его словам, подарить ее мне. Любопытней всего, что почерк мне знаком.

— В этом я не сомневаюсь,— довольно насмешливо, однако не повышая голоса, заметил Мержи.

Госпожа де Шатовье прочла записку, засмеялась и передала одному из кавалеров, тот передал другому, и скоро во всей галерее не осталось человека, который не знал бы, что к Мержи неравнодушна какая-то испанка.

Когда взрывы хохота стали ослабевать, графиня насмешливым тоном спросила Мержи, красива ли та особа, которая написала ему записку.

— По чести, сударыня, она не уступает вам.

— Боже! Что я слышу! Вы ее, наверно, видели ночью, я же ее отлично знаю... Ну что ж, вас можно поздравить.

И она засмеялась еще громче.

— Прелесть моя! — обратилась к ней Шатовье.— Скажите, как зовут эту счастливицу испанку, которой удалось завладеть сердцем господина де Мержи?

— Я назову ее имя, но пусть сначала господин де Мержи скажет при всех этих дамах, видел ли он свою возлюбленную при дневном свете.

На Мержи нельзя было смотреть без улыбки: он чувствовал себя крайне неловко, лицо его выражало попеременно то замешательство, то досаду. Он молчал.

— Ну хорошо, довольно тайн,— молвила графиня.— Записку эту написала сеньора донья Мария Родригес. Ее почерк я знаю не хуже, чем почерк моего отца.

— Мария Родригес! — воскликнули дамы и опять расхохотались.

Марии Родригес перевалило за пятьдесят. В Мадриде она была дуэньей. Каким ветром ее занесло во Францию и за какие заслуги Маргарита Валуа взяла ее ко двору, остается загадкой. Быть может, Маргарита держала около себя это чудище, чтобы при сопоставлении резче означились ее преле-

сти,— так художники писали красавицу вместе с уродливым карликом. В Лувре Родригес смешила всех придворных дам чванным видом и старомодностью нарядов.

Мержи внутренне содрогнулся. Он видел дуэнью и сейчас, к ужасу своему, вспомнил, что дама в маске назвала себя доньей Марией. У него все поплыло перед глазами. Он окончательно растерялся, а смех кругом становился все неудержимее.

— Она дама скромная,— продолжала графиня де Тюржи.— Лучшего выбора вы сделать не могли. Когда она вставит зубы и наденет черный парик, то еще хоть куда. Да и потом, ей, конечно, не больше шестидесяти.

— Она его приворожила! — воскликнула Шатовье.

— Так вы, значит, любитель древностей? — спросила еще одна дама.

— Жаль мне мужчин,— вздохнув, произнесла фрейлина королевы.— На них часто находит блажь.

Бернар по мере сил защищался. На него сыпался град издевательских поздравлений, он был в глупейшем положении, но тут вдруг в конце галереи показался король, шутки и смех разом стихли. Все спешили уступить ему дорогу, говор сменился молчанием.

Король имел долгую беседу с адмиралом у себя в кабинете и теперь, непринужденно опираясь на плечо Колиньи, провожал его. Седая борода и черное платье адмирала составляли резкую противоположность с молодым лицом Карла и его блиставшим отделкой нарядом. Глядя на них, можно было подумать, что юный король с редкой для монарха проницательностью избрал своим фаворитом добродетельнейшего и мудрейшего из подданных.

Пока они шли по галерее, все взоры были прикованы к ним, и вдруг Мержи услыхал над самым своим ухом чуть слышный шепот графини:

— Перестаньте дуться! Держите! Прочтете, только когда выйдете наружу.

Он держал в руках шляпу, и в ту же минуту что-то туда упало. Это был запечатанный лист бумаги, в который был завернут твердый предмет. Мержи переложил его в карман и через четверть часа, выйдя из Лувра, вскрыл — там оказались ключик и записка:

«Этим ключом отворяется калитка в мой сад. Сегодня, в десять часов вечера. Я люблю Вас. Маски я уже не надену, и Вы увидите наконец донью Марию и *Диану*».

Король проводил адмирала до конца галереи.

— Прощайте, отец,— сказал он и пожал ему руку.— Вам известно, что я вас люблю, а я знаю, что вы мой — и телом и душою, со всеми потрохами.

Произнеся эти слова, король расхохотался на всю галерею. Когда же, возвращаясь в кабинет, он проходил мимо капитана Жоржа, то остановился и обронил:

— Завтра после мессы зайдите ко мне в кабинет.

Внезапно король оглянулся и с некоторым страхом посмотрел на дверь, в которую только что вышел Колиньи, затем проследовал в кабинет и заперся с маршалом Ретцем.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

АУДИЕНЦИЯ

Macbeth

Do you find
Your patience so predominant in your nature,
That you can let this go?

Shakespeare[1]

В назначенный час капитан Жорж явился в Лувр. Как скоро о нем доложили, придверник поднял ковровую портьеру и ввел его в кабинет короля. Государь сидел за маленьким столиком и, видимо, что-то писал; боясь, должно быть, потерять нить мыслей, которыми он был сейчас занят, он сделал знак капитану подождать. Капитан шагах в шести от стола замер в почтительной позе и от нечего делать стал водить глазами по комнате и изучать во всех подробностях ее убранство.

Убранство было весьма несложное; оно состояло почти исключительно из охотничьих принадлежностей, как попало развешанных по стене. Между длинной аркебузой и охотничьим рогом висела довольно хорошая картина, изображавшая деву Марию; над картиной была прикреплена к стене большая ветка букса. Столик, за которым писал государь, был завален бумагами и книгами. На полу валялись четки, молитвенничек, сетки для ловли птиц, сокольничьи колокольчики —

---

[1] Макбет
Иль так вы терпеливы,
Чтоб все спускать обидчику и вредь? *Шекспир (англ.).*

все было свалено в одну кучу. Тут же на подушке спала большущая борзая собака.

Внезапно король в бешенстве швырнул перо на пол, и с языка у него сорвалась непристойная брань. Опустив голову, он несколько раз неровным шагом прошелся по кабинету, потом неожиданно остановился перед капитаном и, словно только сейчас заметив его, бросил на него испуганный взгляд.

— Ах, это вы! — слегка подавшись назад, воскликнул он.

Капитан поклонился ему до земли.

— Очень рад вас видеть. Мне нужно было с вами поговорить... но...

Король запнулся.

Ловя окончание фразы, Жорж стоял с полуоткрытым ртом и вытянутой шеей, дюймов на шесть выставив левую ногу,— словом, если бы художник захотел изобразить ожидание, то более удачной позы для своей натуры он, по моему мнению, не мог бы выбрать. Король, однако, снова свесил голову на грудь,— мысли его, казалось, витали теперь бесконечно далеко от того, что он хотел было высказать.

Несколько минут длилось молчание. Король сел и усталым жестом провел рукой по лбу.

— Чертова рифма! — воскликнул он, топнув ногой, и вслед за тем раздалось звяканье длинных шпор, которые он носил на ботфортах.

Проснулась борзая и, решив, что хозяин ее зовет, вскочила, подошла к креслу, положила обе лапы ему на колени и, подняв острую свою морду, так что она оказалась гораздо выше головы Карла, разинула широкую пасть и без всяких церемоний зевнула,— собаку трудно было обучить хорошим манерам.

Король прогнал собаку,— она вздохнула и пошла на место.

Вновь как бы случайно встретившись глазами с капитаном, король сказал:

— Извините, Жорж! От этой... рифмы меня в пот ударило.

— Я вам мешаю, ваше величество? — низко поклонившись, спросил капитан.

— Ничуть, ничуть,— отвечал король.

Он встал и в знак особого благоволения положил капитану руку на плечо. При этом он улыбался, но одними губами,— его отсутствующий взгляд не принимал в улыбке никакого участия.

— Вы еще не отдохнули после охоты? — спросил король. Приступить прямо к делу ему было, видимо, неловко.— С оленем пришлось повозиться.

— Государь! Если б давешний гон меня утомил, я был бы

недостоин командовать отрядом легкой кавалерии вашего величества. Во время последних войн господин де Гиз видел, что я не слезаю с коня, и прозвал меня «албанцем».

— Да, правда, мне говорили, что ты лихой конник. Скажика, а из аркебузы ты хорошо стреляешь?

— Да, государь, недурно, хотя, конечно, до вашего величества мне далеко. Такое искусство не всем дается.

— Вот что, видишь эту длинную аркебузу? Заряди ее двенадцатью дробинками. Не сойти мне с этого места, если ты в шестидесяти шагах прицелишься в какого-нибудь безбожника и хоть одна из них пролетит мимо!

— Шестьдесят шагов — расстояние большое, но не очень. И все же с таким стрелком, как вы, ваше величество, я бы тягаться не стал.

— А в двухстах шагах ты из этой аркебузы всадишь в человека пулю, лишь бы пуля была соответствующего калибра.

Король вложил аркебузу в руки капитана.

— Красиво отделана и, должно думать, бьет метко,— внимательно осмотрев аркебузу и проверив спуск, заключил Жорж.

— Я вижу, мой милый, ты разбираешься в оружии. Возьмика на прицел — я хочу посмотреть, как это у тебя получается.

Капитан прицелился.

— Хорошая штука аркебуза! — медленно продолжал Карл.— В ста шагах одним таким движением пальца можно покончить с недругом,— перед меткой пулей ни кольчуга, ни панцирь не устоят!

Я говорил, что Карл IX то ли по привычке, которая появилась у него еще в детстве, то ли в силу врожденной застенчивости почти никогда не глядел в глаза своему собеседнику. Но сейчас он смотрел на капитана пристально, и выражение лица у него было необычное. Жорж невольно опустил глаза, тогда и король почти тотчас потупился. На минуту воцарилось молчание. Первым нарушил его Жорж.

— Хорошо быть искусным стрелком, а все же шпага и копье надежнее.

— Справедливо. Зато аркебуза...— Карл странно усмехнулся и вдруг спросил: — Говорят, Жорж, адмирал тебя горько обидел?

— Государь...

— Мне об этом известно доподлинно. И все же я бы хотел... Расскажи мне про это сам.

— Совершенная правда, государь. Я говорил с ним об одном злополучном деле, в котором я принимал самое живое участие...

— О дуэли твоего брата? Красив, негодник, и за себя постоять умеет: проколет кого угодно. Я таких людей уважаю. Коменж был хлыщ, он получил по заслугам, только и всего. Но за что же тебя изругал чертов бородач? Хоть убей, не могу взять в толк.

— Боюсь, что причиной тому злополучное различие вероисповеданий, мое обращение, о котором, как мне казалось, все давно забыли...

— Забыли?

— Вы, ваше величество, подали пример забвения религиозных распрей, ваше поразительное беспристрастие, справедливость...

— Да будет тебе известно, друг мой, что адмирал ничего не забывает.

— Я это заметил, государь.

Жорж снова потемнел в лице.

— Что же ты думаешь делать, Жорж?

— Кто, я, государь?

— Да. Говори без обиняков.

— Государь! Я бедный дворянин, адмирал — старик, я не могу вызвать его на дуэль. Кроме того, государь,— поклонившись, сказал он, видимо, желая учтивой фразой загладить впечатление, которое должна была, как он полагал, произвести на короля его дерзость,— если бы даже я имел возможность бросить вызов, я бы все-таки этого не сделал: меня бы остановил страх заслужить немилость вашего величества.

— Ну что ты! — молвил король и положил правую руку на плечо Жоржа.

— К счастью,— продолжал капитан,— разговор с адмиралом моей чести не затрагивает. А вот если бы кто-нибудь из тех, что со мной на равной ноге, осмелился усомниться в моей чести, я бы испросил у вашего величества соизволения...

— Значит, ты не намерен мстить адмиралу? А ведь этот... наглеет не по дням, а по часам!

Жорж широко раскрыл глаза от изумления.

— И он же тебя оскорбил, черт возьми, смертельно оскорбил, как мне передавали! — продолжал король.— Дворянин — не лакей: есть вещи, которые нельзя простить даже государю.

— Как же я ему отомщу? Драться со мной — это он сочтет ниже своего достоинства.

— Допустим. Но...

Король опять взял аркебузу и прицелился.

— Понимаешь?

Капитан попятился. Самый жест монарха был достаточно выразителен, а демоническое выражение его лица не оставляло никаких сомнений относительно того, что этот жест обозначал.

— Как, государь? Вы мне советуете...

Король изо всех сил стукнул об пол прикладом и, устремив на Жоржа бешеный взгляд, крикнул:

— Советую? А, чтоб! Ничего я тебе не советую.

Капитан не знал, что ему делать. В конце концов, он поступил так, как поступили бы многие на его месте: поклонился и опустил глаза.

Карл мгновенно изменил тон:

— Это вовсе не значит, что если бы ты, мстя за свою честь, вогнал в него пулю... то мне это было бы безразлично. Клянусь потрохами папы, самое драгоценное, что есть у дворянина,— это его честь, и ради того, чтобы смыть с нее пятно, он не должен останавливаться ни перед чем. Притом Шатильоны надменны и нахальны, как подручные палача. Я же знаю: эти мерзавцы с наслаждением свернули бы мне шею и сели на мое место... При виде адмирала я иной раз готов выщипать ему бороду!

Капитан ничего не ответил на это словоизвержение, исходившее из уст обычно молчаливого человека.

— Ну так что же ты, в душу, в кровь, собираешься делать? Послушай: я бы на твоем месте подстерег его, когда кончится их протестантское сборище и он будет выходить,— вот тут бы ты из окна и выстрелил ему в спину. Тьфу, пропасть! Мой кузен Гиз был бы тебе благодарен, ты бы этим много поспособствовал умиротворению страстей в моем королевстве. Получается, что король Франции не столько я, сколько этот безбожник, понимаешь? В конце концов, мне это надоело... Я говорю тебе напрямик: нужно отучить этого... дырявить честь дворянина. Он тебе дырявит честь, а ты ему продырявь шкуру — долг платежом красен.

— Убийство из-за угла не сшивает чести дворянина, оно только еще сильней разрывает ее.

Этот ответ оказал на государя такое действие, как если бы в него ударила молния. Остолбеневший, он все еще держал в протянутых к капитану руках аркебузу — он точно без слов предлагал ему воспользоваться этим орудием мести. Король полуоткрыл рот, губы у него помертвели, глаза, дико смотревшие на Жоржа, казалось, завораживали его и в то же время ощущали на себе силу жуткого этого завораживания.

Наконец аркебуза выскользнула из дрожащих рук короля и с громким стуком упала на пол. Капитан бросился поднимать ее, а король сел в кресло и понурил голову. Губы у него шеве-

лились, брови двигались — видно было, что в душе у него идет борьба.

— Капитан! — сказал он после долгого молчания.— Где стоит твой легкоконный отряд?

— В Мо, государь.

— Тебе придется съездить за ним и привести его в Париж. Через... через несколько дней получишь приказ. Прощай.

Король произнес это резко и раздраженно. Капитан низко поклонился, а Карл, указав на дверь, дал ему понять, что аудиенция окончена.

Капитан пятился к двери, отвешивая приличествующие случаю поклоны, как вдруг король вскочил и схватил его за руку.

— Держи, по крайней мере, язык на привязи. Понял?

Жорж еще раз поклонился и прижал руку к сердцу. Выходя из королевских покоев, он слышал, как государь сердитым голосом позвал собаку и щелкнул арапником,— должно быть, он собирался сорвать зло на неповинном животном.

Дома Жорж написал записку и велел передать ее адмиралу:

«Некто, не любящий Вас, но любящий свою честь, советует Вам не доверять герцогу Гизу и, пожалуй, еще одному лицу, более могущественному, чем герцог. Ваша жизнь в опасности».

На бесстрашного Колиньи это письмо не произвело ни малейшего впечатления. Известно, что вскоре после этого, 22 августа 1572 года, выстрелом из аркебузы его ранил негодяй, по имени Морвель, которого за это прозвали *убийцей на службе у короля.*

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

НОВООБРАЩАЕМЫЙ

'This pleasing to beschool'd in a strange tongue
By female lips and eyes.

L. Byron, D. Juan, canto II [1]

Если любовники осмотрительны, то может пройти неделя, прежде чем общество догадается. По прошествии недели бдительность обыкновенно притупляется, предосторожности ка-

[1] Приятно изучать чужой язык
Через посредство женских уст и глаз. *Лорд Байрон, Дон Жуан, песнь II (англ.).*

жутся уже смешными. Взгляды, которыми обмениваются любовники, легко перехватить, еще легче истолковать — и вот уже все известно.

Связь графини и младшего Мержи тоже, в конце концов, перестала быть тайной для двора Екатерины. Множество *явных* доказательств могло бы открыть глаза даже слепым. Так, например, г-жа де Тюржи обыкновенно носила лиловые ленты, и у Бернара эфес шпаги, низ камзола и башмаки были украшены завязанными бантом лиловыми лентами. Графиня особенно не скрывала, что она терпеть не может бороды, а любит ловко закрученные усы. С недавнего времени Мержи стал тщательно выбривать подбородок, а его *лихо* закрученные, напомаженные и расчесанные металлической гребенкой усы образовывали нечто вроде полумесяца, кончики которого поднимались гораздо выше носа. Наконец, распустили слух, будто некий дворянин однажды чуть свет отправился по своим делам, и когда он проходил по улице Аси, то на его глазах калитка, ведущая в сад графини, отворилась, и из сада вышел человек, которого, как тот ни завертывался в плащ, дворянин сейчас узнал — это был сеньор де Мержи.

Но особенно всех удивляло и служило наиболее веским доказательством то, что юный гугенот, открыто глумившийся над всеми католическими обрядами, теперь ходит в церковь, участвует в процессиях, даже окунает пальцы в святую воду, а ведь еще так недавно он считал это чудовищным кощунством. Шепотом передавали друг другу, что Диана возвращает богу заблудшую овечку, а молодые дворяне протестантского вероисповедания говорили, что они, пожалуй, хорошенько подумали бы, не переменить ли им веру, если бы вместо капуцинов и францисканцев их наставляли молодые хорошенькие богомолки вроде графини де Тюржи.

Однако обращением Бернара пока что и не пахло. Он ходил с графиней в церковь, что правда, то правда, но, ставши рядом, всю обедню, к вящему неудовольствию святош, шептал ей что-то на ухо. Мало того, что он сам не внимал богослужению, он отвлекал истинно верующих. А ведь тогда, как известно, всякая процессия представляла собой не менее любопытное увеселение, чем костюмированный бал. Наконец, Мержи не испытывал более угрызений совести, когда окунал пальцы в святую воду, единственно потому, что это давало ему право пожимать при всех прелестную ручку, которая всякий раз вздрагивала, ощутив прикосновение его руки. Как бы то ни было, хоть он и

держался за свою веру, все же ему приходилось вести за нее жаркие бои, а на долю Дианы выпадал тем более значительный успех, что для богословских диспутов она обыкновенно выбирала такие минуты, когда Мержи было особенно трудно в чем-либо ей отказать.

— Милый Бернар! — сказала она в один из вечеров, обвив шею любовника длинными прядями своих черных волос и положив ему на плечо голову.— Сегодня мы с тобой слушали проповедь. Неужели же такие прекрасные слова не запали тебе в душу? Долго ты еще будешь к ним глух?

— Ах ты, моя дорогая! Если уж твой сладкий голос и твоя богословская аргументация, столь мощным подкреплением которой служат твои влюбленные взгляды, ничего не могли со мной поделать, то чего же ты ждешь, милая Диана, от гнусавого капуцина?

— Противный! Я задушу тебя!

Покрепче обмотав вокруг шеи Бернара одну из своих прядей, она притянула его к себе.

— Знаешь, как я развлекался во время проповеди? Пересчитывал жемчужины у тебя в волосах. Кстати, что ж ты их рассыпала по всей комнате?

— Так я и знала! Ты не слушал проповеди. И это каждый раз! Ну что ж,— продолжала она, и в голосе ее зазвучала грустная нотка,— я люблю тебя больше, чем ты меня, это ясно. Если б ты меня любил по-настоящему, ты бы уж давно перешел в мою веру.

— Диана! Ну к чему эти нескончаемые споры? Пусть спорят сорбоннские богословы и наши пасторы,— неужели нет более веселого времяпрепровождения?

— Перестань... Ах, если б мне удалось тебя спасти, как бы я была счастлива! Знаешь, Бернардо: ради твоего спасения я согласилась бы пробыть в чистилище вдвое дольше того, что мне предназначено.

Он улыбнулся и крепко обнял Диану, но она с выражением непередаваемой грусти оттолкнула его.

— А вот ты, Бернар, не принес бы такой жертвы ради меня. Тебя не пугает мысль, какой опасности подвергается моя душа, когда я отдаюсь тебе...

И тут из ее прекрасных глаз покатились слезы.

— Родная моя! Разве ты не знаешь, что любовь оправдывает многое и что...

— Да, я все это хорошо знаю. Но если б я сумела спасти твою душу, мне отпустились бы все мои грехи. Все те,

которые мы с тобой совершили вместе, все те, которые мы с тобой, возможно, еще совершим... все было бы нам отпущено. Этого мало, наши грехи послужили бы к нашему спасению!

Говоря это, она крепко-крепко обнимала его, и в той восторженной страстности, какой дышали ее слова, в этом странном способе проповедовать было, если принять во внимание обстоятельства, при которых проповедь произносилась, что-то до того смешное, что Мержи еле сдерживался, чтобы не прыснуть.

— Подождем еще с обращением, Диана. Когда мы с тобой состаримся... когда нам будет уже не до любовных утех...

— Что мне с тобой делать, противный? Зачем у тебя на губах демоническая усмешка? Разве я стану целовать такие губы?

— Вот я уже и не улыбаюсь.

— Хорошо, хорошо, только не сердись. Послушай, *querido Bernardo:* [1] ты прочитал ту книгу, что я тебе дала?

— Да, еще вчера.

— Понравилась она тебе? Вот умная книга! Неверующие, и те, прочитав ее, прикусят язычки.

— Твоя книга, Диана,— сплошная ложь и нелепица. Это самое глупое из всех папистских творений. Ты так уверенно о ней рассуждаешь, а между тем даю голову на отсечение, что ты в нее даже не заглянула.

— Да, я еще не успела ее прочесть,— слегка покраснев, призналась Диана,— но я убеждена, что в ней много глубоких и верных мыслей. Гугеноты недаром бранят ее на все корки.

— Хочешь, я тебе просто так, от нечего делать, со Священным писанием в руках докажу...

— Даже и не думай, Бернар! Упаси бог! Я не еретичка, я Священного писания не читаю. Я тебе не дам подрывать мою веру. Ты только время зря потеряешь. Вы, гугеноты, такие начетчики, прямо ужас! На диспутах вы нам своей ученостью пыль в глаза пускаете, а мы, бедные католики, ни Аристотеля, ни Библии не читали и не знаем, что вам ответить.

---

[1] Милый Бернардо *(исп.)*.

— А все потому, что вы, католики, желаете верить не рассуждая, не давая себе труда подумать, разумно это или нет. Мы действуем иначе: прежде чем что-либо защищать, а главное, прежде чем что-либо проповедовать, мы изучаем.

— Ах, если б я была так же красноречива, как францисканец Жирон!

— Твой Жирон дурак и пустобрех. Кричать он здоров, а все-таки назад тому шесть лет во время открытого словопрения наш пастор Удар посадил его в лужу.

— Это ложь! Ложь, которую распространяют еретики!

— Как? Разве ты не знаешь, что во время спора, на виду у всех, капли пота со лба досточтимого отца капали прямо на Иоанна Златоуста, который был у него в руках? Еще по сему случаю один шутник сочинил стишки...

— Молчи, молчи! Не отравляй мне слух богопротивной ересью! Бернар, милый мой Бернар, заклинаю тебя: отрекись ты от прислужников сатаны,— они тебя обманывают, они тебя тащат в ад! Умоляю тебя: спаси свою душу, вернись в лоно нашей церкви!

Но уговоры не действовали на любовника Дианы: вместо ответа он недоверчиво усмехнулся.

— Если ты меня любишь,— наконец воскликнула она,— то откажись ради меня, ради любви ко мне от своего вредного образа мыслей!

— Милая Диана! Мне легче отказаться ради тебя от жизни, чем от того, что разум мой признает за истину. Как ты думаешь: может любовь принудить меня разувериться в том, что дважды два — четыре?

— Бессердечный!..

В распоряжении у Бернара было самое верное средство прекратить подобного рода пререкания, и он им воспользовался.

— Ах, милый Бернардо! — томным голосом проговорила графиня, когда Мержи с восходом солнца волей-неволей собрался восвояси.— Ради тебя я погублю свою душу и не спасу твоей, так что мне и эта отрадная мысль не послужит утешением.

— Полно, мой ангел! Отец Жирон в лучшем виде даст нам с тобой отпущение *in articulo mortis* [1].

---

[1] За секунду до смерти *(лат.)*.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ФРАНЦИСКАНЕЦ

Monachus in claustro
Non valet ova duo;
Sed quando est extra,
Bene valet triginta [1].

На другой день после бракосочетания Маргариты с королем Наваррским капитан Жорж по распоряжению министра двора выехал из Парижа к своему легкоконному отряду, стоявшему в Мо. Так как Бернар был уверен, что Жорж возвратится еще до конца празднеств, то при расставании с ним он не особенно грустил и легко покорился своей участи — несколько дней пожить одному. Г-жа де Тюржи отнимала у Бернара так много времени, что несколько минут одиночества его не пугали. По ночам он отсутствовал, а днем спал.

В пятницу, 22 августа 1572 года, адмирала ранил выстрелом из аркебузы один негодяй, по имени Морвель. Народная молва приписала это гнусное злодейство герцогу Гизу, поэтому герцог на другой же день, по всей вероятности, чтобы не слышать жалоб и угроз из лагеря реформатов, оставил Париж. Король сперва как будто вознамерился применить к нему строжайшие меры, но затем не воспрепятствовал его возвращению в Париж, возвращение же его ознаменовалось чудовищной резней — она была произведена ночью 24 августа.

Молодые дворяне-протестанты посетили адмирала, а затем, вскочив на добрых коней, рассыпались по улицам — они искали встречи с герцогом Гизом или с его друзьями, чтобы затеять с ними ссору.

Однако поначалу все обошлось благополучно. То ли народ не решился выступить, увидев, что дворян много, то ли он приберегал силы для будущего, во всяком случае, он с наружным спокойствием слушал их крики: «Смерть убийцам адмирала! Долой гизаров!» — и хранил молчание.

Навстречу отряду протестантов неожиданно выехало из-за угла человек шесть молодых дворян-католиков, среди них были приближенные Гиза. Тут-то бы и завязаться жаркой схватке, однако схватки не произошло. Католики, может быть, из

---

[1] В обители за монаха
Не дашь и пары яиц,
А только он выйдет за ее стены —
И за него уже можно дать целых три десятка *(испорч. лат.)*.

благоразумия, может быть, потому, что они действовали согласно полученным указаниям, ничего не ответили на оскорбительные выкрики протестантов; более того, ехавший впереди отряда католиков молодой человек приятной наружности приблизился к Мержи и, вежливо поздоровавшись, заговорил с ним непринужденным тоном старого приятеля:

— Здравствуйте, господин де Мержи! Вы, конечно, видели господина де Шатильона? Ну как он себя чувствует? Убийца схвачен?

Оба отряда остановились. Мержи, узнав барона де Водрейля, в свою очередь, поклонился ему и ответил на его вопросы. Кое-кто из католиков вступил в разговор с другими протестантами, но говорили они недолго и до пререканий дело не дошло. Католики уступили дорогу протестантам, и оба отряда разъехались в разные стороны.

Мержи отстал от своих товарищей: его задержал барон де Водрейль. Оглядев его седло, Водрейль сказал на прощание:

— Смотрите! Если не ошибаюсь, у вашего куцего подпруга ослабела. Будьте осторожны!

Мержи спешился и подтянул подпругу. Только успел он сесть в седло, как сзади послышался топот летящего крупной рысью коня. Мержи обернулся — прямо на него ехал незнакомый молодой человек, которого он сегодня первый раз видел, когда проезжал мимо отряда католиков.

— Видит бог, как бы я был рад поговорить один на один с кем-нибудь из тех, кто орал сейчас: «Долой гизаров!»,— приблизившись, воскликнул молодой человек.

— Вам долго искать его не придется,— сказал Мержи.— Чем могу служить?

— А, так вы из числа этих мерзавцев?

Мержи без дальних размышлений вытащил из ножен шпагу и плашмя ударил ею приспешника Гизов по лицу. Тот мигом выхватил седельный пистолет и в упор выстрелил в Мержи. К счастью, загорелся только запал. Возлюбленный Дианы со страшной силой хватил своего недруга шпагой по голове, и тот, обливаясь кровью, полетел с коня. Народ, до последней минуты являвшийся безучастным свидетелем, мгновенно принял сторону раненого. На молодого гугенота посыпались камни и палочные удары,— тогда он, видя, что ему одному с толпой не справиться, рассудил за благо дать коню шпоры и умчаться галопом. Но когда он слишком круто повернул за угол, конь его упал, увлек за собою всадника и хотя не зашиб его, однако помешал ему тут же вскочить, так что разъяренная толпа успе-

ла окружить гугенота. Мержи прислонился к стене и некоторое время успешно отбивался от тех, кого могла достать его шпага. Но вот кто-то со всего размаху ударил по шпаге палкой и сломал лезвие, Бернара сбили с ног и, наверно, разорвали бы на части, когда бы некий францисканец, пробившись к нему, не прикрыл его своим телом.

— Что вы делаете, дети мои? — крикнул он.— Оставьте его, он ни в чем не виноват.

— Он гугенот! — завопила остервенелая толпа.

— Что ж из этого? Дайте ему срок — он покается.

Руки, державшие Мержи, тотчас отпустили его. Мержи встал, поднял сломанную свою шпагу и приготовился в случае нового натиска дорого продать свою жизнь.

— Пощадите этого человека,— продолжал монах.— Потерпите: еще немного, и гугеноты пойдут слушать мессу.

— «Потерпите, потерпите»! — с досадой повторило несколько голосов.— Это мы слыхали! А пока что гугеноты каждое воскресенье собираются и смущают истинных христиан своим пением.

— А вы слыхали пословицу: *повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить?* — весело спросил монах.— Пусть еще немного поверещат—скоро по милости Августовской божьей матери вы услышите, как они запоют мессу по-латыни. А юного этого нечестивца отдайте в мое распоряжение: я из него сделаю настоящего христианина. Ступайте! Захотелось мясца, смотрите, не пережарьте его!

Толпа расходилась, ропща, но никто больше Бернара не трогал. Ему даже вернули коня.

— Впервые, отец мой, сутана не вызывает во мне неприязни,— сказал Мержи.— Я вам крайне признателен. Не откажите принять от меня этот кошелек.

— Если вы жертвуете его на бедных, молодой человек, то я его возьму. Да будет вам известно, что я к вам чувствую расположение. Я знаком с вашим братом и вам желаю добра. Переходите в нашу веру сегодня же. Следуйте за мной — я все мигом устрою.

— Ну, уж от этого вы меня увольте, отец мой. У меня нет ни малейшего желания менять веру. А откуда вы меня знаете? Как вас зовут?

— Меня зовут брат Любен, и я... Плутишка! Я часто вижу, как вы похаживаете возле одного дома... Молчу, молчу!.. Скажите, господин де Мержи: теперь вы допускаете, что монах способен делать людям добро?

— Я всем буду рассказывать о вашем великодушии, отец Любен.

— Сменять протестантское сборище на мессу не хотите?

— Еще раз говорю: нет. И в церковь буду ходить только ради ваших проповедей.

— Как видно, вы человек со вкусом.

— И к тому же ваш большой поклонник.

— Мне, мочи нет, досадно, что вы такой закоренелый еретик. Ну, я свое дело сделал — я вас предостерег. А там уж смотрите сами. Я умываю руки. Прощайте, мой мальчик.

— Прощайте, отец мой.

Мержи сел на коня и, слегка потрепанный, но весьма довольный тем, что дешево отделался, поехал домой.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ЛЕГКОКОННЫЙ ОТРЯД

Jaffier

He amongst us
That spares his father, brother, or his friend
Is damned.

Otway, Venice preserved[1]

Вечером 24 августа легкоконный отряд вступал в Париж через Сент-Антуанские ворота. Конники, судя по их запыленным сапогам и платью, совершили большой переход. Последние отблески заходящего солнца освещали загорелые лица солдат. На этих лицах читалась та безотчетная тревога, какую обыкновенно испытывают люди перед событием еще неведомым, но, как говорит им сердце, мрачным.

Отряд шагом направился к обширному пустырю, тянувшемуся около бывшего Турнельского дворца. Здесь капитан приказал остановиться, затем отрядил в разведку десять человек под командой корнета, самолично расставил при въезде в ближайшие улицы караулы и, словно в виду неприятеля, приказал

---

[1] Джафар

Тот из нас,
Кто пощадит отца, брата или друга,
Да будет проклят! *Отуэй, Спасенная Венеция (англ.).*

им зажечь фитили. Приняв эти чрезвычайные меры предосторожности, он вернулся и остановил свою лошадь перед фронтом отряда.

— Сержант! — крикнул он; тон у него сейчас был более строгий и властный, чем всегда.

Старый конник с расшитой перевязью и в шляпе с золотым галуном почтительно приблизился к своему командиру.

— У всех ли наших конников есть фитили?

— У всех, господин капитан.

— Пороховницы полны? Пуль достаточно?

— Достаточно, господин капитан.

— Отлично.

Капитан шагом поехал перед фронтом малочисленного своего отряда. Сержант следовал за ним на расстоянии, которое могла бы занять лошадь. Он заметил, что капитан не в духе, и долго не решался подъехать к нему. Наконец осмелел.

— Господин капитан! Разрешите конникам задать лошадям корму! Ведь лошади с утра ничего не ели.

— Нельзя.

— Ну хоть горсточку овса? Мы бы это мигом?

— Не сметь разнуздывать ни одну лошадь!

— А ведь если... как я слышал... лошадям ночью предстоит потрудиться... то, может быть, все-таки...

Офицер сделал нетерпеливый жест.

— Займите свое место в строю,— сухо сказал он и поехал дальше.

Сержант вернулся в строй.

— Ну что, сержант, стало быть, правда? Что же будет? Что такое? Что сказал капитан?

Ветераны забросали сержанта вопросами — на эту вольность по отношению к своему начальнику им давали право боевые заслуги и то, что они с давних пор вместе тянули солдатскую лямку.

— Жарко будет нынче,— сказал сержант тоном человека, который знает больше, да только не хочет рассказывать.

— А что? А что?

— Разнуздывать не велено ни на один миг... потому... кто его знает? Каждую минуту можем понадобиться.

— Стало быть, драка? — спросил трубач.— А с кем, хотел бы я знать?

— С кем? — чтобы дать себе время обдумать ответ, переспросил сержант.— Дурацкий вопрос! С кем же еще, черт бы тебя подрал, как не с врагами короля?

— С врагами-то с врагами, да кто они, эти враги? — упорно продолжал допытываться трубач.

— Он не знает, кто такие враги короля!

Сержант соболезнующе пожал плечами.

— Враг короля — испанец, но он бы так, тишком, не подобрался, его бы заметили,— высказал предположение один из конников.

— Нет, это что-то не то,— вмешался другой.— Мало ли у короля врагов, кроме испанцев?

— Бертран прав,— заключил сержант,— я знаю, кого он имеет в виду.

— Кого же?

— Гугенотов,— отвечал Бертран.— Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что гугеноты заимствовали свою веру у немцев, а немцы — наши враги, что-что, а это уж я знаю наверное: мне в них не раз приходилось стрелять, особливо под Сен-Кантеном— они там дрались, как черти.

— Так-то оно так,— снова заговорил трубач,— но ведь мир-то заключили, и, если память мне не изменяет, шум из-за того был изрядный.

— Нет, они нам не враги,— подтвердил молодой конник, одетый лучше других.— Мы ведь собираемся воевать с Фландрией, и легкоконными войсками будет командовать граф Ларошфуко, а кто не знает, что Ларошфуко — протестант? Провалиться мне на этом месте, если он не протестант с головы до ног! У него и шпоры-то *кондейские* и шляпа *гугенотская.*

— Чума его возьми! — воскликнул сержант.— Ты, Мерлен, этого не знаешь, ты тогда еще в нашем полку не служил. Во время той засады, когда мы все чуть было не сложили головы в Пуату, под Ла-Робре, нами командовал Ларошфуко. У него всегда за пазухой нож.

— И он же говорил, что отряд рейтаров лучше, чем легкоконный эскадрон,— вставил Бертран.— Я это знаю так же верно, как то, что эта лошадь пегая. Мне рассказывал паж королевы.

Слушатели выразили негодование, однако это чувство скоро уступило место желанию узнать, с чем связаны воинские приготовления, против кого направлены те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на виду.

— Сержант, а сержант! — заговорил трубач.— Правда, вчера было покушение на короля?

— Бьюсь об заклад, это все орудуют... еретики.

— Когда мы завтракали в *Андреевском кресте,* хозяин передавал за верное, что они собираются упразднить мессу.

— Тогда все дни будут у нас скоромные,— философически заметил Мерлен.— Вместо котелка бобов кусочек солонинки — это еще беда невелика!

— Да, но если гугеноты возьмут верх, то первым делом они перебьют, как все равно посуду, легкоконные отряды и заменят их этими псами — немецкими рейтарами.

— Ну, коли так, я бы им ребра пощупал. Тут поневоле станешь правоверным католиком, убей меня бог! Бертран! Ты служил у протестантов,— скажи: правда, что адмирал платил конникам всего лишь по восьми су?

— Да, и ни одного денье больше. У, старый сквалыга! Потому-то я после первого похода от него и удрал.

— А капитан-то нынче не в духе,— заметил трубач.— Малый он хороший, с солдатами поговорить любит, а тут за всю дорогу звука не проронил.

— Вести недобрые,— ввернул сержант.

— Какие вести?

— Уж верно, что-нибудь насчет гугенотов.

— Опять гражданская война начнется,— сказал Бертран.

— Тем лучше для нас,— подхватил Мерлен: он во всем видел хорошую сторону.— Знай себе круши, села жги, гугеноток щекочи!

— Они поди затевают то же, что когда-то в Амбуазе,— сказал сержант.— Потому-то нас и вызвали. Ну, мы порядок быстро наведем.

В это время из разведки вернулся корнет, приблизился к капитану и стал тихо ему докладывать, а его солдаты присоединились к товарищам.

— Клянусь бородой, ничего не понимаю, что творится в Париже! — заговорил один из тех, кто ходил в разведку.— На улицах мы ни одной кошки не встретили, зато в Бастилии полно солдат. На дворе швейцарские пики торчат — чисто колосья в поле!

— Их там не больше пятисот,— возразил другой.

— Гугеноты покушались на короля, вот это я знаю наверное,— продолжал первый,— и во время свалки великий герцог Гиз собственноручно ранил адмирала.

— Так ему, разбойнику, и надо! — вскричал сержант.

— Дело до того дошло,— продолжал конник,— что швейцарцы на своем чертовом тарабарском языке говорили: мол, слишком долго во Франции терпят еретиков.

— И то правда, за последнее время они что-то уж очень стали нос задирать,— сказал Мерлен.

— Уж так важничают, уж так спесивятся — можно подумать, что это они нас побили под Жарнаком и Монконтуром.

— Они бы рады съесть мясо, а нам оставить кость,— молвил трубач.

— Добрым католикам давно пора их проучить.

— Доведись до меня,— сказал сержант,— прикажет мне король: «Перебей эту сволочь»,— да пусть меня разжалуют, если я заставлю повторить этот приказ!

— Бель-Роз! А ну-ка, расскажи, что делал в городе корнет,— обратился к нему Мерлен.

— Он говорил с одним швейцарцем, похоже, с ихним офицером, но только я не расслышал, о чем. Тот ему сообщал что-то, знать, любопытное, потому корнет все только: «Ах, боже мой, боже мой!»

— Гляньте: к нам конники летят во весь мах. Уж верно, с приказом!

— Кажется, двое.

Капитан и корнет поехали к ним навстречу. Двое всадников быстро двигались по направлению к легкоконному отряду. Один из них, нарядно одетый, в шляпе, украшенной перьями, с зеленой перевязью, ехал на боевом коне. Спутник его, толстый, приземистый, коренастый, в черном одеянии, держал в руках большое деревянное распятие.

— Будет драка, это уж как пить дать,— сказал сержант.— Вон и священник — его послали исповедовать раненых.

— Не больно-то весело драться на голодное брюхо,— проговорил Мерлен.

Двое всадников попридержали коней и, вплотную подъехав к капитану, остановились.

— Целую руки господину де Мержи,— заговорил человек с зеленой перевязью.— Узнаете своего покорного слугу Тома́ де Морвеля?

До капитана еще не успела дойти весть о новом злодеянии Морвеля; он знал его только как убийцу славного де Муи. Вот почему он очень сухо ответил Морвелю:

— Я никакого господина де Морвеля не знаю. Полагаю, что вы явились объявить нам наконец, зачем мы здесь.

— Милостивый государь! Дело идет о спасении доброго нашего государя и нашей святой веры: им грозит опасность.

— Какая такая опасность? — презрительно спросил Жорж.

— Гугеноты злоумышляли на жизнь его величества. Од-

нако преступный их заговор был, слава богу, вовремя раскрыт; почью все истинные христиане должны объединиться и перерезать их сонных.

— Так муж силы Гедеон истребил мадианитян,— вставил человек в черном одеянии.

— Что такое? — содрогнувшись от ужаса, воскликнул Мержи.

— Горожане вооружены,— продолжал Морвель,— в город стянуты французская гвардия и три тысячи швейцарцев. Наши силы исчисляются примерно в шестьдесят тысяч человек. В одиннадцать часов будет подан сигнал — и пойдет потеха.

— Подлый душегуб! Это все мерзкая ложь! Король не дает распоряжений об убийствах, в крайнем случае он за них платит.

Однако Жорж тут же вспомнил о разговоре, который несколько дней тому назад вел с ним король.

— Потише, господин капитан! Если бы служба королю не поглощала все мои помыслы, я сумел бы ответить на ваши оскорбления. Слушайте меня внимательно: я прибыл к вам от его величества с требованием, чтобы вы и ваш отряд следовали за мной. Нам вверены Сент-Антуанская улица и прилегающий к ней квартал. Я привез вам точный список лиц, которых нам надлежит отправить на тот свет. Его преподобие отец Мальбуш обратится к вашим солдатам с наставлением и раздаст им белые кресты — такие кресты будут у всех католиков, а то в темноте можно принять своего за еретика.

— Я ни за что не приму участия в избиении спящих людей.

— Вы католик? Вы признаете Карла Девятого своим королем? Вам известна подпись маршала Ретца, повиноваться которому — ваш долг?

С этими словами Морвель достал из-за пояса бумагу и передал капитану. Мержи подозвал одного из своих конников, тот зажег о фитиль аркебузы пучок соломы и посветил капитану, и капитан прочел составленный по всей форме указ, именем короля обязывавший капитана де Мержи оказать поддержку городскому ополчению и поступить в распоряжение г-на де Морвеля для несения службы, коей суть вышеназванный г-н де Морвель ему изъяснит. К указу был приложен перечень имен под заглавием: *Список еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале.* Легкоконники не знали, что это за указ, они только видели при свете факела, который держал один из них, как глубоко он взволновал их начальника.

— Мои конники никогда не станут заниматься ремеслом убийц,— сказал Жорж и бросил бумагу в лицо Морвеля.

— При чем же тут убийство? — хладнокровно заметил священник.— Речь идет о справедливом возмездии еретикам.

— Орлы! — возвысив голос, крикнул Морвель легкоконникам.— Гугеноты хотят умертвить короля и перебить католиков. Их надо опередить. Ночью, пока они спят, мы их всех порешим. Их дома́ король отдает вам на разграбление!

Хищная радость звучала в крике, прокатившемся в ответ по рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Смирно! — громовым голосом крикнул капитан.— Здесь я командую, и больше никто... Друзья! Этот негодяй лжет. Но если даже и есть такой указ короля, все равно мои легкоконники не станут убивать беззащитных людей.

Солдаты молчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — крикнули Морвель и его спутник.

Конники повторили за ними:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Ну так как же, капитан? Повинуетесь? — спросил Морвель.

— Я больше не капитан! — воскликнул Жорж и сорвал с себя знаки отличия: перевязь и полумесяц.

— Задержите изменника! — обнажив шпагу, крикнул Морвель.— Убейте мятежника — он отказывается повиноваться королю!

Но ни один солдат не поднял руку на своего начальника... Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но убивать его не стал, он лишь ударил его эфесом по лицу, и при этом с такой силой, что тот полетел с коня.

— Прощайте, трусы! — сказал конникам Жорж.— Я думал, вы солдаты, а вы, как я посмотрю, убийцы, а не солдаты.

Затем он обратился к корнету:

— Альфонс! Если вы хотите, чтоб вас произвели в капитаны, то вот вам удобный случай: станьте предводителем этой шайки.

С этими словами он дал шпоры коню и галопом понесся в город. Корнет двинулся было за ним, однако немного погодя придержал коня, пустил его шагом, а потом и вовсе остановился, поворотил коня и присоединился к отряду, очевидно, решив, что хотя капитан дал ему совет в запальчивости, однако последовать ему стоит.

Все еще оглушенный ударом, Морвель, чертыхаясь, влез на коня. Монах, подняв распятие, призвал солдат не оставить в живых ни одного гугенота и утопить ересь в крови.

Упреки капитана внесли некоторое смятение в умы солдат, но как скоро он избавил их от своего присутствия и перед ними открылась перспектива вволю пограбить, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что Морвель им бы ни приказал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

Soothsayer
Beware the Ides of March!
Shakespeare, Julius Caesar [1]

В тот же вечер Бернар в обычное время вышел на улицу и, закутавшись в плащ под цвет стены его дома и нахлобучив шляпу, отправился, соблюдая надлежащую осторожность, к графине. Сделав несколько шагов, он повстречался с хирургом Амбруазом Паре, который лечил его, когда он был ранен. Нетрудно было догадаться, что Паре идет из дворца Шатильонов, и Мержи, назвав себя, спросил, что с адмиралом.

— Ему лучше,— отвечал хирург.— Рана не смертельная, адмирал — здоровяк. С божьей помощью поправится. Я ему прописал питье,— надеюсь, оно ему пойдет на пользу, ночь он проспит спокойно.

Какой-то простолюдин, проходя мимо, услышал, что они говорят об адмирале. Отойдя с таким расчетом, чтобы его наглая выходка прошла безнаказанно, он крикнул:

— Ваш чертов адмирал скоро станцует сарабанду на виселице!

И пустился бежать со всех ног.

— Гадина! — сказал Мержи.— Меня зло берет, что нашему великому адмиралу приходится жить в городе, где у него столько врагов.

— К счастью, его дом хорошо охраняется,— заметил хирург.— Когда я уходил, на лестнице было полно солдат, и

---

[1] Прорицатель
Остерегись Ид Марта! *Шекспир, Юлий Цезарь (англ.).*

они зажигали фитили. Эх, господин де Мержи! Не любят нас местные жители... Однако уж поздно, мне надо в Лувр.

Они попрощались, Мержи продолжал свой путь, и розовые мечтания очень скоро заставили его позабыть адмирала и ненависть католиков. Со всем тем он не мог не заметить чрезвычайного оживления на улицах Парижа, обыкновенно пустевших с наступлением ночи. То ему попадались крючники с ношей на плечах, и у каждого из них ноша эта была такой странной формы, что Мержи в темноте склонен был принять ее за связку пик; то отряд солдат, шагавший молча, с ружьями «на плечо», с зажженными фитилями. То тут, то там распахивались окна, на мгновение появлялись люди со свечами и тотчас прятались.

— Эй, милый человек! — крикнул Мержи одному из крючников.— Куда это вы несете так поздно оружие?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

— Приятель! — обратился Мержи к сержанту — начальнику дозора.— Куда это вы шагаете под ружьем?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

— Эй, паж! Разве вы не при короле? Куда же идете вы и ваши товарищи и куда вы ведете копей в походной сбруе?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

«На ночное увеселение! — заговорил сам с собой Мержи.— Все, как видно, посвящены в тайну — все, кроме меня. А впрочем, мое дело сторона. Государь волен развлекаться и без моего участия, меня не очень-то тянет смотреть на его увеселения».

Пройдя немного дальше, он обратил внимание на плохо одетого человека — тот останавливался перед некоторыми домами и мелом чертил на дверях кресты.

— Зачем вы, милый человек, помечаете дома? Вы что, квартирьер, что ли?

Незнакомец как сквозь землю провалился.

На углу той улицы, где жила графиня, Мержи едва не столкнулся нос к носу с шедшим в противоположном направлении человеком, завернувшимся, как и он, в широкий плащ. Хотя было темно и хотя оба явно старались проскочить незамеченными, они сейчас узнали друг друга.

— А, господин де Бевиль, добрый вечер! — сказал Мержи и протянул ему руку.

Бевиль, чтобы подать правую руку, сделал странное движение под плащом: переложил из правой руки в левую какой-то довольно тяжелый предмет. Плащ его слегка распахнулся.

— Привет доблестному бойцу, баловню красавиц! — воскликнул Бевиль.— Бьюсь об заклад, что мой благородный друг идет на свидание.

— А вы?.. Ох, и злы же на вас, как видно, мужья: если не ошибаюсь, вы в кольчуге, а то, что вы держите под плащом, дьявольски похоже на пистолеты.

— Нужно быть осторожным, господин Бернар, очень осторожным! — сказал Бевиль.

С этими словами он запахнул плащ так, чтобы не видно было оружия.

— Я весьма сожалею, что не имею возможности предложить вам сейчас свои услуги и шпагу, чтобы охранять улицу и стоять на часах у дверей дома вашей возлюбленной. Сегодня никак не могу, но в другой раз, пожалуйста, располагайте мною.

— Сегодня я не могу взять вас с собой, господин де Мержи.

Произнеся эту самую обыкновенную фразу, Бевиль, однако, странно усмехнулся.

— Ну, желаю вам удачи. Прощайте!

— Я вам тоже желаю *удачи!*

Последнее сказанное на прощанье слово Бевиль заметно подчеркнул.

Они расстались, но, сделав несколько шагов, Мержи услыхал, что Бевиль его зовет. Он обернулся и увидел, что тот идет к нему.

— Ваш брат в Париже?

— Нет. Но я жду его со дня на день... Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в ночном увеселении?

— В увеселении?

— Да. Всюду говорят, что ночью во дворце будет увеселение.

Бевиль пробормотал что-то невнятное.

— Ну, еще раз прощайте,— сказал Мержи.— Я спешу... Понимаете?

— Погодите, погодите! Еще одно слово! Как истинный друг, я не могу не дать вам совета.

— Какого совета?

— Сейчас *к ней* не ходите. Завтра вы будете меня благодарить, поверьте.

— Это и есть ваш совет? Я что-то не возьму в толк. К кому это *к ней?*

— Ну, ну, не притворяйтесь! Если вы человек благоразумный, сей же час переправьтесь на тот берег Сены.

— Это что, шутка?

— Какая там шутка! Я говорю совершенно серьезно. Повторяю: переправьтесь через Сену. Если вас будет уж очень искушать дьявол, пойдите по направлению к якобинскому монастырю на улице св. Иакова. Через два дома от святых отцов стоит довольно ветхий домишко, над дверью висит большое деревянное распятье. Вывеска странная, ну да это неважно. Постучите,— вам отворит приветливая старушка и из уважения ко мне примет с честью... Перенесите ваш любовный пыл на тот берег. У мамаши Брюлар премилые, услужливые племянницы... Вы меня поняли?

— Вы очень любезны. Душевно вам признателен.

— Нет, право, послушайтесь меня! Честное слово дворянина, там вам будет хорошо!

— Покорно благодарю, в другой раз я воспользуюсь вашим советом. А сегодня меня ждут,— сказал Мержи и сделал шаг вперед.

— Переправьтесь через Сену, милый друг, это мое последнее слово. Если с вами случится несчастье из-за того, что вы меня не послушались,— пеняйте на себя.

Бернара поразил необычно серьезный тон Бевиля. И на этот раз уже не Бевиль остановил его, а он Бевиля:

— Черт возьми, да что же это такое? Растолкуйте мне, господин де Бевиль, перестаньте говорить загадками.

— Дорогой мой! В сущности, я не имею права выражаться яснее, и все же я вам скажу: *переправьтесь за реку до глубокой ночи.* А теперь прощайте.

— Но...

Бевиль был уже далеко. Мержи побежал было за ним, но, устыдясь, что попусту теряет драгоценное время, пошел своей дорогой и наконец приблизился к заветной калитке. В ожидании, пока совсем не скроются из виду прохожие, он стал прогуливаться возле ограды. Он боялся привлечь внимание прохожих тем, что кто-то в такое позднее время входит в сад. Ночь выдалась чудная, от дуновения ветерка было не так душно, луна то выплывала, то пряталась за легкие белые облачка. Это была ночь для любви.

И вдруг улица как вымерла. Мержи мигом отворил калитку и бесшумно затворил. Сердце у него стучало, но сейчас он думал только о блаженстве, которое ожидало его у Дианы,— мрачные мысли, возникшие у него под влиянием странных речей Бевиля, мгновенно рассеялись.

Он подошел к дому на цыпочках. Одно окно было полурастворено, сквозь красную занавеску пробивался свет от лампы. То был условный знак. В мгновение ока Мержи очутился у своей любовницы в молельне.

Диана полулежала на низком диване, обитом синим шелком. Ее длинные черные волосы рассыпались по подушке. Глаза у нее были закрыты,— казалось, она борется с собой, чтобы не открыть их. Единственная в комнате серебряная лампа, подвешенная к потолку, ярко освещала бледное лицо и алые губы Дианы де Тюржи. Она не спала, но всякий при взгляде на нее невольно подумал бы, что она видит тяжелый сон. Но вот заскрипели сапоги Бернара, ступавшего по ковру,— Диана тотчас оторвала от подушки голову, открыла глаза, губы у нее зашевелились, она вся вздрогнула и с трудом удержала вопль ужаса.

— Я тебя испугал, мой ангел? — спросил Мержи, опустившись перед ней на колени и наклонившись над подушкой, на которую прекрасная графиня вновь откинулась головой.

— Наконец-то! Слава тебе, господи!

— Разве я опоздал? Полночь еще не скоро.

— Ах, да разве я о том?.. Бернар! Никто не видел, как ты вошел?

— Ни одна душа... Но что с тобой, моя радость? Почему ты не даешь мне своих прелестных губок?

— Ах, Бернар, если б ты знал!.. Умоляю: не мучь меня... Я страдаю невыносимо: у меня жестокая мигрень... голова как в огне...

— Бедняжка!

— Сядь поближе, но только, пожалуйста, не проси у меня сегодня ласк... Я совсем больна.

Она уткнулась лицом в подушку, и в тот же миг у нее вырвался жалобный стон. Потом она вдруг приподнялась на локте, откинула густые волосы, падавшие ей на лицо, схватила руку Мержи и приложила к своему виску. Бернар почувствовал, как сильно бьется у нее жилка.

— Приятно, что у тебя холодная рука,— молвила она.

— Милая Диана! Как бы я был рад, если б голова болела не у тебя, а у меня! — сказал Мержи и поцеловал ее в пылающий лоб.

— Ну да... А я была бы рада... Прикрой мне пальцами веки, так будет легче... Ах, если бы выплакаться,— может, боль и утихла бы, да вот беда: плакать я не могу.

Графиня умолкла; в тишине долго слышалось лишь ее прерывистое, стесненное дыхание. Мержи, стоя на коленях подле

дивана, ласково гладил и время от времени целовал опущенные веки прелестной женщины. Левой рукой он опирался на подушку; пальцы его возлюбленной порою судорожно сжимали его пальцы. Дыхание Дианы, нежное и вместе с тем жаркое, возбуждающе щекотало ему губы.

— Родная моя!— сказал он наконец.— По-моему, ты страдаешь еще от чего-то больше, чем от головной боли. Какая у тебя кручина?.. И почему бы тебе не поведать ее мне? Любить — это значит делить пополам не только радости, но и горести.

Графиня, не открывая глаз, покачала головой. Она разомкнула губы, но членораздельного звука так и не издала; это усилие ее, видимо, утомило, и она снова уронила голову к Бернару на плечо. Вслед за тем часы пробили половину двенадцатого. Диана вздрогнула и, трепеща, приподнялась на постели.

— Нет, право, ты меня пугаешь, моя ненаглядная!

— Ничего... пока еще ничего...— глухим голосом проговорила она.— Как ужасен бой часов! Каждый удар словно раскаленное железо забивает мне в голову.

Диана подставила Бернару лоб, и он не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать его. Неожиданно она вытянула руки, положила их на плечи своему возлюбленному и, по-прежнему полулежа, впилась в него горящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить.

— Бернар! — молвила она.— Когда же ты перейдешь в нашу веру?

— Ангелочек! Не будем сегодня об этом говорить. У тебя голова сильней разболится.

— У меня болит голова от твоего упрямства... но тебя это не трогает. А между тем время не ждет, и если бы даже я сейчас умирала, все равно до последнего моего вздоха я продолжала бы увещевать тебя...

Мержи попытался заградить ей уста поцелуем. Это довольно веский довод, он служит ответом на все вопросы, с какими возлюбленная может обратиться к своему любовнику. Диана обыкновенно шла Бернару навстречу, но тут она решительно, почти с негодованием оттолкнула его.

— Послушайте, господин де Мержи! Я каждый день при мысли о вас и о вашем заблуждении плачу кровавыми слезами. Вы знаете, как я вас люблю! Вообразите же наконец, что́ я должна испытывать от одного сознания, что человек, который мне дороже жизни, может в любую минуту погубить и тело свое, и душу.

— Диана! Мы же условились больше об этом не говорить!

— Нет, несчастный, об этом нужно говорить! Кто знает, может, у тебя и часа не остается на покаяние!

Необычный ее тон и странные намеки невольно привели на память Бернару загадочные предостережения Бевиля. Им овладело непонятное ему самому беспокойство, но он тут же сумел себя перебороть, а то, что так усилился проповеднический пыл Дианы, он объяснил ее богобоязненностью.

— Что ты хочешь сказать, моя прелесть? Ты опасаешься, что нарочно для того, чтобы убить гугенота, сейчас на меня упадет потолок, как прошлую ночь на нас свалился полог? Мы с тобой счастливо отделались — пыль на нас посыпалась, только и всего.

— Твое упрямство хоть кого приведет в отчаяние!.. Послушай: я видела во сне, что твои враги убивают тебя... Я не успела привести своего духовника, и ты, окровавленный, растерзанный, отошел в мир иной.

— Мои враги? По-моему, у меня их нет.

— Безумец! Кто ненавидит вашу ересь, тот вам и враг! Против вас вся Франция! Да, до тех пор, пока ты сам — враг господень и враг церкви, все французы обязаны быть твоими врагами.

— Оставим этот разговор, моя повелительница. А что касается снов, то пусть тебе их разгадает старуха Камилла — я в этом ничего не смыслю. Поговорим о чем-нибудь другом... Ты, кажется, была сегодня во дворце. Вот откуда, я уверен, взялась эта головная боль, которая тебя так мучает, а меня бесит!

— Да, я недавно оттуда, Бернар. Я видела королеву и ушла от нее... с твердым намерением сделать последнее усилие для того, чтобы ты переменил веру... Это необходимо, это совершенно необходимо!..

— Вот что, моя прелесть,— перебил ее Мержи,— коль скоро, несмотря на недомогание, у тебя хватает сил проповедовать с таким жаром, то мы могли бы, с твоего позволения, гораздо лучше провести время.

Она ответила на эту шутку полупрезрительным, полугневным взглядом.

— Заблудший! — как бы говоря сама с собой, тихо сказала она.— Почему я должна с ним церемониться?

А затем, уже громким голосом, продолжала:

— Я вижу ясно: ты меня не любишь. Для тебя что твоя лошадь, что я — разницы никакой. Лишь бы я доставляла тебе

удовольствие, а до моих терзаний тебе дела нет!.. А я ради тебя, только ради тебя согласилась терпеть угрызения совести, такие, что рядом с ними все пытки, которые способна изобрести человеческая злоба,— ничто. Одно слово из твоих уст вернуло бы моей душе мир. Но ты этого слова никогда не произнесешь. Ты не пожертвуешь ради меня ни одним из своих предрассудков.

— Дорогая Диана! Что ты на меня напала? Будь же справедлива, не давай себя ослеплять религиозному фанатизму. Ответь мне: где ты найдешь раба более покорного, чем я, у которого бы разум и воля всецело подчинялись тебе? Повторяю: умереть за тебя я готов, но уверовать в то, во что я не верю, я не в состоянии.

Слушая Бернара, она пожимала плечами и смотрела на него почти ненавидящим взглядом.

— Я не могу ради тебя сменить свои темно-русые волосы на белокурые,— продолжал он.— Я не могу в угоду тебе изменить свое телосложение. Моя вера — это, дорогая Диана, одна из частей моего тела, и оторвать ее от тела можно только вместе с жизнью. Пусть меня хоть двадцать лет поучают, я никогда не поверю, что кусок пресного хлеба...

— Замолчи! Не богохульствуй! — властным тоном прервала его Диана.— Все мои старания оказались тщетными. У всех у вас, кто только ни заражен ядом ереси, медные лбы, вы слепы и глухи к истине, вы боитесь видеть и слышать. Но пришло время, когда вы больше ничего уже не увидите и не услышите... Есть только одно средство уничтожить язву, разъедающую церковь, и его к вам применят!

Она в волнении прошлась по комнате, а потом заговорила снова:

— Не пройдет и часа, как у дракона ереси будут отсечены все семь голов. Мечи наточены, верные наготове. Нечестивые исчезнут с лица земли.

Она показала пальцем на часы в углу комнаты.

— Смотри: тебе осталось четверть часа на покаяние. Как скоро стрелка дойдет вон до той точки, участь твоя будет решена.

Не успела она договорить, как послышался глухой шум, напоминавший гул толпы, суетящейся на большом пожаре, и этот гул, сначала неясный, стремительно нарастал. Несколько минут спустя можно было уже различить колокольный звон и ружейные залпы.

— Какие ужасы ты мне сулишь! — воскликнул Мержи.

Графиня кинулась к окну и распахнула его.

Теперь ни стекла, ни занавески уже не сдерживали шума, и он стал более явственным. Можно было уловить и крики боли, и ликующий рев. Насколько хватал глаз, над городом медленно поднимался к небу багровый дым. Все это и впрямь было похоже на огромный пожар, но комнату мгновенно наполнил запах смолы, который мог исходить только от множества зажженных факелов. Вслед за тем вспышка от залпа на мгновение осветила стекла соседнего дома.

— Избиение началось! — в ужасе схватившись за голову, воскликнула графиня.

— Какое избиение? О чем ты говоришь?

— Ночью перережут всех гугенотов. Так повелел король. Все католики взялись за оружие, ни один еретик не избегнет своей участи. Церковь и Франция спасены, а вот ты погибнешь, если не отречешься от своей ложной веры!

На всем теле у Мержи выступил холодный пот. Он растерянно посмотрел на Диану — лицо ее выражало ужас и вместе с тем ликование. Яростный вой, который лез ему в уши и которым полнился весь город, достаточно ясно доказывал, что страшная весть, которую ему сообщила Диана,— это не выдумка. Некоторое время графиня стояла неподвижно и, не произнося ни слова, пристально смотрела на него. Пальцем она показывала на окно,— видимо, она хотела подействовать на его воображение, чтобы он по этому зареву и по людоедским выкрикам представил себе, что там, на улицах, льется кровь. Постепенно выражение ее лица смягчилось. Злобная радость исчезла, ужас остался. Наконец она упала на колени и умоляюще заговорила:

— Бернар! Заклинаю тебя: не губи себя, обратись в нашу веру! Не губи и своей жизни, и моей: ведь я завишу от тебя.

Мержи, дико глянув на нее, стал от нее пятиться, а она, простирая к нему руки, поползла за ним на коленях. Ни слова ей не ответив, он кинулся к креслу, стоявшему в глубине молельни, и схватил свою шпагу, которую он там оставил.

— Несчастный! Что ты хочешь делать? — подбежав к нему, воскликнула графиня.

— Защищаться! Я им не баран, чтобы меня резать.

— Сумасшедший! Да тебя тысячи шпаг не спасут! Королевская гвардия, швейцарцы, мещане, простой народ — все принимают участие в избиении, нет ни одного гугенота, к груди которого не было бы сейчас приставлено десять кинжалов.

У тебя есть только одно средство спастись от гибели — стань католиком.

Мержи был отважен, однако, представив себе, какими грозными опасностями чревата для него эта ночь, он на мгновение почувствовал, что в сердце к нему заползает животный страх. И тут с быстротою молнии мозг его пронзила мысль о спасении ценою отречения от веры отцов.

— Ручаюсь, что, если ты станешь католиком, тебе будет дарована жизнь,— сложив руки, молила Диана.

«Если отрекусь, то потом всю жизнь буду себя презирать»,— подумал Мержи.

При одной этой мысли к нему вернулась твердость духа, которую еще усилило чувство стыда за минутную слабость. Он нахлобучил шляпу, застегнул портупею и, обмотав вокруг левой руки плащ, так чтобы он заменял ему щит, с решительным видом направился к выходу.

— Куда ты, несчастный?

— На улицу. Я не хочу, чтобы меня зарезали в вашем доме, у вас на глазах,— это будет вам неприятно.

Глубокое презрение, которое слышалось в его голосе, подействовало на графиню удручающе. Она стала у него на дороге. Он оттолкнул ее, и оттолкнул грубо. Тогда она ухватилась за полу его камзола и на коленях потащилась за ним.

— Пустите меня! — крикнул он.— Вы что же, хотите выдать меня убийцам? Возлюбленная гугенота принесет его кровь в жертву богу и тем искупит свои грехи.

— Не ходи, Бернар, умоляю тебя! У меня только одно желание — чтобы ты спасся. Живи на радость мне, мой золотой! Не губи себя — ради нашей любви!.. Произнеси только одно слово,— клянусь тебе, ты будешь спасен.

— Чтобы я принял веру убийц и грабителей? Святые мученики, страдающие за Евангелие! Я иду к вам!

Мержи рванулся, и графиня ничком повалилась на пол. Он уже отворял дверь, как вдруг Диана с быстротою молодой тигрицы вскочила, кинулась к нему и крепче сильного мужчины обхватила его руками.

— Бернар! — вне себя, со слезами на глазах, крикнула она.— Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты стал католиком!

Она увлекла его к дивану и, упав вместе с ним, покрыла его лицо поцелуями и омочила слезами.

— Побудь тут, единственная любовь моя, побудь со мной, храбрый мой Бернар,— твердила она, сжимая его в объятиях

и обвиваясь вокруг него, как змея вокруг жертвы.— Они не станут искать тебя здесь, в моих объятиях. Чтобы добраться до твоей груди, им придется сначала убить меня. Прости меня, мой любимый! Я не могла предупредить тебя, что твоя жизнь в опасности. Я была связана страшной клятвой. Но я тебя спасу или погибну вместе с тобой.

Тут раздался сильный стук во входную дверь. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи вырвался из ее объятий, вокруг его левой руки по-прежнему был обмотан плащ, и в эту минуту он ощутил в себе такую силу и такую решимость, что, если бы перед ним выросла сотня убийц, он не колеблясь ринулся бы на них очертя голову.

Почти во всех парижских домах во входных дверях были проделаны маленькие квадратные, забранные мелкой железной решеткой отверстия, для того чтобы обитатели могли сперва убедиться, стоит отворить или нет. Многие предусмотрительные люди, которые если бы и сдались, так только после правильной осады, не чувствовали себя в безопасности даже за тяжелой дубовой дверью с железными планками, прибитыми толстыми гвоздями. Вот почему по обеим сторонам двери устраивались узкие бойницы, откуда было очень удобно, оставаясь невидимым, палить по осаждающим.

Старый конюший графини, поверенный ее тайн, рассмотрев в глазок, кто стучит, и учинив строгий допрос, доложил своей госпоже, что капитан Жорж де Мержи настоятельно просит впустить его. У всех отлегло от сердца. Дверь была отворена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АВГУСТА

Пускайте кровь! Пускайте кровь!
Приказ маршала Тавана

Бросив свой отряд, Жорж поспешил домой в надежде застать там брата, но тот, сказав слугам, что уходит на всю ночь, уже исчез. Жорж, живо смекнув, что брат у графини, побежал туда. Но избиение уже началось. Давка, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы,— все это на каждом шагу преграждало ему путь. Жоржу пришлось идти мимо Лувра — здесь особенно свирепствовал фанатизм. В этом квартале жило много протестантов, вот почему он был наводнен католиками и гвар-

дейцами, и они истребляли протестантов огнем и мечом. По энергическому выражению одного из тогдашних писателей, «кровь со всех сторон стекалась к реке». Нельзя было перейти улицу без риска, что на вас в любую минуту не свалится труп, выброшенный из окна.

Дьявольская дальновидность убийц сказалась в том, что они почти все лодки, которых всегда здесь было много, переправили на тот берег; таким образом, многим из тех, что метались по набережной Сены в надежде сесть в лодку и спастись от врагов, оставалось либо утопиться, либо подставить головы под алебарды гонявшихся за ними солдат. Рассказывают, что в одном из дворцовых окон был виден Карл IX: вооруженный длинной аркебузой, он «стрелял по дичи», то есть по несчастным беглецам.

Капитан, забрызганный кровью, переступая через трупы, на каждом шагу рискуя тем, что кто-нибудь из душегубов по ошибке прикончит и его, шел дальше. Он обратил внимание, что у солдат и вооруженных горожан белые повязки на рукавах и белые кресты на шляпах. Он мог бы нацепить на себя эти отличительные знаки, но ему внушали отвращение и сами убийцы, и те приметы, по которым они узнавали друг друга.

На берегу реки, недалеко от Шатле, кто-то его окликнул. Он обернулся и увидел человека, вооруженного до зубов, но, по-видимому, не применявшего оружия, хотя на шляпе у него был белый крест, и с самым независимым видом вертевшего в руках клочок бумаги. Это был Бевиль. Он безучастно смотрел на то, как с Мельничного моста бросают в Сену и мертвых и живых.

— За коим чертом тебя сюда принесло, Жорж? Чудо, что ли, какое совершилось, по наитию свыше ты выказываешь такую ревность о вере? Ведь ты, как я вижу, охотишься на гугенотов?

— А ты почему очутился среди этих мерзавцев?

— Кто, я? Дьявольщина, я наблюдаю! Прелюбопытное зрелище! Да, ты еще не знаешь, каков я мастак. Помнишь старика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, который еще так лихо меня обчистил?

— Негодяй! Ты его убил?

— Я? Убил? Фу! Я в дела вероисповедания не вмешиваюсь. Какое там убил — я спрятал его у себя в подвале, а он мне за это дал расписку, что получил с меня долг сполна. Таким образом, я сделал доброе дело и тотчас получил награду. Правда, чтобы скорей добиться от него расписки, я дважды приставлял к его виску пистолет, но уж, нелегкая меня возь-

ми, выстрелить ни за что бы не выстрелил... Смотри, смотри! У женщины юбка зацепилась за бревно. Сейчас упадет... Нет, не упала! Ах ты черт! Занятно! Надо подойти поближе.

Жорж за ним не пошел.

«А ведь это один из наиболее достойных уважения дворян во всем городе!» — стукнув себя кулаком по голове, подумал он.

Он двинулся по улице Сен-Жос, безлюдной и темной — должно быть, никто из реформатов на ней не жил. Вокруг, однако, было шумно, и шум этот был здесь хорошо слышен. Внезапно багровые огни факелов осветили белые стены. Раздались пронзительные крики, и вслед за тем Жорж увидел нагую, растрепанную женщину, державшую на руках ребенка. Она бежала с невероятной быстротой. За ней гнались двое мужчин и, точно охотники, преследующие хищного зверя, один другого подстегивали дикими криками. Женщина только хотела было свернуть в переулок, но тут один из преследователей выстрелил в нее из аркебузы. Заряд попал ей в спину, и она упала навзничь. Однако она сейчас же встала, сделала шаг по направлению к Жоржу и, напрягая последние усилия, протянула ему младенца,— она словно поручала свое дитя его великодушию. Затем, не произнеся ни слова, скончалась.

— Еще одна сука-еретичка околела! — крикнул стрелявший из аркебузы.— Я не успокоюсь до тех пор, пока не ухлопаю десяток.

— Подлец! — вскричал капитан и в упор выстрелил в него из пистолета.

Злодей стукнулся головой об стену. Глаза у него страшно выкатились из орбит, пятки заскользили по земле, и он, точно лишенная упора доска, покатился и упал бездыханный.

— Что? Убивать католиков? — крикнул его товарищ, у которого в одной руке был факел, а в другой окровавленная шпага.— Вы кто такой? Свят, свят, свят, да вы из королевских легкоконников! Вот тебе на! Вы дали маху, господин офицер.

Капитан выхватил из-за пояса второй пистолет и взвел курок. Головорез отлично понял, что означает движение, которое сделал Жорж, а также слабый звук щелкнувшего курка. Он бросил факел и пустился бежать без оглядки. Жорж пожалел для него пули. Он нагнулся, дотронулся рукой до женщины, распростертой на земле, и удостоверился, что она мертва. Ее ранило навылет. Ребенок, обвив ее шею ручонками, кричал и плакал. Он был залит кровью, но каким-то чудом не ранен. Он уцепился за мать — капитан не без труда оттащил его и завернул в свой плащ. Убедившись после этой стычки, что лиш-

няя предосторожность не помешает, капитан поднял шляпу убитого, сорвал с нее белый крест и прикрепил к своей. Благодаря этому он уже без всяких приключений добрался до дома графини.

Братья кинулись друг другу на шею и потом долго еще сидели, крепко обнявшись, не в силах вымолвить ни слова. Наконец капитан вкратце рассказал, что творится в городе. Бернар проклинал короля, Гизов, попов, порывался выйти и помочь единоверцам, если они попытаются оказать сопротивление врагам. Графиня со слезами удерживала его, а ребенок кричал и звал мать.

Однако нельзя же было кричать, вздыхать и плакать до бесконечности — наконец, заговорили о том, как быть дальше. Конюший графини сказал, что он найдет женщину, которая позаботится о ребенке. Бернару нечего было и думать выходить на улицу. Да и где он мог бы укрыться? Кто бы ему поручился, что резня не идет сейчас по всей Франции? Мосты, по которым реформаты могли бы перебраться в Сен-Жерменское предместье, откуда им легче было бы бежать в южные провинции, с давних пор сочувствовавшие протестантству, охраняли многочисленные отряды гвардейцев. Взывать к милосердию государя, когда он, разгоряченный бойней, требовал новых жертв, представлялось бесполезным, более того: неблагоразумным. Графиня славилась своей набожностью, поэтому трудно было предположить, чтобы злодеи стали производить у нее тщательный обыск, а слугам своим Диана доверяла вполне. Таким образом, ее дом казался наиболее надежным убежищем для Бернара. Было решено, что пока она спрячет его у себя, а там будет видно.

С наступлением дня избиение не прекратилось,— напротив, оно стало еще более ожесточенным и упорядоченным. Не было такого католика, который из страха быть заподозренным в ереси не нацепил бы на шляпу белого креста, не вооружился бы или не бежал доносить на гугенотов, которых еще не успели прикончить. Король заперся во дворце, и к нему не допускали никого, кроме предводителей головорезов, чернь, мечтавшая пограбить, примкнула к городскому ополчению и к солдатам, а в церквах священники призывали верующих никому не давать пощады.

— Отрубим у гидры все головы, раз навсегда положим конец гражданским войнам,— говорили они.

А чтобы доказать людям, жаждавшим крови и знамений, что само небо благословляет их ненависть и, дабы воодушевить их, явило дивное чудо, они вопили:

— Идите на Кладбище убиенных младенцев и посмотрите на боярышник: он опять зацвел, его полили кровью еретиков, и это сразу его оживило и омолодило.

К кладбищу потянулись торжественные многолюдные процессии,— это вооруженные головорезы ходили поклониться священному кустарнику, а возвращались они с кладбища, готовые с вящим усердием разыскивать и умерщвлять тех, кого столь явно осуждало само небо. У всех на устах было изречение Екатерины. Его повторяли, вырезая детей и женщин: *Che pietà lor ser crudele, che crudeltà lor ser pietoso* — теперь человечен тот, кто жесток, жесток тот, кто человечен.

Удивительное дело: почти все протестанты побывали на войне, участвовали в упорных боях, и им нередко удавалось уравновесить превосходство сил противника своей храбростью, а во время этой бойни *только два* протестанта хоть и слабо, но все же сопротивлялись убийцам, причем из них двоих воевал прежде только один. Быть может, привычка воевать в строю, придерживаясь боевого порядка, мешала развернуться каждому из них в отдельности, мешала превратить свой дом в крепость. И вот матерые вояки, словно жертвы, предназначенные на заклание, подставляли горло негодяям, которые еще вчера трепетали перед ними. Они понимали мужество как смирение и предпочитали ореол страдальца ореолу героя.

Когда жажда крови была до некоторой степени утолена, наиболее милосердные из головорезов предложили своим жертвам купить себе жизнь ценой отречения от веры. Лишь очень немногие кальвинисты воспользовались этим предложением и согласились откупиться от смерти и от мучений ложью,— быть может, простительной. Над головами женщин и детей были занесены мечи, а они читали свой символ веры и безропотно гибли.

Через два дня король попытался унять резню, но если дать волю низким страстям толпы, то ее уже не уймешь. Кинжалы продолжали наносить удары, а потом уже и сам король, которого обвинили в потворстве нечестивцам, вынужден был взять свой призыв к милосердию обратно и даже превзошел себя в своей злобе, каковая, впрочем, являлась одной из главных черт его характера.

Первые дни после Варфоломеевской ночи Бернара часто навещал в укрытии его брат и всякий раз приводил новые подробности тех страшных сцен, коих свидетелем ему суждено было стать.

— Когда же, наконец, я покину этот край убийц и лиходеев? — воскликнул Жорж.— Я предпочел бы жить среди зверей, чем среди французов.

— Поедем со мной в Ла-Рошель,— говорил Бернар.— Авось там еще не взяли верх головорезы. Давай вместе умрем! Если ты станешь на защиту этого последнего оплота нашей веры, то твое отступничество будет забыто.

— А как же я? — спрашивала Диана.

— Поедем лучше в Германию, а не то так в Англию,— возражал Жорж.— Там, по крайней мере, и нас не зарежут, и мы никого не будем резать.

Их замыслы не осуществились. Жоржа посадили в тюрьму за то, что он отказался повиноваться королю, а графиня, дрожавшая от страха, что ее возлюбленного накроют, думала только о том, как бы помочь ему бежать из Парижа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ДВА МОНАХА

Капюшон ему надели,
И готов монах.

Народная песня

В кабачке, расположенном на берегу Луары, немного ниже Орлеана, ближе к Божанси, молодой монах сидел за столиком и, полуопустив широкий капюшон своей коричневой сутаны, с примерным усердием читал молитвенник, хотя уголок для чтения он выбрал довольно темный. Бусинки его четок, висевших у пояса, были крупнее голубиного яйца; множество образков, державшихся на том же веревочном поясе, бренчало при малейшем его движении. Когда он поднимал голову и смотрел на дверь, был виден его красивый рот и закрученные в виде турецкого лука молодецкие усы, которые могли бы сделать честь любому армейскому капитану. Руки у него были белые-белые, ногти длинные, аккуратно подстриженные,— все это наводило на мысль, что молодой чернец устава своего ордена строго не придерживается и никогда и в руки-то не брал ни заступа, ни грабель.

К нему подошла дородная крестьянка с налитыми щеками,— она исполняла здесь не только обязанности служанки, но и стряпухи; помимо всего прочего, она была хозяйкой этого за-

ведения,— и, довольно неуклюже присев перед ним в реверансе, спросила:

— Что же это вы, отец мой, на обед себе ничего не закажете? Ведь уж полдень-то миновал.

— Долго еще не будет барки из Божанси?

— Кто ее знает! Вода убыла — особенно не разгонишься. Да барке еще и не время. Я бы на вашем месте пообедала у нас.

— Хорошо, я пообедаю. Только нет ли у вас отдельной комнаты? Здесь не очень приятно пахнет.

— Уж больно вы привередливы, отец мой. А я так ничего не чую.

— Не свиней ли палят возле вашего трактира?

— Свиней? Ой, насмешили! Свиней! Да, почти что. Свиньи они, свиньи — про них верно кто-то сказал, что жили они посвински. Вот только есть этих свиней нельзя. Это,— прошу меня извинить, отец мой,— гугеноты, их сжигают на берегу, шагах в ста отсюда, вот почему здесь и пахнет паленым.

— Гугеноты?

— Ну да, гугеноты. Вам-то что? Еще аппетит из-за них портить? А комнатку, где бы вам пообедать, я найду, только уж не побрезгайте. Нет, теперь гугеноты не так скверно пахнут. Вот если б их не сжигать, вонь от них была бы — затыкай нос. Нынче утром их во какая куча на песке лежала, высотой... как бы сказать? Высотой с этот камин.

— И вы ходили смотреть на трупы?

— А, это вы потому спрашиваете, что они голые! Но ведь они мертвые, ваше преподобие,— тут ничего такого нет. Все равно, что я бы на дохлых лягушек глядела. Видать, вчера в Орлеане потрудились на славу,— Луара нанесла к нам невесть сколько этой самой еретической рыбы. Река-то мелеет, так их, что ни день, на песке находят. Вчера пошел работник с мельницы посмотреть сети,— линьки не попались ли, ан там мертвая женщина: ее в живот алебардой ткнули. Глядите: вошла сюда, а вышла аж вон там, между лопаток. Он-то, конечно, предпочел бы вместо нее здорового карпа... Ваше преподобие! Что это с вами! Никак, вам дурно? Хотите, я вам до обеда стаканчик божансийского вина принесу? Сразу дурнота пройдет.

— Благодарю вас.

— Так что же вы желаете на обед?

— Что у вас есть, то и давайте... Мне безразлично.

— А все-таки? Скажу не хвалясь: у меня в кладовой стены ломятся.

— Ну, зажарьте цыпленка. И не мешайте мне читать молитвенник.

— Цыпленка! Цыпленка! Ай-ай-ай, ваше преподобие, нечего сказать, отличились! Кому угодно постом рот заткет паутина, только не вам. Стало быть, вам папа разрешил по пятницам есть цыплят?

— Ах, какой же я рассеянный!.. Верно, верно, ведь сегодня пятница! *По пятницам мясной пищи не принимай.* Приготовьте мне яичницу. Спасибо, что вовремя предупредили, а то долго ли до греха?

— Все они хороши, голубчики! — ворчала себе под нос кабатчица.— Не напомни, так они вам в постный день цыпленка уберут. А найдут у бедной женщины кусочек сала в супе, такой крик подымут — помилуй бог!

Отведя душу, кабатчица принялась готовить яичницу, а монах снова углубился в чтение.

— *Ave Maria* [1], сестра моя! — сказал еще один монах. Он вошел в кабачок, как раз когда тетушка Маргарита, придерживая сковородку, собиралась перевернуть внушительных размеров яичницу.

Это был красивый седобородый старик, высокий, крепкий, плотный, краснолицый. Однако первое, что привлекало к нему внимание,— это огромный пластырь, закрывавший один глаз и половину щеки. По-французски он изъяснялся хотя и свободно, но с легким акцентом.

Стоило ему показаться в дверях, как молодой монах еще ниже опустил свой капюшон, чтобы совсем не было видно лица. Однако тетушку Маргариту особенно поразило другое: день был жаркий, и того ради старый монах капюшон свой откинул, но едва он увидел собрата по ордену, так сейчас же его опустил.

— Как раз к обеду, отец мой! — молвила кабатчица.— Ждать вам не придется, и есть с кем разделить компанию.

Тут она обратилась к молодому монаху:

— Ваше преподобие! Вы, верно уж, ничего не имеете против отобедать с его преподобием? Его сюда привлек запах яичницы. Маслица-то я не пожалела!

— Боюсь, как бы не стеснить почтенного посетителя,— пролепетал молодой инок.

— Я бедный эльзасский монах...— низко опустив голову, пробормотал старик.— Плохо говорю по-французски... Боюсь, что мое общество не доставит удовольствия собрату.

---

[1] Радуйся, Мария *(лат.)*.

— Будет вам церемонии-то разводить! — вмешалась тетушка Маргарита.— У монахов, да еще одного ордена, все должно быть общее: и постель и стол.

С этими словами она взяла скамейку и поставила ее у стола, как раз напротив молодого монаха. Старик сел боком — он чувствовал себя явно неловко. Можно было догадаться, что голод борется в нем с нежеланием остаться один на один со своим собратом.

Тетушка Маргарита принесла яичницу.

— Ну, отцы мои, скорей читайте молитву перед обедом, а потом скажете, хороша ли моя яичница.

Напоминание насчет молитвы повергло обоих монахов в еще пущее замешательство.

Младший сказал старшему:

— Читайте вы. Вы старше меня, вам эта честь и подобает.

— Нет, что вы! Вы пришли раньше меня — вы и читайте.

— Нет, уж лучше вы.

— Увольте.

— Не могу.

— Что мне с ними делать? Ведь так яичница простынет! — всполошилась тетушка Маргарита.— Свет еще не видел таких церемонных францисканцев. Ну, пусть старший прочтет предобеденную, а младший — благодарственную...

— Я умею читать молитву перед обедом только на своем родном языке,— объявил старший монах.

Молодой, казалось, удивился и искоса поглядел на своего сотрапезника. Между тем старик, молитвенно сложив руки, забормотал себе в капюшон какие-то непонятные слова. Потом сел на свое место и, даром времени не теряя, мигом уплел три четверти яичницы и осушил бутылку вина. Его товарищ, уткнув нос в тарелку, открывал рот только перед тем, как что-нибудь в него положить. Покончив с яичницей, он встал, сложил руки и, запинаясь, пробубнил скороговоркой несколько латинских слов, последними из которых были: *Et beata viscera virginis Mariae* [1]. Тетушка Маргарита только эти слова и разобрала.

— Прости, господи, мое прегрешение, уж больно несуразную благодарственную молитву вы прочитали, отец мой! Наш священник, помнится, не так ее читает.

— Так читают в нашей обители,— возразил молодой францисканец.

— Когда барка придет? — спросил другой.

---

[1] И благословенно чрево девы Марии *(лат.)*.

— Потерпите еще немного — должна скоро прийти,— отвечала тетушка Маргарита.

Молодому иноку этот разговор, видимо, не понравился,— сделать же какое-либо замечание по этому поводу он не решился и, взяв молитвенник, весь ушел в чтение.

Эльзасец между тем, повернувшись спиной к товарищу, перебирал четки и беззвучно шевелил губами.

«Сроду не видала я таких чудны́х, таких несловоохотливых монахов»,— подумала тетушка Маргарита и села за прялку.

С четверть часа тишину нарушало лишь жужжание прялки, как вдруг в кабачок вошли четверо вооруженных людей пренеприятной наружности. При виде монахов они только чуть дотронулись до своих шляп. Один из них, поздоровавшись с Маргаритой и назвав ее попросту «Марго», потребовал прежде всего вина и обед чтобы живо был на столе, а то, мол, у него глотка мохом поросла — давненько челюстями не двигал.

— Вина, вина! — заворчала тетушка Маргарита.— Спросить вина всякий сумеет, господин Буа-Дофен. А платить вы за него будете? Жером Кредит, было бы вам известно, на том свете. А вы должны мне за вино, за обеды да за ужины шесть экю с лишком,— это так же верно, как то, что я честная женщина.

— И то и другое справедливо,— со смехом подтвердил Буа-Дофен.— Стало быть, я должен вам, дорогая Марго, всего-навсего два экю, и больше ни денье. (Он выразился сильнее.)

— Иисусе, Мария! Разве так можно?..

— Ну, ну, хрычовочка, не вопи́! Шесть экю, так шесть экю. Я тебе их уплачу, Марготон, вместе с тем, что мы здесь истратим сегодня. Карман у меня нынче не пустой, хотя, сказать по правде, ремесло наше убыточное. Не понимаю, куда эти прохвосты деньги девают.

— Наверно, проглатывают, как все равно немцы,— заметил один из его товарищей.

— Чума их возьми! — вскричал Буа-Дофен.— Надо бы это разнюхать. Добрые пистоли в костяке у еретика — это вкусная начинка, не собакам же ее выбрасывать.

— Как она нынче утром визжала, пасторская-то дочка! — напомнил третий.

— А толстяк пастор! — подхватил четвертый.— Что смехуто с ним было! Из-за своей толщины никак не мог в воду погрузиться.

— Стало быть, вы нынче утром хорошо поработали? —

спросила Маргарита; она только что вернулась с бутылками из погреба.

— Еще как! — отвечал Буа-Дофен.— Побросали в огонь и в воду больше десяти человек — мужчин, женщин, малых ребят. Да вот горе, Марго: у них гроша за душой не оказалось. Только у одной женщины кое-какая рухлядишка нашлась, а так вся эта дичь четырех собачьих подков не стоила. Да, отец мой,— обращаясь к молодому монаху, продолжал он,— мы нынче утром убивали ваших врагов — еретическую нечисть и заслужили отпущение грехов.

Монах бросил на него беглый взгляд и снова принялся за чтение. Однако было заметно, что молитвенник дрожит в его левой руке, а правую он с видом человека, сдерживающего волнение, сжимал в кулак.

— Кстати об отпущениях,— обратившись к своим товарищам, сказал Буа-Дофен.— Знаете что: я бы не прочь был получить отпущение для того, чтобы поесть нынче скоромного. Я видел в курятнике у тетушки Марго таких цыплят — пальчики оближешь!

— Ну так давайте их съедим, черт побери! — вскричал один из злодеев.— Не погубим же мы из-за этого душу. Сходим завтра на исповедь, только и всего.

— Ребята! — заговорил другой.— Знаете, что мне на ум пришло? Попросим у этих жирных клобучников разрешения поесть скоромного.

— У них кишка тонка давать такие разрешения!

— А, мать честная! — вскричал Буа-Дофен.— Я знаю средство получше,— сейчас вам скажу на ухо.

Четверо негодяев придвинулись друг к другу вплотную, и Буа-Дофен шепотом принялся излагать им свой план, каковой был встречен взрывами хохота. Только у одного разбойника шевельнулась совесть.

— Недоброе ты затеял, Буа-Дофен,— накличешь ты на нас беду. Я не согласен.

— Молчи, Гильемен! Подумаешь, большой грех — дать кому-нибудь понюхать лезвие кинжала!

— Только не духовной особе!..

Говорили они вполголоса, и монахи делали заметные усилия, чтобы по отдельным долетавшим до них словам разгадать их замысел.

— Какая же разница? — громко возразил Буа-Дофен.— Да и потом, ведь это же он совершит грех, а не я.

— Верно, верно! Буа-Дофен прав! — вскричали двое.

Буа-Дофен встал и, нимало не медля, вышел из комнаты. Минуту спустя закудахтали куры, и вскоре разбойник появился снова, держа в каждой руке по зарезанной курице.

— Ах, проклятый! — закричала тетушка Маргарита.— Курочек моих зарезал, да еще в пятницу! Что ты с ними будешь делать, разбойник?

— Потише, тетушка Маргарита, вы меня совсем оглушили. Вам известно, что со мной шутки плохи. Готовьте вертела, все остальное я беру на себя.

Тут он подошел к эльзасскому монаху.

— Эй, отец! — сказал он.— Видите этих двух птиц? Ну так вот, сделайте милость — окрестите их.

Монах от изумления подался назад, другой монах закрыл молитвенник, а тетушка Маргарита разразилась бранью.

— Окрестить? — переспросил монах.

— Да, отец. Я буду крестным отцом, а вот эта самая Марго — крестной матерью. Имена своим крестницам я хочу дать такие: вот эта будет Форель, а эта — Макрель. Имена красивые.

— Окрестить кур? — вскричал монах и залился хохотом.

— А, чтоб вас, отец! Ну да, окрестить! Скорей за дело!

— Ах ты, срамник! — возопила Маргарита.— Ты думаешь, я тебе позволю такие штуки вытворять у меня в доме? Крестить птиц! Да ты что, на жидовский шабаш явился?

— Уберите от меня эту горластую, —сказал своим товарищам Буа-Дофен.— А вы, отец, сумеете прочитать имя оружейника, который сделал мой клинок?

Он поднес кинжал к самому носу старого монаха.

Тут молодой монах вскочил, но, должно быть, благоразумно решив набраться терпения, сейчас же сел на место.

— Как я буду, сын мой, крестить живность?

— Да это проще простого, черт побери! Так же точно, как вы крестите нас, рождающихся от женщин. Покропите им слегка головки и скажите: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Только скажите это на своем тарабарском языке. Итак, милейший, принесите стакан воды, а вы — шляны долой, чтобы все было честь честью. Ну, господи благослови!

Ко всеобщему изумлению, старый францисканец сходил за водой, покропил курам головы и невнятной скороговоркой прочитал что-то вроде молитвы. Кончалась она словами: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Потом сел на свое место и, как ни в чем не бывало, преспокойно начал перебирать четки.

Тетушка Маргарита онемела от удивления. Буа-Дофен ликовал.

— Слышь, Марго,— сказал он и бросил ей кур,— приготовь нам *форель* и *макрель* — это будет превкусное постное блюдо.

Маргарита, несмотря на крестины, продолжала стоять на том, что это пища не христианская. Только после того как разбойники пригрозили ей короткой расправой, осмелилась она посадить на вертел новонареченных рыб.

А Буа-Дофен и его товарищи бражничали, пили за здоровье друг друга, драли глотку.

— Эй, вы! — заорал Буа-Дофен и, требуя тишины, грохнул кулаком по столу.— Предлагаю выпить за здоровье его святейшества папы и за гибель всех гугенотов. Клобучники и тетка Марго должны выпить с нами.

Три его товарища шумно выразили одобрение.

Буа-Дофен, слегка пошатываясь, встал,— он был уже сильно на взводе,— и налил стакан вина молодому монаху.

— Ну-с, ваше преподобие,— сказал он,— за нашего здоровейшего святцá... Ох, я оговорился!.. За здоровье нашего святейшего отца и за гибель...

— Я после трапезы не пью,— холодно заметил молодой монах.

— Нет, вы, прах вас побери, выпьете, а не то будь я неладен, если вы не дадите отчета, почему вы не желаете пить!

Сказавши это, он поставил бутылку на стол и поднес стакан ко рту молодого монаха, а тот, сохраняя совершенное наружное спокойствие, снова склонился над молитвенником. На книгу пролилось вино. Тогда монах вскочил, схватил стакан, но, вместо того чтобы выпить, выплеснул его содержимое в лицо Буа-Дофену. Все покатились со смеху. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, не сводил глаз с негодяя.

— Знаете что, милый мой монашек: шутка ваша мне не нравится. Если б вы не были клобучником, я бы вас, вот как бог свят, научил соблюдать приличия.

С этими словами он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев дотронулся до его усов.

Монах побагровел. Одной рукой он взял обнаглевшего разбойника за шиворот, а другой схватил бутылку и с такой яростью трахнул ею Буа-Дофена по голове, что тот, обливаясь смешавшейся с вином кровью, замертво повалился на пол.

— Молодчина, приятель! — одобрил старый монах.— Для долгополого это здóрово!

— Буа-Дофен убит! — вскричали все три разбойника, видя, что их товарищ не шевелится.— Ах ты, мерзавец! Ну, мы тебе сейчас покажем!

Они вынули из ножен шпаги, однако молодой монах, выказав необычайное проворство, засучил длинные рукава сутаны, схватил шпагу Буа-Дофена и с самым решительным видом изготовился к битве. Тем временем его собрат вытащил из-под своей сутаны кинжал, клинок которого был не менее восемнадцати дюймов длиною, и, приняв столь же воинственный вид, стал рядом с ним.

— Ах вы, сволочь этакая! — гаркнул он.— Вот мы вас сейчас научим, как надо себя вести, как нужно драться!

Раз, раз — и все три негодяя, кто — раненый, кто — обезоруженный, попрыгали в окно.

— Иисусе, Мария! — воскликнула тетушка Маргарита.— Какие же вы храбрые воины, отцы мои! Вы поддерживаете честь своего ордена. Но только вот что: в моем заведении мертвое тело, теперь обо мне дурная слава пойдет.

— Да, умер он, как бы не так! — возразил старый монах.— Глядите: копошится. Ну, я его сейчас пособорую.

С этими словами он подошел к раненому, схватил его за волосы и, приставив ему к горлу свой острый кинжал, совсем было собрался отхватить ему голову, но тетушка Маргарита и молодой монах его удержали.

— Боже милостивый! Что вы делаете? — вскричала Маргарита.— Разве можно убивать человека? Да еще такого, которого все считают за доброго католика, хотя на поверку-то он оказался совсем не таким.

— Я полагаю, что *срочные* дела призывают в Божанси не только меня, но и вас,— сказал молодой монах своему собрату.— Вот как раз и барка. Скорей!

— Ваша правда. Иду, иду.

Старик вытер кинжал и опять упрятал его под сутану. Расплатившись с хозяйкой, два храбрых монаха зашагали к Луаре, поручив Буа-Дофена заботам тетушки Маргариты, и та первым делом обшарила его карманы, уплатила себе его долг, затем вынула у него из головы уйму осколков и сделала ему перевязку по всем правилам, которым следуют в подобных случаях лекарки.

— Если не ошибаюсь, я вас где-то видел,— заговорил молодой человек со старым францисканцем.

— Пусть меня черт возьмет, коли ваше лицо мне незнакомо! Но только...

— Когда мы с вами встретились впервые, вы были, сколько я помню, одеты по-другому.

— Да ведь и вы?

— Вы — капитан...

— Дитрих Горнштейн, ваш покорный слуга. А вы тот самый молодой дворянин, с которым я обедал близ Этампа.

— Он самый.

— Ваша фамилия Мержи?

— Да, но теперь я зовусь иначе. Я брат Амвросий.

— А я брат Антоний из Эльзаса.

— Так, так. И куда же вы?

— В Ла-Рошель, если удастся.

— Я тоже.

— Очень рад вас видеть... Вот только, черт возьми, вы меня здорово подвели с молитвой перед обедом. Я же ни единого слова не знаю. А вас я сперва принял за самого что ни на есть заправского монаха.

— А я вас.

— Вы откуда бежали?

— Из Парижа. А вы?

— Из Орлеана. Целую неделю скрывался. Бедняги рейтары... юнкер... все в Луаре.

— А Мила?

— Перешла в католичество.

— А как мой конь, капитан?

— Ах, ваш конь! Его у вас свел негодяй-трубач, и я наказал его розгами... Но я же не знал, где вы находитесь, так что отдать вам коня я никак не мог... Но я его берег до приятного свидания с вами. Ну, а теперь он, понятно, достался какому-нибудь мерзавцу-паписту.

— Тсс! О таких вещах вслух не говорят. Ну, капитан, давайте вместе горе горевать, будем помогать друг другу, как помогли только что.

— С удовольствием. Пока у Дитриха Горнштейна останется хоть капля крови в жилах, он будет играть в ножички бок о бок с вами.

Они от чистого сердца пожали друг другу руку.

— А скажите, что за чепуху они пороли насчет кур, Форелий, Макрелий? Глупый народ эти паписты, нужно отдать им справедливость.

— Тише, говорят вам! А вот и барка.

Разговаривая таким образом, они вышли на берег и сели в барку. До Божанси они добрались без особых беспокойств, если

не считать того, что навстречу им плыли по Луаре трупы их единоверцев.

Лодочник обратил внимание, что почти все плывут лицом кверху.

— Они взывают к небу о мщении,— тихо сказал рейтарскому капитану Мержи.

Дитрих молча пожал ему руку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ОСАДА ЛА-РОШЕЛИ

Still hope and suffer all who can?
M o o r e, Fudge family [1]

Подавляющее большинство жителей Ла-Рошели перешло в реформатскую веру, и Ла-Рошель играла тогда роль столицы южных провинций и служила протестантству наиболее стойким оплотом. Широкая торговля с Англией и Испанией вызвала приток в Ла-Рошель значительных ценностей и внесла тот независимый дух, который таким притоком обыкновенно порождается и поддерживается. Мещане, рыбаки, моряки, многие из которых представляли собой корсаров, рано привыкших к опасностям исполненной приключений жизни,— все они отличались энергией, заменявшей им дисциплину и военный опыт. Вот почему весть о резне, имевшей место 24 августа, ларошельцы приняли не с тупою покорностью, которая овладела большею частью протестантов и отняла у них веру в победу,— напротив, они прониклись той действенной и грозной решимостью, которую в иных случаях придает людям отчаяние. Они единодушно объявили, что согласны терпеть все, но что они даже в крайних обстоятельствах не откроют ворот врагу, который недавно обнаружил себя во всем своем вероломстве и жестокости. Пасторы пламенными речами укрепляли дух ларошельцев, и ларошельцы все, как один, включая женщин, стариков и детей, дружно восстанавливали старые укрепления и возводили новые. Делались запасы продовольствия и оружия, снаряжались барки и суда. Коротко говоря, население, не теряя ни минуты,

---

[1] Кто способен все претерпеть и не утратить надежды? *М у р, Семейство Фейдж (англ.).*

создавало и приводило в готовность многообразные средства обороны. К ларошельцам присоединились уцелевшие дворяне и своим описанием варфоломеевских зверств вселяли мужество в сердца наиболее робкие. Для людей, спасшихся от гибели, которая казалась неизбежной, война и ее превратности — это все равно что легкий ветерок для моряков, которых только что трепала буря. Мержи и его спутник увеличили собой число беглецов, вступавших в ряды защитников Ла-Рошели.

Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предотвратил их. В Ла-Рошель с предложением начать мирные переговоры выехал маршал Бирон. У короля были некоторые основания надеяться, что этот выбор будет приятен ларошельцам. Мало того что маршал не принимал участия в Варфоломеевском побоище,— он спас жизнь многим видным протестантам и даже направил пушки вверенного ему арсенала против убийц, служивших в королевской армии. Он просил только о том, чтобы его впустили в город в качестве королевского наместника, и со своей стороны обещал охранять особые права и вольности, коими пользовались жители, а также предоставить им свободу вероисповедания. Но как можно было поверить обещаниям Карла IX после истребления шестидесяти тысяч протестантов? Да и уже во время переговоров шло избиение протестантов в Бордо, солдаты Бирона грабили окрестности Ла-Рошели, а королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт.

Ларошельцы отказались впустить Бирона и объявили, что не станут заключать с королем никаких договоров до тех пор, пока им вертят Гизы,— то ли они в самом деле были уверены, что Гизы единственные виновники всех зол, то ли этот вымысел понадобился им, дабы успокоить совесть тех протестантов, которые считали, что верность королю должна стоять выше интересов религии. Договориться оказалось невозможным. Тогда король направил другого посредника — на сей раз его выбор пал на Лану. Лану, по прозванию *Железная рука,*— он потерял в бою руку, и ему сделали искусственную,— был ярым кальвинистом; в последнюю гражданскую войну он выказал необыкновенную храбрость и недюжинные способности.

Это был самый искусный и самый верный помощник своего друга — адмирала. В Варфоломеевскую ночь он находился в Нидерландах,— там он руководил распыленными отрядами фламандцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он вынужден был сдаться герцогу Альбе — тот обошелся с ним довольно милостиво. После того как потоки

пролитой крови вызвали у Карла IX нечто похожее на угрызения совести, король вытребовал Лану и, сверх ожидания, принял его необычайно любезно. Этот ни в чем не знавший меры правитель вдруг ни с того ни с сего обласкал протестанта, а незадолго перед этим вырезал сто тысяч его единоверцев. Казалось, сама судьба хранила Лану: еще во время третьей гражданской войны он дважды попадал в плен — сначала под Жарнаком, потом под Монконтуром, и оба раза его отпустил без всякого выкупа брат короля, хотя некоторые военачальники доказывали, что этого человека выпускать опасно, а подкупить невозможно, и требовали его казни. Теперь Карл подумал, что Лану вспомнит о его великодушии, и поручил ему привести ларошельцев к повиновению. Лану согласился, но с условием, что король не станет добиваться от него ничего такого, что могло бы послужить ему не к чести. Вместе с Лану выехал итальянский священник, которому было велено за ним присматривать.

Недоверие, которое гугеноты выказали к Лану на первых порах, оскорбило его. В Ла-Рошель его не пустили — встреча была назначена в небольшом подгороднем селе. Представители Ла-Рошели явились к нему в Тадон. Все это были его братья по оружию, но никто из них не пожелал обменяться с ним дружеским рукопожатием,— все сделали вид, что не узнают его,— ему пришлось назвать себя, и только после этого он заговорил о предложениях короля. Вот какова была суть его речи:

— Обещаниям короля следует верить. Гражданская война — худшее из всех зол.

Мэр Ла-Рошели, горько усмехнувшись, сказал:

— Мы видим перед собой человека, только похожего на Лану,— настоящий Лану никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам. Лану любил покойного адмирала, и, вместо того чтобы вести переговоры со злодеями, он поспешил бы отомстить за него. Нет, вы не Лану!

Эти упреки ранили несчастного посла в самое сердце; напомнив о заслугах, которые он оказал кальвинизму, Лану потряс своей искалеченной рукой и заявил, что он все такой же убежденный реформат. Недоверие ларошельцев постепенно рассеялось. Перед Лану раскрылись городские ворота. Ларошельцы показали ему свои запасы и даже стали его уговаривать возглавить их оборону. Для старого солдата это было предложение в высшей степени заманчивое. Ведь он принес присягу Карлу с таким условием, которое давало ему право поступать по совести. Лану надеялся, что если он станет во главе ларошельцев, то ему легче будет склонить их к миру; он рассчиты-

вал, что ему удастся остаться верным и присяге, и той религии, которую он исповедовал. Но он ошибался.

Королевское войско осадило Ла-Рошель. Лану руководил всеми вылазками, укладывал немало католиков, а вернувшись в город, убеждал жителей заключить мир. Чего же он этим достиг? Католики кричали, что он нарушил слово, данное королю, а протестанты обвиняли его в измене.

Лану все опостылело; он двадцать раз в день смотрел опасности прямо в глаза — он искал смерти.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ЛАНУ

Фенест

Этот человек пяткой не сморкается, ей-ей!

Д'Обинье, Барон Фенест

Осажденные только что сделали удачную вылазку против апрошей католического войска. Засыпали несколько траншей, опрокинули туры, перебили около сотни солдат. Отряд, на долю которого выпал этот успех, возвращался в город через Тадонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с аркебузирами,— по тому, какие разгоряченные были у них у всех лица, как тяжело они дышали, как настойчиво просили пить, видно было, что они себя не берегли. За аркебузирами шла плотная толпа горожан, среди них — женщины, должно быть, принимавшие участие в стычке. Вслед за горожанами двигались пленные, числом около сорока, почти все раненые,— две шеренги солдат еле сдерживали гнев народа, собравшегося посмотреть, как они будут идти. Арьергард составляло человек двадцать всадников. Сзади всех ехал Лану, у которого Мержи был адъютантом. В кирасе у Лану виднелась вмятина от пули, его конь был в двух местах ранен. В левой руке он еще держал разряженный пистолет, а конем правил с помощью прицепленного к поводьям крюка, торчавшего из его правого наручня.

— Пропустите пленных, друзья! — ежеминутно кричал он.— Добрые ларошельцы! Будьте человечны! Они ранены, они беззащитны, они больше нам не враги.

Чернь, однако, отвечала ему яростным воем:

— Вздернуть папистов! На виселицу их! Да здравствует Лану!

Мержи и всадники, чтобы лучше действовали призывы их предводителя к милосердию, весьма кстати угощали то того, то другого древками пик. Наконец пленных отвели в городскую тюрьму и приставили к ним усиленную охрану,— здесь им уже можно было не бояться народной расправы. Отряд рассеялся. Лану, которого сопровождало теперь всего лишь несколько дворян, спешился у ратуши как раз в ту минуту, когда оттуда выходили мэр, пастор в преклонных летах по имени Ланлас и кое-кто из горожан.

— Итак, доблестный Лану,— протягивая ему руку, заговорил мэр,— вы сейчас доказали убийцам, что после смерти господина адмирала еще остались на свете храбрецы.

— Все кончилось довольно благополучно,— скромно ответил Лану.— У нас всего только пять убитых да несколько человек раненых.

— Так как вылазкой руководили вы, господин Лану, мы с самого начала не сомневались в успехе,— сказал мэр.

— Э! Что мог бы сделать Лану без божьей помощи? — колко заметил старый пастор.— За нас сегодня сражался всемогущий господь. Он услышал наши молитвы.

— Господь дарует победы, он же их и отнимает,— за успехи на войне должно благодарить только его,— хладнокровно проговорил Лану и сейчас же обратился к мэру: — Ну так как же, господин мэр? Совет обсудил новые предложения его величества?

— Обсудил,— отвечал мэр.— Мы только что отправили герольда обратно к принцу и просили передать, чтобы он больше не беспокоился и новых условий нам не предъявлял. Впредь мы будем отвечать на них ружейными залпами, и ничем больше.

— Вам бы следовало повесить герольда,— снова заговорил пастор.— В Писании ясно сказано: «И из среды твоей вышли некие злые, восхотевшие возмутить обитателей их города... Но ты не преминешь предать их смерти; твоя рука первой ляжет на них, а за нею рука всего народа».

Лану вздохнул и молча поднял глаза к небу.

— Он предлагает нам сдаться, а? — продолжал мэр.— Сдаться, когда стены наши держатся крепко, когда враг не решается приблизиться к ним, а мы каждый день наносим ему удары в его же окопах! Уверяю вас, господин Лану: если бы в Ла-Рошели не стало больше воинов, одни только женщины отразили бы натиск парижских живодеров.

— Милостивый государь! Если даже более сильному надлежит говорить о своем противнике с осторожностью, то уж более слабому...

— А кто вам сказал, что мы слабее? — прервал его Лаплас.— С нами бог. Гедеон с тремястами израильтян оказался сильнее всего мадианитянского войска.

— Вам, господин мэр, лучше, чем кому бы то ни было, известно, как нам не хватает боевых припасов. Пороху мало, я вынужден был воспретить аркебузирам стрелять издали.

— Нам пришлет его из Англии Монтгомери,— возразил мэр.

— Огонь с небеси падет на папистов,— сказал пастор.

— Хлеб с каждым днем дорожает, господин мэр.

— Мы ожидаем английский флот с минуты на минуту, и тогда в городе опять всего будет много.

— Если понадобится, господь пошлет манну с небес! — запальчиво выкрикнул Лаплас.

— Вы надеетесь на помощь извне,— продолжал Лану,— но ведь если южный ветер продержится несколько дней, флот не сумеет войти в нашу гавань. А кроме того, флот могут и захватить.

— Ветер будет северный! Я тебе это предсказываю, маловер! — провозгласил пастор.— Вместе с правой рукой ты утратил стойкость.

Лану, должно быть, твердо решил не отвечать пастору. По-прежнему обращаясь к мэру, и только к мэру, он продолжал:

— Противнику потерять десять человек не так страшно, как нам одного. Я боюсь вот чего: если католики усилят натиск, то как бы нам не пришлось принять условия потяжелее тех, которые вы теперь с таким презрением отвергаете. Я надеюсь, что король удовольствуется тем, что город признает его власть, и не потребует от нас невозможного, а потому, мне кажется, наш долг — отворить ему ворота: как-никак ведь он наш властитель, а не кто-нибудь еще.

— У нас один властитель — Христос! Только безбожники способны назвать своим властителем свирепого Ахава — Карла, пьющего кровь пророков...

Несокрушимое спокойствие Лану выводило пастора из себя.

— Я хорошо помню,— сказал мэр,— слова господина адмирала, которые я от него услышал, когда он последний раз был в нашем городе проездом: «Король обещал мне обходиться одинаково со всеми своими подданными, что с католиками, что с

протестантами». А через полгода король велел убить адмирала. Если мы отворим ворота, у нас повторится Варфоломеевская ночь.

— Короля ввели в заблуждение Гизы. Он раскаивается, ему хотелось бы как-нибудь искупить кровопролитие. Если же вы с прежним упорством будете отвергать мирные переговоры, то в конце концов вы этим озлобите католиков, королевство обрушит на вас всю свою мощь, и единственный оплот реформатской веры будет снесен с лица земли. Нет, милостивый государь, поверьте мне: мир, и только мир!

— Трус! — крикнул пастор.— Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою шкуру.

— Господин Лаплас!..— остановил его мэр.

— Коротко говоря,— невозмутимо продолжал Лану,— мое последнее слово таково: если король согласится не ставить в Ла-Рошели гарнизона и не запрещать наши протестантские собрания, то нам надлежит отдать ему ключи города и присягнуть на верность.

— Изменник! — вскричал Лаплас.—Ты подкуплен тиранами!

— Бог знает, что вы говорите, господин Лаплас! — снова возмутился мэр.

Лану чуть заметно улыбнулся презрительной улыбкой.

— Видите, господин мэр, в какое странное время мы живем: военные говорят о мире, а духовные лица проповедуют войну... Уважаемый господин пастор! — неожиданно обратился он к Лапласу.— Пора обедать. Ваша супруга, по всей вероятности, ждет вас.

Эти последние слова взбесили пастора. Он не нашелся, что сказать, а так как пощечина избавляет от необходимости ответить что-нибудь разумное, то он ударил старого полководца по щеке.

— Господи твоя воля! Что вы делаете? — крикнул мэр.— Ударить господина Лану, лучшего нашего гражданина и самого отважного воина во всей Ла-Рошели!

Присутствовавший при этом Мержи вознамерился так огреть Лапласа, чтобы тот долго это помнил, однако Лану удержал его.

Когда ладонь старого безумца дотронулась до его заросшей седой бородой щеки, то на одно, быстрое, как мысль, мгновение глаза Лану сверкнули гневно и негодующе. Но затем его лицо вновь приняло бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор ударил мраморный бюст римского сенатора

или что полководца случайно задел какой-нибудь неодушевленный предмет.

— Отведите старика к жене,— сказал он одному из горожан, оттащивших от него престарелого пастора.— Велите ей поухаживать за ним: сегодня он явно не в себе... Господин мэр, прошу вас: наберите мне из жителей города пятьсот добровольцев,— я хочу произвести вылазку завтра на рассвете, когда солдаты совсем закоченеют после ночи в окопах, словно медведи, если их поднять во время оттепели. Я замечал, что люди, которые спали под кровом, утром стоят дороже тех, что провели ночь под открытым небом... Господин де Мержи! Если вы не очень проголодались, давайте сходим на Евангельский бастион. Мне хочется посмотреть, подвинулись ли за это время работы противника.

Тут он поклонился мэру и, опершись на плечо молодого человека, отправился на бастион.

Перед самым их приходом выстрелила неприятельская пушка, и двух ларошельцев смертельно ранило. Камни были забрызганы кровью. Один из этих несчастных умолял товарищей прикончить его. Лану, облокотившись на парапет, некоторое время молча наблюдал за осаждающими, потом обратился к Мержи.

— Всякая война ужасна, а уж гражданская!..— воскликнул он.— Этим ядром была заряжена французская пушка. Навел пушку, поджег запал опять-таки француз, и двух французов этим ядром убило. Но лишить жизни человека, находясь от него на расстоянии полумили,— это еще ничего, господин де Мержи, а вот когда приходится вонзать шпагу в тело человека, который на вашем родном языке молит вас пощадить его!.. А ведь мы с вами не далее, как нынче утром, именно этим и занимались.

— Если б вы видели резню двадцать четвертого августа, если бы вы переправлялись через Сену, когда она была багровой и несла больше трупов, нежели льдин во время ледохода, вы бы не очень жалели тех людей, с которыми мы сражаемся. Для меня всякий папист — кровопийца...

— Не клевещите на свою родину. В осаждающем нас войске чудовищ не так уж много. Солдаты — это французские крестьяне, которые бросили плуг ради жалованья, а дворяне и военачальники дерутся потому, что присягали королю на верность. Может быть, они поступают, как должно, а вот мы... мы бунтовщики.

— Почему же бунтовщики? Наше дело правое, мы сражаемся за веру, за свою жизнь.

— Сколько я могу судить, сомнения вам почти неведомы. Счастливый вы человек, господин де Мержи,— сказал старый воин и тяжело вздохнул.

— А, чтоб ему пусто было! — проворчал солдат, только что выстреливший из аркебузы.— Этот черт не иначе как заколдован. Третий день выцеливаю, а попасть не могу.

— Это ты про кого? — спросил Мержи.

— А вон про того молодца в белом камзоле, с красной перевязью и красным пером на шляпе. Каждый день прохаживается перед самым нашим носом, как будто дразнит. Это один из тех придворных золотошпажников, что наехали сюда с принцем.

— Жаль, далеко,— заметил Мержи,— ну, все равно, дайте сюда аркебузу.

Один из солдат дал ему свою аркебузу. Мержи, положив для упора конец дула на парапет, стал прицеливаться.

— Ну, а если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Лану.— Охота была брать на себя обязанности аркебузира!

Мержи хотел уже спустить курок, но эти слова его остановили.

— Среди католиков у меня только один друг. Но я твердо уверен, что он в осаде участия не принимает.

— Ну, а если это ваш брат, прибывший в свите принца...

Выстрел раздался, но рука у Мержи дрогнула,— пыль поднялась довольно далеко от гуляки. У Мержи и в мыслях не было, чтобы его брат находился в рядах католического войска, однако он был доволен, что промахнулся. Человек, в которого он стрелял, все так же медленно расхаживал взад и вперед и наконец скрылся за одной из куч свежевыкопанной земли, возвышавшихся вокруг всего города.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ВЫЛАЗКА

Hamlet
Dead, for a ducat dead!
Shakespeare[1]

Мелкий, холодный дождь зарядил на всю ночь и перестал, только когда побелевший восток предвозвестил зарю. По земле стлался такой плотный туман, что солнечным лучам трудно

[1] Гамлет
Ставлю золотой — мертва! *Шекспир (англ.).*

было его прорезать, и как ни пытался разогнать его ветер, то тут, то там оставляя в нем как бы широкие прогалы, а все же серые его клочья срастались вновь,— так волны, разрезанные кораблем, снова низвергаются и затопляют проведенную борозду. Из густой мглы выглядывали, точно из воды во время разлива, верхушки деревьев.

В городе неверный утренний свет, слившийся с огнями факелов, озарял довольно многочисленный отряд солдат и добровольцев, собравшихся на той улице, что вела к Евангельскому бастиону. Продрогнув от холода и сырости, всегда пробирающих до костей на зимней утренней заре, они переминались с ноги на ногу и топтались на месте. Они ругательски ругали того, кто спозаранку заставил их взяться за оружие, но как они ни бранились, все же в каждом их слове звучали бодрость и уверенность, какою бывают проникнуты солдаты, которыми командует заслуживший их уважение полководец. Они говорили между собой полушутя, полусерьезно:

— Ох, уж эта окаянная *Железная рука, Полунощник* проклятый! Позавтракать не сядет, пока этих детоубийц не разбудит. Лихорадка ему в бок!

— Чертов сын! Разве он когда даст поспать?

— Клянусь бородой покойного адмирала: если сию секунду не затрещат выстрелы, я засну как все равно в постели!

— Ура! Водку несут! Сейчас у нас тепло разольется по жилам, а иначе в этом чертовом тумане мы бы наверняка схватили насморк.

Солдатам стали разливать водку, а в это время под навесом лавки Лану принялся излагать военачальникам, слушавшим его затаив дыхание, план предстоящей вылазки. Забил барабан; все разошлись по местам; пастор, благословив солдат, воззвал к их доблести и пообещал вечную жизнь тем, кому не суждено, возвратившись в город, получить награду и заслужить благодарность своих сограждан.

Пастор был краток; Лану, однако, нашел, что наставление затянулось. Теперь это был уже не тот человек, который накануне дорожил каждой каплей французской крови. Сейчас это был воин, которому не терпится взглянуть на схватку. Как скоро пастор кончил поучать и солдаты ответили ему: *Amen* [1], Лану заговорил твердо и сурово:

---

[1] Аминь *(лат.)*.

— Друзья! Пастор хорошо сказал: поручим себя господу богу и божьей матери Сокрушительнице. Первого, кто выстрелит наугад, я убью, если только сам уцелею.

— Сейчас вы заговорили по-иному,— шепнул ему Мержи.

— Вы знаете латынь? — резко спросил Лану.

— Знаю.

— Ну, так вспомните мудрое изречение: *Age quod agis*[1].

Он махнул рукой, выстрелила пушка, и весь отряд, шагая по-военному, направился за город. Одновременно из разных ворот вышли небольшими группами солдаты и начали тревожить противника в разных пунктах его расположения с тою целью, чтобы католики, вообразив, что на них нападают со всех сторон, не решились, из боязни оголить любой из своих участков, послать подкрепление туда, где им предполагалось нанести главный удар.

Евангельский бастион, против которого были направлены усилия подкопщиков католического войска, особенно страдал от батареи из пяти пушек, занимавшей горку, на которой стояла мельница, пострадавшая во время осады. От города батарея была защищена рвом и бруствером, а за рвом было еще выставлено сторожевое охранение. Но, как и предвидел протестантский военачальник, отсыревшие аркебузы часовых отказали. Нападавшие, хорошо снаряженные, подготовившиеся к атаке, были в гораздо более выгодном положении, чем люди, захваченные врасплох, не успевшие отдохнуть после бессонной ночи, промокшие и замерзшие.

Передовые вырезаны. Случайные выстрелы будят батарею, уже когда протестанты, овладев бруствером, взбираются на гору. Кое-кто из католиков пытается оказать сопротивление, но закоченевшие руки плохо держат оружие, почти все аркебузы дают осечку, а у протестантов ни один выстрел зря не пропадает. Всем уже ясно, кто победит; протестанты, захватив батарею, испускают кровожадный крик:

— Пощады никому! Помните двадцать четвертое августа!

На вышке мельницы находилось человек пятьдесят солдат вместе с их начальником. Начальник, в ночном колпаке и в подштанниках, держа в одной руке подушку, а в другой — шпагу, отворил дверь, чтобы узнать, что это за шум. Далекий от мысли о вражеской вылазке, он вообразил, что это ссорятся его солдаты. Он был жестоко наказан за свое заблуждение: удар

[1] Делай свое дело *(лат.)*.

алебарды свалил его на землю, он плавал в луже собственной крови. Солдаты успели завалить дверь, ведшую на вышку, и некоторое время они удачно защищались, стреляя из окон. Но подле мельницы высились кучи соломы и сена и груды хвороста для туров. Протестанты все это подожгли, огонь мгновенно охватил мельницу и стал подбираться к вышке. Скоро оттуда донеслись умоляющие голоса. Крыша была объята пламенем и грозила обвалиться на головы несчастных. Дверь загорелась, заграждения, которые они тут устроили, мешали им выйти. Те, что прыгали в окна, падали в огонь или прямо на острия пик. Тут произошел ужасный случай. Какой-то знаменщик в полном вооружении тоже решился выскочить в узкое оконце. Его кираса, как того требовал довольно распространенный в описываемое время обычай, оканчивалась чем-то вроде железной юбки, прикрывавшей бедра и живот и расширявшейся в виде воронки, чтобы юбка не мешала ходьбе. Для этой части вооружения окно оказалось слишком узким, а знаменщик с перепугу сунулся туда очертя голову, и почти все его тело оказалось снаружи, застряло — и ни туда, ни сюда, как в тисках. А пламя все ближе, ближе, вооружение накаляется, и он сам жарится на медленном огне, будто в печке или же в знаменитом медном быке, который был изобретен Фаларисом. Несчастный дико кричал и махал руками, тщетно зовя на помощь. Атаковавшие на мгновение притихли, потом дружно, точно по уговору, чтобы заглушить вопли горевшего человека, проорали боевой клич. Человек исчез в вихре огня и дыма, только его раскалившаяся докрасна, дымившаяся каска мелькнула среди рухнувших обломков вышки.

Во время боя тяжелые или же грустные впечатления стираются быстро: в солдатах силен инстинкт самосохранения, и они скоро забывают о чужих несчастьях. Одни ларошельцы преследовали беглецов, другие заклепывали пушки, разбивали колеса и сбрасывали в ров туры и трупы артиллеристов.

Мержи одним из первых спустился в ров и поднялся на вал; остановившись передохнуть, он нацарапал на орудии имя Дианы, затем вместе с другими принялся разрушать земляные работы противника.

Солдат взял за голову католического военачальника, не подававшего признаков жизни, другой схватил его за ноги, и оба принялись мерно раскачивать его с тем, чтобы швырнуть в ров. Неожиданно мнимый мертвец открыл глаза и, узнав Мержи, воскликнул:

— Господин де Мержи! Пощадите! Я сдаюсь, спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?

Лицо у несчастного было залито кровью, и Бернару трудно было узнать в умирающем молодого придворного, которого он помнил жизнерадостным и веселым. Он велел бережно опустить Бевиля на траву, своими руками перевязал ему рану, а затем, положив поперек коня, приказал, соблюдая осторожность, отвезти его в город.

Пока он прощался с Бевилем и помогал свести коня с горки, на которой была расположена батарея, между городом и мельницей показалась ехавшая на рысях группа всадников. Судя по всему, это был отряд католического войска, намеревавшегося отрезать протестантам отступление. Мержи побежал предупредить Лану.

— Доверьте мне ну хотя бы сорок аркебузиров,— сказал он,— я схоронюсь с ними вон за той изгородью, всадники поедут мимо, и если они на всем скаку не поворотят коней, прикажите меня повесить.

— Добро, мой мальчик! Когда-нибудь из тебя выйдет изрядный полководец. Эй, вы! Идите за этим дворянином и исполняйте все его приказания.

Бернар живо расставил аркебузиров за изгородью, приказал опуститься на одно колено, взять аркебузы на изготовку и строго воспретил стрелять без команды.

Всадники быстро приближались. Уже явственно слышно было, как чвякают по грязи конские копыта.

— Их начальник — тот самый пострел с красным пером на шляпе, в которого мы вчера не попали. Зато попадем сегодня.

Аркебузир, стоявший от него справа, кивнул головой как бы в знак того, что берет это на себя. Всадники были уже не более чем в двадцати шагах, их начальник повернулся к отряду, очевидно, для того, чтобы отдать приказ, но в эту самую минуту Мержи неожиданно вскочил и крикнул:

— Пли!

Начальник с красным пером на шляпе обернулся, и Бернар узнал Жоржа. Он потянулся к аркебузе стоявшего рядом солдата, чтобы отвести дуло, но, прежде чем он до нее дотронулся, заряд успел вылететь. Напуганные внезапным выстрелом, всадники бросились врассыпную. Капитан Жорж, сраженный двумя пулями, упал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ЛАЗАРЕТ

Father
Why are you so obstinate?
Pierre
Why you so troublesome, that a poor wretch
Can't die in peace,
But you, like ravens, will be croaking round him?
Otway, Venice preserved[1]

Старинный монастырь, упраздненный городским советом Ла-Рошели, во время осады был превращен в лазарет для раненых. Из церкви были вынесены скамьи, престол и все украшения, пол застелили соломой и сеном,— сюда клали простых солдат. Для офицеров и дворян была отведена трапезная. Она представляла собой обширное, обитое старым дубом помещение с широкими стрельчатыми окнами, благодаря которым в трапезной было много света, а свет был нужен для беспрерывных хирургических операций.

Сюда внесли и капитана Жоржа и положили на матрац, красный от его крови и от крови таких же несчастных, как он, лежавших до него в этом месте скорби. Подушку ему заменяла охапка соломы. С него только что сняли кирасу, на нем разорвали камзол и рубашку. Он был гол до пояса, но на правой руке еще оставались наручники и стальная перчатка. Солдат пытался остановить кровь, струившуюся у него из ран: его ранило в живот, чуть ниже кирасы, и легко ранило в левую руку. Бернар не способен был оказать брату мало-мальски существенную помощь — так он горевал. Он то, рыдая, падал перед ним на колени, то с воплями отчаяния катался по полу и все упрекал себя в том, что убил нежно любимого брата и самого близкого своего друга. Капитан, однако, не терял присутствия духа и старался успокоить Бернара.

Совсем близко от его матраца лежал бедняга Бевиль,— состояние у него было тоже тяжелое. Но черты его не выража-

---

[1] Монах
Почему вы такой упрямый?
Пьер
А почему вы такие назойливые, почему вы не даете несчастному Умереть спокойно
И каркаете вокруг него, как воронье? *Отуэй, Спасенная Венеция (англ.).*

ли безучастной покорности, которая была написана на лице капитана. По временам он глухо стонал и оглядывался на Жоржа,— он словно просил, чтобы тот поделился с ним своею стойкостью и мужеством.

В помещение лазарета, держа зеленую сумку, в которой что-то, наводя страх на бедных раненых, брякало, вошел человек лет сорока, сухопарый, костлявый, лысый, с морщинистым лицом, и направился к капитану Жоржу. Это был довольно искусный для своего времени хирург Бризар, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре. Он, видимо, только что сделал кому-то операцию,— рукава у него были засучены до локтей, широкий фартук замаран кровью.

— Что вам нужно? Кто вы такой? — спросил Жорж.

— Я, милостивый государь, хирург. Если имя мэтра Бризара вам ничего не говорит, стало быть, вы человек малоосведомленный. Ну-с, позаимствуйте, как говорится, у овцы храбрости. В огнестрельных-то ранах я, слава тебе господи, знаю толк. Я хотел бы, чтобы у меня было столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек у людей, которые сейчас здоровехоньки и мне того же желают.

— Вот что, доктор, скажите мне правду: рана, сколько я понимаю, смертельна?

Хирург прежде всего осмотрел левую руку.

— Ерунда! — сказал он и стал зондировать другую рану.

Немного спустя капитан уже корчился от боли и в конце концов правой рукой оттолкнул руку доктора.

— Ну вас к черту, проклятый лекарь! Не лезьте дальше! Я вижу по вашему лицу, что моя песенка спета.

— Видите ли, милостивый государь, я очень боюсь, что пуля задела сперва надчревную область, потом пошла выше и застряла в спинном хребте, именуемом нами по-гречески *рахис*. У вас отнялись и похолодели ноги — вот что меня в этом убеждает. Патогномонические признаки почти никогда не обманывают, а в таких случаях...

— Стреляли в упор, пуля в спинном хребте! Какого же черта еще нужно, доктор, чтобы отправить беднягу *ad patres*? [1] Ну, так и перестаньте меня мучить, дайте умереть спокойно.

— Нет, он будет жить, он будет жить! — уставив на хирурга мутный взгляд, крикнул Бернар и стиснул ему руку.

— Да, будет — еще час, может быть, два,— хладнокровно заметил Бризар,— он крепыш.

---

[1] К праотцам *(лат.)*.

Бернар снова упал на колени и, схватив руку Жоржа, оросил слезами стальную перчатку.

— Два часа? — спросил Жорж.— Ну вот и отлично. Я боялся дольше промучиться.

— Нет, я этому не верю! — рыдая, воскликнул Бернар.— Жорж! Ты не умрешь! Не может брат погибнуть от руки брата.

— Будет тебе! Успокойся! И не тряси меня! Во мне отзывается каждое твое движение. Пока я еще не очень страдаю, лишь бы так было и дальше, как сказал Дзанни, падая с колокольни.

Бернар сел возле матраца, уронил голову на колени и закрыл руками лицо. Глядя на его неподвижную фигуру, можно было подумать, что он дремлет. Временами по всему его телу пробегала дрожь, словно его лихорадило, а из груди вырывались какие-то нечеловеческие стоны.

Хирург кое-как перевязал рану, только чтобы унять кровь, и теперь с самым невозмутимым видом вытирал зонд.

— Советую подготовиться,— сказал он.— Если хотите пастора, то пасторов здесь предостаточно. Если же вы предпочитаете католического священника, то один-то уж, во всяком случае, найдется. Я только что видел пленного монаха. Там отходит папистский военачальник, а он его исповедует.

— Дайте мне пить! — попросил капитан.

— Ни за что! Тогда вы умрете часом раньше.

— Час жизни не стоит стакана вина. Ну, прощайте, доктор! Вы нужны другим.

— Кого же вам прислать: пастора или монаха?

— Ни того, ни другого.

— То есть как?

— Оставьте меня в покое.

Хирург пожал плечами и подошел к Бевилю.

— Отличная рана, клянусь бородой! — воскликнул он.— Эти черти добровольцы бьют метко.

— Ведь правда, я выздоровлю? — сдавленным голосом спросил раненый.

— Вздохните,— проговорил Бризар.

Послышалось что-то вроде слабого свиста: это воздух выходил из груди Бевиля и через рану и через рот. В то же мгновение из раны забила кровавая пена.

Хирург, словно подражая странному этому звуку, свистнул, как попало наложил повязку, молча собрал инструменты и направился к выходу. Бевиль горящими, как факелы, глазами следил за каждым его движением.

— Ну как, доктор? — дрожащим голосом спросил он.

— Собирайтесь в дорогу,— холодно ответил хирург и удалился.

— Я не хочу умирать! Ведь я еще так молод! — воскликнул несчастный Бевиль и откинулся головой на охапку соломы, которая заменяла ему подушку.

Жорж просил пить, но из боязни ускорить его кончину никто не хотел дать ему стакан воды. Хорошо человеколюбие, если оно способно только длить страдания! В это время пришли навестить раненых Лану, капитан Дитрих и другие военачальники. Лану и Дитрих остановились у матраца Жоржа. Лану, опираясь на рукоять шпаги, смотрел то на одного брата, то на другого, и в глазах его отражалось сильное волнение, вызванное печальным этим зрелищем.

Внимание Жоржа привлекла фляга, висевшая на боку у немецкого капитана.

— Капитан! — молвил он.— Вы старый солдат?..

— Да, я старый солдат. От порохового дыма борода седеет быстрее, чем от возраста. Я капитан Дитрих Горнштейн.

— Взгляните на мою рану; как бы вы поступили на моем месте?

Капитан Дитрих оглядел его с видом человека, привыкшего смотреть на раны и судить об их тяжести.

— Я бы очистил свою совесть и, если бы нашлась бутылка рейнвейна, попросил, чтобы мне налили полный стакан,— отвечал он.

— Ну, вот видите, я прошу у этих олухов глоток скверного ларошельского вина, а они не дают.

Дитрих отстегнул свою весьма внушительных размеров флягу и протянул раненому.

— Что вы делаете, капитан? — вскричал один из аркебузиров.— Лекарь сказал, что если он чего-нибудь выпьет, то сию же минуту умрет.

— Ну и что ж из этого? По крайности получит перед смертью маленькое удовольствие... Держите, мой милый! Жалею, что не могу предложить вам вина получше.

— Вы хороший человек, капитан Дитрих,— выпив, сказал Жорж и протянул флягу своему соседу.— А ты, бедный Бевиль, хочешь последовать моему примеру?

Но Бевиль молча покачал головой.

— Ай-ай! Этого еще не хватало! — забеспокоился Жорж.— И умереть спокойно не дадут.

Он увидел, что к нему направляется пастор с Библией под мышкой.

— Сын мой! — начал пастор.— Вы теперь...

— Довольно, довольно! Я знаю наперед все, что вы намереваетесь мне сказать. Напрасный труд. Я католик.

— Католик? — воскликнул Бевиль.— Значит, ты уже не атеист?

— Но ведь вы были воспитаны в лоне реформатской религии,— возразил пастор,— и в эту торжественную и страшную минуту, когда вы собираетесь предстать перед верховным судьей человеческих дел и помышлений...

— Я католик. Оставьте меня в покое, черт бы вас подрал!

— Но...

— Капитан Дитрих! Сжальтесь надо мной! Вы мне уже оказали важную услугу, теперь я прошу вас еще об одной. Прикажите ему прекратить увещания и иеремиады. Я хочу умереть спокойно.

— Отойдите,— сказал пастору капитан.— Вы же видите, что он не расположен вас слушать.

Лану подал знак монаху,— тот сейчас же подошел.

— Вот ваш священник,— сказал Лану капитану Жоржу,— мы свободу совести не стесняем.

— И монаха и пастора — обоих к чертям! — объявил раненый.

Монах и пастор стояли по обе стороны матраца,— они словно приготовились вступить друг с другом в борьбу за умирающего.

— Этот дворянин — католик,— сказал монах.

— Но родился он протестантом,— возразил пастор,— значит, он мой.

— Но он перешел в католичество.

— Но умереть он желает в лоне той веры, которую исповедовали его родители.

— Кайтесь, сын мой.

— Прочтите символ веры, сын мой.

— Ведь вы же хотите умереть правоверным католиком, не так ли?

— Прогоните этого слугу антихриста,— чувствуя поддержку большинства присутствующих, возопил пастор.

При этих словах какой-то солдат из ревностных гугенотов схватил монаха за пояс и оттащил его.

— Вон отсюда, выстриженная макушка! — заорал он.— По тебе плачет виселица! В Ла-Рошели давно уже не служат месс.

— Стойте! — сказал Лану.— Если этот дворянин желает исповедаться, пусть исповедуется,— даю слово, никто ему не помешает.

— Благодарю вас, господин Лану...— слабым голосом произнес умирающий.

— Будьте свидетелями: он желает исповедаться,— снова заговорил монах.

— Не желаю, идите к черту!

— Он возвращается в лоно веры своих предков! — вскричал пастор.

— Нет, разрази вас гром, не возвращаюсь! Уйдите от меня оба! Значит, я уже умер, если во́роны дерутся из-за моего трупа. Я не хочу ни месс, ни псалмов.

— Он богохульствует! — закричали в один голос служители враждующих культов.

— Во что-нибудь верить надо,— невозмутимо спокойным тоном проговорил капитан Дитрих.

— По-моему... по-моему, вы добрый человек, избавьте же меня от этих гарпий... Прочь от меня, прочь, пусть я издохну, как собака!

— Ну, так издыхай, как собака! — сказал пастор и, разгневанный, направился к двери.

В ту же минуту к постели Бевиля, перекрестившись, подошел монах.

Лану и Бернар остановили пастора.

— Сделайте последнюю попытку,— сказал Бернар.— Пожалейте его, пожалейте меня!

— Милостивый государь! — обратился к умирающему Лану.— Поверьте старому солдату: наставления человека, посвятившего всю свою жизнь богу, обладают способностью облегчать вонну его последние минуты. Не слушайтесь голоса греховной суетности, не губите свою душу из пустой рисовки.

— Милостивый государь! — заговорил Жорж.— Я давно начал думать о смерти. Чтобы быть к ней готовым, я ни в чьих наставлениях не нуждаюсь. Я никогда не любил рисоваться, а сейчас и подавно. Но слушать их вздор? Нет, пошли они к чертовой матери!

Пастор пожал плечами, Лану вздохнул. Оба опустили головы и медленным шагом двинулись к выходу.

— Приятель! — обратился к Жоржу Дитрих.— Раз вы говорите такие слова, стало быть, вам, наверно, чертовски больно?

— Да, капитан, мне чертовски больно.

— В таком случае надеюсь, что ваши речи не прогневают бога, а то ведь это здорово смахивает на богохульство. Впрочем, когда в теле человека сидит заряд, то уж тут, прах меня побери, не грех и ругнуться — от этого становится легче.

Жорж улыбнулся и еще раз отпил из фляги.

— За ваше здоровье, капитан! Лучшей сиделки, чем вы, для раненого солдата не найдешь.

Сказавши это, он протянул ему руку. Капитан Дитрих не без волнения пожал ее.

— *Teufel!* [1] — еле слышно пробормотал он.— Если б мой брат Генниг был католиком и я влепил бы ему в брюхо заряд... Так вот что означало предсказание Милы!

— Жорж, товарищ мой! — жалобным голосом заговорил Бевиль.— Скажи мне что-нибудь! Мы сейчас умрем, это так страшно! Ты мне когда-то говорил, что бога нет, сейчас ты тоже так думаешь?

— Конечно! Мужайся! Еще несколько минут — и наши страдания кончатся.

— А монах толкует мне о вечном огне... о бесах... еще о чем-то... Но меня это не очень утешает.

— Враки!

— А что, если это правда?

— Капитан! Оставляю вам в наследство кирасу и шпагу. Жаль, что не могу лучше отблагодарить вас за то славное вино, которым вы по своей доброте меня угостили.

— Жорж, друг мой! — снова заговорил Бевиль.— Если б все, о чем он толкует, оказалось правдой, это было бы ужасно!.. Вечность!..

— Трус!

— Да, трус... Легко сказать! Будешь тут трусом, когда тебе сулят вечную муку.

— Ну, так исповедуйся.

— Скажи, пожалуйста, ты уверен, что ада не существует?

— Отстань!

— Нет, ты ответь: ты совершенно в этом уверен? Дай мне слово, что ада нет.

— Я ни в чем не уверен. Если черт есть, то мы сейчас убедимся, так ли уж он черен.

— А ты и в этом не уверен?

— Говорят тебе, исповедуйся.

— Ты же будешь смеяться надо мной.

---

[1] Черт побери! *(нем.)*

Жорж невольно улыбнулся, потом заговорил уже серьезно:

— Я бы на твоем месте исповедался — так спокойнее. Тебя исповедали, соборовали, и теперь тебе уже нечего бояться.

— Ну что ж, я как ты. Исповедуйся ты сперва.

— Не буду.

— Э, пет!.. Ты как хочешь, а я умру правоверным католиком... Хорошо, отец мой, я сейчас прочту *Confiteor* [1], только вы мне подсказывайте, а то я подзабыл.

Пока он исповедовался, капитан Жорж еще раз хлебнул из фляжки, затем положил голову на жесткую свою подушку и закрыл глаза. С четверть часа он лежал спокойно. Потом вдруг стиснул зубы, но все же не мог удержать долгий болезненный стон и вздрогнул всем телом. Бернар, решив, что Жорж отходит, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан тотчас открыл глаза.

— Опять? — спросил он и легонько оттолкнул Бернара.— Полно, Бернар, успокойся!

— Жорж! Жорж! Ты гибнешь от моей руки!

— Ничего не поделаешь! Я не первый француз, которого убил брат... Полагаю, что и не последний. Но виноват во всем я... Принц вызволил меня из тюрьмы и взял с собой, и я тут же дал себе слово не обнажать шпаги... Но когда я узнал, что бедняга Бевиль в опасности... когда до меня донеслись залпы, я решил подъехать поближе.

Капитан опять закрыл глаза, но тут же открыл их и сказал Бернару:

— Госпожа де Тюржи просила передать, что она любит тебя по-прежнему.

Он ласково улыбнулся.

Это были последние его слова. Через четверть часа он умер — видимо, не очень страдая. Несколько минут спустя на руках монаха скончался Бевиль, и монах потом уверял, что он явственно слышал в небе ликующие голоса ангелов, принимавших в свои объятия душу раскаявшегося грешника, меж тем как в преисподней торжествующе завывали бесы, унося душу капитана Жоржа.

Во всех историях Франции рассказывается о том, как Лану, которому опостылела гражданская война и которого замучила совесть, потому что он воевал со своим королем, в конце концов покинул Ла-Рошель, как королевское войско вынужде-

[1] Каюсь *(лат.)*.

но было снять осаду и как в четвертый раз был заключен мир, вскоре после чего Карл IX умер.

Утешился ли Бернар? Появился ли новый возлюбленный у Дианы? Это я предоставляю решить читателям,— таким образом, каждый из них получит возможность закончить роман, как ему больше нравится.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Стр. 30. *...между двумя народами такое же точно различие, как между двумя столетиями.*— Нельзя ли установить такой взгляд и на отдельных лиц? Неужели ворующий сын вора несет одинаковую ответственность с человеком *воспитанным,* который стал злостным банкротом?

Стр. 31. *...французский министр... непременно начал бы расстреливать...*— Это предисловие было написано в 1829 году.

Стр. 33. *...все говорит о том, что если он и не был вольнодумцем, то... не был и фанатиком.*— Как доказательство крайнего двуличия Карла IX приводили одну его фразу, которая, на мой взгляд, представляет собой всего лишь грубую выходку человека, вполне равнодушного к религии. Папа чинил препятствие браку сестры Карла IX, Маргариты Валуа, с Генрихом IV, в то время протестантом. «Если святейший владыка не даст согласия,— сказал король,— я возьму сестрицу Марготон под руку и обвенчаю ее в протестантской церкви».

...численно превосходящих сил противника...— Население Франции тогда равнялось приблизительно двадцати миллионам человек. Полагают, что во время второй гражданской войны число протестантов не превышало полутора миллионов, но у них было больше денег, солдат и полководцев.

Стр. 34. *...захватить Ла-Рошель и держать целую армию на юге Франции...*— Во время второй гражданской войны протестанты в один день внезапно захватили больше половины французских крепостей. Католики имели теперь возможность сделать то же самое.

...общественное мнение обвинило в этом преступлении короля...— Морвеля прозвали *убийцей на службе у короля.* См. Брантом.

Стр. 35. *...в Париже любой секрет распространяется мгновенно.*— Слова Наполеона.

Стр. 36. *...он от всего отрекся...*— Он приписывал убийство адмирала Колиньи и всю эту резню герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

Стр. 37. *Да здравствует принц!..*— Принц Конде.

Стр. 37. *...так называемых рейтаров...*— Искаженное немецкое слово *Reiter* — всадник.

Стр. 45. *...на моих аргулетов!* — Разведчики, легкая кавалерия.

Стр. 55. *...про Жана П...унка...*— Комический персонаж старинной народной песни.

Стр. 62. *...как это водится у записных дуэлистов.*— Так тогда называли профессиональных дуэлистов.

Стр. 64. *...привел одного человека на Пре-о-Клер...*— Тогдашнее постоянное место дуэли. Пре-о-Клер тянулся против Лувра, между Малой Августинской улицей и улицей Бак.

Стр. 69. *...повязал белый шарф...*— Это был цвет реформатов.

Стр. 73. *...после смерти Людовика Тринадцатого король во Франции — Гаспар Первый.*— Принца Людовика Конде, убитого под Жарнаком, католики обвиняли в притязаниях на королевский престол. Адмирала Колиньи звали Гаспаром.

...Мере́ во Франции всегда найдутся.— Польтро де Мере́ убил великого Франсуа, герцога Гиза, во время осады Орлеана, когда город находился в отчаянном положении. Колиньи довольно неудачно пытался отвести от себя обвинение в том, что убийство было совершено по его приказанию или, во всяком случае, при его попустительстве.

Стр. 82. *...после смерти отважного Данделó...*— своего брата.

Стр. 84. *...в Тулузе учреждена смешанная комиссия.*— Согласно мирному договору, заключенному после третьей гражданской войны, при некоторых судебных палатах были учреждены комиссии; половина тех, кто входил в эти комиссии, исповедовала кальвинистскую веру. В обязанности комиссии входило разбирать дела, возникавшие между католиками и протестантами.

Вспомните о перчатках королевы Наваррской! — «Она умерла,— пишет д'Обинье (*Всеобщая история,* т. II, гл. II),— от яда, который через надушенные перчатки проник к ней в мозг, а изготовил яд флорентинец мессер Рене, которого после этого все возненавидели, даже враги государыни».

Стр. 94. *...не имею права обнажать шпагу против кого-либо еще.*— У записных дуэлистов существовало правило не затевать новой ссоры впредь до окончания прежней.

Эсток — длинная обоюдоострая шпага.

Стр. 95. *...нужно условиться... о секундантах и тьерсах...*— Свидетели часто не ограничивались ролью простых свидетелей — они дрались между собой. Тогда говорили: *секундировать, тьерсировать* кого-нибудь.

Стр. 111. *...liscio di spada è cavare alla vita...*— ударить по шпаге, чтобы отвести опасный для жизни удар. Все фехтовальные термины заимствовались тогда из итальянского языка.

Стр. 140. *От этой... рифмы...* — Читателю предоставляется самому вставить эпитет. Карл IX любил выражения сильные, хотя и не очень изящные.

Стр. 170. *По энергическому выражению одного из тогдашних писателей...* — Д'Обинье, *Всемирная история.*

Рассказывают, что в одном из дворцовых окон... — Д'Обинье, *Всемирная история.*

Стр. 186. *...брат короля...* — Герцог Анжуйский, впоследствии Генрих III.

Стр. 195. *...чем-то вроде железной юбки...* — Подобного рода доспех выставлен в Артиллерийском музее. По превосходному рубенсовскому наброску, на котором изображен турнир, можно понять, как в таких железных юбках люди, однако, садились на коней. Седла были снабжены чем-то вроде табуреточек, которые входили под юбки и приподнимали всадников настолько, что их колени оказывались почти на одном уровне с головой коня. Что же касается человека, сгоревшего в своих латах, то об этом см. *Всемирную историю* д'Обинье.

НОВЕЛЛЫ

Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо в глубь острова, то местность начнет довольно круто подниматься, и после трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, загроможденным большими обломками скал и кое-где пересеченным оврагами, выйдешь к обширным зарослям *маки*. *Маки* — родина корсиканских пастухов и всех, кто не в ладах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, не желая брать на себя труд унавоживать свое поле, выжигает часть леса: не его забота, если огонь распространится дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хороший урожай на земле, удобренной золой сожженных деревьев. После того как колосья собраны (солому оставляют, так как ее трудно убирать), корни деревьев, оставшиеся в земле нетронутыми, пускают на следующую весну частые побеги; через несколько лет они достигают высоты в семь-восемь футов. Вот эта-то густая поросль и называется *маки*. Она состоит из самых разнообразных деревьев и кустарников, перепутанных как попало. Только с топором в руке человек может проложить в них путь; а бывают *маки* такие густые и непроходимые, что даже муфлоны не могут пробраться сквозь них.

Если вы убили человека, бегите в *маки* Порто-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули; не забудьте прихватить с собой коричневый плащ с капюшоном — он заменит вам и одеяло и подстилку. Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха.

Когда в 18... году я посетил Корсику, дом Маттео Фальконе находился в полумиле от этого *маки*. Маттео Фальконе был

довольно богатый человек по тамошним местам; он жил честно, то есть ничего не делая, на доходы от своих многочисленных стад, которые пастухи-кочевники пасли в горах, перегоняя с места на место. Когда я увидел его два года спустя после того происшествия, о котором я намереваюсь рассказать, ему нельзя было дать более пятидесяти лет. Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с вьющимися черными, как смоль, волосами, орлиным носом, тонкими губами, большими живыми глазами и лицом цвета невыделанной кожи. Меткость, с которой он стрелял из ружья, была необычной даже для этого края, где столько хороших стрелков. Маттео, например, никогда не стрелял в муфлона дробью, но на расстоянии ста двадцати шагов убивал его наповал выстрелом в голову или в лопатку — по своему выбору. Ночью он владел оружием так же свободно, как и днем. Мне рассказывали о таком примере его ловкости, который мог бы показаться неправдоподобным тому, кто не бывал на Корсике. В восьмидесяти шагах от него ставили зажженную свечу за листом прозрачной бумаги величиной с тарелку. Он прицеливался, затем свечу тушили, и спустя минуту в полной темноте он стрелял и три раза из четырех пробивал бумагу.

Такое необыкновенно высокое искусство доставило Маттео Фальконе большую известность. Его считали таким же хорошим другом, как и опасным врагом; впрочем, услужливый для друзей и щедрый к бедным, он жил в мире со всеми в округе Порто-Веккьо. Но о нем рассказывали, что в Корте, откуда он взял себе жену, он жестоко расправился с соперником, который слыл за человека опасного, как на войне, так и в любви; по крайней мере, Маттео приписывали выстрел из ружья, который настиг соперника в ту минуту, когда тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда эту историю замяли, Маттео женился. Его жена Джузеппа родила ему сначала трех дочерей (что приводило его в ярость) и наконец сына, которому он дал имя Фортунато,— надежду семьи и продолжателя рода. Дочери были удачно выданы замуж: в случае чего отец мог рассчитывать на кинжалы и карабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он подавал уже большие надежды.

Однажды ранним осенним утром Маттео с женой отправились в *маки* поглядеть на свои стада, которые паслись на прогалине. Маленький Фортунато хотел идти с ними, но пастбище было слишком далеко, кому-нибудь надо было остаться стеречь дом, и отец не взял его с собой. Из дальнейшего будет видно, как ему пришлось в том раскаяться.

Прошло уже несколько часов, как они ушли; маленький Фортунато спокойно лежал на самом солнцепеке и, глядя на голубые горы, думал, что в будущее воскресенье он пойдет обедать в город к своему дяде *caporale,* как вдруг его размышления были прерваны ружейным выстрелом. Он вскочил и повернулся в сторону равнины, откуда донесся этот звук. Снова через неравные промежутки времени послышались выстрелы, все ближе и ближе; наконец на тропинке, ведущей от равнины к дому Маттео, показался человек, покрытый лохмотьями, обросший бородой, в остроконечной шапке, какие носят горцы. Он с трудом передвигал ноги, опираясь на ружье. Его только что ранили в бедро.

Это был бандит, который, отправившись ночью в город за порохом, попал в засаду корсиканских вольтижеров. Он яростно отстреливался и в конце концов сумел спастись от погони, прячась за уступы скал. Но он не намного опередил солдат: рана не позволила ему добежать до *маки.*

Он подошел к Фортунато и спросил:

— Ты сын Маттео Фальконе?

— Да.

— Я Джаннетто Санпьеро. За мной гонятся желтые воротники. Спрячь меня, я не могу больше идти.

— А что скажет отец, если я спрячу тебя без его разрешения?

— Он скажет, что ты хорошо сделал.

— Как знать!

— Спрячь меня скорей, они идут сюда!

— Подожди, пока вернется отец.

— Ждать? Проклятье! Да они будут здесь через пять минут. Ну же, спрячь меня скорей, а не то я убью тебя!

Фортунато ответил ему с полным хладнокровием:

— Ружье твое разряжено, а в твоей *carchera* нет больше патронов.

— При мне кинжал.

— Где тебе угнаться за мной!

Одним прыжком он очутился вне опасности.

— Нет, ты не сын Маттео Фальконе! Неужели ты позволишь, чтобы меня схватили возле твоего дома?

Это, видимо, подействовало на мальчика.

— А что ты мне дашь, если я спрячу тебя? — спросил он, приближаясь.

Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на поясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую он, вероят-

но, припрятал, чтобы купить пороху. Фортунато улыбнулся при виде серебряной монеты; он схватил ее и сказал Джаннетто:

— Не бойся ничего.

Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена, стоявшей возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и мальчик прикрыл его сеном так, чтобы воздух проникал туда и ему было чем дышать. Никому бы и в голову не пришло, что в копне кто-то спрятан. Кроме того, с хитростью дикаря он придумал еще одну уловку. Он притащил кошку с котятами и положил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно уже не ворошили. Потом, заметив следы крови на тропинке у дома, он тщательно засыпал их землей и снова как ни в чем не бывало растянулся на солнцепеке.

Несколько минут спустя шестеро стрелков в коричневой форме с желтыми воротниками под командой сержанта уже стояли перед домом Маттео. Этот сержант приходился дальним родственником Фальконе. (Известно, что на Корсике более чем где-либо считаются родством.) Его звали Теодоро Гамба. Это был очень деятельный человек, гроза бандитов, которых он переловил немало.

— Здорово, племянничек! — сказал он, подходя к Фортунато.— Как ты вырос! Не проходил ли тут кто-нибудь сейчас?

— Ну, дядя, я еще не такой большой, как вы! — ответил мальчик с простодушным видом.

— Подрастешь! Ну, говори же: тут никто не проходил?

— Проходил ли здесь кто-нибудь?

— Да, человек в остроконечной бархатной шапке и в куртке, расшитой красным и желтым.

— Человек в остроконечной бархатной шапке и куртке, расшитой красным и желтым?

— Да. Отвечай скорей и не повторяй моих вопросов.

— Сегодня утром мимо нас проехал священник на своей лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я ответил ему...

— Ах, шельмец! Ты хитришь! Отвечай скорей, куда девался Джаннетто, мы его ищем. Он прошел по этой тропинке, я в этом уверен.

— Почем я знаю?

— Почем ты знаешь? А я вот знаю, что ты его видел.

— Разве видишь прохожих, когда спишь?

— Ты не спал, плут! Выстрелы разбудили тебя.

— Вы думаете, дядюшка, что ваши ружья так громко стреляют? Отцовский карабин стреляет куда громче.

— Черт бы тебя побрал, проклятое отродье! Я уверен, что ты видел Джаннетто. Может быть, даже спрятал его. Ребята! Входите в дом, поищите там нашего беглеца. Он ковылял на одной лапе, а у этого мерзавца слишком много здравого смысла, чтобы попытаться дойти до *маки* хромая. Да и следы крови кончаются здесь.

— А что скажет отец? — спросил Фортунато насмешливо.— Что он скажет, когда узнает, что без него входили в наш дом?

— Мошенник! — сказал Гамба, хватая его за ухо.— Стоит мне только захотеть, и ты запоешь по-иному! Следует, пожалуй, дать тебе десятка два ударов саблей плашмя, чтобы ты наконец заговорил.

А Фортунато продолжал посмеиваться.

— Мой отец — Маттео Фальконе! — сказал он значительно.

— Знаешь ли ты, плутишка, что я могу увезти тебя в Корте или в Бастию, бросить в тюрьму на солому, заковать в кандалы и отрубить голову, если ты не скажешь, где Джаннетто Саньеро?

Мальчик расхохотался, услышав такую смешную угрозу. Он повторил:

— Мой отец — Маттео Фальконе.

— Сержант! — тихо сказал один из вольтижеров.— Не надо ссориться с Маттео.

Гамба был явно в затруднении. Он вполголоса переговаривался с солдатами, которые успели уже осмотреть весь дом. Это заняло не так много времени, потому что жилище корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Стол, скамейки, сундуки, домашняя утварь и охотничьи принадлежности — вот и вся его обстановка. Маленький Фортунато гладил тем временем кошку и, казалось, ехидствовал над замешательством вольтижеров и дядюшки.

Один из солдат подошел к копне сена. Он увидел кошку и, небрежно ткнув штыком в сено, пожал плечами, как бы сознавая, что такая предосторожность нелепа. Ничто не пошевелилось, лицо мальчика не выразило ни малейшего волнения.

Сержант и его отряд теряли терпение; они уже поглядывали на равнину, как бы собираясь вернуться туда, откуда пришли, но тут их начальник, убедившись, что угрозы не производят никакого впечатления на сына Фальконе, решил сделать последнюю попытку и испытать силу ласки и подкупа.

— Племянник! — проговорил он.— Ты, кажется, славный мальчик. Ты пойдешь далеко. Но, черт побери, ты ведешь со

мной дурную игру, и, если б не боязнь огорчить моего брата Маттео, я увел бы тебя с собой.

— Еще чего!

— Но когда Маттео вернется, я расскажу ему все, как было, и за твою ложь он хорошенько выпорет тебя.

— Посмотрим!

— Вот увидишь... Но слушай: будь умником, и я тебе что-то дам.

— А я, дядюшка, дам вам совет: если вы будете медлить, Джаннетто уйдет в *маки,* и тогда потребуется еще несколько таких молодчиков, как вы, чтобы его догнать.

Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых десять экю, и, заметив, что глаза маленького Фортунато загорелись при виде их, сказал ему, держа часы на весу за конец стальной цепочки:

— Плутишка! Тебе бы, наверно, хотелось носить на груди такие часы, ты прогуливался бы по улицам Порто-Веккьо гордо, как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя: «Который час?» — ты отвечал бы: «Поглядите на мои часы».

— Когда я вырасту, мой дядя капрал подарит мне часы.

— Да, но у сына твоего дяди уже есть часы... правда, не такие красивые, как эти... а ведь он моложе тебя.

Мальчик вздохнул.

— Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?

Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его дразнят, он не решается запустить в него когти, время от времени отводит глаза, чтобы устоять против соблазна, поминутно облизывается и всем своим видом словно говорит хозяину: «Как жестока ваша шутка!»

Однако сержант Гамба, казалось, и впрямь решил подарить ему часы. Фортунато не протянул руки за ними, но сказал ему с горькой усмешкой:

— Зачем вы смеетесь надо мной?

— Ей-богу, не смеюсь. Скажи только, где Джаннетто, и часы твои.

Фортунато недоверчиво улыбнулся, его черные глаза впились в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько можно верить его словам.

— Пусть с меня снимут эполеты,— вскричал сержант,— если ты не получишь за это часы! Солдаты будут свидетелями, что я не откажусь от своих слов.

Говоря так, он все ближе и ближе подносил часы к Форту-

нато, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. Лицо Фортунато явно отражало вспыхнувшую в его душе борьбу между страстным желанием получить часы и долгом гостеприимства. Его голая грудь тяжело вздымалась — казалось, он сейчас задохнется. А часы покачивались перед ним, вертелись, то и дело задевая кончик его носа. Наконец Фортунато нерешительно потянулся к часам, пальцы правой руки коснулись их, часы легли на его ладонь, хотя сержант все еще не выпускал из рук цепочку... Голубой циферблат... Ярко начищенная крышка... Она огнем горит на солнце... Искушение было слишком велико.

Фортунато поднял левую руку и указал большим пальцем через плечо на копну сена, к которой он прислонился. Сержант сразу понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фортунато почувствовал себя единственным обладателем часов. Он вскочил стремительнее лани и отбежал на десять шагов от копны, которую вольтижеры принялись тотчас же раскидывать.

Сено зашевелилось, и окровавленный человек с кинжалом в руке вылез из копны; он попытался стать на ноги, но запекшаяся рана не позволила ему этого. Он упал. Сержант бросился на него и вырвал кинжал. Его сейчас же связали по рукам и ногам, несмотря на сопротивление.

Лежа на земле, скрученный, как вязанка хвороста, Джаннетто повернул голову к Фортунато, который подошел к нему.

— ...сын! — сказал он скорее презрительно, чем гневно.

Мальчик бросил ему серебряную монету, которую получил от него,— он сознавал, что уже не имеет на нее права,— но преступник, казалось, не обратил на это никакого внимания. С полным хладнокровием он сказал сержанту:

— Дорогой Гамба! Я не могу идти; вам придется нести меня до города.

— Ты только что бежал быстрее козы,— возразил жестокий победитель.— Но будь спокоен: от радости, что ты наконец попался мне в руки, я бы пронес тебя на собственной спине целую милю, не чувствуя усталости. Впрочем, приятель, мы сделаем для тебя носилки из веток и твоего плаща, а на ферме Кресполи найдем лошадей.

— Ладно,— молвил пленник,— прибавьте только немного соломы на носилки, чтобы мне было удобнее.

Пока вольтижеры были заняты — кто приготовлением носилок из ветвей каштана, кто перевязкой раны Джаннетто,— на повороте тропинки, ведшей в *маки,* вдруг появились Маттео Фальконе и его жена. Женщина с трудом шла, согнувшись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то время как муж

шагал налегке с одним ружьем в руках, а другим — за спиной, ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна мужчины.

При виде солдат Маттео прежде всего подумал, что они пришли его арестовать. Откуда такая мысль? Разве у Маттео были какие-нибудь нелады с властями? Нет, имя его пользовалось доброй славой. Он был, что называется, благонамеренным обывателем, но в то же время корсиканцем и горцем, а кто из корсиканцев-горцев, хорошенько порывшись в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь грешка: ружейного выстрела, удара кинжалом или тому подобного пустячка? Совесть Маттео была чище, чем у кого-либо, ибо вот уже десять лет, как он не направлял дула своего ружья на человека, но все же он был настороже и приготовился стойко защищаться, если это понадобится.

— Жена! — сказал он Джузеппе.— Положи мешок и будь наготове.

Она тотчас же повиновалась. Он передал ей ружье, которое висело у него за спиной и могло ему помешать. Второе ружье он взял на прицел и стал медленно приближаться к дому, держась ближе к деревьям, окаймлявшим дорогу, готовый при малейшем враждебном действии укрыться за самый толстый ствол, откуда он мог бы стрелять из-за прикрытия. Джузеппа шла за ним следом, держа второе ружье и патронташ. Долг хорошей жены — во время боя заряжать ружье для своего мужа.

Сержанту тоже стало как-то не по себе, когда он увидел медленно приближавшегося Маттео с ружьем наготове и пальцем на курке.

«А что,— подумал он,— если Маттео — родственник или друг Джаннетто и захочет его защищать? Тогда двое из нас наверняка получат пули двух его ружей, как письма с почты. Ну, а если он прицелится в меня, несмотря на наше родство?..»

Наконец он принял смелое решение — пойти навстречу Маттео и, как старому знакомому, рассказать ему обо всем случившемся. Однако короткое расстояние, отделявшее его от Маттео, показалось ему ужасно длинным.

— Эй, приятель! — закричал он.— Как поживаешь, дружище? Это я, Гамба, твой родственник!

Маттео, не говоря ни слова, остановился; пока сержант говорил, он медленно поднимал дуло ружья так, что оно оказалось направленным в небо в тот момент, когда сержант приблизился.

— Добрый день, брат! — сказал сержант, протягивая ему руку.— Давненько мы не виделись.

— Добрый день, брат!

— Я зашел мимоходом поздороваться с тобой и сестрицей Пеппой. Сегодня мы сделали изрядный конец, но у нас слишком знатная добыча, и мы не можем жаловаться на усталость. Мы только что накрыли Джаннетто Саппьеро.

— Слава богу! — вскричала Джузеппа.— На прошлой неделе он увел у нас дойную козу.

Эти слова обрадовали Гамбу.

— Бедняга! — отозвался Маттео.— Он был голоден!

— Этот негодяй защищался, как лев,— продолжал сержант, слегка раздосадованный.— Он убил одного моего стрелка и раздробил руку капралу Шардону; ну, да это беда невелика: ведь Шардон — француз... А потом он так хорошо спрятался, что сам дьявол не сыскал бы его. Если бы не мой племянник Фортунато, я никогда бы его не нашел.

— Фортунато? — вскричал Маттео.

— Фортунато? — повторила Джузеппа.

— Да! Джаннетто спрятался вон в той копне сена, но племянник раскрыл его хитрость. Я расскажу об этом его дяде капралу, и тот пришлет ему в награду хороший подарок. А я упомяну и его и тебя в донесении на имя прокурора.

— Проклятье! — чуть слышно произнес Маттео.

Они подошли к отряду. Джаннетто лежал на носилках, его собирались унести. Увидев Маттео рядом с Гамбой, он как-то странно усмехнулся, а потом, повернувшись лицом к дому, плюнул на порог и сказал:

— Дом предателя!

Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться назвать Фальконе предателем. Удар кинжала немедленно отплатил бы за оскорбление, и такой удар не пришлось бы повторять.

Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый горем.

Фортунато, увидев отца, ушел в дом. Вскоре он снова появился с миской молока в руках и, опустив глаза, протянул ее Джаннетто.

— Прочь от меня! — громовым голосом закричал арестованный.

Затем, обернувшись к одному из вольтижеров, он промолвил:

— Товарищ! Дай мне напиться.

Солдат подал ему флягу, и бандит отпил воду, поднесенную рукой человека, с которым он только что обменялся выст-

релами. Потом он попросил не скручивать ему руки за спиной, а связать их крестом на груди.

— Я люблю лежать удобно,— сказал он.

Его просьбу с готовностью исполнили; затем сержант подал знак к выступлению, простился с Маттео и, не получив ответа, быстрым шагом двинулся к равнине.

Прошло около десяти минут, а Маттео все молчал. Мальчик тревожно поглядывал то на мать, то на отца, который, опираясь на ружье, смотрел на сына с выражением сдержанного гнева.

— Хорошо начинаешь! — сказал наконец Маттео голосом спокойным, но страшным для тех, кто знал этого человека.

— Отец! — вскричал мальчик; глаза его наполнились слезами, он сделал шаг вперед, как бы собираясь упасть перед ним на колени.

Но Маттео закричал:

— Прочь!

И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких шагах от отца.

Подошла Джузеппа. Ей бросилась в глаза цепочка от часов, конец которой торчал из-под рубашки Фортунато.

— Кто дал тебе эти часы? — спросила она строго.

— Дядя сержант.

Фальконе выхватил часы и, с силой швырнув о камень, разбил их вдребезги.

— Жена! — сказал он.— Мой ли это ребенок?

Смуглые щеки Джузеппы стали краснее кирпича.

— Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!

— Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем.

Рыдания и всхлипывания Фортунато усилились, а Фальконе по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. Наконец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на плечо, пошел по дороге в *маки,* приказав Фортунато следовать за ним. Мальчик повиновался.

Джузеппа бросилась к Маттео и схватила его за руку.

— Ведь это твой сын! — вскрикнула она дрожащим голосом, впиваясь черными глазами в глаза мужа и словно пытаясь прочесть то, что творилось в его душе.

— Оставь меня,— сказал Маттео.— Я его отец!

Джузеппа поцеловала сына и, плача, вернулась в дом. Она бросилась на колени перед образом богоматери и стала горячо молиться. Между тем Фальконе, пройдя шагов двести по тропин-

ке, спустился в небольшой овраг. Попробовав землю прикладом, он убедился, что земля рыхлая и что копать ее будет легко. Место показалось ему пригодным для исполнения его замысла.

— Фортунато! Стань у того большого камня.

Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени.

— Молись!

— Отец! Отец! Не убивай меня!

— Молись! — повторил Маттео грозно.

Запинаясь и плача, мальчик прочитал «Отче наш» и «Верую». Отец в конце каждой молитвы твердо произносил «аминь».

— Больше ты не знаешь молитв?

— Отец! Я знаю еще «Богородицу» и литанию, которой научила меня тетя.

— Она очень длинная... Ну все равно, читай.

Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.

— Ты кончил?

— Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:

— Да простит тебя бог!

Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть к ногам отца, но не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый.

Даже не взглянув на труп, Маттео пошел по тропинке к дому за лопатой, чтобы закопать сына. Не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел Джузеппу: она бежала, встревоженная выстрелом.

— Что ты сделал? — воскликнула она.

— Свершил правосудие.

— Где он?

— В овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христианином. Я закажу по нем панихиду. Надо сказать зятю, Теодору Бьянки, чтобы он переехал к нам жить.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Стр. 211. *...плащ с капюшоном...— pilone.*

Стр. 213. *...к своему дяде caporale...*— Капралами прежде назывались предводители, которых выбирали корсиканские коммуны, восставшие против феодальных сеньоров. В настоящее время так иногда называют

человека, который благодаря своим владениям, связям и обширной клиентуре пользуется влиянием и обладает своего рода судебной властью в *pieve,* то есть в кантоне. По старинному обычаю, корсиканцы делятся на пять сословий: дворяне (из них одни — *magnifichi,* другие — *signori*), *caporali,* граждане, плебеи и чужестранцы.

Стр. 213. *...бандит...* — Здесь: скрывающийся преступник.

Вольтижеры — отряды стрелков, с недавнего времени набираемые правительством для того, чтобы они заодно с жандармами помогали полиции.

...желтые воротники. — В то время вольтижеры носили коричневые мундиры с желтыми воротниками.

Carchera — кожаный пояс, заменяющий патронташ и сумку.

Стр. 216. *Зачем вы смеетесь надо мной? — Perchè te c...?*

Стр. 219. *Добрый день, брат! (Buon giorno, fratello)* — обычное приветствие у корсиканцев.

Один из моих друзей, офицер, несколько лет назад умерший в Греции от лихорадки, рассказал мне как-то о первом деле, в котором он участвовал. Его рассказ так поразил меня, что я записал его по памяти, как только у меня нашлось для этого время. Вот он.

Я прибыл в свой полк вечером четвертого сентября. Полковника я застал на биваке. Он принял меня сперва довольно нелюбезно, но, прочтя рекомендательное письмо генерала Б., изменил тон и сказал мне несколько приветливых слов.

Он представил меня капитану, который только что вернулся из рекогносцировки. Мой капитан, узнать которого поближе мне не довелось, был высокий брюнет с суровым, неприятным лицом. Начав службу простым солдатом, он заработал эполеты и крест на полях сражений. Слабый и сиплый голос удивительно не соответствовал его гигантской фигуре. Мне сказали, что этим странным голосом он был обязан пуле, пробившей его насквозь в битве при Иене.

Узнав, что я только что окончил военную школу в Фонтенбло, он поморщился и промолвил:

— Мой лейтенант погиб вчера...

Я понял, что он хотел сказать: «Вам придется его заменить, а вам это не под силу». У меня чуть не вырвалось резкое слово, но я сдержался.

Луна поднялась за Шевардинским редутом, расположенным на расстоянии двух пушечных выстрелов от нашего бивака. Она была огромная и красная, какой обычно бывает при восходе. Но в тот вечер она показалась мне невероятно большой. Черный силуэт редута одно мгновение вырисовывался на

пылающем диске луны. Он напоминал вершину вулкана во время извержения.

Старый солдат, стоявший рядом, обратил внимание на цвет луны.

— Какая она красная! — молвил он.— Видно, дорого нам обойдется этот самый редут!

Я всегда был суеверен, и это предсказание, особенно в такую минуту, смутило меня. Я лег, но не мог заснуть. Я встал и начал прохаживаться, поглядывая на бесконечную цепь огней, тянувшихся по высотам за деревней Шевардино.

Решив, что сырой и холодный ночной воздух уже успокоил мое волнение, я вернулся к костру; старательно укутавшись в плащ, я сомкнул глаза в надежде не раскрывать их до рассвета. Но сон бежал от меня. Мало-помалу мысли мои приняли мрачный оттенок. Я твердил себе, что среди сотен тысяч человек, собравшихся на этой равнине, у меня нет ни единого друга. Если я буду ранен, то попаду в лазарет, где невежественные лекари не станут особенно обо мне заботиться. Мне вспоминались рассказы о хирургических операциях. Сердце мое сильно билось, и я бессознательно, словно бронёй, старался прикрыть грудь платком и бумажником, лежавшими у меня во внутреннем кармане. Усталость меня одолевала, я засыпал поминутно, и поминутно какая-нибудь зловещая мысль возникала с новой силой и внезапно будила меня.

Наконец усталость взяла верх, и когда били зорю, я крепко спал. Мы построились, была сделана перекличка, затем ружья опять составили в козлы; все предвещало нам спокойный день.

Часа в три явился адъютант с приказом. Нам велели снова разобрать ружья; стрелки рассыпались по полю, мы медленно следовали за ними и через двадцать минут увидели, как русские передовые посты снялись и вошли в редут.

Одна артиллерийская батарея поместилась справа, другая слева, обе далеко впереди нас. Они открыли жаркий огонь по неприятелю, неприятель отвечал оживленно, и вскоре Шевардинский редут исчез в густых клубах дыма.

Неровная местность почти укрывала наш полк от огня русских. Их ядра (хотя они редко целили в нас, стреляя больше по нашим канонирам) пролетали над нашими головами, а если и падали, то лишь обдавали нас землей и мелкими камешками.

Как только был отдан приказ к наступлению, мой капитан устремил на меня внимательный взгляд, заставивший меня несколько раз с самым непринужденным видом, на какой толь-

ко я был способен, провести рукой по моим начинавшим пробиваться усикам. Впрочем, я не боялся; моим единственным опасением было: как бы не подумали, что я боюсь. Безобидные ядра только укрепляли мое героическое спокойствие. Самолюбие говорило мне, что я подвергаюсь настоящей опасности, потому что я действительно находился под пушечным огнем. Меня восхищала моя самоуверенность, и я предвкушал удовольствие, с каким буду рассказывать о взятии Шевардинского редута в салоне мадам Б., на улице Прованс.

Полковник прошел перед нашей ротой и сказал мне:

— Ну, вам придется жарко для первого раза!

Я улыбнулся чрезвычайно воинственно и стал чистить рукав мундира, который упавшее в тридцати шагах ядро забрызгало грязью.

По-видимому, русские заметили, что их ядра не достигают цели, и потому перешли на гранаты, которые могли вернее настичь нас в ложбине, где мы засели. Довольно крупный осколок сорвал с меня кивер и убил рядом солдата.

— Поздравляю вас,— сказал капитан, когда я поднял кивер,— теперь вы можете быть спокойны на целый день.

Я знал эту солдатскую примету, согласно которой аксиома *non bis in idem* [1] признается столь же верной на поле сражения, как и в зале суда. Я гордо надел свой кивер.

— Вот и пришлось поклониться волей-неволей,— проговорил я как мог весело.

Эта глупая шутка при данных обстоятельствах сошла за отличную.

— Я вас поздравляю,— продолжал капитан,— с вами больше ничего не случится, и к вечеру вы будете командовать ротой, потому что я чувствую, что нынче печь затоплена для меня. Всякий раз, когда я бывал ранен, офицер поблизости получал пулю в сердце, и,— прибавил он тише и почти стыдливо,— их имена всегда начинались на букву П.

Я прикинулся неверующим; многие поступили бы так же; многие, как и я, были бы поражены этими пророческими словами. Будучи новичком, я все-таки понимал, что не следует поверять свои чувства и что надо всегда выказывать хладнокровие и отвагу.

Через полчаса огонь русских заметно ослабел; мы вышли из-за нашего прикрытия и двинулись к редуту.

---

[1] Не бывает, чтобы дважды попадало в одно и то же место *(лат.)*.

В нашем полку было три батальона. Второму было приказано обойти редут сзади; два других должны были идти на приступ. Я был в третьем батальоне.

Выйдя из-за последней насыпи, которая нас прикрывала, мы были встречены частым ружейным огнем, не причинившим большого урона нашим рядам. Свист пуль меня удивлял: я часто оборачивался, чем вызывал подчас шутки товарищей, уже привыкших к этим звукам. «В конце концов,— подумал я,— сражение не такая уж страшная вещь».

Мы продвигались вперед беглым шагом, следуя за застрельщиками; вдруг русские три раза прокричали «ура» — три громких «ура», потом замолкли и перестали стрелять.

— Мне не нравится это молчание,— сказал мой капитан,— оно не сулит нам добра.

Я находил, что наши солдаты слишком шумливы, и невольно сравнивал их громкие крики с внушительным молчанием противника.

Мы быстро достигли подножия редута; частокол был сломан, а земля изрыта нашими ядрами. Солдаты бросились на эти свежие развалины с криком: «Да здравствует император!» — гораздо более громким, чем этого следовало ожидать от людей, уже столько кричавших.

Я посмотрел вверх. Никогда не забыть мне зрелища, которое я увидел. Почти весь дым поднялся кверху и на высоте двадцати футов висел над редутом, как балдахин. Сквозь голубоватый туман позади полуразрушенного бруствера виднелись русские гренадеры с поднятыми ружьями, недвижные, как статуи. Я и сейчас будто вижу этих солдат: каждый левым глазом смотрел на нас, а правый был скрыт за наведенным ружьем. В амбразуре, в нескольких шагах от нас, человек возле пушки держал зажженный фитиль.

Я вздрогнул и подумал, что настал мой последний час.

— Ну, теперь попляшем! — крикнул капитан.— Добрый вечер!

Это были последние слова, которые мне пришлось от него услышать.

На редуте затрещали барабаны. Я увидел, как все ружья опустились. Я зажмурил глаза и услыхал ужасающий грохот, а вслед за ним крики и стоны. Я открыл глаза, удивляясь, что еще жив. Редут снова заволокло дымом. Вокруг меня были раненые и убитые. Капитан лежал у моих ног: ядром ему размозжило голову, и меня забрызгало его мозгом и кровью. Из всей моей роты на ногах остались только шестеро солдат и я.

За этой бойней последовала минута оцепенения. Полковник, нацепив кивер на острие шпаги, с криком: «Да здравствует император!» — первым взобрался на бруствер; за ним тотчас бросились все уцелевшие. Что было дальше, почти изгладилось из моей памяти. Мы вошли в редут, сам не знаю как. Там мы дрались врукопашную среди такого густого дыма, что не видели противника. Вероятно, я наносил удары, потому что моя сабля оказалась вся в крови. Наконец я услышал крик «Победа!» — и, когда дым рассеялся, разглядел кровь и мертвые тела, устилавшие землю в редуте. Пушки были завалены грудами тел. Человек двести солдат во французских мундирах толпились в беспорядке: одни заряжали ружья, другие обтирали штыки. Тут же было одиннадцать русских пленных.

Полковник, весь в крови, лежал на разбитом зарядном ящике у входа в редут. Несколько солдат теснилось вокруг него; я приблизился.

— Где самый старший капитан? — спросил он у одного сержанта.

Тот выразительно пожал плечами.

— А старший лейтенант?

— Вот господин офицер, который прибыл вчера,— ответил сержант с полным спокойствием.

Полковник горько усмехнулся.

— Ну, сударь,— сказал он мне,— примите командование; велите скорей укрепить вход в редут этими повозками: неприятель силен; генерал Кан пришлет вам подкрепление.

— Вы тяжело ранены, полковник? — спросил я.

— Моя песенка спета, милый мой, но редут взят!

Капитан Леду был бравый моряк. Он начал службу простым матросом, потом стал помощником рулевого. В битве при Трафальгаре осколком разбитой мачты ему раздробило кисть левой руки; руку ампутировали, а Леду списали с корабля, снабдив хорошими аттестациями. Он не любил спокойной жизни и, когда представился случай снова пуститься в плавание, поступил вторым помощником капитана на каперское судно. Деньги, вырученные за добычу, взятую с нескольких неприятельских кораблей, дали ему возможность купить книги и заняться теорией мореплавания, которое он в совершенстве изучил на практике. Несколько лет спустя он стал капитаном трехпушечного каперского люгера с экипажем в шестьдесят человек, и моряки каботажного плавания с острова Джерси до сих пор помнят о его подвигах. Заключение мира привело его в уныние: во время войны он скопил небольшой капитал и надеялся увеличить его за счет англичан. Обстоятельства заставили его предложить свои услуги мирным коммерсантам, и так как он слыл человеком решительным и опытным, ему охотно доверили судно. Когда запретили торговлю неграми и тем, кто хотел заниматься ею, пришлось не только обманывать бдительность французского таможенного надзора, что было не так уж трудно, но, кроме того,— и это было опаснее — ускользать от английских крейсеров, капитан Леду стал незаменимым человеком для торговцев «черным деревом» [1].

В отличие от большинства моряков, подобно ему долго тянувших лямку на матросской службе, у него не было того непреодолимого страха перед новшествами и той косности, от которых они никак не могут избавиться, даже попав на высшие

[1] Так сами себя называют люди, торгующие неграми.

должности. Капитан Леду, напротив, был первым, кто предложил своему судовладельцу ввести в обиход железные баки для пресной воды. Наручники и цепи, запас которых обычно имеется на невольничьем судне, всегда были у него новейшей системы и тщательно смазывались для предохранения от ржавчины. Но больше всего прославил его среди работорговцев бриг, построенный под его собственным руководством и специально предназначенный для перевозки невольников: легкое парусное судно, узкое и длинное, как военный корабль, но в то же время вмещающее большое число негров. Он назвал этот бриг «Надежда». Он потребовал, чтобы междупалубные пространства, узкие, со впалыми стенками, были не выше трех футов четырех дюймов, и утверждал, что при такой высоте невольники не слишком большого роста могут сидеть достаточно удобно; а вставать... да зачем им вставать?

— Когда их привезут в колонии,— говорил Леду,— им и так слишком много придется быть на ногах!

Прислонясь спиной к внутренней обшивке, негры сидели двумя параллельными рядами, между которыми оставалось свободное место, на всех других невольничьих судах служившее только для прохода. Леду догадался поместить чернокожих и сюда, уложив их перпендикулярно к сидящим. Таким образом, его корабль вмещал на десяток негров больше, чем всякое другое судно того же водоизмещения. В крайнем случае можно было втиснуть еще несколько невольников, но нельзя же забывать о гуманности и надо же отвести каждому негру по меньшей мере пять футов в длину и два в ширину, чтобы он мог хоть немного размяться во время плавания, продолжавшегося шесть недель, а то и дольше.

— Ведь в конце концов,— говорил Леду своему хозяину, чтобы оправдать эту либеральную меру,— негры, в сущности, такие же люди, как и белые.

«Надежда» вышла из Нанта в пятницу, как потом вспоминали суеверные люди. Инспектора, добросовестно осмотревшие бриг, не обнаружили шести больших ящиков, наполненных цепями, наручниками и теми железными палками, которые, не знаю почему, называют «брусьями правосудия». Они не удивились также огромному запасу пресной воды, взятому на борт «Надежды», хотя по документам корабль шел только до Сенегала, чтобы закупить там дерево и слоновую кость. Переход, правда, невелик, но в конце концов лишняя предосторожность повредить не может. А вдруг их застанет штиль — что тогда делать без воды?

Итак, хорошо оснащенная и снабженная всем необходимым, «Надежда» отошла в пятницу. Леду, пожалуй, предпочел бы, чтобы мачты на его корабле были попрочнее; впрочем, пока он командовал судном, ему не пришлось на них жаловаться. Переход был удачный, и он быстро достиг берегов Африки. Он бросил якорь в устье реки Джоаль (если только я не спутал названия) в такое время, когда английские крейсеры не вели наблюдения за этой частью побережья. Сейчас же на борт «Надежды» явились туземные торговые агенты. Момент был как нельзя более удачный: Таманго, прославленный воин и продавец людей, как раз пригнал к берегу множество невольников и отдавал их по дешевой цене, вполне уверенный в том, что у него хватит сил и умения доставить на место сбыта новый товар, как только эта партия будет раскуплена.

Капитан Леду велел отвезти себя на берег и отправился с визитом к Таманго. Его привели в наспех построенную для негритянского вождя соломенную хижину, где тот ждал его в обществе двух своих жен, нескольких посредников и надсмотрщиков. По случаю встречи с белым капитаном Таманго принарядился. На нем был старый голубой мундир с еще сохранившимися нашивками капрала, но с каждого плеча свисало по два золотых эполета, пристегнутых к одной пуговице и болтавшихся один спереди, другой сзади. Мундир, надетый на голое тело, был коротковат для его роста, и между кальсонами из гвинейского холста и белыми отворотами мундира виднелась довольно большая полоса черной кожи, похожая на широкий пояс. На боку у него висела длинная кавалерийская сабля, подвязанная веревкой, а в руке он держал отличное двуствольное ружье английской работы. В таком наряде африканский воин считал себя элегантнее самого модного щеголя Парижа или Лондона.

Капитан Леду с минуту молча глядел на него, а Таманго, вытянувшись, как гренадер на смотру перед иностранным генералом, наслаждался впечатлением, которое, по его мнению, он производил на белого. Леду внимательно, взглядом знатока, осмотрел его и, обернувшись к своему помощнику, сказал:

— Вот это молодец! Я выручил бы за него не меньше тысячи экю, если бы доставил его живым и здоровым на Мартинику.

Они сели, и один матрос, знавший немного йолофский язык, взял на себя обязанности переводчика. После обмена учтивыми приветствиями, полагающимися в таких случаях, юнга принес корзину с бутылками водки; они выпили, и капитан,

чтобы расположить к себе Таманго, подарил ему красивую медную пороховницу, украшенную рельефным изображением Наполеона. Подарок был принят с подобающей благодарностью; все вышли из хижины, уселись в тени, поставив перед собой бутылки с водкой, и Таманго подал знак привести невольников, предназначенных для продажи.

Они появились, выстроенные длинной вереницей, сгорбленные от усталости и страха; на шее у каждого была рогатка длиной более шести футов, расходящиеся концы которой соединялись на затылке деревянной перекладиной. Когда нужно тронуться в путь, один из надсмотрщиков кладет себе на плечо длинный конец рогатки первого невольника; тот берет рогатку идущего за ним человека, второй несет рогатку третьего и так далее. Если нужно передохнуть, вожак колонны втыкает в землю острый конец ручки своей рогатки, и вся колонна останавливается. Понятно, что нечего и думать о побеге, когда за шею тебя держит толстая палка в шесть футов длины.

Глядя на каждого проходившего перед ним невольника мужского или женского пола, капитан пожимал плечами, ворчал, что мужчины тщедушны, женщины слишком стары или слишком молоды, и жаловался на вырождение черной расы.

— Все мельчает,— говорил он.— Прежде все было по-другому: женщины были ростом в пять футов шесть дюймов, а мужчины могли вчетвером вертеть кабестан фрегата при подъеме главного якоря.

Однако, продолжая придираться, он уже отбирал самых сильных и красивых негров. За этих он мог заплатить обычную цену, но остальных соглашался купить только с большой скидкой. Таманго отстаивал свои интересы, расхваливал товар, говорил о том, как мало осталось людей и как опасно торговать ими. В заключение он назвал цену — уж не знаю какую — за тех невольников, которых белый капитан хотел погрузить на свой корабль.

Как только переводчик выговорил по-французски цифру, названную Таманго, Леду чуть не упал от изумления и негодования; затем, бормоча ужасные проклятия, он встал, словно прекращая всякие переговоры с таким неразумным человеком. Но Таманго удержал его, и ему удалось, хотя и с трудом, усадить Леду на место. Откупорили еще одну бутылку, и торг возобновился. Теперь чернокожий, в свою очередь, стал возмущаться безрассудными и нелепыми предложениями белого. Они долго кричали, спорили, выпили чудовищное количество вод-

ки, но водка очень по-разному действовала на каждую из сторон. Чем больше пил француз, тем меньше предлагал он за невольников; чем больше пил африканец, тем больше он уступал. Таким образом, когда корзина опустела, они договорились. Дешевые ткани, порох, кремни, три бочки водки и пятьдесят кое-как отремонтированных ружей — вот что было дано в обмен на сто шестьдесят рабов. Чтобы скрепить сделку, капитан хлопнул ладонью по руке почти совсем опьяневшего негра, и невольники тут же были переданы французским матросам, которые поспешили снять с них деревянные рогатки и надеть им железные ошейники и кандалы — неоспоримое доказательство превосходства европейской цивилизации.

Оставалось еще около тридцати невольников — дети, старики, больные женщины. Корабль был полностью загружен.

Не зная, что делать с этим хламом, Таманго предложил его капитану по бутылке водки за штуку. Предложение было заманчиво. Леду вспомнил, как в Нанте на представлении *Сицилийской вечерни* в зал вошла целая компания — все люди крупные, тучные, и, несмотря на то, что партер был переполнен, им все-таки удалось разместиться благодаря сжимаемости человеческого тела. Он взял из тридцати рабов двадцать самых худощавых.

Тогда Таманго стал просить только по стакану водки за каждого из десяти оставшихся. Леду сообразил, что в почтовых каретах дети занимают половину места взрослого, и за них платят половину стоимости билета. Поэтому он купил трех детей, но заявил, что не возьмет больше ни одного негра. Таманго, видя, что ему не сбыть оставшихся семь невольников, схватил ружье и прицелился в женщину, стоявшую в ряду первой: это была мать троих детей, которых взял Леду.

— Покупай,— крикнул Таманго белому,— или я убью ее! Стаканчик водки, или я стреляю.

— На кой черт мне она? — возразил Леду.

Таманго выстрелил, и невольница упала мертвой.

— Следующий! — крикнул Таманго и направил ружье на дряхлого старика.— Стакан водки, или...

Одна из жен Таманго отвела его руку, и выстрел пришелся в воздух. Она узнала в старике, которого хотел убить ее муж, *гириота,* или колдуна, предсказавшего ей, что она будет королевой.

Увидев, что кто-то противится его воле, Таманго, взбешенный от выпитой водки, перестал владеть собой. Он сильно ударил жену прикладом и, повернувшись к Леду, сказал:

— Бери, я дарю тебе эту женщину.

Она была красива. Леду посмотрел на нее, улыбаясь, и взял ее за руку.

— Для нее-то у меня найдется местечко,— сказал он.

Переводчик был человек сострадательный. Он дал Таманго картонную табакерку и выпросил у него шесть оставшихся невольников. Он снял с них рогатки и отпустил на все четыре стороны. Они тут же разбежались, хотя и не знали, как доберутся до своей родины, находившейся за двести миль от побережья.

Тем временем капитан распрощался с Таманго и поспешил заняться погрузкой своего товара на корабль. Долго стоять в устье реки было небезопасно: могли вернуться английские крейсеры, и Леду хотел на другой же день сняться с якоря. А Таманго улегся в тени на траву, чтобы проспаться.

Когда он проснулся, корабль, уже под парусами, спускался вниз по реке. Чувствуя туман в голове от вчерашней попойки, Таманго потребовал к себе свою жену Айше. Ему ответили, что она имела несчастье прогневить его и он подарил ее белому капитану, а тот взял ее с собой на корабль. Услыхав это, ошеломленный Таманго хлопнул себя по лбу, потом схватил ружье, и, так как река перед своим впадением в море образовывала несколько извилин, он побежал кратчайшим путем к небольшой бухте, находившейся в полумиле от устья. Там он надеялся найти лодку, чтобы подплыть к бригу, который должен был задержаться на поворотах реки. Он не ошибся: в самом деле, он успел прыгнуть в лодку и догнать невольничий корабль.

Увидев его, Леду удивился; он удивился еще больше, когда Таманго потребовал обратно свою жену.

— Дареное назад не отбирают,— ответил он и повернулся к Таманго спиной.

Чернокожий настаивал, предлагал вернуть часть товаров, полученных им в обмен на невольников. Капитан рассмеялся; он заявил, что Айше отличная жена и он хочет оставить ее себе. Тут из глаз бедного Таманго полились потоки слез, и он стал испускать такие пронзительные крики, как будто ему делали хирургическую операцию. То он катался по палубе, призывая свою дорогую Айше, то бился головой о доски, словно хотел лишить себя жизни. Капитан, по-прежнему невозмутимый, показывал на берег и знаками давал ему понять, что пора уходить; но Таманго упорствовал. Он дошел до того, что готов был отдать свои золотые эполеты, ружье и саблю. Все было напрасно.

Во время их спора старший помощник сказал капитану:

— Сегодня ночью у нас умерло трое невольников, место освободилось. Почему бы нам не взять этого здоровенного малого? Ведь он один стоит дороже тех троих, что умерли.

Леду рассудил, что Таманго можно легко продать за тысячу экю, что это путешествие, сулившее ему большие барыши, будет, вероятно, последним, что, раз уж он сколотил деньгу и покончил с торговлей рабами, не все ли ему равно, какая слава пойдет о нем на Гвинейском побережье: добрая или худая! К тому же вокруг было пустынно, и африканский воин находился всецело в его власти. Оставалось только отобрать у Таманго оружие. Подступаться к нему, пока он держал в руке ружье и саблю, было опасно.

И Леду попросил у него ружье, словно для того, чтобы посмотреть и удостовериться, стоит ли взять его в обмен на красавицу Айше. Пробуя затвор, он постарался высыпать весь заряд пороха. Старший помощник тем временем вертел в руках саблю Таманго, и, пока тот стоял безоружный, двое дюжих матросов бросились на него, опрокинули его на спину и принялись вязать. Чернокожий героически сопротивлялся. Придя в себя от неожиданности, он, несмотря на то, что был в невыгодном положении, долго боролся с двумя матросами. Благодаря его чудовищной силе ему удалось подняться. Ударом кулака он свалил на землю человека, державшего его за шиворот, оставил клочок своего мундира в руках второго матроса и, как бешеный, бросился на старшего помощника, чтобы отнять у него саблю. Взмахнув ею, тот полоснул его по голове и нанес ему большую, но неглубокую рану. Таманго снова упал. Его тотчас же крепко связали по рукам и ногам. Защищаясь, он испускал яростные крики и бился, как дикий кабан, попавший в западню; наконец, поняв, что всякое сопротивление бесполезно, он закрыл глаза и перестал двигаться. Только тяжелое и частое дыхание показывало, что он еще жив.

— Черт возьми! — вскричал капитан Леду.— Проданные им негры весело посмеются, увидев, что он тоже стал невольником. Вот когда они убедятся в том, что есть провидение!

А бедный Таманго истекал кровью. Сострадательный переводчик, который накануне спас жизнь шести рабам, подошел к нему, перевязал ему рану и попытался его утешить. Не знаю, что мог он ему сказать. Негр лежал неподвижно, как труп. Пришлось двум матросам снести его, словно тюк, вниз, на предназначенное ему место. Два дня он не пил и не ел; он почти не открывал глаз. Товарищи Таманго по рабству, бывшие его плен-

ники, встретили его появление в своей среде с тупым удивлением. Он и теперь внушал им такой страх, что ни один из них не посмел надругаться над несчастьем того, кто был причиной их собственных мучений.

Подгоняемый попутным ветром с суши, корабль быстро удалялся от берегов Африки. Перестав опасаться появления английских крейсеров, капитан теперь думал только об огромных барышах, ожидавших его в колониях, куда он направлялся. Его «черное дерево» в пути не портилось. Никаких заразных болезней не было. Только двенадцать негров, из самых слабых, умерли от жары: сущая безделица. Чтобы его человеческий груз как можно меньше пострадал от утомительного плавания, капитан Леду приказал ежедневно выводить невольников на палубу. Несчастных выпускали тремя партиями, и в течение часа они запасались воздухом на целый день. Часть экипажа сторожила их, вооруженная до зубов из опасения бунта; впрочем, с негров никогда не снимали всех оков. Иногда один из матросов, умевший играть на скрипке, угощал их концертом. И тогда любопытно было наблюдать, как все эти черные лица поворачивались к музыканту, как выражение тупого отчаяния постепенно сходило с них, и негры смеялись и хлопали в ладоши, если цепи позволяли им это. Моцион необходим для здоровья, поэтому капитан Леду завел полезный обычай: он часто заставлял невольников плясать, подобно тому как перевозимых на борту корабля лошадей во время долгого плавания заставляют топтаться на месте.

— Ну-ка, детки мои, попляшите, повеселитесь! — говорил капитан громовым голосом, щелкая длинным бичом.

И бедные негры тотчас же принимались прыгать и плясать.

Некоторое время рана Таманго не позволяла ему выходить наверх. Наконец он появился на палубе; гордо подняв голову среди боязливой толпы невольников, он прежде всего бросил грустный, но спокойный взгляд на огромное водное пространство, расстилавшееся вокруг корабля, затем лег, или, вернее, повалился, на доски палубы, даже не расположив поудобнее свои цепи. Леду, сидя на юте, спокойно курил свою трубку. Возле него Айше, без оков, одетая в нарядное платье из голубого ситца, обутая в красивые сафьяновые туфли, держала в руках поднос с бутылками, чтобы по первому приказанию капитана налить ему вина. Очевидно, она исполняла при нем почетные обязанности. Один из негров, ненавидевший Таманго, знаком показал ему в ту сторону. Таманго повернул голову, заметил Айше, вскрикнул и, стремительно вскочив, побежал к

юту, прежде чем сторожившие невольников матросы успели помешать такому неслыханному нарушению корабельной дисциплины.

— Айше! — воскликнул он грозным голосом, и Айше испустила крик ужаса.— Ты думаешь, в стране белых нет Мама-Джумбо?

Матросы уже бежали к нему с поднятыми палками, но Таманго, скрестив руки, словно безразличный ко всему, спокойно вернулся на свое место, а Айше залилась слезами и, казалось, окаменела от этих таинственных слов.

Переводчик объяснил, кто этот страшный Мама-Джумбо, одно имя которого внушало такой ужас.

— Это пу́гало негров,— сказал он.— Когда муж боится, чтобы его жена не сделала того, что делают многие жены как во Франции, так и в Африке, он угрожает ей Мама-Джумбо. Я собственными глазами видел этого Мама-Джумбо и понял, в чем тут хитрость, но чернокожие... они ведь такие простодушные, ничего не понимают. Представьте себе, однажды вечером, когда женщины развлекались танцами — устраивали *фольгар*, как они это называют на своем языке,— вдруг из небольшой рощи, очень густой и темной, доносится странная музыка. Кто играет, не видно, все музыканты спрятаны за деревьями. Тростниковые флейты, деревянные тамбурины — *балафо* и гитары, сделанные из выдолбленных половинок тыквы,— получается такая музыка, что под нее можно хоронить самого дьявола. Как только женщины заслышат эту трескотню, они начинают дрожать от страха и бросаются врассыпную: они-то хорошо знают, что рыльце у них в пушку,— но мужья не пускают их. Тут из леса выходит длинная белая фигура, ростом с нашу брамстеньгу, с огромной, как котел, головой, с большущими, точно клюзы, глазами и огненной, как у дьявола, пастью. Это чудовище движется медленно-медленно и отходит от леса не больше, чем на полкабельтова. Женщины кричат: «Вот он, Мама-Джумбо!» Они вопят, как торговки устрицами. Тогда мужья и говорят им: «А ну-ка, негодницы, рассказывайте, изменяли вы нам или нет? Если солжете, Мама-Джумбо сожрет вас живьем!» Некоторые простушки сознаются, и тут уж мужья награждают их тумаками.

— А что же это за белая фигура, что это за Мама-Джумбо? — спросил капитан.

— Ну, это какой-нибудь ловкач, закутанный в белую простыню, а голову чудовища изображает выдолбленная тыква с зажженной внутри свечой, которую он несет на конце длинного

шеста. Вот и вся хитрость; чтобы обмануть чернокожих, не требуется большой смекалки. А все-таки этот Мама-Джумбо — остроумная выдумка; я не прочь, чтобы моя жена в него поверила.

— Что до моей,— сказал Леду,— то, если она и не боится Мама-Джумбо, она боится Мартина Кнута и хорошо знает, как бы я ее отделал, если бы ей вздумалось меня провести. В семье Леду все мы такие; с нами шутки плохи, и хоть у меня только одна рука, она еще может поработать линьком. А что касается вашего молодчика, который болтает о Мама-Джумбо, скажите ему, чтобы он прикусил язык и не пугал мою красотку, или я прикажу так надраить ему спину, что кожа на ней из черной станет красной, как сырой ростбиф.

С этими словами капитан спустился к себе в каюту, позвал Айше и попытался ее утешить; но ни ласки, ни даже побои — ведь в конце концов можно же потерять терпенье! — не успокоили красавицу негритянку: слезы ручьем лились у нее из глаз. Капитан вернулся на палубу в мрачном расположении духа и придрался к вахтенному начальнику из-за какой-то команды, которую тот как раз отдавал рулевому.

Ночью, когда почти весь экипаж спал глубоким сном, караульные услышали сначала размеренное, торжественное, мрачное пение, доносившееся снизу, затем пронзительный женский визг. И тотчас же на весь корабль раздался громкий голос Леду, выкрикивавший ругательства и угрозы, и щелканье его страшного бича. Минуту спустя все опять погрузилось в молчание. На следующий день, когда Таманго появился на палубе, лицо его было все в кровоподтеках, но он держался так же гордо и решительно, как прежде.

Едва Айше заметила его со шканцев, где она сидела возле капитана, она вскочила с места, подбежала к Таманго, опустилась перед ним на колени и голосом, полным глубокого отчаяния, сказала:

— Прости меня, Таманго, прости!

С минуту Таманго пристально смотрел на нее, потом, заметив, что переводчик отошел в сторону, проговорил:

— Напильник! — и лег на палубу, повернувшись спиной к Айше.

Капитан выбранил ее, даже надавал ей пощечин и запретил разговаривать с прежним мужем; ему и в голову не пришло, что в их короткой беседе могло заключаться что-либо подозрительное, и он не задал ей ни одного вопроса.

Между тем Таманго, запертый вместе с другими чернокожими, день и ночь убеждал их предпринять героическую

попытку вернуть себе свободу. Он говорил, что белых не так уж много, указывал на все возрастающую небрежность караульных; затем уверял, что сумеет отвезти их обратно на родину, не объясняя, правда, каким образом, хвастался своим знанием тайных наук, которые в таком почете у всех негров, и угрожал местью дьявола тем, кто откажется помогать ему в его предприятии. Все эти переговоры он вел исключительно на языке племени пёлей, понятном большинству негров, но незнакомом переводчику. Авторитет оратора, привычка рабов трепетать перед ним и подчиняться ему прекрасно помогли его красноречию, и негры стали торопить Таманго назначить день их освобождения еще задолго до того, как сам он подготовился к осуществлению своего плана. Он уклончиво ответил заговорщикам, что время еще не пришло, ибо дьявол, являвшийся ему во сне, еще не определил срока, но что они должны быть готовы подняться по первому сигналу. Между тем он никогда не упускал случая испытать бдительность охраны. Как-то раз один из матросов, прислонив свое ружье к борту брига, зазевался на стаю летучих рыб, провожавших корабль. Таманго взял ружье и стал размахивать им, передразнивая матросов на учении. Не прошло и минуты, как у него отняли ружье, но он удостоверился в том, что может взять оружие, не вызывая немедленно подозрения; а когда придет время и оно понадобится ему всерьез, пусть тогда попробуют вырвать ружье из его рук!

Однажды Айше бросила ему сухарь, сделав знак, понятный ему одному. В сухаре был спрятан маленький напильник — от этого инструмента зависел успех заговора. Таманго не сразу показал напильник своим спутникам, но когда наступила ночь, он стал бормотать несвязные слова, сопровождая их странными жестами. Постепенно возбуждаясь все больше и больше, он начал испускать крики. Слыша меняющиеся интонации его голоса, можно было подумать, что он вступил в оживленный разговор с каким-то невидимым существом. Все невольники дрожали от страха, не сомневаясь, что в это мгновение среди них находится дьявол. Таманго положил конец этой сцене, испустив радостный крик.

— Друзья! — воскликнул он.— Дух, которого я заклинал, наконец исполнил мою просьбу, и орудие нашего освобождения у меня в руках. Теперь вам нужно только немного мужества, и вы вернете себе свободу.

Он дал ближайшим к нему неграм пощупать напильник, и, как ни проста была его хитрость, эти еще более простые люди поверили ей.

После долгого ожидания настал великий день мщения и свободы. Заговорщики, связав себя торжественной клятвой, тщательно обсудили все и наметили план действий. Самые смелые во главе с Таманго должны были, когда наступит их очередь выйти на палубу, обезоружить караульных, другие — ворваться в каюту капитана и захватить все находившиеся там ружья. Тем, кто успеет перепилить свои кандалы, надлежало начать нападение; но, несмотря на упорную работу, продолжавшуюся в течение нескольких ночей, большинство невольников еще не могли по-настоящему принять участие в деле. Поэтому трем дюжим неграм было поручено убить человека, носившего в кармане ключ от кандалов, и сразу за тем освободить своих закованных товарищей.

В тот день капитан Леду был в прекрасном расположении духа. Вопреки своим правилам, он простил юнгу, заслужившего наказание плетью, и, похвалив вахтенного начальника за умелое управление кораблем, объявил матросам, что он ими доволен, и пообещал, что на Мартинике, куда им вскоре надлежало прибыть, выдаст каждому наградные. Все матросы, обрадованные столь приятными перспективами, уже стали обдумывать, на что они потратят эти деньги. Они мечтали о водке и цветных женщинах Мартиники, когда на палубу вывели Таманго и других заговорщиков.

Невольники постарались подпилить свои цепи таким образом, чтобы это не бросилось в глаза, но чтобы при малейшем усилии они могли их разорвать. К тому же они так громко звенели цепями, что, слушая этот звон, можно было подумать, будто сегодня на них вдвое больше оков, чем обычно. Подышав немного свежим воздухом, они все взялись за руки и принялись плясать, а Таманго затянул воинственную песнь своего племени [1], которую он певал в былые времена перед тем, как идти в бой. Немного погодя пляска прекратилась, и Таманго, словно выбившись из сил, растянулся у ног одного из матросов, который стоял, небрежно прислонившись к борту; все заговорщики сделали то же самое. Таким образом, каждый матрос оказался окруженным несколькими неграми.

Внезапно Таманго, незаметно разорвавший свои цепи, испускает громкий крик, который должен служить условным сигналом, хватает за ноги стоящего возле него матроса и опрокидывает его на палубу; упершись ногой ему в живот, Таманго отнимает у него ружье и в упор стреляет в вахтенного началь-

[1] У каждого негритянского вождя есть своя песня.

ника. В тот же миг остальные заговорщики нападают на других караульных, обезоруживают их и тут же закалывают. Со всех сторон несутся воинственные крики. Боцман, державший при себе ключ от кандалов, погибает одним из первых. Вслед за тем негры толпой врываются на верхнюю палубу. Те, кто не находит оружия, хватают рукоятки кабестана или весла шлюпок. В эту минуту участь европейцев была решена. Правда, на шканцах несколько матросов еще оказывали сопротивление, но им недоставало и оружия и решимости. Леду был еще жив и сохранял все свое мужество. Заметив, что душой заговора был Таманго, он сообразил, что, если удастся убить его, справиться с остальными будет нетрудно. Он громко окликнул его и кинулся к нему с саблей в руке. Таманго тотчас же бросился на него. Он держал ружье за конец ствола и размахивал им, как дубиной. Оба начальника встретились на одном из шкафутов, в этом узком проходе, соединяющем бак со шканцами. Таманго ударил первый. Белый увернулся ловким движением. Обрушившись на доски палубы, приклад сломался; сотрясение было столь сильным, что ружье выскользнуло из рук Таманго. Теперь он был беззащитен, и Леду с ликующей сатанической улыбкой уже взмахнул саблей, чтобы пронзить его. Но Таманго был проворен, как пантеры его родины; он кинулся на врага и схватил его за руку, готовую нанести удар. Один силится удержать оружие, другой — вырвать его из рук противника. Во время этой яростной схватки оба упали, но африканец оказался внизу. Тогда Таманго, не теряя мужества, сдавил капитана и с таким бешенством впился зубами ему в горло, что кровь хлынула из него, как из-под клыков льва. Сабля выпала из ослабевших рук капитана. Таманго схватил ее и, вскочив на ноги, с окровавленным ртом, испуская торжествующий крик, несколькими ударами прикончил своего уже полумертвого врага.

Победа была полной. Немногие уцелевшие матросы пытались вымолить пощаду у восставших, но все они, даже переводчик, который никогда не делал неграм зла, были безжалостно убиты. Старший помощник капитана умер с честью. Он отступил на корму, к одной из тех маленьких пушек, которые поворачиваются на оси и заряжаются картечью. Левой рукой он наводил пушку, а правой держал саблю и так хорошо защищался, что вокруг него собралась целая толпа чернокожих. Тогда, нажав спуск, он выстрелил из пушки, и среди плотной массы людей образовался широкий проход, устланный мертвыми и умирающими. Минуту спустя старший помощник был разорван.

Когда труп последнего белого, растерзанный и искромсанный, был выброшен за борт, негры, насытившись местью, подняли глаза к парусам, которые, все еще надуваясь от свежего ветра, казалось, по-прежнему повиновались угнетателям и, несмотря на торжество победивших, увлекали их в сторону рабства.

«Значит, все напрасно? — подумали они с грустью.— Разве этот огромный фетиш белых захочет везти нас на родину после того, как мы пролили кровь его повелителей?»

Некоторые высказали предположение, что Таманго сумеет заставить его повиноваться. Тотчас же все громкими криками стали звать Таманго.

Он не спешил показаться. Его нашли в кормовой каюте; он стоял, опершись одной рукой на окровавленную саблю капитана, и с рассеянным видом протягивал другую руку своей жене Айше, которая целовала ее, стоя на коленях. Радость победы не могла заглушить мрачной тревоги, сквозившей во всем его облике. Менее невежественный, чем остальные, он яснее их понимал трудность своего положения.

Наконец он появился на верхней палубе, изображая на лице спокойствие, которого не ощущал. Среди смутного гула сотни голосов, требовавших, чтобы он изменил путь корабля, он медленно подошел к рулю, словно хотел хоть немного отдалить ту минуту, которая должна была и для него и для других определить пределы его могущества.

Все негры на корабле, даже самые тупые, успели заметить, что движение судна зависит от какого-то колеса и находящегося против него ящичка; но механизм этот всегда был для них великой тайной. Таманго долго смотрел на компас, шевеля губами, как будто он читал начертанные на нем знаки; затем поднес руку ко лбу и принял задумчивый вид человека, мысленно что-то вычисляющего. Все негры стояли вокруг него, раскрыв рты и вытаращив глаза, и боязливо следили за каждым его движением. Наконец с тем смешанным чувством страха и уверенности, которое порождается невежеством, он резко повернул рулевое колесо.

Как благородный конь, вздымающийся на дыбы под шпорой неосторожного всадника, прекрасный бриг «Надежда» подпрыгнул на волнах от этого неслыханного маневра — словно, негодуя, он хотел утонуть в пучине вместе со своим невежественным кормчим. Необходимое соответствие между направлением парусов и руля было внезапно нарушено, и корабль накренился так круто, что, казалось, сейчас опрокинется. Его длинные реи окунулись в море. Многие негры свалились с ног, несколько человек вылетели за борт. Вскоре корабль гордо выпрямился

на гребне волны, как будто хотел еще раз вступить в борьбу с гибелью. Ветер удвоил силу, и вдруг со страшным треском рухнули обе мачты, сломанные на несколько футов выше основания, покрывая палубу своими обломками и тяжелой сетью веревочных снастей.

Испуская крики ужаса, перепуганные негры бросились к люкам; но так как ветер не встречал больше сопротивления, бриг выпрямился и стал мягко покачиваться на волнах. Тогда самые смелые из чернокожих вернулись на верхнюю палубу и убрали загромождавшие ее обломки. Таманго стоял неподвижно, опершись локтем на коробку компаса и согнутой рукой закрывая лицо. Айше была возле него, но не смела заговорить с ним. Понемногу негры приблизились; поднялся ропот, вскоре превратившийся в бурю упреков и ругательств.

— Предатель! Обманщик! — кричали они.— Ты причина всех наших несчастий! Ты продал нас белым, ты принудил нас восстать против них. Ты хвалился своей мудростью, ты обещал отвезти нас на родину. Мы, безумцы, поверили тебе, и вот мы все чуть не погибли, потому что ты оскорбил фетиш белых.

Таманго гордо поднял голову, и окружавшие его чернокожие в страхе отступили. Он подобрал оба ружья, знаком приказал жене следовать за собой и, пройдя через раздавшуюся перед ним толпу, направился к носу корабля. Там он устроил нечто вроде вала из пустых бочек и досок, затем уселся посреди этого укрытия, откуда угрожающе торчали штыки двух его ружей. Его оставили в покое. Среди восставших одни плакали, другие, подняв руки к небу, призывали своих фетишей и фетишей белых; некоторые, стоя на коленях перед компасом, с благоговением следили за непрерывным движением его стрелки и умоляли его вернуть их на родину; иные в мрачном оцепенении лежали на верхней палубе. Среди этих людей, потерявших всякую надежду, представьте себе еще женщин и детей, воющих от ужаса, и десятка два раненых, взывающих о помощи, которую никто не думал им оказывать.

Вдруг на верхнюю палубу прибегает один негр; лицо его сияет. Он кричит, что обнаружил место, где белые хранили водку; его радость и все его поведение ясно показывают, что он уже ее попробовал. При этом известии крики несчастных на мгновение смолкают. Они бегут в камбуз и напиваются вволю. Через час они уже прыгали и смеялись на палубе, предаваясь всем крайностям скотского опьянения. Их пляски и песни сопровождались стонами и рыданиями раненых. Так прошел остаток дня и вся ночь.

Утром при пробуждении снова отчаяние. За ночь многие из раненых умерли. Корабль плыл, окруженный трупами. Море волновалось, небо покрылось тучами. Стали держать совет. Несколько новичков в колдовском искусстве, не смевшие прежде и заикнуться о своем умении при Таманго, один за другим стали предлагать свои услуги. Испробовали несколько могущественных заклинаний. При каждой неудачной попытке уныние возрастало. Наконец негры снова вспомнили о Таманго, все еще не выходившем из своего укрытия. Как-никак он был среди них самый мудрый; он один мог вывести их из ужасного положения, в которое они попали по его вине. Один старик, уполномоченный вести мирные переговоры, приблизился к нему. Он попросил его выйти и подать совет, но Таманго, непреклонный, как Кориолан, остался глух к его мольбам. Ночью, пользуясь общей растерянностью, он запасся сухарями и солониной. По-видимому, он твердо решил жить один в своем убежище.

Водка еще оставалась. С ней, по крайней мере, забываешь и море, и рабство, и близкую смерть. Спишь и видишь во сне Африку, леса каучуковых деревьев, крытые соломой хижины, баобабы, покрывающие своей тенью целые деревни. Снова, как и накануне, началась оргия. Так прошло несколько дней. Плакать, кричать, рвать на себе волосы, потом напиться и заснуть — вот все, что им оставалось в жизни. Многие умерли от пьянства, некоторые бросились в море или зарезались.

Однажды утром Таманго вышел из своей крепости и остановился у обломка грот-мачты.

— Рабы! — сказал он.— Во сне мне явился дух и открыл способ вывезти вас отсюда и привезти на родину. Своей неблагодарностью вы заслужили, чтобы я вас покинул, но мне жаль этих плачущих женщин и детей. Я вас прощаю. Слушайте меня.

Все чернокожие, почтительно склонив головы, столпились вокруг него.

— Одни только белые,— продолжал Таманго,— знают могущественные слова, которым повинуются эти большие деревянные дома, но мы можем по своему желанию управлять легкими лодками, похожими на лодки нашей родины.

Он показал на шлюпку и другие лодки, находившиеся на борту брига.

— Наполним их съестными припасами, сядем в них и будем грести по ветру; мой и ваш повелитель заставит его дуть в сторону нашей родины.

Ему поверили. Трудно было придумать более безрассудный план. Не умея пользоваться компасом, под незнакомым небом

Таманго мог только блуждать наудачу. Он воображал, что если будешь грести все прямо перед собой, то в конце концов обязательно встретишь какую-нибудь землю, населенную неграми, потому что чернокожие владеют землей, а белые все живут на кораблях. Это он слышал от своей матери.

Вскоре все было готово к отплытию; но годными оказались только одна шлюпка и челнок. В них не хватало места для восьмидесяти оставшихся в живых негров. Пришлось бросить всех раненых и больных. Большинство просили убить их, но только не оставлять на произвол судьбы. Обе лодки, спущенные на воду с бесконечным трудом и отягощенные грузом, отошли от корабля в бурное море, ежеминутно грозившее поглотить их. Первым отчалил челнок. Таманго и Айше сидели в шлюпке, которая была гораздо тяжелее, больше нагружена и потому заметно отставала. Еще слышались жалобные крики несчастных, покинутых на борту брига, когда высокая волна перекатилась через шлюпку и захлестнула ее. Не прошло и минуты, как она пошла ко дну. С челнока увидели катастрофу, и его гребцы удвоили усилия, боясь, что им придется подобрать утопающих. Почти все, кто был в шлюпке, утонули. Только десять человек вернулись на корабль. В их числе были Таманго и Айше. Когда солнце село, они увидели, как челнок исчез за горизонтом; но что с ним стало, никому не известно.

Зачем стану я утомлять читателя отвратительным описанием мук голода? Около двадцати существ на узком пространстве, которых то треплет бурное море, то палит жгучее солнце, каждый день отнимают друг у друга жалкие остатки съестных припасов. Каждый кусок сухаря достается ценою борьбы, и слабый гибнет не потому, что сильный его убивает, а потому, что предоставляет ему умереть. Через несколько дней на борту брига «Надежда» остались в живых только Таманго и Айше.

. . . . . .

Однажды ночью море волновалось, дул сильный ветер, и был такой мрак, что с кормы нельзя было различить нос корабля. Айше лежала на тюфяке в капитанской каюте. Таманго сидел у ее ног. Оба давно уже молчали.

— Таманго! — воскликнула Айше.— Все эти страдания ты терпишь из-за меня...

— Я не страдаю,— ответил он резко и бросил ей на матрац половину оставшегося у него сухаря.

— Сберегп его для себя,— сказала она, отодвигая сухарь,— я больше не хочу есть. Да и зачем? Разве мой час не настал?

Таманго ничего ей не ответил; он прошел, пошатываясь, на верхнюю палубу и сел у подножия сломанной мачты. Низко опустив голову, он стал насвистывать песню своего рода. Вдруг сквозь шум ветра и моря донесся громкий крик, показался свет. Потом он снова услышал крики, и вслед за тем большое черное судно стремительно пронеслось мимо брига, так близко, что реи прошли над его головой. Он рассмотрел только двух людей, лица которых были освещены фонарем, подвешенным к мачте. Эти люди еще раз крикнули что-то, и их корабль, гонимый ветром, сразу исчез во мраке. Без сомнения, вахтенные заметили судно, потерпевшее кораблекрушение, но бурная погода помешала им изменить курс. Мгновение спустя сверкнул огонь, и раздался пушечный выстрел; затем Таманго увидел огонь другой пушки, но уже не слышал никакого звука; потом он ничего больше не видел. На следующий день ни один парус не появлялся на горизонте. Таманго снова лег на тюфяк и закрыл глаза. В эту ночь умерла его жена Айше.

. . . . . .

. . . . . .

Некоторое время спустя английский фрегат «Беллона» обнаружил какое-то судно без мачт, по-видимому, покинутое своим экипажем. Когда к нему приблизились на шлюпке, там нашли мертвую негритянку и негра, до того исхудавшего и высохшего, что он походил на мумию. Он был без сознания, но жизнь еще теплилась в нем. Корабельный врач занялся им, ему оказали помощь, и когда «Беллона» прибыла в Кингстон, он был уже совершенно здоров. Негра стали расспрашивать об его приключениях. Он рассказал все, что знал. Плантаторы острова требовали, чтобы его повесили, как негра-бунтовщика, но губернатор, человек гуманный, заинтересовался им и нашел, что его можно оправдать, так как, в сущности, он воспользовался законным правом самозащиты; к тому же те, кого он убил, были ведь всего-навсего французы. С ним поступили, как поступают с неграми, взятыми с захваченного невольничьего корабля. Ему вернули свободу, то есть заставили работать на правительство, но его кормили и платили ему по шесть су в день. Он был рослый и красивый человек. Командир 75-го полка увидел его и взял к себе литаврщиком в полковой оркестр. Он немного выучился по-английски, но не любил разговаривать. Зато он неумеренно пил ром и сахарную водку. Умер он в больнице от воспаления легких.

Огюста Сен-Клера не любили в так называемом «большом свете»; главная причина заключалась в том, что он старался нравиться только тем, кто приходился ему по сердцу. Он шел навстречу одним и тщательно избегал других. К тому же он был беспечен и рассеян. Однажды вечером при выходе из итальянской оперы маркиза А. обратилась к нему с вопросом: «Как пела Зонтаг?» — «Да, маркиза»,— отвечал Сен-Клер, приятно улыбнувшись, но думая о другом. Такой странный ответ ни в каком случае нельзя было приписать робости с его стороны; и с знатным вельможей, и с знаменитостью, и даже с самой модной красавицей он обращался так же свободно, как если бы говорил с равным себе. Маркиза объявила, что Сен-Клер заносчив и дерзок до невероятия.

Однажды в понедельник г-жа Б. пригласила его на обед; она долго с ним разговаривала, и, уходя, он сказал, что никогда еще не встречал более очаровательной женщины. Г-жа Б. набиралась ума в течение месяца, с тем чтобы потом израсходовать этот ум у себя дома в один вечер. Сен-Клер встретился с ней в четверг на той же неделе. На этот раз она показалась ему скучноватой. Результат следующего затем посещения был тот, что Сен-Клер решил не появляться больше в ее гостиной. Г-жа Б. поспешила объявить всем и каждому, что Сен-Клер — человек совершенно невоспитанный и притом самого дурного тона.

Он родился с сердцем нежным и любящим; но в молодости, когда так еще легко воспринимаются впечатления — впечатления, отражающиеся потом на всей жизни,— его слишком пылкая натура навлекла на него насмешки товарищей. Он был горд и самолюбив. Он, как ребенок, дорожил чужим мнением. Он призвал все свои силы, стараясь научиться скрывать все то, что, по его тогдашним понятиям, считалось унизительною сла-

бостью. Цель была достигнута; но такая победа над собой обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущения нежной души своей; однако ж терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе. В свете приобрел он вскоре печальную известность человека равнодушного и неотзывчивого; когда он оставался наедине с самим собою, его встревоженному воображению представлялись страдания, тем более жгучие, что он ни с кем никогда не хотел делить их.

Сказать по правде, найти друга нелегко! Нелегко? Вернее сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два человека, не имевшие тайны один от другого? Сен-Клер не верил в дружбу, и это замечено было всеми. Он был холоден и сдержан в обществе с молодыми людьми. Он никогда ни о чем не расспрашивал; все его мысли и бóльшая часть его действий оставались для них загадкой. Французы вообще любят говорить о себе; Сен-Клеру приходилось иногда против воли выслушивать задушевную исповедь знакомых. Его друзья — под этим названием надо разуметь тех, кого мы видим раза два в неделю,— законно жаловались на его недоверчивость; и в самом деле, тот, кто без повода с нашей стороны разоблачает перед нами свои тайны, обижается обыкновенно, если мы не платим ему тою же монетой. Взаимность в разоблачении сердечных тайн считается как бы общим правилом.

— Он всегда застегнут на все пуговицы,— говорил о нем красивый эскадронный командир Альфонс де Темúн.— К этому проклятому Сен-Клеру нельзя питать ни малейшего доверия.

— Я думаю, что он близок к иезуитам,— возразил Жюль Ламбер.— Один знакомый клятвенно уверял меня, что дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сюльпис. Никто не знает его настоящих мыслей. Я, по крайней мере, в его обществе чувствую себя связанным.

Разговаривающие расстались. На Итальянском бульваре Альфонс де Темин встретил Сен-Клера, шедшего с поникшей головой и смотревшего в землю. Он остановил его, взял под руку и тут же выложил перед ним свои любовные похождения с г-жой ***, муж которой был груб и ревнив.

В тот же вечер Жюль Ламбер проиграл в экарте все свои деньги. Он стал танцевать. Танцуя, он неумышленно толкнул какого-то господина, который, проиграв в тот вечер значительную сумму денег, был сильно не в духе. Последовал обмен резкими словами; результатом был вызов на дуэль. Жюль Ламбер

попросил Сен-Клера быть его секундантом и в то же время занял у него денег, которые так потом и не возвратил.

Сен-Клер, несмотря на все о нем сказанное, был, однако ж, человек приятный в общении. Его недостатки вредили только ему лично. Он был услужлив, часто приветлив, и редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много читал, но говорил о своих путешествиях и читанных им книгах не иначе, как когда настоятельно его к тому принуждали. Он был высок ростом, приятной наружности; черты его отличались благородством; в них отражался ум; лицо его всегда, однако ж, дышало спокойствием; в улыбке его было что-то привлекательное.

Я забыл одно важное обстоятельство. Сен-Клер отличался большой внимательностью к женщинам; он предпочитал их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный человек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть только — это все знали — хорошенькая графиня Матильда де Курси. Это была молодая вдова, которую посещал он с редким постоянством. Предположения основывались на следующих доводах: утонченное, почти церемонное обращение Сен-Клера с графиней; то же и с ее стороны; он старался не произносить в свете имя графини; когда же он бывал к тому вынужден, то никогда не присоединял похвалы к ее имени; дальше, до того как Сен-Клер был представлен графине, он любил музыку, она выказывала тогда столько же расположения к живописи; после знакомства вкусы обоих вдруг переменились. И наконец, графиня в прошлом году отправилась на воды; шесть дней спустя Сен-Клер поспешил за нею последовать.

. . . . . .

. . . . . .

Обязанность историка вынуждает меня сообщить, что в одну июльскую ночь, за несколько мгновений до восхода солнца, калитка парка отворилась и пропустила человека, который вышел на дорогу, принимая такие же точно предосторожности, как вор, опасающийся быть застигнутым. Парк и поместье принадлежали графине де Курси, человек, вышедший из калитки, был не кто другой, как Сен-Клер. Женщина, закутанная в шубку, проводила его до самой калитки; она вытянула шею и жадно следила за ним глазами, в то время как он торопливо спускался по тропинке, огибавшей стену парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся вокруг и рукою сделал знак женщине, чтобы она скрылась. Прозрачность летней ночи позволила ему различить на прежнем месте бледное лицо женщины. Он вернулся назад,

подошел к ней и нежно обнял. Ему хотелось уговорить ее вернуться домой, но столько еще оставалось сказать ей! Беседа продолжалась минут десять, затем в стороне послышался голос крестьянина, выходившего на работу. Торопливый поцелуй, калитка быстро захлопнулась, и Сен-Клер стал быстро удаляться.

Он шел знакомой дорогой. Он то подпрыгивал от радости, ускорял шаг и ударял по кустам палкой, то внезапно останавливался или медленно продолжал путь, оглядывая небо, начинавшее алеть на востоке. Можно было принять его за сумасшедшего, вырвавшегося на свободу. Полчаса спустя он остановился у двери небольшого уединенного домика, снятого им на все лето. У него был ключ; он вошел. Он бросился на диван и здесь, уставив глаза в одну точку и блаженно улыбаясь, принялся размышлять и грезить наяву. Воображение рисовало перед ним картину самого полного счастья. «Как я счастлив! — повторял он ежеминутно.— Наконец-то встретил я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал, приобрел в одно и то же время и друга, и обожаемую женщину... Какой характер!.. Какая пылкая душа!.. Нет, до меня она никого не любила!..» Движимый тщеславием, от которого не свободны лучшие наши побуждения, он прибавлял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение рисовало ему все ее прелести. «Она меня предпочла! У ее ног было избранное общество. Гусарский полковник, красавец и храбрец, и притом совсем не фат... Молодой писатель, пишущий такие прелестные акварели, прекрасно играющий в салонных спектаклях... Наконец, тот русский ловелас, побывавший на Балканах и служивший при Дибиче. А главное, Камилл Т*** с его умом, изящными манерами, великолепным шрамом на лбу... И ни на кого из них она не обратила внимания. А я!..» И он снова и снова повторял: «Как я счастлив, боже, как я счастлив!..» Он встал, отворил окно. он задыхался; минуту спустя он принялся расхаживать по комнате, затем снова бросился на диван.

Счастливый любовник почти всегда так же скучен, как любовник несчастливый. Один из моих друзей, находившийся попеременно то в том, то в другом положении, нашел способ заставлять меня выслушивать его: он угощал меня отличным завтраком, во время которого я разрешал ему говорить о своей любви сколько угодно, но после кофе я чувствовал настоятельную потребность переменить тему разговора.

Не имея возможности приглашать на завтрак всех моих читателей, я избавлю их от дальнейших любовных мечтаний Сен-

Клера. К тому же нельзя постоянно витать в облаках. Сен-Клер был утомлен; он зевнул, потянулся, убедился, что на дворе совсем рассвело и что надо наконец подумать о сне.

Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и ехать в Париж на званый завтрак в кругу молодых приятелей.

. . . . . .

Откупорили еще одну бутылку шампанского, число прежде выпитых предоставляю определить читателю. Достаточно знать, что общество пришло уже в то состояние, которое на завтраках в молодой холостой компании наступает довольно быстро: все говорили одновременно, и головы крепкие начали беспокоиться за слабые.

— Желательно было бы,— произнес Альфонс де Темин, не пропускавший случая поговорить об Англии,— желательно было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины. Таким способом мы могли бы наконец узнать, о ком вздыхает наш друг Сен-Клер.

Он налил стакан вина и подлил своим соседям.

Сен-Клер, несколько смущенный, собирался ответить, но Жюль Ламбер опередил его.

— Обычай хорош, я его одобряю! — сказал он, приподнимая стакан.

— Господа! — провозгласил он.— За здоровье всех парижских модисток, исключая тридцатилетних, кривых, хромых и тому подобных.

— Уррра!.. Уррра!..— прокричали молодые англоманы.

Сен-Клер привстал и поднял стакан.

— Господа! — сказал он.— Сердце мое не столь любвеобильно, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно. Мое постоянство тем более похвально, что я уже давно нахожусь в разлуке с дамой моего сердца. Уверен заранее, что вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между вами соперника... Господа, за здоровье Джудитты Паста! За скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы в Европе!..

Темин хотел посмеяться над тостом; аплодисменты остановили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал, что он вышел из положения, и успокоился.

Разговор коснулся сначала театра. Драматическая цензура послужила поводом для перехода к политике. От лорда Веллингтона перешли к английским лошадям, а после английских ло-

шадей, по весьма естественному течению мыслей, занялись женщинами. Молодежь выше всего ценит красивых лошадей и хорошеньких любовниц.

Потом стали обсуждать, каким способом легче всего приобрести желаемое. Лошади покупаются, некоторые женщины также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скромно признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине, нужно прежде всего отличаться какою-нибудь оригинальною чертою, не быть похожим на других. Но существует ли общая формула оригинальности? Он думает, что нет.

— По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого больше преимуществ, чем у человека стройного, сложенного, как все? — спросил Жюль.

— Вы несколько преувеличиваете,— возразил Сен-Клер,— тем не менее я стою на своем. Возьмем пример: будь я горбат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать победы над прекрасным полом. Прежде всего я обратился бы только к двум типам женщин: таким, у которых особенно чувствительное сердце, или таким — а их много,— которые стремятся прослыть оригинальными, *эксцентричными*, как говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас моего положения, всю жестокость природы по отношению ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить им мысль, что я способен на страстную любовь. Я убил бы на дуэли соперника и отравил бы себя слабой дозой опиума. Спустя несколько месяцев мой горб перестали бы замечать, и тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым припадком чувствительности. Что же касается женщин, выдающих себя за оригиналок, то победа над ними была бы еще легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непреложно установлено, что горбун не может рассчитывать на успех у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть общее мнение.

— Каков донжуан! — вскричал Жюль Ламбер.

— Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели счастья родиться горбатыми! — вскричал полковник Боже.

— Я совершенно разделяю мнение Сен-Клера,— подхватил Гектор Рокантен, который был не больше трех с половиной футов ростом.— Часто случается, что самые красивые, самые модные женщины отдаются таким людям, которых вы, красавцы, никогда не сочли бы опасными...

— Гектор, встаньте, пожалуйста, и позвоните, чтобы нам дали еще вина,— проговорил Темин самым естественным тоном.

Карлик встал, и, глядя на него, каждый с улыбкою припомнил басню о лисице с отрубленным хвостом.

— А я,— сказал Темин,— чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что приятная наружность,— при этом он самодовольно глянул в зеркало, висевшее против него,— и умение со вкусом одеваться были всегда теми оригинальными чертами, которые покоряют самых неприступных.

Он щелкнул по обшлагу фрака, чтобы сбросить приставшую крошку хлеба.

— Полноте! — вскричал карлик.— С красивым лицом и платьем от Штауба приобретешь разве таких женщин, которых бросишь через неделю: они прискучат после второго свиданья. Чтобы заставить себя полюбить — полюбить по-настоящему,— нужно кое-что другое... нужно...

— Угодно пример? — перебил Темин.— Убедительный пример? Все вы знали Масиньи, знали, что это была за личность: манеры, как у английского грума, в разговоре совершенная лошадь. Но он был красив, как Адонис, и повязывал галстук не хуже Бреммеля. В сущности, это был один из скучнейших людей, каких мне приходилось видеть.

— Он чуть было не уморил меня от скуки,— подхватил полковник Боже.— Представьте, раз как-то пришлось мне проехать вместе с ним двести миль.

— А знаете ли вы,— спросил Сен-Клер,— что он был виновником смерти всем вам известного бедного Ричарда Торнтона?

— Полно,— возразил Жюль,— разве вы не знаете, что Торнтона убили разбойники недалеко от Фонди?

— Да, конечно, но, как увидите, Масиньи был по меньшей мере соучастником этого убийства. Несколько путешественников, в том числе и Торнтон, опасаясь разбойников, сговорились ехать в Неаполь вместе. Масиньи решил к ним присоединиться. Как только Торнтон узнал об этом, он из страха, вероятно, пробыть несколько дней в его обществе пустился в путь, не дожидаясь остальных. Он поехал один, а чем дело кончилось, вы знаете.

— Торнтон был прав,— сказал Темин,— из двух смертей он избрал самую легкую. На его месте всякий поступил бы так же. Значит, вы признаете, что Масиньи был скучнейшим человеком на свете? — прибавил он, помолчав.

— Признаем! — подхватили все в один голос.

— Будем справедливы, господа,— сказал Жюль,— сделаем исключение для ***, особенно, когда он излагает свои политические планы.

— Признаете ли вы также,— продолжал Темин,— что госпожа де Курси женщина на редкость умная?

Наступило минутное молчание. Сен-Клер опустил голову; ему представилось, что глаза всех присутствующих устремлены на него.

— Кто же в этом сомневается? — произнес он наконец, продолжая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его занимали нарисованные на ней цветы.

— Я утверждаю,— сказал Жюль, возвышая голос,— что она — одна из трех самых прелестных женщин Парижа.

— Я знал ее мужа,— сказал полковник,— он часто показывал мне женины письма: они были очаровательны.

— Огюст,— перебил Гектор Рокантен, обращаясь к Сен-Клеру,— представьте же меня графине! Вы, говорят, пользуетесь большим влиянием в ее салоне.

— В конце осени,— пробормотал Сен-Клер,— когда она вернется в Париж... Мне... мне кажется, что она никого не принимает в деревне.

— Дайте же мне наконец договорить! — вскричал Темин.

Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем стуле, как подсудимый в зале суда.

— Вы не видели графиню три года тому назад, Сен-Клер (вы были тогда в Германии),— продолжал Альфонс де Темин с убийственным хладнокровием,— и, следовательно, вообразить себе не можете, какова была в то время графиня. Прелесть! Свежа, как роза, а главное — жива и весела, как бабочка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более других удостоился ее расположения? Масиньи! Глупейший и пустейший из людей вскружил голову умнейшей из женщин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достигнуть такого успеха? Поверьте: требуется лишь приятная наружность, хороший портной и смелость.

Сен-Клер страдал невыносимо. Он собрался уже обвинить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать графиню удержала его. Ему хотелось произнести несколько слов в ее оправдание, но язык не повиновался. Губы его дрожали от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы придраться и начать ссору.

— Как! — вскричал Жюль с видом крайнего удивления.— Госпожа де Курси могла отдаться Масиньи? *Frailty, thy name is women!* [1]

---

[1] О женщины, вам имя — вероломство! *(англ.)*

— Доброе имя женщины — сущий пустяк! — произнес Сен-Клер голосом резким и презрительным.— Каждому позволительно трепать его ради острого словца и...

Пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу, которую много раз видел на камине в парижском салоне графини. Он знал, что это был подарок Масиньи после возвращения его из Италии, и, словно для того, чтобы усилить подозрение, ваза последовала за графиней в деревню. И каждый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее в этрусскую вазу.

Слова замерли у него на губах; он видел только одно, помнил только об одном — этрусская ваза!

«Хорошее доказательство! Основывать подозрение на такой безделице!» — скажет какой-нибудь критик.

Были ли вы когда-нибудь влюблены, господин критик?

Темин находился в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым добродушием:

— Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете. Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы находились в Германии. Впрочем, я мало знаю госпожу де Курси; скоро полтора года, как я у нее не был. Может быть, все это выдумки и Масиньи мне солгал. Но вернемся к начатому разговору; если даже приведенный мною пример неверен, я все-таки высказал верную мысль. Всем вам известно, что самая умная женщина во Франции, женщина, сочинения которой...

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался Теодор Невиль. Он только что вернулся из путешествия по Египту.

— Теодор? Так скоро!..

Его засыпали вопросами.

— Ты привез настоящий турецкий костюм? — спросил Темин.— Привез арабскую лошадь и египетского грума?

— Что за человек паша? — спросил Жюль.— Когда же наконец он объявит себя независимым? Видел ли ты, как с маху сносят голову одним ударом сабли?

— А *альмеи?* — спросил Рокантен.— Красивы ли капрские женщины?

— Встречались ли вы с генералом Л.? — спросил полковник Боже.— Как сформировал он армию паши? Не передавал ли вам для меня сабли полковник С.?

— Ну, а пирамиды? Нильские пороги? Статуя Мемнона? Ибрагим-паша? — и т. д.

Все говорили одновременно. Сен-Клер думал только об этрусской вазе.

Теодор сел, поджав под себя ноги (привычка, заимствованная им в Египте, от которой он не мог отучиться во Франции), выждал, пока все устанут расспрашивать, и заговорил скороговоркой, чтобы труднее было перебивать его:

— Пирамиды! Поистине это — *regular humbug*[1]. Они совсем не так высоки, как о них думают; всего на четыре метра выше Мюнстерской башни Страсбургского собора. Древности намозолили мне глаза; не говорите мне про них: мне дурно делается при одном виде иероглифа. Столько путешественников этим занималось! Целью моей поездки было понаблюдать характер и нравы того пестрого населения, которым кишат улицы Каира и Александрии,— всех этих турок, бедуинов, коптов, феллахов, могребинов; я сделал несколько заметок, пока был в лазарете. Какая гадость этот лазарет! Надеюсь, вы не верите в заразу. Я спокойно покуривал трубку, находясь между тремястами зачумленными. Кавалерия там хороша, полковник, хороши также лошади. Покажу вам потом отличное оружие, которое я оттуда вывез. Приобрел я, между прочим, превосходный *джерид,* принадлежавший когда-то пресловутому Мурад-бею. У меня для вас, полковник, *ятаган,* для Огюста *ханджар.* Вы увидите мою *мечлу,* мой *бурнус* и мой *хаик.* Знаете ли вы, что при желании я мог бы привезти с собою женщин? Ибрагим-паша прислал из Греции такое множество их, что невольницу можно купить за грош... Но из-за моей матушки... Я много говорил с пашою. Черт возьми, он умен и без предрассудков! Вы не можете себе представить, как хорошо он разбирается в наших делах. Ему известны малейшие тайны нашего кабинета, честное слово. Из беседы с ним я почерпнул много ценных сведений о различных политических партиях во Франции. В настоящее время он очень интересуется статистикой. Он выписывает все наши газеты. Знаете ли вы, что он заядлый бонапартист? Только и разговору что о Наполеоне. «Какой великий человек *Бунабардо!*» — твердил он мне. *Бунабардо* — так называют они Бонапарта.

— «Джурдина — это Журден»,— прошептал де Темин.

— Сначала,— продолжал Теодор,— Мохамед-Али был со мною настороже. Вы знаете, как вообще турки недоверчивы. Он, черт его возьми, принимал меня за шпиона или иезуита. Он ненавидит иезуитов. Но вскоре он понял, что я просто

[1] Форменное надувательство *(англ.).*

путешественник без предрассудков, живо интересующийся обычаями, нравами и политическим положением Востока. Тогда он перестал стесняться и заговорил по душам. На последней аудиенции — это была уже третья — я решился чистосердечно ему заметить. «Не постигаю, говорю, почему твое высочество не объявит себя независимым от Порты».— «Господи! — воскликнул он.— Я бы рад, да боюсь, что либеральные газеты, заправляющие всем в твоей стране, не поддержат меня, когда я провозглашу Египет независимым». Очень красивый старик, прекрасная седая борода, никогда не смеется. Он угощал меня отличным вареньем. Из всего того, однако ж, что я подарил ему, больше всего приглянулась ему коллекция рисунков Шарле, где были изображены различные мундиры имперской гвардии.

— Паша — романтик? — спросил Темин.

— Он вообще мало занимается литературой, но вы, конечно, знаете, что вся арабская литература романтична. У них, между прочим, есть поэт Мелек-Айятальнефус-Эбн-Эсраф, издавший за последнее время *Раздумья,* по сравнению с которыми *Раздумья* Ламартина кажутся классической прозой. Приехав в Каир, я нанял учителя арабского языка и начал читать Коран. Уроков я взял немного, но для меня этого было достаточно, чтобы почувствовать дивные красоты в языке пророка и понять также, насколько плохи все наши переводы. Угодно видеть арабское письмо? Взгляните на это слово, начертанное здесь золотом; это значит: Аллах, то есть Бог.

Тут он показал нам грязное письмо, извлеченное им из надушенного шелкового кошелька.

— Сколько времени пробыл ты в Египте? — спросил Темин.

— Полтора месяца.

Путешественник продолжал описывать все до мельчайших подробностей. Почти тотчас после его прихода Сен-Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Бешеный галоп его коня мешал ему сосредоточиться. Он лишь смутно сознавал, что счастье его разбито и что винить в этом можно только мертвеца и этрусскую вазу.

Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где еще накануне так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с особым восторгом упивался вчера той мыслью, что его возлюбленная была не похожа на других женщин, что за всю свою жизнь она любила только его одного и что никогда она не полюбит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил место печальной, горькой действительности. «Я обладаю красивой

женщиной, и только. Она умна, но тем больше ее вина: она могла любить Масиньи!.. Теперь, правда, она любит меня, любит всею душой, как только может любить. Быть любимым так, как был любим Масиньи!.. Она просто уступила моим домогательствам, моему капризу, моей дерзкой настойчивости. Да, я обманулся. Между нашими сердцами не было настоящей склонности. Масиньи или я — это для нее безразлично. Он был красив — она любила его за красоту. Я иногда ее развлекаю. «Ну, что ж,— сказала она себе,— раз тот умер — буду любить Сен-Клера! Если Сен-Клер умрет или наскучит мне — тогда посмотрим».

Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, подслушивает всегда несчастного, который сам себя мучает. Такое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И как только жертва чувствует, что раны ее подживают, дьявол снова спешит разбередить их.

Сен-Клеру чудился голос, напевающий ему над самым ухом:

...Большая честь —
Наследовать другому.

Он привстал и диким взором обвел комнату. Какая жалость, что он здесь один! Сен-Клер кого угодно разорвал бы сейчас в клочки.

Часы пробили восемь. Графиня ожидала его в половине девятого. «Полно, идти ли? И действительно, что за радость встречаться с возлюбленной Масиньи?» Он снова улегся на диван и закрыл глаза. «Буду спать!» — решил он. Полминуты пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам, желая убедиться, сколько прошло времени. «Хорошо, если б было уже половина девятого! — подумал он.— Не к чему было бы тогда идти. Было бы слишком поздно». У него не хватало силы воли, чтобы остаться дома; он искал предлога. Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной строчки; подошел к пианино, но не раскрыл его. Он посвистел, окинул взглядом облачное небо и начал считать тополя перед окнами. Возвратясь к часам, он увидел, что не сумел протянуть и трех минут. «Нет, я не в силах заставить себя не любить ее! — вскричал он, стиснув зубы и топнув ногой.— Она владеет мною; я раб ее, как Масиньи был ее рабом до меня! Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не хватает духу порвать ненавистную цепь!» Он схватил шляпу и быстро вышел.

Когда страсть владеет нами, мы находим некоторое утешение для самолюбия, рассматривая нашу слабость с высоты нашей гордости. «Я уступаю, я слаб, это правда,— говорим мы себе,— но стоит мне захотеть...»

Сен-Клер медленно поднимался по дороге, ведшей к калитке парка; вдали уже мелькала перед ним фигура женщины в белом платье, выделявшемся на темной зелени деревьев; рука махала платком, будто давая знак. Сердце его сильно билось, колени дрожали; он не мог выговорить ни слова; он почувствовал вдруг необыкновенную робость,— он боялся, как бы графиня не прочла на его лице, что он в дурном расположении духа.

Он взял ее руку; она бросилась к нему на шею, он поцеловал ее в лоб и проследовал за нею в комнаты молча, с трудом подавляя вздохи, теснившие ему грудь.

Одинокая свечка освещала будуар графини. Оба сели. Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера: розан украшал ее волосы. Накануне он принес ей прекрасную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини Портлендской, писанный Лесли (прическа была у нее та же, что теперь у графини), и сказал: «Простой розан в волосах мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он не любил драгоценностей; он был одного мнения с тем лордом, который, не стесняясь в выражениях, говорил: «В разряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам черт не разберется». Прошлою ночью, перебирая жемчужное ожерелье графини (у него была привычка непременно держать что-нибудь в руках во время разговора), Сен-Клер сказал ей: «Драгоценности нужны только для того, чтобы скрывать недостатки. Вы и без них очень хороши, Матильда». В тот же вечер графиня, придававшая значение каждому его слову, даже случайному, сняла с себя кольца, ожерелья, серьги и браслеты. В женском туалете, по его мнению, главную роль играла обувь; на этот счет у него, как и у многих других, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный дождь; трава была еще совершенно мокрая. А графиня выбежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атласных туфельках... Что, если она простудится?

«Она меня любит»,— сказал себе Сен-Клер и с грустью подумал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыбнувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба между подозрением и удовольствием видеть хорошенькую женщину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые имеют такую цену в глазах влюбленных.

Между тем сияющее лицо графини выражало любовь и веселое лукавство, делавшее его еще привлекательнее. Она достала что-то из лакированного японского ларца и, протягивая Сен-Клеру сжатый кулачок и не показывая, что в нем находится, сказала:

— На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот они.

Она передала ему часы, глядя на него нежно и шаловливо, закусив нижнюю губку, чтобы не рассмеяться. Господи, как прелестны были ее зубки! Какой белизной сверкали они на пылающем пурпуре ее губ! У мужчины бывает очень глупый вид, когда он холодно принимает ласки хорошенькой женщины.

Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы в карман, но она остановила его:

— Подождите! Откройте часы, посмотрите, хорошо ли они починены. Вы, такой ученый, вы, бывший ученик Политехнической школы, должны знать в этом толк.

— О, я мало в этом смыслю,— сказал Сен-Клер.

Он с рассеянным видом раскрыл часы. Каково же было его удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки миниатюрный портрет г-жи де Курси! Можно ли было после этого хмуриться? Лицо его просветлело; мысль о Масиньи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле прелестной женщины и что женщина эта его обожает.

. . . . . .

Послышалась песнь жаворонка, «глашатая зари»; на востоке длинные бледные лучи прорезывали облака. В такой же час Ромео прощался с Джульеттой; в этот классический час должны расставаться все влюбленные.

Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед камином, внимательно глядя на этрусскую вазу, о которой мы уже говорили. В глубине души он все еще на нее сердился. Он был, однако ж, в хорошем расположении духа, и тут наконец ему пришла в голову простая мысль, что Темин мог солгать. В то время как графиня, желавшая проводить его до калитки, набрасывала на голову шаль, он стал сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе ключом: можно было подумать, что он намерен разбить ее вдребезги.

— Боже мой! Осторожнее! — вскричала она.— Вы разобьете мою прелестную этрусскую вазу.

Она вырвала ключ у него из рук.

Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повернулся спиной к камину, чтобы не поддаться искушению, и, раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини.

— Кто писал его? — спросил он.

— Р***. Кстати, меня познакомил с ним Масиньи. После своего пребывания в Риме он вдруг открыл в себе тонкий художественный вкус и сделался меценатом всех молодых живописцев. Я нахожу, что портрет в самом деле похож; разве только художник немножко польстил мне.

Сен-Клеру хотелось хватить часы об стену (после этого вряд ли удалось бы их починить). Он сдержался, однако ж, и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело, он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его, быстрым шагом прошел через парк и вскоре очутился один среди полей.

«Масиньи, Масиньи! — мысленно восклицал он со сдержанным бешенством.— Неужели ты будешь вечно попадаться мне на пути?.. Живописец этот, без сомнения, написал другой такой же портрет для Масиньи!.. Каким надо быть глупцом, чтобы допустить хоть на минуту, что меня любили, как любил я!.. И все это только потому, что в волосах у нее розан и что она перестала носить драгоценности!.. У нее их полный ларчик... Масиньи, ценивший в женщине только туалеты, так любил драгоценности! Да, надо сознаться, у нее покладистый характер, большое умение приноравливаться к вкусам своих любовников. Черт побери, было бы в сто раз лучше, если б она была просто куртизанкой и отдавалась за деньги. Тогда я мог бы, по крайней мере, думать, что она действительно меня любит,— она моя любовница, а я ей не плачу».

Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула у него в голове. Через некоторое время траур графини кончался. С истечением годичного срока Сен-Клер должен был с ней обвенчаться. Он это ей обещал. Обещал? Нет. Он никогда не говорил с ней об этом, но таково было его намерение, и графиня о нем догадывалась. По его понятиям, это было равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во всеуслышание о своей любви; теперь он содрогался при одной мысли связать судьбу свою с бывшей любовницей Масиньи.

«Но я *должен,* однако ж, это сделать, и так это и будет,— повторял он мысленно.— Бедняжка, она, наверное, думала, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не скрывали ее. И то сказать: она мало еще меня знает и потому не может понять... Она думает, что я люблю ее так же, как любил Ма-

синьи. Что ж,— прибавил он не без гордости,— благодаря Матильде три месяца я был счастливейшим из людей; такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву остаток жизни».

Он не ложился и все утро ездил верхом по лесу. В одной из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной английской лошади; всадник еще издали назвал его по имени и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер был в таком состоянии, когда одиночество особенно приятно; при встрече с Темином его дурное расположение духа сменилось сдержанной яростью. Темин не замечал этого, а может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы дразнить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания на то, что Сен-Клер молчит. Увидев перед собою узенькую аллею, Сен-Клер тотчас же направил туда своего коня в надежде отвязаться от назойливого спутника, но он ошибся — назойливые люди не так легко расстаются со своими жертвами. Темин повернул коня, въехал в аллею и, догнав Сен-Клера, продолжал болтать, как ни в чем не бывало.

Как я уже говорил, аллея была узка; две лошади едва-едва могли двигаться рядом; ничего, следовательно, нет удивительного, если Темин, при всем своем умении держаться в седле, задел ногу Сен-Клера, проезжая мимо него. Но досада уже накипела в сердце Сен-Клера; он не в силах был ее сдерживать: привстав на стременах, он ударил хлыстом по морде лошадь Темина.

— Черт подери! Огюст! Что с вами? — воскликнул Темин.— За что вы бьете мою лошадь?

— Зачем вы за мной едете? — диким голосом закричал Сен-Клер.

— Вы с ума сошли, Сен-Клер! Вы забываете, с кем говорите!

— Отлично помню, что говорю с наглецом.

— Сен-Клер!.. Вы, должно быть, рехнулись... Завтра вы или извинитесь передо мной, или ответите мне за вашу дерзость.

— Итак, до завтра, милостивый государь!

Темин остановил лошадь; Сен-Клер проехал вперед и вскоре исчез в лесу.

С этой минуты он почувствовал себя спокойнее. У него была слабость верить в предчувствия. Ему представилось, что завтра он будет убит и что в этом простейший выход из положения, в которое он попал. Прожить еще один день — и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись домой, он

послал человека с запиской к полковнику Боже, написал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в половине девятого был у калитки парка.

. . . . . .

— Что с вами сегодня, Огюст? — спросила графиня.— Вы необыкновенно веселы, и тем не менее все ваши шутки не смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне было так весело! Сегодня наши роли переменились. У меня ужасно болит голова.

— Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера очень скучен, а сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя превосходно.

— А я поздно встала, долго спала утром и все время видела тяжелые сны.

— Сны? Вы верите снам?

— Какой вздор!

— А я верю,— сказал Сен-Клер.— Бьюсь об заклад, вы видели сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие.

— Я никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впрочем, постойте, начинаю припоминать... Я видела во сне Масиньи. Можете из этого заключить, что в моих снах не было ничего интересного.

— Масиньи! Мне думается, что вы не отказались бы увидеть его снова.

— Бедный Масиньи!

— Бедный Масиньи?

— Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? В вашей улыбке есть что-то демоническое. Вы как будто смеетесь сами над собою.

— Ну вот! Вы тоже начали обращаться со мной, как разные почтенные старушки, ваши приятельницы.

— Нет, кроме шуток, Огюст, у вас сегодня такое выражение лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми, которых недолюбливаете.

— Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку.

Он поцеловал ей руку с иронической галантностью, и с минуту они пристально смотрели друг на друга. Сен-Клер первый опустил глаза.

— Как трудно прожить на этом свете, не прослыв злым человеком! — сказал он.— Для этого необходимо говорить только о погоде или об охоте, либо обсуждать вместе с вашими приятельницами-старушками бюджет их благотворительных учреждений.

Сен-Клер взял со стола какую-то записку.

— Вот,— сказал он,— счет вашей прачки; будем беседовать об этом предмете, мой ангел, по крайней мере, вы не будете упрекать меня в том, что я злой.

— Вы меня просто удивляете, Огюст...

— Орфография этого счета напоминает мне письмо, найденное мною сегодня. Надо вам сказать, я разбирал сегодня свои бумаги; время от времени я навожу в них порядок. Так вот, я нашел любовное письмо, написанное мне швейкой, в которую я был влюблен, когда мне было шестнадцать лет. Каждое слово она писала особенным образом и притом крайне усложненно. Слог вполне соответствовал орфографии. Я был в то время немного фатом и находил несовместным с моим достоинством иметь любовницу, которая не владела пером, как госпожа де Севинье. Я быстро с ней порвал. Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швейка по-настоящему меня любила.

— Прекрасно! Женщина, которую вы содержали...

— Очень щедро: я давал ей пятьдесят франков в месяц. Опекун мой был прижимист; он утверждал, что молодой человек, у которого много денег, губит себя и других.

— А эта женщина? Что же с ней сталось?

— Почем я знаю?.. Вероятно, умерла в больнице.

— Если б это была правда, Огюст... вы бы не говорили об этом таким равнодушным тоном.

— Если хотите знать, она вышла замуж за «порядочного человека», а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей небольшое приданое.

— Какой вы, право, добрый!.. Зачем же вы хотите казаться злым?

— О, я очень добр!.. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня любила. Но в то время я не умел различить истинное чувство под смешной наружностью.

— Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы ревновать... У нас, женщин, больше чутья, чем у вас; мы по стилю письма сейчас же узнаём, искренен ли писавший его, или он разыгрывает страсть.

— Что не мешает вам, однако ж, попадаться так часто в ловушку глупцов и хвастунов!

Произнеся эти слова, Сен-Клер смотрел на этрусскую вазу, и в его глазах и в голосе было зловещее выражение, которого, однако ж, не заметила Матильда.

— Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за донжуанов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами часто попадаете в руки доньям жуанитам, еще более развращенным, чем вы.

— Конечно, с вашим тонким умом вы, женщины, должны чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, например, что ваш друг Масиньи, который был и глупец и фат, умер девственником и мучеником...

— Масиньи? Он был далеко не так глуп. А потом, женщины тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу одну историю, случившуюся с Масиньи... Впрочем, я, кажется, уже вам ее рассказывала?..

— Никогда! — произнес Сен-Клер, и голос его дрогнул.

— Возвратясь из Италии, Масиньи влюбился в меня. Он был знаком с моим мужем; муж представил его мне как человека умного и со вкусом. Они были созданы друг для друга. Масиньи был сначала ко мне очень внимателен: преподносил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту покупал их у Шрота, и беседовал со мною о музыке и живописи с видом знатока, не подозревая, как он смешон. Раз получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщина в Париже — и по этой причине он хочет стать моим любовником. Я показала письмо кузине Жюли. Обе мы тогда были сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вечером собрались у нас гости, в числе которых был и Масиньи. Кузина вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви,— я получила его сегодня утром». Берет письмо и читает его во всеуслышание при общем хохоте! Бедный Масиньи!

Сен-Клер радостно вскрикнул и упал на колени. Схватив руку графини, он покрыл ее поцелуями и окропил слезами. Матильда была крайне удивлена; ей даже показалось, что с ним что-то неладное. Сен-Клер мог только вымолвить: «Простите меня! Простите!» Наконец он встал: на лице его сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее, чем даже в тот день, когда Матильда в первый раз сказала ему: «Я люблю вас!»

— Я самый безумный, самый преступный человек на свете! — вскричал он.— Целых два дня меня мучили подозрения... а я не попытался объясниться с тобой...

— Ты подозревал меня!.. Но в чем же?

— О, я заслужил твое презрение!.. Мне сказали, что ты раньше любила Масиньи...

— Масиньи?..

Она засмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, сказала:

— Огюст! Можно ли быть в самом деле настолько безумным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько лицемерным, чтобы скрыть их от меня?

В ее глазах блеснули слезы.

— Умоляю, прости меня!

— Могу ли я на тебя сердиться, мой милый?.. Но хочешь, я поклянусь тебе...

— О, верю, верю! Мне не надо клятв...

— Но, ради бога, скажи мне, на чем основывал ты свои нелепые подозрения?

— Виною всему мой злосчастный характер... И еще... эта этрусская ваза... Я знал, что тебе подарил ее Масиньи...

Графиня в изумлении всплеснула руками, но тут же, заливаясь смехом, сказала:

— Моя этрусская ваза! Моя этрусская ваза!

Сен-Клер тоже не мог удержаться от смеха, хотя по щекам его катились крупные слезы. Он заключил Матильду в объятия и сказал:

— Я не выпущу тебя, пока не получу прощения...

— Прощаю тебя, безумец ты этакий! — проговорила она, нежно его целуя.— Сегодня я счастлива: в первый раз я вижу твои слезы; я не думала, чтобы ты мог плакать.

Высвободившись из его объятий, она схватила этрусскую вазу и, ударив об пол, разбила ее вдребезги. (Ваза принадлежала к числу очень редких. На ней изображен был в три краски бой лапифа с кентавром.)

В течение нескольких часов Сен-Клер был самым смущенным и самым счастливым из смертных.

. . . . . .

— Ну что? — спросил Рокантен, встретив полковника Боже вечером в кофейной Тортони.— Неужели это правда?

— К сожалению, да,— отвечал с грустным видом полковник.

— Расскажите же, как все произошло.

— Придраться не к чему. Сен-Клер сразу сказал мне, что он не прав, но хочет принести свои извинения только после того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одобрить его. Темин предложил бросить жребий, кому первому стрелять. Но Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял Темин.

Темин выстрелил. Я увидел, как Сен-Клер повернулся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, как солдаты, раненные насмерть, так же странно поворачивались, перед тем как испустить последний вздох.

— Это удивительно! — заметил Рокантен.— Что же сделал Темин?

— То, что делают в подобных случаях. Он с видом глубокого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный его исправить.

. . . . . .

В течение трех лет графиня никого не хотела видеть. Зиму и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из комнаты, редко даже обмениваясь словами с горничной-мулаткой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии этого времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путешествия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла бедную Матильду страшно исхудавшей и бледной; ей показалось, что перед ней труп женщины, которую она оставила такой прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных усилий извлечь Матильду из ее затвора и увезти на Гиерские острова. Там графиня протянула еще три-четыре месяца и, наконец, скончалась от «грудной болезни, вызванной семейными огорчениями», как уверял лечивший ее доктор М.

Недвижные паруса висели, словно прилипнув к мачтам; море было как зеркало; зной был удушлив, безветрие приводило в отчаяние.

В морском путешествии развлечения, которые могут доставлять себе обитатели корабля, немногочисленны. Увы! Люди слишком хорошо узнают друг друга, проведя вместе четыре месяца в деревянном жилище длиною в сто двадцать футов.

Вы видите, как подходит старший лейтенант, и вы уже знаете, что он сначала будет рассказывать вам о Рио-де-Жанейро, где он только что побывал; потом о пресловутом мосте под Эсслингом, построенном на его глазах гвардейским экипажем, в котором тогда служил и он. Недели через две вам уже известны его излюбленные выражения, все, вплоть до манеры расставлять знаки препинания в фразах, до различных интонаций его голоса. Он непременно сделает печальную паузу, когда в его рассказе первый раз встретится слово «император»... «Если бы вы тогда его видели!!!» (три восклицательных знака),— прибавляет он неизменно. А случай с лошадью трубача или с ядром, которое рикошетом сорвало сумку, где находилось семь с половиной тысяч франков в золоте и драгоценностях, и пр. и пр.! Младший лейтенант — великий политик; он каждый день обсуждает последний номер *Конститусьонеля,* вывезенный им из Бреста; если же он опустится с высот политики и снизойдет до литературы, то угостит вас разбором водевиля, который он только что видел. О боже!.. У судового интенданта была своя весьма интересная история. Когда в первый раз он нам рассказал, как он бежал с понтона в Кадисе, мы слушали его с восторгом; но, право же, при двадцатом повторении это уже было невыносимо... А мичманы, а гардемарины... Как вспомнишь их разговоры, волосы становятся дыбом. Капитан — обычно наименее скучный человек на корабле. В качестве дес-

потического начальника он находится в состоянии скрытой войны со всем своим штабом; он придирается, иногда притесняет, но зато какое удовольствие потихоньку проклинать его! Если у него есть какие-нибудь причуды, тягостные для подчиненных, то смеяться над своим начальником тоже не лишено приятности и служит некоторым утешением.

Офицеры корабля, на котором я находился, были превосходнейшие люди — все добрые малые, любившие друг друга братской любовью, но скучали они вовсю. Капитан был кротчайшим созданием, отнюдь не придирчивым (что встречается весьма редко). Свою диктаторскую власть он проявлял всегда очень неохотно. А все же каким долгим показалось мне это плавание! Особенно тягостно было безветрие, в полосу которого мы попали всего за несколько дней до того, как увидали землю!

Однажды после обеда, который мы от нечего делать тянули, насколько было возможно, мы все собрались на палубе в ожидании однообразного, но всегда величественного зрелища заката солнца на море. Одни курили, другие перечитывали в двадцатый раз какой-нибудь из трех десятков томов нашей жалкой библиотеки; все до слез зевали. Мичман, сидевший рядом со мной, занимался тем, что с важностью, достойной лучшего применения, бросал на дощатый пол палубы острием вниз кортик, который обычно носят при непарадной форме морские офицеры.

Это тоже своего рода развлечение, притом требующее известной ловкости для того, чтобы острие совершенно отвесно воткнулось в доску. Мне захотелось последовать примеру мичмана, и я попросил у капитана его кортик, так как своего у меня не было. Но он отказал мне. Он очень дорожил этим оружием, и ему было бы неприятно, если б оно послужило для такой праздной забавы. Прежде кортик этот принадлежал одному храброму офицеру, к несчастью, погибшему в последнюю кампанию... Я предчувствовал, что за этим последует какая-нибудь история. Я не ошибся. Капитан не заставил себя просить и начал рассказ. Что касается окружавших нас офицеров, из которых каждый наизусть знал злоключения лейтенанта Роже, они тотчас же потихоньку ретировались. Вот что рассказал мне капитан.

Когда я познакомился с Роже, он был на три года старше меня: он был лейтенантом, я — мичманом. Уверяю вас, это был один из лучших офицеров в нашей команде, к тому же с пре-

красным сердцем, умница, образованный, талантливый — одним словом, очаровательный молодой человек. К несчастью, немного горд и обидчив; происходило это, вероятно, оттого, что он был незаконным сыном и боялся, как бы его происхождение не лишило его положения в обществе. Но, по правде сказать, главным его недостатком было постоянное и непреодолимое желание первенствовать всюду, где бы он ни находился. Отца своего он никогда не видел, но тот выплачивал ему содержание, которого ему за глаза хватало бы, если бы Роже не был воплощенной щедростью. Все, что он имел, было к услугам его друзей. Придешь к нему после того, как он получит свое трехмесячное жалованье, сделаешь печальное и озабоченное выражение лица, а он сейчас же спросит:

— Что с тобой, приятель? Видно, если ты хлопнешь себя по карману, там не очень-то зазвенит... Полно! Вот мой кошелек. Бери, сколько нужно, и едем со мной обедать.

В Брест приехала молодая актриса, очень хорошенькая, по имени Габриэль, и сейчас же одержала ряд побед над моряками и гарнизонными офицерами. Ее нельзя было назвать безупречной красавицей, но она была хорошего роста, у нее были красивые глаза, маленькая ножка и достаточно наглый вид — все это очень нравится малым от двадцати до двадцати пяти лет. Говорили, что к тому же она самое капризное существо женского пола; ее манера играть не опровергала этой репутации. Иногда играла она восхитительно, так, что можно было признать ее за первоклассную артистку, а на следующий день в той же пьесе она была холодна, бесчувственна и произносила свою роль, как ребенок твердит катехизис. Наших молодых людей особенно заинтересовала следующая история, которую про нее рассказывали. Будто бы ее содержал, тратя на нее много денег, некий парижский сенатор, совершавший ради нее всяческие, что называется, безумства. В один прекрасный день человек этот, будучи у нее в гостях, надел шляпу; она попросила ее снять, даже принялась жаловаться на недостаток уважения к ней. Сенатор рассмеялся, пожал плечами и, усевшись плотнее в кресло, сказал: «Неужели же я не могу вести себя как дома у девицы, которую я содержу?» В ответ на это Габриэль дала ему своей белой ручкой такую увесистую оплеуху, что шляпа сенатора полетела в другой угол комнаты. В результате — полный разрыв. Банкиры и генералы делали ей солидные предложения, но она на все отвечала отказом и сделалась актрисой, чтобы вести, по ее словам, независимый образ жизни.

Как только Роже ее увидел и узнал про эту историю, он решил, что особа эта как раз по нем, и, чтобы показать ей, насколько ее прелести его тронули, он с грубоватой откровенностью, в которой упрекают нашего брата — моряка, прибегнул к такому способу. Он купил лучших и самых редких, какие только можно было найти в Бресте, цветов, составил из них букет, перевязал его красивой розовой лентой, а в бант очень аккуратно вложил сверток из двадцати пяти золотых: в данную минуту это было все его состояние. Я помню, что в антракте пошел с Роже за кулисы. Он сказал Габриэль коротенький комплимент насчет грации, с какой она носит костюм, поднес букет и попросил разрешения нанести ей визит. Все это высказано было в двух словах.

Покуда Габриэль видела только цветы и красивого молодого человека, который их подносит, она ему улыбалась и сопровождала свои улыбки премилыми поклонами; но когда она взяла букет в руки и почувствовала тяжесть золота, ее физиономия изменилась быстрее, чем поверхность моря под тропическим ураганом. И действительно, она была не менее сердита, чем ураган; изо всей силы она бросила букет и золотые монеты в лицо моему бедному другу, и тот целую неделю после этого ходил с синяками. Раздался звонок режиссера. Габриэль вышла на сцену и сыграла все шиворот-навыворот.

Роже сконфуженно подобрал свой букет и сверток с монетами и отправился в кофейную; там он поднес букет (уже без денег) кассирше, а воспоминание о жестокой красавице постарался утопить в пунше. Это ему не удалось, и, очень досадуя, что никуда не может показаться с подбитым глазом, он все же безумно влюбился в строптивую Габриэль. Он ей писал по двадцати писем в день. И какие это были письма! Смиренные, нежные, почтительные... Их можно было бы адресовать какой-нибудь принцессе. Первые были возвращены ему нераспечатанными, последующие остались без ответа. Роже тем не менее сохранял кое-какую надежду, пока мы не обратили внимания на то, что театральная фруктовщица заворачивала апельсины в любовные письма Роже, которые Габриэль отдавала ей из утонченной злобы. Это был страшный удар для гордости нашего друга. Страсть его, однако, не уменьшалась. Он говорил, что посватается к актрисе; когда же ему сказали, что морской министр не даст ему на это согласия, он объявил, что застрелится.

В это самое время офицерам линейного полка Брестского гарнизона вздумалось заставить Габриэль повторить какие-то водевильные куплеты, а она закапризничала и отказалась. Офи-

церы и актриса так старались переупрямить друг друга, что они свистками заставили опустить занавес, а она лишилась чувств. Вы знаете, какая публика в партере гарнизонного города. Офицеры сговорились между собой, что начиная со следующего же дня они будут беспощадно освистывать провинившуюся, что они ей не дадут сыграть ни одной роли, пока она надлежащим смирением не искупит свою вину. Роже не присутствовал на этом представлении, но он в тот же вечер узнал о скандале, взволновавшем весь театр, и о том, какая месть замышляется назавтра. Решение было принято им немедленно.

На другой день, как только Габриэль появилась на сцене, с офицерских мест раздались оглушительные шиканье и свист. Роже, поместившийся нарочно поблизости от скандалистов, поднялся и запротестовал, позволив себе по отношению к самым шумным из них столь оскорбительные выражения, что вся их ярость тотчас же обратилась на него. Тогда с величайшим хладнокровием он вынул свою записную книжку и стал заносить в нее фамилии, которые ему со всех сторон выкрикивали. Он принял бы вызов от всего полка, если бы из духа товарищества в дело не вмешались многие морские офицеры и не вызвали большую часть его противников. Шум поднялся невероятный.

Весь гарнизон был посажен под арест на несколько дней; но когда офицеров выпустили на свободу, мы должны были рассчитаться со всеми нашими противниками. На место поединка сошлось около шестидесяти человек. Роже довелось драться с тремя офицерами: одного он убил, а двух других тяжело ранил, сам не получив ни одной царапины. Я был менее удачлив: какой-то проклятый лейтенант, который оказался бывшим учителем фехтования, так хватил меня в грудь шпагой, что я чуть не умер. Поверьте, эта дуэль, или, лучше сказать, эта битва, представляла собой прекрасное зрелище. Флот одержал верх, и полк принужден был покинуть Брест.

Разумеется, высшее начальство не забыло того, кто был виновником этой ссоры. В продолжение двух недель к дверям его был приставлен караул.

К тому времени, как арест с него был снят, я вышел из госпиталя и отправился его навестить. Каково же было мое удивление, когда, войдя к нему, я застал его завтракающим с глазу на глаз с Габриэль! По-видимому, они уже давно пришли к полному соглашению. Они уже говорили друг другу «ты» и пили из одного стакана. Роже представил меня своей любовнице как своего лучшего друга и сообщил ей, что я был ранен в стычке, причиной которой была она. За это я получил поцелуй

от прекрасной особы. Наклонности у этой девицы были весьма воинственные.

Три месяца они были вполне счастливы и не разлучались ни на минуту. Габриэль, казалось, страстно полюбила Роже, а он признавался, что до встречи с нею не знал, что такое любовь.

В гавань прибыл голландский фрегат. Офицеры дали обед в нашу честь. Различных вин было выпито более чем достаточно. Наконец убрали со стола; эти господа говорили по-французски очень плохо, и потому собравшиеся, не зная, чем заняться, принялись за игру. У голландцев, по-видимому, было много денег, а их старший лейтенант рвался играть так крупно, что никто из нас не рисковал составить ему партию. Роже, который обычно никогда не играл, решил, что нужно поддержать национальную честь. Итак, он стал играть и отвечал на все ставки голландского лейтенанта. Сначала он был в выигрыше, потом стал проигрывать. Выигрыш и проигрыш несколько раз чередовались, и противники разошлись, закончив игру вничью. Мы дали ответный обед голландским офицерам. Снова была игра. Роже и лейтенант возобновили схватку. Одним словом, в течение нескольких дней они сходились то в кофейной, то на корабле, перепробовав всевозможные игры (особенно часто играли они в триктрак), и все время повышали ставки, так что, в конце концов, дошли до двадцати пяти наполеондоров за партию. Это была огромная сумма для таких неимущих офицеров, как мы,— больше чем двухмесячное жалованье! К концу недели Роже проиграл все свои наличные деньги, да еще в придачу три или четыре тысячи франков, которые он взял взаймы у кого только мог.

Вы, конечно, понимаете, что, в конце концов, у Роже и Габриэль хозяйство и касса сделались общими; это означало, что Роже, недавно получивший из дому значительную сумму, вложил в общий котел в десять или в двадцать раз больше, чем актриса. Тем не менее он всегда смотрел на общие деньги главным образом как на собственность своей любовницы и удержал для своих личных надобностей каких-нибудь полсотни наполеондоров. Однако теперь он должен был прибегнуть к этому резерву, чтобы продолжать игру. Габриэль на это не сказала ни слова.

Деньги на хозяйство отправились туда же, куда и карманные деньги. Вскоре Роже пришлось поставить последние двадцать пять наполеондоров. Он играл до ужаса старательно, так что партия вышла долгая и упорная. Наступила такая минута, что для Роже, за которым была очередь бросать кости, осталась

только одна возможность выиграть: помнится, надо было выкинуть шесть и четыре. Была уже поздняя ночь. Один офицер, долго следивший за их игрой, заснул в кресле. Голландец устал, и ему хотелось спать; к тому же он много выпил пуншу. Один Роже был насторожен. Им владело отчаяние. Он весь дрожал, бросая кости. Он с такой силой швырнул их на игральную доску, что одна свеча от сотрясения упала на пол. Голландец сначала посмотрел на свечу, которая залила воском его новые брюки, а потом уж на кости. Они показывали шесть и четыре. Роже, бледный как смерть, получил двадцать пять наполеондоров. Они продолжали игру. Счастье улыбнулось моему несчастному другу, хотя он делал промах за промахом и так сам себе загораживал ходы, будто хотел проиграть. Голландский лейтенант упорствовал: он удваивал, удесятерял ставки и все время проигрывал. Как сейчас вижу: высокий блондин, флегматичный, и лицо как будто восковое. Наконец он поднялся, проиграв восемьдесят тысяч франков, и выплатил их без малейших признаков волнения.

Роже сказал ему:

— Сегодняшняя игра не идет в счет: вы почти засыпали; я не возьму ваших денег.

— Вы шутите,— ответил флегматичный голландец,— я очень хорошо играл, но мне не везло. Я уверен, что в любой момент могу вас обыграть в пух и прах. Прощайте!

И они расстались.

На следующий день мы узнали, что в отчаянии от проигрыша он застрелился в своей каюте, предварительно осушив чашу пунша.

Восемьдесят тысяч франков, выигранные Роже, лежали на столе, и Габриэль смотрела на них с улыбкой удовлетворения.

— Вот мы и богаты! — сказала она.— Что мы будем делать с такой кучей денег?

Роже ничего не отвечал; казалось, он не мог прийти в себя после смерти голландца.

— Нужно натворить всяких глупостей,— продолжала Габриэль.— Деньги эти так легко пришли к нам, что истратить их следует с такой же легкостью. Купим коляску и будем дразнить коменданта порта и его жену. Мне хочется бриллиантов, кашемира. Попроси отпуск и поедем в Париж. Здесь нам ввек не истратить всех этих денег!

Она остановилась и взглянула на Роже. Он не слушал ее, он сидел, подперев голову рукою, не поднимая глаз; казалось, самые мрачные мысли бродили у него в голове.

— Что с тобою, Роже? — воскликнула она, положив руку ему на плечо.— Дуешься ты на меня, что ли? Слова из тебя не вытянешь.

— Я очень несчастен,— произнес он с подавленным вздохом.

— Несчастен! Господи прости, уж не раскаиваешься ли ты в том, что ощипал этого толстого *мингера?*

Он поднял голову и посмотрел на нее остановившимся взором.

— Что за важность,— продолжала она,— что он отнесся к этому так трагически и выпустил себе из головы остатки мозгов? Я не жалею проигравшихся игроков. Пусть уж лучше его деньги находятся в наших руках, чем в его. Он истратил бы их на выпивку да на табак, между тем как мы... мы затеем массу чудачеств, одно элегантнее другого.

Роже ходил по комнате, опустив голову и полузакрыв глаза, полные слез. Вам стало бы жалко его, если бы вы его видели.

— Знаешь,— сказала Габриэль,— кому неизвестна твоя романтическая чувствительность, тот мог бы подумать, что ты сплутовал в игре.

— А если это так и есть? — произнес он глухим голосом, останавливаясь перед ней.

— Вздор! — ответила она с улыбкой.— У тебя ума не хватит, чтобы сплутовать в игре.

— Да, я сплутовал, Габриэль, сплутовал, как жалкий подлец.

Она поняла по его волнению, что он говорит правду. Она села на кушетку и некоторое время молчала.

— Лучше бы...— наконец промолвила она взволнованно,— лучше бы ты убил десять человек, чем сплутовал в игре.

Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на софе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый и довольно спокойно пожелал ей доброй ночи.

— Доброй ночи,— ответила она сухо и холодно.

Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.

На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувстви-

тельности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, выказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.

Месяца полтора спустя после несчастной партии в трик-трак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемарином, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чувствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остаток гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось! Он осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.

— Должно быть,— говорил он,— этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.

— А почему бы и нет? — холодно возразила актриса.— Да, я взяла бы деньги у матроса, но... *не стала бы его обворовывать.*

У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться жестокому искушению.

В тот вечер, довольно поздно проходя мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я обнаружил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня различные поручения. Пока я читал, он продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль... Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:

— Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?

— Друг мой! — сказал он, запечатывая письмо.— Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.

Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришло в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.

— Значит,— вскричал он с горькой иронией,— я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым воришкой!

И он расхохотался.

Я залился слезами.

Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.

— Прости меня! — воскликнула она, сжимая его в объятиях.— Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла... Да, я украла: я украла золотые часы... Что может быть хуже?

Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.

— Нет, бедное дитя,— сказал он, тихонько отстраняя ее,— я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.

— Ну, хорошо! Если ты хочешь умереть, Роже, я умру вместе с тобой! Без тебя что́ значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.

Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.

— Ты смеешься, мой офицер! — воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его.— Ты не убьешь себя!

Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ру-

гаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.

Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:

— Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в этой жизни.

Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.

Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он роздал матросам-инвалидам и вдовам и сиротам моряков. Остальные он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные она накупила тряпок.

Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображавший себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог резкий ветер, принудивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.

К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные

мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.

Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:

— Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион! А скажи: когда ты был любовником жены префекта в ***, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стоила подороже, чем двадцать пять наполеондоров.

Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.

Я продолжал:

— В конце концов у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это — преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало из возвышенного чувства.

Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.

— Конечно. Что сталось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку... Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету... Именно ради нее, из любви к ней ты сплутовал... Есть люди, которые из-за любви убивают других... убивают себя... Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы — назовем вещи своими именами,— чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.

— Теперь, может быть, я вам кажусь смешным,— обратился ко мне капитан, прерывая свой рассказ.— Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!

Роже помолчал, потом протянул мне руку.

— Друг мой! — сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие.— Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только

о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров,— вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю... Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты...» Нет, нет... О ней я не думал... В ту минуту я не был влюбленным... я был игроком... я был вором... Я украл деньги, чтобы присвоить их... и поступок этот унизил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви... Я живу и не думаю больше о Габриэль... я конченый человек.

Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.

В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.

— Через два часа,— сказал он,— завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный,— это подпустить к себе врага, затем, взяв его на абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было — несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш... капитан — ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.

— А может быть,— сказал я,— мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?

— Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только

ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.

— Что за вздор! — воскликнул я.— Хорошие поручения ты мне даешь!

— Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.

Подумав, я сказал:

— Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен, без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.

— Я буду смертельно ранен или просто буду убит.

Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты он стал спокойнее, даже какой-то воинственный задор заиграл на его лице.

К трем часам пополудни выстрелы носовых орудий противника начали задевать наши снасти. Тогда мы свернули часть парусов, стали в траверс к «Алкесте» и открыли беглый огонь; англичане тоже спуску нам не давали. После пальбы, длившейся примерно час, наш капитан, все делавший невпопад, решил попробовать абордаж. Но у нас было уже много убитых и раненых, а у остальных пропал боевой пыл; к тому же наши снасти немало пострадали, а мачты были сильно повреждены. В ту минуту, как мы распустили паруса, чтобы подойти к англичанам, наша грот-мачта, ничем больше не поддерживаемая, рухнула со страшным грохотом. «Алкеста» воспользовалась замешательством, произведенным этой бедою: она прошла мимо нашей кормы и на половинном расстоянии пистолетного выстрела разрядила в нас все свои бортовые орудия; так она прошла вдоль всего нашего несчастного фрегата, который мог противопоставить ей с этой стороны только две маленькие пушки.

В эту минуту я находился около Роже, который рубил ванты, еще державшие свалившуюся мачту. Я почувствовал, что он крепко сжимает мне руку. Оборачиваюсь и вижу: он опрокинулся на палубу и весь залит кровью. Он только что получил заряд картечи в живот.

Капитан подбежал к нему.

— Что делать, лейтенант? — вскричал он.

— Прибить флаг к обломку мачты и пустить судно ко дну.

Капитану не очень понравился этот совет, и он сейчас же отошел.

— Ну,— произнес Роже,— не забудь своего обещания.

— Пустяки! — ответил я.— Ты еще поправишься.

— Бросай меня за борт! — закричал он с ужасными ругательствами, хватая меня за полы.— Ты видишь, я все равно подохну; бросай меня в море; я не хочу видеть, как спустят флаг.

К нему подошли два матроса, чтобы отнести его в трюм.

— К пушкам, мерзавцы! — закричал он.— Палите картечью, цельтесь в верхнюю палубу! А ты — раз ты не держишь слова, я тебя проклинаю, считаю за самого трусливого и подлого человека!

Рана его, очевидно, была смертельна. Я видел, как капитан подозвал гардемарина и приказал ему спустить флаг.

— Дай мне руку,— сказал я Роже.

В то самое мгновение, когда флаг наш был спущен...

— Капитан! У бакборта кит! — прервал рассказчика подбежавший мичман.

— Кит! — вскричал капитан, просияв от радости и прервав свой рассказ.— Живо! Шлюпку в море! Лодку в море! Все шлюпки в море! Гарпуны, веревки! И т. д. и т. д.

Так мне и не удалось узнать, как умер бедный лейтенант Роже.

Zagala, más que las flores
Blanca, rubia y ojos verdes,
Si piensas seguir amores,
Piérdete bien, pues te pierdes [1].

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жюли де Шаверни была замужем около шести лет, и вот уж пять с половиной лет, как она поняла, что ей не только невозможно любить своего мужа, но даже трудно питать к нему хотя бы некоторое уважение.

Между тем муж отнюдь не был человеком бесчестным; он не был ни грубияном, ни дураком. А все-таки его, пожалуй, можно было назвать всеми этими именами. Если бы она углубилась в свои воспоминания, она припомнила бы, что когда-то он был ей приятен, но теперь он казался ей несносным. Все в нем отталкивало ее. При взгляде на то, как он ел, пил кофе, говорил, с ней делались нервные судороги. Они виделись и разговаривали только за столом, но обедать вместе им приходилось несколько раз в неделю, и этого было достаточно, чтобы поддерживать отвращение Жюли.

Шаверни был довольно представительный мужчина, слишком полный для своего возраста, сангвиник, со свежим цветом лица, по характеру своему не склонный к тому смутному беспокойству, которому часто подвержены люди, обладающие воображением. Он свято верил, что жена питает к нему спокойную дружбу (он слишком был философом, чтобы считать себя любимым, как в первый день супружества), и уверенность эта не доставляла ему ни удовольствия, ни огорчения; он легко примирился бы и с обратным положением. Он несколько лет

[1] Девушка зеленоглазая,
Более белая и алая, чем цветы!
Коль скоро ты решила полюбить,
То погибай до конца, раз уж ты гибнешь *(исп.)*.

прослужил в кавалерийском полку, но, получив крупное наследство, почувствовал, что гарнизонная жизнь ему надоела, подал в отставку и женился. Объяснить брак двух молодых людей, не имеющих ничего общего,— это довольно трудная задача. С одной стороны, дед с бабкой и некоторые услужливые люди, которые, подобно Фрозине, охотно повенчали бы Венецианскую республику с турецким султаном, изрядно хлопотали, чтобы упорядочить материальные дела. С другой стороны, Шаверни происходил из хорошей семьи, в то время еще не растолстел, был весельчаком и в полном смысле слова «добрым малым». Жюли нравилось, что он ходит к ее матери, так как он смешил ее рассказами из полковой жизни, комизм которых не всегда отличался хорошим вкусом. Она находила, что он очень мил, так как он танцевал с нею на всех балах и всегда придумывал способ уговорить мать Жюли остаться на них подольше, съездить в театр или в Булонский лес. Наконец, Жюли считала его героем, так как он два или три раза с честью дрался на дуэли. Но окончательную победу доставило Шаверни описание кареты, которую он собирался заказать по собственному рисунку и в которой он обещал сам повезти Жюли, когда она согласится отдать ему свою руку.

Через несколько месяцев после свадьбы все прекрасные качества Шаверни в значительной степени потеряли свою ценность. Нечего и говорить, что он уже не танцевал со своей женой. Забавные историйки свои он пересказал уже раза по три, по четыре. Теперь он находил, что балы ужасно затягиваются. В театрах он зевал и считал невыносимо стеснительным обычай одеваться к вечеру. Главным его недостатком была леность. Если бы он заботился о том, чтобы нравиться, ему это, может быть, и удалось бы, но всякое стеснение казалось ему наказанием — это свойство почти всех тучных людей. В обществе ему было скучно, потому что там любезный прием прямо пропорционален усилиям, затраченным на то, чтобы понравиться. Шумный кутеж предпочитал он всяким более изысканным развлечениям, ибо для того, чтобы выделиться в среде людей, которые были ему по вкусу, ему было достаточно перекричать других, а это не представляло для него трудностей при его могучих легких. Кроме того, он полагал свою гордость в том, что мог выпить шампанского больше, чем обыкновенный человек, и умел превосходно брать четырехфутовые барьеры. Таким образом, он приобрел вполне заслуженное уважение среди тех трудно определимых существ, которые называются «молодыми людьми» и которыми кишат

наши бульвары начиная с пяти часов вечера. Охота, загородные прогулки, скачки, холостые обеды, холостые ужины — всему этому он предавался со страстью. Раз двадцать на дню он повторял, что он счастливейший из смертных. И всякий раз, как Жюли это слышала, она поднимала глаза к небу, и маленький ротик ее выражал при этом несказанное презрение.

Она была молода, красива и замужем за человеком, который ей не нравился; вполне понятно, что ее окружало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разочарование, которое постигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинктивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей на чопорность. Притом она умела быть любезной со всеми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти ни малейшего повода для злословия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Супруги обедали у матери Жюли г-жи де Люсан, собиравшейся уехать в Ниццу. Шаверни, который смертельно скучал у своей тещи, принужден был провести там вечер, хотя ему и очень хотелось встретиться со своими друзьями на бульваре. После обеда он уселся на удобный диван и просидел два часа, погруженный в молчание. Объяснялось его поведение очень просто: он заснул, сохраняя, впрочем, вполне приличный вид, склонив голову набок, словно с интересом прислушиваясь к разговору. Время от времени он даже просыпался и вставлял одно-два словечка.

Затем пришлось сесть за вист. Этой игры он терпеть не мог, так как она требует известного умственного напряжения. Все это задержало его довольно долго. Пробило половину двенадцатого. На вечер Шаверни не был никуда приглашен,—

он решительно не знал, куда деваться. Покуда он мучился этим вопросом, доложили, что экипаж подан. Если он поедет домой, нужно будет ехать с женой; перспектива провести с ней двадцать минут с глазу на глаз пугала его. Но у него не было при себе сигар, и он сгорал от нетерпения вскрыть новый ящик, полученный им из Гавра как раз в ту минуту, когда он выезжал на обед. Он покорился своей участи.

Окутывая жену шалью, он не мог удержаться от улыбки, когда увидел себя в зеркале исполняющим обязанности влюбленного мужа. Обратил он внимание и на жену, на которую за весь вечер ни разу не взглянул. Сегодня она показалась ему красивее, чем обыкновенно; поэтому он довольно долго расправлял складки на ее шали. Жюли было также не по себе от предвкушения супружеского тет-а-тета. Она надула губки, и дуги бровей у нее невольно сдвинулись. Все это придало ее лицу такое привлекательное выражение, что даже сам муж не мог остаться равнодушным. Глаза их в зеркале встретились во время только что описанной процедуры. Оба смутились. Чтобы выйти из неловкого положения, Шаверни, улыбаясь, поцеловал у жены руку, которую она подняла, чтобы поправить шаль.

— Как они любят друг друга! — прошептала г-жа де Люсан, не замечая ни холодной пренебрежительности жены, ни равнодушия супруга.

Сидя рядом в своем экипаже, почти касаясь друг друга, они некоторое время молчали. Шаверни отлично знал, что из приличия нужно о чем-нибудь заговорить, но ему ничего не приходило в голову. Жюли хранила безнадежное молчание. Он зевнул раза три или четыре, так что самому стало стыдно, и при последнем зевке счел необходимым извиниться перед женой.

— Вечер затянулся,— заметил он в виде оправдания.

Жюли усмотрела в этом замечании намерение покритиковать вечера у ее матери и сказать ей какую-нибудь неприятность. С давних пор она привыкла уклоняться от всяких объяснений с мужем; поэтому она продолжала хранить молчание.

У Шаверни в этот вечер неожиданно развязался язык; минуты через две он снова начал:

— Я отлично пообедал сегодня, но должен вам сказать, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое.

— Что? — спросила Жюли, неторопливо повернув к нему голову и притворяясь, что не расслышала.

— Я говорю, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое. Я забыл ей об этом сказать. Странное дело: вообра-

жают, что нет ничего легче, как выбрать шампанское. Между тем это очень трудно. На двадцать плохих марок одна хорошая.

— Да?

Удостоив его из вежливости этим восклицанием, Жюли отвернулась и стала смотреть в окно кареты. Шаверни откинулся на спинку и положил ноги на переднюю скамеечку, несколько раздосадованный тем, что жена его так явно равнодушна ко всем его стараниям завязать разговор.

Тем не менее, зевнув еще раза два или три, он снова начал, придвигаясь к Жюли:

— Сегодняшнее ваше платье удивительно к вам идет, Жюли. Где вы его заказывали?

«Наверно, он хочет заказать такое же для своей любовницы»,— подумала Жюли и, слегка улыбнувшись, ответила:

— У Бюрти.

— Почему вы смеетесь? — спросил Шаверни, снимая ноги со скамеечки и придвигаясь еще ближе.

В то же время он жестом, несколько напоминавшим Тартюфа, стал поглаживать рукав ее платья.

— Мне смешно, что вы замечаете, как я одета,— отвечала Жюли.— Осторожнее! Вы изомнете мне рукава.

И она высвободила свой рукав.

— Уверяю вас, я очень внимательно отношусь к вашим туалетам и в полном восхищении от вашего вкуса. Честное слово, еще недавно я говорил об этом с... с одной женщиной, которая всегда очень плохо одета... хотя ужасно много тратит на платья... Она способна разорить... Я говорил с ней... и ставил в пример вас...

Жюли доставляло удовольствие его смущение; она даже не пыталась прийти к нему на помощь и не прерывала его.

— У вас неважные лошади: они еле передвигают ноги. Нужно будет их переменить,— произнес Шаверни, совершенно смешавшись.

В течение остального пути разговор не отличался оживленностью: с той и с другой стороны он не шел далее нескольких фраз.

Наконец супруги добрались до дому и расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

Жюли начала раздеваться. Горничная ее зачем-то вышла, дверь в спальню неожиданно отворилась, и вошел Шаверни. Жюли торопливо прикрыла плечи платком.

— Простите,— сказал он,— мне бы хотелось почитать на сон грядущий последний роман Вальтера Скотта... *Квентин Дорвард,* кажется?

— Он, наверное, у вас,— ответила Жюли,— здесь книг нет.

Шаверни посмотрел на жену. Полуодетая (а это всегда подчеркивает красоту женщины), она показалась ему, если пользоваться одним из ненавистных мне выражений, *пикантной.* «В самом деле, она очень красива!» — подумал Шаверни. И он продолжал стоять перед нею, не двигаясь с места и не говоря ни слова, с подсвечником в руке. Жюли тоже стояла перед ним и мяла ночной чепчик, казалось, с нетерпением ожидая, когда он оставит ее одну.

— Вы сегодня очаровательны, черт меня побери! — воскликнул Шаверни, делая шаг вперед и ставя подсвечник.— Люблю женщин с распущенными волосами!

С этими словами он схватил рукою одну из прядей, покрывавших плечи Жюли, и почти с нежностью обнял ее за талию.

— Боже мой, как от вас пахнет табаком! — воскликнула Жюли и отвернулась.— Оставьте мои волосы в покое, а то они пропитаются табачным запахом, и я не смогу от него отделаться.

— Пустяки! Вы говорите это просто так, зная, что я иногда курю. Ну, женушка, не изображайте из себя недотрогу!

Она недостаточно быстро вырвалась из его объятий, так что ему удалось поцеловать ее в плечо.

К счастью для Жюли, вернулась горничная. Для женщины нет ничего ненавистнее подобных ласк, которые и принимать и отвергать одинаково смешно.

— Мари! — обратилась г-жа де Шаверни к горничной.— У моего голубого платья лиф слишком длинен. Я видела сегодня госпожу де Бежи, а у нее безукоризненный вкус: лиф у нее был на добрых два пальца короче. Заколите складку булавками,— посмотрим, как это выйдет.

Между горничной и барыней завязался самый оживленный разговор относительно того, какой длины должен быть лиф. Жюли знала, что Шаверни терпеть не может разговоров о тряпках и что она его выживет таким образом. Действительно, походив взад и вперед минут пять и видя, что Жюли всецело занята своим лифом, Шаверни зевнул во весь рот, взял свой подсвечник, вышел и больше не возвращался.

Майор Перен сидел за маленьким столиком и внимательно читал. Тщательно вычищенный сюртук, фуражка и в особенности гордо выпяченная грудь — все выдавало в нем старого служаку. В комнате у него все было чисто, но крайне просто. Чернильница и два очиненных пера находились на столе рядом с пачкой почтовой бумаги, ни один листик которой не был пущен в ход, по крайней мере, в течение года. Но если майор Перен не любил писать, то читал он очень много. В настоящее время он читал *Персидские письма,* покуривая пенковую трубку, и двойное занятие это поглощало все его внимание, так что он не сразу заметил, как в его комнату вошел майор де Шатофор. Это был молодой офицер из его полка, обладавший очаровательной наружностью, крайне любезный, фатоватый, которому очень покровительствовал военный министр,— словом, почти во всех отношениях прямая противоположность майору Перену. Тем не менее они почему-то дружили и видались ежедневно.

Шатофор хлопнул по плечу майора Перена. Тот обернулся, не вынимая трубки изо рта. Первым чувством его была радость при виде друга; вторым — сожаление (достойный человек!), что его оторвали от книги; третьим — покорность обстоятельствам и полная готовность быть гостеприимным хозяином. Он стал отыскивать в кармане ключ от шкафа, где хранилась заветная коробка с сигарами, которых сам майор не курил, но которыми он по одной угощал своего друга.

Но Шатофор, видавший это движение сотни раз, остановил его, воскликнув:

— Не надо, дядюшка Перен, поберегите ваши сигары! Я взял с собой.

Затем он достал изящный портсигар из мексиканской соломки, вынул оттуда сигару цвета корицы, заостренную с обоих концов, и, закурив ее, растянулся на маленькой кушетке, которой майор Перен никогда не пользовался; голову он положил на изголовье, а ноги — на противоположный валик. Первым делом Шатофор окутал себя облаком дыма; потонув в нем, он закрыл глаза, словно обдумывая то, что намеревался сообщить. Лицо его сияло от радости; грудь, по-видимому, с трудом удерживала тайну счастья — он горел нетерпением выдать ее. Майор Перен, усевшись на стул около кушетки, некоторое время курил молча, потом, видя, что Шатофор не торопится рассказывать, спросил:

— Как поживает Урика?

Урика была черная кобыла, которую Шатофор загнал, чуть не доведя ее до запала.

— Отлично,— ответил Шатофор, не расслышав вопроса.— Перен! — вскричал он, вытягивая по направлению к нему ногу, лежавшую на валике кушетки.— Знаете ли вы, что для вас большое счастье быть моим другом?..

Старый майор стал перебирать в уме, какие выгоды имел он от знакомства с Шатофором, но ничего не мог вспомнить, кроме нескольких фунтов кнастера, которые тот ему подарил, да нескольких дней ареста за участие в дуэли, где первую роль играл Шатофор. Правда, его друг неоднократно давал ему доказательства своего доверия. Шатофор всегда обращался к Перену, когда нужно было заменить его по службе или когда ему требовался секундант.

Шатофор не дал ему времени на раздумье и протянул письмецо на атласной английской бумаге, написанное красивым бисерным почерком. Майор Перен состроил гримасу, которая у него должна была заменять улыбку. Он часто видел эти атласные письма, покрытые бисерным почерком и адресованные его другу.

— Вот, прочтите,— сказал тот,— вы этим обязаны мне.

Перен прочел нижеследующее:

«Было бы очень мило с Вашей стороны, дорогой господин де Шатофор, если бы Вы пришли к нам пообедать. Господин де Шаверни лично приехал бы Вас пригласить, но он должен отправиться на охоту. Я не знаю адреса майора Перена и не могу послать ему письменное приглашение. Вы возбудили во мне желание познакомиться с ним, и я буду Вам вдвойне обязана, если Вы привезете его к нам.

Жюли де Шаверни.

P. S. Я Вам крайне признательна за ноты, которые Вы для меня потрудились переписать. Музыка очаровательна и, как всегда, доказывает Ваш вкус. Вы не прихóдите больше к нам по четвергам. Между тем Вы знаете, какое удовольствие доставляют нам Ваши посещения».

— Красивый почерк, только слишком мелкий,— сказал Перен, окончив чтение.— Но, черт возьми, обед этот мало меня интересует: придется надеть шелковые чулки и не курить после обеда!

— Какая неприятность!.. Стало быть, вы предпочитаете трубку самой хорошенькой женщине в Париже... Но больше всего меня удивляет ваша неблагодарность. Вы даже не поблагодарили меня за счастье, которым обязаны мне.

— Вас благодарить? Но ведь этим удовольствием я обязан не вам... если только это можно назвать удовольствием.

— А кому же?

— Шаверни, который был у нас ротмистром. Наверно, он сказал своей жене: «Пригласи Перена, он добрый малый». С какой стати хорошенькая женщина, с которой я встречался всего один раз, будет приглашать такую старую корягу?

Шатофор улыбнулся и взглянул в узенькое зеркальце, украшавшее помещение майора.

— Сегодня вы не особенно проницательны, дядюшка Перен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, вы найдете кое-что, чего вы не рассмотрели.

Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего не увидел.

— Как! — вскричал Шатофор.— Неужели вы, старый драгун, не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы доставить мне удовольствие, единственно из желания показать мне, что она считается с моими друзьями... чтобы дать мне понять...

— Что? — перебил его Перен.

— Что? Вы сами знаете что.

— Что она вас любит? — спросил недоверчиво майор.

Шатофор в ответ засвистел.

— Значит, она влюблена в вас?

Шатофор снова свистнул.

— Она призналась вам?

— Но... Мне кажется, это и так видно.

— Откуда?.. Из этого письма?

— Конечно.

Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же многозначителен, как пресловутое *Лиллибулеро* дядюшки Тоби.

— Как! — вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из рук Перена.— Вы не видите, сколько в этом письме заключено... нежности... именно нежности? «Дорогой господин де Шатофор»,— что вы на это скажете? Заметьте, что раньше в письмах она писала мне просто «милостивый государь». «Я буду Вам вдвойне обязана» — это ясно. И посмотрите, в конце зачеркнуто слово «искренне». Она хотела написать «искренне расположенная к Вам», но не решилась. А «искренне уважающая Вас» ей казалось слабым... Она не кончила письма... Чего

вы еще хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи бросилась на шею вашему покорнейшему слуге, как маленькая гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности... А что вы скажете об упреках в конце письма за то, что я пропустил один-единственный четверг?

— Бедная женщина! — воскликнул Перен.— Не влюбляйся в этого человека: ты очень скоро раскаешься.

Шатофор пропустил мимо ушей восклицание приятеля и, понизив голос, заговорил вкрадчиво:

— Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать большую услугу...

— Каким образом?

— Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что муж с ней очень плохо обращается... Из-за этого скота она несчастна... Вы его знаете, Перен. Подтвердите его жене, что он — грубое животное и что репутация у него прескверная.

— О!..

— Развратник... Вы же знаете! Когда он был в полку, у него были любовницы, и какие любовницы! Расскажите обо всем его жене.

— Но как же говорить о таких вещах? Соваться не в свое дело!..

— Боже мой, все можно сказать умеючи! Но главное, отзовитесь с похвалой обо мне.

— Это легче. Но все-таки...

— Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы меня так расхвалите, что от ваших похвал не поздоровится... Скажите ей, что *с некоторых пор*, как вы замечаете, я сделался грустным, перестал разговаривать, перестал есть...

— Еще чего! — воскликнул Перен, громко расхохотавшись, отчего трубка его заплясала самым забавным образом.— Этого я никогда не смогу сказать в лицо госпоже де Шаверни. Еще вчера вечером вас чуть не на руках унесли после обеда, который нам давали сослуживцы.

— Да, но рассказывать ей об этом — совершенно лишнее. Пусть она знает, что я в нее влюблен. А эти писаки-романисты вбили женщинам в голову, что человек, который ест и пьет, не может быть влюбленным.

— Вот я, например, не знаю, что бы могло меня заставить отказаться от еды и питья.

— Итак, решено, дорогой Перен! — сказал Шатофор, надевая шляпу и поправляя завитки волос.— В четверг я за вами

захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный мундир. Главное, не забудьте наговорить ей всяких ужасов про мужа и как можно больше хорошего про меня.

Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор Перен остался, крайне обеспокоенный только что полученным приглашением. Особенно мучила его мысль о шелковых чулках и парадном мундире.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обед оказался скучноватым, так как многие из приглашенных к г-же де Шаверни прислали извинительные записки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо услуживал ей, был галантен и любезен, как всегда. Что касается Шаверни, то, совершив утром длинную прогулку верхом, он здорово проголодался. Ел и пил он так, что возбудил бы аппетит даже у смертельно больного. Майор Перен поддерживал компанию, часто подливал ему вина и так хохотал, что стекла дребезжали всякий раз, когда бурная веселость хозяина давала ему повод для смеха. Шаверни, очутившись снова в обществе военных, сразу обрел и прежнее хорошее настроение, и казарменные замашки; впрочем, он никогда особенно не стеснялся в выборе выражений. Жена его принимала холодно-презрительный вид при каждой его грубой шуточке. В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора и заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было заметно, что она слышит разговор, который ей был в высшей степени неприятен.

Приведем образчик изысканности этого примерного супруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали обсуждать достоинства различных танцовщиц; в числе других очень хвалили мадемуазель Н. Шатофор старался больше всех, расхваливая в особенности ее грацию, стройность, скромный вид.

Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад водил в оперу и который был там один-единственный раз, очень хорошо запомнил мадемуазель Н.

— Это та малютка в розовом, что скакала, как козочка? Та самая, о чьих ножках вы так много толковали, Шатофор?

— А, вы толковали о ее ножках? — вскричал Шаверни.— Но знаете: если вы слишком много будете об этом толковать, вы поссоритесь с вашим генералом, герцогом де Ж.! Берегитесь, приятель!

— Ну, я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать смотреть на ее ножки в бинокль.

— Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их открыл. Что скажете, майор Перен?

— Я понимаю толк только в лошадиных ногах,— скромно ответил старый вояка.

— Они в самом деле изумительны! — продолжал Шаверни.— Равных им нет в Париже, разве только...

Он остановился и начал крутить ус с самодовольным видом, глядя на свою жену, которая покраснела до корней волос.

— Разве только у мадемуазель Д.,— перебил его Шатофор, называя другую танцовщицу.

— Нет! — трагическим тоном Гамлета ответил Шаверни.— «Вы лучше на жену мою взгляните».

Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она бросила на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были видны презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она вдруг обратилась к Шатофору.

— Хорошо бы нам просмотреть дуэт из *Maometto* [1],— произнесла она слегка дрожащим голосом.— Мне кажется, он будет вам вполне по голосу.

Шаверни не так легко было сбить с позиции.

— Знаете, Шатофор,— не унимался он,— я все хотел заказать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но никак не мог добиться согласия их обладательницы.

Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескромные разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело занят разговором с г-жой де Шаверни о *Maometto,* ничего не слышит.

— Особа, о которой идет речь,— продолжал неумолимый супруг,— обычно страшно возмущается, когда ей отдают должное по этому пункту, но в глубине души совсем не сердится. Знаете, она всегда заставляет чулочного мастера снимать мерку... Не сердитесь, дорогая: я хотел сказать — мастерицу... И когда я ездил в Брюссель, она три страницы заполнила подробнейшими указаниями по поводу покупки чулок.

Он мог говорить сколько ему угодно,— Жюли твердо решила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она говорила с преувеличенной веселостью, своей прелестной улыбкой стараясь убедить его, что только его и слушает. Шатофор, по-видимому, тоже был всецело поглощен *Maometto,* но ни одна из нескромностей Шаверни не ускользнула от него.

---

[1] «Магомет» *(итал.).*

После обеда занялись музыкой, г-жа де Шаверни пела с Шатофором. Как только подняли крышку фортепьяно, Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не помешало Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. Выходя, он объявил Перену, что вечер не пропал даром и дела его подвинулись вперед.

Перен находил вполне естественным, что муж говорил о женины ногах; поэтому, когда они остались с Шатофором на улице одни, он сказал проникновенным голосом:

— Как у вас хватает духа нарушать супружеское счастье? Он так любит свою прелестную жену!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сделаться камер-юнкером.

Может быть, покажется удивительным, что этому тучному, любящему удобства человеку доступны были честолюбивые мечты, но у него было достаточно оправданий своему тщеславию.

— Прежде всего,— говорил он друзьям,— я очень много трачу на ложи для женщин. Получив придворную должность, я буду иметь в своем распоряжении сколько угодно даровых лож. А известно, что с помощью лож можно достигнуть чего угодно! Затем я очень люблю охотиться, и к моим услугам будут королевские охоты. Наконец, теперь, когда я не ношу мундира, я решительно не знаю, как одеваться на придворные балы; одеваться маркизом я не люблю, а камер-юнкерский мундир отлично мне пойдет.

Итак, он начал хлопотать. Ему хотелось, чтобы и жена принимала участие в этих хлопотах, но она наотрез отказалась, хотя у нее было немало влиятельных подруг. Он оказал несколько мелких услуг очень влиятельному в ту пору при дворе герцогу Г. и многого ждал от его покровительства. У друга его Шатофора тоже было много полезных знакомых, и он помогал Шаверни с усердием и преданностью, которые вы тоже, может быть, встретите в жизни, если будете мужем хорошенькой женщины.

Одно обстоятельство значительно подвинуло вперед дела Шаверни, хотя и могло бы иметь для него роковые последствия. Г-жа де Шаверни достала как-то, не без некоторого

труда, ложу в оперу на первое представление. В ложе было шесть мест. Муж ее после долгих уговоров, вопреки своему обыкновению, согласился сопровождать ее. Жюли хотела предложить одно место Шатофору; понимая, что она не может ехать в оперу с ним вдвоем, она взяла слово с мужа, что он тоже будет присутствовать на этом представлении.

Сейчас же после первого акта Шаверни вышел, оставив жену наедине со своим другом. Оба сначала хранили несколько натянутое молчание: Жюли с некоторых пор вообще чувствовала себя стесненно, оставаясь вдвоем с Шатофором, а у Шатофора были свои расчеты, и он находил уместным казаться взволнованным. Бросив украдкой взгляд на зрительный зал, он с удовольствием заметил, что бинокли многих знакомых направлены на их ложу. Он испытывал чувство удовлетворения при мысли, что большинство его друзей завидует его счастью, по-видимому, считая это счастье более полным, чем оно было в действительности.

Жюли понюхала несколько раз свой флакончик с духами и свой букет, поговорила о духоте, о спектакле, о туалетах. Шатофор слушал рассеянно, вздыхал, вертелся на стуле, посматривая на Жюли, и снова вздыхал. Жюли начала уже беспокоиться. Вдруг он воскликнул:

— Как я жалею, что прошли рыцарские времена!

— Рыцарские времена? Почему? — спросила Жюли.— Должно быть, потому, что, по вашему мнению, к вам пошел бы средневековый костюм?

— Вы считаете меня большим фатом! — сказал он с горечью и печалью.— Нет, я жалею о тех временах потому, что человек смелый... тогда... мог добиться... многого. В конце концов достаточно было разрубить какого-нибудь великана, чтобы понравиться даме... Посмотрите вон на того огромного человека на балконе. Мне бы хотелось, чтобы вы приказали мне оборвать ему усы, а за это позволили сказать вам три словечка, не возбуждая вашего гнева.

— Что за вздор! — воскликнула Жюли, краснея до ушей: она сразу догадалась, какие это три словечка.— Взгляните на госпожу де Сент-Эрмин. В ее возрасте — бальное платье и декольте!

— Я вижу только то, что вы не желаете меня выслушать, я давно это замечаю... Вам угодно, чтобы я молчал. Но,— прибавил он шепотом и со вздохом,— вы меня поняли...

— Нисколько,— сухо ответила Жюли.— Но куда же пропал мой муж?

Очень кстати кто-то вошел в ложу, и это вывело Жюли из неловкого положения. Шатофор не открывал рта. Он был бледен и казался глубоко взволнованным. Когда посетитель ушел, он сделал несколько незначительных замечаний относительно спектакля. Разговор прерывался долгими паузами.

Перед самым началом второго действия дверь в ложу открылась, и появился Шаверни, сопровождая молодую женщину, очень красивую и разряженную, с великолепными розовыми перьями в прическе. За ними шел герцог Г.

— Милая моя! — обратился Шаверни к жене.— Оказывается, у герцога и его дамы ужасная боковая ложа, оттуда совсем не видно декораций. Они согласились пересесть в нашу.

Жюли холодно поклонилась. Герцог Г. ей не нравился. Герцог и дама с розовыми перьями рассыпались в извинениях, опасаясь, что они стеснят. Все засуетились и стали уступать друг другу лучшие места. Во время происшедшей сумятицы Шатофор наклонился к Жюли и быстро шепнул ей:

— Ради бога, не садитесь впереди!

Жюли очень удивилась и осталась на прежнем месте. Когда все уселись, она повернулась к Шатофору и довольно строгим взглядом спросила объяснения этой загадки. Он сидел, не поворачивая головы, поджав губы, и весь его вид выражал крайнее неудовольствие. Подумав, Жюли объяснила себе совет Шатофора довольно мелкими побуждениями. Она решила, что он и во время спектакля хочет продолжать свой странный разговор шепотом, что, конечно, было бы невозможно, останься она у барьера. Переведя глаза на зрительный зал, она заметила, что многие женщины направили свои бинокли на их ложу, но ведь так бывает всегда, когда появляется новое лицо. Смотревшие шептались, пересмеивались, но что же в этом необыкновенного? Оперный театр — это маленький провинциальный городок.

Незнакомая дама наклонилась к букету Жюли и произнесла с очаровательной улыбкой:

— Какой дивный букет у вас, сударыня! Наверно, он страшно дорого стоит в это время года — по крайней мере, десять франков? Но вам его преподнесли, это подарок, разумеется? Дамы никогда не покупают сами себе цветов.

Жюли широко раскрыла глаза, недоумевая, что за провинциалку ей бог послал.

— Герцог! — продолжала дама с томным видом.— А вы мне не поднесли букета!

Шаверни бросился к двери. Герцог хотел его остановить, дама тоже — ей уже расхотелось иметь букет. Жюли переглянулась с Шатофором. Взгляд ее хотел сказать: «Благодарю вас, но теперь уже поздно». Но все же она еще не разгадала, в чем дело.

Во время всего спектакля дама с перьями не в такт постукивала пальцами и вкривь и вкось толковала о музыке. Она расспрашивала Жюли, сколько стоит ее платье, ее драгоценности, выезд. Жюли еще никогда не видала подобных манер. Она решила, что незнакомка приходится какой-нибудь родственницей герцогу и только что приехала из Нижней Бретани. Когда Шаверни вернулся с огромным букетом, лучшим, чем у жены, начались бесконечные восторги, посыпались благодарности, извинения.

— Господин де Шаверни! — сказала наконец после длинной тирады провинциальная дама.— Я не лишена чувства благодарности. В доказательство «напомните мне что-нибудь вам пообещать», как говорит Потье. В самом деле, я вышью вам кошелек, когда кончу кошелек, обещанный герцогу.

Наконец опера кончилась, к большому облегчению Жюли, которой было не по себе рядом с такой странной соседкой. Герцог подал руку Жюли; Шаверни предложил свою другой даме. Шатофор с мрачным и недовольным видом шел за Жюли, смущенно раскланиваясь со знакомыми, которые ему встречались на лестнице.

Мимо них прошли женщины. Жюли где-то их уже видела. Какой-то молодой человек шепнул им что-то, посмеиваясь; они с живейшим любопытством посмотрели на Шаверни и его жену, и одна из них воскликнула:

— Да не может быть!

Герцогу подали карету, он поклонился г-же де Шаверни, с жаром поблагодарив еще раз за ее любезность. Шаверни захотел проводить незнакомку до герцогской кареты, и на минуту Жюли с Шатофором остались одни.

— Кто эта женщина? — спросила Жюли.

— Я не могу вам этого сказать... это слишком необыкновенно.

— Как?

— В конце концов все, кто вас знает, сумеют разобрать, в чем дело... Но Шаверни!.. Этого я от него не ожидал.

— Но что все это значит? Ради бога, скажите! Кто она?

Шаверни шел уже обратно. Шатофор, понизив голос, сказал:

— Любовница герцога Г., Мелани Р.

— Боже! — воскликнула Жюли, посмотрев на Шатофора с изумлением.— Этого не может быть!

Шатофор пожал плечами и, провожая ее к карете, добавил:

— Это же самое говорили и дамы, которых мы встретили на лестнице. Для своего разряда это еще вполне приличная женщина. Она требует внимания, почтительности... У нее даже есть муж.

— Милочка! — сказал Шаверни веселым голосом.— Вы отлично можете доехать домой без меня. Спокойной ночи! Я еду ужинать к герцогу.

Жюли молчала.

— Шатофор! — продолжал Шаверни.— Не хотите ли поехать со мной к герцогу? Мне только что сказали, что вы тоже приглашены. Вас заметили. Вы произвели впечатление, плутишка.

Шатофор холодно поблагодарил и простился с г-жой де Шаверни, которая закусила платок от негодования, когда карета тронулась.

— Ну, милый,— обратился к нему Шаверни,— по крайней мере, хоть подвезите меня в вашем кабриолете до дверей этой инфанты.

— Охотно,— ответил весело Шатофор.— Кстати, вы знаете, что жена ваша в конце концов поняла, с кем она сидела рядом?

— Не может быть!

— Уверяю вас. И это не очень хорошо с вашей стороны.

— Пустяки! Она держит себя вполне прилично. И потом, еще мало кто ее знает. Герцог бывает с ней всюду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Госпожа де Шаверни провела очень беспокойную ночь. Поведение ее мужа в опере превзошло все его проступки и, как ей показалось, требовало немедленного разрыва. Завтра же она с ним объяснится и заявит, что не намерена более оставаться под одной кровлей с человеком, так жестоко ее скомпрометировавшим. Однако объяснение это ее пугало. До сих пор неудовольствие ее выражалось лишь в том, что она дулась, на что Шаверни не обращал ни малейшего внимания;

предоставив жене своей полную свободу, он не допускал мысли, чтобы она могла отказать ему в снисходительности, которую в случае нужды он готов был проявить по отношению к ней. Всего больше она боялась, что во время объяснения она расплачется, и Шаверни припишет эти слезы оскорбленному чувству любви. Вот когда она пожалела, что подле нее нет матери, которая могла бы дать ей хороший совет или взять на себя заявление о разрыве. Все эти размышления повергли ее в страшную растерянность, и, засыпая, она решила посоветоваться с одной из своих замужних подруг, которая знала ее с ранней юности, и довериться ее благоразумию в вопросе о дальнейшем поведении по отношению к Шаверни.

Вся во власти негодования, она невольно сравнила своего мужа с Шатофором. Чудовищная бестактность первого оттеняла деликатность второго, и г-жа де Шаверни не без удовольствия, за которое она, впрочем, упрекнула себя, отметила, что влюбленный заботился о ее чести больше, чем муж. Сравнивая их нравственные качества, она, естественно, пришла к мысли о том, насколько изящны манеры Шатофора и до чего непривлекателен весь облик Шаверни. Она живо представляла себе мужа с его брюшком, грузно суетящегося около любовницы герцога Г., между тем как Шатофор, еще более почтительный, чем обычно, казалось, старался поддержать уважение к ней со стороны света, которое муж готов был разрушить. Наконец — а ведь мысли могут завести нас далеко помимо нашей воли,— она представляла себе, что может овдоветь, и тогда ничто не помешает ей, молодой и богатой женщине, законным образом увенчать любовь и постоянство юного командира эскадрона. Неудачный опыт не есть еще довод против брака вообще, и если привязанность Шатофора искренняя... Но она гнала эти мысли, заставлявшие ее краснеть, и давала себе слово быть с ним еще сдержаннее, чем раньше.

Она проснулась с ужасной головной болью и еще менее, чем накануне, подготовленной к решительному объяснению. Она не пожелала выйти к завтраку из страха встретиться с мужем, велела подать чай к себе в комнату и заказала экипаж, чтобы поехать к г-же Ламбер, своей приятельнице, с которой она хотела посоветоваться. Дама эта находилась в то время в своем поместье в П.

За завтраком Жюли развернула газету. Первое, что попалось ей на глаза, было следующее:

«Господин Дарси, первый секретарь французского посольства в Константинополе, позавчера прибыл в Париж с дипломатической почтой. Сразу же по своем прибытии молодой дипломат имел продолжительную беседу с его превосходительством министром иностранных дел».

— Дарси в Париже! — воскликнула она.— Я бы с удовольствием его повидала. Изменился ли он? Наверно, стал очень чопорным? «Молодой дипломат»! Дарси — молодой дипломат!

Она не могла удержаться от смеха при словах «молодой дипломат».

Этот Дарси в свое время часто посещал вечера г-жи де Люсан. Тогда он был атташе при министерстве иностранных дел. Из Парижа он уехал незадолго до замужества Жюли, и с тех пор они не видались. Она знала только одно — что он много путешествовал и быстро получил повышение.

Она еще держала газету в руках, когда в комнату вошел муж. По-видимому, он был в прекраснейшем настроении. Увидев его, она поднялась и хотела выйти. Но для того чтобы попасть в будуар, нужно было пройти мимо него; поэтому она продолжала стоять на месте, но так волновалась, что рука ее, опиравшаяся на чайный столик, заметно дрожала и фарфоровый сервиз дребезжал.

— Дорогая моя! — сказал Шаверни.— Я пришел проститься с вами на несколько дней. Я еду на охоту к герцогу Г. Могу сообщить вам, что он в восторге от вашей вчерашней любезности. Дела мои идут хорошо, и он обещал похлопотать обо мне перед королем самым настойчивым образом.

Слушая его, Жюли то бледнела, то краснела.

— Герцог Г. только исполняет свой долг по отношению к вам,— сказала она дрожащим голосом.— Меньше нельзя сделать для человека, который компрометирует свою жену самым скандальным образом с любовницами своего покровителя.

Потом, сделав над собой огромное усилие, она величественной походкой прошла через комнату в свой будуар и громко захлопнула за собой дверь.

Шаверни с минуту постоял, смущенно потупившись. «Черт побери, откуда она знает? — подумал он.— Но в конце концов не все ли равно? Что сделано, то сделано!» И так как не в его правилах было долго задерживаться на непонятной мысли, он

сделал пируэт, взял из сахарницы кусочек сахару и, положив его в рот, крикнул вошедшей горничной:

— Передайте жене, что я пробуду у герцога дней пять и пришлю ей дичи!

Шаверни вышел из дому, ни о чем другом не думая, как о фазанах и диких козах, которых он собирался настрелять.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Жюли поехала в П., вдвойне рассерженная на мужа. Вторая причина ее неудовольствия была довольно пустой. Он велел заложить себе новую коляску, чтобы отправиться в замок к герцогу Г., а жене оставил другой экипаж, требовавший, по словам кучера, починки.

По дороге г-жа де Шаверни обдумала, как она расскажет г-же Ламбер о своем приключении. Несмотря на свое горе, она предвкушала удовольствие, которое испытывает всякий рассказчик, когда он хорошо рассказывает свою историю; она готовилась к повествованию, подыскивая вступление и пробуя начать то так, то этак. В результате этого поступок мужа предстал перед нею во всем его безобразии, и чувство обиды у нее соответственно возросло.

Всем известно, что от Парижа до П. более четырех миль, и как бы длинен ни был обвинительный акт, составленный г-жой де Шаверни, даже для жгучей ненависти невозможно столько времени думать об одном и том же. К негодованию, вызванному провинностью мужа, стали примешиваться нежные и меланхолические воспоминания: такова уж странная способность человеческого ума связывать иногда с тягостными впечатлениями ласкающие образы.

Чистый и холодный воздух, ясное солнце, беззаботные лица прохожих также способствовали тому, что ее раздражение рассеялось. На память ей пришли картины детства, когда она гуляла за городом со своими юными сверстницами. Ей живо представились монастырские подруги, их игры, трапезы. Теперь ей понятны были те таинственные признания, которые случайно доносились до ее слуха от старших учениц, и она невольно улыбнулась, подумав, как рано в сотне мелких черточек сказывается природная склонность женщин к кокетству.

Потом она представила себе свой выезд в свет. Она заново переживала самые блестящие из балов, на которых она бывала

в первый год после выхода из монастыря. Остальные балы она забыла: пресыщение наступает так быстро! Эти первые балы напомнили ей о муже. «Какая я была глупая! — подумала она.— Как с первого взгляда не поняла я, что буду с ним несчастлива?» Все нелепости, все бестактности, которые бедный Шаверни за месяц до свадьбы совершил в качестве жениха с таким апломбом, сохранились в ее памяти, все было тщательно запротоколировано. В то же время она не могла отогнать мысль о том, скольких поклонников ее замужество повергло в отчаяние, хотя это не помешало им в скором времени жениться или утешиться другим способом.

«Была ли бы я счастлива с другим? — задавала она себе вопрос.— А., разумеется, глуп, но он безобиден, и Амели вертит им, как хочет. С послушным мужем всегда можно ужиться. У Б. есть любовницы, и жена его по своей наивности огорчается. Вот дурочка! В конце концов он с нею чрезвычайно почтителен, и... я этим вполне бы удовольствовалась. Молодой граф С., который целый день занят чтением памфлетов и старается стать со временем хорошим депутатом, мог бы, пожалуй, оказаться хорошим мужем. Да, но все эти господа скучны, безобразны, глупы...» В то время, как она перебирала в памяти всех молодых людей, которых знавала еще девушкой, фамилия Дарси вторично пришла ей на ум.

В свое время в кружке г-жи де Люсан Дарси не пользовался большим весом, так как было известно — известно мамашам,— что отсутствие состояния не позволяет ему иметь виды на их дочерей. Что касается самих дочерей, то они не видели в его внешности, хотя и привлекательной, ничего, что могло бы вскружить их молодые головы. Впрочем, репутацией он пользовался прекрасной. Он был слегка мизантроп, обладал едким умом; ему доставляло удовольствие, сидя в кругу барышень, смеяться над комичностью и претенциозностью остальных молодых людей. Когда он говорил вполголоса с какой-нибудь из девиц, мамаши не беспокоились, так как дочери громко смеялись, а мамаши тех девиц, у которых были хорошие зубы, даже находили г-на Дарси весьма приятным молодым человеком.

Общность вкусов, а также боязнь попасться друг другу на зубок сблизили Жюли и Дарси. После нескольких стычек они заключили мирный договор, наступательный и оборонительный союз. Друг друга они щадили, но всегда были заодно, когда являлся повод высмеять кого-нибудь из знакомых.

Как-то на вечере Жюли попросили что-нибудь спеть. У нее был хороший голос, и она это знала. Подойдя к фортепьяно,

она, перед тем как петь, обвела женщин горделивым взглядом, словно посылая им вызов. Но как раз в этот вечер, по нездоровью ли, по несчастной ли случайности, она оказалась не в голосе. Первая же нота, вылетевшая из ее обычно столь певучего, мелодичного горлышка, была положительно фальшивой. Жюли смутилась и пропела все из рук вон плохо, ни один из пассажей ей не удался — словом, провал был скандальный. Смешавшись и чуть не плача, Жюли отошла от фортепьяно; возвращаясь на свое место, она не могла не заметить плохо скрытое злорадство на лицах своих подруг при виде ее униженной гордости. Даже мужчины, казалось, с трудом сдерживали насмешливую улыбку. От стыда и гнева она опустила глаза и некоторое время не решалась ни на кого взглянуть. Первое дружелюбное лицо, которое она увидела, подняв голову, было лицо Дарси. Он был бледен, глаза были наполнены слезами: казалось, он был огорчен ее неудачей больше, чем она сама. «Он любит меня! — подумала она.— Он искренне меня любит». Она не спала почти всю ночь, и все время у нее перед глазами стояло печальное лицо Дарси. Целых два дня она думала о нем и о тайной страсти, которую, очевидно, он к ней питает. Роман уже начинал развиваться, как вдруг г-жа де Люсан нашла у себя визитную карточку Дарси с тремя буквами: *Р. Р. С.*

— Куда же Дарси едет? — спросила Жюли у одного молодого человека, его знакомого.

— Куда он едет? Разве вы не знаете? В Константинополь. Он отправляется сегодня вечером в качестве дипломатического курьера.

«Значит, он меня не любит!» — подумала Жюли. Через неделю Дарси был забыт. Но сам Дарси, который в то время был настроен довольно романтически, месяцев восемь не мог забыть Жюли.

Чтобы извинить Жюли и понять удивительную разницу в степени их постоянства, нужно принять во внимание, что Дарси жил среди варваров, между тем как Жюли осталась в Париже, окруженная поклонением и удовольствиями.

Как бы то ни было, через шесть или семь лет после их разлуки Жюли в своей карете по дороге в П. припомнила грустное выражение лица Дарси в тот вечер, когда она так неудачно пела. И, нужно признаться, ей даже пришло на ум, что, вероятно, он в то время любил ее. Все это в течение некоторого времени занимало ее достаточно живо, но, проехав с полмили, она в третий раз позабыла о Дарси.

Жюли не на шутку огорчилась, когда сразу же по прибытии в П. увидела, что во дворе г-жи Ламбер стоит какой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей: это означало, что здесь находятся посетители, которые не собираются скоро уезжать. Следовательно, невозможно было поговорить об обиде, причиненной ей мужем.

Когда Жюли входила в гостиную, у г-жи Ламбер сидела дама, с которой Жюли встречалась в обществе, не зная ее имени. Ей стоило некоторого труда скрыть свою досаду на то, что она зря приехала в П.

— Ну вот наконец-то, красавица моя! — вскричала г-жа Ламбер, обнимая ее.— Как я рада, что вы не забыли меня! Приехали вы необыкновенно кстати: я жду сегодня много гостей, и все они от вас без ума.

Жюли ответила несколько принужденно, что она рассчитывала застать г-жу Ламбер одну.

— Они будут страшно рады вас видеть,— продолжала г-жа Ламбер.— С тех пор как дочь вышла замуж, в доме у меня стало так уныло, что я бываю счастлива, когда моим друзьям приходит в голову мысль собраться у меня. Но, дитя мое, куда девался ваш прекрасный цвет лица? Вы сегодня ужасно бледны.

Жюли решила солгать: длинная дорога, пыль, солнце...

— Как раз сегодня у меня обедает один из ваших поклонников, для которого ваш приезд будет приятной неожиданностью: господин де Шатофор. С ним будет, по всей вероятности, его верный Ахат, майор Перен.

— Недавно я имела удовольствие принимать у себя майора Перена,— ответила Жюли и покраснела, так как думала она о Шатофоре.

— Будет также господин де Сен-Леже. В будущем месяце он непременно должен устроить у меня вечер драматических пословиц, и вы, мой ангел, будете в нем участвовать. Два года тому назад вы во всех пословицах играли у нас главные роли.

— Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что потеряла прежнюю уверенность! Мне придется прибегнуть к помощи суфлера.

— Жюли, дитя мое! Знаете, кого мы еще ждем? Но только, дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить его имя.

Жюли сейчас же пришла на ум фамилия Дарси.

«Он меня неотступно преследует»,— подумалось ей.

— Хорошую память? У меня память неплохая.

— Да, но нужно вспомнить то, что было лет шесть-семь назад. Вам не припоминается один из ваших поклонников, когда вы были еще подростком и носили гладкую прическу?

— Признаться, не догадываюсь.

— Какой ужас, дорогая!.. Совсем забыть очаровательного человека, который, если я не ошибаюсь, в свое время вам так нравился, что это даже тревожило вашу матушку! Ну, нечего делать, дорогая: раз вы забываете своих вздыхателей, придется вам их напомнить. Вы увидите сегодня господина Дарси.

— Дарси?

— Да. Несколько дней тому назад он наконец вернулся из Константинополя. Третьего дня он был у меня с визитом, и я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодарное существо, с каким интересом он расспрашивал о вас? Это неспроста.

— Господин Дарси? — повторила Жюли с запинкой и напускной рассеянностью.— Господин Дарси?.. Это тот высокий блондин... секретарь посольства?

— Вы его не узнаете, дорогая, так он переменился. Теперь он бледен, или, скорее, оливкового цвета, глаза впали, волосы заметно поредели — от сильной жары, по его словам. Если будет так продолжаться, года через два-три он совсем облысеет. А между тем ему нет еще тридцати.

Дама, при которой велся этот разговор о неприятности, постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать калидор, который очень ей помог, когда после болезни у нее начали выпадать волосы. Говоря это, она проводила пальцами по своим пышным локонам прекрасного пепельно-русого цвета.

— И все это время Дарси провел в Константинополе? — спросила г-жа де Шаверни.

— Не совсем, он много путешествовал. Он был в России, потом объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как ему повезло. У него умер дядюшка и оставил ему большое состояние. Побывал он также и в Малой Азии... в этой, как ее... в Карамании. Он прелестен, дорогая. Он рассказывает очаровательные истории,— вы будете в восторге. Вчера он рассказывал мне такие интересные вещи, что я все время говорила: «Приберегите их на завтра, вы их расскажете всем дамам, вместо того чтобы тратить их на такую старуху, как я».

— А он рассказывал вам, как он спас турчанку? — спросила г-жа Дюмануар, рекомендовавшая калидор.

— Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он мне об этом ни слова не говорил.

— Но ведь это замечательный поступок, настоящий роман.

— О, расскажите нам, пожалуйста!

— Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой истории только от сестры, муж которой, как вам известно, был когда-то консулом в Смирне. А ей это рассказывал один англичанин, очевидец происшествия. Прямо удивительно!

— Расскажите нам эту историю. Неужели вы думаете, что мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, когда говорят о какой-нибудь истории, о которой сама ничего не знаешь.

— Ну хорошо, только я расскажу ее очень плохо. Во всяком случае, я передаю то, что слышала. Дарси находился в Турции, исследовал какие-то развалины на берегу моря. Вдруг он видит, что к нему направляется мрачная процессия. Черные немые рабы несли мешок, который шевелился, как будто в нем было что-то живое...

— Боже мой! — вскричала г-жа Ламбер, читавшая *Гяура*.— Эту женщину собирались бросить в море?

— Совершенно верно,— продолжала г-жа Дюмануар, раздосадованная тем, что пропал самый эффектный момент рассказа.— Дарси смотрит на мешок, слышит глухой стон и сразу же угадывает ужасную правду. Он спрашивает у немых рабов, что они собираются делать,— те вместо всякого ответа обнажают кинжалы. К счастью, Дарси был хорошо вооружен. Он обращает в бегство невольников и освобождает, наконец, из этого отвратительного мешка женщину восхитительной красоты, в полуобморочном состоянии. Он отвозит ее в город и помещает в надежный дом.

— Бедняжка! — произнесла Жюли, которую эта история уже начала интересовать.

— Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не бывало. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает толпу, она бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы сжечь его живьем. Я не знаю точно, что случилось потом. Знаю только, что он выдержал форменную осаду и в конце концов поместил женщину в надежное место. По-видимому,— добавила г-жа Дюмануар, сразу изменив выражение лица и гнусавя, как настоящая ханжа,— по-видимому, Дарси позаботился о том, чтобы ее обратили в истинную веру, и она крестилась.

— И Дарси на ней женился? — спросила Жюли с улыбкой.

— Этого я не могу вам сказать. Но турчанка — у нее было странное имя, она звалась Эминэ,— воспылала страстью к Дарси. Сестра передавала мне, что она иначе не называла его, как «сотир»... «Сотир» по-турецки или по-гречески значит «спаси-

тель». По словам Элали, это была одна из красивейших женщин на свете.

— Мы ему зададим за эту турчанку! — воскликнула г-жа Ламбер.— Правда, нужно его немного помучить?.. В конце концов поступок Дарси меня нисколько не удивляет: он один из самых великодушных людей, каких я знаю, о некоторых его поступках я не могу вспоминать без слез. После смерти его дяди осталась незаконная дочь, которую тот не хотел признавать. Завещания сделано не было, так что она не имела никаких прав на наследство. Дарси, будучи единственным наследником, решил выделить ей часть наследства и уж, конечно, отдал ей гораздо больше, чем сделал бы это сам дядя.

— Что же, она была хорошенькая, эта незаконная дочь? — спросила г-жа де Шаверни не без злости.

Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, мысль о котором не давала ей покоя.

— Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову?.. К тому же, когда дядя его умирал, Дарси был еще в Константинополе и, по всей вероятности, никогда в жизни не видел этой особы.

Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько других лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел рядом с г-жой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все громко говорили, спросил:

— Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы крайне огорчен, если бы сказанное мною вчера оказалось тому причиной.

Госпожа де Шаверни не слышала его слов, или, скорее, не пожелала слышать. Шатофор был вынужден, к своему неудовольствию, повторить всю фразу, и еще большее неудовольствие он испытал, получив суховатый ответ, а Жюли сейчас же приняла участие в общем разговоре. Затем она пересела на другое место, оставив своего несчастного поклонника.

Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остроумием, но понапрасну. Поправиться он хотел одной г-же де Шаверни, но она слушала его рассеянно: она думала о скором появлении Дарси, спрашивая себя, почему ее так занимает человек, которого она должна была бы уже забыть и который, вероятно, сам ее давно позабыл.

Наконец послышался стук подъезжающей кареты; дверь в гостиную отворилась.

— Вот и он! — воскликнула г-жа Ламбер.

Жюли не решилась повернуть голову, но страшно побледнела. Она внезапно испытала острое ощущение холода и дол-

жна была собрать все свои силы, чтобы взять себя в руки и не дать Шатофору заметить, как изменилось выражение ее лица.

Дарси поцеловал руку г-же Ламбер и, поговорив с нею несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось молчание; г-жа Ламбер, казалось, ждала терпеливо, чтобы старые знакомые узнали друг друга. Шатофор и другие мужчины, исключая славного майора Перена, рассматривали Дарси с несколько ревнивым любопытством. Приехав недавно из Константинополя, он имел большое преимущество перед ними, и это было достаточно серьезной причиной, чтобы все приняли чопорный вид, как это делается обыкновенно в присутствии иностранцев. Дарси, не обратив ни на кого внимания, заговорил первый. О чем бы он ни говорил — о дороге или о погоде,— голос его был нежен и музыкален. Г-жа де Шаверни рискнула на него взглянуть; она увидела его в профиль. Ей показалось, что он похудел и что выражение лица у него стало другое... В общем, она нашла его интересным.

— Дорогой Дарси! — сказала г-жа Ламбер.— Посмотрите хорошенько вокруг: не найдете ли вы тут кое-кого из ваших старых знакомых?

Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой минуты скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стремительно поднялся, вскрикнув от удивления, и направился к ней с протянутой рукой; потом вдруг остановился и, как бы раскаиваясь в излишней фамильярности, отвесил Жюли низкий поклон и высказал ей в *пристойных* выражениях, как рад он снова с нею встретиться. Жюли пролепетала несколько вежливых слов и густо покраснела, видя, что Дарси все стоит перед нею и пристально на нее смотрит.

Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взглянула на него тем как будто рассеянным и вместе наблюдательным взглядом, каким умеют, когда захотят, смотреть светские люди. Дарси был высокий бледный молодой человек; черты лица его выражали спокойствие, но это спокойствие, казалось, говорило не столько об обычном состоянии души, сколько об умении владеть выражением своего лица. Ясно обозначавшиеся морщины бороздили его лоб. Глаза впали, углы рта были опущены, волосы на висках начали редеть. А ведь ему было не более тридцати лет. Одет Дарси был просто, но элегантно, что доказывало привычку к хорошему обществу и безразличное отношение к своему туалету, который составляет предмет мучительных раздумий для стольких молодых людей. Жюли не без удоволь-

ствия сделала все эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него довольно большой, плохо скрытый под прядью волос шрам, по-видимому, от сабельного удара.

Жюли сидела рядом с г-жой Ламбер. Между нею и Шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с места, Шатофор положил руку на спинку этого стула и, поставив его на одну ножку, постарался удержать в равновесии. Очевидно, он имел намерение охранять его, как собака охраняет сено. Г-жа Ламбер сжалилась над Дарси, который продолжал стоять перед г-жой де Шаверни. Она подвинулась на диване и освободила место для Дарси,— таким образом, тот очутился рядом с Жюли. Он поспешил воспользоваться своим выгодным положением и сейчас же начал с нею более связный разговор.

Между тем со стороны г-жи Ламбер и некоторых других особ Дарси подвергся форменному допросу относительно своих странствий. Но он отделывался довольно лаконичными ответами и пользовался каждой свободной минутой, чтобы продолжать разговор с г-жой де Шаверни.

— Предложите руку госпоже де Шаверни,— сказала г-жа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время обеда.

Шатофор закусил губу. Но он нашел возможность сесть за стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошенько наблюдать за нею.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли в сад пить кофе и расположились за круглым садовым столом.

Шатофор все больше раздражался, замечая внимательность Дарси по отношению к г-же де Шаверни. Видя, с каким увлечением она разговаривает с вновь прибывшим, он становился все менее любезным; его ревность приводила только к тому, что он утрачивал свою привлекательность. Он прохаживался по террасе, где находилось все общество, не мог оставаться на месте, как это бывает с людьми встревоженными, часто взглядывал на тяжелые тучи, громоздившиеся на горизонте и предвещавшие грозу, а еще чаще — на своего соперника, который тихонько беседовал с Жюли. Он видел, что она то улыбалась, то делалась серьезной, то робко опускала глаза; короче говоря, он видел, что каждое слово, произносимое Дарси, производит на нее впечатление. Особенно его огорчало, что разнообразные выражения, пробегавшие по чертам Жюли, казалось, были только от-

печатком, как бы отражением подвижной физиономии Дарси. Наконец ему не под силу стало выносить эту пытку — он подошел к ней и, выбрав минуту, когда Дарси давал кому-то разъяснения насчет бороды султана Махмуда, наклонился над спинкой ее стула и произнес с горечью:

— По-видимому, сударыня, господин Дарси очень занятный человек.

— О да! — ответила г-жа де Шаверни с восхищением, которого она не могла скрыть.

— Это видно,— продолжал Шатофор,— раз из-за него вы забываете ваших старых друзей.

— Моих старых друзей? — строгим тоном спросила Жюли.— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.

И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик платок, который держала в руках г-жа Ламбер, произнесла:

— С каким вкусом вышит этот платок! Чудесная работа!

— Вы находите, дорогая? Это подарок господина Дарси; он привез мне целую кучу вышитых платков из Константинополя. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка их вышивала?

— Моя турчанка? Какая турчанка?

— Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и которая вас называла... о, нам все известно!.. которая вас называла... своим... ну, словом, своим спасителем. Вы отлично знаете, как это будет по-турецки.

Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся.

— Каким это образом слух о моем несчастном приключении успел достигнуть Парижа?..

— Но в этом приключении не было ничего несчастного. Несчастье могло быть только для *мамамуши*, потерявшего свою фаворитку.

— Увы,— ответил Дарси,— я вижу, что вам известна только одна половина истории. На самом деле приключение это так же несчастливо для меня, как эпизод с мельницами для Дон Кихота. Мало того, что я дал повод для смеха всем *франкам,*— еще и в Париже меня преследуют насмешками за единственный подвиг странствующего рыцаря, который я совершил.

— Значит, мы ничего не знаем. Расскажите! — воскликнули все дамы одновременно.

— Мне не следовало бы рассказывать, что произошло после известных вам событий,— сказал Дарси,— ибо вспоминать о конце этой истории не доставляет мне никакого удовольствия. Но один из моих друзей (я попрошу позволения представить

его вам, госпожа Ламбер,— это сэр Джон Тиррел), один из моих друзей, тоже участник этой трагической пьесы, скоро прибудет в Париж. Возможно, что он не откажет себе в ехидном удовольствии приписать мне еще более смешную роль, чем та, какую я разыграл в действительности. Вот как было дело. Эта несчастная женщина, поселившись во французском консульстве...

— Нет, нет, расскажите все с самого начала! — воскликнула г-жа Ламбер.

— Начало вы уже знаете.

— Ничего мы не знаем, мы хотим, чтобы вы рассказали нам всю историю с начала до конца.

— Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в 18.. году я находился в Ларнаке. Как-то раз я отправился за город рисовать. Со мною был молодой англичанин по имени Джон Тиррел — очень милый, добродушный, любящий пожить в свое удовольствие,— такие люди незаменимы в путешествии: они заботятся об обеде, помнят о припасах и всегда бывают в хорошем расположении духа. К тому же он путешествовал без определенной цели и не занимался ни геологией, ни ботаникой — науками, довольно несносными для спутника.

Я сел в тени лачуги, шагах в двухстах от моря, над которым в этом месте высятся отвесные скалы. Я старательно зарисовывал все, что осталось от античного саркофага, а сэр Джон, разлегшись на траве, издевался над моей несчастной страстью к искусству, покуривая восхитительный латакийский табак. Неподалеку от нас турецкий переводчик, которого мы взяли к себе на службу, готовил нам кофе. Из всех известных мне турок он лучше всех умел варить кофе и был самым отъявленным трусом.

Вдруг сэр Джон радостно воскликнул: «Вон какие-то люди везут с горы снег! Сейчас мы его у них купим и устроим себе шербет из апельсинов».

Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается осел с перекинутым через его спину огромным тюком; двое невольников поддерживали этот тюк с обеих сторон. Впереди осла шел погонщик, а замыкал шествие почтенный седобородый турок, ехавший верхом на довольно хорошей лошади. Вся эта процессия подвигалась медленно, с большой важностью.

Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил искоса взгляд на поклажу и сказал нам со странной улыбкой: «Это не снег». Затем он с присущей ему флегмой продолжал заниматься нашим кофе.

«Что же это такое? — спросил Тиррел.— Что-нибудь съедобное?»

«Для рыб»,— ответил турок.

В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп; направляясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бросить на нас презрительный взгляд, каким обычно мусульмане глядят на христиан. Доскакав до отвесных скал, о которых я упомянул, он внезапно остановился у самого обрывистого места. Он принялся смотреть на море, словно выбирая место, откуда бы броситься.

Тогда сэр Джон и я стали внимательно присматриваться к мешку, навьюченному на осла, и были поражены его необычной формой. Нам тотчас же припомнились всевозможные истории о женах, утопленных ревнивыми мужьями. Мы обменялись своими соображениями.

«Спроси у этих негодяев,— сказал сэр Джон нашему турку,— не женщину ли они везут».

Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было очевидно, что вопрос наш он считал совершенно неприличным.

В эту минуту мешок поравнялся с нами; мы явственно увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали что-то вроде стонов или ворчания, доносившихся из него.

Хотя Тиррел и любит поесть, он не чужд рыцарских чувств. Он вскочил как бешеный, подбежал к погонщику и спросил у него по-английски (так он забылся от гнева), что он везет и что намерен делать со своей поклажей. Погонщик и не подумал отвечать, но в мешке что-то забарахталось, и раздались женские крики. Тогда два невольника принялись бить по мешку ремнями, которыми они погоняли осла. Тиррел окончательно вышел из себя. Сильным ударом кулака он по всем правилам искусства сбил погонщика с ног и схватил одного из невольников за горло; в этой потасовке мешок сильно толкнули, и он грузно упал на траву.

Я бросился к месту происшествия. Другой невольник принялся собирать камни; погонщик подымался. Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя было не прийти на помощь моему спутнику. Схватив кол, на котором во время рисования был укреплен мой зонтик, я стал им размахивать, угрожая невольникам и погонщику с самым воинственным видом, какой только мог принять. Все шло хорошо, как вдруг этот проклятый конный турок, перестав созерцать море, обернулся на шум, который мы производили, помчался, как стрела, и напал

на нас прежде, чем мы к этому приготовились; в руках у него было нечто вроде гнутого тесака.

— Ятаган? — перебил рассказчика Шатофор, любивший местный колорит.

— Ятаган,— продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись.— Он проскакал мимо меня и хватил меня этим ятаганом по голове так, что у меня из глаз посыпались искры. Тем не менее я не остался в долгу и огрел его колом по пояснице, а затем стал орудовать тем же колом, что было силы колотя по погонщику, невольникам, лошади и турку, взбешенный не хуже друга моего, сэра Джона Тиррела. Дело, несомненно, кончилось бы для нас плохо. Переводчик наш сохранял нейтралитет, а мы не могли долгое время защищаться одной палкой против трех пеших, одного конного и одного ятагана. К счастью, сэр Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пистолетах. Он вытащил их, бросил один мне, другой взял себе и сейчас же направил его на всадника, так нам досаждавшего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произвели магическое действие на наших противников. Они позорно бежали, оставя нам и поле битвы, и мешок, и даже осла. Несмотря на то, что мы были очень раздражены, мы не стреляли, и хорошо сделали, так как нельзя безнаказанно убить доброго мусульманина; даже поколотить его, и то стоит недешево.

Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы можете себе представить, подошли к мешку и развязали его. Мы нашли в нем довольно хорошенькую женщину, полненькую, с прекрасными черными волосами, одетую в одну рубашку из синей шерстянки, немного менее прозрачную, чем шарф госпожи де Шаверни.

Она проворно выскочила из мешка и без особого смущения обратилась к нам с речью, несомненно, очень патетической, из которой, однако, мы не поняли ни слова; в заключение она поцеловала мне руку. Это единственный раз, сударыни, я удостоился такой чести от дамы.

Меж тем хладнокровие к нам вернулось. Мы увидели, что переводчик наш в отчаянии терзает свою бороду. Я, как мог, перевязал себе голову носовым платком. Тиррел говорил: «Что же нам делать с этой женщиной? Если мы здесь останемся, муж явится с подкреплением и укокошит нас, а если мы возвратимся в таком виде с нею в Ларнак, чернь забросает нас каменьями».

Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он воскликнул, вновь обретя свою британскую флегматичность: «И какого черта отправились вы сегодня рисовать!»

Восклицание это заставило меня рассмеяться; женщина, ничего не понимая, тоже стала смеяться.

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я подумал, что лучшее, что мы могли сделать,— это отдать себя под покровительство французского вице-консула, но труднее всего было вернуться в Ларнак. Начинало темнеть, и обстоятельство это было для нас благоприятно. Наш турок повел нас далеко в обход, и благодаря сумеркам и вышеуказанной предосторожности мы беспрепятственно достигли консульского дома, находившегося за чертой города. Я забыл сказать вам, что при помощи мешка и чалмы нашего переводчика мы соорудили для женщины почти благопристойный костюм.

Консул принял нас очень плохо, сказал, что мы сошли с ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по которой путешествуешь, и не соваться не в свое дело. Одним словом, он нас разбранил на все корки и имел на то основание, так как из-за нашего поступка могло вспыхнуть большое восстание и все франки, находившиеся на острове Кипре, могли быть перерезаны.

Жена его оказалась более человечной; она начиталась романов и находила наше поведение необыкновенно великодушным. И правда, мы вели себя, как герои романа. Эта превосходнейшая дама была очень благочестива; она решила, что ей не будет стоить большого труда обратить басурманку, которую мы к ней доставили, что об обращении этом будет упомянуто в *Монитере* и муж ее получит место генерального консула. Весь этот план возник у нее мгновенно. Она поцеловала турчанку, дала ей свое платье, пристыдила вице-консула за его жестокосердие и послала его к паше улаживать дело.

Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который был человеком видным, метал громы и молнии. Он находил возмутительным, что христианские собаки помешали такому человеку, как он, бросить свою невольницу в море. Вице-консул находился в большом затруднении; он много говорил о короле, своем повелителе, и еще больше о некоем фрегате с шестьюдесятью пушками, только что прибывшем в ларнакские воды. Но доводом, произведшим наибольшее впечатление, было предложение, сделанное им от нашего имени,— заплатить за невольницу сполна.

Увы, если б вы только знали, что у турок значит *сполна!* Нужно было заплатить мужу, паше, погонщику, которому Тиррел выбил два зуба, заплатить за скандал, заплатить за все.

Сколько раз Тиррел горестно восклицал: «И какого черта отправились вы рисовать на берег моря!»

— Вот так приключение! Бедняжка Дарси! — воскликнула г-жа Ламбер.— Там-то вы и получили этот ужасный шрам? Пожалуйста, приподымите волосы. Удивительно, как еще турок не раскроил вам голову!

Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от лба рассказчика. Наконец она робко спросила:

— А что сталось с женщиной?

— Эту часть истории я как раз меньше всего люблю рассказывать. Продолжение было для меня столь печальным, что до сих пор все еще смеются над нашим рыцарским подвигом.

— Эта женщина была красива? — спросила, немного покраснев, г-жа де Шаверни.

— Как ее звали? — спросила г-жа Ламбер.

— Ее звали Эминэ. Красива?.. Да, довольно красива, но слишком толста и, по обычаю страны, вся вымазана румянами и белилами. Чтобы оценить прелесть турецких красавиц, нужно к ним привыкнуть. Итак, Эминэ водворилась в доме вице-консула. Она была родом из Мингрелии и сообщила госпоже С., жене консула, что она дочь князя. В ее стране всякий негодяй, у которого под началом находится десяток других негодяев, называется князем. Обращались с ней как с княжной; обедала она со всеми, ела за четверых, а когда с ней начинали беседовать о религии, она неукоснительно засыпала. Так продолжалось некоторое время. Наконец был назначен день крещения. Госпожа С. вызвалась быть крестной матерью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Конфеты, подарки, словом, все, что полагается... Несчастной этой Эминэ на роду было написано разорить меня. Госпожа С. уверяла, что Эминэ любит меня больше, чем Тиррела, потому что, подавая мне кофе, она всегда проливала его мне на платье. Я приготовился к церемонии с чисто евангельским смиренномудрием, как вдруг накануне назначенного дня прекрасная Эминэ исчезла. Расскажу вам все начистоту. У консула был повар-мингрелец, конечно, отъявленный негодяй, но он удивительно умел приготовлять пилав. Мингрелец этот понравился Эминэ, которая, несомненно, была в своем роде патриоткой. Похитив ее, он прихватил довольно большую сумму денег у С. Найти его не удалось. Итак, вице-консул поплатился своими деньгами, госпожа С.— нарядами, которые она подарила Эминэ, а я — расходами на перчатки и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего то, что на меня взвалили ответственность за это

приключение. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную женщину, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и которая навлекла на моих друзей столько неприятностей. Тиррел сумел выпутаться из истории: его сочли за жертву, между тем как он-то и был единственным виновником всей кутерьмы, а я остался с репутацией Дон Кихота и с этим шрамом, который очень вредит моим успехам.

Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дарси поговорил некоторое время с г-жой де Шаверни, но потом вынужден был ее покинуть, так как ему хотели представить некоего весьма сведущего в политической экономии молодого человека, который собирался по окончании учения стать депутатом и желал получить статистические сведения об Оттоманской империи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С той минуты, как Дарси отошел от Жюли, она все время посматривала на часы. Она рассеянно слушала, что говорил Шатофор, и невольно искала глазами Дарси, разговаривавшего на другом конце гостиной. Иногда, не прерывая своей беседы с любителем статистики, он взглядывал на нее, и ей трудно было выдерживать его спокойный, но проницательный взгляд. Она чувствовала, что он уже приобрел какую-то необыкновенную власть над нею, и не в силах была противиться этому.

Наконец она велела подать экипаж и, отдавая приказание, то ли будучи слишком занята своими мыслями, то ли преднамеренно, посмотрела на Дарси так, словно хотела сказать ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы могли бы провести вместе». Карета была подана. Дарси продолжал разговаривать, но, казалось, был утомлен бесконечными вопросами не отпускавшего его собеседника. Жюли медленно поднялась, пожала руку г-же Ламбер, затем направилась к выходу, удивленная, почти раздосадованная тем, что Дарси не двинулся с места. Шатофор находился около нее; он предложил ей руку, она машинально оперлась на нее, не слушая его, почти не замечая его присутствия.

Госпожа Ламбер и несколько человек гостей проводили ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в гостиной. Когда она уже села в экипаж, Шатофор с улыбкой спросил ее, не

страшно ли ей будет ехать ночью совсем одной, и прибавил, что, как только майор Перен кончит свою партию на бильярде, он, Шатофор, догонит ее в своем тильбюри и поедет вслед за нею. Звук его голоса вывел Жюли из задумчивости, но она ничего не поняла. Она сделала то же, что сделала бы всякая другая женщина на ее месте: она улыбнулась. Потом она кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лошади помчались.

Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она увидела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, лицо его было печально, а глаза, устремленные на нее, словно ждали только к нему обращенного знака привета. Она уехала, унося с собою сожаление, что не кивнула еще раз ему одному, и даже подумала, что это его заденет. Она уже позабыла, что он предоставил другому заботу проводить ее до кареты; теперь она во всем винила себя, она рассматривала свои промахи как тяжкое преступление. Чувства, которые она несколько лет тому назад (после вечера, когда она так фальшиво пела) испытывала к Дарси, были менее живы, чем те, которые она теперь увозила с собою. Годы обострили ее впечатлительность, в сердце у нее накипела злоба на мужа. Может быть, даже увлечение Шатофором (впрочем, в данную минуту совершенно позабытое) приготовило ее к тому, чтобы без особых угрызений совести отдаться более сильному чувству, которое вызвал у нее Дарси.

А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удовольствием встретил женщину, с которой у него были связаны счастливые воспоминания; знакомство с нею будет, по всей вероятности, очень приятно, и он будет его поддерживать в течение зимы, которую он собирался провести в Париже. Но как только она уехала, у него осталось лишь воспоминание о нескольких весело проведенных часах, воспоминание, сладость которого к тому же ослаблялась перспективой поздно лечь спать и необходимостью проехать четыре мили, чтобы добраться до постели. Предоставим его, охваченного такими прозаическими мыслями, собственной участи. Пусть он старательно кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в углу наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона г-жи Ламбер к Константинополю, от Константинополя к Корфу, от Корфу к полудремоте.

Любезный читатель! Если вы ничего не имеете против, последуем за г-жой де Шаверни.

Когда г-жа де Шаверни покинула замок г-жи Ламбер, ночь была ужасно темная, воздух тяжелый и удушливый, время от времени молнии озаряли окрестность, и черные силуэты деревьев вырисовывались на желто-буром фоне. После каждой вспышки молнии темнота усиливалась, и кучер не видел лошадиных голов. Вскоре разразилась бешеная гроза. Дождь, который падал сначала редкими крупными каплями, внезапно превратился в ужасающий ливень. Небо запылало со всех сторон, гром небесной артиллерии становился оглушительным. Лошади в испуге громко фыркали и поднимались на дыбы, вместо того чтобы идти вперед. Но кучер превосходно пообедал; его толстый каррик, а еще больше хорошая выпивка изгнали из него всякий страх перед непогодой и плохой дорогой. Он хлестал бедных животных, в неустрашимости не уступая Цезарю, когда тот в бурю говорил своему кормчему: «Ты везешь Цезаря и его счастье».

Госпожа де Шаверни грома не боялась, и гроза почти не занимала ее. Она вспоминала все, что говорил ей Дарси, и раскаивалась, что не высказала ему того, что могла бы сказать, как вдруг размышления ее были прерваны сильным толчком, от которого качнулась карета. В то же мгновение стекла разлетелись вдребезги, раздался зловещий треск, и карета опрокинулась в канаву. Жюли отделалась испугом. Но дождь не переставал, колесо было сломано, фонари потухли, а вокруг не было видно никакого жилья, где бы можно было найти убежище. Кучер чертыхался, лакей ругал кучера, проклиная его за неловкость. Жюли, оставаясь в карете, спрашивала, нельзя ли вернуться в П. и вообще что теперь им делать. Но на все вопросы она получала один безнадежный ответ:

— Никак невозможно.

Между тем издали донесся глухой шум приближающегося экипажа. Вскоре кучер г-жи де Шаверни, к большому своему удовольствию, узнал одного из своих приятелей, с которым он только что заложил фундамент нежной дружбы в людской г-жи Ламбер. Он крикнул, чтобы тот придержал лошадей.

Экипаж остановился. Едва было произнесено имя г-жи де Шаверни, как какой-то молодой человек сам открыл дверцы кареты и, воскликнув: «Она не ранена?» — одним прыжком очутился у кареты Жюли. Она узнала Дарси, она его ожидала.

Руки их в темноте встретились, и Дарси почудилось, что г-жа де Шаверни пожала ему руку, но, вероятно, это было от

страха. После первых вопросов Дарси, разумеется, предложил свой экипаж. Жюли не ответила: она не знала, какое решение принять. С одной стороны, если ехать в Париж, то ей предстоит сделать три или четыре мили вдвоем с молодым человеком, и это ее смущало; с другой стороны, если возвращаться в замок и просить гостеприимства у г-жи Ламбер, придется рассказать романтическое приключение с опрокинутой каретой и Дарси, явившимся ей на помощь; при мысли об этом ее бросало в дрожь. Снова появиться в гостиной в разгар виста в качестве спасенной Дарси, как та турчанка, и подвергнуться после этого оскорбительным расспросам или выслушивать выражения соболезнования — нет, об этом нечего было и думать. Но три длинных мили до Парижа!.. Покуда она колебалась, не зная, на что решиться, и бормотала неловко банальные фразы о беспокойстве, которое она причинит, Дарси будто прочел ее мысли и сказал холодно:

— Возьмите мой экипаж, сударыня. Я останусь при вашей карете и подожду, пока меня подвезут до Парижа.

Жюли из боязни показаться чрезмерно щепетильной поспешила принять не второе, а первое предложение. И так как решение ее было слишком внезапным, то не осталось времени обсудить важный вопрос, куда же они поедут: в П. или в Париж. Она уже сидела в карете Дарси, закутанная в его плащ, который он сейчас же ей предложил, и лошади легкой рысцой неслись к Парижу, прежде чем ей пришло в голову сказать, куда она хочет ехать. Решил за нее ее слуга, давший кучеру городской адрес своей госпожи.

В начале разговора оба стеснялись. Дарси говорил отрывисто, словно он был немного раздражен. Жюли вообразила, что его обидело ее колебание и что он принимает ее за смешную недотрогу. Она уже до такой степени была под властью этого человека, что внутренне себя упрекала и думала только о том, как бы рассеять его, видимо, дурное настроение, в котором она винила себя. Платье Дарси вымокло; она заметила это, сейчас же сняла плащ и потребовала, чтобы он им накрылся. Возникла борьба великодушия, в результате чего вопрос был решен так, чтобы на каждого пришлось по половине плаща. Это было ужасно неблагоразумно, и она никогда бы на это не пошла, не будь минуты колебания, о которой ей теперь хотелось забыть.

Они были так близко один от другого, что щека Жюли могла чувствовать жаркое дыхание Дарси. Толчки экипажа порою сближали их еще больше.

— Этот плащ, которым мы оба накрываемся,— сказал Дарси,— напоминает мне наши давнишние шарады. Помните, как вы изображали мою Виргинию и мы оба закутались в пелерину вашей бабушки?

— Да. А еще я помню нагоняй, который я от нее за это получила.

— Счастливое было время! — воскликнул Дарси.— Сколько раз я с грустью и блаженством думал о божественных вечерах на улице Бельшас! Помните, какие великолепные крылья коршуна привязали вам к плечам розовыми ленточками, и клюв из золотой бумаги, который я для вас так искусно смастерил?

— Да,— ответила Жюли,— вы были Прометеем, а я — коршуном. Но какая хорошая у вас память! Как вы не забыли всего этого вздора? Ведь мы так давно не видались!

— Вы хотите, чтобы я сказал вам комплимент? — спросил Дарси, улыбаясь, и нагнулся, чтобы посмотреть ей в лицо. Потом продолжал более серьезным тоном: — По правде сказать, нет ничего необыкновенного в том, что я сохранил в памяти счастливейшие часы моей жизни.

— У вас был талант к шарадам! — прервала его Жюли, боясь, что разговор примет слишком чувствительный характер.

— Хотите, я дам вам еще одно доказательство, что память у меня неплохая? Помните о союзе, который мы с вами заключили у госпожи Ламбер? Мы обещали друг другу злословить обо всех на свете и поддерживать один другого против всех и вся... Но договор наш разделил общую судьбу всех договоров: он остался невыполненным.

— Как знать!

— Увы, не думаю, чтобы вам часто представлялся случай защищать меня. Раз я уехал из Парижа, какой праздный человек мог мною заниматься?..

— Защищать вас — нет... Но говорить о вас с вашими друзьями...

— О, мои друзья! — воскликнул Дарси с печальной усмешкой.— У меня их почти что не было, по крайней мере, в ту пору, когда мы были с вами знакомы. Молодые люди, посещавшие вашу матушку, меня почему-то ненавидели, что же касается женщин, то они не много думали о каком-то атташе министерства иностранных дел.

— Потому что вы не обращали на них внимания.

— Это верно. Я никогда не умел любезничать с особами, которых не любил.

Если бы в темноте можно было различить черты Жюли, Дарси увидел бы, как краска разлилась по ее лицу при последней его фразе, которой она придала смысл, о каком Дарси, быть может, и не помышлял.

Как бы там ни было, оставляя в стороне воспоминания, слишком живые у обоих, Жюли хотела навести его на разговор о путешествиях, надеясь, что таким образом ей не нужно будет говорить. Прием этот почти всегда удается с путешественниками, особенно с теми, что побывали в дальних странах.

— Какое прекрасное путешествие вы совершили! — проговорила она.— Как я жалею, что мне никогда не удастся совершить такого путешествия!

Но сейчас Дарси не очень хотелось рассказывать.

— Кто этот молодой человек с усами, который разговаривал с вами перед самым вашим отъездом? — неожиданно спросил он.

На этот раз Жюли покраснела еще сильнее.

— Друг моего мужа, его сослуживец по полку,— ответила она.— Говорят,— продолжала она, не желая отказываться от восточной темы,— говорят, что люди, раз видевшие лазурный небосвод Востока, не могут жить в других местах.

— Он мне ужасно не понравился, не знаю почему... Я говорю о друге вашего мужа, а не о лазурном небосводе. Что касается этого лазурного неба, сударыня,— да сохранит вас бог от него! Оно всегда одинаково и в конце концов так вам надоедает, что вы готовы восхищаться грязным парижским туманом как прекраснейшим зрелищем на свете. Поверьте, ничто так не раздражает нервы, как это лазурное, безоблачное небо, которое было синим вчера и завтра тоже будет синим. Если бы вы знали, с каким нетерпением, с каким каждый раз повторяющимся разочарованием ждут облачка, надеются на него.

— А между тем вы довольно долго оставались под этим лазурным небом.

— Но мне было трудно поступить иначе. Если бы я мог следовать только своим склонностям, я бы очень скоро очутился по соседству с улицей Бельшас, удовлетворив легкое любопытство, которое, весьма естественно, возбуждают странные особенности Востока.

— Наверно, многие путешественники рассуждали бы так же, если бы они были так же откровенны, как вы... А как проводят время в Константинополе и других восточных городах?

— Там, как и везде, существуют различные способы убивать время. Англичане пьют, французы играют, немцы курят,

а некоторые остроумные люди, чтобы разнообразить свои удовольствия, делают себя мишенью для ружейных выстрелов, забираясь на крыши, чтобы смотреть в бинокль на местных женщин.

— Вероятно, последнее развлечение предпочитали и вы?

— Нисколько. Я изучал турецкий и греческий языки, что вызывало всеобщие насмешки. Покончив с посольскими депешами, я рисовал, скакал в Долину пресной воды, а затем отправлялся на берег моря и смотрел, не приедет ли какая-нибудь живая душа из Франции или откуда-нибудь еще.

— Должно быть, вам доставляло большое удовольствие встречаться с французами на таком большом расстоянии от Франции?

— Да. Но наряду с немногими интеллигентными людьми сколько к нам приезжало торговцев скобяным товаром и кашемиром или, еще хуже, молодых поэтов! Завидев издали кого-нибудь из посольства, они уже кричали: «Сведите меня к развалинам, к святой Софии, в горы, к лазурному морю! Покажите мне места, где вздыхала Геро!» Затем, получив хороший солнечный удар, они запирались в своей комнате и не хотели уже ничего видеть, кроме последних номеров *Конституционеля*.

— Вы по старой вашей привычке все видите в дурном свете. Знаете, вы неисправимы, все такой же насмешник!

— Но разве не позволительно осужденному грешнику, которого поджаривают на сковородке, развлечь себя немного за счет своих товарищей по несчастью? Честное слово, вы не представляете себе, какую жалкую жизнь мы там влачим. Секретари посольств похожи на ласточек, которые никогда не садятся... Для нас не существует близких отношений, составляющих счастье жизни... как мне кажется (последние слова он произнес как-то странно и пододвинулся к Жюли). В течение шести лет я не встретил ни одного человека, с кем мог бы поделиться своими мыслями.

— Значит, друзей у вас там не было?

— Я только что сказал вам, что их невозможно иметь в чужой стране. Во Франции я оставил двоих. Один из них умер, другой теперь в Америке и вернется оттуда только через несколько лет, если его не задержит желтая лихорадка.

— Так что вы одиноки?

— Одинок.

— А каково на Востоке... женское общество? Оно не могло хоть немного облегчить ваше положение?

— О, женщины там хуже всего остального! О турчанках нечего и думать; что же касается гречанок или армянок, то самое большее, что можно сказать в их похвалу,— это то, что они очень красивы. Избавьте меня от описания консульских и посольских жен. Это вопрос дипломатический, и, скажи я то, что думаю, это могло бы мне повредить в министерстве иностранных дел.

— Вы, по-видимому, не очень любите вашу службу. А когда-то вы так страстно хотели стать дипломатом!

— Я тогда еще не знал этого дела. Теперь я хотел бы быть в Париже инспектором парижской грязи.

— Господи, как можно так говорить? Париж — самое несносное место в мире!

— Не кощунствуйте. Хотел бы я послушать, как вы стали бы проклинать Неаполь, пробыв два года в Италии!

— Видеть Неаполь — заветная мечта моей жизни,— ответила она со вздохом,— только чтобы мои друзья были вместе со мною.

— Ах, при этом условии и я бы пустился в кругосветное плавание! Путешествовать с друзьями! Это все равно, что оставаться у себя в гостиной, между тем как все страны проплывают мимо ваших окон, словно движущаяся панорама.

— Ну, хорошо, если это требование чрезмерно, я хотела бы путешествовать всего с одним... с двумя друзьями.

— Я не так требователен. Мне довольно было бы одного или одной,— прибавил он со вздохом.— Но такого счастья мне не выпало на долю... По правде сказать, мне всегда не везло. Всю свою жизнь я горячо желал только двух вещей и ни одной из них не мог достигнуть.

— Каких же?

— Да самых обыкновенных! Например, я страстно желал кое с кем танцевать вальс. Я тщательно изучал этот танец. Месяцами упражнялся один со стулом, чтобы преодолеть головокружение, которое неминуемо наступало. Когда же наконец я добился того, что голова у меня перестала кружиться...

— А с кем вы хотели танцевать?

— Ну, а если я вам скажу, что с вами?.. Когда же я ценой усилий сделался образцовым танцором, ваша бабушка переменила духовника, взяла старого янсениста и запретила вальс... У меня до сих пор еще это лежит на сердце.

— А второе ваше желание? — спросила Жюли в сильном волнении.

— Признáюсь вам и во втором моем желании. Я хотел (это было очень тщеславно с моей стороны), хотел, чтобы меня любили... Но как любили!.. Желание это было еще более сильным, и оно предшествовало желанию вальсировать с вами,— я рассказываю не в хронологическом порядке... Я бы хотел, повторяю, чтобы меня любила такая женщина, которая предпочла бы меня балу — самому опасному из соперников; такая женщина, к которой я мог бы прийти в сапогах, забрызганных грязью, в ту минуту, когда она собирается сесть в карету и ехать на бал. Она в бальном платье и говорит мне: «Останемся дома». Но это, конечно, бред! Не следует требовать невозможного.

— Какой вы злой! Всегда иронические изречения! Вы ко всем беспощадны и всегда говорите дурно о женщинах.

— Я? Боже упаси! Я скорее издеваюсь над самим собою. Разве это значит дурно говорить о женщинах, когда утверждаешь, что приятный вечер в обществе они предпочтут свиданию со мной наедине?

— Бал!.. Платье!.. Боже! Кто теперь увлекается балами?..

Она не думала защищать весь свой пол; ей казалось, что она отвечает на мысли Дарси, но бедняжка отвечала только собственному своему сердцу.

— Кстати, о балах и туалетах. Жалко, что теперь не карнавал: я привез с собой греческий женский костюм, очаровательный! Он бы чудно к вам подошел.

— Вы сделаете мне с него набросок в альбом.

— Охотно. Вы увидите, какие успехи я сделал с той поры, как рисовал человечков за чайным столом вашей матушки. Кстати, вас нужно поздравить. Сегодня утром в министерстве мне сказали, что господина де Шаверни скоро сделают камерюнкером. Мне было приятно это слышать.

Жюли невольно вздрогнула.

Дарси, ничего не замечая, продолжал:

— Позвольте мне сразу же попросить вашего покровительства. Но в глубине души я не очень рад новому званию вашего мужа. Боюсь, что на лето вам придется переезжать в Сен-Клу, и тогда я реже буду иметь честь вас видеть.

— Никогда я не поеду в Сен-Клу! — сказала Жюли взволнованно.

— Тем лучше. Ведь Париж — это рай. Покидать его можно лишь для того, чтобы изредка выезжать за город на обеды к госпоже Ламбер, и то с условием в тот же вечер вернуться домой. Как вы счастливы, что живете в Париже! Вы не мо-

жете себе представить, как счастлив я, приехавший сюда, быть может, очень ненадолго, в скромном помещении, которое предоставила мне тетушка. А вы, как мне сообщили, живете в предместье Сент-Оноре. Мне показали ваш особняк. У вас, должно быть, очаровательный сад, если строительная лихорадка еще не превратила ваши аллеи в торговые помещения.

— Нет, слава богу, моего сада еще не трогали.

— По каким дням вы принимаете?

— Я почти всегда по вечерам дома. Я буду очень рада, если вы меня будете иногда навещать.

— Видите, я веду себя так, как будто старый наш союз еще в силе. Я сам к вам навязываюсь без церемоний и официальных визитов. Вы простите меня, не так ли? В Париже я только и знаю, что вас да госпожу Ламбер. Все меня забыли, но в моем изгнании я с сожалением вспоминал только о ваших двух домах. Особенно ваш салон должен быть очаровательным. Вы так хорошо выбираете друзей!.. Помните, вы строили планы на будущее, когда сделаетесь хозяйкой дома? Скучным людям доступ в ваш салон был бы закрыт, иногда музыка, всегда приятная беседа, продолжающаяся до позднего часа, маленький кружок лиц, которые отлично знают друг друга и потому не хотят ни лгать, ни рисоваться... Кроме того, две-три остроумные женщины (а ваши подруги, конечно, остроумны) — таков ваш дом, один из самых приятных в Париже. Да, вы счастливейшая женщина в Париже и делаете счастливыми всех, кто к вам приближается.

Пока Дарси это говорил, Жюли думала, что у нее могло бы быть это счастье, которое он так живо описывал, будь она замужем за другим человеком... скажем, за Дарси. Вместо воображаемого салона, такого элегантного и приятного, ей представились скучные люди, которых навел к ней в дом Шаверни, вместо веселых разговоров — супружеские сцены вроде той, что заставила ее поехать в П. Словом, она считала себя навеки несчастной, связанной на всю жизнь с человеком, которого она ненавидела и презирала. А тот, кто казался ей лучше всех, кому она охотно доверила бы свое счастье и свою жизнь, навсегда останется для нее чужим. Ее долг — избегать его, отдаляться от него... А он был так близко от нее, что рукав ее платья касался отворота его фрака!

Дарси некоторое время продолжал описывать удовольствия парижской жизни с красноречием человека, который был долгое время лишен их. Меж тем Жюли чувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она боялась, как бы Дарси этого не

заметил, и от усилий, которые она делала, чтобы сдержать себя, волнение ее еще усиливалось. Она задыхалась, не смела пошевелиться. Наконец она всхлипнула, и все было потеряно. Она уронила голову на руки, задыхаясь от слез и стыда.

Дарси, никак этого не ожидавший, был крайне удивлен. На минуту он онемел от неожиданности, но рыдания усиливались, и он счел своим долгом заговорить и спросить о причине столь внезапных слез.

— Что с вами? Ради бога, ответьте!.. Что случилось?

И так как бедная Жюли в ответ на все эти вопросы только крепче прижимала платок к глазам, он взял ее за руку и мягким движением отвел ее.

— Умоляю вас,— произнес он дрогнувшим голосом, проникшим в самое сердце Жюли,— умоляю вас, скажите, что с вами? Может быть, я невольно оскорбил вас?.. Вы приводите меня в отчаяние своим молчанием.

— Ах,— воскликнула Жюли, не будучи более в состоянии сдерживаться,— как я несчастна! — И она зарыдала еще сильнее.

— Несчастны?.. Как?.. Почему?.. Кто может сделать вас несчастной? Ответьте мне!

При этих словах он сжимал ей руки, лицо его почти касалось лица Жюли, а та вместо ответа продолжала плакать. Дарси не знал, что и подумать, но был растроган ее слезами. Он как будто помолодел на шесть лет, и ему начало представляться, что в будущем, о котором он пока еще не задумывался, он может перейти от роли паперсника к другой, более завидной.

Она упорно не отвечала, и Дарси начал бояться, уж не сделалось ли ей дурно. Он открыл окно кареты, развязал ленты шляпки Жюли, отбросил плащ и шаль. Мужчины бывают неловки, когда оказывают подобные услуги. Он захотел остановить экипаж у какой-то деревни и крикнул уже кучеру, но Жюли, схватив его за руку, попросила не делать этого, уверяя, что ей гораздо лучше. Кучер ничего не слышал и продолжал гнать лошадей по направлению к Парижу.

— Умоляю вас, дорогая госпожа де Шаверни,— произнес Дарси, снова беря ее за руку, которую он на минуту выпустил,— умоляю вас, скажите, что с вами! Я боюсь... хотя не могу понять, как это могло случиться... что я имел несчастье причинить вам боль.

— Ах, это не вы! — воскликнула Жюли и слегка пожала ему руку.

— Ну так скажите, кто мог заставить вас так плакать? Скажите мне откровенно! Разве мы с вами не старые друзья? — прибавил он, улыбаясь и, в свою очередь, пожимая руки Жюли.

— Вы говорили о счастье, которым, по вашему мнению, я окружена... а счастье это так от меня далеко!..

— Как? Разве вы не обладаете всем необходимым для счастья? Вы молоды, богаты, красивы... Ваш муж занимает видное положение в обществе...

— Я ненавижу его! — вскричала Жюли вне себя.— Я презираю его!

И она положила голову на плечо Дарси, зарыдав еще сильнее.

«Ого,— подумал Дарси,— дело становится серьезным!»

Искусно пользуясь каждым толчком кареты, он еще ближе придвинулся к несчастной Жюли.

— Зачем,— произнес он самым нежным и сладким голосом,— зачем так огорчаться? Неужели существо, презираемое вами, может оказывать такое влияние на вашу жизнь? Почему вы допускаете, чтобы он один отравлял все ваше счастье? И у него ли должны вы искать это счастье?..

Дарси поцеловал ей кончики пальцев, но так как она сейчас же в ужасе отдернула свою руку, он испугался, не слишком ли далеко зашел. Однако, решив довести приключение до конца, он сказал, довольно лицемерно вздыхая:

— Как я ошибся! Когда я узнал о вашей свадьбе, я подумал, что господин де Шаверни вам в самом деле нравится.

— Ах, господин Дарси, вы никогда меня не понимали!

Интонация ее голоса ясно говорила: «Я вас всегда любила, а вы не хотели обратить на меня внимание». Бедная женщина в эту минуту искреннейшим образом думала, что она неизменно любила Дарси в течение всех этих шести лет такой же любовью, какую она испытывала к нему в настоящий момент.

— А вы,— вскричал Дарси, оживляясь,— вы понимали меня? Угадывали ли вы когда-нибудь, каковы мои чувства? Ах, если бы вы знали меня лучше, мы, конечно, оба были бы теперь счастливы!

— Как я несчастна! — повторила Жюли, и слезы полились у нее с удвоенной силой.

— Но если бы даже вы меня поняли,— продолжал Дарси с привычным для него выражением грустной иронии,— что бы из этого вышло? У меня не было состояния, вы были богаты.

Ваша мать с презрением отвергла бы меня. Я был заранее обречен на неудачу. Да вы сами, Жюли, вы сами, пока роковой опыт не указал вам, где находится истинное счастье, вы, конечно, только посмеялись бы над моей самонадеянностью, ибо в то время лучшим средством понравиться вам была бы блестящая карета с графской короной на дверцах.

— Боже мой, и вы тоже! Никто, значит, не пожалеет меня!

— Простите меня, дорогая Жюли! Умоляю вас, простите меня! Забудьте эти упреки, я не имел права их делать. Я более виновен, чем вы... Я не сумел вас оценить. Я счел вас слабою, как слабы все женщины того общества, в котором вы жили, я усомнился в вашем мужестве, дорогая Жюли, и я так жестоко за это наказан!..

Он с жаром целовал ее руки, которых она уже не отнимала. Обхватив ее за талию, он хотел уже прижать ее к своей груди, но Жюли оттолкнула его с выражением ужаса и отстранилась от него, насколько позволяла ширина кареты.

Тогда Дарси голосом, мягкость которого лишь подчеркивала горечь слов, произнес:

— Простите меня, сударыня, я забыл, что мы в Париже. Теперь я вспоминаю, что здесь умеют вступать в брак, но любить здесь не умеют.

— О, я люблю вас! — прошептала она, рыдая, и опустила голову на плечо Дарси.

Дарси восторженно заключил ее в свои объятия, стараясь поцелуями осушить ее слезы. Она еще раз попыталась освободиться, но попытка эта была ее последним усилием.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дарси переоценил овладевшее им волнение. Нужно признаться: он не был влюблен. Он воспользовался счастливой случайностью, которая сама шла ему навстречу и заслуживала того, чтобы он ее не упустил. К тому же, как и все мужчины, он был более красноречив в просьбах, чем в выражениях благодарности. Тем не менее он был вежлив, а вежливость часто заменяет более почтенные чувства. Когда прошла минута опьянения, он принялся расточать Жюли нежные фразы, которые он составлял без особого труда, сопровождая их многочисленными поцелуями рук, что отчасти заменяло ему слова. Он без

сожаления видел, что карета добралась уже до заставы и что через несколько минут ему придется расстаться со своею добычей. Молчание г-жи де Шаверни во время его уговоров, удрученное состояние, в котором она, по-видимому, находилась, делали затруднительным, даже, осмелюсь сказать, скучным положение человека, случайно ставшего ее любовником.

Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально стягивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотрела прямо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, отпускал ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она молчала, еле слыша, что ей говорят, но тысяча мучительных мыслей толпилась у нее в голове, и едва она хотела высказать одну, как другая тотчас же смыкала ей губы.

Как передать хаос этих мыслей, или, лучше сказать, этих образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? Ей казалось, что в ушах ее звучат слова без связи и последовательности, но смысл всех этих слов был ужасен. Утром она винила мужа, он был низок в ее глазах; теперь она была во сто раз более презренной. Ей казалось, что позор ее известен всем. Теперь уже любовница герцога Г. оттолкнула бы ее. Г-жа Ламбер, никто из друзей не пожелают ее видеть. А Дарси? Любит ли он ее? Он ее почти совсем не знает. За время разлуки он позабыл ее. Не сразу ее узнал. Может быть, он нашел, что она очень изменилась. А теперь он был холоден с нею. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась человеком, который почти совсем не знал ее, ничем не выразил своей любви!.. Был с ней только вежлив... Не может быть, чтобы он любил ее! А она сама — любила ли она его? Нет, ведь она вышла замуж, как только он уехал.

Когда карета въехала в Париж, на башне пробило час. В первый раз она увидела Дарси в четыре часа. Да, в первый раз... Она не могла сказать, что это была встреча после разлуки... Она забыла черты его лица, его голос; для нее он был чужим человеком... А через девять часов она сделалась его любовницей!.. Девяти часов было достаточно для этого странного наваждения... для того, чтобы она опозорила себя в собственных глазах, в глазах самого Дарси. Ибо что мог он подумать о такой слабой женщине? Как не презирать ее?

Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, обращенные к ней, немного ее оживляли. Тогда она старалась поверить, что он действительно испытывает ту любовь, о которой говорит. Она сдалась не так легко. Любовь их длится долгие годы, с тех пор, как Дарси ее покинул. Дарси должен был

знать, что она вышла замуж только из чувства досады, причиненной его отъездом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем он во время долгого отсутствия не переставал ее любить. И, возвратившись, он был счастлив, что нашел ее такою же верной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее слабость должны были понравиться Дарси,— ведь он не выносит притворства. Но абсурдность подобных рассуждений сейчас же становилась ей ясной. Утешительные мысли улетучивались, и она оставалась во власти стыда и отчаяния.

Была минута, когда она хотела разобраться в своих чувствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что родные от нее отреклись. После такого жестокого оскорбления, нанесенного мужу, гордость не позволит ей вернуться к нему. «Дарси меня любит,— думала она.— Я не могу никого любить, кроме него. Без него для меня нет счастья. С ним я буду счастлива всюду. Мы уедем вместе куда-нибудь, где я не буду встречаться с людьми, которые заставили бы меня краснеть. Пусть он увезет меня с собой в Константинополь...»

Дарси не догадывался, что делается в сердце Жюли. Он заметил, что они въезжают в улицу, где жила г-жа де Шаверни, и стал весьма хладнокровно натягивать лайковые перчатки.

— Кстати,— сказал он,— мне следует официально быть представленным господину де Шаверни... Я думаю, что мы скоро подружимся. Если меня представит госпожа Ламбер, я буду на хорошем счету в вашем доме... А пока что, раз он находится за городом, я могу вас посещать.

Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дарси было для нее как острый нож. Как заговорить о бегстве, о похищении с этим человеком, таким спокойным, таким холодным, который думает только о том, как бы удобнее устроить эту любовную связь на летнее время? Она с яростью разорвала золотую цепочку, висевшую у нее на груди, и комкала в руках обрывки. Экипаж остановился у подъезда дома, где она жила. Дарси предупредительно окутал ее плечи шалью, поправил на ней шляпу... Когда дверца открылась, он почтительно подал ей руку. Но Жюли выскочила на тротуар, не приняв от него помощи.

— Я прошу у вас позволения, сударыня,— сказал он с глубоким поклоном,— навестить вас и справиться о вашем здоровье.

— Прощайте! — сказала Жюли сдавленным голосом.

Дарси сел в карету и велел везти себя домой, насвистывая с видом человека, очень довольного проведенным днем.

Как только он очутился в своей холостой квартире, он надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским табаком длинную трубку с янтарным мундштуком и чубуком из боснийского боярышника, принялся курить с наслаждением, развалясь в большом мягком кресле, обитом сафьяном. Людям, которые удивились бы, застав его за таким вульгарным занятием, тогда как ему следовало бы предаваться более поэтическим мечтам, можно ответить, что для мечтательности добрая трубка если не необходима, то во всяком случае полезна и что вернейшее средство как следует вкушать наслаждение состоит в совмещении его с другим наслаждением. Один из моих друзей, человек очень чувственный, никогда не распечатывал письма от своей любовницы раньше, чем не снимет галстука, не затопит камина (если дело происходило зимою) и не ляжет на удобный диван.

«Действительно,— подумал Дарси,— я был бы очень глуп, если бы последовал совету Тиррела и купил греческую невольницу, с тем чтобы везти ее в Париж. Черта с два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как говаривал друг мой Халеб-эфенди. Слава богу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому, строгость правов не доведена до крайности... Бедняга Шаверни!.. Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я был достаточно богат, я бы женился на Жюли и, может быть, сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шаверни. Если я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, которые ее вытаскивали бы из канавы... Ну что ж, подведем итог. В конце концов она очень красивая женщина, неглупа, и, будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать все случившееся моим исключительным достоинствам! Да, мои исключительные достоинства! Увы, увы, через месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне достоинств этого господина с усиками... Черт! Хотелось бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, писать и вести разговор с порядочными людьми... Кажется, это единственная женщина, которая меня любила... Бедное дитя!..»

Трубка его погасла, и он скоро заснул.

Войдя в свои комнаты, г-жа де Шаверни сделала над собою невероятное усилие, чтобы обычным тоном сказать горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что она хочет остаться одна. Как только девушка вышла, она бросилась на постель (ибо для выражения горя удобная позиция столь же необходима, как и для выражения радости) и теперь в одиночестве разразилась слезами, еще более горькими, чем в присутствии Дарси, когда ей нужно было сдерживаться.

Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние на наши душевные горести, как и на физические страдания. Она всему придает зловещую окраску, и образы, которые днем были бы безразличными или даже радостными, ночью нас беспокоят и мучат, как призраки, появляющиеся только во мраке. Кажется, что ночью мысль усиленно работает, но рассудок теряет свою власть. Какая-то внутренняя фантасмагория смущает нас и ужасает, и у нас нет сил ни отвратить причину наших страхов, ни хладнокровно исследовать их основательность.

Представьте себе бедную Жюли простертой на постели, полуодетой: она мечется, то пожираемая жгучим жаром, то холодея от пронизывающей дрожи, вздрагивает при каждом треске мебели и отчетливо слышит биение своего сердца. От всего происшедшего у нее сохранилась только смутная тоска, причины которой она тщательно доискивалась. Потом вдруг воспоминание об этом роковом вечере проносилось у нее в голове с быстротою молнии, и вместе с ним пробуждалась острая, нестерпимая боль, словно ее затянувшейся раны коснулись каленым железом.

То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблюдая за каждым колебанием огонька, пока слезы, навертывавшиеся неизвестно почему на глаза, не застилали зрения.

«Почему я плачу? — думала она.— Ах да, я опозорена!»

То она считала кисти на пологе и все не могла запомнить, сколько их. «Что за бред! — думала она.— Бред! Да, потому что час тому назад я отдалась, как жалкая куртизанка, человеку, которого не знаю».

Потом бессмысленным взором она следила за стрелкою стенных часов, как осужденный, наблюдающий приближение часа своей казни. Вдруг часы пробили.

— Три часа тому назад,— сказала она, внезапно вздрогнув,— я была в его объятиях, и я опозорена!

Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспокойстве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний воздух, свежий и колючий, принес ей некоторое облегчение. Опершись на подоконник окна, выходившего в сад, она жадно, с каким-то вожделением вдыхала полной грудью холодный воздух. Беспорядок в мыслях мало-помалу рассеялся. На смену неопределенным мучениям, обуревавшему ее бреду пришло сосредоточенное отчаяние — это был уже некоторый отдых.

Нужно было принять какое-нибудь решение. Она стала придумывать, что ей делать. Она ни минуты не останавливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей казалось это невозможным: она бы умерла от стыда, увидя его. Она должна покинуть Париж: здесь через два дня все будут на нее показывать пальцами. Мать ее находилась в Ницце. Она поедет к ней, во всем ей признается; потом, выплакав свое горе на ее груди, она поищет в Италии уединенное место, неизвестное путешественникам, будет там одиноко жить и скоро умрет.

Придя к такому решению, она почувствовала себя спокойнее. Она села за маленький столик против окна, закрыла лицо руками и заплакала, но на этот раз уже без горечи. Усталость и изнеможение дали себя знать, и она заснула, или, вернее, забылась, почти на час.

Она проснулась от лихорадочного озноба. Погода переменилась, небо посерело, и мелкий пронизывающий дождик предвещал сырую и холодную погоду на весь остаток дня. Жюли позвонила горничной.

— Матушка заболела,— сказала она,— я должна сейчас же ехать в Ниццу. Уложите чемоданы: я хочу выехать через час.

— Сударыня, что с вами? Вы не больны? Вы не ложились? — воскликнула горничная, удивленная и встревоженная изменившимся лицом своей госпожи.

— Я хочу ехать,— нетерпеливо сказала Жюли,— мне необходимо ехать. Уложите чемоданы.

При современной нашей цивилизации недостаточно просто акта воли для передвижения с одного места на другое. Нужно достать дорожный паспорт, упаковать вещи, уложить шляпы в картонки, проделать сотню скучных приготовлений, из-за которых потеряешь всякое желание путешествовать. Но нетерпение Жюли значительно сократило эти необходимые промедления. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, сама помогала укладывать чемоданы, засовывая как попало чепчики

и платья, привыкшие к более осторожному обращению. Но ее хлопоты скорее замедляли, чем ускоряли работу слуг.

— Сударыня! Вы, конечно, предупредили господина де Шаверни? — робко спросила горничная.

Жюли, не отвечая, взяла лист бумаги и написала: «Матушка заболела. Я еду к ней в Ниццу». Она сложила листок вчетверо, но не могла решиться написать адрес.

Во время этих приготовлений к отъезду слуга доложил:

— Господин де Шатофор спрашивает, можно ли вас видеть. Пришел еще другой господин. Я его не знаю. Вот его карточка.

Она прочла: «Э. Дарси, секретарь посольства».

Она едва не вскрикнула.

— Я никого не принимаю. Скажите, что я нездорова. Не говорите, что я уезжаю.

Она никак не могла себе объяснить, каким образом Дарси и Шатофор пришли к ней в одно время, и в своем смущении была уверена, что Дарси уже выбрал Шатофора себе в наперсники. А между тем их одновременный визит объяснялся очень просто. Побудительная причина визита была одна и та же; они встретились, обменявшись ледяным поклоном и мысленно от всего сердца послав друг друга ко всем чертям.

Выслушав ответ лакея, они вместе сошли с лестницы, раскланялись еще холоднее и разошлись в разные стороны.

Шатофор заметил особое внимание, выказанное г-жой де Шаверни по отношению к Дарси, и с той минуты возненавидел его. В свою очередь Дарси, мнивший себя физиономистом, видя смущение и досаду Шатофора, заключил, что тот влюблен в Жюли. А так как в качестве дипломата он склонен был заранее предполагать худшее, то весьма легко пришел к выводу, что Жюли не проявляет жестокости к Шатофору.

«Эта удивительная кокетка,— подумал он, выходя из ее дома,— не пожелала принять нас вместе во избежание объяснений, как в *Мизантропе*... Но глупо, что я не нашел какого-нибудь предлога остаться и подождать, пока уйдет этот усатый фат. Очевидно, меня бы приняли, как только за ним закрылась бы дверь,— ведь у меня перед ним есть неоспоримое преимущество новизны».

Размышляя таким образом, он остановился, потом повернул и пошел обратно к особняку г-жи де Шаверни. Шатофор, который тоже несколько раз оборачивался, следя за тем, что делает его соперник, тоже вернулся и занял на некотором расстоянии наблюдательный пункт.

Дарси сказал лакею, удивленному его вторичным появлением, что забыл оставить записку для его госпожи, что вопрос идет о спешном деле и о поручении от одной дамы к г-же де Шаверни. Вспомнив, что Жюли знает по-английски, он написал карандашом на своей карточке: *Begs leave to ask when he can show to madame de Chaverny his turkish album* [1]. Затем он передал карточку слуге и сказал, что подождет ответа.

Ответ этот долго заставил себя ждать. Наконец слуга вернулся в большом смущении.

— Госпоже де Шаверни внезапно сделалось дурно,— сказал он,— она чувствует себя так плохо, что ответа сейчас дать не может.

Все это продолжалось с четверть часа. Обмороку Дарси не поверил: было ясно, что принимать его не хотят. Он отнесся к этому философски. Вспомнив, что поблизости у него есть знакомые, которым следует нанести визит, он решил этим заняться и вышел, мало огорченный постигшею его неудачей.

Шатофор дожидался его с бешеным нетерпением. Когда Дарси прошел мимо, он решил, что это его счастливый соперник, и дал себе слово ухватиться за первый же случай и отомстить изменнице и ее сообщнику. Очень кстати он встретил майора Перена; тот выслушал его излияния и утешил как мог, доказав, что его предположения мало правдоподобны.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Жюли действительно лишилась чувств, получив вторично карточку Дарси. Обморок у нее сопровождался кровохарканьем, отчего она очень ослабела. Горничная послала за доктором, но Жюли наотрез отказалась принять его. К четырем часам почтовые лошади были поданы, чемоданы привязаны; все было готово к отъезду. Жюли села в карету; она ужасно кашляла, жалко было смотреть на нее. Весь вечер и всю ночь она говорила только с лакеем, сидевшим на козлах, и то только, чтобы он поторопил кучеров. Она все время кашляла и, повидимому, чувствовала сильную боль в груди, но не издала ни одного стона. Она была так слаба, что лишилась чувств,

---

[1] Почтительнейше спрашивает мадам де Шаверни, когда можно будет показать его турецкий альбом *(англ.)*.

когда утром открыли дверцу кареты. Ее перенесли в плохонькую гостиницу и уложили в постель. Позвали деревенского врача; тот нашел у нее сильнейшую горячку и запретил продолжать путешествие. Меж тем она хотела ехать дальше. К вечеру появился бред и все признаки ухудшения болезни. Она беспрерывно говорила, причем так быстро, что было очень трудно ее понять. В ее бессвязных фразах поминутно встречались имена Дарси, Шатофора и г-жи Ламбер. Горничная написала г-ну де Шаверни, чтобы оповестить его о болезни жены. Но Жюли находилась в сорока милях от Парижа, Шаверни охотился у герцога Г., а болезнь развивалась быстро, и было сомнительно, чтобы он поспел вовремя.

Между тем лакей верхом поскакал в ближайший город и привез доктора. Тот отменил предписания своего собрата и заявил, что его позвали слишком поздно и что недуг тяжелый.

Под утро бред прекратился, и Жюли заснула глубоким сном. Когда дня через два-три она пришла в себя, то, казалось, с трудом вспомнила, вследствие какого ряда событий она очутилась в грязном номере гостиницы. Однако память скоро к ней вернулась; она сказала, что чувствует себя лучше, и даже начала поговаривать о том, чтобы завтра тронуться в путь. Потом, положив руку на лоб, после продолжительного раздумья потребовала чернил и бумагу и захотела писать. Горничная видела, как она начинала несколько раз письмо, но все рвала начатые листки после первых же слов. При этом она приказывала жечь оставшиеся клочки бумаги. Горничная на нескольких обрывках успела прочесть слова: «Милостивый государь». Ей это, как она потом призналась, показалось странным, так как она думала, что ее госпожа пишет матери или мужу. На одном клочке она прочла: «Вы должны презирать меня...»

Почти в течение получаса Жюли тщетно пыталась написать это письмо, которое, по-видимому, ее очень беспокоило. Наконец силы ее истощились, и она не могла продолжать; она оттолкнула пюпитр, который поставили ей на постель, и, глядя на горничную блуждающим взглядом, сказала:

— Напишите сами господину Дарси.

— Что прикажете написать? — спросила горничная, уверенная, что снова начинается бред.

— Напишите, что он меня не знает... что я его не знаю...

И она в изнеможении упала на подушки.

Это были ее последние связные слова. Начался бред, который уже не прекращался. Она скончалась на следующий день без видимых страданий.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Шаверни приехал на четвертый день после ее похорон. Печаль его казалась неподдельной, и все жители деревни прослезились, видя, как он стоял на кладбище и созерцал свежевзрыхленную землю, покрывавшую гроб его жены. Он хотел было выкопать его и перевезти в Париж, но так как мэр этому воспротивился, а нотариус заговорил о разных формальностях, связанных с этим, то он ограничился тем, что заказал надгробную плиту из песчаника и отдал распоряжение соорудить простой, но благопристойный памятник.

Шатофор был очень взволнован этой внезапной смертью. Он отказался от многих приглашений на балы и в течение некоторого времени всюду показывался не иначе как в черном.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В обществе ходило много рассказов о смерти г-жи де Шаверни. По словам одних, она видела во сне, или, если хотите, имела предчувствие, что ее мать больна. Она была так поражена этим, что сейчас же поспешила в Ниццу, несмотря на сильную простуду, полученную ею на обратном пути от г-жи Ламбер, а затем простуда эта перешла в воспаление легких.

Другие, более проницательные, утверждали с таинственным видом, что г-жа де Шаверни, не будучи в состоянии бороться со своей любовью к г-ну де Шатофору, решила искать у матери сил противостоять этому чувству. Вследствие быстрого отъезда она простудилась, и у нее сделалось воспаление легких. На этом сходились все.

Дарси никогда о ней не говорил. Через три или четыре месяца после ее смерти он выгодно женился. Когда он сообщил о своей женитьбе г-же Ламбер, та сказала, поздравляя его:

— Действительно, супруга ваша очаровательна. Только моя бедная Жюли могла бы до такой степени подходить вам. Как жаль, что вы были слишком бедны, когда она выходила замуж!

Дарси улыбнулся своей иронической улыбкой, но ничего не сказал в ответ.

Эти две души, не понявшие одна другую, были, может, быть, созданы друг для друга.

Цицерон где-то говорит — кажется, в трактате *О природе богов,*— что существует несколько Юпитеров: Юпитер Критский, Юпитер Олимпийский и еще много других, так что нет почти ни одного сколько-нибудь значительного греческого города, который бы не обладал собственным Юпитером. Из всех этих Юпитеров сделали впоследствии одного, приписав ему все происшествия, случившиеся с каждым из его тезок в отдельности, чем и объясняется огромное количество любовных приключений, которые приписали этому богу.

Такое же смешение произошло с доном Хуаном, личностью почти столь же знаменитою, как особа Юпитера. Одна только Севилья насчитывает несколько донов Хуанов, но многие другие города также имеют собственных. Каждый из них некогда обладал своей собственной легендой. Но с течением времени они слились в одну.

Однако, если всмотреться внимательнее, нетрудно выделить каждого из донов Хуанов, по крайней мере, различить двух: дона Хуана Тенорьо, который, как всем известно, был отправлен на тот свет статуей, и дона Хуана де Маранья, кончина которого была совсем иною.

О жизни обоих рассказывают одно и то же; только развязка отличает эти рассказы. Развязки здесь можно найти на всякий вкус, как в пьесах Дюсиса, кончающихся счастливо или плачевно, сообразно чувствительности читателей.

Что до правдивости этой истории или, скажем, этих двух историй, то она несомненна, и местный севильский патриотизм сильно бы оскорбился, если бы вы подвергли сомнению существование этих озорников, бросающих тень на родословные самых знатных севильских фамилий. Иностранцам показывают дом дона Хуана Тенорьо, и ни один из ценителей искусства

не может побывать в Севилье, не осмотрев церковь Милосердия. Он может увидеть там гробницу кавалера де Маранья с надписью, продиктованной его смирением или, если хотите, гордостью: *Aquí yace el peor hombre qué fué en el mundo*[1]. Возможно ли после этого сомнение? Правда, показав вам эти два памятника, чичероне вам еще расскажет, как дон Хуан (неизвестно только, который) сделал странное предложение Хиральде — бронзовой фигуре, увенчивающей мавританскую башню собора, и как Хиральда его приняла; или о том, как однажды дон Хуан, выйдя под влиянием винных паров прогуляться по левому берегу Гуадалквивира, попросил огня у человека, с сигарою во рту шедшего по правому берегу, и как рука курильщика (оказавшегося не кем иным, как дьяволом) удлинилась настолько, что перекинулась через реку и протянула дону Хуану сигару, о которую тот закурил свою, даже не поморщившись и не обратив внимания на это предупреждение свыше,— настолько очерствело его сердце...

Я пытался размежевать этих донов Хуанов, отнеся на долю каждого ту степень зла и преступности из общего предания, которая ему причитается. Не располагая более надежным методом, я постарался наделить героя моего, дона Хуана де Маранья, лишь теми приключениями, которые не связаны по укоренившейся привычке с именем дона Хуана Тенорьо, столь известного у нас благодаря шедеврам Мольера и Моцарта.

Граф дон Карлос де Маранья был одним из самых богатых и чтимых дворян Севильи. Он происходил из славного рода и в войне против восставших морисков доказал, что доблесть его не уступала доблести его предков. После падения Альпухарры он возвратился в Севилью со шрамом на лбу и огромным числом захваченных в плен детей неверных, которых он озаботился окрестить и выгодно распродал христианским семьям. Его раны, отнюдь его не безобразившие, не помешали ему понравиться девушке из благородной семьи, отдавшей ему предпочтение перед множеством других искателей ее руки. От этого брака родилось сначала несколько дочерей, из которых одни вышли замуж, а другие поступили в монастырь. Дон Карлос де Маранья уже отчаивался иметь наследника своего имени, как вдруг рождение сына повергло его в великую радость,

---

[1] Здесь покоится худший из людей, когда-либо живших на свете *(исп.)*.

укрепив его в надежде, что древнее родовое имение его не перейдет к младшей линии.

Дон Хуан, этот желанный его сын и герой нашей правдивой истории, был избалован отцом и матерью, как и полагается единственному наследнику громкого имени и большого состояния. Еще ребенком он делал почти все, что хотел, и никто во дворце его отца не решался ему прекословить. Беда только в том, что мать хотела его сделать набожным, подобно ей самой, а отец — таким же храбрецом, как он сам. Мать с помощью ласк и лакомств склоняла его к перебиранию четок, заучиванию литаний и всех прочих обязательных и дополнительных молитв. Она убаюкивала его чтением житий святых. Со своей стороны, отец знакомил мальчика с романсами о Сиде и Бернардо дель Карпьо, рассказывал ему о восстании морисков и убеждал его упражняться целыми днями в метании копья, стрельбе из арбалета или даже аркебузы в куклу, одетую мавром и водруженную по его приказанию в конце сада.

В молельне графини де Маранья была картина, написанная в сухой и суровой манере Моралеса; она изображала муки чистилища. Все виды пыток, какие только пришли на ум художнику, были представлены на ней с такою точностью, что даже палач инквизиции не мог бы указать в ней ошибку. Души чистилища были помещены в какой-то огромной пещере, в верхней части которой виднелась отдушина. Ангел, стоявший около этого отверстия, протягивал руку душе, выходившей из обители скорби, между тем как нарисованный рядом с ним пожилой человек, с четками в сложенных руках, видимо, с большим жаром молился. Человек этот был жертвователем картины, заказанной им для церкви в Уэске. Во время восстания мориски подожгли город, и церковь погибла от пожара, но картина чудом уцелела. Граф де Маранья вывез ее оттуда и украсил ею молельню своей жены. Обыкновенно маленький Хуан, всякий раз как заходил к матери, подолгу простаивал перед этой картиной, пугавшей и в то же время пленявшей его. В особенности не мог он оторвать глаз от человека, которому змея грызла внутренности, в то время как он был подвешен над пылающей жаровней с помощью железных крючков, вонзившихся ему в бока. С тоскою впиваясь взором в отдушину, грешник, казалось, просил у жертвователя молитв, которые бы его спасли от такой муки. Графиня никогда не упускала случая пояснить сыну, что несчастный терпит такую пытку за то, что плохо знал катехизис, смеялся над священниками и бывал рассеян в церкви. Душа, уносившаяся в

рай, была душою одного из членов рода де Маранья, за которым, по-видимому, числились кое-какие грешки. Но так как граф де Маранья молился за него и роздал духовенству много денег, чтобы выкупить его душу из мук пламени, то ему и удалось переправить душу своего родственника в рай, не дав ей долго скучать в чистилище.

— Однако, Хуанито,— прибавляла графиня,— я тоже, может быть, когда-нибудь буду так мучиться и проведу миллионы лет в чистилище, если ты не будешь заказывать мессы для спасения моей души. Как жестоко будет с твоей стороны обречь на муки мать, вскормившую тебя!

Тогда ребенок принимался плакать, и, если у него было в кармане несколько реалов, он спешил отдать их первому встречному попрошайке с кружкою для душ чистилища.

Входя в комнату своего отца, он видел там латы, помятые аркебузными пулями, шлем, бывший на голове графа де Маранья при штурме Альмерии и хранивший след от удара мусульманского топора. Мавританские сабли, копья, знамена, отбитые у неверных, украшали его помещение.

— Вот этот палаш достался мне от вехерского кади, нанесшего мне три удара, прежде чем я поразил его насмерть,— пояснял граф.— Это знамя подняли восставшие на горе Эльвиры. Они разрушили христианскую деревню. Я поспешил туда с двадцатью всадниками. Четыре раза пытался я врезаться в гущу врагов, чтобы схватить это знамя, и четыре раза они нас отражали. На пятый раз я осенил себя крестным знамением, воскликнул: «Святой Иаков!» — и смял ряды язычников. Видишь золотую чашу, украшающую мой герб? Один мавританский альфаки́ похитил ее из церкви, которую он осквернил ужасными кощунствами. Он кормил лошадей овсом в алтаре, а его солдаты разбросали мощи святых. Альфаки пил из этой чаши святых даров замороженный шербет. Я настиг его в палатке, когда он подносил чашу к губам. Прежде чем он успел крикнуть: «Аллах!» — я рассек бритую голову этого пса, еще не успевшего проглотить напиток, моим добрым мечом, клинок которого врезался в нее до самых зубов. В память об этой священной мести король разрешил мне украсить мой герб золотой чашей. Я тебе сообщаю это, Хуанито, для того, чтобы ты рассказал своим детям, которые должны знать, почему твой герб не такой же, как герб твоего деда, славного дона Дьего, изображенный, как ты видишь, под его портретом.

Колеблясь между военным искусством и благочестием, ребенок проводил целые дни, делая из планок крестики или

поражая деревянной саблей тыквы из Роты, очень похожие, по его мнению, на головы мавров в тюрбанах.

В восемнадцать лет дон Хуан был довольно слаб в латыни, но хорошо умел служить мессу и владел рапирой или мечом для обеих рук не хуже Сида. Отец его, полагая, что дворянину из рода Маранья следует научиться еще кое-чему, решил послать его в Саламанку. Приготовления к отъезду были быстро закончены. Мать дала дону Хуану множество четок, ладанок, образков. Кроме того, она заставила его выучить много молитв, весьма спасительных в разных случаях жизни. Дон Карлос дал ему шпагу, эфес которой с тонкими серебряными жилками был украшен его фамильным гербом.

— До сих пор,— сказал он ему,— ты жил среди детей; отныне ты будешь жить среди мужей. Помни, что достоинство дворянина — его честь; твоя же честь — честь дома Маранья. Пусть лучше погибнет последний отпрыск нашего дома, чем на его честь падет малейшее пятно. Прими эту шпагу; она защитит тебя, если на тебя нападут. Никогда не обнажай ее первый, но помни, что предки твои никогда не влагали ее в ножны, не победив или не отомстив за себя.

Вооруженный духовным и земным оружием, потомок рода Маранья сел на коня и покинул дом своих отцов.

Саламанкский университет в ту пору переживал расцвет своей славы. Никогда еще студенты его не были более многочисленны, а профессора более учены; но никогда вместе с тем горожане не страдали так от дерзости буйной молодежи, проживавшей, или, лучше сказать, царившей в городе. Серенады, кошачьи концерты, всевозможные бесчинства по ночам являлись обычным ее времяпрепровождением, однообразие которого изредка нарушалось похищением женщин или девушек, воровством и потасовками. Первые дни после приезда дон Хуан разносил рекомендательные письма друзьям своего отца, посещал профессоров, обходил церкви, осматривал святыни. Выполняя волю своего отца, он вручил одному из профессоров довольно крупную сумму для раздачи бедным студентам. Такая щедрость вызвала всеобщий восторг и доставила ему множество друзей.

Дона Хуана обуревала жажда науки. Он собирался воспринять, как Евангелие, каждое слово, которое слетит с уст его профессоров; чтобы ничего не упустить, он решил поместиться как можно ближе к кафедре. Войдя в залу, где должна была состояться лекция, он увидел свободное место около самой кафедры и сел. Какой-то засаленный, всклокоченный, оде-

тый в рубище студент, каких немало бывает во всех университетах, на минуту оторвался от книги и устремил на дона Хуана взгляд, выражавший необычайное удивление.

— Вы сели на это место! — сказал он ему почти испуганно.— Разве вы не знаете, что его обычно занимает дон Гарсия Наварро?

Дон Хуан возразил, что, насколько ему известно, места принадлежат первому пришедшему и что, найдя это место свободным, он счел себя вправе занять его, если только почтенный дон Гарсия не поручил своему соседу удержать это место для него.

— Сразу видно, что вы здесь новичок,— сказал студент,— и что вы приехали к нам недавно, раз ничего не слыхали о доне Гарсии. Знайте же, что это один из самых...

Тут студент понизил голос из страха, как бы его не услышали другие:

— Дон Гарсия — страшный человек. Горе тому, кто оскорбит его. У него короткое терпение и длинная шпага. Будьте уверены, что, если кто-нибудь займет место, на которое дон Гарсия садился дважды, этого достаточно для ссоры, ибо он необыкновенно щепетилен и вспыльчив. Когда он ссорится, он берется за шпагу, а взявшись за нее, убивает. Ну, я вас предупредил, а вы уж поступайте, как вам заблагорассудится.

Дону Хуану показалось очень странным, что дон Гарсия притязает на лучшие места, не стараясь их даже заслужить своей аккуратностью. В то же время он заметил, что несколько студентов смотрят на него, и почувствовал, сколь унизительно будет, если он уйдет с этого места, раз уж он сел. С другой стороны, ему совсем не хотелось с первого же дня затевать ссору, тем более с человеком таким опасным, каким был, по-видимому, дон Гарсия. Таким образом, дон Хуан пребывал в большой растерянности, не зная, на что ему решиться, и машинально продолжал сидеть на своем месте, как вдруг вошел какой-то студент и сразу к нему направился.

— Вот дон Гарсия,— сказал дону Хуану его сосед.

Дон Гарсия был широкоплечий, хорошо сложенный юноша, очень смуглый, с надменным взглядом и презрительной складкой у губ. На нем был потертый камзол когда-то черного цвета и дырявый плащ, а поверх всего висела длинная золотая цепь. Известно, что студенты Саламанкского, равно как и других университетов Испании, из щегольства рядились в лохмотья, как бы желая этим показать, что истинное достоинство не нуждается в оправе, даруемой милостью судьбы.

Дон Гарсия подошел к скамье, на которой дон Хуан продолжал сидеть, и, весьма вежливо поклонившись ему, сказал:

— Сеньор студент! Вы среди нас новичок, однако мне хорошо известно ваше имя. Отцы наши были большими друзьями, и, если вам угодно, такими же друзьями будут их сыновья.

Говоря так, он протянул руку дону Хуану с самым дружелюбным видом. Дон Хуан, ожидавший совсем другой встречи, с горячностью откликнулся на учтивость дона Гарсии и отвечал, что будет польщен дружбою такого кавалера, как он.

— Вы еще не знаете Саламанки,— продолжал дон Гарсия.— Если вы пожелаете избрать меня своим проводником, я вам с удовольствием покажу все до малейших подробностей в городе, где вам предстоит жить.

Затем, обратясь к студенту, сидевшему рядом с доном Хуаном, сказал:

— Ну-ка, Перико, убирайся отсюда. Не годится такому мужлану, как ты, сидеть рядом с сеньором доном Хуаном де Маранья.

Говоря так, он грубо его толкнул и сел на место, которое тот поспешил освободить.

Когда лекция кончилась, дон Гарсия дал новому другу свой адрес, взяв с него обещание, что он его навестит. Потом, приветствовав его красивым и непринужденным жестом руки, завернулся с изяществом в свой плащ, дырявый, как ситечко.

Дон Хуан с книгами под мышкой остановился в галерее коллегии, чтобы рассмотреть старинные надписи, покрывавшие ее стены, и вдруг заметил, что студент, заговоривший с ним первый, направляется к нему, словно желая прочесть те же самые письмена. Дон Хуан, кивнув ему, чтобы показать, что он его узнал, собирался уже выйти, но студент удержал его за край плаща.

— Сеньор дон Хуан! — сказал он ему.— Если вы не очень спешите, будьте добры уделить мне несколько минут для разговора.

— Охотно,— сказал дон Хуан, прислонясь к столбу.— Я вас слушаю.

Перико боязливо посмотрел по сторонам, словно опасаясь, не следит ли кто за ними, затем приблизился к дону Хуану, собираясь что-то сказать ему на ухо, что, по-видимому, было излишней предосторожностью, так как в обширной готической галерее, где они находились, кроме них, никого не было.

— Не могли бы вы мне сказать,— начал он после минутного молчания тихим, почти дрожащим голосом,— не могли бы

вы мне сказать, действительно ли ваш отец знавал отца дона Гарсии Наварро?

Дон Хуан жестом выразил свое удивление.

— Разве вы не слышали, что сказал дон Гарсия?

— Да,— ответил студент, понижая еще более голос.— Но слыхали вы когда-нибудь сами от вашего отца, что он был знаком с сеньором Наварро?

— Конечно! Они вместе сражались против морисков.

— Превосходно! Но слыхали вы когда-нибудь, что у этого дворянина есть... есть сын?

— Сказать по правде, я не очень прислушивался к тому, что рассказывал о нем мой отец. Но к чему эти вопросы? Разве дон Гарсия не сын сеньора Наварро?.. Или он его незаконный сын?

— Призываю небо в свидетели, ничего такого я не хотел сказать! — воскликнул испуганно студент, заглядывая за столб, о который опирался дон Хуан.— Я хотел только спросить вас, не дошла ли до вас странная история, которую многие рассказывают о доне Гарсии?

— Я ровно ничего не знаю.

— Говорят... заметьте, пожалуйста, что я только передаю то, что слышал от других... говорят, будто у дона Дьего Наварро был сын, в возрасте шести или семи лет заболевший столь тяжелой и необычной болезнью, что врачи не знали, к какому средству прибегнуть. Тогда отец стал жертвовать в разные часовни, прикладывать реликвии к телу больного, но однажды... так меня уверяли... однажды, глядя на образ архангела Михаила, воскликнул: «Раз ты не можешь спасти моего сына, то хотел бы я знать, не сильнее ли тебя тот, кто лежит у тебя под пятой!»

— Какое ужасное кощунство! — вскричал дон Хуан, возмущенный до последних пределов.

— Через некоторое время ребенок выздоровел... и ребенок этот... дон Гарсия.

— И с этого дня в дона Гарсию вселился бес! — произнес с громким смехом дон Гарсия, выглянув внезапно из-за столба, за которым он, очевидно, слушал этот разговор.— По правде сказать, Перико,— прибавил он холодным и презрительным тоном пораженному студенту,— если бы вы не были жалким трусом, я бы вас заставил раскаяться в ваших дерзких речах обо мне. Сеньор дон Хуан! — продолжал он, обращаясь к Маранье.— Когда вы меня узнаете ближе, вы не станете терять времени и слушать этого болтуна. Да вот, чтобы доказать вам,

что я не приспешник дьявола, я прошу вас сделать мне честь пройти со мной сейчас в церковь святого Петра. А после того, как мы выполним там наш христианский долг, позвольте мне пригласить вас к себе на плохонький обед в компании нескольких приятелей.

С этими словами он взял под руку дона Хуана, который, стыдясь, что был пойман, когда слушал необычайный рассказ Перико, поспешил принять приглашение своего нового друга, чтобы доказать ему, как мало придает он значения злоречивым толкам.

Войдя в церковь св. Петра, дон Хуан и дон Гарсия преклонили колена перед алтарем, вокруг которого скопилось множество верующих. Дон Хуан вполголоса стал читать молитвы, но, хотя он провел порядочно времени в этом набожном занятии, он увидел, подняв голову, что спутник его все еще погружен в благоговейный экстаз: он чуть шевелил губами; казалось, состояние молитвенного самоуглубления для него только еще началось. Слегка стыдясь, что так скоро покончил с молитвами, дон Хуан принялся бормотать все литании, какие мог припомнить. Но литании кончились, а дон Гарсия все не шевелился. Дон Хуан прочел рассеянно еще несколько коротких молитв, затем, видя, что его приятель по-прежнему неподвижен, счел себя вправе оглядеться по сторонам, чтобы убить время в ожидании, когда эта долгая молитва окончится. Прежде всего его внимание привлекли три женщины, коленопреклоненные на турецких ковриках. Одна из них, судя по ее возрасту, очкам и внушительным размерам чепца, могла быть только дуэньей. Две другие были молодые и хорошенькие, и взор их был не столь уж низко опущен над четками, чтобы нельзя было рассмотреть огромные огненные глаза с длинным разрезом. Дон Хуан испытывал большое удовольствие, глядя на одну из них, пожалуй, даже большее, чем приличествовало в таком святом месте. Забыв о молитвенном состоянии своего приятеля, он потянул его за рукав и тихонько спросил, кто эта девушка с четками из желтого янтаря.

— Это донья Тереса де Охеда, а другая — ее старшая сестра, донья Фауста: обе — дочери аудитора кастильского государственного совета,— ответил дон Гарсия, нисколько, видимо, не смутясь тем, что его потревожили.— Я влюблен в старшую; постарайтесь увлечься младшею. Кстати,— прибавил он,— они уже встают и собираются уходить из церкви. Пойдем посмотрим, как они будут садиться в карету. Может быть, ветер при-

поднимет их шелковые юбки, и мы увидим хорошенькую ножку, а то и две.

Дон Хуан был так взволнован красотою доньи Тересы, что, не подивившись непристойным речам дона Гарсии, последовал за ним до дверей церкви и увидел, как благородные девушки сели в карету и как карета повезла их по одной из самых людных улиц. Едва они исчезли из виду, дон Гарсия, надев шляпу набекрень, весело воскликнул:

— Прелестные девушки! Черт меня побери, если не пройдет и десяти дней, как старшая станет моею. Ну, а как у вас подвинулось дело с младшей?

— Что? Мое дело с младшей? — простодушно переспросил дон Хуан.— Да ведь я ее в первый раз вижу!

— Что за важность! — воскликнул дон Гарсия.— Вы думаете, я дольше вашего знаю Фаусту? Это не помешало мне подбросить ей сейчас записку, и она приняла ее очень мило.

— Записку? А я не видел, как вы ее писали!

— У меня всегда есть в запасе заготовленные, а так как имя там не проставлено, то они годятся для любой женщины. Остерегайтесь только употреблять предательские эпитеты относительно цвета глаз или волос. Что же касается вздохов, слез и молений, то они всякой придутся по вкусу, будь то блондинка или брюнетка, дама или девица.

Болтая таким образом, дон Гарсия с доном Хуаном незаметно достигли дверей дома, где их ожидал обед. То была обычная студенческая трапеза, более обильная, чем тонкая и разнообразная: груда переперченного рагу, ветчины, солонины — словом, всякие кушанья, возбуждающие жажду. При этом вдоволь вина разных ламанчских и андалусских сортов. Несколько студентов, приятелей дона Гарсии, ждали его прихода. Тотчас же все сели за стол, и некоторое время было слышно лишь, как работают челюсти да звенят стаканы о фляги. Вскоре вино всех развеселило, и завязалась беседа, ставшая весьма шумной. Речь только и шла что о дуэлях, любовных похождениях и веселых студенческих проделках. Один рассказывал о том, как он надул свою хозяйку, выехав от нее накануне того дня, когда надо было платить за квартиру. Другой — о том, как послал к виноторговцу за несколькими кувшинами вальдепенского пива от имени какого-то важного профессора богословия и ловко стибрил эти кувшины, предоставив профессору расплачиваться по счету. Этот побил ночного сторожа, тот с помощью веревочной лестницы проник к возлюбленной, обманув бдительность ревнивца. Сначала дон

Хуан слушал с изумлением рассказы об этих бесчинствах. Но мало-помалу выпитое вино и веселость собутыльников победили его скромность. Эти истории стали его забавлять, и он начал даже завидовать славе, которую снискали себе некоторые рассказчики своими ловкими плутовскими проделками. Он понемногу начал забывать те благоразумные принципы, с какими прибыл в университет, и усваивать правила студенческого поведения, из коих главное, весьма простое и легкое, состояло в том, чтобы позволять себе все что угодно по отношению к «мошенникам», то есть ко всей той части рода человеческого, которая не занесена в регистры университета. Студент живет среди «мошенников», как во вражеской стране, и имеет право обращаться с ними так, как древние евреи поступали с хананеянами. Но так как, к сожалению, сеньор коррехидор мало чтит священные законы университета и только ищет случая, как бы досадить посвященным, то последним надлежит братски объединиться, помогать друг другу, а главное — соблюдать нерушимую тайну.

Эта назидательная беседа тянулась до тех пор, пока в бутылках было еще вино. Когда их опорожнили до дна, способность рассуждать заметно ослабела, и всем сильно захотелось спать. Так как солнце стояло еще высоко, они разбрелись по домам, чтобы предаться послеполуденному сну. Дон Хуан, однако, принял приглашение дона Гарсии отдохнуть у него. Едва он вытянулся на кожаном диване, как усталость и винные пары повергли его в глубокий сон. Долгое время сновидения его были столь смутны и причудливы, что он испытывал лишь какую-то тяжесть на сердце, не сознавая, какой образ или мысль вызывают в нем это чувство. Но понемногу он начал, если можно так выразиться, яснее понимать свой сон, а самый сон стал более последовательным. Ему казалось, что он плывет в лодке по большой реке, более широкой и бурной, чем бывает Гуадалкивир зимою. У лодки не было ни паруса, ни руля, ни весел, берега реки были пустынны. Лодку так трепало течением, что, судя по головокружению, которое охватило его, дон Хуан мог подумать, что он находится в устье Гуадалкивира, где новички, отплывающие в Кадис, испытывают первые приступы морской болезни. Вскоре он очутился в более узкой части реки, настолько узкой, что можно было ясно рассмотреть оба берега и даже перекликаться с теми, кто на них находился. И вдруг на одном берегу появилась лучезарная фигура, а на другом в это же время другая, и обе они устремились к дону Хуану, словно желая ему помочь. Он сначала

повернул голову вправо и увидел старца с суровым и величавым лицом, босого и прикрытого лишь власяницей с вплетенными в нее терниями. Казалось, он протягивал дону Хуану руку. Затем, поглядев налево, дон Хуан увидел там высокую женщину с благороднейшим и привлекательнейшим лицом; она предлагала ему венок из цветов, который она держала в руке. В ту же минуту он заметил, что ладья его плывет, куда он хочет, без помощи весел, одним лишь усилием его воли. Он хотел уже направить ее к женщине, когда крик, раздавшийся на правом берегу, заставил его повернуть голову и устремиться туда. Старец теперь имел вид еще более суровый, чем прежде. Все тело его, насколько позволяла видеть власяница, было избито, покрыто ссадинами и запекшейся кровью. В одной руке держал он терновый венец, в другой — бич с железным наконечником. При этом зрелище ужас охватил дона Хуана, и он быстро повернул опять к левому берегу. Видение, столь его пленившее, еще не исчезло. Волосы женщины развевались по ветру, глаза горели неестественным огнем, а в руке, вместо венка, она держала теперь шпагу. Дон Хуан помедлил минуту, прежде чем сойти на берег, и, всмотревшись, увидел, что клинок шпаги был красным от крови, как красна была и рука прелестницы. В страхе он внезапно пробудился. Открыв глаза, он невольно вскрикнул, увидев обнаженную шпагу в двух футах от своей постели. Но шпагу держала в руке отнюдь не прелестница. Дон Гарсия, собравшийся разбудить своего друга, заметив у его постели замечательно украшенную шпагу, принялся ее рассматривать с видом знатока. На клинке шпаги была надпись: «Храни верность»,— а на рукоятке, как мы уже упомянули, были герб, имя и девиз рода де Маранья.

— У вас, приятель, великолепная шпага,— сказал дон Гарсия.— Вы, наверное, достаточно отдохнули. Уже настал вечер; пройдемтесь немного. Когда честные горожане разойдутся по домам, мы с вами, если это вам угодно, дадим серенаду нашим красоткам.

Дон Хуан с доном Гарсией пошли погулять по берегу Тормеса, поглядывая на женщин, вышедших подышать свежим воздухом и показать себя своим поклонникам. Постепенно прохожие стали редеть, потом исчезли вовсе.

— Настал час, когда весь город принадлежит студентам,— сказал дон Гарсия.— «Мошенники» не посмеют мешать нашим невинным забавам. Нужно ли вам говорить, что если нам придется столкнуться с городской стражей, то этих негодяев щадить не стоит? Но если бы нахалов оказалось слишком

много и нам пришлось проявить резвость ног, не тревожьтесь: я хорошо знаю все проходы и закоулки; вы только следуйте за мной, и все обойдется благополучно.

Говоря так, он закинул плащ через левое плечо и прикрыл им бóльшую часть лица, между тем как правая рука его оставалась свободной. Дон Хуан последовал его примеру, и оба они направились к улице, где жила донья Фауста с сестрою. Проходя мимо паперти одной церкви, дон Гарсия свистнул, и тотчас же появился его паж с гитарой в руках. Дон Гарсия взял гитару, а пажа отослал.

— Я вижу,— сказал дон Хуан, когда они свернули на Вальядолидскую улицу,— что вы рассчитываете на мою охрану во время вашей серенады. Будьте уверены, я сумею заслужить ваше одобрение. Я был бы опозорен в Севилье, откуда я родом, если бы не сумел прогнать этих наглецов.

— Я совсем не хочу, чтобы вы стояли на страже. У меня здесь моя любовь, у вас — ваша. У каждого своя добыча. Но тсс! Вот уже их дом. Вы к тому окну, я к этому, и будьте наготове.

Настроив свою гитару, дон Гарсия довольно приятным голосом запел романс, где, как водится, шла речь о слезах, вздохах и тому подобных вещах. Не знаю, сам он его сочинил или нет.

После третьей или четвертой сегидильи жалюзи обоих окон слегка приподнялись, и послышалось легкое покашливание. Это означало, что певца слушают. Говорят, что музыканты никогда не играют, когда их просят или когда их слушают. Дон Гарсия положил свою гитару на межевой столб и заговорил вполголоса с одной из двух слушавших его женщин.

Дон Хуан, подняв глаза, увидел в окне над собою женщину, которая, казалось, внимательно на него смотрела. Он не сомневался, что это сестра доньи Фаусты, та самая, которой его собственная склонность и выбор его друга предназначили стать дамой его сердца. Но он был еще застенчив, неопытен и не знал, с чего начать. Вдруг из окна упал платок, и нежный, тонкий голосок вскричал:

— Ах, Иисусе!.. Упал мой платок!

Дон Хуан тотчас же схватил его и, вздев на острие шпаги, поднял до уровня окна. Это послужило поводом, чтобы завязать беседу. Голосок сперва стал благодарить, а потом спросил, не был ли сеньор кавалер, выказавший такую любезность, сегодня утром в церкви св. Петра. Дон Хуан ответил, что был и что потерял там свой душевный покой.

— Каким образом?

— Увидя вас.

Лед был сломан. Дон Хуан, будучи севильянцем, знал на память множество мавританских рассказов, язык которых так богат любовными выражениями. Поэтому ему легко было проявить красноречие. Беседа тянулась добрый час. Наконец Тереса вскричала, что она слышит шаги своего отца и что нужно разойтись. Обожатели покинули улицу не раньше, чем увидели, как две белые ручки высунулись из-под жалюзи и бросили каждому из них по ветке жасмина. Когда дон Хуан отправился спать, голова его была переполнена самыми прелестными образами. А дон Гарсия зашел в кабачок, где провел бóльшую часть ночи.

На следующий день вздохи и серенады повторились. И так продолжалось несколько вечеров подряд. После подобающего сопротивления обе дамы согласились обменяться со своими кавалерами прядями волос, что было проделано с помощью тонкого шнура, на котором спустили и подняли этот обоюдный залог любви. Дон Гарсия, не склонный довольствоваться пустяками, заговорил о веревочной лестнице и поддельных ключах. Но его нашли чересчур смелым, и замысел его был если не отвергнут, то отложен на неопределенное время.

В течение примерно месяца дон Хуан с доном Гарсией ворковали бесплодно под окнами своих возлюбленных. Однажды темной ночью они находились на своем обычном посту и довольно долго уже разговаривали, к удовольствию всех собеседников, как вдруг в конце улицы показались семь или восемь человек в плащах, причем у многих были музыкальные инструменты.

— Праведное небо,— воскликнула Тереса,— это дон Кристоваль собирается дать нам серенаду! Уходите скорее, ради бога, а то произойдет какое-нибудь несчастье.

— Мы не уступим никому столь прекрасного места! — воскликнул дон Гарсия.— Кавальеро! — обратился он, повысив голос, к первому подошедшему.— Место занято, и эти дамы не нуждаются в вашей музыке. Будьте любезны поискать удачи в другом месте.

— Какой-то наглец, студент, хочет преградить нам дорогу! — вскричал дон Кристоваль.— Но я ему покажу, что значит ухаживать за моей дамой.

С этими словами он обнажил шпагу. В то же мгновение шпаги обоих приятелей блеснули в воздухе. Дон Гарсия, с

поразительной быстротою обернув руку плащом, взмахнул шпагой и воскликнул:

— Ко мне, студенты!

Но ни одного не оказалось поблизости. Музыканты, видимо, опасаясь, как бы в свалке не переломали их инструментов, бросились бежать, зовя городскую стражу, между тем как обе женщины у окон призывали на помощь всех святых.

Дон Хуан, стоявший под окном, которое было ближе к дону Кристовалю, вынужден был первый защищаться от его ударов. Дон Кристоваль отличался ловкостью, а кроме того, у него был в левой руке маленький железный щит, которым он отражал удары, между тем как дон Хуан располагал лишь шпагою и плащом. Теснимый доном Кристовалем, он вовремя вспомнил прием, которому обучил его сеньор Уберти, его учитель фехтования. Он упал на левую руку, а правою направил свою шпагу под щит дона Кристоваля, вонзив ее ниже ребер с такой силою, что клинок сломался, проникнув в тело не менее чем на ладонь. Дон Кристоваль вскрикнул и упал, обливаясь кровью. Пока это происходило — быстрее, чем можно было вообразить,— дон Гарсия успешно оборонялся от двух нападавших, которые, увидев, как упал их хозяин, тотчас пустились удирать со всех ног.

— Теперь бежим,— сказал дон Гарсия.— Сейчас нам не до веселья. Прощайте, красавицы!

И он увлек за собой дона Хуана, растерявшегося от собственного подвига. В двадцати шагах от дома дон Гарсия остановился и спросил своего спутника, куда девалась его шпага.

— Моя шпага? — сказал дон Хуан, только сейчас заметивший, что ее нет при нем.— Не знаю... Должно быть, я ее обронил.

— Проклятье! — вскричал дон Гарсия.— Ведь ваше имя вырезано на эфесе!

В это мгновение они увидели, что из ближайших домов выходят люди с факелами и собираются вокруг умирающего. С другого конца улицы туда же спешил отряд вооруженных людей. Очевидно, это был патруль, привлеченный криками музыкантов и шумом побоища.

Дон Гарсия, надвинув на глаза шляпу и закрыв плащом лицо, чтобы его не узнали, ринулся, пренебрегая опасностью, в самую гущу собравшейся толпы, надеясь разыскать шпагу, которая, несомненно, выдала бы виновников. Дон Хуан видел, как он наносил удары во все стороны, гася факелы и опрокидывая все, что ему встречалось на пути. Вскоре он показался

опять, несясь во весь опор и держа в обеих руках по шпаге; весь патруль гнался за ним.

— О дон Гарсия,— воскликнул дон Хуан, схватив протянутую ему шпагу,— как я вас должен благодарить!

— Бежим! Бежим! — крикнул дон Гарсия.— Следуйте за мною, и если почувствуете одного из этих негодяев за своей спиной, кольните его так же удачно, как это вы только что сделали.

И тут они оба помчались с такой быстротой, на какую только были способны их ноги, гонимые страхом перед сеньором коррехидором, который, по слухам, был еще суровее со студентами, нежели с ворами.

Дон Гарсия, знавший Саламанку, как *Deus det* [1], проворно сворачивал в боковые улицы и ускользал в узкие переулки, между тем как его менее опытный спутник с трудом за ним поспевал. Они уже начали выбиваться из сил, когда за поворотом одной из улиц наткнулись на толпу студентов, гулявших с пением под аккомпанемент гитары. Как только эти гуляки заметили, что за двумя их товарищами гонится стража, они немедленно вооружились камнями, палками и всякими иными орудиями борьбы. Стражники, запыхавшись от бега, не сочли уместным затевать бой. Они благоразумно удалились, и оба виновника происшествия зашли передохнуть на минутку в ближайшую церковь.

У входа в нее дон Хуан попытался вложить в ножны свою шпагу, ибо он считал неприличным и не подобающим доброму христианину вступать в дом божий с обнаженным мечом в руках. Однако ножны туго поддавались, и клинок входил в них с трудом; словом, он убедился, что это не его шпага. Очевидно, дон Гарсия схватил в суматохе первую попавшуюся шпагу, валявшуюся на земле и принадлежавшую убитому или кому-нибудь из его спутников. Дело принимало плохой оборот, и дон Хуан тотчас же сообщил об этом своему другу, на советы которого он уже привык полагаться.

Дон Гарсия нахмурил брови, закусил губу и принялся крутить поля своей шляпы, прохаживаясь взад и вперед, в то время как дон Хуан, пораженный своим неприятным открытием, терзался страхом и муками совести. После раздумья, длившегося с четверть часа, дон Гарсия, выказавший свою деликатность тем, что ни разу не сказал: «Как это вы могли выронить шпагу?» — взял дона Хуана под руку и заявил:

---

[1] «Да ниспошлет бог» — начало католической молитвы *(лат.)*.

— Идемте, я сейчас улажу это дело.

В эту минуту какой-то священник выходил из ризницы, собираясь покинуть церковь. Дон Гарсия остановил его.

— Простите, я, кажется, имею честь говорить с ученым лиценциатом Гомесом? — спросил он с глубоким поклоном.

— Я еще не лиценциат,— ответил священник, явно польщенный тем, что его приняли за лиценциата.— Меня зовут Мануэль Тордойя, и я весь к вашим услугам.

— Святой отец! — сказал дон Гарсия.— Вы как раз то лицо, с которым мне нужно поговорить. Дело касается вопроса совести, а вы, если слухи меня не обманули, автор знаменитого трактата *De casibus conscientiae* [1], наделавшего так много шума в Мадриде.

Священник, поддавшись греху тщеславия, пробормотал в ответ, что хотя он не является автором названной книги (говоря по правде, никогда не существовавшей), но что он много занимался этими вопросами.

Дон Гарсия, не без причины слушавший его одним ухом, продолжал:

— Святой отец! Вот вкратце дело, о котором я хотел с вами посоветоваться. К одному моему приятелю не дальше как сегодня, лишь час тому назад, обратился на улице какой-то человек. «Кавальеро! — сказал он ему.— Я должен сейчас драться в двух шагах отсюда; у моего противника шпага длиннее моей. Не будете ли вы добры одолжить мне вашу, чтобы наше оружие было равным?» Мой приятель обменялся с ним шпагами. Некоторое время он ждет на углу улицы, пока те покончат свое дело. Не слыша более звона шпаг, он подходит — и что же видит? На земле лежит убитый человек, пронзенный той самой шпагой, которую он только что дал незнакомцу. С этой минуты он в отчаянии корит себя за свою любезность, страшась, не совершил ли он смертного греха. Я пытался его успокоить. По-моему, его грех простителен, так как, если бы он не дал своей шпаги, он был бы причиной того, что противники сразились бы неравным оружием. Что вы скажете, отец мой? Разделяете ли вы мое мнение?

Священник, бывший новичком в казуистике, насторожил уши при этом рассказе и стал тереть лоб, как человек, приискивающий цитату. Дон Хуан, плохо понимавший, куда клонит дон Гарсия, боялся вставить словечко из страха испортить дело.

---

[1] О вопросах совести *(лат.)*.

— Видно, случай очень трудный, святой отец,— продолжал дон Гарсия,— раз такой ученый человек, как вы, колеблется, как его разрешить. Если вы позволите, завтра мы к вам зайдем, чтобы узнать ваше суждение, а пока я вас очень прошу отслужить — или поручить это сделать кому-нибудь другому — несколько месс за упокой души убитого.

С этими словами он сунул священнику в руку два или три дуката, окончательно расположивших его в пользу юношей столь набожных, столь совестливых, а главное, столь щедрых. Он пообещал завтра на этом самом месте вручить им свое заключение в письменной форме. Дон Гарсия рассыпался в благодарностях, а потом прибавил небрежным тоном, словно речь шла о пустяке:

— Только бы правосудию не вздумалось сделать нас ответственными за эту смерть! На вас же мы возлагаем надежду по части примирения нас с богом.

— Правосудия,— заявил священник,— вам нечего опасаться. Ваш друг, который дал на время свою шпагу, по закону отнюдь не является сообщником.

— Да, отец мой, но ведь истинный убийца убежал. Станут осматривать рану, быть может, найдут шпагу со следами крови... Как знать? Эти законники, говорят, страшные придиры.

— Но ведь вы свидетель тому, что шпагу он взял у другого человека? — сказал священник.

— Конечно,— ответил дон Гарсия,— и я готов это заявить перед любым судьей королевства. К тому же,— прибавил он вкрадчивым голосом,— и вы, отец мой, можете теперь подтвердить истину. Ведь мы обратились к вам за духовным наставлением задолго до того, как дело получит огласку. Вы можете подтвердить факт обмена шпаг... Да вот лучшее доказательство.

Он взял шпагу дона Хуана.

— Поглядите,— сказал он,— на эту шпагу: она совсем не подходит к ножнам.

Священник кивнул головой, как человек, убежденный в правдивости рассказанной ему истории. Он молча перебирал пальцами дукаты, черпая в них самый веский довод в пользу обоих юношей.

— В конце концов, отец мой,— прибавил дон Гарсия с очень набожным видом,— что значит для нас земное правосудие? Главное для нас — это примириться с небом.

— До завтра, дети мои,— сказал священник, собираясь уходить.

— До завтра,— ответил дон Гарсия.— Целуем ваши руки и полагаемся на вас.

Когда священник ушел, дон Гарсия весело подпрыгнул.

— Да здравствует симония! — воскликнул он.— Вот наши дела как будто и поправились. Если правосудие потревожит нас, этот славный монах ради дукатов, уже полученных, и тех, которые он еще рассчитывает выудить у нас, не откажется показать, что в смерти кавальеро, убитого вами, мы так же мало повинны, как новорожденный младенец. Ступайте теперь домой, но будьте настороже и отворяйте дверь с разбором. Я же пройдусь по городу и послушаю, что говорят люди.

Вернувшись к себе в комнату, дон Хуан, не раздеваясь, бросился на кровать. Он провел ночь без сна, все время думая о совершенном им убийстве, главное же — о его последствиях. Каждый раз, как доносился шум шагов с улицы, он воображал, что это идут его арестовать. Наконец усталость и тяжесть в голове от недавнего студенческого обеда взяли свое, и он к рассвету задремал.

Он проспал уже несколько часов, как вдруг слуга разбудил его, сообщив, что какая-то дама с закрытым лицом хочет его видеть. В ту же минуту в комнату вошла женщина. Она была с ног до головы закутана в большой черный плащ, из-под которого выглядывал только один глаз. Этот глаз сначала посмотрел на слугу, потом на дона Хуана, словно желая дать понять, что она хочет говорить наедине. Слуга тотчас же вышел. Дама присела, продолжая широко раскрытым глазом смотреть на дона Хуана с большим вниманием. Помолчав с минуту, она начала так:

— Сеньор кавальеро! Вы вправе удивиться моему поступку, и, без сомнения, вы можете плохо обо мне подумать. Но когда вы узнаете побуждения, которые привели меня сюда, вы, наверное, не осудите меня. Вы вчера дрались с одним здешним кавальеро...

— Я, сеньора? — воскликнул дон Хуан, бледнея.— Но я вчера не покидал своей комнаты...

— Не притворяйтесь передо мной; я сейчас покажу вам пример прямодушия.

С этими словами она распахнула свой плащ, и дон Хуан узнал донью Тересу.

— Сеньор дон Хуан! — продолжала она, краснея.— Я должна вам признаться, что ваша отвага крайне расположила меня в вашу пользу. Несмотря на смятение, овладевшее мною, я заметила, что ваша шпага сломалась и что вы бросили ее на

землю у дверей нашего дома. В то время как все толпились вокруг раненого, я сошла вниз и подняла эфес вашей шпаги. Рассматривая его, я прочла на нем ваше имя и поняла, какой опасности вы подвергнетесь, если он попадет в руки ваших врагов. Вот он. Я счастлива, что могу вам его вручить.

Как и следовало ожидать, дон Хуан, упав перед ней на колени, заявил, что она спасла ему жизнь, но что это дар бесполезный, так как она заставляет его умирать от любви. Донья Тереса спешила домой и хотела тотчас уйти. Но слова дона Хуана доставляли ей такое удовольствие, что она не могла решиться сразу с ним расстаться. Около часа прошло в такой беседе, полной клятв в вечной любви, поцелуев руки, мольбы с одной стороны и слабых отказов с другой. Внезапно вошедший дон Гарсия прервал это свидание. Он был не из тех людей, которых легко смутить. Прежде всего он успокоил донью Тересу. Он похвалил ее мужество и присутствие духа и в заключение просил походатайствовать за него перед ее сестрой с целью обеспечить ему более ласковый прием. Донья Тереса обещала исполнить все, о чем он ее просил, закуталась до бровей в свой плащ и ушла, предварительно дав слово прийти вместе с сестрой сегодня же на вечернее гулянье в условленное место.

— Наши дела идут недурно! — воскликнул дон Гарсия, как только юноши остались одни.— Вас никто не подозревает. Коррехидор, весьма мало ко мне расположенный, оказал мне честь, вспомнив обо мне. Он был уверен, по его словам, что дона Кристоваля убил я. Знаете, что заставило его изменить свое мнение? Ему сообщили, что я провел весь вечер с вами, а у вас, мой друг, такая репутация святости, что частицу ее вы можете давать напрокат другим. Как бы там ни было, подозрение нас не коснулось. Ловкая проделка вашей маленькой Тересы избавляет нас от страха за будущее. Итак, бросим об этом думать и предадимся удовольствиям.

— Ах, Гарсия,— воскликнул уныло дон Хуан,— это так тяжело — убить одного из своих ближних!

— Еще тяжелее,— отвечал дон Гарсия,— когда один из твоих ближних убивает тебя. Но хуже всего провести день без обеда. Поэтому я приглашаю вас отобедать у меня сегодня вместе с несколькими весельчаками, которые будут рады вас увидеть.

Сказав это, он вышел.

Любовь уже заметно ослабила укоры совести нашего героя. Тщеславие окончательно их заглушило. Студенты, в обществе

которых он обедал у дона Гарсии, узнали от хозяина, кто был истинным виновником смерти дона Кристоваля. Этот Кристоваль был известный кавальеро, славившийся своей смелостью и ловкостью и внушавший страх студентам. Поэтому смерть его вызвала лишь всеобщее веселье, и его счастливого противника осыпали поздравлениями. Послушать их — так он был честью, цветом, опорой университета. Все с восторгом пили за его здоровье, а один студент-мурсиец прочел сложенный им экспромтом хвалебный сонет, в котором дон Хуан сравнивался с Сидом и Бернардо дель Карпьо. Вставая из-за стола, дон Хуан еще испытывал небольшую тяжесть на сердце. Но если бы ему дали власть воскресить дона Кристоваля, то весьма сомнительно, чтобы он ею воспользовался, из боязни утратить репутацию и славу, которые это убийство доставило ему в глазах всего Саламанкского университета.

Когда настал вечер, обе стороны добросовестно явились на свидание, и оно состоялось на берегу Тормеса. Донья Тереса взяла за руку дона Хуана (в те времена не брали еще дам под руку), а донья Фауста — дона Гарсию. Пройдясь несколько раз взад и вперед, обе пары разлучились, весьма довольные, обменявшись обещаниями при первом же случае увидеться вновь.

Расставшись с обеими сестрами, юноши повстречали цыганок, плясавших с бубнами среди кучки студентов. Они присоединились к компании. Танцовщицы приглянулись дону Гарсии, и он решил увести их с собой ужинать. Предложение было сразу сделано и немедленно принято. Дон Хуан в качестве *fidus Achates*[1] составил им компанию. Задетый замечанием одной из цыганок, что он похож на послушника, дон Хуан постарался всеми способами доказать, что эта кличка к нему мало подходит: он кричал, плясал, играл и пил в этот вечер столько, сколько хватило бы на двух студентов второго года обучения, вместе взятых.

Большого труда стоило отвести его домой далеко за полночь: он был вдребезги пьян, страшно возбужден и грозил поджечь Саламанку и выпить Тормес, чтобы нельзя было потушить пожар.

Таким-то образом терял дон Хуан одно за другим те счастливые качества, которыми наделили его природа и воспитание. К концу третьего месяца жизни его в Саламанке под ру-

---

[1] Верного Ахата *(лат.)*.

ководством дона Гарсии он окончательно соблазнил бедную донью Тересу; его приятель достиг своей цели на неделю или полторы раньше. Вначале дон Хуан привязался к своей возлюбленной со всей страстью, какую способен питать юноша его лет к первой женщине, ему отдавшейся. Но вскоре дон Гарсия без труда ему доказал, что постоянство — добродетель химерическая, а, кроме того, если он будет вести себя на студенческих оргиях иначе, чем его товарищи, он набросит этим тень на доброе имя Тересы. Он утверждал, что лишь очень страстная и до конца разделенная любовь довольствуется одной женщиной. К тому же дурная компания, в которую втянулся дон Хуан, не давала ему ни минуты передышки. Он почти не показывался в аудиториях, а если и показывался, то, обессиленный бессонными ночами и кутежами, засыпал на лекциях самых знаменитых профессоров. Зато он был первым и последним на гулянье, а те ночи, которые донья Тереса не могла уделить ему, неизменно проводил в кабаке или в еще худшем месте.

Однажды утром он получил записку от своей дамы, выражавшей сожаление, что она не может принять его сегодня ночью, как было раньше условлено: только что приехала в Саламанку ее старая родственница, и ей предоставили комнату Тересы, которая должна была ночевать в комнате своей матери. Эта неудача весьма мало опечалила дона Хуана: он быстро нашел, чем заполнить вечер. В ту минуту, как он выходил на улицу, занятый своими мыслями, какая-то женщина с закрытым лицом подала ему записку. Записка была от доньи Тересы. Она нашла способ устроиться в отдельной комнате, и вместе с сестрой они приготовили все для свидания. Дон Хуан показал письмо дону Гарсии. Они подумали некоторое время, затем безотчетно, как бы по привычке, взобрались на балкон своих возлюбленных и остались у них.

У доньи Тересы было на груди довольно заметное родимое пятнышко. В первый раз дону Хуану было дозволено взглянуть на него в виде величайшей милости. В течение некоторого времени он взирал на него как на восхитительнейшую вещь в мире. Он сравнивал его то с фиалкой, то с анемоном, то с цветком альфальфы. Но вскоре пресытившемуся дону Хуану эта родинка, которая была в самом деле очень красива, перестала нравиться. «Это большое черное пятно, только и всего,— говорил он себе со вздохом.— Какая досада! Оно похоже на кровоподтек. Черт бы побрал эту родинку!» Однажды он спросил даже Тересу, не советовалась ли она с врачами, как бы ее

уничтожить, на что бедная девушка ответила, покраснев до белков глаз, что ни один мужчина в мире, кроме него, не видел этого пятнышка, а затем, по словам ее кормилицы, такие родинки приносят счастье.

В тот вечер, о котором я рассказываю, дон Хуан, придя на свидание в довольно скверном расположении духа, увидел опять эту родинку, и она показалась ему еще бóльших размеров, чем прежде. «Черт возьми! Родинка похожа на большую крысу,— подумал он, глядя на нее.— В самом деле, это нечто чудовищное! Настоящая Каинова печать! Только одержимый бесом способен сделать такую женщину своей возлюбленной!» Он впал в крайнюю мрачность, стал без причины ссориться с бедной Тересой, довел ее до слез и расстался с нею на заре, не пожелав ее поцеловать. Дон Гарсия, который вышел с ним, шагал некоторое время молча, затем, вдруг остановившись, заговорил:

— Признайтесь, дон Хуан, мы изрядно проскучали эту ночь. Я до сих пор не могу развеять скуку и с удовольствием послал бы мою принцессу ко всем чертям!

— Вы не правы,— сказал дон Хуан.— Фауста — прелестная особа; она бела, как лебедь, и всегда в превосходном расположении духа. К тому же она вас так любит! Вы счастливый человек.

— Бела — это верно; я согласен, что она бела. Но у нее плохой цвет лица, и если сравнить обеих сестер, она похожа на сову рядом с голубкой. Не я счастливец, а вы!

— Ну нет! — возразил дон Хуан.— Моя малютка мила, но она совсем ребенок. С ней невозможно серьезно говорить. Ее голова начинена рыцарскими романами, и у нее самые дикие представления о любви. Вы не можете вообразить, до чего она требовательна.

— Вы еще слишком молоды, дон Хуан, и не умеете обращаться с любовницами. Женщина — то же, что лошадь: если вы позволите ей усвоить дурные привычки и не внушите, что не склонны прощать ее капризы, вы никогда ничего от нее не добьетесь.

— Значит, дон Гарсия, вы обращаетесь с вашими любовницами, как с лошадьми? Скажите, вы часто пускаете в ход хлыст, чтобы отучить их от капризов?

— Редко, я слишком для этого добр. Послушайте, дон Хуан, уступите мне вашу Тересу! Ручаюсь, что в две недели она станет послушной, как перчатка. Взамен я вам предлагаю Фаусту. Согласны на обмен?

— Сделка пришлась бы мне по вкусу,— ответил с улыбкой дон Хуан,— если бы только наши дамы на нее согласились. Но донья Фауста ни за что не уступит. Она слишком много потеряет на обмене.

— Вы слишком скромны. Но успокойтесь, я так ее расстроил вчера, что первый встречный после меня покажется ей светлым ангелом среди ада. Знаете, дон Хуан,— продолжал дон Гарсия,— я вам предлагаю ее без шуток.

Дон Хуан громко рассмеялся — его насмешила серьезность, с какой его друг обсуждал столь странный проект.

Эта поучительная беседа была прервана приходом нескольких студентов, и они перестали об этом думать. Но вечером, когда оба приятеля сидели за бутылкой монтильского вина и корзинкой валенсийских орехов, дон Гарсия снова принялся жаловаться на свою любовницу. Он только что получил письмо от Фаусты, полное нежных слов и мягких упреков, сквозь которые проступало ее остроумие и умение во всем найти смешную сторону.

— Вот,— сказал дон Гарсия, отчаянно зевая и протягивая письмо дону Хуану,— прочтите-ка это чудное произведение! Опять свидание сегодня вечером! Но черт меня побери, если я к ней пойду!

Дон Хуан прочел письмо, и оно ему показалось прелестным.

— Право,— сказал он,— если бы у меня была такая любовница, как у вас, я бы приложил все старания, чтобы сделать ее счастливой.

— Берите же ее себе, мой милый,— воскликнул дон Гарсия,— берите ее, удовлетворите свою прихоть! Я вам уступаю все права. Да вот что,— прибавил он, вставая, словно осененный внезапным вдохновением,— разыграем наших любовниц. Сыграем партию в ломбер. Моя ставка — донья Фауста, а вы поставьте на карту Тересу.

Дон Хуан, до слез посмеявшись выдумке своего приятеля, взял карты и стасовал их. Хотя он играл без всякого старания, он выиграл. Дон Гарсия, не выказав никакого огорчения по поводу своего проигрыша, потребовал бумагу и чернил и написал нечто вроде ордера на донью Фаусту, в котором он ей предписывал отдаться в распоряжение предъявителя записки, совсем так, как если бы приказывал своему управляющему отсчитать сто дукатов одному из кредиторов.

Дон Хуан, продолжая смеяться, предложил дону Гарсии реванш, но тот отказался.

— Если у вас найдется достаточно смелости,— сказал он,— накиньте на себя мой плащ и отправляйтесь к маленькой дверце, хорошо вам знакомой. Вы встретите только Фаусту, так как Тереса не ждет вас. Следуйте за нею, не произнося ни слова; когда вы очутитесь в ее комнате, возможно, что она на минуту удивится и даже прольет одну-две слезинки. Но вы не обращайте на это внимания. Будьте спокойны, она не решится кричать. Затем покажите ей мое письмо. Скажите, что я последний негодяй, чудовище — словом, все, что вам придет в голову, что ей представляется случай легко и быстро мне отомстить, и будьте уверены, что она найдет эту месть весьма сладкой.

С каждым словом дона Гарсии дьявол все глубже забирался в душу дона Хуана, внушая ему, что то, что он до сих пор считал пустой шуткой, может привести к самым приятным для него последствиям. Он перестал смеяться, и румянец удовольствия выступил на его лице.

— Если бы я был уверен,— сказал он,— что Фауста согласится на эту замену...

— Согласится ли она! — воскликнул повеса.— Ах вы, желторотый птенчик! Вы думаете, что женщина может колебаться между шестимесячным любовником и любовником одного дня? Полноте, я не сомневаюсь, что завтра вы поблагодарите меня оба, и единственная награда, которой я у вас прошу, это разрешить мне ухаживать за Тереситой, чтобы возместить свой ущерб.

Затем, видя, что дон Хуан уже наполовину сдался на его доводы, он сказал:

— Решайтесь, потому что я-то уж ни за что не пойду к Фаусте сегодня. Если вы не желаете, я передам эту записку толстому Фадрике, и вся прибыль достанется ему.

— Пусть будет, что будет! — вскричал дон Хуан, хватая записку.

И, чтобы прибавить себе храбрости, он залпом выпил большой бокал монтильского вина.

Час близился. Дон Хуан, которого еще мучила немного совесть, пил не переставая, чтобы забыться. Наконец башенные часы пробили условленный час. Дон Гарсия накинул дону Хуану на плечо свой плащ и проводил его до дверей своей возлюбленной. Затем, подав условленный знак, пожелал ему доброй ночи и ушел без малейших угрызений совести по поводу злого дела, которое только что совершил.

Дверь тотчас же открылась. Донья Фауста уже ждала.

— Это вы, дон Гарсия? — спросила она тихим голосом.

— Да,— ответил дон Хуан еще тише, пряча лицо в складках широкого плаща.

Он вошел; дверь затворилась, и он стал подниматься по темной лестнице вслед за женщиной, которая его вела.

— Держитесь за кончик моей мантильи и идите как можно тише.

Вскоре он оказался в комнате Фаусты. Единственная лампа тускло ее освещала. Первую минуту дон Хуан, не снимая плаща и шляпы, стоял возле двери, не решаясь еще открыться. Донья Фауста сначала молча смотрела на него, потом вдруг подошла к нему, протягивая руки. Дон Хуан, сбросив с себя плащ, сделал такое же движение.

— Как, это вы, сеньор дон Хуан! — воскликнула она.— Дон Гарсия болен?

— Болен? — сказал дон Хуан.— Нет... Но он не мог прийти. Он послал меня к вам.

— Ах, как это досадно! Но скажите, может быть, другая женщина помешала ему прийти?

— Так вы знаете, что он ветреник?

— Как моя сестра будет рада вас видеть! Бедняжка! Она думала, что вы не придете... Позвольте мне пройти, я хочу ее предупредить.

— Не делайте этого.

— У вас странное выражение лица, дон Хуан... Не принесли ли вы мне дурную весть?.. Говорите! С доном Гарсией случилось что-нибудь плохое?

Чтобы избавить себя от затруднительного ответа, дон Хуан протянул несчастной девушке гнусную записку дона Гарсии. Она пробежала ее глазами и сначала не поняла. Потом перечла, не веря своим глазам. Дон Хуан, внимательно наблюдавший, видел, как она то подносила руку ко лбу, то протирала глаза. Ее губы дрожали, мертвенная бледность покрыла лицо, и она должна была взять обеими руками бумажку, чтобы не уронить ее на пол. Наконец, сделав над собой отчаянное усилие, она привстала.

— Все это ложь! — крикнула она.— Мерзкий обман! Дон Гарсия не мог этого написать!

Дон Хуан ответил:

— Вам знаком его почерк. Он не умел ценить сокровище, которым обладал... А я согласился прийти, потому что обожаю вас.

Она бросила на него взгляд, полный самого глубокого презрения, и принялась вновь перечитывать письмо с внимательностью адвоката, подозревающего подлог в документе. Ее широко раскрытые глаза впивались в бумагу. Время от времени на них навертывались крупные слезы и, падая с немигающих век, скатывались по щекам. Вдруг она улыбнулась безумной улыбкой и воскликнула:

— Ведь это шутка, не правда ли? Это шутка? Дон Гарсия здесь, он сейчас войдет!..

— Нет, это не шутка, донья Фауста! Нет ничего истиннее любви, которую я питаю к вам. Я буду очень несчастен, если вы не поверите мне.

— Негодяй! — вскричала донья Фауста.— Но если ты говоришь правду, ты еще больший злодей, чем дон Гарсия.

— Любовь все оправдывает, прекрасная Фаустита. Дон Гарсия вас покинул; возьмите же меня, чтобы утешиться. Я вижу на этой картине Вакха и Ариадну. Позвольте мне быть вашим Вакхом.

Не сказав ни слова в ответ, она схватила со стола нож и, высоко подняв его над головой, бросилась на дона Хуана. Но он, заметив ее движение, схватил ее за руку, без труда обезоружил и, считая себя вправе наказать ее за это начало враждебных действий, поцеловал раза три или четыре и попытался увлечь к маленькому дивану. Донья Фауста была женщина слабая и нежная, но гнев придал ей силы, и она стала сопротивляться, то цепляясь за мебель, то защищаясь руками, ногами и зубами. Сначала дон Хуан принимал удары с улыбкой, но вскоре в нем пробудился гнев с такой же силой, как и любовь. Он сдавил донью Фаусту, не боясь попортить ее нежную кожу. Это был яростный борец, решивший во что бы то ни стало одолеть своего противника, готовый задушить его, если это понадобится для победы. Тогда Фауста прибегла к последнему средству, которым располагала. До этой минуты женский стыд мешал ей позвать на помощь, но тут, видя свое близкое поражение, она огласила дом криками.

Дон Хуан увидел, что он не сможет овладеть своей жертвой, что нужно подумать о собственном спасении. Он попробовал оттолкнуть Фаусту и выскочить за дверь, но она так вцепилась в его одежду, что он не мог вырваться. Уже послышался тревожный стук отворяемых дверей. Шаги и голоса приближались, нельзя было терять ни минуты. Дон Хуан старался отбросить от себя донью Фаусту, но она ухватилась за его камзол с такой силой, что он закружился с нею по ком-

нате, но вырваться ему не удалось. Фауста оказалась теперь около двери, которая вела во внутренние покои. Она продолжала кричать. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался человек с аркебузой в руках. Он вскрикнул от удивления, и тотчас же раздался выстрел. Лампа погасла, и дон Хуан почувствовал, как руки доньи Фаусты разжались и что-то теплое заструилось по его пальцам. Она упала, вернее, скользнула на пол, так как пуля раздробила ей спинной хребет. Отец убил свою дочь вместо насильника. Дон Хуан, почувствовав себя на свободе, кинулся к лестнице сквозь дым выстрела. Сперва он получил удар прикладом от отца, затем удар шпагой от прибежавшего с ним слуги. Но ни тот, ни другой удар не причинили дону Хуану большого вреда. Со шпагой в руке он старался проложить дорогу и погасить факел, который держал слуга. Испуганный его решительным видом, слуга отступил. Но дон Алонсо де Охеда, человек пылкий и неустрашимый, не колеблясь бросился на дона Хуана. Тот отразил несколько его ударов, вначале, без сомнения, думая лишь о защите. Но привычка к фехтованию делает то, что рипост вслед за парадом становится движением естественным, почти невольным. Минуту спустя отец доньи Фаусты испустил глубокий вздох и упал, смертельно раненный. Дон Хуан, которому открылся свободный путь, бросился как стрела на лестницу, оттуда к выходной двери и в одно мгновение очутился на улице. Слуги не преследовали его,— они хлопотали около умирающего хозяина. Донья Тереса, прибежавшая на аркебузный выстрел, увидев эту ужасную картину, упала без чувств на труп отца. Она знала еще только половину своего несчастья.

Дон Гарсия допивал последнюю бутылку монтильского вина, когда дон Хуан, бледный, залитый кровью, с блуждающим взором, в разорванном камзоле, с брыжами, торчавшими на целую ладонь больше положенного предела, стремительно вошел в комнату и, задыхаясь, бросился в кресло, не в силах произнести ни слова. Дон Гарсия сразу понял, что случилось нечто серьезное. Он дал дону Хуану немного отдышаться, затем стал расспрашивать. Тот в двух словах все ему рассказал. Дон Гарсия, который не легко терял свое обычное хладнокровие, выслушал, не поведя бровью, рассказ своего приятеля. Затем, протянув ему наполненный бокал, сказал:

— Выпейте, это будет вам полезно. Дело серьезное,— продолжал он и тоже выпил.— Убить отца возлюбленной — это не шутка... Правда, бывали тому примеры, начиная хотя бы с Сида. Плохо то, что у вас нет пятисот близких и дальних

родственников, одетых с ног до головы в белое, готовых защищать вас против саламанкской городской стражи и родных убитого... Обсудим, что нам нужно прежде всего сделать.

Он прошелся два-три раза по комнате, как бы собираясь с мыслями.

— Оставаться в Саламанке после такого скандала было бы безумием,— начал он.— Алонсо де Охеда не какой-нибудь мелкий дворянчик, а, кроме того, его слуги, наверное, вас узнали. Но допустим на минуту, что вас никто не узнал. Вы уже приобрели в университете такую блестящую репутацию, что вас не замедлят обвинить в любом безыменном злодеянии. Поверьте мне, надо бежать, и чем скорее, тем лучше. Вы стали в три раза ученее, чем это приличествует дворянину из хорошей семьи. Бросьте Минерву и послужите немного Марсу. Это вам удастся лучше — у вас есть к этому способности. Сейчас идет война во Фландрии. Едем убивать еретиков. Это лучший способ искупить наши грешки здесь, на земле. Аминь, закончу я, как кончают проповедники.

Слово «Фландрия» подействовало на дона Хуана как талисман. Ему показалось, что, покинув Испанию, он спасется от самого себя. Среди тягот и опасностей войны не будет времени для угрызений совести.

— Во Фландрию, во Фландрию! — вскричал он.— Едем искать смерти во Фландрию.

— От Саламанки до Брюсселя далеко,— продолжал серьезно дон Гарсия,— а в вашем положении надо спешить. Помните: если сеньор коррехидор вас поймает, вам нигде уж не приведется воевать, кроме галер его величества.

Переговорив со своим другом, дон Хуан быстро сбросил с себя студенческое платье. Он надел расшитую кожаную куртку, какие тогда носили военные, и большую шляпу с опущенными полями, не забыв набить свой пояс тем количеством дублонов, каким только мог его снабдить дон Гарсия. Все эти приготовления были закончены в несколько минут. Он двинулся в путь пешком, выбрался из города никем не узнанный и шел всю ночь и следующее утро, пока солнечный зной не принудил его остановиться. В первом же городе, куда он попал, он купил лошадь и, примкнув к каравану путешественников, благополучно добрался до Сарагосы. Там он прожил несколько дней под именем дона Хуана Карраско. Дон Гарсия, покинувший Саламанку на другой день после его ухода, пошел другой дорогой и присоединился к нему в Сарагосе. Там они пробыли недолго. Помолившись наспех Пиларской божьей ма-

тери и полюбовавшись на арагонских красоток, они, запасшись каждый добрым слугой, направились в Барселону, откуда отплыли в Чивита-Веккью. Под действием усталости, морской болезни, новизны мест и природного своего легкомыслия дон Хуан быстро забыл ужасное приключение, оставшееся позади. Удовольствия, в которые окунулись оба приятеля в Италии, отвлекли их на несколько месяцев от главной цели их поездки. Когда же средства начали у них иссякать, они присоединились к небольшой группе земляков, людей таких же, как они, храбрых и безденежных, и двинулись вместе в путь через немецкую землю.

По прибытии в Брюссель каждый из них зачислился в отряд того или другого полководца по своему выбору. Оба приятеля захотели принять боевое крещение под начальством Мануэля Гомаре, прежде всего потому, что он был андалусец родом, а также потому, что, как говорили, он требовал от своих солдат только храбрости да еще того, чтобы их оружие всегда блестело и было в порядке, в отношении же дисциплины был очень снисходителен.

Весьма одобрив их внешность, Гомаре отнесся к ним хорошо и распорядился ими согласно их вкусам и склонностям, иначе говоря, стал посылать их во все опасные экспедиции. Судьба была к ним благосклонна, и там, где многие из их товарищей обрели смерть, они ни разу не были даже ранены и обратили на себя внимание генералов. Оба в один и тот же день получили офицерский чин. С этой минуты, уверенные в хорошем мнении о них и в расположении начальства, они открыли свои настоящие имена и стали снова вести свою обычную жизнь, то есть дни проводили в игре и пьянстве, а ночью давали серенады самым красивым женщинам того города, где стояли на зимних квартирах. Они получили от своих отцов прощение, что мало их тронуло, а также денежные переводы на имя антверпенских банкиров. Они сумели распорядиться этими деньгами. Благодаря своей молодости, храбрости и предприимчивости они одержали множество быстрых побед. Не стану их перечислять; достаточно будет сказать, что едва замечали они красивую женщину, как все средства, чтобы овладеть ею, уже казались им хорошими. Клятвы и обещания ничего не стоили этим бесчестным повесам. А если братьям или мужьям приходило в голову их наказать, у них всегда были наготове добрые шпаги и безжалостные сердца.

Весной возобновилась война.

В одной из стычек, неудачной для испанцев, Гомаре был смертельно ранен. Дон Хуан, увидев, что он упал, подбежал

к нему, зовя солдат, чтобы вынести его из боя. Но доблестный военачальник, собрав последние силы, сказал ему:

— Дайте мне умереть. Я чувствую, что мне пришел конец. Не все ли равно, умру я здесь или на полмили дальше? Берегите ваших солдат; им найдется много работы,— вот, я вижу, голландцы двинули в ход крупные силы. Ребята! — обратился он к солдатам, хлопотавшим около него.— Сомкнитесь вокруг знамен и не думайте обо мне.

В этот момент подошел дон Гарсия и спросил его, не выскажет ли он своей последней воли, которую можно было бы исполнить после его смерти.

— Какая там к черту воля в такую минуту?

Он несколько секунд помолчал, словно раздумывая.

— Я никогда не размышлял о смерти,— заговорил он опять,— и не думал, что она так близка... Я не прочь был бы повидать священника... Только все монахи сейчас в обозе... А все же нелегко умирать без исповеди.

— Вот мой молитвенник,— сказал дон Гарсия, подавая ему флягу с вином.— Хлебните для бодрости.

Взор храброго вояки быстро тускнел. Он не расслышал шутки дона Гарсии, но старые солдаты, стоявшие поблизости, были ею возмущены.

— Дон Хуан, дитя мое! — молвил умирающий.— Подойдите ко мне. Я делаю вас моим наследником. Возьмите этот кошелек, в нем все мое имущество. Пусть лучше он достанется вам, чем этим грешникам. Об одном только попрошу я вас — заказать несколько месс за упокой моей души.

Дон Хуан обещал и пожал ему руку, в то время как дон Гарсия тихонько ему объяснял, какая разница между мыслями слабого человека в минуту смерти и теми, которые он провозглашает за столом, уставленным бутылками. Несколько пуль, просвистевших мимо их ушей, возвестили приближение голландцев. Солдаты вновь сомкнули ряды. Они наспех простились с Гомаре и все внимание направили на то, как бы отступить в порядке. Сделать это было нелегко вследствие численного превосходства врага, плохой дороги, размытой дождями, и усталости солдат после длинного перехода. Все же голландцам не удалось их настигнуть, и к ночи они бросили преследование, не захватив знамени и не взяв в плен ни одного человека, который бы не был ранен.

Вечером оба приятеля, сидя с несколькими офицерами в палатке, обсуждали бой, в котором только что участвовали. Все порицали приказы того, кто в этот день командовал, и задним

числом сообразили, как надо было поступать. Потом заговорили об убитых и раненых.

— А о Гомаре,— сказал дон Хуан,— я буду долго жалеть. Это был храбрый офицер, славный товарищ и истинный отец для всех солдат.

— Да,— сказал дон Гарсия,— но, признаюсь вам, я был необычайно удивлен, видя, как он страдает от того, что около него не оказалось черной рясы. Это доказывает только, что легче быть храбрым на словах, чем на деле. Иной смеется над далекой опасностью и бледнеет, когда она близка. Кстати, дон Хуан, раз вы его наследник, скажите нам, что вы нашли в кошельке, который он вам оставил?

Только тогда дон Хуан открыл кошелек и увидел, что в нем около шестидесяти червонцев.

— Раз мы при деньгах,— сказал дон Гарсия, привыкший смотреть на кошелек своего друга как на свой собственный,— почему бы нам не сыграть в фараон, вместо того чтобы хныкать, вспоминая умерших друзей?

Предложение пришлось всем по вкусу. Принесли несколько барабанов и накрыли их плащом. Это заменило карточный стол. Дон Хуан начал игру в доле с доном Гарсией, но, прежде чем понтировать, вынул из кошелька десять червонцев и, завернув их в платок, положил в карман.

— Черт возьми! Что вы собираетесь с ними делать? — вскричал дон Гарсия.— Видано ли, чтобы солдат откладывал деньги, да еще накануне сражения!

— Вы знаете, дон Гарсия, что не все эти деньги принадлежат мне. Дон Мануэль завещал мне свое состояние *sub poenae nomine* [1], как выражаются у нас в Саламанке.

— Проклятье! — вскричал дон Гарсия.— Черт меня побери, если он не хочет отдать эти десять экю первому встречному священнику.

— Почему бы нет? Я обещал.

— Замолчите! Клянусь бородой Магомета, я вас не узнаю и краснею за вас.

Игра началась. Сначала она шла с переменным успехом, но затем судьба решительно ополчилась на дона Хуана. Напрасно, чтобы перебить невезение, дон Гарсия вместо него взял карты в руки. Не прошло и часу, как все деньги, бывшие у них, вместе с пятьюдесятью экю Гомаре перешли в руки банкомета. Дон Хуан хотел было идти спать, но дон Гарсия,

---

[1] Условно с обязательством *(лат.)*.

разгорячившись, стал настаивать на реванше, надеясь отыграть потерянное.

— Ну, ну, сеньор разумник, давайте-ка ваши последние экю, которые вы так старательно запрятали! Я уверен, что они нам принесут счастье.

— Подумайте, дон Гарсия, о данном мною обещании!..

— Эх вы, младенец! Время теперь думать о мессах! Если бы Гомаре был здесь, он скорее ограбил бы церковь, чем отказался понтировать.

— Вот пять экю,— сказал дон Хуан.— Не ставьте их все сразу.

— Будем смелы! — вскричал дон Гарсия.

И поставил пять экю на короля. Выиграл, удвоил и проиграл все.

— Давайте пять остальных! — крикнул он, бледнея от гнева.

Напрасно дон Хуан пробовал возражать. Ему пришлось уступить; он дал четыре экю, и они немедленно последовали за прежними. Дон Гарсия швырнул карты в лицо банкомета и поднялся в бешенстве.

— Вам всегда везло,— сказал он дону Хуану.— К тому же говорят, что последнее экю обладает удивительной способностью приносить счастье.

Дон Хуан не менее его распалился. Он не думал более ни о мессах, ни о данном слове. Он поставил на туза свое последнее экю и тотчас же его проиграл.

— К черту душу капитана Гомаре! — воскликнул он.— Должно быть, его деньги были заколдованы!..

Банкомет спросил, не желают ли они сыграть еще, но так как деньги у них кончились, а кредит у людей, ежедневно подвергающихся опасности потерять голову, невелик, то им поневоле пришлось оставить карты и искать утешения в обществе собутыльников. Душа бедного полководца была окончательно забыта.

Несколько дней спустя испанцы, получив подкрепление, перешли в атаку и двинулись вперед. Им пришлось проходить место недавней битвы. Убитые не были еще погребены. Дон Гарсия и дон Хуан погнали своих лошадей, чтобы поскорее удалиться от трупов, оскорблявших одновременно зрение и обоняние, как вдруг солдат, ехавший впереди, громко вскрикнул при виде тела, лежавшего во рву. Они приблизились и узнали Гомаре. Он был, однако, страшно обезображен. Его искаженные черты, застывшие в ужасной судороге, доказы-

вали, что его последние минуты сопровождались жестокими страданиями. Хотя дон Хуан и привык к таким зрелищам, он не мог не содрогнуться при виде этого трупа, тусклые глаза которого, наполненные запекшейся кровью, казалось, смотрели на него с угрозой. Он вспомнил о последнем желании несчастного полководца, которое он так и не выполнил. Однако черствость, которую он искусственно вызвал в своем сердце, помогла ему заглушить голос совести. Он велел быстро вырыть яму и похоронить Гомаре. Случайно нашелся капуцин и наспех прочитал несколько молитв. Труп, окропленный святой водою, засыпали камнями и землей, и солдаты, молчаливые более обычного, двинулись дальше в путь. Но дон Хуан заметил, как один старый стрелок, долго рывшийся в карманах, вытащил наконец оттуда экю и дал его капуцину.

— Вот вам на мессы за Гомаре,— сказал он.

В этот день дон Хуан проявил необыкновенную храбрость; он бросался в огонь с такой отчаянной отвагой, словно искал смерти.

— Будешь храбрым, когда нет ни гроша в кармане,— говорили его товарищи.

Вскоре после смерти Гомаре в отряд, где служили дон Хуан и дон Гарсия, поступил рекрутом молодой солдат. Он казался мужественным и неустрашимым, но характера был скрытного и загадочного. Никто не видал, чтобы он пил или играл с товарищами. Он проводил долгие часы, сидя на скамье у караульной будки, следя за полетом мух или играя курком своей аркебузы. Солдаты, смеявшиеся над его замкнутостью, прозвали его Модесто [1]. Под этой кличкой он был известен во всем отряде, и даже начальство не называло его иначе.

Кампания завершилась осадой Берг-оп-Зома, которая, как известно, была самой кровопролитной за всю эту войну, так как осажденные защищались с отчаянным упорством. Однажды ночью оба приятеля находились на посту в траншее, близко от городских стен, положение их было крайне опасное. Осажденные постоянно делали вылазки, поддерживая частый и меткий огонь.

Первая половина ночи прошла в беспрерывных тревогах; затем как осажденными, так и осаждающими, казалось, овладела усталость. Огонь с обеих сторон прекратился, и всю равнину покрыла глубокая тишина, которая лишь изредка прерывалась одиночными выстрелами, имевшими целью пока-

[1] Скромный *(исп.)*.

зать, что, если противник и перестал сражаться, то все же он не ослабил своей бдительности. Было около четырех часов утра; в такие минуты человек, проведя всю ночь без сна, испытывает мучительное ощущение холода и вместе с тем душевную подавленность, вызванную физической усталостью и желанием спать. Всякий честный солдат должен признаться, что в таком состоянии души и тела он может поддаться трусости, которой потом, после восхода солнца, будет стыдиться.

— Черт возьми! — воскликнул дон Гарсия, топая ногами, чтобы согреться, и плотнее завертываясь в плащ.— Я чувствую, как у меня мозг стынет в костях. Мне кажется, голландский ребенок мог бы сейчас побить меня пивной кружкой вместо всякого оружия. Право, я не узнаю себя. Вот сейчас я вздрогнул от аркебузного выстрела. Будь я набожен, я бы принял свое странное состояние за предостережение свыше.

Все присутствующие, в особенности дон Хуан, были поражены, что он вспомнил о небесах, ибо никогда еще он о них не заговаривал, а если и делал это, то только с насмешкой. Но, заметив, что многие улыбнулись его словам, он в порыве тщеславия воскликнул:

— Если кто-нибудь посмеет вообразить, что я боюсь голландцев, бога или черта, то я сведу с ним счеты после нашей смены!

— О голландцах я не говорю, но бога и нечистого следует бояться,— сказал старый капитан с седыми усами, у которого рядом со шпагой висели четки.

— Что они могут мне сделать? — сказал дон Гарсия.— Гром не поражает так метко, как протестантская пуля.

— А о душе вы забыли? — спросил старый капитан, крестясь при этом страшном богохульстве.

— Ну, что касается души... то нужно сначала убедиться, что у меня есть душа. Кто утверждает, что у меня есть душа? Попы. Но эта выдумка с душой приносит им такой доход, что, наверное, они сами ее сочинили, как булочники, придумавшие пирожки, чтобы их продавать.

— Вы плохо кончите, дон Гарсия,— сказал старый капитан.— Такие речи не годится держать в траншее.

— В траншее и в любом другом месте я всегда говорю то, что думаю. Но я готов замолчать,— вот у моего друга дона Хуана сейчас слетит с головы шляпа от вставших дыбом волос. Он верит не только в душу, но даже в души чистилища.

— Я отнюдь не вольнодумец,— сказал дон Хуан со смехом,— и порой я завидую вашему великолепному безразли-

чию к делам того света. Признаюсь вам, хоть вы и станете надо мной смеяться: бывают минуты, когда все то, что рассказывают об осужденных, вызывает у меня неприятные мысли.

— Лучшее доказательство бессилия дьявола — то, что вы сейчас стоите живой в этой траншее. Поверьте мне, господа,— прибавил дон Гарсия, хлопая дона Хуана по плечу,— если бы дьявол существовал, он бы уже забрал этого молодца. Он хоть и юн, но, ручаюсь вам, это настоящий грешник. Он погубил женщин и уложил в гроб мужчин больше, чем могли бы это сделать два францисканца и два валенсийских головореза, вместе взятые.

Он еще продолжал говорить, как вдруг раздался аркебузный выстрел со стороны траншеи, ближайшей к лагерю. Дон Гарсия схватился за грудь и вскрикнул:

— Я ранен!

Он пошатнулся и почти тотчас упал. В то же мгновение какой-то человек бросился бежать, но темнота быстро скрыла его от преследователей.

Рана дона Гарсии оказалась смертельной. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния, аркебуза была заряжена несколькими пулями. Но твердость этого закоренелого вольнодумца не поколебалась ни на минуту. Он крепко выругал тех, кто заговорил с ним об исповеди, и сказал, обращаясь к дону Хуану:

— Единственно, что меня печалит в моей смерти, это то, что капуцины изобразят ее как суд божий надо мною. Согласитесь, однако, что нет ничего более естественного, чем выстрел, убивающий солдата. Говорят, будто выстрел был сделан с нашей стороны; наверно, какой-нибудь мстительный ревнивец подкупил моего убийцу. Повесьте его без дальних разговоров, если он вам попадется. Слушайте, дон Хуан: у меня есть две любовницы в Антверпене, три в Брюсселе и еще несколько, которых я не помню... У меня путаются мысли. Я их вам завещаю... за неимением лучшего... Возьмите также мою шпагу... а главное, не забудьте выпада, которому я вас научил... Прощайте... И пусть, вместо всяких месс, мои товарищи устроят после моих похорон славную пирушку.

Таковы приблизительно были его последние слова. О боге, о том свете он и не вспомнил, как не вспоминал о них и тогда, когда был полон жизни и сил. Он умер с улыбкой на устах; тщеславие придало ему силы до конца выдержать гнусную роль, которую он так долго играл. Модесто исчез бесследно.

Все в армии были уверены, что это он убил дона Гарсию, но все терялись в догадках относительно причин, толкнувших его на убийство.

Дон Хуан жалел о доне Гарсии больше, чем о родном брате. Он полагал, безумец, что всем ему обязан! Это дон Гарсия посвятил его в тайны жизни, он снял с его глаз плотную чешую, их покрывавшую. «Чем был я до того, как познакомился с ним?» — спрашивал он себя, и его самолюбие внушало ему, что он стал существом высшим, чем другие люди. Словом, все то зло, которое в действительности причинила ему дружба с этим безбожником, оборачивалось в его глазах добром, и он испытывал к нему признательность, какая бывает у ученика к учителю.

Печальные воспоминания об этой столь внезапной смерти так долго не выходили у него из головы, что за несколько месяцев он даже переменил образ жизни. Но постепенно он вернулся к прежним привычкам, слишком укоренившимся в нем, чтобы какая-нибудь случайность могла их изменить. Он снова принялся играть, пить, волочиться за женщинами и драться с их мужьями. Каждый день у него бывали новые приключения. Сегодня он лез на стену крепости, завтра взбирался на балкон; утром дрался на шпагах с каким-нибудь мужем, вечером пьянствовал с куртизанками.

Среди этого разгула он узнал о смерти отца; мать пережила его лишь несколькими днями, так что дон Хуан получил оба эти известия зараз. Люди деловые советовали ему — и это вполне отвечало его собственному желанию — вернуться в Испанию и вступить во владение родовым имением и огромными богатствами, перешедшими к нему по наследству. Он уже давно получил прощение за убийство дона Алонсо де Охеда, отца доньи Фаусты, и считал, что с этим делом покончено. К тому же он хотел применить свои силы на более широком поприще. Он вспомнил о прелестях Севильи и о многочисленных красотках, которые, казалось, только и ждут его прибытия, чтобы отдаться ему без сопротивления. Итак, сбросив латы, он отправился в Испанию. Он прожил некоторое время в Мадриде, на бое быков обратил на себя общее внимание богатством своего наряда и ловкостью, с какою управлял пикой, одержал там несколько побед, но вскоре уехал. Прибыв в Севилью, он ослепил всех от мала до велика своей пышностью и роскошью. Каждый день он давал новые празднества, на которые приглашал прекраснейших дам Андалусии. Что ни день, то новые развлечения, новые оргии в его великолепном дворце.

Он сделался предводителем целой ватаги озорников, распущенных и необузданных и лишь ему одному покорных той покорностью, какая так часто наблюдается в кругу дурных людей. Словом, не было такого бесчинства, которому бы он не предавался, а так как богатый распутник бывает опасен не только самому себе, то он развращал своим примером андалусскую молодежь, которая превозносила его до небес и старалась ему подражать. Если бы провидение долго еще терпело его распутство, то, несомненно, понадобился бы огненный дождь, чтобы покарать безобразия и преступления, творившиеся в Севилье. Болезнь, приковавшая дона Хуана на несколько дней к постели, отнюдь не способствовала его исправлению; напротив, он искал у своего врача исцеления лишь для того, чтобы предаться новым бесчинствам.

Выздоравливая, он развлекался тем, что составлял список всех соблазненных им женщин и обманутых мужей. Список этот был тщательно разделен на два столбца. В одном значились имена женщин с кратким их описанием, в другом — имена мужей и их общественное положение. Дону Хуану нелегко было восстановить в памяти имена всех этих несчастных, и можно полагать, что список его был далеко не полным. Однажды он показал его одному приятелю, который пришел его навестить. В Италии дону Хуану довелось пользоваться благосклонностью женщины, хвалившейся тем, что она любовница папы, и потому список женщин начинался ее именем, а имя папы числилось в списке мужей. За ним шел какой-то король, дальше герцоги, маркизы и так далее, вплоть до простых ремесленников.

— Погляди, мой милый,— сказал дон Хуан приятелю,— никто от меня не спасся, никто, начиная с папы и кончая сапожником; нет сословия, которое бы не уплатило мне подати.

Дон Торривьо — так звали приятеля — просмотрел список и вернул его дону Хуану, заметив с торжествующим видом:

— Он не полон.

— Как? Не полон? Кого же недостает в таблице мужей?

— Бога,— отвечал дон Торривьо.

— Бога? Это правда, не хватает монахини. Черт возьми! Спасибо, что заметил. Так вот, клянусь тебе честью дворянина,— не пройдет и месяца, как бог попадет в мой список, повыше папы, и ты поужинаешь у меня вместе с моей монахиней. В каком из севильских монастырей есть хорошенькие монашенки?

Через несколько дней дон Хуан принялся за дело. Он начал посещать церкви женских монастырей, становясь на колени около самой решетки, отделяющей невест Христовых от остальных верующих. Оттуда он бросал бесстыдные взгляды на робких дев, как волк, забравшийся в овчарню и высматривающий самую жирную овечку, чтобы зарезать ее первую. Он вскоре заметил в церкви божьей матери дель Росарьо молодую монахиню поразительной красоты, еще более выигрывавшей от выражения печали, разлитой в ее чертах. Она никогда не подымала глаз, никогда не смотрела ни вправо, ни влево; она казалась целиком погруженной в святое таинство, совершавшееся перед ней. Ее губы чуть шевелились; заметно было, что она молится с бóльшим жаром и благоговением, чем все ее подруги. Ее вид пробудил в доне Хуане какие-то старые воспоминания. Ему казалось, что он уже видел эту женщину, но где и когда, он не мог припомнить. Столько образов запечатлелось с большей или меньшей ясностью в его памяти, что они невольно сливались. Два дня подряд приходил он в церковь и становился всякий раз возле решетки, но ему так и не удалось заставить сестру Агату (он узнал, как ее зовут) поднять глаза.

Трудность победы над особой, так хорошо охраняемой ее положением и скромностью, лишь разжигала желания дона Хуана. Самым важным и вместе с тем самым трудным было заставить себя заметить. Тщеславие дона Хуана нашептывало ему, что, если бы только ему удалось привлечь внимание сестры Агаты, победа была бы наполовину одержана. Чтобы принудить эту прекрасную особу поднять глаза, он придумал следующую уловку. Он занял место как можно ближе к ней и, воспользовавшись минутой, когда во время поднятия святых даров все молящиеся распростираются ниц, просунул руку между прутьев решетки и вылил перед сестрой Агатой флакон духов, который принес с собой. Резкий запах, внезапно распространившийся, заставил молодую монахиню поднять голову, а так как дон Хуан стоял прямо перед ней, она не могла его не заметить. Сначала ее лицо выразило сильное удивление, потом оно покрылось смертельной бледностью; она слабо вскрикнула и без чувств упала на каменные плиты. Ее подруги поспешили к ней и унесли ее в келью. Дон Хуан, очень довольный собою, удалился.

«Эта монахиня действительно прелестна,— говорил он себе.— Но чем больше я на нее смотрю, тем больше убеждаюсь в том, что она уже занесена в мой список».

На другой день к началу мессы он опять появился у решетки. Но сестры Агаты не было на ее обычном месте в пер-

вом ряду монахинь; она пряталась за своими подругами. Дон Хуан все же заметил, что она тайком оглядывается по сторонам. Он увидел в этом доброе предзнаменование для своей страсти. «Малютка меня боится,— подумал он,— но скоро я ее приручу». Когда месса окончилась, он заметил, что сестра Агата направилась в исповедальню. Но по пути туда, проходя мимо решетки, она словно невзначай уронила свои четки. Дон Хуан был слишком опытен, чтобы поверить в эту притворную рассеянность. Сначала он подумал, как хорошо было бы завладеть этими четками. Но он находился по другую сторону решетки и рассудил, что для того чтобы поднять их, нужно подождать, пока все выйдут из церкви. В ожидании этой минуты он прислонился к столбу, как бы углубившись в молитву, прикрыв глаза рукою, но слегка при этом раздвинув пальцы, чтобы не терять из виду малейшего движения сестры Агаты. Всякий, кто увидел бы его в такой позе, принял бы его за доброго христианина, погруженного в благочестивые мысли.

Монахиня вышла из исповедальни и сделала несколько шагов, направляясь внутрь монастыря. Но тут она заметила — или притворилась, будто заметила,— что потеряла свои четки. Она оглянулась вокруг и увидела, что они лежат возле решетки. Она вернулась и наклонилась, чтобы поднять их. В эту минуту дон Хуан заметил что-то белое, скользнувшее под решетку. Это был маленький листочек, сложенный вчетверо. Вслед за тем монахиня удалилась.

Распутник, удивленный тем, что добился успеха быстрее, чем ожидал, даже пожалел, что встретил слишком слабое сопротивление. Подобное сожаление испытывает охотник на оленя, приготовившийся к долгой и трудной погоне: иногда зверь, только поднятый, внезапно падает, лишая охотника удовольствия и чести, которых он ждал от преследования. Дон Хуан все же поспешно поднял записку и вышел из церкви, чтобы на свободе ее прочесть. Вот ее содержание:

«Это Вы, дон Хуан? Неужели правда, что Вы меня не забыли? Я была очень несчастна, но уже начинала свыкаться со своей судьбой. Теперь я стану во сто раз несчастнее. Я должна Вас ненавидеть... Вы пролили кровь моего отца... Но я не могу Вас ни ненавидеть, ни забыть. Имейте ко мне жалость. Не приходите больше в эту церковь, Вы заставляете меня очень страдать. Прощайте, прощайте, я умерла для мира.

Тереса»

— Да это Тересита! — вскричал дон Хуан.— Я был уверен, что где-то видел ее.— Затем он еще раз перечел записку.— «Я должна Вас ненавидеть...» Это значит — я Вас люблю. «Вы пролили кровь моего отца...» То же самое Химена говорила Родриго. «Не приходите больше в эту церковь». Это значит — я жду Вас завтра. Превосходно! Она моя.

Затем он пошел обедать.

На следующий день минута в минуту он был в церкви с заготовленным письмом в кармане. Каково же было его удивление, когда он заметил отсутствие сестры Агаты! Никогда еще месса не казалась ему более долгой. Он был вне себя. Проклиная в сотый раз совестливость Тересы, он отправился гулять на берег Гуадалкивира, стараясь придумать какую-нибудь хитрость. И вот что пришло ему в голову.

Монастырь божьей матери дель Росарьо славился среди монастырей Севильи превосходным вареньем, которое изготовляли его монахини. Дон Хуан явился в приемную монастыря и попросил привратницу дать ему список всех сортов варенья, какие у нее были для продажи.

— А есть у вас лимоны Маранья? — спросил он с самым естественным видом.

— Лимоны Маранья, сеньор кавальеро? Я в первый раз слышу о таком варенье.

— Однако оно сейчас очень в моде. Меня удивляет, что его у вас не приготовляют в большом количестве.

— Лимоны Маранья?

— Ну да, Маранья,— повторил дон Хуан, отчеканивая каждый слог.— Не может быть, чтобы ни одна из ваших монахинь не знала, как их приготовить. Опросите сестер, не знают ли они это варенье. Я приду завтра.

Через несколько минут весь монастырь только и говорил что о лимонах Маранья. Лучшие мастерицы никогда о них не слыхали. Одна лишь сестра Агата знала секрет. Надо взять обыкновенные лимоны, прибавить розовой воды, фиалок и т. д. и т. п. Она взялась их приготовить. Дон Хуан, придя на следующий день, получил банку лимонов Маранья. По правде сказать, это было ужасное на вкус варево. Но под бумагою, закрывавшею банку, была спрятана записка от Тересы. То были новые мольбы оставить ее, забыть о ней. Бедная девушка пыталась обмануть себя. Религия, уважение к памяти отца и любовь боролись в сердце этой несчастной, но легко было догадаться, что любовь была в ней сильнейшим чувством. На следующий день дон Хуан прислал в монастырь пажа с ящиком

лимонов, прося приготовить их так же и доверить это дело монахине, сварившей варенье, купленное им накануне. На дне ящика лежал искусно спрятанный ответ на письмо Тересы. Он писал ей:

«Я был очень несчастлив. Злой рок направил мою руку. С той самой злосчастной ночи я не переставал думать о тебе. Я не смел надеяться, что ты испытываешь ко мне что-либо, кроме ненависти. Наконец я снова нашел тебя. Не говори мне больше о своих обетах. Прежде чем посвятить себя церкви, ты уже была моею. Ты не вправе была располагать своим сердцем, которое принадлежало мне... Я пришел требовать сокровище, которое для меня дороже жизни. Я или погибну, или верну тебя. Завтра я вызову тебя в приемную монастыря. Я не смел являться туда, не предупредив тебя. Я боялся, как бы твое волнение нас не выдало. Вооружись мужеством. Скажи мне, можно ли подкупить привратницу».

Две капли воды, искусно пролитые на бумагу, изображали слезы, капнувшие из глаз дона Хуана.

Несколько часов спустя монастырский садовник принес дону Хуану ответ и предложил свои услуги. Привратница была неподкупна; сестра Агата соглашалась выйти в приемную, но только для того, чтобы показаться ему в последний раз и проститься навеки.

Несчастная Тереса явилась в приемную ни жива, ни мертва. Она должна была держаться обеими руками за решетку, чтобы не упасть. Дон Хуан, спокойный и бесстрастный, наслаждался смятением, в которое ее поверг. Сначала, чтобы отвести глаза привратнице, он непринужденно заговорил о друзьях Тересы, оставленных ею в Саламанке и поручивших ему передать ей привет. Затем, воспользовавшись моментом, когда привратница отошла в сторону, он быстрым шепотом сказал Тересе:

— Я готов пойти на все, чтобы тебя извлечь отсюда. Если понадобится поджечь монастырь, я это сделаю. Не хочу ничего слушать. Ты принадлежишь мне. Через несколько дней ты будешь моею, или я погибну, но многие погибнут вместе со мною.

Привратница опять подошла. Донья Тереса задыхалась, она не могла произнести ни слова. Тем временем дон Хуан заговорил равнодушным голосом о варенье, о вышивках монахинь, обещая привратнице прислать из Рима освященные

папой четки и пожертвовать монастырю парчовое платье, чтобы наряжать в него святую покровительницу их общины в день ее праздника. После получасовой беседы в таком духе он почтительно и степенно простился с Тересой, оставив ее в волнении и отчаянии, не поддающихся описанию. Она поспешила запереться в своей келье, и там ее рука, более послушная, чем язык, написала длинное письмо, полное упреков, молений и жалоб. Но она не могла удержаться, чтобы не высказать дону Хуану свою любовь, оправдывая этот грех свой тем, что она вполне искупит его, отказываясь уступить мольбам своего возлюбленного. Садовник, ведавший этой преступной перепиской, вскоре принес ответ. Дон Хуан по-прежнему грозил прибегнуть к крайним средствам. В его распоряжении была сотня головорезов. Святотатство не пугало его. Он был бы счастлив умереть, лишь бы ему удалось еще раз сжать в объятиях свою возлюбленную. Что могло поделать это слабое дитя, привыкшее уступать обожаемому человеку? Тереса проводила ночи в слезах, а днем не могла молиться, так как образ дона Хуана всюду ее преследовал. Даже тогда, когда она вместе со своими подругами выполняла благочестивые обязанности, ее тело машинально совершало молитвенные движения, меж тем как душа была всецело поглощена гибельной страстью.

Через несколько дней она не могла более сопротивляться. Она сообщила дону Хуану, что готова на все. Она понимала, что так или иначе погибла, и потому решила, что если уж суждено умереть, то лучше испытать перед этим минуту счастья. Дон Хуан, вне себя от радости, приготовил все для похищения. Он выбрал безлунную ночь. Садовник принес Тересе шелковую лестницу, чтобы она могла перелезть через монастырскую стену. Сверток с мирским платьем был спрятан в условленном месте сада — показаться на улице в монашеском одеянии было невозможно. Дон Хуан должен был ждать ее за стеною. Поблизости будет стоять наготове закрытый портшез, запряженный быстрыми мулами, которые умчат ее в загородный дом дона Хуана. Там в полной безопасности она будет жить спокойно и счастливо со своим возлюбленным. Таков был план, придуманный самим доном Хуаном. Он заказал подходящее для нее платье, испробовал лестницу, подробно объяснил, как ею пользоваться,— словом, не забыл ни одной мелочи, необходимой для успеха предприятия. Садовник был человек надежный, и дело это сулило ему слишком большую выгоду, чтобы можно было усомниться в его преданности. Кроме того,

были приняты меры, чтобы убить его на следующий день после похищения. Словом, казалось, что план был так хорошо задуман, что ничто уже не могло его расстроить.

Чтобы отвести от себя подозрения, дон Хуан удалился в замок Маранья за два дня до вечера, назначенного для похищения. В этом замке провел он бóльшую часть своего детства, но с самого своего возвращения в Севилью еще ни разу там не побывал. Он прибыл туда к ночи и первым делом хорошенько поужинал. Потом слуги раздели его, и он лег в постель. Он велел зажечь в своей комнате две большие восковые свечи и положил на стол книгу с легкомысленными рассказами. Прочтя несколько страниц и почувствовав, что сон его одолевает, он закрыл книгу и погасил одну из свечей. Прежде чем погасить вторую, он обвел комнату рассеянным взглядом и вдруг увидел в алькове картину с изображением мук чистилища — картину, на которую он так часто смотрел в детстве. Невольно взгляд его остановился на человеке, внутренности которого грызла змея, и, хотя образ этот показался ему еще более ужасным, чем прежде, он не мог от него оторваться. В ту же минуту он вспомнил лицо Гомаре и страшный отпечаток, который смерть наложила на его черты. Эта мысль заставила дона Хуана содрогнуться, и он почувствовал, что волосы его встали дыбом. Однако, призвав на помощь свое мужество, он погасил вторую свечу, надеясь, что мрак избавит его от отвратительных образов, которые его преследовали. Темнота еще усилила его страх. Глаза его по-прежнему были обращены к картине, которой он теперь не видел. Но она была так хорошо ему знакома, что он в своем воображении видел ее отчетливо, как будто был яркий день. Временами ему казалось даже, что фигуры озаряются и начинают светиться, словно пламя чистилища, изображенное художником, было настоящим огнем. Наконец его возбуждение достигло такой степени, что он стал громко звать слуг, чтобы приказать им убрать картину, вызывавшую в нем такой ужас. Когда они вошли в комнату, он устыдился своей слабости. Ему пришло в голову, что слуги станут смеяться над ним, узнав, что он испугался картины. Стараясь говорить естественным тоном, он велел им зажечь свечи и оставить его одного. Затем он снова принялся за чтение, но глаза его пробегали по страницам, а мысли были заняты картиной. Охваченный несказанным волнением, он провел ночь без сна.

Едва рассвело, он быстро встал и отправился на охоту. Движение и свежий утренний воздух мало-помалу успокоили его, и, когда он вернулся в замок, впечатление, вызванное

картиной, рассеялось. Он сел за стол и много пил. В голове у него слегка шумело, когда он отправился спать. По его приказанию постель была приготовлена ему в другой комнате, и вы легко можете догадаться, что он не распорядился перенести туда картину, но он сохранил о ней воспоминание настолько сильное, что опять долго не спал.

Впрочем, ужас не пробудил в нем раскаяния, и он не упрекал себя за свою прежнюю жизнь. Он все так же был занят затеянным им похищением и, отдав слугам все необходимые приказания, выехал один в Севилью в часы дневного зноя, чтобы прибыть туда к ночи. Действительно, уже спустилась ночь, когда он подъехал к Торре дель Льоро, где его ждал слуга. Дон Хуан поручил ему коня и спросил, приготовлены ли портшез и мулы. Согласно его приказанию, они должны были ждать его на одной из ближайших к монастырю улиц, чтобы он мог быстро дойти до них с Тересой, но при этом не настолько близко, чтобы вызвать у ночного дозора подозрение, если тот наткнется на них. Все было в порядке, приказания были выполнены в точности. Дон Хуан заметил, что у него остается еще целый час до того времени, когда он должен был дать Тересе условный сигнал. Слуга набросил ему на плечи большой темный плащ, и он вошел один в Севилью через ворота Трианы, закрыв лицо, чтобы его не могли узнать. Жара и усталость заставили его присесть на скамью среди пустынной улицы. Он принялся насвистывать и напевать песенки, приходившие ему на память. Время от времени он поглядывал на часы, досадуя, что стрелка подвигается страшно медленно... Внезапно слух его поразило мрачное и торжественное пение. Он сразу догадался, что то было пение похоронное. Вскоре за углом показалась процессия, направлявшаяся к нему. Два длинных ряда кающихся с зажженными свечами в руках шли впереди гроба, покрытого черным бархатом, его несли несколько человек, одетых на старинный лад, седобородых, со шпагой на боку. Шествие замыкалось двумя рядами таких же монахов, только в трауре, тоже со свечами. Вся эта процессия подвигалась медленно и важно. Не было слышно шума шагов по мостовой — можно сказать, все фигуры скорее скользили, чем шли. Длинные, прямые складки одежд и плащей казались неподвижными, как мраморные одеяния статуй.

При этом зрелище дон Хуан почувствовал сначала то отвращение, какое мысль о смерти вызывает в каждом эпикурейце. Он встал и хотел уйти, но огромное число монахов и пышность процессии удивили его, возбудив его любопытство.

Шествие направлялось к ближайшей церкви, двери ее с грохотом распахнулись. Дон Хуан, удержав за рукав одного из монахов, которые несли свечи, учтиво спросил, кого это хоронят. Монах поднял голову; лицо у него было бледное и высохшее, как у человека, перенесшего долгую и тяжелую болезнь. Он ответил загробным голосом:

— Графа дона Хуана де Маранья.

От этого странного ответа волосы встали дыбом на голове дона Хуана. Но он тотчас же овладел собой и улыбнулся.

«Я ослышался,— сказал он себе,— или старик ошибся».

Он вошел в церковь вслед за процессией. Заупокойное пение возобновилось, сопровождаемое звуками органа, и священники в траурном облачении запели *De profundis* [1]. Несмотря на свое старание казаться спокойным, дон Хуан чувствовал, как кровь стынет в его жилах. Подойдя к другому монаху, он спросил его:

— Кого это хоронят?

— Графа дона Хуана де Маранья,— отвечал монах глухим и страшным голосом.

Дон Хуан прислонился к столбу, чтобы не упасть. Он чувствовал, что силы его слабеют и мужество покидает его. Тем временем служба продолжалась, и своды церкви еще усиливали раскаты органа и звучность голосов, певших грозное *Dies irae* [2]. Дону Хуану казалось, что он слышит хоры ангелов в день Страшного суда. Наконец, сделав над собой усилие, он схватил за руку священника, проходившего мимо него. Рука была холодна, как мрамор.

— Ради бога, святой отец! — воскликнул он.— За кого вы молитесь, и кто вы такой?

— Мы молимся за графа дона Хуана де Маранья,— отвечал священник, устремив на него взгляд, полный скорби.— Мы молимся за его душу, погрязшую в смертном грехе, а сами мы — души, спасенные из пламени чистилища мессами и молитвами его матери. Мы платим сыну долг наш перед его матерью. Но это последняя месса, которую нам разрешено совершить за упокой души дона Хуана де Маранья.

В это мгновение церковные часы пробили: то был час, назначенный для похищения доньи Тересы.

---

[1] «Из глубины (я воззвал к тебе)» — первые слова католической молитвы, которая поется при погребении *(лат.)*.

[2] «День гнева» *(лат.)*.

— Время настало! — прозвучал голос из темного угла церкви.— Время настало! Он наш!

Дон Хуан повернул голову и увидел страшный призрак. Дон Гарсия, бледный и окровавленный, приближался вместе с Гомаре, черты которого были все еще искажены ужасной судорогою. Они оба направились к гробу, и дон Гарсия, сбросив крышку на землю, повторил:

— Он наш!

В то же мгновение исполинская змея появилась из-за его спины и, вытянувшись впереди него на несколько футов, казалось, готова была кинуться на гроб...

— Иисусе! — воскликнул дон Хуан и упал без чувств на каменные плиты.

Ночь уже подходила к концу, когда ночной дозор, совершая свой обход, заметил человека, лежавшего без движения на пороге церкви. Стражники подошли к нему, думая, что это труп убитого. Они тотчас же узнали графа де Маранья и попытались привести его в чувство, брызгая ему в лицо холодной водою. Но, видя, что он не приходит в себя, они отнесли его к нему в дом. Одни говорили, что он пьян, другие — что он сильно избит по приказанию какого-нибудь ревнивого мужа. Никто в Севилье, по крайней мере из числа людей порядочных, не любил его, и у каждого нашлось для него доброе словечко. Один благословлял палку, так хорошо оглушившую его, другой спрашивал, сколько бутылок вина было влито в это неподвижное чучело. Слуги дона Хуана приняли своего господина из рук стражников и побежали за врачом. Ему, не жалея, пустили кровь, и он скоро пришел в себя. Сначала он произносил лишь бессвязные слова, издавал нечленораздельные звуки, стоны и рыдания. Затем начал присматриваться к окружающим предметам. Он спросил, где он находится и что сталось с военачальником Гомаре, доном Гарсией и процессией. Слуги думали, что он сошел с ума. Между тем, приняв укрепляющее лекарство, он велел подать себе распятие и долгое время лобызал его, проливая потоки слез. Затем приказал привести к нему исповедника.

Все были этим изумлены, так как его нечестие было хорошо известно. Многие священники, к которым обратились его слуги, отказались идти к нему, уверенные, что он хочет сыграть с ними какую-нибудь злую шутку. Наконец один доминиканский монах согласился отправиться к нему. Их оставили наедине, и дон Хуан, бросившись на колени перед монахом, поведал бывшее ему видение, затем покаялся в своих грехах.

Пересказывая все свои преступления, он после каждого останавливался, спрашивая, возможно ли такому великому грешнику, как он, получить у бога прощение. Монах отвечал, что милосердие божие безгранично. Посоветовав ему быть твердым в своем раскаянии и произнеся слова утешения, в которых церковь не отказывает величайшим преступникам, доминиканец удалился, обещав прийти вечером. Дон Хуан провел весь день в молитве. Когда доминиканец пришел снова, дон Хуан сказал ему, что он принял решение удалиться из мира, где совершил столько бесчинств, и постараться искупить подвигами покаяния чудовищные преступления, которыми он себя запятнал. Монах, тронутый его слезами, ободрил его, как мог, и, чтобы испытать, хватит ли у него мужества осуществить свое решение, нарисовал грозную картину суровости монашеской жизни. Но всякий раз, как он описывал новый способ умерщвления плоти, дон Хуан восклицал, что это пустяки и что он заслуживает еще более строгого обхождения.

На следующий день он отдал половину своего состояния родственникам, жившим в бедности, другую половину употребил на устройство госпиталя и сооружение часовни. Он роздал значительные суммы денег беднякам и заказал огромное количество месс за упокой душ чистилища, в особенности же военачальника Гомаре и тех несчастных, которые погибли от его, дона Хуана, руки на дуэлях. Напоследок он собрал всех своих друзей и покаялся перед ними в том, что так долго подавал им дурной пример. С глубоким волнением он поведал им о муках совести, которые ему причиняет прежнее поведение, и о надеждах, которые он дерзает питать на будущее. Многие из этих вольнодумцев растрогались и изменили свою жизнь, другие же, неисправимые, покинули его с холодной насмешкой.

Прежде чем уйти в монастырь, который он избрал, дон Хуан написал Тересе. Он сознался ей в своих постыдных намерениях, рассказал о своей жизни и обращении и умолял простить его, увещевая ее извлечь урок из его примера и искать спасения в покаянии. Он отдал это письмо доминиканцу, сначала ознакомив монаха с его содержанием.

Бедная Тереса долго ждала в монастырском саду условленного сигнала. Проведя несколько часов в несказанном волнении и видя, что заря уже занимается, она вернулась в свою

келью, охваченная мучительной тоской. Она объясняла отсутствие дона Хуана многими причинами, равно далекими от истины. Прошло несколько дней, в течение которых она не получала от него писем или каких-либо вестей, способных смягчить ее отчаяние. Наконец монах, побеседовав предварительно с настоятельницей, получил разрешение повидаться с ней и вручил ей письмо раскаявшегося соблазнителя. Пока она читала, на ее лбу выступили крупные капли пота; она то краснела, как огонь, то бледнела, как смерть. У нее все же хватило сил дочитать письмо до конца. После этого доминиканец попытался изобразить ей раскаяние дона Хуана и поздравить ее с избавлением от ужасного несчастья, которое постигло бы их обоих, если бы их замысел не был пресечен явным вмешательством провидения. Но в ответ на все его увещания донья Тереса восклицала: «Он никогда меня не любил!» Вскоре у несчастной началась горячка. Тщетно врачебное искусство и религия предлагали ей свою помощь: она отказывалась от первого и казалась бесчувственной ко второй. Она умерла через несколько дней, непрестанно повторяя: «Он никогда меня не любил!»

Дон Хуан, надев одежду послушника, доказал, что его обращение было искренним. Не было такого послушания или епитимьи, которых бы он не находил слишком легкими. И нередко настоятель монастыря бывал вынужден приказывать ему умерить умерщвление плоти, которому он предавался. Настоятель указывал, что так он сокращает свои дни и что больший подвиг — долго терпеть умеренные страдания, нежели быстро прекратить свое покаяние, лишив себя жизни. Когда срок послушничества истек, дон Хуан принял обет, а затем, под именем брата Амбросьо, продолжал служить образцом подвижничества и благочестия для всего монастыря. Он носил власяницу из конского волоса под своей грубой шерстяной одеждой; узкий и короткий ящик служил ему постелью. Овощи, сваренные в воде, составляли всю его пищу, и лишь в дни праздников и по особому повелению настоятеля соглашался он вкушать хлеб. Бóльшую часть ночи он проводил в бдении и молитве, с распростертыми в виде креста руками. Словом, теперь он являлся примером для благочестивой общины, как некогда был примером для своих распутных сверстников. Тяжелая эпидемия, вспыхнувшая в Севилье, дала ему случай выказать новые добродетели, дарованные ему его обращением. В госпиталь, им основанный, принимали больных; он ухаживал за

бедняками, проводя целые дни у их постели, увещевая, ободряя и утешая их. Опасность заразы была так велика, что нельзя было найти за деньги людей, согласных хоронить трупы. Дон Хуан исполнял эту обязанность. Он обходил брошенные дома и предавал погребению разложившиеся трупы, пролежавшие несколько дней. Его всюду благословляли, и так как за все время он ни разу не заболел, то нашлись верующие люди, утверждавшие, что бог явил на нем новое чудо.

Уже несколько лет прошло, как дон Хуан, иначе говоря, брат Амбросьо, обитал в монастыре, и жизнь его была непрерывным рядом подвигов благочестия и уничижения. Воспоминание о прошлой жизни никогда не оставляло его, но муки его совести слегка смягчились от чувства удовлетворения, которое давала ему совершившаяся в нем перемена.

Однажды после полудня, когда жара особенно сильна, все монахи, по обыкновению, предавались отдыху. Один только брат Амбросьо работал в саду под палящим солнцем с непокрытой головой — таково было послушание, наложенное им на себя. Склонившись над заступом, он увидел тень человека, остановившегося подле него. Он подумал, что это какой-нибудь монах забрел в сад, и, продолжая работать, приветствовал его словами молитвы *Ave Maria*[1]. Но ответа не последовало. Удивленный тем, что тень остается неподвижной, дон Хуан поднял глаза и увидел перед собой высокого молодого человека в плаще, ниспадавшем почти до земли; лицо его было полузакрыто шляпой с белым и черным пером. Человек этот глядел на него молча, с выражением злобной радости и глубокого презрения. Несколько минут они пристально смотрели друг на друга. Наконец незнакомец, сделав шаг вперед и приподняв шляпу, чтобы показать свои черты, сказал:

— Вы меня узнаете?

Дон Хуан посмотрел на него еще внимательнее, но не мог узнать.

— Помните осаду Берг-оп-Зома? — спросил незнакомец.— Или вы забыли солдата, прозванного Модесто?..

Дон Хуан вздрогнул. Незнакомец холодно продолжал:

— ...солдата, прозванного Модесто и убившего из аркебузы достойного вашего друга дона Гарспю вместо вас самого, в которого он целился?.. Я и есть этот Модесто. Но у меня, дон Хуан, есть и другое имя: меня зовут дон Педро де Охеда.

---

[1] «Радуйся, Мария» — первые слова католической молитвы *(лат.)*.

Я сын дона Алонсо де Охеда, убитого вами; брат доньи Фаусты де Охеда, убитой вами; брат доньи Тересы де Охеда, убитой вами.

— Брат мой! — сказал дон Хуан, становясь перед ним на колени.— Я жалкий грешник, весь запятнанный преступлениями. Чтобы искупить их, я ношу эту одежду, отрекшись от мира. Если есть какой-нибудь способ заслужить ваше прощение, назовите мне его. Самое суровое наказание не испугает меня, если только оно освободит меня от вашего проклятия.

Дон Педро горько улыбнулся.

— Бросьте лицемерить, сеньор Маранья! Я не прощаю. Что до моих проклятий, они вам обеспечены. Но дожидаться их действия у меня не хватит терпения. Я захватил с собой нечто более сильное, чем проклятия.

При этих словах он сбросил плащ, и в руках у него оказались две шпаги. Он вынул их из ножен и обе воткнул в землю.

— Выбирайте, дон Хуан,— промолвил он.— Говорят, вы хорошо умеете драться, но и я неплохой фехтовальщик. Покажите мне ваше искусство.

Дон Хуан перекрестился и сказал:

— Брат мой! Вы забываете обет, данный мною. Я больше не дон Хуан, которого вы знали, а брат Амбросьо.

— Так вот, брат Амбросьо, вы мой враг, и, как бы вы там ни назывались, я ненавижу вас и хочу вам отомстить.

Дон Хуан снова стал перед ним на колени.

— Если вам нужна моя жизнь, брат мой, возьмите ее. Покарайте меня, как вам будет угодно.

— Подлый лицемер! Ты надо мной смеешься? Если бы я хотел убить тебя, как бешеную собаку, стал ли бы я приносить с собой это оружие? Ну, живо, выбирай шпагу и защищай свою жизнь!

— Повторяю, брат мой: я не могу драться, но я готов умереть.

— Негодяй! — вскричал дон Педро в бешенстве.— Мне говорили, что ты не лишен мужества. Но я вижу, что ты жалкий трус.

— Мужества, брат мой? Я молю господа послать мне мужество, чтобы не впасть в отчаяние, в которое без его помощи ввергнет меня воспоминание о моих преступлениях. Прощайте, брат мой, я ухожу, так как чувствую, что вид мой вас раз-

дражает. Дай бог, чтобы вы поняли когда-нибудь, насколько искренне мое раскаяние.

Он уже сделал несколько шагов, но дон Педро удержал его за рукав.

— Один из нас,— воскликнул он,— не уйдет живым из этого сада! Берите шпагу, черт возьми, я не верю ни одному слову из ваших причитаний!

Дон Хуан бросил на него умоляющий взгляд и сделал еще шаг к выходу. Но дон Педро, схватив его за ворот, вскричал:

— Ты надеешься, гнусный убийца, ускользнуть из моих рук? Так нет же! Я разорву в клочья твою лицемерную рясу, под которой ты прячешь свое чертово копыто, и тогда, быть может, у тебя найдется смелость драться со мной.

Говоря так, он грубо толкнул дона Хуана, и тот ударился об стену.

— Сеньор Педро де Охеда! — воскликнул дон Хуан.— Убейте меня, если хотите, но я не буду с вами драться!

И он скрестил руки, пристально глядя на дона Педро со спокойным, но гордым видом.

— Да, я убью тебя, негодяй! Но прежде я обойдусь с тобой так, как заслуживает твоя трусость.

И дон Педро дал ему пощечину, первую, которую дон Хуан получил в своей жизни. Краска залила лицо дона Хуана. Гордость и пылкость его юности снова загорелись в его душе. Не сказав ни слова, он бросился к шпагам и схватил одну из них. Дон Педро взял другую и стал в позицию. Они бешено напали друг на друга, сделав одновременно выпад с одинаковой яростью. Шпага дона Педро застряла в шерстяной одежде дона Хуана и скользнула вдоль его тела, не ранив его, меж тем как шпага дона Хуана вонзилась по эфес в грудь противника. Дон Педро упал мертвый. Дон Хуан, видя врага распростертым у ног своих, некоторое время неподвижно и тупо смотрел на него. Мало-помалу он пришел в себя и понял всю тяжесть своего нового преступления. Он бросился к телу, пытаясь вернуть его к жизни. Но он хорошо разбирался в ранах и ни на минуту не мог усомниться в том, что эта была смертельна. Окровавленная шпага лежала у ног его, словно приглашая его покарать самого себя. Но, быстро отвергнув этот новый соблазн дьявола, дон Хуан поспешил к настоятелю и в смятении вбежал в его келью. Там, припав к его ногам, он рассказал ему об ужасном происшествии, проливая потоки слез. Сначала настоятель не хотел ему верить, и первой его мыслью было, что от великих истязаний, которым брат

Амбросьо подвергал себя, он лишился рассудка. Но кровь, покрывавшая платье и руки дона Хуана, подтверждала страшную истину. Настоятель был человек рассудительный. Он сразу понял, какую тень бросит на монастырь это происшествие, если оно получит огласку. Никто не видел дуэли. Настоятель позаботился скрыть ее даже от обитателей монастыря. Он приказал дону Хуану следовать за ним и с его помощью перенес труп в подземелье, ключ от которого он хранил у себя. Затем, заперев дона Хуана в его келье, он отправился известить коррехидора.

Читатель, быть может, удивится, что дон Педро, однажды пытавшийся предательски умертвить дона Хуана, отказался от вторичной попытки такого рода и захотел уничтожить своего противника, сразившись с ним равным оружием, но в этом сказался его дьявольский расчет. Он много слышал о суровой жизни дона Хуана, и слава о его святости не вызывала у дона Педро сомнений, что, умертвив его, он отправит его прямо на небо. Он надеялся, что, вызвав его на дуэль и заставив с собой драться, он его убьет в состоянии смертного греха и таким образом погубит и тело его, и душу. Мы видели, как этот адский план обернулся против него самого.

Замять дело было нетрудно. Коррехидор согласился с настоятелем и помог ему отвести подозрения. Другие монахи поверили, что убитый погиб на дуэли с неизвестным кавальеро и, раненый, был перенесен в монастырь, где вскоре умер. Не буду пытаться изобразить раскаяние и муки совести дона Хуана. Он с радостью выполнял все послушания, которые наложил на него настоятель. До конца дней своих он хранил в ногах кровати шпагу, которой он пронзил дона Педро, и ни разу не случалось ему взглянуть на нее, чтобы тотчас же он не помолился за душу убитого и за души его родных. С целью умерщвления остатков гордыни, еще сохранившихся в его душе, аббат повелел ему каждое утро являться к монастырскому повару, чтобы получать от него пощечину. Приняв ее, он неизменно подставлял другую щеку, благодаря повара за такое унижение. Он прожил еще десять лет в монастыре, и ни разу покаянный подвиг его не прерывался возвратом страстей его юности.

Он умер, чтимый как святой даже теми, кто знал его прежние бесчинства. На смертном одре он просил, как милости, чтобы его погребли на пороге церкви, дабы всякий, входя в нее, попирал его ногами. Он пожелал еще, чтобы на его гробнице вырезали надпись: «Здесь покоится худший из лю-

дей, когда-либо живших на свете». Однако монахи сочли излишним выполнить все эти пожелания, вызванные его чрезмерным смирением. Он был погребен около алтаря построенной им часовни. Правда, монахи, согласились вырезать на камне, прикрывающем его бренные останки, надпись, им составленную, но к ней прибавили назидательный рассказ о его обращении. Его госпиталь, а в особенности часовню, где он погребен, посещают все иностранцы, приезжающие в Севилью. Мурильо расписал эту часовню своими превосходными произведениями. *Возвращение блудного сына* и *Иерихонская купель* — эти картины, которыми вы можете теперь любоваться в галерее маршала Сульта, украшали некогда стены госпиталя Милосердия.

«Да будет милостива и благосклонна статуя,— воскликнул я,— будучи столь мужественной!»

Лукиан, Любитель врак

Я спускался с последних предгорий Канигу и, хотя солнце уже село, различал на равнине перед собою домики маленького городка Илля, куда я направлялся.

— Вы, наверное, знаете,— обратился я к каталонцу, служившему мне со вчерашнего дня проводником,— где живет господин де Пейрорад?

— Еще бы не знать! — воскликнул он.— Мне его дом известен не хуже моего собственного, и, если бы сейчас не было так темно, я бы его вам показал. Это лучший дом во всем Илле. Да, у господина де Пейрорада есть денежки. А девушка, на которой он женит сына, еще богаче, чем он сам.

— А скоро будет свадьба? — спросил я.

— Совсем скоро. Пожалуй, уж и скрипачей заказали. Может случиться, сегодня, а не то завтра или послезавтра. Свадьбу будут справлять в Пюигариге. Невеста — дочь тамошнего хозяина. Славный будет праздничек!

Меня направил к г-ну де Пейрораду мой друг г-н де П. По его словам, это был большой знаток древностей и человек необычайно услужливый. Он, конечно, с удовольствием покажет мне все остатки старины на десять миль в окружности. И я рассчитывал на его помощь при осмотре окрестностей Илля, богатых, как мне было известно, античными и средневековыми памятниками. Но эта свадьба, о которой я услышал сейчас впервые, грозила расстроить все мои планы.

«Я окажусь непрошеным гостем»,— подумал я. Но меня уже там ожидали. Г-н де П. предупредил о моем приезде, и мне нельзя было не явиться.

— Держу пари, сударь, на сигарету,— сказал мой проводник, когда мы уже спустились на равнину,— что я угадал, ради чего вы идете к господину де Пейрораду.

— Но это не так уж трудно угадать,— ответил я, давая ему сигару.— В такой поздний час, как теперь, после шести миль перехода через Канигу, первая мысль должна быть об ужине.

— Пожалуй. Ну, а завтра?.. Знаете, я готов об заклад побиться, что вы пришли в Илль, чтобы поглядеть на идола. Я догадался об этом, еще когда увидел, что вы рисуете портреты святых в Серабоне.

— Идола! Какого идола?

Это слово возбудило мое любопытство.

— Как! Вам не рассказывали в Перпиньяне, что господин де Пейрорад вырыл из земли идола?

— Вы, верно, хотите сказать — терракотовую статую из глины?

— Как бы не так! Из настоящей меди. Из нее можно бы понаделать немало монет, потому что весом она не уступит церковному колоколу. Нам пришлось-таки покопаться под оливковым деревом, чтобы достать ее.

— Значит, и вы были там, когда ее вырыли?

— Да, сударь. Недели две тому назад господин де Пейрорад велел мне и Жану Колю выкорчевать старое оливковое дерево, замерзшее прошлой зимой, потому что тогда, как вы помните, стояли большие холода. Так вот, начали мы с ним работать, и вдруг, когда Жан Коль, очень рьяно копавший, ударил разок изо всех сил киркой, я услышал: «бимм»,— словно стукнули по колоколу. «Что бы это было такое?» — спросил я себя. Мы стали копать все глубже и глубже, и вот показалась черная рука, похожая на руку мертвеца, лезущего из земли. Меня разобрал страх. Иду я к господину де Пейрораду и говорю: «Хозяин, там, под оливковым деревом, зарыты мертвецы. Надо бы сбегать за священником».— «Какие такие мертвецы?» — говорит он. Пришел он на это место и, едва завидел руку, закричал: «Антик! Антик!» Можно было подумать, что он сыскал клад. Засуетился, схватил сам кирку в руки и принялся работать не хуже нас с Жаном.

— И что же вы, в конце концов, нашли?

— Огромную черную женщину, с позволения сказать, совсем почти голую, из чистой меди. Господин де Пейрорад сказал нам, что это идол времен язычества... времен Карла Великого, что ли...

— Понимаю... Это, наверно, бронзовая мадонна из какого-нибудь разрушенного монастыря.

— Мадонна? Ну уж нет!.. Я бы сразу узнал мадонну. Говорят вам, это идол; это видно по выражению ее лица. Уж одно то, как она глядит на вас в упор своими большими белыми глазами... словно сверлит взглядом. Невольно опускаешь глаза, когда смотришь на нее.

— Белые глаза? Должно быть, они вставлены в бронзу. Вероятно, какая-нибудь римская статуя.

— Вот-вот, именно римская. Господин де Пейрорад говорит, что римская. Теперь я вижу: вы тоже человек ученый, как и он.

— Хорошо она сохранилась? Нет отбитых частей?

— О, все в порядке! Она выглядит еще лучше и красивее, чем крашеный гипсовый бюст Луи-Филиппа, что стоит в мэрии. А все-таки лицо этого идола мне не нравится. У него недоброе выражение... да и сама она злая.

— Злая? Что же плохого она вам сделала?

— Мне-то ничего, а вот вы послушайте, что было. Принялись мы вчетвером тащить ее, и господин де Пейрорад, милейший человек, тоже тянул веревку, хотя силы у него не больше, чем у цыпленка. С большим трудом поставили мы ее на ноги. Я уже взял черепок, чтобы подложить под нее, как вдруг — трах! — она падает всей своей тяжестью навзничь. «Берегись!» — кричу я, но слишком поздно, потому что Жан Коль не успел убрать свою ногу...

— И статуя ушибла его?

— Переломила начисто ему, бедному, ногу, словно щепку! Ну и разозлился же я, черт побери! Я хотел разбить идола своим заступом, да господин Пейрорад удержал меня. Он дал денег Жану Колю, а Жан до сих пор лежит в постели, хотя дело было две недели назад, и доктор говорит, что он никогда уже не будет владеть этой ногой, как здоровою. А жаль, потому что он был у нас лучшим бегуном и, после сына господина де Пейрорада, самым ловким игроком в мяч. Да, господин Альфонс де Пейрорад сильно был огорчен, потому что он любил играть с ним. Приятно было смотреть, как они раз за разом отбивали мячи,— паф, паф! — и все с воздуха.

Беседуя таким образом, мы вошли в Илль, и вскоре я предстал перед г-ном де Пейрорадом. Это был маленький, еще очень живой и крепкий старичок, напудренный, с красным носом, с веселым и задорным лицом. Прежде чем вскрыть письмо г-на де П., он усадил меня за уставленный всякими яствами стол, представив меня жене и сыну как выдающегося

археолога, долженствующего извлечь Русильон из забвения, в котором он пребывал вследствие равнодушия ученых.

Я ел с наслаждением, ибо ничто так не возбуждает аппетита, как свежий горный воздух, и в то же время рассматривал моих хозяев. Я уже говорил о г-не де Пейрораде; добавлю еще, что он был необыкновенно подвижен. Он говорил, ел, вскакивал, бегал в свою библиотеку, приносил мне книги, показывал гравюры, подливал вина, не мог двух минут посидеть спокойно. Жена его, особа немного тучная, как все каталонки, которым за сорок, показалась мне истинной провинциалкой, всецело поглощенной хозяйством. Хотя стоявшего на столе было более чем достаточно, чтобы накормить шестерых человек, она побежала на кухню, велела зарезать несколько голубей, нажарить просяных лепешек, открыла несметное количество банок варенья. В одно мгновение стол оказался весь уставлен блюдами и бутылками, и я, наверное, умер бы от несварения желудка, если бы только отведал всего того, что мне предлагалось. И всякий раз, как я отказывался от какого-нибудь блюда, хозяйка неизменно рассыпалась в извинениях: конечно, в Илле трудно угодить моим вкусам. В провинции нелегко достать что-нибудь хорошее, а парижане так избалованы!

В то время как отец и мать суетились, Альфонс де Пейрорад оставался неподвижным, как Терм. Это был высокий молодой человек двадцати шести лет, с лицом красивым и правильным, но маловыразительным. Его рост и атлетическое сложение хорошо согласовались со славою неутомимого игрока в мяч, которою он пользовался в тех краях. В этот вечер он был одет элегантно, по картинке последнего номера *Модного журнала*. Но мне казалось, что этот костюм стесняет его; в своем бархатном воротничке он сидел, словно проглотив аршин, и поворачивался не иначе, как всем корпусом. Его большие загорелые руки с короткими ногтями плохо подходили к его наряду. Это были руки крестьянина в рукавах денди. Вообще же, хотя он с любопытством рассматривал меня с ног до головы, как приезжего из Парижа, он за весь вечер лишь один раз заговорил со мной, именно чтобы спросить, где я купил цепочку для часов.

— Да, мой дорогой гость,— сказал мне г-н де Пейрорад, когда ужин подходил к концу,— раз уж вы ко мне попали, я вас не выпущу. Вы покинете нас не раньше, чем осмотрите все, что есть достопримечательного в наших горах. Вы должны хорошенько познакомиться с нашим Русильоном и отдать ему

должное. Вы и не подозреваете, что́ мы вам здесь покажем. Памятники финикийские, кельтские, римские, арабские, византийские — все это предстанет пред вами, все без исключения. Я вас поведу всюду и заставлю все осмотреть до последнего кирпича.

Приступ кашля прервал его речь. Я воспользовался этим, чтобы высказать ему, как неприятно мне отнимать у него время в момент, столь важный для его семейных дел. Если бы он согласился дать мне свои ценные наставления касательно экскурсий, которые мне надлежит совершить, я мог бы один, избавив его от труда сопровождать меня...

— А, вы намекаете на женитьбу этого молодца! — вскричал он, прервав меня.— Пустяки! Мы с этим покончим послезавтра. Вы посмотрите свадьбу, которую мы справим запросто, так как невеста носит траур по тетке, оставившей ей наследство. Поэтому не будет ни празднества, ни бала... Конечно, жаль: вы увидели бы, как пляшут наши каталонки... Среди них есть прехорошенькие, и вас разобрала бы, пожалуй, охота последовать примеру моего Альфонса. Говорят, одна свадьба влечет за собой другую... В субботу, когда молодые поженятся, я буду свободен, и мы двинемся в путь. Не посетуйте, если поскучаете на провинциальной свадьбе. Для парижанина, пресыщенного празднествами... свадьба, да еще без танцев!.. А все же вы увидите новобрачную... новобрачную... ну, да вы сами потом скажете ваше мнение... Впрочем, вы человек серьезный и на женщин, наверное, уже не заглядываетесь. У меня найдется получше, что вам показать. Да, вы кое-что увидите!.. Я приготовил вам на завтра славный сюрприз.

— Боже мой! — сказал я.— Трудно хранить в доме сокровище, чтобы о нем не знали все кругом. Я, кажется, догадываюсь о сюрпризе, который вы мне готовите. Если речь идет о вашей статуе, то описание ее, которое я получил от моего проводника, подстрекает мое любопытство и заранее обеспечивает ей мое восхищение.

— А, он уже рассказал вам об идоле — так они называют мою прекрасную Венеру Тур... Впрочем, не буду забегать вперед. Завтра, при ярком дневном свете, вы увидите ее и тогда скажете, прав ли я, считая ее шедевром. Черт побери! Вы явились как раз вовремя. На ней есть надписи, которые я, бедный невежда, объясняю по-своему... Но вы, парижский ученый, может быть, станете смеяться над моим толкованием... Дело в том, что я написал маленькую работу... Да, я, такой, каким вы меня видите... старый провинциальный антикварий, дерзнул

на это... Я хочу предать ее тиснению... Если бы вы согласились прочесть и внести свои поправки, я мог бы надеяться... Например, мне было бы очень интересно узнать, как переведете вы надпись на цоколе: *Cave...*[1] Впрочем, пока воздержусь от вопросов. До завтра, до завтра! Сегодня ни слова больше о Венере.

— Правда, Пейрорад,— сказала ему жена,— ты лучше сделаешь, если оставишь своего идола в покое. Разве ты не видишь, что мешаешь нашему гостю кушать? Поверь мне: он видел в Париже статуи покрасивее твоей. В Тюильри есть несколько десятков, и таких же бронзовых.

— О невежество, святое провинциальное невежество! — перебил ее Пейрорад.— Сравнить дивную античную статую с безвкусными фигурками Кусту!

Не дано стряпухе милой
О богах судить бессмертных.

Вообразите только: жена хотела, чтобы я переплавил мою статую на колокол для нашей церкви. И она стала бы его крестной матерью. Так обойтись с шедевром Мирона!

— Шедевр! Шедевр! Хороший шедевр сама она сотворила! Сломать человеку ногу!

— Слушай, жена,— сказал г-н де Пейрорад решительным тоном, вытягивая свою правую ногу в пестром шелковом чулке.— Если бы Венера сломала мне ногу, и то я бы не жалел.

— Боже мой, что ты только говоришь, Пейрорад! Счастье еще, что бедняге лучше... У меня просто духу не хватает смотреть на статую, которая творит такие беды. Бедный Жан Коль!

— Раненный Венерой дурень жалуется! — с громким смехом воскликнул г-н Пейрорад.— *Veneris nec praemia noris*[2]. Кто не был ранен Венерой?

Альфонс, смысливший во французском языке больше, чем в латыни, хитро сощурил глаза и поглядел на меня, как бы спрашивая: «А вы, парижанин, поняли?»

Ужин кончился. Прошел уже час, как я перестал есть. Чувствуя усталость, я не мог скрыть овладевшую мною зевоту. Г-жа де Пейрорад первая это заметила и сказала, что пора идти спать. Тогда посыпались новые извинения по поводу плохого ночлега, который меня ожидал. Это ведь не то, что в Париже. В провинции все так скверно устроено! Надо

---

[1] Берегись... *(лат.)*

[2] И ты не познаешь даров Венеры *(лат.)*.

быть снисходительным к русильонцам. Сколько ни уверял я, что после такой прогулки по горам охапка соломы будет для меня превосходнейшим ложем, они продолжали умолять меня извинить скромных деревенских жителей, которые не могут принять гостя так хорошо, как бы им хотелось. Наконец в сопровождении г-на де Пейрорада я поднялся в отведенную мне комнату. Лестница, верхние ступеньки которой были из дерева, вела в середину коридора, куда выходило несколько комнат.

— Вот здесь, направо,— сказал мой хозяин,— комната, назначенная мною для будущей супруги моего сына. А ваша находится в противоположном конце коридора. Вы, конечно, понимаете,— добавил он, стараясь придать голосу оттенок лукавства,— новобрачные любят уединение. Вы будете в одном конце дома, они — в другом.

Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первое, что мне бросилось в глаза, была кровать длиною в семь футов и шириною в шесть, притом такая высокая, что без табуретки невозможно было на нее взлезть. Показав мне, где находится звонок, и удостоверившись лично, что сахарница полна и флаконы с одеколоном стоят на своем месте, на туалетном столе, мой хозяин несколько раз спросил, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь, затем пожелал спокойной ночи и оставил меня одного.

Окна были закрыты. Прежде чем раздеться, я открыл одно из них, чтобы подышать свежим воздухом, таким сладостным после долгого ужина. Прямо передо мной высился Канигу, изумительный во всякий час дня, но в этот вечер, под заливавшими его лунными лучами, показавшийся мне прекраснейшею горою в мире. Я постоял несколько минут, созерцая его чудесный силуэт, и уже собирался закрыть окно, как вдруг, опустив глаза, заметил метрах в сорока от дома стоявшую на пьедестале статую. Она стояла в углу, у живой изгороди, отделявшей садик от большого, совершенно гладкого прямоугольника, который представлял собою, как я впоследствии узнал, городскую площадку для игры в мяч. Этот кусок земли принадлежал раньше г-ну де Пейрораду, но он передал его по настоятельной просьбе сына городу.

Расстояние, отделявшее меня от статуи, не позволяло мне ее рассмотреть; я мог судить лишь о ее высоте и определил ее примерно в шесть футов. В эту минуту двое гуляк проходили через площадку, насвистывая славную русильонскую песенку *Средь гор родимых*. Они остановились посмотреть на статую, и один из них даже заговорил с нею. Он изъяснялся по-

каталонски, но я уже достаточно прожил в Русильоне, чтобы понять все, что он говорил.

— Ты здесь, подлюга? (Он употребил на своем родном языке более сильное выражение.) Ты еще здесь? — говорил он.— Это ты сломала ногу Жану Колю! Достанься ты мне, я бы тебе свернул шею.

— А как бы ты это сделал? — сказал другой.— Она вся из меди и такой твердой, что Этьен сломал напильник, когда попробовал резнуть. Это ведь языческих времен, тверже всего на свете.

— Будь у меня с собой долото (говоривший, видимо, был подмастерьем слесаря), я бы сейчас же выковырял ее белые глазищи, как вынимают миндалину из скорлупы. В них серебра не меньше, чем на сто су.

Они пошли дальше.

— Надо все-таки попрощаться с идолом,— сказал, вдруг остановившись, старший из парней.

Он наклонился и, должно быть, поднял с земли камень. Я видел, как он размахнулся, что-то швырнул, и тотчас бронза издала гулкий звук. Но в то же мгновение подмастерье схватился рукой за голову, вскрикнув от боли.

— Она швырнула в меня камень обратно! — воскликнул он.

И оба проказника пустились бежать со всех ног. Очевидно, камень отскочил от металла и наказал глупца, дерзнувшего оскорбить богиню.

Я закрыл окно и от души посмеялся.

«Еще один вандал, наказанный Венерой! Если бы все разрушители наших древних памятников поразбивали о них головы!»

После этого человеколюбивого пожелания я заснул.

Было совсем светло, когда я пробудился. Около моей постели стояли с одной стороны г-н де Пейрорад в халате, с другой — посланный его женой слуга с чашкой шоколада в руках.

— Пора вставать, парижанин. Эх вы, лентяи, столичные жители! — говорил мой хозяин, пока я поспешно одевался.— Уже восемь часов, а вы еще в постели. Я на ногах с шести часов. Уже три раза я поднимался к вам, подходил к двери на цыпочках: тишина, никаких признаков жизни. Вредно так много спать в ваши годы. Вас дожидается моя Венера, которой вы еще не видели! Ну-ка, выпейте скорее чашку барселонского шоколада... Настоящая контрабанда... Такого шоколада

в Париже не найти. Вам нужно набраться сил, потому что, когда я приведу вас к моей Венере, вы от нее не оторветесь.

Через пять минут я был готов, то есть наполовину выбрился, кое-как натянул на себя платье и обжег себе горло кипящим шоколадом. Спустившись в сад, я очутился перед великолепной статуей.

Это была действительно Венера, притом дивной красоты. Верхняя часть ее тела была обнажена в соответствии с тем, как древние обыкновенно изображали свои великие божества. Правая рука ее, поднятая вровень с грудью, была повернута ладонью внутрь, большой палец и два следующих были вытянуты, а последние два слегка согнуты. Другая рука придерживала у бедра складки одеяния, прикрывавшего нижнюю часть тела. Своею позою эта статуя напоминала *Игрока в мурр,* которого неизвестно почему называют Германиком. Быть может, это было изображение богини, играющей в мурр.

Как бы то ни было, невозможно представить себе что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры, более нежное и сладостное, чем его изгибы, более изящное и благородное, чем складки ее одежды. Я ожидал увидеть какое-нибудь произведение поздней Империи; передо мною был шедевр лучших времен искусства ваяния. Больше всего меня поразила изумительная правдивость форм, которые можно было бы счесть вылепленными с натуры, если бы природа способна была создать столь совершенную модель.

Волосы, поднятые надо лбом, по-видимому, были когда-то вызолочены. Голова маленькая, как почти у всех греческих статуй, слегка наклонена вперед. Что касается лица, то я не в силах передать его странное выражение, характер которого не походил ни на одну из древних статуй, какие только я в состоянии припомнить. Это была не спокойная и суровая красота греческих скульпторов, которые по традиции всегда придавали чертам лица величавую неподвижность. Здесь художник явно хотел изобразить коварство, переходящее в злобу. Все черты были чуть-чуть напряжены: глаза немного скошены, углы рта приподняты, ноздри слегка раздувались. Презрение, насмешку, жестокость можно было прочесть на этом невероятно прекрасном лице. Право же, чем больше всматривался я в эту поразительную статую, тем сильнее испытывал мучительное чувство при мысли, что такая дивная красота может сочетаться с такой полнейшей бессердечностью.

— Если модель когда-либо существовала,— сказал я г-ну де Пейрораду,— а я сильно сомневаюсь, чтобы небо могло соз-

дать подобную женщину,— то я очень жалею любивших ее. Она, наверное, радовалась, видя, как они умирали от отчаяния. Есть что-то беспощадное в выражении ее лица, а между тем я никогда не видел ничего столь прекрасного.

— Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче! —

воскликнул г-н де Пейрорад, которому мой восторг доставлял удовольствие.

Это выражение сатанинской иронии еще усиливалось, быть может, контрастом между ее блестящими серебряными глазами и черновато-зеленым налетом, наложенным временем на всю статую. Эти блестящие глаза создавали некоторую иллюзию реальности, казались живыми. Я вспомнил слова моего проводника, уверявшего, что она заставляет тех, кто на нее смотрит, опускать глаза. Это было похоже на правду, и я даже рассердился на себя за то, что испытывал какую-то неловкость перед этой бронзовой фигурой.

— Теперь, когда вы насладились достаточно, мой дорогой коллега по гробокопательству,— сказал мне хозяин,— приступим, с вашего разрешения, к ученой беседе. Что вы скажете об этой надписи, на которую вы до сих пор еще не обратили внимания?

Он указал на цоколь статуи, и я прочел следующие слова:

CAVE AMANTEM [1].

— *Quid dicis, doctissime?* [2] — спросил он меня, потирая руки.— Посмотрим, сойдемся ли мы в толковании этого *cave amantem.*

— Смысл может быть двоякий,— ответил я.— Можно перевести: «Берегись того, кто любит тебя, остерегайся любящих». Но я не уверен, что в данном случае это будет хорошая латынь. Принимая во внимание бесовское выражение лица этой особы, я скорее готов предположить, что художник хотел предостеречь смотрящего на статую от ее страшной красоты. Поэтому я перевел бы так: «Берегись, если она тебя полюбит».

— Гм...— сказал г-н де Пейрорад.— Это, конечно, вполне допустимое толкование. Но, не в обиду вам будь сказано, я предпочел бы ваш первый перевод, но только я развил бы

---

[1] Берегись любящей *(лат.).*

[2] Что скажешь, ученейший муж? *(лат.)*

вашу мысль следующим образом. Вам известно, кто был любовник Венеры?

— Их было много.

— Да, но первым был Вулкан. Не хотел ли художник сказать ей: «При всей твоей красоте и надменности ты получишь в любовники кузнеца, хромого урода»? Хороший урок кокеткам, сударь!

Я не мог сдержать улыбку,— настолько натянутым показалось мне это объяснение.

— Ужасный язык — эта латынь с ее сжатостью выражений,— заметил я, желая уклониться от спора с моим антикварием, и отошел на несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть статую.

— Одну минуту, коллега! — сказал г-н де Пейрорад, удерживая меня за руку.— Вы еще не все видели. Есть другая надпись. Поднимитесь на цоколь и посмотрите на правую руку.

Сказав это, он помог мне взобраться. Без лишних церемоний я обхватил за шею Венеру, с которой начал уже чувствовать себя запросто. Я даже рискнул заглянуть ей прямо в лицо и нашел его еще более злым и прекрасным. Затем я различил несколько букв, вырезанных на предплечье, как мне показалось, античной скорописью. Напрягая зрение, я с помощью очков разобрал следующее, причем г-н де Пейрорад, по мере того как я читал вслух, повторял каждое мое слово, выказывая жестами и восклицаниями свое одобрение. Итак, я прочел:

VENERI TURBUL...
EUTYCHES MYRO
IMPERIO FECIT

После слова *turbul* в первой строке, как мне показалось, раньше было еще несколько букв, позднее стершихся, но *turbul* можно было прочесть ясно.

— Что это значит? — спросил мой хозяин с сияющим лицом и лукавой усмешкой, так как он был уверен, что мне нелегко будет справиться с этим *turbul*.

— Здесь есть слово, которого я пока еще не понимаю. Остальное все ясно: «Евтихий Мирон сделал это приношение Венере по ее велению».

— Превосходно! Но что такое *turbul*?.. Как вы его объясняете? Что значит *turbul*?..

— *Turbul*... меня очень смущает. Я тщетно ищу среди

известных мне эпитетов Венеры такого, который подходил бы сюда. А что сказали бы вы о *turbulenta?* Венера буйная, возмущающая?.. Как видите, я все время думаю о злом выражении ее лица. *Turbulenta* — это, пожалуй, неплохой эпитет для Венеры,— добавил я скромно, так как сам не до конца был удовлетворен своим объяснением.

— Венера — буянка! Венера — забияка! Уж не считаете ли вы мою богиню кабацкой Венерою? Ну нет, сударь, эта Венера из порядочного общества. Позвольте мне объяснить по-своему это *turbul...* Но только обещайте не разглашать моего открытия до тех пор, пока мое исследование не будет напечатано. Дело в том, видите ли, что я горжусь своим открытием... Надо же, чтобы и на долю бедных провинциалов достались кое-какие крохи! Вы достаточно богаты, господа парижские ученые!

С высоты цоколя, на котором я продолжал стоять, я торжественно обещал ему, что не совершу такой низости и не присвою его открытие.

— *Turbul,*— начал он, подойдя ко мне поближе и понизив голос, чтобы кто-нибудь со стороны не подслушал,— надо читать: *Turbulnerae.*

— Это мало что объясняет.

— Выслушайте меня. В одной миле отсюда, у подножия горы, находится деревня, которая называется Бультернера. Это искажение латинского слова *Turbulnera.* Такого рода инверсия — вещь обычная. Бультернера, сударь, была римским городом. Я давно это подозревал, но до сих пор у меня не было точного доказательства. Теперь я им располагаю. Эта Венера была местным божеством Бультернерской общины. И это имя Бультернера, античное происхождение которого теперь мною доказано, свидетельствует о другом, еще более любопытном обстоятельстве, именно что Бультернера, прежде чем стать римским городом, была городом финикийским.

Он остановился на минуту, чтобы передохнуть и насладиться моим изумлением. Мне с трудом удалось подавить в себе смех.

— В самом деле,— продолжал он.— *Turbulnera* — название чисто финикийское. *Tyr,* если произнести его как *Tur,* и *Sur* — одно и то же слово, не так ли? Но ведь *Sur* — это финикийское название Тира, смысл которого вряд ли стоит вам объяснять. *Bul,* иначе *Bel, Bal,* с небольшими различиями в произношении,— это Ваал. Меня несколько затрудняет *Nera.* За отсутствием подходящего финикийского слова я готов предположить,

что *Nera* происходит от греческого *neros* — влажный, болотистый. В таком случае это — гибридное имя. В подтверждение *neros* я мог бы вам показать гнилые болота, образуемые слиянием горных ручьев около Бультернеры. С другой стороны, возможно, что окончание *nera* было присоединено гораздо позже, в честь Неры Пивезувии, жены Тетрика, оказавшей, быть может, какое-нибудь благодеяние Турбульской общине. Но из-за болот я предпочитаю этимологию с *neros*.

Господин де Пейрорад с довольным видом втянул понюшку табаку.

— Но оставим финикийцев и вернемся к нашей надписи. Я ее перевожу так: «Венере Бультернерской Мирон посвящает, по ее велению, эту статую, сделанную им».

Я воздержался от критики этой этимологии, однако, желая показать, что я тоже не лишен проницательности, сказал:

— Позвольте, сударь. Мирон что-то посвятил Венере, но я не думаю, чтобы этим предметом была сама статуя.

— Как! — воскликнул он.— Ведь Мирон был знаменитый греческий скульптор! Его талант мог сохраниться в его роду, и один из его потомков сделал эту статую. Для меня это очевидно.

— Но,— возразил я,— я вижу на руке маленькую дырочку. Мне кажется, она служила для прикрепления какого-нибудь предмета, например, запястья, которое Мирон, несчастливый любовник, поднес Венере, как искупительную жертву. Венера была разгневана на него, и он умилостивил ее, принеся ей в дар золотое запястье. Заметьте, что *fecit* часто употребляется в значении *consecravit;*[1] это синонимы. Я мог бы вам привести не один пример, будь у меня под рукою Грутер или Орелли. Легко предположить, что влюбленный увидел во сне Венеру и ему почудилось, будто она велела ему поднести золотое запястье ее статуе. Мирон посвятил ей запястье... Потом явились варвары или какой-нибудь вор-святотатец, и...

— Сразу видно, что вы сочинитель романов! — воскликнул мой хозяин, протягивая руку, чтобы помочь мне спуститься.— Нет, сударь, это — произведение школы Мирона. Поглядите на работу, и вы согласитесь со мной.

Взяв себе за правило никогда серьезно не противоречить антикварнам, вбившим себе что-нибудь в голову, я кивнул ему в знак согласия и сказал:

— Изумительное произведение!

---

[1] *Fecit* — сделал; *consecravit* — посвятил *(лат.)*.

— Ах, боже мой! — вскричал г-н де Пейрорад.— Новое проявление вандализма! Кто-то бросил в мою статую камнем.

Он обратил внимание на белое пятнышко под самой грудью Венеры. Я заметил такой же знак на пальцах правой руки, задетых, как мне подумалось, пролетевшим камнем, если только он не был сделан осколком, отскочившим от камня при ударе о статую и оцарапавшим рикошетом ее руку. Я рассказал моему хозяину о поругании, коего я был свидетелем, и о немедленном наказании, за ним последовавшем. Он долго смеялся и, сравнив подмастерье с Диомедом, пожелал ему, чтобы он, подобно греческому герою, увидел, как его товарищи превращаются в белых птиц.

Колокол, позвавший нас к завтраку, прервал эту классическую беседу, и так же, как накануне, я принужден был есть за четверых. Затем явились фермеры г-на де Пейрорада. В то время как он их принимал, его сын повел меня смотреть коляску, купленную им в Тулузе для своей невесты и вызвавшую, как вы сами понимаете, мое живейшее восхищение. После этого мы с ним направились в конюшню, где он продержал меня с полчаса, расхваливая своих лошадей, рассказывая их родословную и перечисляя призы, взятые ими на департаментских скачках. Наконец, он завел речь о своей невесте по поводу серой кобылы, которую он собирался ей подарить.

— Сегодня она будет здесь,— сказал он.— Не знаю, понравится ли она вам. Ведь вы, парижане, очень разборчивы. Но здесь и в Перпиньяне все ее находят очаровательной. Самое главное, она очень богата. Ее тетка из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив!

Я был искренне возмущен тем, что молодого человека больше трогает приданое, нежели прекрасные глаза его невесты.

— Вы знаете толк в драгоценностях,— продолжал Альфонс.— Что вы скажете об этой вещице? Я завтра поднесу ей кольцо.

Говоря так, он снял с первого сустава своего мизинца массивный перстень с брильянтами в форме двух сплетенных рук — образ, показавшийся мне необычайно поэтичным. Работа была старинная, но, по-моему, кольцо было переделано, когда вставляли брильянты. На внутренней стороне перстня можно было прочесть следующие слова, написанные готическими буквами: *Sempr'ab ti,* что значит: «Навеки с тобой».

— Красивый перстень,— сказал я,— но из-за брильянтов он потерял часть своей прелести.

— О, он стал теперь гораздо красивее! — заметил Альфонс с улыбкой.— Здесь брильянтов на тысячу двести франков. Мне дала его мать. Это фамильный перстень, очень древний... Рыцарских времен. Его носила моя бабка, а она получила его тоже от своей бабки. Бог весть, когда он был сделан.

— В Париже принято,— сказал я,— дарить совсем простые кольца, обычно составленные из двух разных металлов, например, из золота и платины. Вот другое кольцо, которое у вас на пальце, очень подошло бы в данном случае. А этот перстень с его брильянтами и рельефными руками так толст, что на него нельзя надеть перчатку.

— Ну, это уж дело моей супруги устраиваться, как она хочет. Думаю, что ей все же приятно будет получить его. Носить тысячу двести франков на пальце всякому лестно. А это колечко,— прибавил он, с довольным видом поглядывая на гладкое кольцо, украшавшее его руку,— мне подарила одна женщина в Париже во время карнавала. Ах, как славно я провел время в Париже, когда был там два года назад! Вот где умеют повеселиться!..

И он вздохнул с сожалением.

В этот день нам предстояло обедать в Пюигариге у родителей невесты. Мы сели в коляску и поехали в усадьбу, находившуюся в полутора милях от Илля. Я был представлен и принят, как старый друг. Не стану описывать обед и последовавшую за ним беседу, в которой я принимал слабое участие. Альфонс, сидевший рядом с невестой, шептал ей что-то на ухо каждые четверть часа. Она не подымала глаз и всякий раз, когда жених с нею заговаривал, застенчиво краснела, но отвечала ему без всякого замешательства.

Мадемуазель де Пюигариг было восемнадцать лет, и ее гибкая и тонкая фигура являла полный контраст мощному телосложению ее жениха. Она была не только красива, но и пленительна. Я восхищался полнейшей естественностью всех ее ответов, а выражение доброты, не лишенное, однако, легкого оттенка лукавства, невольно заставило меня вспомнить Венеру моего хозяина. При этом мысленном сравнении я задал себе вопрос: не зависит ли в значительной мере та особая красота, в которой невозможно было отказать статуе, от ее сходства с тигрицей, ибо энергия, хотя бы и в дурных страстях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то невольное восхищение?

«Как жаль,— подумал я, покидая Пюигариг,— что такая прелестная девушка богата и что ради ее приданого на ней женится не достойный ее человек!»

Вернувшись в Илль, я не знал, о чем заговорить с г-жой де Пейрорад, с которой я считал необходимым изредка обмениваться несколькими словами; я воскликнул:

— Вы, русильонцы, настоящие вольнодумцы! Как это вы могли, сударыня, назначить свадьбу на пятницу? Мы в Париже более суеверны: у нас никто бы не решился жениться в этот день.

— Ах, боже мой, и не говорите! — отвечала она.— Если бы зависело от меня, я бы, уж конечно, выбрала другой день. Но Пейрорад настаивал, и мне пришлось уступить. Меня все же это очень тревожит. Что, если случится какое-нибудь несчастье? Должна же быть причина, почему все люди боятся пятницы?

— Пятница — это день Венеры! — воскликнул ее муж.— Хороший день для свадьбы! Как видите, дорогой коллега, я все время думаю о моей Венере. Честное слово, я ради нее выбрал пятницу! Завтра, если хотите, мы совершим перед свадьбой маленькое жертвоприношение — зарежем двух голубок, и если бы только удалось достать ладану...

— Перестань, Пейрорад! — прервала его жена, до крайности возмущенная.— Курить ладан перед идолом! Это кощунство! Что будут говорить о нас люди?

— По крайней мере,— сказал г-н де Пейрорад,— ты мне разрешишь возложить ей на голову венок из роз и лилий: *Manibus date liliaplenis* [1]. Вы видите, сударь, конституция — это только пустой звук. У нас нет свободы вероисповедания!

На завтра был выработан следующий распорядок дня. Все должны быть готовы и одеты в парадное платье к десяти часам. После утреннего шоколада мы отправимся в экипажах в Пюигариг. Гражданский брак будет заключен в деревенской мэрии, а венчание совершится в часовне при усадьбе. Потом — завтрак. После завтрака каждому будет предоставлена свобода до семи часов вечера. В семь — возвращение в Илль к г-ну де Пейрораду, где состоится ужин для обоих семейств. Остальное не требовало разъяснений. Так как танцевать было нельзя, решили как можно лучше угоститься.

С восьми часов утра я сидел перед Венерой с карандашом в руке и в двадцатый раз принимался набрасывать голову статуи, но мне все не удавалось схватить ее выражение. Г-н де Пейрорад ходил вокруг меня, давал советы, повторял свою финикийскую этимологию; затем, возложив бенгальские розы

[1] Возлагайте лилии щедрой рукой *(лат.)*.

на цоколь статуи, он трагикомическим тоном обратился к ней с мольбой о счастье четы, которой предстояло жить под его кровлей. Около девяти часов он вернулся домой, чтобы нарядиться, и в ту же минуту появился Альфонс в плотно облегавшем его новом костюме, в белых перчатках и лакированных ботинках, в сорочке с запонками тонкой работы и с розой в петлице.

— Вы нарисуете портрет моей жены? — сказал он, наклоняясь над моим наброском.— Она тоже недурна собой.

Как раз в это время на площадке для игры в мяч, упомянутой мною, началась партия, тотчас же привлекшая внимание Альфонса. Устав и отчаявшись воссоздать это демоническое лицо, я скоро бросил свой рисунок и пошел смотреть на играющих. Среди них было несколько испанцев — погонщиков мулов, прибывших накануне. Это были арагонцы и наваррцы, почти все отличавшиеся поразительной ловкостью. Не удивительно поэтому, что илльские игроки, хотя и подбадриваемые присутствием и советами Альфонса, довольно скоро были побиты пришлыми мастерами. Местные зрители были этим весьма расстроены. Альфонс посмотрел на часы. Было только половина десятого. Его мать еще не была причесана. Он отбросил сомнения: сняв фрак и взяв у кого-то куртку, он вызвал испанцев на бой. Я смотрел на него с улыбкой, немного удивленный.

— Надо поддержать честь города,— сказал он.

Теперь он мне показался действительно красивым. Он был охвачен страстью. Парадный костюм, еще недавно столь его занимавший, сейчас утратил для него всякое значение. Минуту назад он боялся повернуть голову, чтобы не сдвинуть в сторону галстук. Сейчас он забыл о своих завитых волосах, о тонких складках своего жабо. А о невесте... О, я думаю, он отложил бы свадьбу, если бы это понадобилось! Я видел, как он поспешно надел сандалии, засучил рукава и с уверенным видом стал во главе побежденных, как Цезарь, собравший своих солдат при Диррахии. Я перелез через изгородь и с удобством расположился в тени железного дерева так, что мог хорошо видеть оба лагеря.

Вопреки ожиданиям, Альфонс пропустил первый мяч; правда, мяч скользнул по земле, пущенный с необыкновенной силой одним арагонцем, который, казалось, был главарем испанцев. То был человек лет сорока, худощавый и нервный, ростом в шесть футов, с кожей оливкового цвета, почти такою же темной, как бронза статуи Венеры.

Господин Альфонс с яростью швырнул свою ракетку на землю.

— Все это проклятое кольцо! — вскричал он.— Оно так жмет мне палец, что я промазал верный удар.

Он снял не без труда брильянтовое кольцо. Я подошел, чтобы взять его, но, предупредив меня, он подбежал к Венере, надел ей перстень на безымянный палец и вернулся на свое место во главе илльских игроков.

Он был бледен, но спокоен и решителен. С этого момента он ни разу не промахнулся, и испанцы потерпели полное поражение. Приятно было смотреть на восторженных зрителей: одни испускали радостные крики, бросая в воздух шапки, другие пожимали руки победителю, называя его гордостью их города. Если бы он отразил неприятельское вторжение, то и то, я думаю, его бы не поздравляли более пламенно и сердечно. Огорчение побежденных усиливало блеск его победы.

— Мы как-нибудь еще поиграем с вами, милейший,— сказал он арагонцу тоном превосходства,— но только я дам вам несколько очков вперед.

Я предпочел бы, чтобы Альфонс был скромнее, и мне стало почти неловко от унижения его противника.

Гиганту-испанцу эти слова показались жестоким оскорблением. Я видел, как его смуглое лицо побледнело. Он хмуро посмотрел на свою ракетку, стиснул зубы, затем глухо пробормотал: *Me lo pagaràs* [1].

Голос г-на де Пейрорада прервал торжество его сына. Хозяин мой, крайне удивленный тем, что не застал сына во дворе, где сейчас закладывали его новую коляску, удивился еще более, увидев его в поту, с ракеткою в руке. Альфонс побежал домой, вымыл руки и лицо, опять надел новый фрак и лакированные ботинки, и через пять минут мы уже ехали крупной рысью по дороге в Пюигариг. Все городские игроки в мяч вместе с толпой зрителей бежали вслед за нами с радостными криками. Могучим лошадям, которые везли нас, едва удавалось опередить неустрашимых каталонцев.

Мы прибыли в Пюигариг, и процессия уже готовилась двинуться к мэрии, когда Альфонс, ударив себя по лбу, сказал мне тихо:

— Вот так штука! Ведь я забыл свой перстень! Он остался на пальце у Венеры, черт бы ее побрал! Только не говорите об этом матери. Может быть, она не заметит.

---

[1] Ты мне за это заплатишь *(исп.)*.

— Пошлите кого-нибудь за ним,— сказал я.

— Эх, мой слуга остался в Илле! А этим я не доверяю. Брильянтов на тысячу двести франков — это может хоть кого соблазнить. Да и что сказали бы здесь о моей рассеянности? Стали бы надо мной смеяться. Прозвали бы мужем статуи... Только бы не украли кольца! К счастью, идол внушает страх моим молодцам. Они не решаются подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Не беда, обойдемся; у меня есть другое кольцо.

Обе церемонии, как гражданская, так и церковная, прошли с подобающей торжественностью, и мадемуазель де Пюигариг получила кольцо парижской модистки, не подозревая, что жених подарил ей залог любви другой женщины. Потом, усевшись за стол, пили, ели, даже пели, и все это тянулось весьма долго. Грубое веселье, царившее вокруг новобрачной, заставляло меня страдать за нее. Однако она держалась лучше, чем я мог ожидать, и ее смущение не было ни неловкостью, ни притворством.

Быть может, мужество приходит вместе с трудностью положения.

Когда завтрак с божьей помощью окончился, было около четырех часов. Мужчины принялись бродить по парку, который был великолепен, или смотреть, как танцуют на лужайке перед замком пюигаригские крестьянки, нарядившиеся по-праздничному. Таким способом нам удалось убить несколько часов. Тем временем женщины теснились около новобрачной, восторгаясь полученными ею свадебными подарками. Затем она переоделась, и я заметил, что она накрыла свои прекрасные волосы чепцом и шляпой с перьями, ибо больше всего на свете женщины торопятся надеть наряд, который обычай воспрещает им носить в девичестве.

Было около восьми часов, когда мы собрались в обратный путь. Но перед этим произошла волнующая сцена. Тетка мадемуазель де Пюигариг, заменявшая ей мать, особа весьма пожилая и крайне набожная, не должна была ехать с нами в город. Перед разлукой она прочла своей племяннице трогательное наставление о ее обязанностях супруги, следствием чего были потоки слез и нескончаемые объятия. Г-н де Пейрорад сравнил это расставание с похищением сабинянок. Наконец нам удалось выбраться, и в течение всей дороги каждый старался, как мог, развлечь молодую и рассмешить ее, но все было напрасно.

В Илле нас ждал ужин, да еще какой! Если грубое утреннее веселье меня коробило, то еще более тягостными показа-

лись мне те двусмысленные шутки и прибаутки, мишенью которых были, по преимуществу, новобрачные. Новобрачный, куда-то исчезавший на минутку перед тем, как сесть за стол, был бледен и странно серьезен. Он непрерывно пил старое кольюрское вино, крепкое, почти как водка. Сидя рядом с ним, я почел себя обязанным предостеречь его:

— Берегитесь! Говорят, что вино...

Чтобы не отстать от сотрапезников, и я сказал какую-то глупость.

Он толкнул меня коленом и шепнул:

— Когда мы встанем из-за стола... мне хотелось бы сказать вам несколько слов.

Его торжественный тон удивил меня. Я посмотрел на него внимательно и заметил странную перемену в его лице.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил я.

— Нет.

И он снова принялся пить.

Между тем под веселые возгласы и рукоплескания одиннадцатилетний мальчик, залезший под стол, показал присутствующим хорошенькую белую с розовым ленточку, снятую им со щиколотки новобрачной. Это и называется подвязка. Тотчас же ленту разрезали на кусочки и роздали их молодым людям, украсившим ими свои петлицы, согласно старинному обычаю, еще соблюдаемому в патриархальных семьях. Это заставило новобрачную покраснеть до ушей... Но ее смущение достигло предела, когда г-н де Пейрорад, водворив молчание, пропел ей несколько каталонских стихов, сочиненных им, по его уверению, экспромтом. Вот их содержание, насколько мне удалось его понять:

«Что я вижу, друзья? Или от выпитого вина двоится в глазах моих? Две Венеры здесь предо мною...»

Жених внезапно повернул голову с выражением ужаса, заставившим всех рассмеяться.

«Да,— продолжал г-н де Пейрорад,— две Венеры под кровом моим. Одну нашел я в земле, словно трюфель; другая, сойдя с небес, разделила сейчас меж нами свой пояс».

Он хотел сказать: подвязку.

«Сын мой! Избери себе какую хочешь Венеру — римскую или каталонскую. Но плутишка уже предпочел каталонку, выбрал лучшую долю. Римлянка черна, каталонка бела. Римлянка холодна, каталонка воспламеняет все, что к ней приближается».

Последние слова вызвали такой рев восторга, такой раскатистый смех, такие бурные рукоплескания, что я испугался, как бы потолок не обрушился нам на голову. Только у троих лица были серьезны — у новобрачных и у меня. У меня сильно болела голова. К тому же, не знаю почему, свадьбы всегда нагоняют на меня грусть, а эта вдобавок мне была даже неприятна.

Напоследок помощник мэра пропел куплеты, надо сказать, очень игривые. После этого перешли в гостиную, чтобы полюбоваться зрелищем, как будут готовить новобрачную к отходу в спальню, так как было уже около полуночи.

Альфонс отвел меня к окну и сказал, глядя в сторону:

— Вы будете надо мной смеяться... Но я не знаю, что со мной... Я околдован, черт меня побери!

У меня мелькнула мысль, что ему грозит опасность вроде той, о которой рассказывают Монтень и мадам де Севинье: «История любви человеческой полна трагических случаев» и т. д. и т. д.

«Я всегда полагал, что такого рода неприятности бывают лишь с людьми, умственно развитыми»,— подумал я.

— Вы выпили слишком много кольюрского вина,— сказал я ему.— Я вас предупреждал.

— Да, это возможно. Но случилась вещь более ужасная...

Его голос прервался. Мне показалось, что он совсем пьян.

— Вы помните мое кольцо? — продолжал он после небольшого молчания.

— Ну конечно! Его украли?

— Нет.

— Значит, оно у вас?

— Нет... я... я не мог снять его с пальца этой чертовки Венеры.

— Да будет вам! Вы просто недостаточно сильно потянули.

— Я старался изо всех сил... Но Венера... согнула палец.

Он пристально посмотрел на меня растерянным взглядом, ухватившись за шпингалет, чтобы не упасть.

— Что за басни! — воскликнул я.— Вы слишком глубоко надвинули его на палец. Завтра вы снимете его клещами. Только не повредите статую.

— Да нет же, говорят вам! Палец Венеры изменил положение; она сжала руку, понимаете?.. Выходит, что она моя жена, раз я надел ей кольцо... Она не хочет его возвращать.

Я вздрогнул, и по спине моей пробежали мурашки. Но тут

он испустил глубокий вздох, и на меня пахнуло вином. Мое волнение сразу рассеялось. «Бездельник вдребезги пьян»,— подумал я.

— Вы, сударь, антикварий,— продолжал он жалобным тоном,— вы хорошо знаете эти статуи... Может быть, там есть какая-нибудь пружинка или секрет, неизвестный мне... Пойдемте посмотрим!

— Охотно,— ответил я.— Пойдемте вместе.

— Нет, лучше пойдите вы один.

Я вышел из гостиной.

Покуда мы ужинали, погода испортилась, и пошел сильный дождь. Я уже хотел попросить зонтик, но следующее соображение удержало меня. «Глупо идти проверять рассказни пьяницы,— сказал я себе.— В конце концов, он просто хотел надо мной подшутить, чтобы позабавить своих недалеких земляков. Наименьшее, что мне грозит,— это промокнуть до костей и схватить сильный насморк».

Я поглядел с порога на статую, по которой струилась вода, и прошел к себе в комнату, не заходя в гостиную. Я лег в постель, но долго не мог заснуть. Все виденное мною за день не выходило у меня из головы. Я думал о молодой девушке, такой прекрасной и чистой, отданной этому грубому пьянице. «Какая отвратительная вещь,— говорил я себе,— брак по расчету! Мэр надевает трехцветную перевязь, священник — епитрахиль, и вот достойнейшая в мире девушка отдана Минотавру. Что могут два существа, не связанные любовью, сказать друг другу в минуту, за которую двое любящих отдали бы жизнь? Может ли женщина полюбить мужчину, который однажды был груб с ней? Первые впечатления никогда не изглаживаются, и я уверен, что Альфонс заслужит ненависть своей жены...»

Во время этого монолога, который я здесь сильно сокращаю, я слышал движение в доме, хлопанье отворяемых и затворяемых дверей, стук отъезжающих экипажей; затем я услышал на лестнице легкие шаги женщин, направлявшихся в конец коридора, противоположный моей комнате. По-видимому, это была процессия, провожавшая новобрачную до ее постели. После этого провожавшие спустились по лестнице. Дверь в комнату г-жи де Пейрорад затворилась. «Как, должно быть, смущена и плохо себя чувствует,— подумал я,— эта бедная девушка!» Я ворочался в постели, будучи в самом дурном настроении духа. Какую глупую роль играет холостяк в доме, где совершается свадьба!

На некоторое время воцарилась тишина, но вдруг ее нарушили тяжелые шаги по лестнице. Деревянные ступеньки ее сильно скрипели. «Вот увалень! — мысленно воскликнул я.— Еще, пожалуй, свалится».

Все снова затихло. Я взял книгу, чтобы изменить течение моих мыслей. Это был статистический отчет департамента, украшенный статьей г-на Пейрорада о друидических памятниках в округе Прад. Я заснул на третьей странице.

Я спал плохо и несколько раз просыпался. Было, должно быть, часов пять утра, и я лежал уже более двадцати минут без сна, как вдруг пропел петух. Близился рассвет. И вот я отчетливо услышал снова те же тяжелые шаги, тот же скрип лестницы, какие слышал, перед тем как заснуть. Это мне показалось удивительным. Позевывая, я пробовал угадать, для чего понадобилось Альфонсу встать так рано, но не мог придумать ничего правдоподобного. Я уже собирался снова закрыть глаза, но тут внимание мое было привлечено странным шумом, к которому вскоре присоединились звонки, хлопанье дверей и, наконец, громкие крики. «Наш пьяница где-нибудь обронил огонь!» — подумал я, вскакивая с кровати.

Я поспешно оделся и вышел в коридор. С другого конца его неслись крики и жалобные стоны, покрываемые душераздирающим воплем:

— Мой сын! Мой сын!

Было ясно, что с Альфонсом приключилось несчастье. Я вбежал в спальню новобрачных; она была полна народу. Первый, кого я увидел, был молодой Пейрорад, полуодетый и распростертый поперек сломанной кровати. Он был мертвенно бледен и неподвижен. Мать плакала и кричала, стоя около него. Г-н де Пейрорад суетился, тер ему виски одеколоном, подносил к носу пузырек с солями. Увы, его сын был давно мертв! На диване, в другом конце комнаты, лежала новобрачная, бившаяся в страшных судорогах. Она испускала нечленораздельные крики, и две дюжие служанки едва могли ее удержать.

— Боже мой! — воскликнул я.— Что случилось?

Я подошел к кровати и приподнял тело несчастного юноши; оно уже окоченело и остыло. Стиснутые зубы и почерневшее лицо выражали страшные страдания. Было очевидно, что он погиб насильственной смертью и что агония его была ужасна. Однако ни малейшего следа крови не было видно на одежде. Я раскрыл его рубашку и увидел синюю полосу на груди, на боках и на спине. Похоже было на то, что его сда-

вили железным обручем. Я наступил ногой на что-то твердое, лежавшее на ковре; наклонившись, я увидел брильянтовый перстень.

Я отвел г-на де Пейрорада и его жену в их комнату; затем распорядился перенести туда же новобрачную.

— У вас осталась дочь,— сказал я им.— Вы должны позаботиться о ней.

После этого я ушел из комнаты.

Мне казалось несомненным, что Альфонс стал жертвой злодеяния и что убийцы нашли способ проникнуть ночью в комнату новобрачных. Однако эти кровоподтеки, опоясывавшие все тело, очень смущали меня,— их нельзя было причинить палкой или ломом. Внезапно я припомнил рассказы о том, что валенсийские наемные убийцы пользуются длинными кожаными мешками, набитыми мелким песком, чтобы приканчивать людей, за смерть которых им заплачено. И тотчас же мне вспомнился арагонский погонщик мулов с его угрозой. Тем не менее трудно было допустить, чтобы он прибег к столь ужасной мести из-за глупой шутки.

Я принялся блуждать по дому, ища повсюду следов взлома и не находя их нигде. Я сошел в сад, чтобы посмотреть, не проникли ли злоумышленники оттуда, но не обнаружил никаких явных улик. Впрочем, от дождя, шедшего накануне, почва настолько размокла, что на ней не могло сохраниться ясных следов. Все же я заметил на земле несколько глубоких отпечатков ног; они шли в двух противоположных направлениях, но по одной линии, начинавшейся от угла изгороди, прилегавшей к площадке для игры в мяч, и кончавшейся у входной двери дома. Это могли быть следы, оставленные Альфонсом, когда он ходил к статуе, чтобы снять кольцо с ее пальца. Впрочем, изгородь была здесь менее плотной, чем в других местах, и убийцы могли пролезть через нее именно тут. Бродя вокруг статуи, я остановился на минуту, чтобы посмотреть на нее. На этот раз, признаюсь вам, я не мог взглянуть без содрогания на злое и насмешливое выражение ее лица. И, весь во власти ужасных сцен, свидетелем которых я только что был, я воображал, что вижу пред собой адское божество, ликующее по поводу несчастья, поразившего этот дом.

Я вернулся к себе в комнату и оставался в ней до полудня. Затем вышел, чтобы проведать моих хозяев. Они несколько успокоились. Мадемуазель де Пюигариг, точнее, вдова Альфонса, пришла в себя. Она даже говорила с королевским прокурором из Перпиньяна, оказавшимся в Илле проездом, и давала

этому представителю власти свои показания. Он пожелал также выслушать меня. Я ему рассказал, что знал, и не скрыл своих подозрений насчет арагонца. Он распорядился немедленно его арестовать.

— Узнали вы что-нибудь существенное от вдовы господина Альфонса? —спросил я у королевского прокурора после того, как мое показание было запротоколировано и подписано мною.

— Несчастная молодая женщина потеряла рассудок,— сказал он мне с печальной улыбкой.— Она совсем помешалась, совсем. Вот что она рассказывает. Она лежала, по ее словам, несколько минут в кровати с задернутым пологом, как вдруг дверь в спальню отворилась, и кто-то вошел. В этот момент молодая госпожа де Пейрорад лежала на краю постели, лицом к стене. Она не шевельнулась, уверенная, что это ее муж. Вскоре затем кровать затрещала, точно на нее навалилась огромная тяжесть. Она очень испугалась, но не решилась повернуть голову. Прошло пять минут, может быть, десять... она не знает в точности, сколько. Потом она сделала невольное движение, или же существо, находившееся в кровати, переменило положение, но только она почувствовала прикосновение чего-то холодного, по ее выражению, как лед. Она опять отодвинулась на краешек кровати, дрожа всем телом. Немного погодя дверь отворилась вторично, и вошедший сказал: «Здравствуй, женушка». Вслед за тем полог раздвинулся. Она услышала сдавленный крик. Особа, бывшая рядом с ней на кровати, села и как будто вытянула вперед руки. Тогда молодая женщина повернула голову... и увидела, как она говорит, своего мужа, стоящего на коленях перед кроватью с головою на уровне подушек, в объятиях какого-то зеленого гиганта, сжимающего его со страшной силой. Несчастная женщина уверяла меня и повторяла раз двадцать, что узнала — угадайте, кого! — бронзовую Венеру, статую господина де Пейрорада... С тех пор как эта статуя появилась здесь, она всех свела с ума. Но вернемся к рассказу бедной помешанной. При этом зрелище она потеряла сознание, как, вероятно, потеряла и свой рассудок за минуту до того. Она не может даже приблизительно определить, сколько времени она лежала без чувств. Придя в себя, она опять увидела призрак, или, как она утверждает, статую; эта статуя была неподвижна; она сидела на кровати, слегка наклонившись. В руках она сжимала ее недвижного мужа. Пропел петух. Тогда статуя сошла с кро-

вати, выпустила труп из рук и удалилась. Молодая женщина кинулась к звонку, а остальное вы знаете.

Привели испанца. Он был спокоен и защищался с большим хладнокровием и присутствием духа. Он не отрицал тех слов, которые я слышал, но, согласно его объяснению, он хотел сказать только то, что на другой день, хорошенько отдохнув, он рассчитывал обыграть своего победителя. Помню, что он прибавил:

— Арагонец, когда он оскорблен, не станет откладывать месть до завтра. Если бы мне показалось, что господин Альфонс обидел меня, я тут же всадил бы ему нож в живот.

Сравнили его башмаки со следами в саду: башмаки оказались гораздо бо́льших размеров.

В довершение всего трактирщик, у которого этот человек остановился, засвидетельствовал, что он провел всю ночь, растирая и леча своего заболевшего мула.

Вообще же этот арагонец был человек с хорошей репутацией, всем известный в этих краях, куда он приезжал ежегодно по торговым делам. Его отпустили, извинившись перед ним.

Я забыл еще упомянуть о показаниях слуги,— он последний видел Альфонса в живых. Это случилось в ту минуту, когда тот собирался идти к жене; подозвав слугу, он спросил его с видимым беспокойством, не знает ли он, где я нахожусь. Тот ответил, что не видел меня. Тогда Альфонс вздохнул и, помолчав с минуту, сказал: «Уж не унес ли и его дьявол?»

Я спросил этого человека, был ли у г-на Альфонса на пальце брильянтовый перстень, когда он говорил с ним. Слуга подумал немного, потом ответил, что, кажется, перстня не было, но что он не обратил на это внимания.

— Если бы перстень у него был,— поправился он,— я бы, наверное, заметил: я был уверен, что он отдал его своей супруге.

Расспрашивая этого человека, я испытывал суеверный страх, овладевший всем домом после показаний жены Альфонса. Королевский прокурор посмотрел на меня с улыбкой, и я воздержался от дальнейших вопросов.

Через несколько часов после погребения Альфонса я собрался уезжать из Илля. Коляска г-на де Пейрорада должна была отвезти меня в Перпиньян. Бедный старик, несмотря на свою слабость, пожелал проводить меня до садовой калитки. Мы молча прошли по саду, причем он еле волочил ноги, опираясь на мою руку. В минуту расставания я в последний раз бросил взгляд на Венеру. Я чувствовал, что мой хозяин, хотя

и не разделял страха и отвращения, которые статуя внушала некоторым членам его семейства, все же захочет отделаться от предмета, который будет непрестанно напоминать ему о его ужасном несчастии. Мне хотелось убедить его отдать статую в музей. Я не знал, как заговорить об этом. В это время г-н де Пейрорад, заметив, что я куда-то пристально смотрю, машинально повернул голову в ту же сторону. Он увидел статую и тотчас же залился слезами. Я обнял его и, не найдя в себе силы что-нибудь ему сказать, сел в коляску.

После моего отъезда я не слышал, чтобы какие-нибудь новые данные пролили свет на это таинственное происшествие.

Господин де Пейрорад умер через несколько месяцев после смерти своего сына. Он завещал мне свои рукописи, которые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Я не нашел среди них исследования о надписях на Венере.

P. S. Мой друг г-н де П. только что сообщил мне в письме из Перпиньяна, что статуи больше не существует. Г-жа де Пейрорад после смерти мужа немедленно распорядилась перелить ее на колокол, и в этой новой форме она служит илльской церкви. «Однако,— добавляет г-н де П.,— можно подумать, что злой рок преследует владельцев этой меди. С тех пор как в Илле звонит новый колокол, виноградники уже два раза пострадали от мороза».

Pè far la to vendetta,
Sta sigur, vasta anche ella.

Vocero[1] *из Ньоло*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В первых числах октября 181* года полковник сэр Томас Невиль, ирландец, один из заслуженных офицеров английской армии, остановился в гостинице Бово в Марселе, на обратном пути из путешествия по Италии. Вечное восхищение энтузиастов-путешественников произвело реакцию, и, чтобы отличиться чем-нибудь, многие из нынешних туристов берут себе девизом горациевское *nil admirari*[2]. Единственная дочь полковника, мисс Лидия, принадлежала именно к этому разряду ничем не довольных путешественников. *Преображение* Рафаэля показалось ей посредственным произведением, Везувий во время извержения — немногим лучше, чем трубы бирмингемских фабрик. Вообще она обвиняла Италию в отсутствии местного колорита, в отсутствии характера. Пусть, кто может, объяснит мне смысл этих слов; несколько лет тому назад я прекрасно понимал его, а теперь совсем не понимаю. Сначала мисс Лидия льстила себя надеждою увидеть по ту сторону Альп что-нибудь такое, чего до нее никто не видел и о чем она могла бы говорить с порядочными людьми. Но скоро, видя, что соотечественники везде предупредили ее, и отчаявшись встретить что-нибудь неизвестное, она бросилась на сторону оппозиции. В самом деле, неприятно говорить о чудесах Италии, для того чтобы вдруг услышать от кого-нибудь: «Вы, конечно, знаете такого-то Рафаэля в таком-то палаццо, там-то? Это прекраснейшая вещь во всей Италии». И, наверно, ее-то вы и забыли

[1] Все же можешь быть спокоен:
Отомстить она сумеет. Причитание *(корсик.)*.

[2] Ничему не удивляться *(лат.)*.

посмотреть. Так как видеть все было бы слишком долго, то проще бранить все с предвзятым намерением.

В гостинице Бово мисс Лидии пришлось испытать горькое разочарование. Она привезла с собой хорошенький эскиз пелазгических или циклопических ворот в Сеньи; она думала, что рисовальщики забыли эти ворота. И вдруг леди Френсис Фенвик, с которою она встретилась в Марселе, показывает ей свой альбом, и в этом альбоме, между сонетом и засушенным цветком, ворота в Сеньи, густо покрытые тердесьеном! Мисс Лидия отдала свои ворота горничной и потеряла всякое уважение к пелазгическим сооружениям.

Такое печальное настроение сообщилось и полковнику Невилю, который со смерти своей жены смотрел на все не иначе, как глазами мисс Лидии. Италия надоела его дочери: ясно, что это самая скучная страна в мире. Правда, он не мог сказать ничего против картин и статуй, но зато мог заверить, что охота в этой стране самая жалкая и что из-за того, чтобы убить несколько штук несчастных красных куропаток, нужно сделать десять миль в самую жару по римской Кампанье.

На другой день после приезда в Марсель он пригласил обедать капитана Эллиса, своего бывшего адъютанта, который только что провел шесть недель на Корсике. Капитан прекрасно рассказал мисс Лидии историю о бандитах; достоинство ее состояло в том, что она нисколько не походила на истории о ворах, которых она наслушалась по дороге от Рима до Неаполя. За десертом, когда мужчины остались одни с бутылками бордо, они разговорились об охоте, и полковник узнал, что нигде нет такой прекрасной, такой разнообразной и такой богатой охоты, как на Корсике.

— Там множество диких кабанов,— говорил капитан Эллис,— нужно только научиться отличать их от домашних свиней, на которых они удивительно похожи, иначе будут неприятности с их пастухами. Они появляются из лесков, так называемых *маки,* вооруженные с ног до головы, заставляют платить за своих животных и насмехаются над вами. Есть там еще муфлоны, престранные животные, которых нет нигде в других местах, но охота за ними трудна; есть олени, лани, фазаны, куропатки; да и не перечтешь всех родов дичи, кишащей на Корсике. Если вы любите пострелять, поезжайте на Корсику, полковник: там, как говорил один из моих хозяев, вы найдете всевозможную дичь, начиная от дрозда и кончая человеком.

За чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рассказом о косвенной *вендетте* [1], еще более оригинальным, чем предыдущий, и привел ее в окончательный восторг от Корсики, описав ей дикий вид страны, оригинальный характер ее жителей, их гостеприимство и первобытные нравы. Наконец, он преподнес ей хорошенький маленький стилет, знаменитый не столько своею формой и медной оправой, сколько происхождением. Один прославленный бандит уступил его капитану Эллису, ручаясь за то, что он побывал в четырех человеческих телах. Мисс Лидия заткнула его за пояс, потом положила на свой ночной столик и, прежде чем заснуть, два раза вынула из ножен. А полковник видел во сне, как он убивал муфлона и как владелец заставлял его заплатить, на что полковник охотно согласился, ибо муфлон был прелюбопытное животное и походил на дикого кабана с оленьими рогами и фазаньим хвостом.

— Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная охота,— сказал полковник, завтракая вдвоем с дочерью,— если б это не было так далеко, недурно бы съездить туда недельки на две.

— В самом деле,— ответила мисс Лидия,— отчего бы нам не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я рисовать; я буду в восторге, если в моем альбоме будет та пещера, о которой рассказывал капитан Эллис и куда ребенком приходил учиться Бонапарте.

Может быть, в первый раз желание, выраженное полковником, получило одобрение его дочери. Радуясь такому неожиданному обстоятельству, он, однако, догадался сделать несколько замечаний, чтобы еще пуще раззадорить мисс Лидию. Напрасно он говорил о дикости страны, о том, как трудно женщине путешествовать по ней: она ничего не боялась, она любила путешествовать верхом больше всего на свете, она считала для себя праздником спать под открытым небом, она грозила отправиться в Малую Азию. Словом, у нее был готов ответ на все. Ни одна англичанка не была на Корсике; значит, ей нужно съездить туда. И какое счастье будет, возвратившись на Сент-Джемс-Плейс, показывать свой альбом! «Отчего же, милая, вы пропускаете этот прекрасный рисунок?» — «О, это пустяки! Это эскиз, который я сделала с одного известного

---

[1] Месть, направленная на более или менее отдаленного родственника обидчика.

корсиканского бандита, служившего нам проводником».— «Как! Вы были на Корсике?»

Так как тогда между Францией и Корсикой еще не ходили пароходы, то пришлось узнавать, не отправляется ли какое-нибудь судно на остров, который имела намерение открыть мисс Лидия. В тот же день полковник написал в Париж, отменяя распоряжение о заказанном им там помещении, и сторговался с хозяином корсиканского галиота, отправлявшегося в Аяччо. На галиоте были две приличные каюты. Нагрузили провизию; хозяин клялся, что один из его матросов замечательный повар и не имеет себе равного в уменье варить *бульябес;* он обещал, что барышне будет удобно, что она будет наслаждаться прекрасной погодой и прекрасным морем. Кроме того, по желанию дочери полковник поставил условием, что капитан не возьмет ни одного пассажира и направит галиот вдоль берегов острова так, чтобы можно было любоваться видом гор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В назначенный для отъезда день все было уложено и отвезено на судно с утра; галиот отправлялся с вечерним попутным ветром. В ожидании отъезда полковник гулял с дочерью по улице Канебьер. К нему подошел хозяин галиота и стал просить позволения взять с собой одного из своих родственников, то есть троюродного брата крестного отца его старшего сына, который возвращался на родину, на Корсику, по не терпящим отлагательства делам и не мог найти судна, чтобы доехать туда.

— Прекрасный малый,— прибавил капитан Маттеи,— военный, офицер гвардейских егерей; был бы уже полковником, если б *тот* еще был императором.

— Так как он военный...— сказал полковник. Он хотел прибавить: «Я охотно соглашаюсь, чтобы он ехал с нами». Но мисс Лидия перебила его по-английски:

— Пехотный офицер! (Ее отец служил в кавалерии, и она питала презрение ко всем другим родам оружия.) Может быть, невоспитанный человек; у него будет морская болезнь; он испортит нам все удовольствие поездки!

Хозяин судна не знал ни слова по-английски, но, кажется, понял то, что говорила мисс Лидия, по гримаске ее хорошеньких губок. Он произнес похвалу в трех частях своему род-

ственнику, закончив ее уверением, что родственник — человек вполне порядочный, из семьи *капралов,* который нисколько не стеснит г-на полковника, потому что он, хозяин, берется поместить его в такой угол, где никто не заметит его присутствия.

Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на Корсике есть семьи, в которых звание капрала переходит от отца к сыну, но так как они слепо верили, что дело идет о пехотном капрале, то и заключили, что это какой-нибудь бедняк, которого хозяин хочет взять с собою из милости. Если бы это был офицер, то пришлось бы разговаривать с ним, проводить с ним время; но с каким-нибудь капралом можно и не стесняться; без своего взвода с примкнутыми штыками, готового вести вас туда, куда вы вовсе не хотите идти, капрал не важная особа.

— Не страдает ли ваш родственник морской болезнью? — сухо спросила мисс Невиль.

— Что вы, мадемуазель! Сердце у него твердое, как скала, и на море и на суше.

— Хорошо, можете его взять,— сказала она.

— Можете его взять,— повторил полковник.

Они продолжали прогулку.

В пять часов вечера капитан Маттеи пришел звать их на галиот. На пристани, возле шлюпки капитана, стоял высокий молодой человек в наглухо застегнутом синем сюртуке, смуглый, с черными, живыми, красивыми глазами, с открытым и умным выражением лица. По осанке, по небольшим закрученным усам легко можно было узнать военного: в то время усачи не бегали по улицам и национальная гвардия еще не ввела во все семьи военной выправки вместе с привычками гвардейского корпуса.

Молодой человек, увидя полковника, снял фуражку и без замешательства и в учтивых выражениях поблагодарил его за сделанное ему одолжение.

— Очень рад быть вам полезным, мой друг,— сказал полковник, дружески кивая ему головой и входя в шлюпку.

— Ваш англичанин не церемонится,— сказал хозяину молодой человек очень тихо по-итальянски.

Хозяин приставил указательный палец пониже левого глаза и опустил углы рта. Понимающему язык знаков нетрудно было догадаться, что англичанин понимает по-итальянски и что он чудак. Молодой человек, слегка улыбнувшись в ответ на знак Маттеи, дотронулся до своего лба, как будто хотел

сказать, что все англичане — люди немножко с придурью; потом он сел около хозяина и начал внимательно, но не назойливо рассматривать свою хорошенькую спутницу.

— У этих французских солдат славная осанка,— сказал полковник дочери по-английски,— оттого-то из них и легко делаются офицеры.

Потом он обратился по-французски к молодому человеку:

— Скажите, любезный, в каком вы полку служили?

Молодой человек легонько толкнул локтем отца крестного сына своего троюродного брата и, сдерживая легкую улыбку, ответил, что прежде он служил в пеших гвардейских егерях, а теперь вышел из 7-го легкого полка.

— Были под Ватерлоо? Вы еще так молоды!

— Это моя единственная кампания, полковник.

— Она стоит двух,— сказал полковник.

Молодой человек прикусил губу.

— Папа,— сказала по-английски мисс Лидия,— спросите его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарте?

Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос на французский язык, молодой человек ответил по-английски довольно хорошо, но с заметным акцентом:

— Вы знаете, мадемуазель, что нет пророка в своем отечестве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может быть, меньше, чем французы. Что касается до меня, то, несмотря на то, что наш род когда-то враждовал с его родом, я люблю его и удивляюсь ему.

— Вы говорите по-английски? — воскликнул полковник.

— Как видите, очень дурно.

Несмотря на то, что его развязный тон немного задел мисс Лидию, она не могла не усмехнуться при мысли о личной вражде между капралом и императором. Это было как бы предвкушением корсиканских странностей, и она обещала себе занести эту черту в свой дневник.

— Вы, может быть, были в плену в Англии?

— Нет, полковник. Я выучился по-английски во Франции от одного пленного вашей нации.

Потом он сказал, обращаясь к мисс Лидии:

— Маттеи говорил мне, что вы приехали из Италии. Вы, без сомнения, говорите на чистом тосканском диалекте, но, я думаю, вы затруднитесь понимать наш говор.

— Моя дочь понимает все итальянские наречия,— ответил полковник,— у нее дар к языкам. Не то, что я.

— Мадемуазель, поймете ли вы, например, эти стихи из одной нашей корсиканской песни? Пастух говорит пастушке:

S'entrassi 'ndru paradisu santu, santu,
E non truvassi a tia, mi n'esciria [1].

Мисс Лидия поняла и, найдя цитату дерзкою, а еще более — сопровождающий ее взгляд, покраснела и ответила:

— *Capisco* [2].

— А вы едете домой в шестимесячный отпуск? — спросил полковник.

— Нет, полковник. Меня отставили с половинным жалованьем за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без денег, как говорит песня.

И он вздохнул, взглянув на небо.

Полковник опустил руку в карман и, вертя пальцами золотую монету, придумывал фразу, с которой можно было бы повежливее всунуть эту монету в руку своего врага в несчастии.

— И я тоже,— добродушно сказал он,— сижу на половинном жалованье; но... с вашим половинным жалованьем не на что купить табаку. Возьми, капрал.

И он попробовал вложить монету в сжатую руку, которой молодой человек опирался о борт шлюпки.

Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, казалось, готов был ответить дерзостью, но вдруг, переменив выражение лица, разразился смехом. Полковник с монетою в руке остался в совершенном изумлении.

— Полковник,— сказал молодой человек, снова приняв серьезный тон,— позвольте дать вам два совета. Первый — никогда не предлагать денег корсиканцу, потому что между моими земляками есть такие невежливые люди, что могут бросить их вам в голову; второй — не давать людям званий, на которые они совершенно не претендуют. Вы зовете меня капралом, а я поручик. Без сомнения, разница не велика, но...

— Поручик! — воскликнул полковник.— Поручик! Но хозяин сказал мне, что вы капрал, так же как и ваш отец и все мужчины вашего семейства.

При этих словах молодой человек откинулся и залился хохотом. Хозяин со своими двумя матросами тоже дружно расхохотались.

---

[1] Если я войду в святой, святой рай и не найду там тебя, я уйду оттуда (Serenata di Zicavo). (Серенада <пастуха> из Дзикаво.)

[2] Понимаю *(итал.)*.

— Простите меня, полковник,— сказал наконец молодой человек,— но *quiproquo*[1] прелестно, и я понял его только сейчас. Правда, наш род гордится, считая капралов в числе своих предков, но наши корсиканские капралы никогда не носили галунов на мундирах. Около 1100 года некоторые общины возмутились против тирании горных сеньоров и выбрали себе предводителей, которые были названы капралами. На нашем острове гордятся происхождением от этих в некотором роде трибунов.

— Извините меня, тысячу раз извините! — воскликнул полковник.— Вы понимаете причину моего промаха и, надеюсь, простите мне его.

И он протянул ему руку.

— Это вполне справедливое наказание за мое честолюбие, полковник,— сказал молодой человек, все еще смеясь и сердечно пожимая руку англичанина.— Я нисколько не сержусь на вас. Так как мой друг Маттеи не сумел представить меня вам, то позвольте мне представиться самому: Орсо делла Ребиа, поручик на половинном жалованье. Я догадываюсь по этим прекрасным собакам, что вы едете на Корсику охотиться; для меня будет весьма лестно познакомить вас с нашими *маки* и с нашими горами... если только я не забыл их,— прибавил он, вздыхая.

В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик предложил руку мисс Лидии, а потом помог подняться на палубу полковнику. Там сэр Томас, все еще очень сконфуженный своей ошибкой и не зная, как загладить грубое обращение с человеком, считавшим свой род с 1100 года, не ожидая согласия дочери, пригласил его ужинать, причем возобновил свои извинения и рукопожатия. Мисс Лидия слегка нахмурила брови; впрочем, она все-таки была рада узнать, что́ представляет собою капрал, да и сам гость был ей не противен. Она даже начала находить в нем что-то аристократическое; только для героя романа он был слишком развязен и весел.

— Поручик делла Реббиа! — сказал полковник, приветствуя его по-английски, с рюмкой мадеры в руке.— Я видел в Испании немало ваших земляков; это были знаменитые пешие стрелки.

— Да, много их осталось в Испании,— печально сказал молодой поручик.

— Я никогда не забуду, как вел себя один корсиканский батальон под Витторией,— продолжал полковник.— Вот это

[1] Недоразумение *(лат.)*.

будет мне напоминать,— прибавил он, потирая себе грудь.— Целый день они стреляли из-за деревьев, из-за изгородей, и я уж не знаю, сколько людей и лошадей у нас перебили! Когда пришлось отступать, они построились и стали быстро уходить. На открытом месте мы надеялись заплатить им свой долг, но канальи, то есть, извините, поручик, эти храбрецы, построились в каре, и прорвать его не было никакой возможности. Как теперь вижу посреди каре офицера на маленькой вороной лошадке; он стоял около знамени и курил свою сигару, как будто сидел в кофейне. Иногда, точно чтоб подразнить нас, их музыка начинала играть. Я пускаю на них два первых своих эскадрона... Черт возьми! Вместо того чтобы врезаться во фронт каре, мои драгуны скачут в сторону, потом делают направо кругом и возвращаются в сильном расстройстве; немало лошадей вернулось без всадников... И все время эта чертовская музыка! Когда дым, окутывавший батальон, рассеялся, я опять увидел офицера около знамени; он все еще курил сигару. Взбешенный, я сам повел последнюю атаку. Их ружья закоптились от стрельбы и не могли больше стрелять, но солдаты построились в шесть рядов, штыками лошадям в морды; это была настоящая стена. Я кричал, убеждал своих драгун, шпорил коня, чтобы заставить его идти вперед; в это время офицер, о котором я вам говорил, бросив наконец сигару, показал на меня рукою одному из своих людей. Я услышал что-то вроде: *Al capello bianco* [1]. У меня был белый плюмаж. Больше я не слышал ничего, потому что пуля пробила мне грудь... Это был славный батальон, господин делла Реббиа; первый батальон восемнадцатого легкого полка, весь из корсиканцев, как мне потом говорили.

— Да,— сказал Орсо, глаза которого блестели во время рассказа,— они выдержали натиск и вынесли свое знамя, но две трети этих храбрецов спят теперь на равнине Виттории.

— А не знаете ли вы случайно имени офицера, который командовал ими?

— Это был мой отец. Тогда он служил майором в восемнадцатом полку и был произведен в полковники за этот печальный день.

— Ваш отец! Честное слово, он был храбрый человек! Я с удовольствием увиделся бы с ним снова и уверен, что узнал бы его. Он еще жив?

---

[1] Целься в белую шляпу *(итал.)*.

— Нет, полковник,— сказал молодой человек, слегка побледнев.

— Он был под Ватерлоо?

— Да, полковник, но он не имел счастья пасть на поле битвы. Он умер на Корсике... два года тому назад... Боже мой, как красиво! Десять лет я не видел Средиземного моря!.. Не правда ли, мадемуазель, оно красивее океана?

— Мне оно кажется чересчур синим... и волны слишком малы.

— Вы любите дикую красоту? Если так, то, я думаю, Корсика понравится вам.

— Моя дочь,— сказал полковник,— любит все необыкновенное; вот почему ей совсем не понравилась Италия.

— Я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл несколько лет в училище, но я не могу подумать без восхищения о *Campo Santo,* соборе, о наклонной башне; особенно о *Campo Santo.* Помните *Смерть* Орканьи? Мне кажется, я мог бы нарисовать ее, так она мне врезалась в память.

Мисс Лидия испугалась, как бы поручик не начал восторженной тирады.

— Это очень мило,— сказала она, зевая.— Извините, папа, у меня немного болит голова; я сойду в свою каюту.

Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула головой Орсо и исчезла. Мужчины стали говорить о войне и охоте.

Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против друга и, должно быть, обменялись немалым числом пуль. Это удвоило их взаимную симпатию. Они раскритиковали одного за другим Наполеона, Веллингтона и Блюхера, потом начали говорить об охоте за ланями, кабанами и муфлонами. Наконец, уже поздно ночью, когда кончилась последняя бутылка бордо, полковник еще раз пожал поручику руку, выражая ему надежду на продолжение так странно начатого знакомства. Они разошлись, и каждый улегся спать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ночь была прекрасна, луна играла в волнах; судно тихо плыло, гонимое легким ветерком. Мисс Лидии совсем не хотелось спать, и только присутствие профана помешало ей наслаждаться ощущениями, которые испытывает в море всякое человеческое существо, если у него в сердце есть хоть кру-

пика поэзии. Решив, что молодой поручик крепко спит, как и следует такому прозаическому существу, она встала, надела шубку, разбудила свою горничную и вышла на палубу. Там был только один матрос у руля; он пел по-корсикански какую-то жалобную песню на дикий и монотонный мотив. В ночной тишине эта странная музыка не лишена была прелести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, что пел матрос. Среди многих общих мест энергический стих живо возбуждал ее любопытство, но как раз на самом интересном месте встречалось несколько местных слов, смысл которых был ей недоступен. Однако она поняла, что дело шло об убийстве. Проклятия, направленные против убийц, угрозы отомстить, похвала убитому — все это сливалось в одно. Она уловила несколько стихов, которые я попробую перевести:

«...Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть его чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был сокол, друг орла, мед для своих друзей, для врагов разгневанное море. Выше солнца, милее луны. Его, грозу для врагов Франции, двое убийц, его земляков, поразили ударом в спину,— так Виттоло убил Сампьеро Корсо [1].— Они никогда не осмелились бы взглянуть ему в лицо.— Повесьте на стене перед моей постелью мой честно заслуженный почетный крест.— Красна его лента.— Еще краснее моя рубашка.— Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку.— Он увидит в ней две дыры,— за каждую из них по дыре в другой рубашке.— Но буду ли я тогда отомщен? — Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало...»

Матрос вдруг остановился.

— Почему вы не продолжаете? — спросила мисс Невиль.

Матрос кивком головы показал на человека, выходившего из рубки галиота. Это был Орсо, пришедший полюбоваться лунным светом.

— Кончайте же вашу песню,— сказала мисс Лидия,— она мне очень понравилась.

Матрос наклонился к ней и тихо сказал:

— Я не делаю *rimbecco* никому.

— Как? *Rim*...

---

[1] *Филиппики*, книга XI.— Имя Виттоло еще до сих пор произносится с омерзением. Теперь это синоним изменника.

Матрос не ответил и принялся свистеть.

— Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс Невиль? — спросил Орсо, подходя к ней.— Согласитесь, что нигде нет такой луны.

— Я не смотрела на нее. Я была занята изучением корсиканского языка. Этот матрос пел какую-то трагическую жалобу и остановился на самом интересном месте.

— Что ты пел, Паоло Франче? — спросил Орсо.— *Ballata?* Или *vocero*? [1] Барышня понимает тебя и хотела бы послушать конец.

— Я забыл его, Орс Антон,— сказал матрос. И он сейчас же начал голосить во всю мочь песнь пресвятой деве.

Мисс Лидия рассеянно слушала ее и больше не беспокоила певца, пообещав себе, однако, узнать потом разрешение загадки. Но ее горничной, флорентинке, понимавшей корсиканское наречие не лучше своей госпожи, также очень хотелось узнать ее, и, прежде чем мисс Лидия успела толкнуть ее локтем, она обратилась к Орсо:

— Господин капитан, что это значит — сделать *rimbecco?*

— *Rimbecco!* — повторил Орсо.— Это значит нанести смертельное оскорбление корсиканцу; это значит упрекнуть его в том, что он не отомстил за себя. Кто вам говорил о *rimbecco*? [2]

— Вчера в Марселе,— торопливо ответила мисс Лидия,— хозяин галиота употребил в разговоре это слово.

— А о ком говорил он? — оживленно спросил Орсо.

— О! Он рассказывал нам старую историю... из времен... да, кажется, он говорил о Ванине д'Орнано.

---

[1] Когда кто-нибудь умирает, особенно если его убили, то его тело выставляется на столе, и женщины его семьи, а за их отсутствием приятельницы или даже совершенно посторонние женщины, известные своим поэтическим талантом, импровизируют на туземном наречии перед многочисленными слушателями жалобы в стихах. Этих женщин зовут *voceratrici,* или, по корсиканскому произношению, *buceratrici,* а жалоба на восточном берегу называется *vocero, buceru, buceratu,* а на западном *ballata.* Слово *vocero,* так же как и его производные: *vocerar, voceratrice* — происходит от латинского *vociferare.* Иногда несколько женщин импровизируют одна за другой, и часто жена или дочь покойного сама поет надгробную жалобу.

[2] *Rimbeccare* — по-итальянски значит отослать, отразить, отбросить. По-корсикански это значит сделать кому-нибудь оскорбительный публичный упрек. Говоря сыну убитого, что отец его не отомщен, ему делают этим *rimbecco. Rimbecco* есть род требования, предъявляемого человеку, не смывшему кровью обиды. Генуэзское законодательство очень строго преследовало виновных в *rimbecco.*

— Смерть Ванины, я думаю, не внушила вам любви к нашему герою, храброму Сампьеро?

— Но разве вы находите, что тут было геройство?

— Его преступление оправдывается дикими нравами того времени. А кроме того, Сампьеро вел смертельную борьбу с генуэзцами; какое бы доверие могли иметь к нему земляки, не накажи он женщину, хотевшую вступить в сношения с Генуей?

— Ванина,— сказал матрос,— ушла без позволения мужа; Сампьеро хорошо сделал, что свернул ей шею.

— Но ведь она пошла к генуэзцам вымолить помилование мужу для его же спасения, из любви к нему.

— Просить о его помиловании значило унизить его! — воскликнул Орсо.

— А он ее убил! — продолжала мисс Невиль.— Какое он чудовище!

— Вы же знаете, что она просила у него, как милости, смерти от его руки. Неужели, по-вашему, Отелло тоже чудовище?

— Большая разница! Он ревновал, а Сампьеро действовал из одного тщеславия.

— А ревность, разве это не то же тщеславие? Это — тщеславие из-за любви; быть может, вы извиняете ее ради этой причины?

Мисс Лидия бросила на него исполненный достоинства взгляд и, обратясь к матросу, спросила его, когда галиот придет в порт.

— Послезавтра, если ветер не перестанет,— сказал он.

— Мне хотелось бы уже видеть Аяччо; это судно мне надоело.

Она встала, взяла под руку горничную и прошла несколько шагов по палубе. Орсо остался стоять у руля, не зная, провожать ли ее или прекратить этот разговор, который, казалось, сделался ей несносным.

— Хорошенькая девушка, клянусь кровью мадонны! — сказал матрос.— Если бы на моей койке все блохи были такие, как она, то я не жаловался бы, что они кусаются!

Мисс Лидия, может быть, услышала эту наивную похвалу своей красоте и рассердилась на нее, потому что она почти тотчас же сошла в свою каюту. Скоро ушел и Орсо. Как только он скрылся с палубы, вышла горничная и подвергла моряка допросу, после которого сообщила своей барышне следующее: *ballata,* прерванная появлением Орсо, была сочинена на смерть его отца, полковника делла Реббиа, убитого два года тому

назад. Матрос не сомневался, что Орсо возвращается на Корсику, как он выразился, *чтобы сделать вендетту*, и утверждал, что скоро в местечке Пьетранера увидят сырое мясо. В переводе это народное выражение значило, что синьор Орсо предполагал убить двоих или троих, подозреваемых в умерщвлении его отца, которые, правда, находились по этому делу под следствием, но потом были обелены, потому что судьи, адвокаты, префект и жандармы держали их руку.

— На Корсике нет суда,— прибавил матрос,— и, по-моему, доброе ружье стоит дороже советника королевского суда. Когда есть враг, то нужно выбирать между тремя *S* [1].

Эти любопытные разъяснения значительно изменили отношение мисс Лидии к поручику делла Реббиа. В глазах романтической англичанки он стал с этого времени человеком, достойным внимания. Теперь этот беззаботный вид, этот развязный тон и хорошее расположение духа, сначала поселившие в ней предубеждение, сделались в ее глазах достоинствами, потому что показывали глубокую скрытность энергичной души, не дающей проникнуть наружу ни одному из своих чувств. Орсо показался ей чем-то вроде Фьеско, скрывающего под внешним легкомыслием обширные планы; и хотя убить нескольких негодяев далеко не столь доблестный поступок, как освободить родную страну, но все-таки прекрасная месть прекрасна; кроме того, женщины любят, когда герой не политик. Только теперь мисс Лидия заметила, что у молодого поручика большие глаза, белые зубы, изящный стан, что он хорошо воспитан и привык к хорошему обществу. На другой день она много говорила с ним, и этот разговор ее занимал. Она много расспрашивала его о его родной стране; он интересно рассказывал о ней. Корсика, которую он оставил мальчиком, чтобы поступить сперва в училище, а потом в военную школу, осталась в его памяти окруженною поэтическим ореолом. Он воодушевлялся, говоря о ее горах, лесах, об оригинальных обычаях ее жителей. Как и следовало ожидать, мщение не раз являлось в его рассказах, потому что невозможно говорить о корсиканцах, не нападая на их страсть, вошедшую в пословицу, или не оправдывая ее. Орсо несколько удивил мисс Невиль, в общем осуждая бесконечные распри своих земляков. Он оправдывал, однако, крестьян, говоря, что вендетта есть дуэль бедных.

---

[1] Народное выражение: три *S* — это значит: *schiopetto, stiletto, strada,* то есть ружье, стилет, бегство.

— Это в самом деле дуэль,— говорил он,— люди убивают друг друга только после вызова, сделанного по правилам. «Берегись, я берегусь»,— такими словами обмениваются враги, прежде чем начать устраивать друг другу засады. У нас не больше убийств, чем везде; но вы никогда не найдете неблагородного повода к такому преступлению. У нас, это правда, много убийц, но нет ни одного вора.

Когда он говорил о мщении и убийстве, мисс Лидия внимательно смотрела на него, но не могла найти на его лице ни малейшего следа волнения. Так как она решила, что он достаточно обладал силой духа, чтобы не дать никому проникнуть в свои мысли,— конечно, никому, кроме нее,— то она продолжала твердо верить, что тень полковника делла Реббиа недолго будет ждать желанного удовлетворения.

Галиот был уже в виду Корсики. Хозяин судна называл достопримечательные места на побережье, и хотя все они были совершенно незнакомы мисс Лидии, ей доставляло некоторое удовольствие узнавать их названия. Нет ничего скучнее безыменного пейзажа. Иногда в зрительную трубу полковника был виден какой-нибудь островитянин, одетый в коричневый плащ, с длинным ружьем, скачущий по крутым склонам верхом на маленькой лошадке. Мисс Лидия в каждом видела бандита или, вернее, сына, спешащего мстить за смерть отца; но Орсо уверял, что это какой-нибудь житель соседнего местечка, едущий по своим делам, что ружье он возит с собою не столько по необходимости, сколько из щегольства и подчинения моде, точно так, как денди не выходит без изящной трости. Хотя ружье есть оружие менее благородное и поэтическое, чем стилет, но все-таки мисс Лидия находила, что мужчине оно идет больше, чем трость, и вспоминала, что все герои лорда Байрона умирают от пули, а не от классического кинжала.

После трехдневного плавания перед глазами наших путешественников развернулась великолепная панорама залива Аяччо. Справедливо сравнивают ее с видом Неаполитанского залива. А в то время, когда галиот входил в порт, горевший *маки,* окутывая дымом *Punta di Girato,* напоминал Везувий и усиливал сходство с заливом. Недоставало только, чтобы полчища Аттилы опустошили окрестности Неаполя, потому что вокруг Аяччо все мертво и пустынно. Вместо изящных зданий, открывающихся со всех сторон от Кастелламаре до мыса Мизены, вокруг залива Аяччо видны только мрачные *маки* да позади них лысые горы. Ни одной виллы, ни одного жилья.

Лишь кое-где, на окружающих город высотах, белая постройка выделяется на зеленом фоне: это надгробные часовни, фамильные склепы. Все в этом пейзаже полно торжественной и печальной красоты.

Вид города, особенно в те времена, еще усиливал впечатление, произведенное пустынностью его окрестностей. На улицах нет никакого движения; встречаются немногие, и все одни и те же, праздные фигуры. Ни одной женщины, кроме нескольких крестьянок, привезших на продажу съестные припасы. Не слышно громкого говора, пения, смеха, как в итальянских городах. Иногда на бульваре под тенью дерева кучка вооруженных крестьян играет в карты; некоторые смотрят на игру. Они никогда не кричат, не спорят; если страсти разгорятся, то раздаются пистолетные выстрелы, которые всегда предшествуют угрозам. Корсиканец от природы важен и молчалив. Вечером появляется несколько желающих подышать свежим воздухом, но прогуливаются почти только одни иностранцы. Островитяне остаются у своих дверей; каждый настороже, как сокол на своем гнезде.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Побывав в комнате, где родился Наполеон, и достав себе более или менее безгрешными средствами клочок от обоев из этой комнаты, мисс Лидия на другой день после приезда на Корсику почувствовала себя в самом печальном настроении духа, как и должно быть со всяким чужеземцем, приехавшим в страну, необщительность жителей которой как будто осуждает его на полное одиночество. Она пожалела о своей затее, но уехать сейчас же значило уронить свою репутацию неустрашимой путешественницы, и мисс Лидия решилась терпеть и как можно лучше убивать время. Утвердившись в этом благородном решении, она вынула карандаши и краски, набросала виды залива и сделала портрет загорелого мужика, продававшего дыни, как огородник на континенте, но имевшего белую бороду и вид самого свирепого негодяя в мире. Так как все это не могло развлечь ее, то она решилась вскружить голову потомку капралов, а сделать это было нетрудно, потому что Орсо совсем не торопился ехать в свою деревню и, казалось, с большим удовольствием оставался в Аяччо, несмотря на то, что ни с кем здесь не встречался. Кроме того, мисс

Лидия задалась благородной целью, а именно: цивилизовать этого дикаря и заставить его отказаться от мрачных намерений, которые привели его на родной остров. С тех пор, как она узнала его ближе, она решила, что было бы жаль пустить этого молодого человека навстречу гибели и что для нее было бы делом чести обратить корсиканца на путь истинный.

Дни проходили у наших путешественников следующим образом: утром полковник и Орсо шли на охоту; мисс Лидия рисовала или писала подругам, для того чтобы иметь возможность помечать письма «Аяччо». К шести часам мужчины возвращались, обремененные дичью; обедали, мисс Лидия пела, полковник засыпал, а молодые люди разговаривали до поздней ночи.

Какая-то формальность относительно паспорта принудила полковника Невиля сделать визит префекту. Страшно скучавший, как и большинство его сослуживцев, префект был в восторге, узнав о приезде англичанина, богача, светского человека и отца хорошенькой дочери. Он прекрасно принял его, осыпал предложениями услуг и очень скоро отдал ему визит. Полковник, только что выйдя из-за стола, удобно растянулся на софе и уже почти засыпал; дочь его пела у раскрытого фортепьяно; Орсо переворачивал ей ноты и смотрел на плечи и белокурые волосы певицы. Доложили о г-не префекте; фортепьяно смолкло, полковник встал, протер себе глаза и представил префекта дочери.

— Я не представляю вам господина делла Реббиа,— сказал он префекту,— потому что вы, без сомнения, знаете его.

— Вы сын полковника делла Реббиа? — спросил префект с несколько смущенным видом.

— Да, господин префект,— ответил Орсо.

— Я имел честь быть знакомым с вашим батюшкой.

Общие места разговора скоро истощились. Полковник не мог удержать зевоту; Орсо в качестве либерала не хотел говорить с представителем власти. Мисс Лидия старалась поддержать разговор. Префект ей в этом помогал и, очевидно, находил большое удовольствие в разговоре о Париже и о свете с женщиной, знакомой со всей европейскою знатью. Говоря, он от времени до времени со странным любопытством взглядывал на Орсо.

— Вы познакомились с господином Реббиа на континенте? — спросил он мисс Лидию.

Мисс Лидия несколько смущенно ответила, что они познакомились на галиоте, на котором приехали на Корсику.

— Вполне порядочный молодой человек,— заметил префект вполголоса.— А сказал он вам,— продолжал он еще тише,— с каким намерением он возвращается на Корсику?

Мисс Лидия приняла величественный вид.

— Я не спрашивала его об этом, можете спросить его сами.

Префект помолчал, но минуту спустя, слыша, что Орсо сказал полковнику несколько слов по-английски, он обратился к нему:

— Вы, как кажется, много путешествовали. Вы должны были забыть Корсику... и ее обычаи.

— Правда, я оставил ее еще очень молодым.

— Вы все еще служите в армии?

— Я на половинном жалованье, господин префект.

— Вы так долго были во французской армии, что — я не сомневаюсь в этом — сделались совершенным французом.

Напомнить корсиканцу, что он принадлежит к великой нации, вовсе не значит особенно польстить ему. Корсиканцы хотят быть особым народом и так хорошо оправдывают это притязание, что с ними нельзя не согласиться. Немного уязвленный, Орсо ответил:

— Вы думаете, господин префект, что корсиканцу, чтобы сделаться порядочным человеком, необходимо служить во французской армии?

— Конечно, нет,— сказал префект,— я этого нисколько не думаю; я говорю только о некоторых *обычаях* этой страны, из которых иные совершенно нежелательно было бы видеть администратору.

Он сделал ударение на слове «обычаях» и принял самое важное выражение, на какое только была способна его физиономия. Вскоре он поднялся и ушел, взяв с мисс Лидии обещание навестить его жену в префектуре.

— Надо мне было ехать на Корсику, чтобы узнать, что такое префект! — сказала мисс Лидия, когда он вышел.— Впрочем, он показался мне довольно любезным.

— Что касается до меня, то я не могу сказать того же,— заметил Орсо.— Мне он кажется очень странным, вид у него надутый и таинственный.

Полковник заснул; мисс Лидия мельком взглянула на него и сказала, понизив голос:

— А я нахожу, что он вовсе не так таинствен, как вы думаете; мне кажется, я поняла его.

— Вы очень прозорливы, мисс Невиль; и если вы видите какой-нибудь смысл в словах, которые он только что сказал, то вы, наверно, сами вложили его в них.

— Эта фраза достойна маркиза Маскариля, господин делла Реббиа; но... хотите, я дам вам доказательство моей проницательности? Я немножко колдунья и знаю, что́ думают люди, хотя видела их всего раза два.

— Боже мой, вы пугаете меня! Если вы умеете читать чужие мысли, я не знаю, радоваться мне этому или печалиться...

— Господин делла Реббиа! — продолжала мисс Лидия, краснея.— Мы знаем друг друга всего несколько дней; но на море и в дикой стране — я надеюсь, вы извините меня...— в дикой стране люди сходятся скорее, чем в свете. Поэтому не удивляйтесь, если я стану говорить с вами, как друг, о довольно интимных вещах, которых, может быть, не должен бы касаться посторонний.

— О, не говорите этого слова, мисс Невиль! Другое нравится мне гораздо больше.

— Итак, я должна сказать вам, что, не стараясь узнать вашу тайну, я узнала о ней кое-что, что́ меня огорчает. Я знаю горе, постигшее ваше семейство; мне много говорили о мстительном характере ваших земляков и их манере мстить... Не на это ли намекал префект?

— Мисс Лидия, можете ли вы думать!..— И Орсо побледнел, как мертвец.

— Нет,— перебила она его,— я знаю, что вы человек чести. Вы сами сказали мне, что в вашей стране только простой народ применяет вендетту... которую вам было угодно назвать формой дуэли.

— Вы думаете, я способен стать убийцей?

— Из того, что я говорю с вами об этом, вы должны заключить, что я не сомневаюсь в вас. Если я об этом говорю,— продолжала она, опустив глаза,— то это потому, что я понимаю, что, вернувшись на родину, окруженный, может быть, варварскими предрассудками, вы... вам отрадно будет сознавать, что есть существо, уважающее вас за твердость в сопротивлении им. Но будет говорить об этих скверных вещах,— сказала она, вставая.— От них у меня болит голова, да и поздно. Вы не сердитесь на меня? Покойной ночи, по-английски.

И она протянула ему руку.

Орсо пожал ее с серьезным и растроганным видом.

— Мисс Лидия,— сказал он,— знаете ли, что есть минуты, когда во мне пробуждаются инстинкты родной страны? Иногда, когда я думаю о своем бедном отце, меня преследуют ужасные мысли. Благодаря вам я навсегда освободился от них. Благодарю вас, благодарю.

Он хотел продолжать, но мисс Лидия уронила чайную ложку, и звон ее разбудил полковника.

— Делла Реббиа, завтра в пять часов на охоту. Будьте точны.

— Хорошо, полковник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На другой день, незадолго до возвращения охотников, подходя к гостинице после прогулки со своей горничной по морскому берегу, мисс Невиль заметила въезжавшую в город молодую женщину в черном, верхом на маленькой, но ретивой лошадке, в сопровождении кого-то, вроде крестьянина, тоже верхом, одетого в куртку из коричневого сукна с разодранными локтями, с тыквенной кубышкой на перевязи, с пистолетом, висевшим у пояса, с ружьем в руках, конец ложа которого помещался в кожаном кармане, приделанном к луке седла, словом, в полном костюме разбойника из мелодрамы или корсиканского обывателя в дороге. Внимание мисс Невиль прежде всего привлекла к себе замечательная красота женщины. Ей было на вид лет двадцать. Она была высокого роста, бела лицом; у нее были темно-голубые глаза, розовые губы, зубы будто из эмали. В выражении ее лица можно было разом прочесть гордость, беспокойство и печаль. На голове у нее был надет *mezzaro,* вуаль, введенная на Корсике генуэзцами и очень идущая женщинам. Длинные каштановые косы обвивали ей голову, как тюрбан. Одета она была чисто, но в высшей степени просто.

Мисс Лидия уже успела рассмотреть женщину в *mezzaro,* когда та остановилась спросить у прохожего о чем-то, судя по выражению ее глаз, очень ее интересовавшем; получив ответ, она ударила лошадь хлыстом и поехала крупной рысью. Она остановилась у дверей гостиницы, где жили сэр Томас Невиль и Орсо. Здесь, обменявшись несколькими словами с хозяином, молодая женщина ловко соскочила с лошади и уселась на каменной скамье около входной двери, а ее конюх повел лошадей на конюшню. Мисс Лидия в своем парижском костюме

прошла мимо незнакомки, но та даже не подняла глаз. Открыв через четверть часа свое окно, мисс Лидия увидела ее сидящей на том же месте и в том же положении. Скоро показались возвращавшиеся с охоты полковник и Орсо. Тогда хозяин сказал незнакомке в трауре несколько слов и показал ей пальцем на молодого делла Реббиа. Она покраснела, быстро поднялась, сделала несколько шагов и остановилась как бы в смущении. Он с любопытством на нее глядел.

— Вы Орсо Антонио делла Реббиа? — спросила она взволнованно.— Я Коломба.

— Коломба! — воскликнул Орсо.

И он обнял ее и нежно поцеловал, что немного удивило полковника с дочерью, потому что в Англии не целуются на улице.

— Брат, простите меня за то, что я приехала без вашего приказания, но я узнала от наших друзей, что вы уже здесь, а для меня такая радость видеть вас...

Орсо поцеловал ее еще раз; потом, обратясь к полковнику, сказал:

— Это моя сестра. Я ни за что не узнал бы ее, если бы она не назвала себя... Коломба, полковник сэр Томас Невиль... Полковник, прошу вас извинить меня, но сегодня я не могу обедать с вами. Сестра...

— А, черт возьми! Где же вы будете обедать? — воскликнул полковник.— Вы очень хорошо знаете, что в этом проклятом трактире всего один обед, и тот наш. Мадемуазель доставит моей дочери большое удовольствие, если согласится присоединиться к нам.

Коломба посмотрела на брата, тот не заставил долго просить себя, и все вместе вошли в самую большую комнату гостиницы, служившую полковнику приемной и столовой. Мадемуазель делла Реббиа, представленная мисс Невиль, сделала ей низкий реверанс, но не сказала ни слова. Видно было, что она очень смущена и что ей, может быть, первый раз в жизни приходится быть в обществе иностранцев, да к тому же еще из высшего общества. Впрочем, в ее манерах не было ничего, напоминавшего провинцию; оригинальность искупала в ней неловкость. Она даже понравилась этим мисс Лидии, и так как в гостинице, которой завладел полковник со своей свитой, не было больше свободных комнат, то мисс Лидия простерла свою снисходительность или свое любопытство до того, что предложила постлать постель для мадемуазель делла Реббиа в своей собственной комнате.

Коломба пробормотала какую-то благодарность и поспешила за горничной мисс Невиль, чтобы немного привести в порядок свой туалет, что было необходимо после пыльной дороги в самую жару.

Войдя в зал, она остановилась перед ружьями полковника, которые охотники только что поставили в угол.

— Славные ружья,— сказала она.— Брат, это ваши?

— Нет, это английские ружья полковника. Они так же хороши, как и красивы.

— Мне очень хотелось бы, чтобы и у вас было такое.

— Из этих трех одно, разумеется, принадлежит делла Реббиа. Он превосходно владеет им! Сегодня, например, четырнадцать выстрелов — четырнадцать штук дичи.

Сейчас же началась борьба великодушия, в которой Орсо был побежден, к великому удовольствию его сестры, что можно было заметить по выражению детской радости, внезапно заблестевшей на ее за секунду до этого серьезном лице.

— Выбирайте, друг мой,— говорил полковник.

Орсо отказывался.

— Ну, так ваша сестра выберет за вас.

Коломба не заставила его повторять и взяла проще всех отделанное ружье: это было превосходное ружье Ментона, большого калибра.

— Наверно, хорошо бьет,— сказала она.

Брат не знал, как благодарить полковника; очень кстати подоспевший обед вывел его из затруднения. Мисс Лидия была в восторге, видя, что Коломба, которая оказала некоторое сопротивление, когда ее хотели посадить за стол, и уступила только после взгляда своего брата, как добрая католичка, перекрестилась перед обедом. «Хорошо,— сказала Лидия про себя,— вот первобытная натура». И она решила сделать побольше интересных наблюдений над этой молодой представительницей старых корсиканских нравов. Что касается Орсо, то он, очевидно, был не совсем в своей тарелке; без сомнения, он боялся, как бы его сестра не сказала или не сделала чего-нибудь отдающего деревней. Но Коломба постоянно взглядывала на него и все свои движения сообразовывала с движениями брата. Иногда она пристально смотрела на него с каким-то странным печальным выражением, и, если глаза Орсо встречались с ее глазами, он первый отводил их в сторону, как будто бы хотел избегнуть вопроса, который мысленно обращала к нему сестра и который он слишком хорошо понимал. Говорили по-французски, потому что полковник очень плохо изъ-

яснялся по-итальянски. Коломба понимала французский язык и даже недурно произносила те немногие слова, которыми она была вынуждена обмениваться со своими хозяевами.

После обеда полковник, заметивший какую-то принужденность между братом и сестрой, спросил со своей обычной откровенностью, не желает ли Орсо поговорить наедине с Коломбой, и вызвался перейти с дочерью в соседнюю комнату. Но Орсо поспешил поблагодарить его и сказал, что у них будет много времени для разговоров в Пьетранере. Так называлась деревня, где он должен был жить.

Полковник занял свое привычное место на софе, а мисс Невиль, перепробовав несколько тем для разговора и отчаявшись заставить разговориться прекрасную Коломбу, попросила Орсо прочесть ей какую-нибудь песнь из Данте: это был ее любимый поэт. Орсо выбрал ту песнь из *Ада*, где говорится о Франческо да Римини, и начал старательно декламировать эти изящные терцины, так ясно выражающие опасность читать вдвоем книгу о любви. По мере того как он читал, Коломба придвигалась к столу, поднимала свою склоненную голову; ее расширенные зрачки блестели необыкновенным огнем; она то бледнела, то краснела; ей не сиделось на месте. Прекрасная итальянская натура понимает поэзию, не нуждаясь в каком-нибудь педанте, который указывал бы на ее красоты.

— Как хорошо! — воскликнула она, когда чтение кончилось.— Брат, кто это написал?

Орсо несколько смутился, а мисс Лидия ответила, улыбаясь, что написал это один флорентийский поэт, умерший много веков назад.

— Я дам тебе читать Данте, когда мы будем в Пьетранере,— сказал Орсо.

— Боже мой, как это хорошо! — повторяла Коломба.

И она сказала три или четыре удержанные ею в памяти терцины сначала потихоньку, а потом, воодушевясь, продекламировала их громко и с бо́льшим выражением, чем то, какое вложил в них, читая, ее брат.

— Вы, кажется, очень любите поэзию,— сказала удивленная мисс Лидия.— Как я завидую вам! Вы будете читать Данте, как новую книгу.

— Видите, мисс Невиль, какою силою обладают стихи Данте! — сказал Орсо.— Они волнуют даже дикарку, знающую только свое «Отче наш»... Но я ошибаюсь. Мне помнится, что Коломба знаток в этом деле. Еще совсем ребенком она зани-

малась стихотворством, и отец писал мне, что она величайшая *voceratrice* в Пьетранере и на две мили кругом.

Коломба умоляющими глазами посмотрела на брата. Мисс Невиль слышала о корсиканских импровизаторшах и умирала от желания послушать одну из них. Поэтому она начала усердно просить Коломбу показать ей образец своего таланта. Орсо вступился, досадуя на себя, зачем вспомнил о поэтическом таланте сестры. Он клялся, что нет ничего проще, чем корсиканская *ballata,* уверял, что слушать корсиканские стихи после Данте — значит изменять своей стране, и только раздразнил каприз мисс Невиль, так что наконец принужден был обратиться к сестре:

— Ну, хорошо, скажи что-нибудь, но только покороче.

Коломба вздохнула, с минуту внимательно смотрела на скатерть, покрывавшую стол, потом на балки потолка; наконец, закрыв рукой глаза, как те птицы, которые успокаиваются и думают, что их никто не видит, когда они сами ничего не видят, она запела неуверенным голосом следующую *serenata:*

«Девушка и горлинка

В долине, далеко за горами, солнце светит только час в день. В той долине есть мрачный дом, и трава растет на его пороге. Двери, окна всегда заперты. Дым не идет из трубы. Но в полдень, когда туда заглядывает солнце, отворяется окно, и девушка-сиротка прядет на прялке. Она прядет и поет за работой печальную песню. Однажды в весенний день горлинка села на соседнее дерево и слушала пение молодой девушки. «Молодая девушка,— сказала она,— ты не одна плачешь. Жестокий ястреб унес у меня друга».— «Горлинка, покажи мне, где ястреб-похититель; если б он даже был под облаками, я сейчас же свалю его на землю. Но мне, бедной, кто мне отдаст моего брата? Мой брат теперь в далекой стране».— «Молодая девушка, скажи мне, где твой брат, и мои крылья снесут меня к нему».

— Вот благовоспитанная горлинка,— воскликнул Орсо, целуя сестру в волнении, противоречившем его деланно шутливому тону.

— Ваша песня прелестна,— сказала мисс Лидия,— мне хочется, чтобы вы написали ее мне в альбом. Я переведу ее на английский язык и положу на музыку.

Храбрый полковник, не понявший ни слова, к комплиментам дочери присоединил и свои. Потом он прибавил:

— Горлинка, о которой вы говорите, мадемуазель Коломба, это та самая птица, которую мы сегодня ели?

Мисс Невиль принесла свой альбом и была немало удивлена, видя, как странно экономит бумагу импровизаторша, записывая свою песню. Стихи, вместо того чтобы стоять отдельными строчками, шли один за другим во всю ширину листа, не соответствуя известному определению поэтического произведения: «Коротенькие строчки неравной длины с пустыми местами с каждой стороны». Сверх того, можно было сделать несколько замечаний по поводу немного капризного правописания Коломбы, которое не раз заставило улыбнуться мисс Невиль и было пыткой для братского тщеславия Орсо.

Когда наступило время сна, молодые девушки пошли в свою комнату. Там, снимая колье, серьги и браслеты, мисс Лидия заметила, что ее подруга вынула из платья что-то длинное вроде корсетной пластинки, но совсем иной формы. Коломба заботливо и почти украдкой положила это что-то под свой *mezzaro*; потом она стала на колени и начала набожно молиться. Через две минуты она была в постели. Очень любопытная от природы и медленно раздевавшаяся, как все англичанки, мисс Лидия подошла к столу и, притворясь, будто ищет булавку, подняла *mezzaro* и увидела довольно длинный стилет в затейливой оправе из серебра с перламутром; он был замечательной работы, и любитель дорого бы дал за такое старинное оружие.

— Разве здесь есть обычай у девушек носить в корсете это маленькое оружие? — спросила мисс Невиль с улыбкой.

— Это необходимо,— ответила, вздыхая, Коломба.— На свете столько злых людей!

— А хватило бы у вас в самом деле духу нанести вот этакий удар?

И мисс Невиль сделала вид, что наносит удар стилетом сверху вниз, как на сцене.

— Да, если бы это понадобилось, чтобы защитить себя или друзей...— сказала Коломба своим нежным и музыкальным голосом.— Но вы не так его держите; вы можете ранить себя, если тот, кого вы хотите ударить, отступит. Посмотрите, вот как,— сказала она и, приподнявшись, показала, как надо бить.— Говорят, такой удар смертелен. Счастливые люди, кому не нужно такое оружие!

Она вздохнула, опустила голову на подушку и закрыла глаза. Невозможно представить себе более благородную, более невинную головку. Фидий для своей Афины-Паллады не пожелал бы лучшей модели.

По правилу Горация, я сразу приступил *in medias res*[1]. Пока все спит, пока спит и прекрасная Коломба, и полковник, и его дочь, я воспользуюсь этим временем и расскажу читателю о некоторых частностях, которые он должен знать, если хочет как следует вникнуть в эту правдивую историю. Читатель уже знает, что полковник делла Реббиа, отец Орсо, был убит. На Корсике убивает не какой-нибудь каторжник, который не нашел лучшего средства утащить ваше серебро, как это водится во Франции, а убивают враги; но сказать, почему у человека есть враги, часто бывает очень трудно. Многие семейства ненавидят друг друга по старой привычке, а предание о первоначальной причине их ненависти совершенно исчезло.

Род, к которому принадлежал полковник делла Реббиа, враждовал со многими другими родами, но особенно с семьей Барричини; некоторые говорили, что в XVI веке один делла Реббиа соблазнил одну Барричини и потом был заколот родственником оскорбленной девицы. Правда, другие рассказывали, что дело было иначе, что соблазнили одну делла Реббиа, а закололи одного Барричини. Словом, между двумя домами, как говорится, *была кровь*. Однако, вопреки обычаю, это убийство не повлекло за собой других убийств, потому что генуэзское правительство одинаково преследовало и делла Реббиа и Барричини. Молодые люди из обоих семейств находились в изгнании, поэтому и оба рода в течение многих поколений были лишены своих энергических представителей.

В конце прошлого века один делла Реббиа, офицер неаполитанской службы, поссорился в игорном доме с военными, которые между прочими оскорблениями назвали его корсиканским козопасом; он выхватил шпагу, но так как он был один, а их трое, то ему пришлось бы плохо, если бы какой-то иностранец, тоже игравший в этом доме, не стал на его сторону, закричав: «Я тоже корсиканец!» Этот иностранец был один из Барричини, не знавший своего земляка. При объяснении с обеих сторон было сказано множество любезностей и дано клятв в вечной дружбе; на континенте корсиканцы сходятся легко, совершенно не так, как на своем острове. Это оправдалось и в данном случае: делла Реббиа и Барричини были задушевными друзьями, пока жили в Италии, но, вернувшись на Корсику, они стали видеться редко, хотя и жили в одной

[1] К делу *(лат.)*.

деревне, а когда они умерли, то ходили толки, что они не здоровались, по крайней мере, пять или шесть лет до своей смерти. Их сыновья жили точно так же, *по этикету,* как говорят на острове. Один, Гильфуччо, отец Орсо, был военным; другой, Джудиче Барричини,— адвокатом. Когда они оба сделались отцами семейств, то, разлученные своими профессиями, почти не имели случая видеться или слышать что-нибудь друг о друге.

Однако в 1809 году Джудиче, прочтя в бастийской газете, что капитан Гильфуччо получил орден, сказал при свидетелях, что он вовсе не удивляется этому, потому что генерал *** покровительствует семейству делла Реббиа. Эти слова были переданы в Вену Гильфуччо, и тот сказал одному земляку, что, вернувшись на Корсику, он, наверно, застанет Джудиче богатым, потому что он выручает больше денег за проигранные, чем за выигранные дела. Неизвестно, хотел ли он намекнуть на то, что адвокат изменял своим клиентам, или просто повторил ходячую истину, что дурное дело приносит законнику больше выгоды, чем хорошее. Как бы то ни было, адвокат узнал об остроте и не забыл ее. В 1812 году он начал хлопотать о месте мэра в своей общине и совсем уже надеялся получить его, как вдруг генерал *** написал префекту, рекомендуя ему родственника жены Гильфуччо; префект поспешил исполнить желание генерала, и Барричини нисколько не сомневался, что обязан своей неудачей интригам Гильфуччо.

После падения императора в 1814 году любимец генерала был обвинен по доносу в бонапартизме, и его заменил Барричини. Последний, в свою очередь, был отрешен во время Ста дней, но после этой бури снова торжественно вступил во владение печатью мэра и метрическими книгами.

С этих пор звезда его счастья заблестела ярче, чем когда-нибудь. Полковник делла Реббиа, уволенный с половинным окладом и приехавший в Пьетранеру, должен был выдерживать глухую борьбу, состоявшую из бесконечных кляуз; то его требовали в суд по делу о потраве, сделанной его лошадью у господина мэра; то мэр под предлогом починки церковного пола приказывал снять разбитую плиту с гербом делла Реббиа на могиле у одного из членов этого рода. Если козы поедали у полковника всходы, хозяева их находили у мэра защиту; лавочник, содержащий в Пьетранере почтовую контору, и полевой сторож, старый изувеченный солдат,— оба клиенты делла Реббиа,— один за другим были прогнаны и заменены креатурами Барричини.

Жена полковника умерла, выразив желание быть похороненной в том лесу, где она любила прогуливаться; мэр тотчас же объявил, что она должна быть погребена на общественном кладбище, так как он не уполномочен разрешить похоронить ее где-нибудь в другом месте. Взбешенный полковник объявил, что в ожидании этого полномочия он похоронит жену в том месте, которое она выбрала, и приказал вырыть там могилу. Со своей стороны, и мэр приказал вырыть могилу на кладбище и потребовал жандармов затем, как говорил он, чтобы сила осталась на стороне закона. В день похорон явились обе партии, и одно время можно было опасаться, как бы не начался бой из-за останков г-жи делла Реббиа. Полсотни хорошо вооруженных крестьян, приведенных родными покойной, заставили священника, выйдя из церкви, пойти по дороге к лесу; с другой стороны, мэр со своими двумя сыновьями, со своими клиентами и жандармами явился, чтобы оказать противодействие. Когда он приказал похоронному шествию отступить, в ответ раздались свистки и угрозы; численный перевес был на стороне его противников, и они, казалось, решились защищаться.

При виде мэра многие взвели курки своих ружей, и говорят даже, что один пастух уже прицелился в него, но полковник отвел ружье и сказал: «Не сметь стрелять без моего приказания!» Мэр «от природы боялся побоев», как Панург, и, не дав сражения, отступил со своим конвоем; тогда печальное шествие тронулось и выбрало самую длинную дорогу, чтобы пройти перед мэрией. Какой-то идиот, примкнув к шествию, вздумал кричать: «Да здравствует император!» Ему ответили два или три голоса, и реббианисты, воодушевляясь все более и более, предложили убить принадлежащего мэру быка, который случайно загородил им дорогу. К счастью, полковник помешал совершить такую жестокость.

Всякий легко догадается, что был составлен протокол и что мэр послал префекту донесение, написанное самым высоким слогом; в нем он изображал божественный и человеческий закон попранным, достоинство его, мэра, и священника — непризнанным и поруганным, полковника делла Реббиа — ставшим во главе бонапартистского заговора, имевшего целью изменить порядок престолонаследия и возбудить между гражданами вооруженное столкновение: преступления, предусмотренные 86-й и 91-й статьями уголовного кодекса.

Преувеличенность этой жалобы повредила ее действию. Полковник написал префекту, королевскому прокурору; один

из родственников его жены приходился родней одному из депутатов острова, другой был кузеном председателя судебной палаты. Благодаря этим связям обвинение в заговоре отпало; г-жа делла Реббиа осталась в лесу, а идиот был приговорен к двухнедельному тюремному заключению.

Адвокат Барричини, не удовлетворенный исходом этого дела, повернул свои батареи в другую сторону. Он откопал какой-то старый документ и на основании его начал оспаривать у полковника право на владение ручьем, приводившим в движение мельницу. Начался длинный процесс. В конце года палата уже была готова произнести свой приговор и, по всем признакам, в пользу полковника, как вдруг Барричини вручил королевскому прокурору письмо за подписью некоего Агостини, знаменитого бандита, который грозил ему, мэру, пожаром и смертью, если он не откажется от своих претензий. Известно, что на Корсике очень многие добиваются покровительства кого-нибудь из бандитов и что бандиты, чтобы угодить своим друзьям, нередко вмешиваются в частные распри. Мэр старался извлечь из этого письма пользу; в это время новое обстоятельство усложнило дело. Бандит Агостини написал королевскому прокурору письмо, в котором жаловался на то, что подделали его почерк и тем набросили тень на его нравственные качества, ославив его человеком, торгующим своим влиянием. «Если я найду подделывателя, то примерно накажу его»,— так кончал он свое письмо.

Было ясно, что Агостини не писал угрожающего письма мэру. Тогда делла Реббиа обвинили в подлоге Барричини и *vice versa* [1]. Обе стороны разражались угрозами, и правосудие не знало, где найти виновных.

Тем временем полковник Гильфуччо был убит. Вот факты в том виде, как они были установлены следствием. 2 августа 18** года, под вечер, женщина по имени Маддалена Пьетри, несшая в Пьетранеру пшеницу, услышала два выстрела, быстро следовавшие один за другим и раздавшиеся, как ей показалось, у дороги, ведущей в деревню, шагах в полутораста от того места, где она находилась. Почти тотчас же после этого она увидела человека, бежавшего, согнувшись, по тропинке между виноградниками к деревне. Этот человек на мгновение остановился и обернулся, но расстояние не позволило Пьетри различить его черты, а кроме того, он держал во рту виноградный лист, закрывавший ему почти все лицо. Он сделал знак

[1] Наоборот *(лат.)*.

рукой товарищу, которого свидетельница не видела, и потом исчез в винограднике.

Пьетри, оставив свою ношу, взбежала по тропинке и нашла полковника делла Реббиа плававшим в крови, простреленным двумя пулями, но еще дышавшим. Возле него лежало ружье, заряженное и со взведенным курком: казалось, что он хотел защищаться от кого-то, напавшего на него спереди, а в это мгновение другой поразил его в спину. Он хрипел и боролся со смертью, но не мог выговорить ни слова; врачи объяснили это тем, что у него были ранены легкие. Кровь душила его; она текла медленно и была похожа на алую пену. Напрасно Пьетри приподняла его и начала расспрашивать. Видно было, что он хотел говорить, но не мог произнести ни слова. Заметив, что он старается поднести руку к карману, женщина поспешила вынуть оттуда маленькую записную книжку и, открыв ее, подала ему. Раненый вытащил из книжки карандаш и попытался что-то написать. Свидетельница ясно видела, что он с трудом написал что-то, но так как она не умела читать, то и не могла понять, что там написано. Устав от напряжения, полковник вложил книжку в руку Пьетри и сильно сжал эту руку, смотря на женщину со странным выражением, как будто бы он хотел сказать ей (таковы подлинные слова свидетельницы): «Это очень важно, это имя моего убийцы!»

У деревни Пьетри встретила г-на мэра Барричини с сыном Винчентелло. Пьетри рассказала им о том, что видела. Мэр взял книжку и побежал в мэрию надеть шарф и позвать секретаря и жандармов. Оставшись одна с Винчентелло, Маддалена Пьетри предложила ему пойти помочь полковнику на случай, если он еще жив, но Винчентелло ответил, что если он приблизится к человеку, который был лютым врагом его семейства, то его непременно обвинят в убийстве. Скоро пришел мэр, нашел полковника мертвым, приказал убрать труп и составил протокол.

Несмотря на свое, естественное в подобном случае смущение, г-н Барричини поспешил опечатать книжку полковника и принять все зависевшие от него меры для расследования дела, но ни одна из них не привела к какому-нибудь важному открытию. Когда приехал следователь, распечатали записную книжку и на окровавленной странице увидели несколько букв, написанных слабеющей рукой, однако довольно разборчиво. Написано было *Agosti...*, и следователь не сомневался, что полковник хотел указать на Агостини как на своего убийцу. Между тем вызванная судьей Коломба делла Реббиа попро-

сила посмотреть записную книжку. Она долго перелистывала ее и наконец, протянув руку к мэру, закричала: «Вот убийца!» И с удивительными при ее отчаянии точностью и ясностью она рассказала, что ее отец несколько дней тому назад получил письмо от сына и сжег его, но перед этим он записал карандашом в своей записной книжке адрес Орсо, который только что перешел в другой гарнизон. Этого адреса теперь в книжке не было, и Коломба заключила из этого, что мэр вырвал листок, на котором он был написан и на котором ее отец написал имя своего убийцы; это имя, по словам Коломбы, мэр подменил именем Агостини. Следователь в самом деле увидел, что в той тетрадке, в которой было написано имя, не хватает одного листка, но скоро он заметил, что листков не хватает и в других тетрадках той же книжки, а свидетели показывали, что у полковника была привычка вырывать листки из своей книжки для закуривания сигары; весьма вероятно, что он сжег нечаянно и записанный им адрес. Кроме того, оказалось, что мэр, получив книжку от Пьетри, не мог ничего прочесть, так как было темно; было доказано, что он не останавливался ни на минуту, прежде чем вошел в мэрию, что жандармский бригадир вошел туда вместе с ним и видел, как он зажег лампу, положил книжку в конверт и запечатал у него на глазах.

Когда бригадир дал свое показание, Коломба вне себя бросилась перед ним на колени и заклинала его всем, что у него есть святого, сказать, не оставлял ли он на мгновение мэра одного. После некоторого колебания бригадир, видимо, тронутый возбуждением молодой девушки, признался, что он искал в соседней комнате большой лист бумаги, но что он не пробыл там и минуты и что мэр говорил с ним все время, пока он ощупью искал бумагу в выдвижном ящике. Впрочем, он засвидетельствовал, что когда он вернулся, то книжка была на том месте на столе, куда, входя, бросил ее мэр.

Господин Барричини давал показания совершенно спокойно. Он говорил, что извиняет увлечение синьоры делла Реббиа и соглашается снизойти до того, чтобы оправдываться. Он доказал, что целый вечер был в деревне, что его сын Винчентелло в момент преступления был вместе с ним подле мэрии, наконец, что его сын Орландуччо, заболевший в этот самый день лихорадкой, не вставал с постели. Он предъявил все ружья, бывшие в его доме: ни одно из них не носило следов недавнего выстрела. Он прибавил, что тотчас же понял важное значение записной книжки, что он запечатал ее и отдал своему

помощнику, предвидя, что за его вражду с полковником подозрение может пасть на него. Наконец, он напомнил, что Агостини угрожал смертью тому, кто написал письмо от его имени, и намекнул, что этот негодяй убил полковника, вероятно, заподозрив его. Такого рода месть вполне в нравах корсиканских бандитов.

Пять дней спустя после смерти полковника делла Реббиа Агостини, захваченный врасплох отрядом стрелков, после отчаянной схватки был убит. На нем нашли письмо Коломбы, которая заклинала его сказать, виновен он или нет в убийстве ее отца. Бандит не отвечал, и из этого заключили, что у него не хватило духу сказать дочери, что убил он. Однако люди, по их словам, хорошо знавшие характер Агостини, говорили потихоньку, что если бы он убил полковника, то стал бы хвастать этим. Другой бандит, известный под именем Брандолаччо, прислал Коломбе письмо, в котором он *своею честью* ручался за невиновность товарища, но единственным приводимым им доказательством было то, что Агостини никогда не говорил ему, что подозревает полковника.

В конце концов Барричини перестали беспокоить, следователь осыпал мэра похвалами, и мэр завершил свое прекрасное поведение отказом от всех притязаний на ручей, из-за которого он вел процесс с полковником делла Реббиа.

По местному обычаю, Коломба сымпровизировала *ballata* перед трупом отца и при собравшихся друзьях. Она вдохнула в нее всю свою ненависть к Барричини и прямо обвинила их в убийстве, грозя им местью своего брата. Это была та самая *ballata,* сделавшаяся очень популярной, которую пел матрос при мисс Лидии. Узнав о смерти отца, Орсо, бывший тогда на севере Франции, подал просьбу об отпуске, но не мог получить его. Сначала, по письму сестры, он поверил в виновность Барричини, но скоро получил копию со всех документов следствия, и частное письмо следователя почти убедило его, что единственным виновником был бандит Агостини. Целых три месяца Коломба писала ему, повторяя свои подозрения, называя их доказательствами. Против его воли эти обвинения волновали его корсиканскую кровь, и, случалось, он был почти готов согласиться с сестрой. Однако во всех своих письмах он повторял ей, что ее обвинения не имеют никаких веских доказательств и не заслуживают никакого доверия. Он даже запрещал ей говорить об этом деле, но тщетно. Так прошло два года; его перевели на половинное жалованье, и тогда он

подумал о возвращении на родину; он хотел вернуться не для того, чтобы мстить людям, которых он считал невиновными, а чтобы выдать замуж сестру и продать свое маленькое имение, если за него можно будет выручить сумму, достаточную для жизни на континенте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Оттого ли, что приезд сестры живее напомнил Орсо родной очаг, или оттого, что ему было стыдно в присутствии своих цивилизованных друзей за костюм и дикие манеры Коломбы, он объявил на другой день свое решение покинуть Аяччо и отправиться в Пьетранеру. Однако он взял с полковника обещание, когда тот поедет в Бастию, заехать погостить под его скромным кровом и в награду за это обещал ему охоту на ланей, фазанов, кабанов и прочее.

Накануне отъезда Орсо предложил, вместо того чтобы идти на охоту, прогуляться по берегу залива. Взяв под руку мисс Лидию, он мог разговаривать с нею совершенно свободно, потому что Коломба осталась в городе для покупок, а полковник постоянно оставлял их, чтобы стрелять чаек и глупышей, к великому удивлению прохожих, не понимавших, как можно тратить порох на такую дичь.

Они шли по дороге, ведущей к греческой церкви; оттуда самый лучший вид на залив, но они не обращали на него никакого внимания.

— Мисс Лидия,— сказал Орсо после утомительно долгого молчания,— скажите откровенно, что вы думаете о моей сестре?

— Она мне очень нравится,— отвечала мисс Лидия.— Больше, чем вы,— прибавила она, улыбаясь,— потому что она настоящая корсиканка, а вы чересчур цивилизованный дикарь.

— Цивилизованный!.. С тех пор, как я вступил на этот остров, я чувствую, что, против своей воли, снова становлюсь дикарем. Самые ужасные мысли волнуют и мучают меня... мне нужно поговорить с вами, прежде чем я заберусь в свою пустыню.

— Надо быть мужественнее; посмотрите, как покорна судьбе ваша сестра, и берите с нее пример.

— Ах, не обманывайте себя! Не верьте в ее покорность судьбе. Она не сказала мне еще ни слова, но в каждом ее взгляде я читаю, что меня ожидает.

— Чего же она хочет, наконец, от вас?

— О, ничего... только чтобы я попробовал, так же ли хорошо ходить с ружьем вашего батюшки на человека, как на куропаток!

— Что за мысль! И вы можете предположить это, когда вы только что признались, что она еще ничего не сказала вам? Но это ужасно с вашей стороны!

— Если бы она не думала о мести, она с самого начала стала бы говорить со мной об отце, чего она не сделала. Она произнесла бы имена тех, кого она считает — ошибочно, конечно,— его убийцами. Но ведь нет! Ни одного слова! Это, видите ли, оттого, что мы, корсиканцы, хитрый народ. Она понимает, что не вполне держит меня в своей власти, и не хочет спугнуть меня, пока я могу еще убежать. Но когда она подведет меня к пропасти и у меня закружится голова, она толкнет меня в бездну.

И Орсо рассказал мисс Невиль подробности смерти своего отца и познакомил ее с главными доказательствами, совокупность которых заставляла его считать убийцей Агостини.

— Ничто,— прибавил он,— не могло убедить Коломбу. Я видел это из ее последнего письма. Она поклялась отомстить Барричини и...— Мисс Невиль! Видите, как я откровенен с вами? — может быть, их уже не было бы на свете, если б вследствие одного из своих предрассудков, извинительных при ее диком воспитании, она не была убеждена, что исполнение мести принадлежит мне, как главе семьи, и что тут задета моя честь.

— Право, вы клевещете на свою сестру, господин делла Реббиа,— сказала мисс Невиль.

— Нет, вы сами сказали, что она корсиканка... Она думает, как они все... Знаете ли, отчего я был вчера так печален?

— Нет, но с некоторого времени на вас находят эти припадки меланхолии... Вы были лучше в первые дни нашего знакомства.

— Вчера, напротив, я был веселее и счастливее, чем обыкновенно. Я видел, что вы так добры, так снисходительны к сестре!.. Мы с полковником возвращались в лодке. Знаете ли, что сказал мне один из лодочников на своем адском наречии? «Вы набили много дичи, Орс Антон, но вы увидите, что Орландуччо Барричини — охотник получше вас».

— Что же ужасного в этих словах? Разве вы так уж стремитесь прослыть хорошим охотником?

— Но разве вы не понимаете, что этот негодяй говорил, что у меня не хватит храбрости убить Орландуччо?

— Знаете ли, господин делла Реббиа, вы пугаете меня. Кажется, воздух вашего острова не только приносит лихорадку, но и сводит с ума. Хорошо, что мы скоро уезжаем.

— Не раньше, чем вы побываете в Пьетранере. Вы обещали это сестре.

— И если мы не исполним этого обещания, то должны будем ждать какой-нибудь свирепой мести?

— Помните, что рассказывал как-то ваш батюшка об индусах, которые грозят директорам Компании уморить себя голодом, если те не поступят с ними по справедливости.

— То есть вы уморите себя голодом? Сомневаюсь. Вы не будете есть день, а потом мадемуазель Коломба даст вам такой аппетитный *bruccio* [1], что вы откажетесь от своего намерения.

— Вы жестоки в своих насмешках, мисс Невиль; вы должны были бы пощадить меня. Вы знаете, я здесь одинок. Только вы могли помешать мне сойти с ума, как вы говорите. Вы были моим ангелом-хранителем, а теперь...

— Теперь,— сказала мисс Лидия серьезным тоном,— чтобы поддержать этот ум, который так легко расстраивается, у вас есть человеческое достоинство, и ваша военная честь, и...— продолжала она, оборачиваясь, чтобы сорвать цветок,— если это может что-нибудь значить для вас, воспоминание о вашем ангеле-хранителе.

— Ах, мисс Невиль, смею ли я думать, что вы действительно относитесь с участием...

— Послушайте, господин делла Реббиа,— сказала растроганная мисс Невиль,— так как вы ребенок, то я и буду говорить с вами, как с ребенком. Когда я была маленькой девочкой, мать подарила мне хорошенькое ожерелье, которое мне страшно хотелось иметь, но сказала мне: «Всякий раз, как ты наденешь это ожерелье, вспомни, что ты еще не говоришь по-французски...» Ожерелье потеряло в моих глазах часть своей прелести. Оно стало для меня как бы упреком, но я носила его и выучилась по-французски. Видите это кольцо? Это египетский скарабей, найденный, если хотите знать, в пирамиде. Странная фигура, которую вы, может быть, принимаете за бутылку,— это *человеческая жизнь*. У нас на родине есть люди, которые нашли бы, что иероглиф подобран очень хорошо. Вот

---

[1] Род вареного сыра из сливок. Национальное корсиканское кушанье.

этот, следующий,— это щит с рукою, держащей копье. Это значит битва, борьба. А соединение двух знаков составляет прекрасный, по-моему, девиз: *жизнь есть борьба.* Не подумайте, что я сама бегло перевожу иероглифы; один ученый с фамилией на *ус* объяснил мне эти знаки. Возьмите, я дарю вам моего скарабея. Когда придет вам в голову какая-нибудь дурная корсиканская мысль, посмотрите на мой талисман и скажите себе, что нужно выйти победителем из боя с дурными страстями... Право, я недурно проповедую.

— Я подумаю о вас, мисс Невиль, и скажу себе...

— Скажите себе, что у вас есть друг, который будет в отчаянии, если... если узнает, что вы повешены. Кроме того, это очень огорчит господ капралов, ваших предков.

С этими словами она оставила руку Орсо и, подбежав к отцу, сказала:

— Папа, бросьте этих бедных птиц! Пойдемте лучше с нами помечтать в грот Наполеона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В отъезде всегда есть что-то торжественное, даже если люди покидают друг друга на короткое время. Орсо должен был отправиться со своей сестрой очень рано и попрощался с мисс Лидией накануне, так как не надеялся, что она ради него изменит своим ленивым привычкам. Их прощание было холодно и чинно. Со времени их разговора на берегу моря мисс Лидия боялась показывать Орсо свое, может быть, чересчур живое участие, и Орсо, со своей стороны, принял близко к сердцу ее насмешки и особенно ее несерьезное отношение к нему. Одно время он думал, что заметил в обращении молодой англичанки чувство зарождающейся привязанности; теперь же, смущенный ее шутками, он уверял себя, что в ее глазах он не более как простой знакомый, который будет скоро забыт. Велико было его удивление, когда утром, сев за кофе с полковником, он увидел мисс Лидию, вошедшую с его сестрой. Она встала в пять часов, и это усилие было слишком велико для англичанки, особенно для мисс Лидии, чтобы не польстить его самолюбию.

— Я в отчаянии, что вы потревожили себя так рано,— сказал он.— Это, наверно, сестра разбудила вас, несмотря на мои предупреждения, и вы, должно быть, проклинали нас. Может быть, вы теперь уже хотите, чтобы я был повешен?

— Нет,— сказала мисс Лидия очень тихо и по-итальянски, очевидно, для того, чтобы отец не понял ее.— Но вы рассердились на меня вчера за мои невинные шутки, и я не хотела, чтобы вы унесли с собою дурную память обо мне. Какие вы, корсиканцы, ужасные люди! Ну, до свидания, надеюсь, ненадолго.

И она протянула ему руку.

Орсо вместо ответа мог только вздохнуть. Коломба подошла к нему, увела его в амбразуру окна и, показывая ему что-то из-под *меццаро,* несколько времени тихо говорила с ним.

— Сестра хочет сделать вам странный подарок, мисс,— сказал Орсо мисс Невиль,— но нам, корсиканцам, нечем дарить... кроме привязанности, которую не уничтожает время. Сестра сказала мне, что вы с любопытством рассматривали этот стилет. Это фамильная древность. Вероятно, он когда-нибудь висел на поясе одного из тех капралов, которым я обязан честью быть знакомым с вами. Коломба считает его такой драгоценностью, что попросила у меня позволения подарить его вам; а я, право, не знаю, согласиться ли на это,— боюсь, как бы вы не посмеялись над нами.

— Прелестный стилет,— сказала мисс Лидия,— но это — фамильное оружие, и я не могу принять его.

— Этот стилет не моего отца! — воскликнула Коломба.— Он был подарен одному из предков моей матери королем Теодором [1]. Если мадемуазель Лидия примет его, она доставит нам большое удовольствие.

— Видите, мисс Лидия,— сказал Орсо,— не презирайте королевского стилета.

Для любителя вещь короля Теодора бесконечно драгоценнее, чем вещь более могущественного монарха. Искушение было сильно; мисс Лидия уже видела, какой эффект произведет это оружие на лаковом столике в ее комнате на Сент-Джемс-Плейс.

— Но, милая мадемуазель Коломба,— сказала она, беря стилет с колебанием человека, который хочет принять подарок, и самым любезным образом улыбаясь Коломбе,— я не могу... я не смею оставить вас безоружною в дороге.

---

[1] Барон Теодор Стефан Нейгоф, родом из Меца, известный авантюрист прошлого века, так называемый «единственный корсиканский король». Ему удалось ненадолго провозгласить себя королем Корсики в 1736 году. Он умер в тюрьме в Лондоне в 1755 году, посаженный туда за долги. *(Прим. переводчика.)*

— Со мною мой брат,— гордо возразила Коломба,— и у нас славное ружье, что подарил нам ваш отец... Орсо, вы зарядили его?

Мисс Лидия оставила у себя стилет, и Коломба потребовала в уплату за него один су, чтобы отвратить опасность, которой подвергаются дарящие друзьям режущее или колющее оружие.

Наконец нужно было ехать. Орсо пожал еще раз руку мисс Невиль. Коломба поцеловала ее, после чего подставила свои розовые губки полковнику, приведенному в совершенное изумление корсиканскою вежливостью. Из окна залы мисс Лидия видела, как брат и сестра сели на лошадей. Глаза Коломбы блестели радостью, которой мисс Лидия до сих пор не замечала. Эта высокая, сильная девушка, фанатично преданная своим варварским понятиям, с надменным челом, увозящая этого молодого человека, вооруженного как будто бы для какого-нибудь страшного дела, напомнила ей опасения Орсо, и ей казалось, что она видит его злого гения, увлекающего его к погибели. Орсо заметил ее, уже сидя на лошади. Потому ли, что он угадал ее мысль, или для того, чтобы послать ей последний прощальный привет, он взял египетский перстень, висевший у него на шнурке, и поднес его к губам. Мисс Лидия, краснея, отошла от окна, но тут же вернулась и увидела, что корсиканцы галопом мчатся на своих маленьких лошадках по направлению к горам. Полчаса спустя полковник показал ей в свою зрительную трубу, как они огибают залив, и ей видно было, что Орсо часто оборачивается. Наконец он исчез за болотами, на месте которых теперь прекрасный древесный питомник.

Мисс Лидия, посмотрев в зеркало, нашла, что она бледна.

— Что должен думать обо мне этот молодой человек? — сказала она.— И что я думаю о нем? И отчего я о нем думаю? Дорожное знакомство?.. Зачем я приехала на Корсику? О, я его вовсе не люблю... Нет, нет, да это и невозможно. А Коломба... Я невестка *voceratrice,* которая ходит с большим стилетом!

И тут Лидия заметила, что держит в руке стилет короля Теодора. Она бросила его на свой туалетный столик.

— Коломба в Лондоне, танцующая у Эльмака![1] Великий боже! Это будет настоящая львица![2] Она может произвести

---

[1] Известные в те времена публичные балы в Лондоне.

[2] В те времена в Англии так называли людей, отличавшихся чем-нибудь необыкновенным.

фурор... Он любит меня, я уверена в этом... Он герой романа, и я прервала его полную приключений карьеру... Но есть ли у него действительно желание отомстить за отца по-корсикански? Это было нечто среднее между Конрадом и денди... Я сделала из него чистого денди — денди, у которого корсиканский портной!..

Она легла и хотела уснуть, но так и не заснула. Я не берусь продолжать ее длинный монолог, в котором она сотни раз повторяла себе, что делла Реббиа был, есть и будет для нее ничто.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тем временем Орсо ехал со своей сестрой. Быстрый бег лошадей сначала мешал им говорить, но когда слишком трудные подъемы заставляли их ехать шагом, они обменивались несколькими словами о только что покинутых друзьях. Коломба с восторгом говорила о красоте мисс Невиль, о ее белокурых волосах, о ее изящных манерах. Потом она спросила, действительно ли полковник так богат, как кажется, и одна ли у него дочь мисс Лидия.

— Это была бы хорошая партия,— говорила она.— Ее отец, кажется, очень расположен к вам...

И так как Орсо ничего не отвечал, то она продолжала:

— Наш род когда-то был богат; и теперь еще он один из самых почтенных на острове; все эти *signori* [1] — незаконнорожденные. Если на Корсике есть еще знать, то только в капральских родах, и ведь вы знаете, Орсо, что вы происходите от первых капралов острова. Вы знаете, что наши предки родом из-за гор [2] и что войны заставили нас перейти на эту сторону. Если бы я была на вашем месте, Орсо, я не колебалась бы, я просила бы руки мисс Невиль у ее отца... (Орсо пожал плечами.) На ее приданое я купила бы Фальсеттские леса и виноградники под ними; я построила бы прекрасный дом из тесаного камня и надстроила бы на один этаж старую башню, в

---

[1] *Signori* называются потомки феодальных владетелей Корсики. Они и потомки *caporali* соперничают между собой в знатности.

[2] То есть с восточного берега острова. Это весьма распространенное выражение, *di la monti,* изменяет свой смысл смотря по тому, где его употребляют. Корсика разделена горной цепью, идущей с севера на юг.

которой Самбукуччо побил столько мавров во времена графа Арриго Бель Миссере [1].

— Коломба, ты с ума сошла! — воскликнул Орсо, продолжая скакать.

— Вы мужчина, Орс Антон, и вы, без сомнения, лучше женщины знаете, что вам делать. Но мне очень хотелось бы знать, что может сказать этот англичанин против вашего союза? Есть ли в Англии капралы?

Разговаривая таким образом, после довольно длинного переезда, брат с сестрою приехали в маленькую деревню, недалеко от Боконьяно, где и остановились пообедать и переночевать у одного из друзей своего дома. Их приняли с корсиканским гостеприимством, которое может оценить только испытавший его. На другой день хозяин, кум г-жи делла Реббиа, проводил их на одну милю от своего дома.

— Видите эти леса и *маки*? — сказал он Орсо на прощание.— Человек, с *которым случилось несчастье,* мирно прожил бы здесь десять лет, и жандармы и стрелки не пришли бы его искать. Эти леса доходят до Виццавонского леса, и если в Боконьяно или в окрестностях есть друзья, то у него ни в чем не будет недостатка. У вас славное ружье; оно должно далеко бить. Клянусь кровью мадонны, какой калибр! Этим можно убить что-нибудь получше кабана.

Орсо холодно ответил, что его ружье — английское и очень хорошо бьет дробью. Они расцеловались и пустились в путь, каждый в свою сторону.

Наши путешественники были уже недалеко от Пьетранеры, когда у въезда в ущелье, через которое им надо было проехать, они увидели шесть или восемь человек с ружьями; одни из них сидели на камнях, другие лежали на траве; некоторые были на ногах и, казалось, караулили. Неподалеку паслись их лошади. Коломба посмотрела на них в зрительную трубу, вынутую ею из большой кожаной сумки,— такие сумки все корсиканцы берут с собой в дорогу.

— Это наши люди! — весело воскликнула она.— Пьеруччо хорошо исполнил поручение.

---

[1] *Филиппини*, книга II. Граф *Arrigo Bel Missere* умер около 1000 года; говорят, что, когда он умирал, в воздухе раздался голос, пропевший следующие пророческие слова:

E morte il conte Arrigo Bel Missere.

E Corsica sara di male in peggio.

(Умер граф Арриго Бель Миссере, и теперь Корсике придется плохо.)

— Какие люди? — спросил Орсо.

— Наши пастухи,— ответила она.— Третьего дня я послала Пьеруччо собрать этих молодцов, чтобы они проводили вас до дома. Вам было бы неприлично въехать в Пьетранеру без конвоя, а, кроме того, вы должны знать, что Барричини способны на все.

— Коломба,— сказал Орсо строгим тоном,— я много раз просил тебя не говорить мне больше о Барричини и о твоих неосновательных подозрениях. Я, конечно, не буду так смешон, чтобы вернуться домой с этой толпой лентяев, и я очень недоволен тем, что ты собрала их, не предупредив меня.

— Брат, вы забыли свою страну. Если вы неблагоразумно подвергаете себя опасности, то я должна вас беречь. Я должна была сделать то, что сделала.

В это время пастухи заметили их, побежали к своим лошадям и прискакали к Коломбе и Орсо.

— *Evviva* [1], Орс Антон! — закричал здоровый старик с седой бородой, одетый, несмотря на жару, в дорожный плащ с капюшоном из корсиканского сукна мохнатее козьей шерсти.— Вылитый отец, только он выше и сильнее. Славное ружье! Об этом ружье еще будут разговоры, Орс Антон.

— *Evviva*, Орс Антон! — повторили хором все пастухи.— Мы отлично знали, что он вернется!

— Ах, Орс Антон! — говорил высокий малый с лицом кирпичного цвета.— Как был бы рад ваш отец, если б был здесь, на вашей встрече! Славный человек! Вы бы увидели его, если б он верил мне, если бы он позволил мне разделаться с Джудиче... Храбрый человек! Он не поверил мне, а ведь теперь он хорошо знает, что я был прав.

— Ладно! — вмешался старик.— Джудиче недолго будет ждать.

— *Evviva*, Орс Антон!

И вместе с этим криком раздались ружейные выстрелы.

Рассерженный Орсо несколько времени не мог заставить слушать себя эту толпу всадников, говоривших разом и теснившихся, чтобы пожать ему руку. Наконец, приняв на себя вид, с каким, бывало, он являлся перед своим взводом, когда делал выговоры и сажал под арест, он сказал:

— Друзья, благодарю вас за любовь ко мне, за любовь к моему отцу; но я требую, я хочу, чтобы никто не давал мне советов. Я знаю, что мне делать.

---

[1] Привет *(итал.)*.

— Он прав, он прав! — закричали пастухи.— Можете на нас рассчитывать.

— Да, я рассчитываю на вас; но теперь мне не нужно никого, и ничто не грозит моему дому. Начните с того, что сделайте направо кругом и отправляйтесь к своим козам. Я знаю дорогу в Пьетранеру, и мне не нужно провожатых.

— Не бойтесь ничего, Орс Антон,— сказал старик,— *они* не осмелятся показаться сегодня. Мышь прячется в нору, когда приходит кот.

— Сам ты кот, старая седая борода,— сказал Орсо.— Как тебя зовут?

— Как! Вы не знаете меня, Орс Антон? Меня, того самого, что так часто сажал вас за собой на том муле, что кусался? Вы не знаете Поло Гриффо? Как видите, он молодчина и предан делла Реббиа телом и душой. Скажите слово, и когда ваше большое ружье заговорит, этот старый мушкет, ровесник своему хозяину, не станет молчать. Рассчитывайте на это, Орс Антон.

— Хорошо, хорошо! Но, черт возьми, уходите, дайте дорогу.

Пастухи, наконец, удалились, крупной рысью направляясь к деревне; но от времени до времени они останавливались на всех возвышенных местах, как будто для того, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь скрытой засады, и все время держались недалеко от Орсо и его сестры, чтобы быть в состоянии помочь им в случае нужды. А старый Поло Гриффо говорил своим товарищам:

— Я понимаю его, я его понимаю. Он не говорит, что хочет делать, но он сделает. Копия своего отца. Ладно! Говори, что ты ни на кого не сердишься! Ты дал обет святой Неге [1]. Браво! Я не дал бы и медного гроша за шкуру мэра. Месяца не пройдет, а из нее уже нельзя будет сделать меха.

Таким образом, с разведчиками впереди, потомок рода делла Реббиа въехал в свою деревню и достиг древнего жилища своих предков-капралов.

Долгое время остававшиеся без вождя, реббианисты толпою вышли к нему навстречу, а все нейтральные жители деревни стояли на порогах своих дверей, чтобы видеть, как он проедет. Барричинисты сидели по домам и глядели в щели ставен.

Местечко Пьетранера построено очень неправильно, как и все корсиканские деревни; чтобы увидеть настоящую улицу, надо ехать в Карджезе, селение, построенное г-ном Марбефом.

---

[1] Такой святой нет в католических святцах. Дать обет св. Неге — значит ни в чем не сознаваться.

Дома, рассеянные как бы случайно и без малейшей планировки, занимают вершину небольшого холма или, скорее, горное плато. Недалеко от середины местечка возвышается большой зеленый дуб; возле дуба стоит гранитное корыто; деревянная труба проводит в него воду из соседнего ключа. Это полезное сооружение было построено на общий счет делла Реббиа и Барричини, но жестоко ошибется тот, кто увидит в этом указание на некогда существовавшее согласие между двумя родами. Напротив, тут действовала взаимная зависть. Как-то раз полковник делла Реббиа послал в муниципальный совет небольшую сумму на устройство фонтана; Барричини поспешил предложить такое же пожертвование, и этой борьбе великодушия Пьетранера обязана своей водой. Вокруг зеленого дуба и фонтана — небольшое пустое пространство, называемое площадью; праздные люди собираются здесь по вечерам. Иногда тут играют в карты, а раз в год, во время карнавала, танцуют. На двух противоположных концах площади возвышаются постройки, высокие, но узкие, сделанные из гранита и шифера. Это *башни* двух враждующих семейств — делла Реббиа и Барричини. Они одинаковой архитектуры и равной высоты; видно, что судьба еще не решила соперничества в пользу какого-нибудь одного из враждующих родов.

Может быть, теперь уместно объяснить, что́ нужно подразумевать под словом *башня*. Это квадратная постройка футов сорока вышины; в другой стране ее назвали бы попросту голубятней. Узкая дверь открывается на восемь футов ниже поверхности земли; к ней ведет очень крутая лестница. Над дверью окно; перед ним что-то вроде балкона с пробитым внизу отверстием, похожим на бойницу, через которое можно безнаказанно убить нескромного гостя. Между окном и дверью видны два грубо высеченных щита. На одном когда-то был генуэзский крест, но он весь избит молотом, и только антиквари мог бы разобрать его. На другом щите высечен герб владельцев башни. Прибавьте, чтобы дополнить картину, на щитах и наличниках окна несколько следов пуль, и вы будете иметь понятие о средневековом корсиканском жилище. Я забыл сказать, что жилые постройки примыкают к башням и часто сообщаются с ними изнутри.

Башня и дом делла Реббиа занимают северную сторону площади Пьетранера; башня и дом Барричини — южную. От северной башни до фонтана — вот место прогулки для делла Реббиа; Барричини гуляют на другой стороне. Со времени похорон жены полковника ни разу не видели, чтобы кто-нибудь

из членов двух семейств показался не на той стороне площади, которая была назначена ему каким-то молчаливым согласием. Чтобы не делать крюка, Орсо хотел проехать перед домом мэра; Коломба предостерегла его и попросила проехать к дому переулком, не пересекая площади.

— Зачем? — сказал Орсо.— Разве площадь существует не для всех?

И он пришпорил лошадь.

— Храброе сердце! — сказала тихонько Коломба.— Отец, ты будешь отмщен...

Выехав на площадь, Коломба держалась между домом Барричини и своим братом и все время зорко смотрела на вражеские окна. Она заметила, что они с недавнего времени забаррикадированы и что в них устроены *archere*. Так называются узкие отверстия вроде бойниц, открывающиеся между толстыми бревнами, загораживающими нижнюю часть окна. Боясь нападения, люди таким образом укрепляются; тогда можно стрелять в нападающих из-за прикрытия.

— Трусы! — сказала Коломба.— Посмотрите, брат, они уже начинают остерегаться. Они загородились, но ведь когда-нибудь придется выйти!

Появление Орсо на южной стороне площади произвело на Пьетранеру большое впечатление и было принято за доказательство смелости, граничащей с дерзостью. Для нейтральных жителей, собравшихся вечером около зеленого дуба, оно послужило темой для бесконечных комментариев.

— Счастлив он,— говорили там,— что еще не вернулись сыновья Барричини; они не так терпеливы, как адвокат, и не пропустили бы врага через свою землю, не заставив его заплатить за дерзость.

— Попомните, что я вам скажу, сосед,— прибавил старик, местный оракул.— Я приглядывался сегодня к Коломбе. У нее что-то есть на уме. В воздухе пахнет порохом. Скоро свежее мясо будет дешево в Пьетранере.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Орсо расстался с отцом в детстве и не успел как следует узнать его. В пятнадцать лет он уехал из Пьетраперы в Пизу учиться, а затем поступил в военную школу. Гильфуччо в это время сражался в Европе под императорскими знаменами. На

континенте Орсо виделся с ним редко и только в 1815 году попал в полк, которым командовал отец. Но строго соблюдавший дисциплину полковник обращался с сыном, как и со всеми остальными молодыми поручиками, то есть очень сурово. Орсо вспоминал, как в Пьетранере отец отдавал ему саблю, позволял разрядить ружье, когда возвращался с охоты, или как он в первый раз посадил его, мальчишку, за семейный стол. Потом он представлял себе полковника делла Реббиа, как он посылал его, Орсо, под арест за какой-нибудь необдуманный поступок и не называл иначе, как поручик делла Реббиа: «Поручик делла Реббиа, вы не на своем месте в строю; на трое суток под арест», «Ваши стрелки выдвинулись на пять метров за линию резерва; на пять суток под арест», «Пять минут первого, а вы еще в фуражке; на восемь суток под арест...» Один только раз, под Катр-Бра, он сказал ему: «Хорошо, Орсо, но будь осторожнее». Впрочем, Пьетранера возбудила в нем совсем не эти позднейшие воспоминания. Вид мест, где протекло его детство, мебель, на которой сиживала его нежно любимая мать, возбудили в его душе тихое, болезненное волнение; мрачное будущее, готовившееся ему, смутное беспокойство, внушавшееся ему сестрой, и над всем этим мысль, что мисс Невиль скоро приедет в его дом, казавшийся ему теперь таким маленьким, таким бедным, таким неподходящим для особы, привыкшей к роскоши, презрение, которое, может быть, зародится в ней от этого,— все эти мысли образовали в его голове какой-то хаос и навели на него глубокое уныние.

Он сел ужинать в большое кресло из потемневшего дуба, на котором обыкновенно председательствовал за семейным столом его отец, и улыбнулся, видя, как Коломба колеблется, сесть ли ей за стол вместе с ним или нет. Впрочем, он был очень доволен ее молчанием во время ужина и ее быстрым уходом после него, потому что он чувствовал себя еще слишком растроганным, чтобы сопротивляться, без сомнения, готовившимся на него атакам. Но Коломба щадила его и хотела дать ему время осмотреться. Опершись головою на руку, он долго оставался неподвижным, перебирая в уме сцены последних двух недель. Он с ужасом думал о том, что все ждут от него каких-то действий по отношению к Барричини. Он уже чувствовал, что мнение Пьетранеры начинает становиться для него общественным мнением. Он должен был мстить под страхом прослыть трусом. Но кому мстить? Он не мог поверить, что Барричини виновны в убийстве. Правда, они были враги его рода, но нужно было разделять грубые предрассудки зем-

ляков, чтобы приписывать убийство Барричини. Он смотрел на талисман мисс Невиль и тихо повторял его девиз «Жизнь есть борьба». Наконец он твердо сказал себе: «Я выйду из нее победителем!» С этой прекрасною мыслью он встал и, взяв лампу, хотел подняться в свою комнату, как вдруг кто-то постучался в дверь. Время было не такое, чтобы ждать гостей. Тотчас же явилась Коломба; за ней шла служанка.

— Это свои,— сказала она, подбегая к двери.

Однако, прежде чем отворить, она спросила, кто стучится.

— Это я! — ответил тоненький голос.

Поперечный деревянный засов был тотчас снят, и Коломба опять явилась в столовую, ведя за собой девочку лет десяти, босоногую, в рубище, с головой, покрытой рваным платком, из-под которого выбивались длинные космы черных, как вороново крыло, волос. Девочка была худа, бледна, обожжена солнцем, но в ее глазах сверкал живой ум. Увидя Орсо, девочка робко остановилась и по-деревенски низко поклонилась ему; потом она стала тихо говорить что-то Коломбе и подала ей свежеубитого фазана.

— Спасибо, Кили,— сказала Коломба.— Поблагодари своего дядю. Он здоров?

— Здоров, барышня. Я не могла прийти раньше, потому что он очень опоздал. Я ждала его в *маки* три часа.

— И ты не ужинала?

— Нет, барышня, мне было некогда.

— Тебе сейчас дадут поужинать. У твоего дяди еще есть хлеб?

— Мало, барышня, но особенно ему нужен порох. Каштаны поспели, и теперь ему нужен только порох.

— Я дам тебе для него хлеба и пороху. Скажи ему, чтобы он берег его: он дорог.

— Коломба,— сказал Орсо по-французски,— кому это ты так покровительствуешь?

— Одному бедному бандиту из нашей деревни,— отвечала Коломба на том же языке.— Эта крошка — его племянница.

— Мне кажется, ты могла бы найти кого-нибудь более достойного. Зачем посылать порох негодяю, который употребит его на преступление? Без этой печальной слабости, которую, кажется, все питают к бандитам, они давно бы уже исчезли на Корсике.

— Самые дурные люди нашей родины вовсе не те, что *в поле* [1].

— Давай им, если хочешь, хлеб; в нем нельзя отказывать никому, но я не хочу, чтобы их снабжали патронами.

— Брат,— серьезно сказала Коломба,— вы здесь хозяин и все в доме ваше; но предупреждаю вас, что я скорее отдам этой девочке свой *mezzaro*, чтобы она продала его, чем откажу бандиту в порохе. Отказать бандиту в порохе! Да это все равно, что выдать его жандармам! Какая у него от них защита, кроме патронов?

Девочка в это время с жадностью ела хлеб и внимательно смотрела то на Коломбу, то на ее брата, стараясь уловить в выражении их лиц смысл их речей.

— Но что же сделал, наконец, твой бандит? Из-за какого преступления он убежал в *маки*?

— Брандолаччо не совершил никаких преступлений! — воскликнула Коломба.— Он убил Джована Оппиццо, который убил его отца, когда сам он был в армии.

Орсо отвернулся, взял лампу и, не отвечая, поднялся в свою комнату. Коломба дала девочке пороху и провизии и проводила ее до двери, повторяя:

— Пусть твой дядя хорошенько бережет Орсо!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Орсо долго не мог заснуть и поэтому проснулся очень поздно, по крайней мере для корсиканца. Как только он встал, первое, что бросилось ему в глаза, был дом его врагов и *archere*, которые они устроили. Он спустился и спросил, где сестра.

— Льет на кухне пули,— отвечала ему служанка Саверия.

Итак, он не мог сделать шага, чтобы его не преследовал образ войны.

Он застал ее сидящей на скамейке; вокруг нее лежали только что отлитые пули. Она обрезывала их.

— Какого черта ты тут делаешь? — спросил ее брат.

— У вас совсем нет пуль для ружья полковника,— отвечала она своим нежным голосом.— Я нашла пулелейку такого калибра, и сегодня у вас будет двадцать пять патронов.

---

[1] Быть в поле *(alla campagna)* — значит быть бандитом. Бандит не бранное слово: оно употребляется в смысле *изгнанный*, это — outlaw английских баллад.

— Слава богу, я не нуждаюсь в них.

— Скверно, если вас застигнут врасплох. Вы забыли свой край и окружающих вас людей.

— Если б я и забыл, то ты мне об этом все время напоминаешь. Скажи мне, не пришел ли несколько дней тому назад большой сундук?

— Да, брат. Хотите, я внесу его в вашу комнату?

— Ты внесешь? Да тебе никогда его не поднять... Нет ли здесь для этого какого-нибудь мужчины?

— Я совсем не так слаба, как вы думаете,— сказала Коломба, засучивая рукава и открывая белые и круглые, красивые руки, показывавшие, однако, недюжинную силу.— Пойдем, Саверия,— сказала она служанке,— помоги мне.

И она уже поднимала одна тяжелый сундук, но Орсо поспешил помочь ей.

— В этом сундуке есть кое-что для тебя, моя милая Коломба. Прости меня за такие бедные подарки, но у поручика на половинном жалованье не слишком набит кошелек.

Говоря это, он открыл сундук и вынул из него платья, шаль и еще кое-какие вещи, которые могли пригодиться молодой девушке.

— Какая прелесть! — воскликнула Коломба.— Я сейчас же спрячу их. Я сберегу их к своей свадьбе,— прибавила она с печальной улыбкой,— а то ведь я теперь в трауре.

И она поцеловала у брата руку.

— Так долго носить траур, сестра,— это уж слишком.

— Я поклялась в этом,— твердо сказала Коломба.— Я не сниму траура...

И она посмотрела в окно на дом Барричини.

— ...раньше дня своей свадьбы,— перебил ее Орсо.

— Я выйду замуж,— сказала Коломба,— только за того, кто сделает три вещи.

И она продолжала мрачно смотреть на дом врагов.

— Я удивляюсь, как ты, такая хорошенькая, не вышла до сих пор замуж. Ты должна рассказать мне, кто ухаживает за тобой. Впрочем, я и сам наслушаюсь серенад. Они должны быть хороши, чтобы понравиться такой великой *voceratrice,* как ты.

— Кто захочет взять бедную сироту? А, кроме того, человек, который снимет траур с меня, оденет в траур вон тех женщин.

«Это — помешательство!» — подумал Орсо. Но он не сказал ничего, чтобы избежать спора.

— Брат,— ласково сказала Коломба,— я тоже хочу предложить вам кое-что. Ваше платье слишком хорошо для нашей страны. Ваш парадный сюртук изорвется в клочки в два дня, если вы будете носить его в *маки*. Его нужно беречь для приезда мисс Невиль.— Потом, открыв шкаф, она достала оттуда полный охотничий костюм.— Я сделала вам бархатную куртку, а вот шапка, какую носят наши щеголи; я ее уже давно вышила. Хотите примерить?

И она заставила его надеть на себя широкую куртку из зеленого бархата с огромным карманом на спине. Она надела ему на голову остроконечную черную бархатную шапку, расшитую черным стеклярусом и шелком, с чем-то вроде кисти на конце.

— Вот *carchera*[1] нашего отца,— сказала она,— его стилет в кармане вашей куртки. Сейчас я достану пистолет.

— У меня вид настоящего разбойника из театра Амбигю Комик,— говорил Орсо, смотрясь в маленькое зеркальце, которое подала ему Саверия.

— Это потому, что к вам все это так идет, Орс Антон,— говорила старая служанка,— и самый красивый *pinsuto*[2] из Боконьяно или из Бастелики не смотрит таким молодцом.

Орсо завтракал в своем новом платье и за завтраком сказал сестре, что в его сундуке есть книги, что он хочет выписать еще из Франции и Италии и заставить ее учиться.

— Стыдно, Коломба,— прибавил он,— что такая взрослая девушка, как ты, не знаешь вещей, которые на континенте знают чуть не грудные дети.

— Правда, брат,— ответила Коломба,— я хорошо знаю, чего мне недостает, и очень хочу учиться, особенно если вы будете давать мне уроки.

Прошло несколько дней, и Коломба не произносила имени Барричини. Она ухаживала за братом и часто говорила ему о мисс Невиль. Орсо заставлял ее читать итальянские и французские книги и удивлялся то правильности и меткости ее суждений, то ее глубокому невежеству в самых простых вещах.

Однажды утром после завтрака Коломба на минуту вышла и вместо того, чтобы вернуться с книгой и бумагой, явилась со своим *mezzaro* на голове. Она была еще серьезнее, чем обыкновенно.

---

[1] *Carchera* — пояс, куда вкладывают патроны. С левой стороны к нему привешивают пистолет.

[2] *Pinsuto* (остроконечный, островерхий) зовут тех, кто еще носит остроконечную шапку, *baretta pinsuta*.

— Брат,— сказала она,— я прошу вас пойти со мною.

— Куда тебя проводить? — спросил Орсо, предлагая ей руку.

— Мне не нужно вашей руки, брат; возьмите с собой ваше ружье и патронную сумку. Мужчина никогда не должен выходить без оружия.

— Ну что ж! Нужно подчиняться моде. Куда мы идем?

Коломба, не отвечая, обмотала *меццаро* вокруг головы, позвала собаку и вышла. Орсо шел за нею.

Быстро пройдя деревню, она пошла по дороге, извивавшейся между виноградниками, а собаку послала вперед, сделав знак, вероятно, хорошо знакомый ей, потому что пес сейчас же принялся делать зигзаги по виноградникам, шагах в пятидесяти от своей хозяйки, иногда останавливаясь посреди дороги, чтобы, виляя хвостом, посмотреть на Коломбу. Видимо, он прекрасно исполнял обязанности разведчика.

— Если Мускетто залает,— сказала Коломба,— взведите курки и не двигайтесь с места.

В полумиле от деревни, после многих извилин, Коломба вдруг остановилась в том месте, где дорога делала крутой поворот. Тут возвышалась небольшая пирамида из веток; некоторые были зелены, другие высохли; они были навалены кучей около трех футов вышины. На верхушке торчал конец деревянного, выкрашенного черной краской креста. Во многих корсиканских округах, особенно в горах, существует весьма древний, может быть, имеющий связь с языческими суевериями обычай — проходя мимо места, где кто-нибудь погиб насильственной смертью, бросать на него камень или ветку. В течение многих лет, пока воспоминание о трагической смерти живет еще в памяти людей, это странное жертвоприношение растет с каждым днем. Оно называется *кучей, mucchio* такого-то.

Коломба остановилась перед этой кучей листвы и, оторвав ветку от куста, присоединила ее к пирамиде.

— Орсо! — сказала она.— Здесь умер наш отец. Брат! Помолимся за его душу!

И она стала на колени. Орсо сделал то же. В эту минуту медленно прозвонил деревенский колокол, потому что в ту ночь кто-то умер. Орсо залился слезами.

Через несколько минут Коломба поднялась с сухими глазами, но с взволнованным лицом; она торопливо перекрестилась большим пальцем, как обыкновенно крестятся ее земляки, сопровождая этим знаком свои торжественные клятвы;

потом она пошла к деревне, увлекая брата. Они молча вернулись домой. Орсо поднялся к себе в комнату. Минуту спустя за ним вошла Коломба с маленькой шкатулкой в руках и поставила ее на стол. Она открыла ее и вынула оттуда рубашку, покрытую большими кровавыми пятнами.

— Вот рубашка вашего отца, Орсо.— И она бросила ее к нему на колени.— Вот свинец, поразивший его.— И она положила на рубашку две ржавые пули.— Орсо, брат мой! — закричала она, кидаясь к нему и сжимая его в объятиях.— Орсо, ты отомстишь за него?

Она до боли крепко поцеловала его, коснулась губами пуль и рубашки и вышла из комнаты; брат ее словно окаменел.

Несколько времени Орсо оставался неподвижным; он не решался убрать эти ужасные реликвии. Наконец, сделав над собой усилие, он положил их в шкатулку и, отбежав в другой конец комнаты, кинулся на свою постель и повернулся к стене, уткнувшись головой в подушку, как будто хотел спрятаться от привидения. Последние слова сестры беспрестанно раздавались в его ушах и казались ему роковым, неизбежным пророчеством, требовавшим от него крови, и невинной крови. Я не пытаюсь передать чувства несчастного молодого человека; они походили на чувства помешанного. Долго он оставался в том же положении, не смея повернуть голову. Наконец он встал, запер шкатулку, быстро вышел из дому и пошел, сам не зная куда.

Мало-помалу чистый воздух освежил его; он успокоился и уже хладнокровнее взглянул на свое положение и на средства выйти из него. Как известно, он совсем не подозревал в убийстве Барричини, но он обвинял их в подделке письма бандита Агостини и думал, что это было причиной смерти его отца. Он сознавал, что невозможно преследовать их за подлог. Когда предрассудки или инстинкты родной страны овладевали им и напоминали ему о легкой мести из-за угла, он с ужасом отгонял от себя эту мысль и вспоминал о своих полковых товарищах, о парижских знакомствах и особенно о мисс Невиль. Потом он думал об упреках сестры, и то, что осталось в его природе корсиканского, оправдывало эти упреки и делало их больнее. У него оставалась одна надежда в этой борьбе между совестью и предрассудками: начать под каким-нибудь предлогом ссору с одним из сыновей адвоката и драться с ним на дуэли. Убить его пулей или ударом кинжала — это примиряло корсиканские и французские понятия Орсо. Найдя средство и думая о его выполнении, он уже чувствовал себя избавленным

от тяжелой обузы, а от других, более светлых мыслей успокаивалось его лихорадочное волнение. Цицерон, будучи в отчаянии от смерти своей дочери Туллии, забыл свое горе, перебирая в уме все прекрасные слова, какие он мог сказать по этому поводу. Шенди, потеряв сына, тоже нашел утешение в красноречии. Орсо охладил свою кровь, подумав о том, как он изобразит мисс Невиль свое душевное состояние и какое глубокое участие примет в нем эта прекрасная девушка.

Он уже приближался к деревне, от которой незаметно отошел очень далеко, как вдруг услышал на дорожке, на опушке *маки,* голос девочки, певшей что-то и, без сомнения, думавшей, что она одна. Это был медленный, монотонный похоронный напев.

«Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку...» — пела девочка.

— Что ты поешь, девочка? — гневно спросил внезапно появившийся перед ней Орсо.

— Это вы, Орс Антон? — вскрикнула немного испуганная девочка.— Это песня синьоры Коломбы...

— Я запрещаю тебе петь ее,— грозно сказал Орсо.

Девочка, поворачивая голову то вправо, то влево, казалось, искала, куда бы ей скрыться; она, без сомнения, убежала бы, если бы не забота о довольно большом свертке, лежавшем у ее ног.

Орсо устыдился своей свирепости.

— Что ты несешь, малютка? — спросил он, стараясь говорить как можно ласковее.

И так как Килина колебалась, ответить или нет, то он развернул тряпку и увидел хлеб и другую провизию.

— Кому несешь хлеб, милая? — спросил он.

— Вы сами знаете: моему дяде.

— Да ведь твой дядя бандит!

— Он ваш слуга, Орс Антон.

— Если жандармы встретят тебя, они спросят, куда ты идешь.

— Я скажу им,— не колеблясь, ответила девочка,— что несу поесть луккским дровосекам в *маки.*

— А если ты встретишь какого-нибудь голодного охотника, который захочет пообедать на твой счет и отберет у тебя провизию?

— Никто не посмеет. Я скажу, что это моему дяде.

— Это верно, он не такой человек, чтобы позволить отнять у себя обед... Он тебя очень любит?

— О да, Орс Антон! С тех пор как мой папа умер, он заботится о нашей семье: о маме, обо мне и о маленькой сестренке. Перед маминой болезнью он говорил богатым, чтобы они давали ей работу. Мэр каждый год дарит мне платья, а священник учит меня читать и закону божию, с тех пор как дядя попросил их об этом. Но особенно добра к нам ваша сестра.

В это время на дорожке показалась собака. Девочка поднесла ко рту два пальца и резко свистнула; собака сейчас же подбежала к ней и приласкалась; потом она быстро исчезла в *маки*. Вскоре два плохо одетых, но хорошо вооруженных человека выросли за деревом в нескольких шагах от Орсо. Можно было подумать, что они приблизились ползком, как ящерицы, в чаще ладанников и миртов.

— А! Орс Антон! Добро пожаловать! — сказал старший.— Как, вы не узнаете меня?

— Нет,— сказал Орсо, всматриваясь в него.

— Потеха просто, как борода и островерхая шапка меняют человека! Ну, поручик, посмотрите-ка хорошенько. Или вы забыли старых ватерлооских товарищей? Разве вы не помните Брандо Савелли? Не один патрон скусил он около вас в этот несчастный день.

— Как! Это ты? — сказал Орсо.— Ты ведь дезертировал в тысяча восемьсот шестнадцатом году?

— Так точно, поручик. Надоедает, знаете, служба; ну и счет один мне нужно было свести в этой стране. А, Кили! Ты молодец, девчонка. Давай скорее; мы есть хотим. Вы, поручик, понятия не имеете, какой бывает аппетит в *маки*. Кто нам это прислал, синьора Коломба или мэр?

— Нет, дядя, это мельничиха дала мне для вас вот это, а для мамы одеяло.

— Чего ей от меня нужно?

— Она говорит, что луккские дровосеки, которых она наняла расчищать участок, просят с нее тридцать пять су на ее каштанах, потому что в Пьетранере лихорадка.

— Лентяи! Я проверю... Не церемоньтесь, поручик; не хотите ли пообедать с нами? Мы обедывали вместе и похуже во времена нашего бедного земляка, которому дали отставку.

— Спасибо. Мне тоже дали отставку.

— Да, я слышал об этом; но бьюсь об заклад, что вы не очень этим огорчены... Ну, патер,— сказал бандит товарищу,— за стол. Синьор Орсо, позвольте представить вам патера; то есть я не знаю наверно, патер ли он, но он ученый, как патер.

— Бедный студент-богослов, которому помешали следовать своему призванию,— сказал другой бандит.— Как знать, Брандолаччо? Я мог бы быть папой...

— Какая же причина лишила церковь ваших познаний? — спросил Орсо.

— Пустяки. Счет, который нужно было свести, как говорит мой друг Брандолаччо: одна моя сестра наделала глупостей, покуда я зубрил в Пизанском университете. Мне нужно было возвратиться на родину, чтобы выдать ее замуж, но жених поспешил умереть за три дня до моего приезда. Я обратился тогда, как вы бы и сами сделали на моем месте, к брату умершего. Мне говорят, что он женат. Что делать?

— В самом деле, затруднительное положение. Как же вы поступили?

— В таких случаях нужно прибегать к ружейному кремню [1].

— То есть вы...

— Я влепил ему пулю в лоб,— холодно сказал бандит.

Орсо содрогнулся. Однако любопытство, а также, может быть, желание оттянуть время возвращения домой заставили его остаться на месте и продолжать разговор с этими двумя людьми, у каждого из которых было, по крайней мере, по убийству на совести.

Пока товарищ говорил, Брандолаччо положил перед ним кусок хлеба и мяса; потом он взял сам; потом оделил своего пса Бруско, которого он отрекомендовал как существо, одаренное удивительным инстинктом узнавать стрелков, как бы они ни переоделись. Наконец он отрезал ломтик хлеба и кусочек сырой ветчины и дал племяннице.

— Хороша жизнь бандита! — воскликнул студент-богослов, съев несколько кусков.— Вы, милостивый государь, может быть, когда-нибудь изведаете ее, и тогда вы увидите, как отрадно не знать над собой иной власти, кроме своей прихоти.— Тут бандит, говоривший до сих пор по-итальянски, продолжал по-французски: — Корсика для молодого человека страна не очень веселая, но для бандита — совсем другое дело! Женщины от нас с ума сходят. У меня, например, три любовницы в трех разных кантонах. Я везде у себя дома. И одна из них — жена жандарма.

— Вы хорошо знаете языки, милостивый государь,— серьезно сказал Орсо.

---

[1] *La scaglia* — очень употребительное выражение.

— Если я заговорил по-французски, то это, видите ли, потому, что *maxima debetur pueris reverentia*[1]. Мы с Брандолаччо хотим, чтобы девочка вела себя хорошо и шла прямой дорогой.

— Когда ей будет пятнадцать лет, я выдам ее замуж,— сказал дядя Килины.— У меня есть уже в виду и жених.

— Ты сам будешь сватать? — спросил Орсо.

— Конечно. Вы думаете, что если я скажу какому-нибудь здешнему богачу: мне, Брандо Савелли, было бы приятно видеть Микелину Савелли за вашим сыном,— вы думаете, что он заставит тащить себя за уши?

— Я бы ему этого не посоветовал,— сказал другой бандит.— У товарища рука тяжеленька: он сумеет заставить себя слушаться.

— Если бы я был,— продолжал Брандолаччо,— плутом, канальей, вымогателем, мне стоило бы только открыть свою сумку, и пятифранковики посыпались бы дождем.

— В твоей сумке есть что-нибудь привлекающее их? — спросил Орсо.

— Ничего нет; но напиши я какому-нибудь богачу, как делают некоторые: мне нужно сто франков,— он сейчас же пришлет мне их. Но я честный человек, поручик.

— Знаете ли, синьор делла Реббиа,— сказал бандит, которого товарищ называл патером,— знаете ли вы, что в этой стране, где живут простодушные люди, все-таки есть мерзавцы, извлекающие выгоду из того уважения, которое мы внушаем нашими паспортами (он указал на свое ружье), и добывающие векселя, подделывая нашу подпись?

— Я это знаю,— отрывисто сказал Орсо,— но какие векселя?

— Полгода тому назад я прогуливался недалеко от Ореццы; подходит ко мне такой-то мужик, издали снимает шапку и говорит: «Ах, господин патер,— они все меня так зовут,— простите меня, дайте мне срок: я мог найти только пятьдесят пять франков, но, право, это все, что я мог собрать». Я в совершенном изумлении говорю ему: «Что это значит, бездельник? Какие пятьдесят пять франков?» — «Я хочу сказать, шестьдесят пять,— ответил он мне,— но дать сто, как вы просите, невозможно».— «Как, негодяй? Я прошу у тебя сто франков? Да я тебя не знаю!» Тогда он подает мне письмо, или, скорее, грязный клочок, в котором ему предлагают положить

[1] При детях надо вести себя особенно прилично *(лат.)*.

в указанном месте сто франков, грозя, что в противном случае Джоканто Кастрикони — это мое имя — сожжет его дом и перебьет у него коров. И имели наглость подделать мою подпись! Что меня взбесило больше всего, так это то, что письмо было полно орфографических ошибок; я — и орфографические ошибки! Я, получавший в университете все награды! Я начал с того, что дал мужику такую затрещину, что он два раза перевернулся. «А, ты считаешь меня за вора, мерзавец этакий!» — говорю ему и даю здорового пинка ногой... знаете, куда. Сорвал зло и говорю ему: «Когда ты должен отнести эти деньги в назначенное место?» — «Сегодня же».— «Ладно, неси!» Положить надо было под сосной; место было точно указано. Он несет деньги, зарывает их под деревом и возвращается ко мне. Я засел неподалеку. Я провел с этим человеком шесть томительных часов. Синьор делла Реббиа, если бы было нужно, я просидел бы там трое суток. Через шесть часов является *bastiaccio*[1], подлый вымогатель. Он наклоняется за деньгами; я стреляю; и я так хорошо прицелился, что он, падая, уткнулся головой прямо в деньги, которые выкапывал. «Теперь, болван,— говорю я мужику,— бери свои деньги и не вздумай еще когда-нибудь подозревать Джоканто Кастрикони в низости». Бедняга, дрожа, подобрал свои шестьдесят пять франков и даже не потрудился их вытереть; он благодарит меня, я прибавляю ему на прощание пинок, и он убегает.

— Ах, патер! — сказал Брандолаччо.— Я завидую такому выстрелу. Воображаю, как ты смеялся!

— Я попал *bastiaccio* в висок,— продолжал бандит,— это напоминает мне стихи Вергилия:

...Liquefacto tempora plumbo
Diffidit, ac muita porrectum extendit arena[2].

Liquefacto! Верите ли вы, синьор Орсо, что свинцовая пуля расплавляется от быстроты своего полета в воздухе? Вы учились баллистике и, наверно, должны сказать мне: правда это или заблуждение?

Орсо предпочитал разобрать этот вопрос из физики, чем спорить с лиценциатом о нравственности его поступков. Бран-

---

[1] Корсиканцы, живущие в горах, презирают жителей Бастии и не считают их земляками. Они никогда не говорят о них *bastiese,* а всегда *bastiaccio;* известно, что окончание *accio* обычно употребляется в презрительном смысле.

[2] Он рассек ему расплавленным свинцом висок и распростер на песке *(лат.).*

долаччо, которого совсем не занимало это научное рассуждение, прервал его замечанием, что солнце скоро сядет.

— Так как вы, Орс Антон, не захотели обедать с нами, то я советую вам не заставлять ждать себя синьору Коломбу. Да и не всегда хорошо... бегать по дорогам, когда солнце село. Однако зачем вы ходите без ружья? В этих местах есть дурные люди, берегитесь! Сегодня вам нечего бояться. Барричини везут к себе префекта; они перехватили его по дороге, и он остановится на один день в Пьетранере, он едет в Корте «закладывать первый камень», как они это называют... Чепуха! Сегодня он ночует у Барричини, но завтра они будут свободны. Один — Винчентелло, негодный повеса, другой — Орландуччо, который нисколько не лучше. Постарайтесь застать их не вместе, сегодня одного, завтра другого; но предупреждаю, будьте осторожны.

— Благодарю за совет,— сказал Орсо,— но только нам с ними не о чем спорить; пока они сами не придут ко мне, у меня к ним нет дела.

Бандит высунул язык и щелкнул им с ироническим видом, но не ответил ничего. Орсо встал, чтобы идти.

— Кстати,— сказал Брандолаччо,— я не поблагодарил вас за порох: он пришелся мне очень кстати. Теперь мне ничего не нужно... то есть мне нужны башмаки, но их я на днях сделаю себе из муфлоновой кожи.

Орсо сунул в руку бандита две пятифранковые монеты.

— Порох прислала тебе Коломба, а это тебе на башмаки.

— Без глупостей, поручик! — воскликнул Брандолаччо, отдавая ему деньги.— Что я, нищий? Я беру хлеб и порох, но не хочу ничего другого.

— Я думал, что старым солдатам можно помогать друг другу. Ну, до свидания!

Но перед тем, как уйти, он незаметно положил деньги в сумку бандита.

— До свидания, Орс Антон! — сказал богослов.— Может быть, на днях мы встретимся в *маки* и опять будем штудировать Вергилия.

Уже с четверть часа, как оставил Орсо своих почтенных товарищей, и вдруг услышал, что кто-то изо всей мочи бежит за ним. Это был Брандолаччо.

— Это уж чересчур, поручик,— закричал он, задыхаясь,— право, чересчур! Вот ваши десять франков. Будь это кто-нибудь другой, я не спустил бы ему эту шалость. Кланяйтесь от меня синьоре Коломбе. Я из-за вас совсем запыхался. Покойной ночи.

Орсо нашел Коломбу немного встревоженной его долгим отсутствием, но, увидя его, она опять приняла свое обычное выражение спокойной грусти. За ужином они говорили только о маловажных вещах, и Орсо, ободренный спокойным видом сестры, рассказал ей о своей встрече с бандитами и рискнул даже немного подшутить над нравственным и религиозным воспитанием Килины, о котором заботились ее дядя и его почтенный сотоварищ, синьор Кастрикони.

— Брандолаччо честный человек,— сказала Коломба,— но о Кастрикони я слышала, что он человек без правил.

— Я думаю, что он вполне стоит Брандолаччо, а Брандолаччо стоит его,— сказал Орсо.— Оба ведут открытую войну с обществом. Одно преступление каждый день толкает их на новые. И, однако, они, может быть, виноваты не больше, чем многие из людей, не живущих в *маки*.

Молния радости блеснула на лице его сестры.

— Да,— продолжал Орсо,— у этих несчастных тоже есть честь своего рода. Их обрек на такую жизнь жестокий предрассудок, а не низкая алчность.

Несколько времени длилось молчание.

— Брат,— сказала Коломба, наливая ему кофе,— вы, может быть, знаете, что сегодня ночью умер Карло Баттиста Пьетри? Он умер от болотной лихорадки.

— Кто это Пьетри?

— Это один из здешних, муж Маддалены, той, что взяла записную книжку у нашего умиравшего отца. Она просила меня прийти побыть у мертвого и спеть что-нибудь. Нужно и вам пойти. Они наши соседи, и в этой вежливости нельзя отказать людям в таком маленьком местечке, как наше.

— Черт возьми! Я не желаю, чтобы моя сестра выступала в роли плакальщицы.

— Орсо,— возразила Коломба,— каждый чтит своих покойников по-своему. *Ballata* досталась нам от предков, и мы должны ценить ее, как древний обычай. У Маддалены нет дара, а старая Фьордиспина, наша лучшая *voceratrice,* больна. Нужно же кому-нибудь спеть *ballata.*

— Ты думаешь, Карло Баттиста не найдет дороги на тот свет, если кто-нибудь не споет над его гробом скверных стихов? Иди туда, если хочешь, Коломба; я пойду с тобой, если ты считаешь это нужным; но прошу тебя, сестра, не импровизируй, это неприлично в твои годы.

— Брат, я обещала. Вы знаете, что здесь такой обычай, и я повторяю вам, что, кроме меня, импровизировать некому.

— Глупый обычай!

— Мне самой тяжело петь. Это напоминает мне все наши несчастья. Завтра я заболею от этого, но идти нужно. Позвольте мне пойти, брат. Вспомните, что в Аяччо вы заставили меня импровизировать для забавы этой англичанки, смеющейся над нашими старыми обычаями. Неужели теперь мне нельзя сделать того же для бедных людей, которые будут мне за то благодарны и которым это поможет перенести их горе?

— Ну, делай, как знаешь! Держу пари, что ты уже сочинила свою *ballata* и не хочешь, чтобы она пропала даром.

— Нет, брат, я не могу сочинять заранее. Я становлюсь перед покойником и думаю о тех, что остались. У меня навертываются слезы, и я пою, что придет мне в голову.

Все это было сказано так просто, что невозможно было заподозрить в синьоре Коломбе ни тени авторского самолюбия. Орсо уступил и отправился вместе с сестрой в дом Пьетри. Покойник с непокрытым лицом лежал на столе в самой большой комнате. Двери и окна были отворены; множество свечей горело вокруг стола. В головах у покойника стояла вдова; толпа женщин занимала половину комнаты; на другой стороне с обнаженными головами стояли мужчины, пристально глядя на покойника и храня глубокое молчание. Каждый новый посетитель подходил к столу, целовал мертвого [1], кивал головой его вдове и сыну и, не говоря ни слова, занимал место в толпе. От времени до времени, однако, кто-нибудь из присутствующих нарушал молчание, обращаясь к покойнику с несколькими словами.

— Зачем ты покинул свою добрую жену? — говорила одна из женщин.— Разве она не заботилась о тебе? Чего тебе было нужно? Зачем ты не подождал еще месяц? Твоя сноха подарила бы тебе внука.

Высокий молодой человек, сын Пьетри, пожимая холодную руку отца, воскликнул:

— О, зачем ты умер не от *male morte?* [2] Мы бы отомстили за тебя!

Это были первые слова, которые услышал Орсо при входе. При виде его толпа раздалась, и слабый шепот любопытства показал, что приход *voceratrice* вызвал нетерпеливое оживление у собравшихся. Коломба поцеловалась с вдовой, взяла ее

---

[1] Этот обычай и сейчас еще существует в Боконьяно (1840).

[2] *La male morte* — насильственная смерть.

за руку и оставалась несколько минут погруженной в себя, с опущенными глазами. Потом она откинула *меццаро,* устремила на мертвого пристальный взгляд и, наклонясь над покойником, бледная, почти как он, начала:

— Карло Баттиста! Христос пусть примет твою душу! Жить — значит страдать. Ты идешь в страну, где нет ни солнца, ни холода. Тебе не нужно больше ни топора, ни твоей тяжелой мотыги. Тебе не нужно больше работать. Все дни для тебя с этих пор воскресенье. Карло Баттиста! Христос да упокоит твою душу! Твой сын хозяйничает в твоем доме. Я видела, как упал дуб, высушенный *libeccio* (южный ветер). Я думала, что он мертв. Я пришла в другой раз, и его корень пустил отпрыск. Отпрыск сделался дубом, широколиственным дубом. Отдыхай, Маддело́, под его мощными ветвями и думай о том дубе, которого уж нет.

Тут Маддалена начала громко рыдать, а два или три человека, способные при случае загубить христианскую душу так же хладнокровно, как куропатку, принялись утирать крупные слезы со своих загорелых щек.

Коломба несколько времени продолжала в том же роде, обращаясь то к покойнику, то к его семье, заставляя иногда посредством употребительной в надгробных *ballata* прозопопеи самого мертвеца утешать своих друзей или давать им советы. По мере того как она импровизировала, ее лицо приняло восторженное выражение и покрылось легким румянцем, от которого еще резче выступили белизна ее зубов и огонь расширившихся зрачков. Это была пифия на своем треножнике. Не считая нескольких вздохов и подавленных рыданий, в теснившейся вокруг нее толпе не было слышно ни малейшего шепота. Хотя на Орсо эта дикая поэзия не могла так действовать, но скоро и он почувствовал себя охваченным общим волнением. Отойдя в темный угол, он плакал, как и сын Пьетри.

Внезапно слушатели встрепенулись, толпа расступилась, и вошло несколько посторонних. По уважению, какое им оказывали, по торопливости, с какою им сейчас же очистили место, было видно, что это важные лица и что их присутствие делало дому особую честь. Однако из уважения к *ballata* никто не сказал им ни слова. Первому из вошедших было лет сорок. По черному фраку, красной ленточке в петлице, по внушительному и уверенному виду в нем сразу можно было угадать префекта. За ним шел сгорбленный старик с желчным лицом; он

плохо скрывал за зелеными очками свой боязливый и беспокойный взгляд. На нем был черный, слишком широкий для него фрак, хотя и совсем еще новый, но, очевидно, сделанный много лет назад. Он держался около префекта, и о нем можно было бы сказать, что он хочет спрятаться в его тени. После него вошли двое молодых людей высокого роста, с загорелыми лицами, со щеками, обросшими густыми бакенбардами, с гордыми, надменными глазами, выражавшими наглое любопытство. У Орсо было довольно времени, чтобы забыть лица людей своей деревни, но вид старика в зеленых очках тотчас же пробудил в нем старые воспоминания. Уже одно то, что старик держался все время около префекта, говорило о том, кто он. Это был адвокат Барричини, мэр Пьетранеры, пришедший вместе со своими двумя сыновьями, чтобы дать префекту случай послушать *ballata*. Трудно определить, что происходило в эту минуту в душе Орсо, но присутствие врага возбудило в нем какое-то отвращение, и он больше, чем когда-нибудь, почувствовал себя доступным для подозрений, с которыми долго боролся.

При виде человека, в смертельной ненависти к которому Коломба поклялась, подвижное лицо ее тотчас же приняло зловещее выражение. Она побледнела; ее голос стал хриплым, начатый стих замер у нее на устах... Но скоро она с новой силой возобновила свою *ballata:*

— Когда ястреб жалобно кричит над своим пустым гнездом, скворцы вьются вокруг, насмехаясь над его горем.

Тут послышался сдавленный смех; это смеялись только что пришедшие молодые люди, вероятно, найдя метафору слишком смелою.

— Ястреб проснется, он расправит крылья, он омочит клюв в крови. А ты, Карло Баттиста,— пусть твои друзья скажут тебе последнее прости. Довольно текли их слезы. Одна только бедная сирота не будет плакать. Зачем ей плакать о тебе? Ты уснул во цвете лет, среди своей семьи, готовый явиться перед Всемогущим. Сирота плачет о своем отце, застигнутом подлыми убийцами, пораженном в спину,— об отце, чья кровь краснеет под кучей зеленых листьев. Но она собрала его кровь — благородную и невинную кровь, она разлила ее по Пьетранере, чтобы она стала смертельным ядом. И Пьетранера будет заклеймена, пока виновная кровь не смоет следа невинной.

С этими словами Коломба упала на стул, спустила *mezzaro* на лицо и зарыдала. Женщины в слезах теснились вокруг импровизаторши. Многие из мужчин бросали свирепые взгляды на мэра и его сыновей, некоторые старики роптали на то, что они сюда пришли. Сын покойного протиснулся сквозь толпу и хотел просить мэра как можно скорее уйти, но тот не стал дожидаться этого предложения. Когда он добрался до двери, его сыновья были уже на улице. Префект сказал молодому Пьетри несколько слов соболезнования и почти тотчас же вышел вслед за ними. Орсо приблизился к сестре, взял ее за руку и увлек из залы.

— Проводите их,— сказал молодой Пьетри своим друзьям,— смотрите, чтобы с ними ничего не случилось!

Двое или трое молодых людей быстро сунули свои стилеты в левые рукава курток и проводили Орсо и его сестру до дверей их дома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Задыхающаяся, измученная Коломба была не в состоянии вымолвить ни слова. Голова ее лежала на плече брата; она крепко сжимала ему руку. Несмотря на то, что Орсо сердился на нее за конец *ballata,* он был слишком встревожен, чтобы сделать ей хотя бы малейший упрек. Он молча ждал конца ее нервного припадка, как вдруг отворилась дверь, и перепуганная Саверия вошла и объявила: «Господин префект!» При этом возгласе Коломба, как бы стыдясь своей слабости, встала, опираясь на стул; видно было, как он дрожал под ее рукой.

Префект начал с нескольких банальных извинений за свой несвоевременный визит, выразил сочувствие синьоре Коломбе, упомянул об опасности сильного волнения, высказал порицание обычаю погребальных причитаний, заметил, что талант *voceratrice* усиливает мрак в душе присутствующих, и ловко ввернул легкий упрек содержанию последней импровизации. Потом, изменив тон, он сказал:

— Господин делла Реббиа, я должен передать вам множество приветствий от ваших английских друзей. Мисс Невиль кланяется синьоре Коломбе. У меня есть для вас от нее письмо.

— Письмо от мисс Невиль? — воскликнул Орсо.

— К несчастью, оно не со мной; но оно будет у вас через пять минут. Ее отец был болен. Одно время мы боялись, что он

не выдержит наших ужасных лихорадок. К счастью, теперь он вне опасности, в чем вы убедитесь сами, так как, я думаю, вы скоро увидитесь с ним.

— Мисс Невиль, вероятно, очень беспокоилась?

— К счастью, она узнала об опасности, когда та была уже далека. Господин делла Реббиа, мисс Невиль много говорила мне о вас и о вашей сестре.— Орсо слегка поклонился.— Она очень расположена к вам обоим. Под внешностью, полной грации, под видимою ветреностью в ней кроется весьма здравый ум.

— Это прелестная особа,— сказал Орсо.

— Я здесь почти по ее просьбе. Никто не знает лучше меня роковой истории, о которой мне не хотелось бы напоминать вам. Так как господин Барричини все еще мэр Пьетранеры, а я префект департамента, то мне не нужно говорить вам, как я смотрю на известные подозрения, которые, если справедливо то, что мне передавали, внушали вам некоторые неблагоразумные лица и которые вы, как мне известно, отвергли с негодованием, какого и следовало ожидать от вашего звания и нрава.

— Коломба,— сказал Орсо и задвигался на стуле,— ты устала. Пойди ляг.

Коломба отрицательно покачала головой. Она успела принять свой обычный, спокойный вид, не отводя, однако, горящих глаз от префекта.

— Господин Барричини,— продолжал префект,— стремится прекратить эту, как бы сказать, вражду... то есть это неопределенное положение, в каком вы оба находитесь. Что касается меня, то я буду в восторге, если между вами возникнут отношения, какие должны быть между людьми, созданными, чтобы уважать друг друга.

— Господин префект,— взволнованно перебил Орсо,— я никогда не обвинял адвоката Барричини в убийстве моего отца, но он совершил поступок, который всегда будет мешать мне иметь с ним какие бы то ни было отношения. Он написал подложное угрожающее письмо от имени известного бандита или, по крайней мере, негласно приписал его моему отцу. Наконец, милостивый государь, это письмо, вероятно, было косвенной причиной смерти отца.

Префект некоторое время собирался с мыслями.

— Что ваш отец верил этому, когда, увлекаемый живостью своего характера, он подал жалобу на Барричини,— это было извинительно, но нельзя допустить подобное ослепление

с вашей стороны... Я не говорю о характере Барричини. Вы его совсем не знаете, вы предубеждены против него... но не думайте, чтобы человек, хорошо знающий законы...

— Но, милостивый государь,— сказал Орсо, вставая,— примите в соображение, что сказать: «Это письмо не есть дело рук господина Барричини» — значит приписать его моему отцу. Его честь — моя честь.

— Никто не уверен так, как я, в чести полковника делла Реббиа,— продолжал префект,— но... автор этого письма теперь известен...

— Кто? — воскликнула Коломба, подступая к префекту.

— Один негодяй, виновный во многих преступлениях, которые вы, корсиканцы, не прощаете, вор, некто Томмазо Бьянки, содержащийся теперь в тюрьме в Бастии, показал, что он автор этого рокового письма.

— Я не знаю этого человека,— сказал Орсо.— Какая у него могла быть цель?

— Это здешний,— сказала Коломба,— брат нашего прежнего мельника. Это негодяй и лгун, не внушающий доверия.

— Вы увидите,— продолжал префект,— почему он в этом заинтересован. Мельник, о котором говорит ваша сестра,— его звали, кажется, Теодоро — арендовал у полковника мельницу, стоявшую на том самом ручье, права на который оспаривал Барричини. Полковник по свойственному ему великодушию не извлекал из мельницы почти никакой выгоды. Томмазо и подумал, что если Барричини завладеет ручьем, то заставит платить значительную аренду: известно, что Барричини любит деньги. Словом, чтобы сделать одолжение брату, Томмазо подделал письмо бандита, вот и вся история! Вы знаете: на Корсике семейные узы так сильны, что иногда толкают человека на преступление... Не угодно ли вам познакомиться вот с этим письмом ко мне от помощника генерального прокурора? Оно подтвердит вам только что сказанное мною.

Орсо пробежал письмо, подробно излагавшее признание Томмазо; Коломба читала его из-за плеча брата.

Прочитав, она закричала:

— Орландуччо Барричини ездил в Бастию месяц тому назад, когда стало известно, что мой брат скоро вернется. Он виделся с Томмазо и купил у него эту ложь.

— Синьора,— с нетерпением в голосе сказал префект,— вы объясняете все гнусными подлогами; разве это — средство узнать истину? Вы, господин делла Реббиа, вы благоразумнее: скажите мне, что вы теперь думаете? Верите ли вы, как верит

синьора, что человек, которому грозит нестрогое наказание, с легким сердцем возведет на себя обвинение в подлоге, чтобы сделать одолжение кому-то, кого он не знает?

Орсо внимательно перечитал письмо помощника прокурора, взвешивая каждое слово, потому что с тех пор, как он увидел адвоката Барричини, он почувствовал, что теперь ему труднее убедить себя, чем несколько дней назад. Наконец он был вынужден сознаться, что объяснение кажется ему удовлетворительным. Но Коломба решительно воскликнула:

— Томмазо Бьянки — обманщик! Он не будет осужден или убежит из тюрьмы, я уверена.

Префект пожал плечами.

— Я передал вам, господин делла Реббиа, полученные мною сведения,— сказал он.— Я удаляюсь и советую вам подумать. Я буду ждать, что ваш здравый смысл просветит вас, и надеюсь, что он окажется сильнее догадок вашей сестры.

Орсо, сказав несколько слов в оправдание Коломбы, повторил, что теперь он верит, что единственный виновник — Томмазо.

Префект встал, чтобы уйти.

— Если бы не было так поздно,— сказал он,— я предложил бы вам пойти вместе со мною за письмом мисс Невиль. Вы могли бы сказать Барричини то, что вы только что сказали мне, и все было бы кончено.

— Никогда Орсо делла Реббиа не войдет в дом Барричини! — гневно воскликнула Коломба.

— Ваша сестрица, как видно, *tintinajo* [1] своей семьи? — с насмешливым видом спросил префект.

— Милостивый государь,— твердым голосом сказала Коломба,— вас обманывают. Вы не знаете адвоката. Это самый хитрый, самый лукавый человек на свете. Заклинаю вас, не заставляйте Орсо совершить поступок, который покроет его позором.

— Коломба! — закричал Орсо.— Ты совсем с ума сошла!

— Орсо, Орсо! Ради шкатулки, которую я вам дала, умоляю вас: выслушайте меня! Между нами и Барричини кровь; вы не пойдете к ним!

— Сестра!

---

[1] Так называется баран с колокольчиком, вожак стада; так же в переносном смысле называют того из членов семьи, кто руководит ею во всех важных делах.

— Нет, брат, вы не пойдете, или я уйду из этого дома, и вы никогда не увидите меня... Орсо, сжальтесь надо мной!

И она упала на колени.

— Я в отчаянии,— сказал префект,— что синьора Коломба так неблагоразумна. Я уверен, что вы убедите ее.

Он отворил дверь и остановился, ожидая, что Орсо пойдет за ним.

— Я не могу оставить ее теперь,— сказал Орсо.— Завтра, если...

— Я еду очень рано,— сказал префект.

— По крайней мере, брат, подождите до завтрашнего утра! — воскликнула Коломба, сложив руки.— Дайте мне пересмотреть бумаги отца... Вы не можете отказать мне в этом.

— Хорошо, ты посмотришь их сегодня вечером, но, по крайней мере, не будешь мучить меня потом этой сумасбродной ненавистью... Простите, господин префект... Я и сам чувствую себя так дурно... Лучше завтра.

— Утро вечера мудренее,— сказал префект, уходя.— Я надеюсь, что завтра вся ваша нерешительность пройдет.

— Саверия! — закричала Коломба.— Возьми фонарь и проводи господина префекта. Он отдаст тебе письмо для моего брата.

Она прибавила несколько слов, которые услышала только Саверия.

— Коломба,— сказал Орсо, когда префект ушел,— ты очень огорчила меня. Доколе ты будешь возражать против очевидности?

— Вы дали мне срок до завтра,— ответила она.— У меня очень мало времени, но я еще не теряю надежды.

Она взяла связку ключей и побежала в одну из комнат верхнего этажа. Слышно было, как она стремительно выдвигала ящики и рылась в конторке, в которую полковник делла Реббиа запирал свои важные бумаги.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Саверия долго не возвращалась, и нетерпение Орсо достигло крайнего предела, когда она явилась с письмом, ведя за собой маленькую Килину, протиравшую себе глаза, потому что ее разбудили, когда она только-только успела заснуть.

— Девочка,— сказал Орсо,— что ты так поздно?

— Барышня за мной послала,— ответила Килина.

«Зачем она ей?» — подумал Орсо, но поторопился распечатать письмо мисс Лидии. Килина поднялась к его сестре.

«Мой отец был немного болен,— писала мисс Невиль,— а кроме того, он так ленив на письма, что я должна служить ему секретарем. Вы знаете, что тогда на морском берегу он промочил себе ноги, вместо того чтобы восхищаться с нами видом, а этого на Вашем прекрасном острове совершенно достаточно, чтобы схватить лихорадку. Я отсюда вижу Вашу мину: Вы, без сомнения, ищете свой стилет, но я надеюсь, что другого у вас нет. Итак, у отца была небольшая лихорадка, а я была в большом волнении; префект — я упорно продолжаю находить его очень любезным — прислал нам тоже очень любезного доктора, который в два дня избавил нас от беспокойства: приступ не возобновился, и отец опять мечтает об охоте, но я ему еще не позволяю. Как Вы нашли свой горный замок? На месте ли Ваша северная башня? Много ли там привидений? Я спрашиваю Вас обо всем этом потому, что отец помнит, что Вы обещали ему ланей, кабанов, муфлонов... так зовут это странное животное? Отправляясь в Бастию, мы рассчитываем просить Вашего гостеприимства, и я надеюсь, что замок делла Реббиа, хотя и старый и разрушенный, как Вы говорите, не рухнет на нас. Хотя префект так любезен, что, говоря с ним, никогда не чувствуешь недостатка в предметах для разговора (*by the by*[1], мне кажется, что я вскружила ему голову), мы говорили о Вас, господин Орсо. Бастийские юристы прислали ему показание какого-то плута, которого они держат под замком; это показание такого свойства, что может уничтожить Ваши последние подозрения; Ваша вражда, которая иногда меня беспокоила, должна теперь кончиться. Вы не можете представить себе, какое это доставило бы мне удовольствие. Когда Вы отправились с прекрасной *voceratrice*, с ружьем в руках и с мрачным взглядом, Вы показались мне больше корсиканцем, чем всегда... даже слишком корсиканцем. *Basta*[2], я пишу Вам об этом так подробно, потому что скучаю. Префект, увы, уезжает. Мы пошлем к Вам нарочного, когда поедем в Ваши горы, и я осмелюсь написать синьоре Коломбе и попросить ее приготовить нам *bruccio, ma solenne*[3]. Покуда передайте ей от меня

---

[1] Между прочим *(англ.)*.
[2] Довольно *(итал.)*.
[3] Сыр по всем правилам искусства *(итал.)*.

душевный привет. Я нашла отличное применение ее стилету: я разрезаю им привезенный с собою роман; но это ужасное оружие негодует на такое употребление и самым безжалостным образом рвет мою книгу. Прощайте; отец посылает Вам *his best love* [1]. Послушайтесь префекта; он даст Вам добрый совет и, мне кажется, свернет с дороги ради Вас; он едет на закладку в Корте; я думаю, что это должно быть очень внушительное зрелище, и мне очень жаль, что я не могу присутствовать при нем. Господин префект в вышитом мундире, в шелковых чулках, в белом шарфе, с лопаткой каменщика в руках!.. И речь!.. Церемония кончится тысячу раз повторенными криками: «Да здравствует король!» Вы будете очень тщеславиться тем, что заставили меня заполнить четыре страницы, но я, милостивый государь, еще раз повторяю: мне скучно, и потому я позволяю Вам писать мне весьма пространно. Кстати, я очень удивлена, что Вы до сих пор не сообщили мне о своем благополучном прибытии в Пьетранера-Кэстл.

Лидия.

P. S. Прошу Вас, слушайтесь префекта и делайте то, что он Вам скажет. Мы вместе решили, что Вы должны так действовать,— доставьте мне удовольствие».

Орсо перечитал это письмо три или четыре раза, всякий раз сопровождая его бесчисленными комментариями, потом написал длинный ответ и приказал Саверии отнести его к одному из жителей деревни, который в ту же ночь ехал в Аяччо. Он уже совсем не думал разбирать с сестрой действительные или воображаемые обиды Барричини: письмо мисс Лидии окрасило для него все в розовый цвет, в его сердце не было больше места ни для подозрений, ни для ненависти.

Подождав несколько времени, не сойдет ли вниз сестра, и так и не дождавшись, он ушел спать с таким облегчением, какого давно не испытывал. Коломба, отпустив Килину с тайными приказаниями, провела бóльшую часть ночи в чтении старых бумаг. Незадолго до рассвета кто-то бросил несколько маленьких камешков в ее окно; по этому сигналу она сошла в сад, отворила потайную калитку и ввела в дом двух человек очень подозрительной наружности; прежде всего она позаботилась отвести их на кухню и дать им поесть. Кто были эти люди — сейчас узнаем.

---

[1] Свой сердечный привет *(англ.)*.

Утром около шести часов слуга префекта постучался у дома Орсо. Принятый Коломбою, он сказал, что префект сейчас едет и ждет ее брата. Коломба, не колеблясь, ответила, что ее брат только что упал с лестницы и вывихнул себе ногу, что, не будучи в состоянии ступить шагу, он умоляет г-на префекта извинить его и будет очень признателен ему, если он будет так добр, что потрудится прийти. Вскоре после этого Орсо спустился вниз и спросил у сестры, не присылал ли за ним префект.

— Он просил вас подождать здесь,— ответила она самым уверенным тоном.

Прошло полчаса, но в доме Барричини не было заметно ни малейшего движения; тем временем Орсо спросил у сестры, не сделала ли она какого-нибудь открытия; она ответила, что все расскажет префекту. Она была очень спокойна, но цвет лица и глаза выдавали лихорадочное волнение.

Наконец отворилась дверь в доме Барричини; префект в дорожном платье вышел первым; за ним шел мэр со своими двумя сыновьями. Велико было изумление пьетранерских обывателей, карауливших с восхода солнца отъезд первого чиновника в департаменте, когда они увидели, как он в сопровождении троих Барричини пересек площадь и вошел в дом делла Реббиа.

— Они мирятся! — закричали деревенские политики.

— Я говорил вам,— прибавил один старик.— Орсо Антонио слишком долго жил на континенте, чтобы поступить решительно.

— Однако,— возразил один реббианист,— заметьте, что ведь Барричини идут к нему. Они просят прощения.

— Это префект одурачил их всех,— отвечал старик,— теперь уже нет мужества в людях, и юноши так же мало заботятся об отцовской крови, как если бы все они были незаконными детьми.

Префект был немного удивлен, увидя, что Орсо на ногах и ходит совершенно свободно. Коломба созналась в своей лжи и попросила извинения.

— Если бы вы остановились в другом месте, господин префект,— сказала она,— то брат еще вчера пошел бы засвидетельствовать вам свое почтение.

Орсо рассыпался в извинениях, уверяя, что он ни при чем в этой нелепой хитрости, которая его глубоко оскорбила.

Префект и старик Барричини, казалось, верили искренности его сожалений, доказывавшейся и его смущением, и упреками, обращенными к сестре, но сыновья мэра не были удовлетворены.

— Над нами издеваются! — сказал Орландуччо настолько громко, чтобы его услышали.

— Если бы моя сестра сыграла со мной подобную шутку,— сказал Винчентелло,— я скоро отбил бы у нее охоту повторить ее.

Эти слова и тон, которым они были произнесены, не понравились Орсо и испортили ему настроение. Он обменялся с молодыми Барричини взорами, отнюдь не выражавшими благосклонности.

Тем временем все сели, кроме Коломбы, которая стояла у дверей в кухню. Префект заговорил и после нескольких общих фраз о предрассудках страны напомнил, что в большинстве случаев самая закоренелая вражда основана только на недоразумении. Потом, обращаясь к мэру, он сказал ему, что господин делла Реббиа никогда не верил, что семейство Барричини принимало прямое или косвенное участие в плачевном событии, лишившем его отца; что, правда, он питал некоторые сомнения относительно одной частности процесса, шедшего между двумя семействами, что эти сомнения объяснялись долгим отсутствием г-на Орсо и характером полученных им известий; что, убежденный последними показаниями, он считает себя совершенно удовлетворенным и желал бы вступить с г-ном Барричини и его семейством в дружеские и добрососедские отношения.

Орсо принужденно поклонился; Барричини пробормотал несколько слов, которых никто не расслышал, его сыновья смотрели в потолок. Префект готов был обратиться к Орсо с продолжением речи, которую он начал, обращаясь к Барричини, как вдруг Коломба, вынув из-под косынки несколько бумаг, важно подошла и стала между договаривающимися сторонами.

— Я с искренним удовлетворением увижу конец войны между нашими двумя семействами,— сказала она,— но чтобы примирение было полным, нужно объясниться и ничего не оставлять под сомнением... Господин префект, я имела полное право считать показание Томмазо Бьянки подозрительным, так как оно исходит от человека с такой дурной славой... Я сказала, что сыновья синьора Барричини, может быть, видели этого человека в Бастии, в тюрьме...

— Это ложь,— перебил Орландуччо,— я его не видел.

Коломба бросила на него презрительный взгляд и продолжала, по-видимому, очень спокойно:

— Вы объяснили цель, с какой Томмазо угрожал синьору Барричини, желанием сберечь для своего брата Теодора мельницу, которую мой отец отдавал ему внаем за дешевую цену.

— Это ясно,— сказал префект.

— От такого негодяя, как этот Бьянки, всего можно ожидать! — сказал Орсо, обманутый наружным спокойствием своей сестры.

— Подлинное письмо помечено одиннадцатым июля,— продолжала Коломба, и глаза ее заблестели ярче.— Томмазо тогда был у своего брата на мельнице.

— Да,— сказал мэр с некоторым беспокойством.

— Какая же выгода была Томмазо Бьянки? — воскликнула Коломба торжествующе.— Срок аренды его брата истек первого июля, мой отец не возобновил с ним договора. Вот запись моего отца, вот расторжение, вот письмо одного делового человека из Аяччо, предлагавшего нам нового мельника.

И, говоря это, она подала префекту бумаги.

Все были удивлены. Мэр заметно побледнел. Орсо, нахмурив брови, подошел, чтобы посмотреть бумаги, которые префект очень внимательно читал.

— Над нами издеваются! — воскликнул снова Орландуччо, вставая в гневе.— Пойдем отсюда, отец, нам не нужно было приходить сюда.

Барричини довольно было мгновения, чтобы успокоиться. Он попросил посмотреть бумаги, префект, не говоря ни слова, подал их ему. Тогда, подняв на лоб свои зеленые очки, он пробежал бумаги с довольно равнодушным видом. Коломба в это время смотрела на него глазами тигрицы, видящей, как лань приближается к логовищу ее детенышей.

— Но...— сказал Барричини, опуская свои очки и передавая бумаги префекту,— зная доброту покойного полковника, Томмазо подумал... Он, должно быть, надеялся... что господин полковник передумает отбирать мельницу... И действительно, он удержал за собой мельницу, следовательно...

— Это я оставила ее за ним,— сказала Коломба презрительным тоном.— Мой отец умер, и мне в моем положении нужно было беречь клиентов.

— Однако,— сказал префект,— этот Томмазо признался, что он написал письмо. Это ясно...

— Для меня ясно то,— перебил Орсо,— что во всем этом деле кроется много всяких подлостей.

— У меня есть еще кое-что, противоречащее уверениям этих господ,— сказала Коломба.

Она отворила дверь в кухню, и тотчас же в залу вошли Брандолаччо, лиценциат богословия и пес Бруско. Оба бандита были безоружны, по крайней мере с виду; на поясах у них были одни патронташи без пистолетов, составляющих их необходимое дополнение. Войдя в залу, они почтительно сняли шапки.

Невозможно представить себе эффект, произведенный их внезапным появлением. Мэр едва не упал навзничь; его сыновья храбро заслонили его, опустив руки в карманы за стилетами. Префект шагнул к двери, а Орсо схватил Брандолаччо за ворот, крича:

— Чего тебе здесь нужно, подлец?

— Это засада! — кричал мэр, пытаясь отворить дверь, но, как потом оказалось, Саверия по приказанию бандитов заперла ее снаружи.

— Добрые люди! — сказал Брандолаччо.— Не бойтесь меня: я вовсе не такой черт, каким кажусь с виду. У нас нет никакого злого умысла. Господин префект, я ваш покорнейший слуга... Осторожнее, поручик, а то вы меня задушите... Мы пришли сюда как свидетели. Ну, патер, говори ты: у тебя язык без костей.

— Господин префект,— сказал лиценциат,— я не имею чести быть с вами знакомым. Я Джоканто Кастрикони, более известный под именем патера. Теперь вы понимаете, с кем имеете дело? Синьора, которую я также не имел счастья знать, передала мне просьбу сообщить ей, что́ мне известно о некоем Томмазо Бьянки, вместе с которым я сидел три недели тому назад в тюрьме в Бастии. Вот что я могу вам сказать...

— Не трудитесь,— сказал префект,— я не желаю слушать такого человека, как вы... Господин делла Реббиа, я все еще хотел бы думать, что вы ни при чем в этом гнусном заговоре. Но хозяин ли вы в своем доме? Прикажите отпереть эту дверь. Вашей сестре, может быть, придется отдать отчет в ее странных сношениях с бандитами.

— Господин префект! — воскликнула Коломба.— Удостойте выслушать, что скажет этот человек. Вы здесь затем, чтобы оказать всем правосудие, и искать правду — ваша обязанность. Говорите, Джоканто Кастрикони.

— Не слушайте его! — закричали хором трое Барричини.

— Если все будут говорить разом,— сказал бандит, улыбаясь,— то мы друг друга не поймем... Этот Томмазо, о кото-

ром идет речь, был в тюрьме моим товарищем — не другом. Его часто там посещал синьор Орландуччо.

— Это ложь! — закричали разом оба брата.

— Два отрицания равны утверждению,— холодно заметил Кастрикони.— У Томмазо были деньги; он ел и пил в свое удовольствие. Я всегда любил хорошо поесть (это еще не худший из моих недостатков), и, несмотря на то, что мне было противно общаться с этим негодяем, я много раз позволял себе обедать с ним. В благодарность я предложил ему бежать со мною... Одна малютка... к которой я был благосклонен... доставила мне средства для этого... Я не хочу никого компрометировать... Томмазо отказался, он объявил мне, что он за себя не боится, что адвокат Барричини просил за него всех судей, что он выйдет из тюрьмы белее снега и с деньгами в кармане. Что касается до меня, то я решил подышать свежим воздухом. *Dixi* [1].

— Все, что сказал этот человек, от первого до последнего слова, ложь,— решительно повторил Орландуччо.— Если бы мы были в чистом поле, каждый со своим ружьем, он не говорил бы так.

— Вот это уж глупо! — воскликнул Брандолаччо.— Не ссорьтесь с патером, Орландуччо.

— Да выпустите ли вы меня наконец отсюда, господин делла Реббиа? — сказал префект, топая от нетерпения ногой.

— Саверия, Саверия! — кричал Орсо.— Отвори дверь, черт тебя возьми!

— Минутку,— сказал Брандолаччо.— Уходить надо сперва нам. Господин префект, когда люди встречаются у общих друзей, то, по обычаю, дают друг другу полчаса перемирия.

Префект бросил на него презрительный взгляд.

— Слуга всей честной компании,— сказал Брандолаччо. И, вытянув горизонтально руку, он приказал своей собаке:

— Ну, Бруско, прыгни в честь господина префекта.

Пес прыгнул, бандиты проворно забрали на кухне свое оружие, убежали через сад, и по резкому свистку дверь залы отворилась как будто волшебством.

— Синьор Барричини,— сказал Орсо со скрытой яростью,— я считаю вас за мошенника. Сегодня же я пошлю на вас королевскому прокурору жалобу с обвинением в подлоге и

---

[1] Я кончил *(лат.)*.

сообщничестве с Бьянки. Может быть, у меня найдется против вас и более тяжкая улика.

— А я, синьор делла Реббиа, подам на вас жалобу с обвинением в засаде и сообщничестве с бандитами. А покуда господин префект прикажет жандармам задержать вас.

— Префект исполнит свой долг,— сказал префект строгим тоном.— Он будет следить, чтобы в Пьетранере не был нарушен порядок; он позаботится, чтобы правосудие совершилось. Я говорю это вам всем, господа!

Мэр и Винчентелло уже вышли из залы, а Орландуччо пятился к дверям. Орсо сказал ему тихо:

— Ваш отец — старик, и я раздавил бы его пощечиной. Я назначаю ее вам и вашему брату.

Вместо ответа Орландуччо выхватил стилет и, как бешеный, бросился на Орсо, но прежде, чем он мог пустить в дело свое оружие, Коломба схватила его за руку и скрутила ее, а Орсо, ударив его кулаком по лицу, отбросил на несколько шагов, так что тот сильно стукнулся о косяк двери. Стилет выпал из руки Орландуччо, но у Винчентелло был свой, и он вернулся в комнату. Коломба, схватив ружье, доказала ему, что борьба неравна. Префект стал между врагами.

— До скорого свидания, Орс Антон! — закричал Орландуччо. И, яростно хлопнув дверью, он запер ее на ключ, чтобы дать себе время уйти.

Орсо и префект с четверть часа молча сидели в разных концах залы. Коломба с торжеством победителя смотрела то на того, то на другого, опираясь на ружье, решившее исход дела.

— Какой край! Какой край! — воскликнул, стремительно вставая, префект.— Господин делла Реббиа, вы виноваты. Дайте мне честное слово в том, что вы воздержитесь от всякого насилия и будете ждать, пока суд не решит этого проклятого дела.

— Да, господин префект, я виноват, я ударил этого негодяя. Но раз я его ударил, я не могу отказать ему в удовлетворении, которого он потребует.

— О нет, он не захочет драться с вами... Но если он вас убьет... вы сделали для этого все.

— Мы будем беречься,— сказала Коломба.

— Орландуччо, мне кажется, храбрый малый,— сказал Орсо,— и я думаю о нем лучше, господин префект. Он выхватил свой стилет, но на его месте я, может быть, сделал бы то же, и счастлив я, что у сестры не дамская ручка.

— Вы не будете драться! — воскликнул префект.— Я запрещаю вам!

— Позвольте сказать вам, милостивый государь, что в деле чести я не признаю никакого авторитета, кроме своей совести.

— Я говорю вам, что вы не будете драться.

— Вы можете арестовать меня, господин префект... то есть если я дамся. Но и в этом случае вы только отсрочите неизбежное дело. Вы понимаете, что такое честь, господин префект, и хорошо знаете, что иначе и быть не может.

— Если вы прикажете арестовать брата,— прибавила Коломба,— то половина деревни вступится за него, и у нас будет славная перестрелка.

— Предупреждаю вас, господин префект, и умоляю вас не думать, что это пустая угроза, предупреждаю вас, что, если Барричини злоупотребит своею властью мэра и прикажет меня арестовать, я буду защищаться.

— С этого дня,— сказал префект,— Барричини некоторое время не будет исполнять свои обязанности. Я надеюсь, что он оправдается... Послушайте, господин делла Реббиа, я принимаю в вас участие. Я прошу у вас очень немногого: не выходите из дома до моего возвращения из Корте; я проезжу только три дня; я возвращусь с королевским прокурором, и мы разберем это печальное дело. Обещаете ли вы до тех пор воздерживаться от каких бы то ни было враждебных действий?

— Я не могу обещать вам этого,— я думаю, что Орландуччо вызовет меня на дуэль.

— Как, вы, французский офицер, вы будете драться с человеком, которого вы подозреваете в подлоге?

— Я ударил его, милостивый государь.

— Но если б вы ударили каторжника и он стал бы требовать от вас удовлетворения, неужели вы бы дрались с ним? Полноте, господин Орсо! Ну хорошо, я прошу у вас еще меньшего: не ищите встречи с Орландуччо... Я позволю вам драться, если он вызовет вас.

— Я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня вызовет, но я обещаю, что не дам ему еще пощечины, чтобы побудить его драться.

— Какой край! — повторял префект, расхаживая большими шагами.— Когда же я вернусь во Францию?

— Господин префект,— сказала Коломба самым нежным голосом,— уже поздно; не сделаете ли вы нам честь позавтракать с нами?

Префект не мог удержаться от смеха.

— Я здесь уже слишком долго; это будет похоже на пристрастие... И этот проклятый «первый камень»!.. Мне нужно ехать... Синьора делла Реббиа, виновницей скольких несчастий вы, может быть, стали сегодня.

— По крайней мере, господин префект, вы должны отдать сестре справедливость в том, что ее доказательства вески, и я уверен, вы согласитесь, что они хорошо обоснованы.

— До свидания, господин делла Реббиа,— сказал префект, делая ему прощальный знак рукой.— Предупреждаю вас, что я прикажу жандармскому бригадиру следить за каждым вашим шагом.

Когда префект вышел, Коломба сказала:

— Орсо, вы здесь не на континенте. Орландуччо ничего не смыслит в ваших дуэлях, да, кроме того, этот негодяй и не должен умереть смертью храбрых.

— Коломба, милая моя, ты сильная женщина. Я обязан тебе спасением от доброго удара ножом. Дай мне твою маленькую ручку, я ее поцелую, но, видишь ли, я буду действовать сам. Есть вещи, которых ты не понимаешь. Дай мне позавтракать и, как только уедет префект, прикажи позвать ко мне маленькую Килину, которая, кажется, чудесно исполняет поручения. Мне она нужна, чтобы снести одно письмо.

Пока Коломба присматривала за приготовлениями к завтраку, Орсо поднялся в свою комнату и написал следующую записку:

«Вы, вероятно, с нетерпением ждете нашей встречи, точно так же, как и я. Завтра утром мы можем встретиться в долине Аквавива. Я очень хорошо владею пистолетом и не предлагаю Вам этого оружия. Говорят, что Вы хорошо стреляете из ружья; возьмем каждый по двуствольному ружью. Я приду с кем-нибудь из деревни. Если Ваш брат пойдет с Вами, то возьмите другого свидетеля и предупредите меня. Только в этом случае у меня тоже будут два свидетеля.

Орсо Антонио делла Реббиа».

Префект, пробыв около часа у помощника мэра и зайдя на несколько минут к Барричини, отправился в Корте в сопровождении только одного жандарма. Четверть часа спустя Килина отнесла письмо, только что прочитанное читателем, и передала его Орландуччо в собственные руки.

Ответа долго не было; он пришел только вечером. Он был подписан Барричини-отцом, который извещал Орсо, что он

препроводит письмо с угрозами его сыну к королевскому прокурору. «Я жду с чистой совестью,— прибавлял он в конце,— что скажет правосудие о Вашей клевете».

Между тем пять или шесть пастухов, призванных Коломбой, пришли и заняли башню делла Реббиа. Несмотря на протесты Орсо, в его окнах, выходящих на площадь, устроили *archere,* и целый вечер к нему являлись жители местечка с предложением услуг. Пришло письмо даже от бандита-богослова, который от своего имени и от имени Брандолаччо обещал вступиться, если мэр призовет на помощь жандармов. Он кончал письмо следующим постскриптумом: «Осмелюсь спросить Вас, что думает господин префект о превосходном воспитании, которое дал мой друг псу Бруско. После Килины, я не знаю ученика, более послушного и более способного».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Следующий день прошел без враждебных действий. Обе стороны придерживались оборонительной тактики. Орсо не выходил из своего дома, и дверь Барричини была постоянно заперта. Пятеро жандармов, оставленных в Пьетранере в качестве гарнизона, прогуливались по площади или вокруг деревни в сопровождении полевого сторожа, единственного представителя местной стражи. Помощник мэра не снимал с себя шарфа; но, кроме *archere,* в окнах враждующих домов ничто не указывало на войну. Только корсиканец заметил бы, что на площади около зеленого дуба были одни женщины.

Перед ужином Коломба с радостью показала Орсо следующее письмо, только что полученное ею от мисс Невиль:

«Дорогая синьора Коломба, я с большим удовольствием узнала из письма Вашего брата, что Ваша вражда окончилась. Поздравляю Вас. Мой отец не может выносить Аяччо с тех пор, как здесь нет Вашего брата, и ему не с кем говорить о войне и охотиться. Мы отправляемся сегодня и будем ночевать у Вашей родственницы, к которой у нас есть письмо. Послезавтра в одиннадцать часов я буду у Вас, и Вы угостите меня вашим горным *bruccio*, который, как Вы утверждаете, намного лучше городского.

До свидания, дорогая синьора Коломба. Ваш друг

Лидия Невиль».

— Значит, она не получила моего второго письма! — воскликнул Орсо.

— Видно по дате письма, что мисс Лидия должна была быть в дороге, когда ваше пришло в Аяччо. Разве вы писали, чтобы она не приезжала?

— Я писал ей, что мы на осадном положении. По-моему, нам теперь совсем не до гостей.

— Ничего! Эти англичане — странные люди. Она говорила мне в последнюю ночь, когда я спала в ее комнате, что она была бы недовольна, если бы уехала из Корсики, так и не увидев хорошенькой вендетты. Если бы вы захотели, Орсо, можно было бы доставить ей любопытное зрелище: пусть бы она посмотрела, как берут приступом дом наших врагов.

— Знаешь ли, Коломба,— сказал Орсо,— природа ошиблась, сделав из тебя женщину. Из тебя вышел бы отличный военный.

— Может быть. Во всяком случае, я пойду делать *bruccio*.

— Не нужно. Надо послать к ним кого-нибудь предупредить их и остановить, прежде чем они тронутся в путь.

— Да? Вы хотите послать в такую погоду, чтобы какой-нибудь поток унес посланного вместе с вашим письмом? Как мне жаль бедных бандитов в такую грозу! Хорошо еще, что у них хорошие *piloni*[1]. Знаете что, Орсо? Если гроза кончится, поезжайте завтра пораньше и постарайтесь приехать к нашей родственнице, прежде чем ваши друзья пустятся в путь. Это вам легко будет сделать, потому что мисс Лидия всегда встает поздно. Вы расскажете им, что у нас случилось, а если они будут настаивать на своем приезде, мы будем очень рады принять их.

Орсо поспешил изъявить свое согласие, а Коломба после некоторого молчания заговорила снова:

— Вы, Орсо, может быть, думаете, что я шутила, говоря о нападении на дом Барричини? Вам известно, что мы сильнее — по крайней мере, двое на одного? С тех пор как префект отставил мэра, все здешние за нас. Мы могли бы искрошить их. Завязать дело очень нетрудно. Если бы вы захотели, я пошла бы к фонтану и начала бы насмехаться над их женщинами — они бы вышли. Может быть... потому что они такие подлецы... они стали бы стрелять в меня из своих *archere*. Они бы промахнулись. Ну, вот и довольно. Нападающие они. Тем хуже для побежденных. В суматохе не разберешь, чей выстрел ока-

[1] Плащ из очень толстого сукна с капюшоном.

зался более метким. Поверьте сестре, Орсо. Эти судейские, что приедут, напортят бумаги, наговорят множество ненужных слов. Из этого ничего не выйдет. Старая лисица найдет средство сделать белое черным. Ах, если бы префект не заслонил Винчентелло, одним из них было бы меньше!

Все это она говорила с таким же хладнокровием, с каким за минуту до того говорила о приготовлении *bruccio.*

Ошеломленный Орсо смотрел на сестру с удивлением, смешанным со страхом.

— Моя кроткая Коломба,— сказал он, вставая из-за стола,— я боюсь, что ты сам сатана. Но будь покойна. Если я не добьюсь того, что Барричини повесят, я найду средство достигнуть цели другим путем. Горячая пуля или холодная сталь![1] Видишь: я еще не разучился говорить по-корсикански.

— Чем скорее, тем лучше! — сказала Коломба, вздыхая.— На какой лошади вы завтра поедете, Орс Антон?

— На вороной. Зачем ты спрашиваешь меня об этом?

— Чтобы дать ей ячменя.

Когда Орсо ушел в свою комнату, Коломба отослала Саверию и пастухов спать и осталась одна в кухне, где готовился *bruccio.* От времени до времени она прислушивалась и, казалось, нетерпеливо ожидала, когда ляжет спать брат. Наконец, решив, что он заснул, она взяла нож, попробовала, остер ли он, надела на свои маленькие ножки толстые башмаки и совершенно бесшумно вышла в сад.

Сад, обнесенный стеною, примыкал к довольно обширному огороженному пространству, куда загоняли лошадей: корсиканские лошади не знают, что такое конюшня. Большей частью их пускают в поле и рассчитывают на их смышленость в отыскании себе пищи и убежища от холода и дождя.

Коломба так же осторожно отворила садовую калитку, вошла в загон и, тихонько свистнув, подозвала к себе лошадей, которым она часто давала хлеб с солью. Как только вороная лошадь подошла к ней настолько, что она могла ее достать, она крепко схватила ее за гриву и ножом разрезала ей ухо. Лошадь сделала страшный скачок и убежала, испустив резкий крик, как иногда кричат лошади от острой боли. После этого Коломба вошла в сад; в это мгновение Орсо открыл свое окно и закричал:

— Кто там?

---

[1] *Palla calda* и *farru freddu* — весьма распространенное выражение.

Одновременно она услышала, как он взводил курки. К счастью для нее, садовую калитку прикрывало большое фиговое дерево. Вскоре по вспыхивавшему в комнате брата свету она догадалась, что он старается зажечь лампу. Тогда она поспешила запереть калитку и, скользя вдоль стен, так что ее черная одежда сливалась с темной листвой шпалерника, успела войти в кухню на несколько секунд раньше Орсо.

— Что там такое? — спросила она.

— Мне показалось, что кто-то отворял садовую калитку,— сказал Орсо.

— Не может быть. Собака бы залаяла. Впрочем, пойдем посмотрим.

Орсо обошел сад и, убедившись, что калитка хорошо заперта, и немного стыдясь этой ложной тревоги, решился вернуться в свою комнату.

— Я рада, брат,— сказала Коломба,— что вы делаетесь осторожнее, как и следует в вашем положении.

— Это я тебя слушаюсь,— отвечал Орсо.— Покойной ночи.

На другой день Орсо встал с рассветом и был готов к отъезду. В его костюме можно было видеть и стремление к изяществу, свойственное человеку, который хочет понравиться женщине, и осторожность корсиканца во время вендетты. Сверх ловко облегавшего его стан сюртука он надел через плечо жестяную лядунку на зеленом шнурке, в которой были патроны; в боковом кармане у него был стилет, а в руках — превосходное ментоновское ружье, заряженное пулями. Пока он торопливо пил кофе, налитый Коломбой, один из пастухов пошел оседлать и взнуздать лошадь. Потом и Орсо с Коломбой пошли в загон. Пастух поймал лошадь, но уронил седло и узду и, казалось, был в ужасе, а лошадь, помнившая рану прошлой ночи и боявшаяся за свое другое ухо, становилась на дыбы, лягалась, ржала и бесилась.

— Ну, торопись! — крикнул ему Орсо.

— Ах, Орс Антон! Ах, Орс Антон! Клянусь кровью мадонны! — кричал пастух и сыпал бесчисленными и бесконечными, по большей части непереводимыми ругательствами.

— Да что случилось? — спросила Коломба.

Все подошли к лошади, и когда увидели ее в крови и с рассеченным ухом, то разом вскрикнули от неожиданности и негодования. Нужно сказать, что изувечить лошадь врага у корсиканцев означает и месть, и вызов, и угрозу. Только ружейным выстрелом можно отплатить за такое преступление. Орсо, долго живший на континенте, меньше, чем кто-нибудь

другой, чувствовал огромное значение обиды, но, если бы в это время ему попался один из барричинистов, он сейчас же заставил бы его искупить обиду, которую приписывал им.

— Подлые трусы! — воскликнул он.— Вымещать на бедном животном свою злобу, а встретиться лицом к лицу со мной не смеют!

— Чего мы ждем? — воскликнула Коломба.— Они оскорбляют нас, калечат наших лошадей, и мы не ответим им? Мужчины ли вы?

— Мщение! — отвечали пастухи.— Проведем лошадь по деревне и возьмем приступом их дом.

— К их башне примыкает овин под соломенной крышей,— сказал старый Поло Гриффо,— он запылает у меня с одного маху.

Другой предлагал идти за лестницей от церковной колокольни; третий — высадить двери дома Барричини бревном, лежавшим на площади и предназначенным для какой-то постройки. Среди всех этих бешеных голосов слышен был голос Коломбы, объявлявшей своим телохранителям, что перед тем, как приняться за дело, каждый получит от нее большую чарку анисовки.

К несчастью, или, скорее, к счастью, эффект, на который она рассчитывала, поступив так жестоко с бедной лошадью, не достиг цели. Орсо не сомневался, что это варварское увечье было делом рук его врагов, и особенно подозревал Орландуччо; но он не думал, что этот молодой человек, которого он ударил и вызвал на дуэль, решит, что он стер свой позор, разрезав ухо у лошади. Напротив, эта мелкая и низкая месть усиливала его презрение к противникам, и теперь он мысленно соглашался с префектом, что подобные люди не стоят того, чтобы с ними драться. Как только он смог заставить слушать себя, он объявил своим смущенным сторонникам, что им следует отказаться от своих воинственных намерений и что суд накажет того, кто разрезал ухо его лошади.

— Я здесь хозяин,— строго прибавил он,— и я требую, чтобы мне повиновались. Первого, кто осмелится заговорить еще об убийстве или поджоге, я самого подожгу. Оседлать мне серую лошадь!

— Как, Орсо,— сказала Коломба, отведя его в сторону,— вы терпите, чтобы нас так оскорбляли? При жизни отца никогда Барричини не посмели бы изувечить нашу лошадь.

— Обещаю тебе, что им еще придется раскаяться, но наказывать негодяев, у которых хватает храбрости только для

нападения на животных, должны жандармы и тюремщики. Я сказал тебе: суд отомстит им за меня... или в противном случае тебе не придется напоминать мне, чей я сын.

— Терпение! — сказала Коломба со вздохом.

— Помни, сестра,— продолжал Орсо,— что, если я, вернувшись, узнаю, что против Барричини была допущена какая-нибудь выходка, я тебе этого никогда не прощу.— Потом он прибавил мягче: — Весьма возможно, даже весьма вероятно, что я вернусь с полковником и его дочерью; постарайся, чтобы их комнаты были в порядке, чтобы завтрак был хорош и вообще, чтобы гостям у нас было как можно лучше. Очень хорошо быть храброй, Коломба, но нужно, кроме того, чтобы женщина умела быть хозяйкой в доме. Ну, поцелуй меня! Серую лошадь уже оседлали.

— Орсо,— сказала Коломба,— вы не поедете один!

— Мне никого не нужно,— возразил Орсо,— я ручаюсь, что не дам отрезать себе ухо.

— О, я ни за что не пущу вас одного, когда идет война! Эй, Поло Гриффо! Джан Франче! Меммо! Возьмите ружья! Вы проводите брата.

После довольно жаркого спора Орсо согласился, чтобы его сопровождал конвой. Он взял из своих пастухов самых сердитых, тех, которые громче всех советовали начать войну, и, повторив свое приказание, пустился в путь, на этот раз сделав объезд, чтобы избежать дома Барричини.

Они были уже далеко от Пьетранеры и быстро подвигались вперед, когда при переезде через ручеек, терявшийся в болоте, старый Поло Гриффо заметил несколько свиней, комфортабельно улегшихся в грязи и наслаждавшихся солнцем и холодной водой. Он сейчас же прицелился в самую толстую, выстрелил ей в голову и уложил на месте. Подруги убитой поднялись и побежали с удивительной легкостью, и, несмотря на то, что и другой пастух тоже выстрелил, они целыми и невредимыми добежали до чащи, где и исчезли.

— Глупцы! — закричал Орсо.— Вы принимаете домашних свиней за диких.

— Вовсе нет, Орс Антон,— отвечал Поло Гриффо,— это адвокатово стадо: пусть знает, как калечить наших лошадей.

— Как, негодяи! — закричал Орсо вне себя от ярости.— Вы делаете такие же подлости, как и наши враги? Прочь от меня, презренные! Вы мне не нужны. Вы годны только со свиньями драться! Клянусь богом, я разобью вам головы, если вы осмелитесь ехать за мной.

Пастухи переглянулись в смущении. Орсо пришпорил лошадь и ускакал галопом.

— Вот тебе и раз! — сказал Поло Гриффо.— Стоит любить людей, если они так обращаются с тобой! Его отец, полковник, рассердился на тебя за то, что ты однажды прицелился в адвоката. Дурак, что не выстрелил... А сынок... ты видел, что я для него сделал... хочет разбить мне голову, как кубышку, в которой больше нет вина. Вот, Меммо, чему учатся на континенте!

— Да, а если узнают, что ты убил свинью, тебя потянут в суд, и Орс Антон не заступится за тебя и не заплатит адвокату. Счастье, что никто не видел, святая Нега выручит тебя из беды.

После краткого обсуждения они пришли к заключению, что самое благоразумное — бросить свинью в овраг, и привели этот проект в исполнение, само собою разумеется, предварительно вырезав каждый по нескольку кусков свинины из невинной жертвы взаимной ненависти семей делла Реббиа и Барричини.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Избавившись от своего недисциплинированного конвоя, Орсо продолжал путь, более занятый предстоявшим удовольствием увидеться с мисс Невиль, чем боязнью встречи со своими врагами. «Из-за процесса с этими негодными Барричини,— думал он,— мне придется ехать в Бастию. Отчего бы мне не проводить мисс Невиль? Отчего бы из Бастии нам не проехать вместе на воды в Ореццу?» И тотчас воспоминания детства ясно представили его воображению это живописное место. Он мысленно перенесся на зеленый лужок, под вековые платаны. На глянцевитой траве, усеянной голубыми цветами, похожими на улыбавшиеся ему глаза, около него сидела мисс Лидия. Она сняла шляпу, и светлые, тонкие и нежные, как шелк, волосы блестели, как золото, на проникавшем сквозь листву солнце. Ее глаза казались ему синее небесного свода. Опершись щекою на руку, она мечтательно слушала слова любви, которые он трепетно шептал ей. На ней было то самое муслиновое платье, в котором она была в последний раз, когда он видел ее в Аяччо. Из-под складок этого платья выглядывала маленькая ножка в черном атласном башмачке. Орсо считал бы себя счастливым, если бы мог поцеловать эту ножку, но одна

рука мисс Лидии была без перчатки, и в этой руке она держала маргаритку. Орсо взял у нее эту маргаритку, рука мисс Лидии пожала его руку, и он поцеловал маргаритку, а потом руку, и на него не сердились... Все эти мысли мешали ему смотреть на дорогу, по которой он ехал, а между тем он ехал рысью. Он уже готов был во второй раз поцеловать в своем воображении белую ручку мисс Невиль, как вдруг едва не поцеловал в действительности голову своей вдруг остановившейся лошади. Маленькая Килина загородила ей дорогу и схватила ее за повод.

— Куда вы едете, Орс Антон? — говорила она.— Разве вы не знаете, что ваш враг здесь?

— Мой враг! — воскликнул Орсо, рассерженный тем, что его прервали на самом интересном месте.— Где он?

— Орландуччо близко. Он ждет вас. Вернитесь, вернитесь!

— А! Он ждет меня? Ты видела его?

— Да, Орс Антон, я лежала в папоротнике, когда он прошел. Он смотрел во все стороны в свою зрительную трубку.

— Откуда он шел?

— Он спустился оттуда, откуда вы едете.

— Спасибо.

— Орс Антон, не лучше ли вам подождать моего дядю? Он сейчас придет, и с ним вы будете в безопасности.

— Не бойся, Кили, мне не нужен твой дядя.

— Если хотите, я пойду перед вами.

— Спасибо, спасибо.

И Орсо, погоняя лошадь, быстро двинулся в ту сторону, куда показала ему девочка.

Его первым душевным движением был порыв слепой ярости, и он решил, что судьба предоставляет ему удобный случай наказать негодяя, который калечит лошадь из мести за пощечину. Но, по мере того как он подвигался вперед, обещание, данное им префекту, и особенно страх пропустить свидание с мисс Невиль изменили его настроение, и он почти желал избегнуть встречи с Орландуччо. Потом воспоминание об отце, увечье, нанесенное его лошади, угрозы врагов снова воспламенили его гнев и подстрекали найти обидчика и заставить его драться. Волнуемый, таким образом, противоположными чувствами, он продолжал подвигаться вперед, но теперь уже с предосторожностями: он осматривал кусты, изгороди и иногда даже останавливался, прислушиваясь к смутному шуму полей. Через десять минут после встречи с маленькой Килиной (тогда было около девяти часов утра) он очутился на краю очень

крутого холма. Дорога, или, лучше сказать, едва проложенная тропинка, по которой он ехал, проходила по только что выгоревшему *маки*. В этом месте земля была покрыта беловатым пеплом; кое-где кустарники и несколько толстых деревьев, почерневших от огня и совершенно лишенных листьев, стояли прямо, несмотря на то, что уже перестали жить. Вид сожженного *маки* переносит в северный зимний ландшафт, и контраст между выгоревшими местами, по которым прошел огонь, и роскошной растительностью вокруг делает его еще более печальным и унылым. Но в этом ландшафте Орсо бросилось сейчас в глаза одно обстоятельство, правда, в его положении очень важное: голая земля не предоставляла возможности устроить засаду, а тому, кто боится каждую минуту увидеть в чаще дуло ружья, направленное ему в грудь, ровная местность, где ничто не останавливает взгляда, кажется чем-то вроде оазиса. За сожженным *маки* следовали обработанные поля, обнесенные, по местному обыкновению, каменной оградой вышиною человеку по грудь. Тропинка шла между этими загороженными местами; огромные каштановые деревья, росшие там в беспорядке, издали казались густым лесом.

Крутизна спуска заставила Орсо спешиться, и, бросив поводья на шею лошади, он быстро спускался, скользя по пеплу, и был уже не больше как в двадцати пяти шагах от одного из этих огороженных мест, с правой стороны дороги, как вдруг заметил как раз перед собою сначала дуло ружья, а потом голову, высунувшуюся из-за гребня стены. Ружье опустилось, и в то же мгновение он узнал Орландуччо, готового выстрелить. Орсо быстро занял оборонительное положение, и оба противника, прицелившись, несколько секунд смотрели друг на друга с тем острым волнением, которое испытывает самый храбрый человек в минуту, когда нужно убить или быть убитым.

— Подлый трус! — закричал Орсо.

Он не успел договорить, как вдруг увидел вспышку, и почти в то же время другой выстрел раздался слева, с другой стороны тропинки,— выстрел, сделанный человеком, которого Орсо совсем не заметил и который целил в него из-за другой стены. Обе пули попали в него; пуля Орландуччо пробила ему левую руку, выставленную вперед во время прицела; другая ударила ему в грудь, разорвала платье, но, к счастью, встретила клинок стилета, сплющилась об него и только легко контузила Орсо. Его левая рука бессильно упала вдоль бедра, и на мгновение дуло его ружья опустилось, но он тотчас же поднял его и, целясь одной рукой, выстрелил в Орландуччо. Лицо

его врага — он видел только глаза его — исчезло за стеной; Орсо, повернувшись налево, пустил свою другую пулю в едва видного ему за дымом человека. И эта фигура исчезла. Четыре выстрела следовали один за другим с неимоверной быстротой; обученные солдаты никогда не сделали бы в беглом огне таких коротких интервалов. После последнего выстрела Орсо все смолкло. Дым, вылетевший из его ружья, медленно поднимался к небу; за стеной не было никакого движения, ни малейшего шума. Если б не боль, которую он чувствовал в руке, он мог бы подумать, что люди, в которых он только что стрелял,— призраки, явившиеся его воображению.

Ожидая новых выстрелов, Орсо сделал несколько шагов, чтобы стать за одно из обгорелых деревьев, еще стоявших стоймя в *маки.* За этим прикрытием он поставил ружье между колен и торопливо зарядил его. Левая рука причиняла ему жестокие страдания, и ему казалось, что он держит ею огромную тяжесть. Что случилось с его противниками, он не мог понять; если бы они убежали, если бы были ранены, он, наверно, услышал бы какой-нибудь шум, какое-нибудь движение в листве. Не были ли они убиты, или, скорее, не ждали ли они за своими прикрытиями нового случая стрелять по нему? В состоянии неизвестности, чувствуя, что силы его уменьшаются, он стал на правое колено, положил на левое раненую руку, а ружье приставил к суку обгорелого дерева. Держа палец на спуске, зорко смотря на стену и прислушиваясь к малейшему шуму, он не двигался несколько минут, показавшихся ему целым веком. Наконец позади него раздался далекий крик, и тотчас же какая-то собака с быстротою стрелы спустилась с холма и остановилась около него, махая хвостом: это был Бруско, ученик и товарищ бандитов, без сомнения, предвещавший появление своего хозяина, и никогда никто не ждал этого почтенного человека с бóльшим нетерпением, чем теперь Орсо. Собака, подняв морду и повернув ее в сторону ближайшей ограды, беспокойно нюхала воздух; вдруг она глухо зарычала, одним прыжком перескочила через стену и почти сейчас же снова показалась над ее гребнем и оттуда пристально смотрела на Орсо, так ясно выражая своими глазами удивление, как только может сделать это собака; потом она снова понюхала воздух, на этот раз по направлению другой ограды, и опять перескочила через стену. Спустя мгновение она появилась над стеной с тем же удивленным и беспокойным видом; наконец она спрыгнула в *маки,* поджала хвост и, все время посматривая на Орсо, стала медленно уходить от него, пока не отошла

на некоторое расстояние. Тогда она снова пустилась бежать и почти так же скоро, как спустилась с холма, взлетела на него, навстречу человеку, который быстро шел, несмотря на крутизну спуска.

— Ко мне, Брандо! — закричал Орсо, как только у него появилась надежда, что тот его услышит.

— Эй, Орс Антон! Вы ранены? — спросил его Брандолаччо, подбежав и почти задыхаясь.— В грудь или в руку?

— В руку.

— В руку? Ну, ничего. А тот?

— Кажется, я его задел.

Брандолаччо, идя за своей собакой, подошел к ближайшей ограде, наклонился и заглянул. Затем он снял шапку и сказал:

— Здравствуйте, господин Орландуччо.

Потом он повернулся к Орсо и важно приветствовал и его.

— Вот это, что называется, чистая работа,— сказал он.

— Жив ли он еще? — тяжело дыша, спросил Орсо.

— Да! Будешь жив с пулей, всаженной в глаз! Кровь мадонны! Какая дыра! Ей-богу, славное ружье! Что за калибр! С таким калибром можно разнести голову! Слушайте, Орс Антон: когда я услышал пиф! паф! ну, думаю, черт возьми, ухлопали они моего поручика. Потом слышу: бум! бум! А, думаю себе, вот это говорит английское ружье; он отвечает... Бруско, чего ж тебе еще от меня надо?

Собака привела его к другой ограде.

— Вот тебе раз! — закричал изумленный Брандолаччо.— Двойной выстрел! Черт возьми! Правда, что порох дорогой: вы его бережете.

— Что там, скажи, бога ради?— спросил Орсо.

— Ну ладно! Не ломайтесь, поручик! Вы набросали на землю дичи и хотите, чтобы я ее вам подбирал... Ну, сегодня будет плохое угощение одному человечку, адвокату Барричини. Не хочешь ли сырого мяса? Вон оно. Однако какому же дьяволу достанется наследство?

— Винчентелло! Тоже убит?

— Наповал. *Будем здоровы!*[1] Что хорошо с вашей стороны, так это то, что вы не заставили их мучиться. Посмотрите-ка на Винчентелло. Он еще стоит на коленях, прислонившись головой к стене. Точно спит. Вот про этакий сон говорят: свинцовый сон. Бедняга!

---

[1] *Salute a noi!* — Обычное восклицание, заменяющее выражение: «Он умер».

Орсо с ужасом отвернулся.

— Уверен ли ты, что он мертв?

— Вы как Сампьеро Корсо, который никогда не тратил больше одного выстрела. Видите, тут... в грудь с левой стороны; вот так и Винчилеоне попало под Ватерлоо. Держу пари, что пуля недалеко от сердца. Двойной выстрел!.. Ах, куда уж мне теперь стрелять! Двоих с двух выстрелов!.. По пуле на брата! Если б была третья, он убил бы и папашу... Ну, до следующего раза... Что за выстрел, Орс Антон!.. И ведь никогда такому бравому парню, как я, не удастся сделать двойного выстрела по двум жандармам!

Говоря это, бандит осматривал руку Орсо и разреза́л своим стилетом рукав.

— Ничего! — сказал он.— Вот этот сюртук задаст работу синьоре Коломбе... Это что такое? Вот этот разрыв на груди?.. Сквозь него туда ничего не вошло? Нет, а то вы не были бы таким молодцом. Посмотрим: попробуйте двигать пальцами... Чувствуете мои зубы, когда я кусаю вам мизинец?.. Не очень?.. Ничего, это пустяки. Дайте я сниму вам галстук и возьму платок... Пропал ваш сюртук... На кой черт так франтить? Разве вы ехали на свадьбу? Вот, хлебните немного вина... Отчего вы не берете с собой фляжки? Разве можно корсиканцу ходить без фляжки?

Во время перевязки он приостанавливался и восклицал:

— Двойной выстрел! Оба сразу насмерть!.. Посмеется-таки патер... Двойной выстрел!.. А, вот наконец эта маленькая черепаха Килина!

Орсо не отвечал. Он был бледен, как мертвец, и дрожал всем телом.

— Кили! — закричал Брандолаччо.— Посмотри за эту стенку. Ну что?

Девочка, действуя и руками и ногами, вскарабкалась на стенку и, увидя труп Орландуччо, сейчас же перекрестилась.

— Это ничего,— продолжал бандит,— пойди посмотри дальше, вон там.

Девочка снова перекрестилась.

— Это вы, дядя? — робко спросила она.

— Я! Да ведь я старик, никуда не годный, Кили; это работа этого господина. Поздравь его.

— Синьора будет очень рада,— сказала Килина,— и она будет очень огорчена, когда узнает, что вы ранены, Орс Антон.

— Едем, Орс Антон! — сказал бандит, кончив перевязку.— Вот Килина поймала вашу лошадь. Садитесь, и поедем

со мной в Стадзонский *маки*. Хитер будет тот, кто вас там сыщет. Мы примем вас самым лучшим манером. Когда будем у креста святой Христины, придется слезть с лошади. Вы отдадите ее Килине; она поедет уведомить вашу сестру; дорóгой вы можете дать ей поручения. Вы можете сказать малютке все, Орс Антон. Она скорее даст себя изрубить, чем выдаст своих друзей. Пошла, шельма, чтоб тебя от церкви отлучили, будь ты проклята, плутовка! — говорил он нежным голосом, потому что, будучи суеверным, как многие бандиты, боялся сглазить ребенка, благословляя или хваля его; известно, что враждебные силы *аннокьятуры*[1] имеют дурную привычку делать нам наперекор.

— Куда ты меня хочешь вести, Брандо? — сказал Орсо слабым голосом.

— Черт возьми! Выбирайте: в тюрьму или в *маки*. Но делла Реббиа не знают дороги в тюрьму. В *маки*, Орс Антон.

— Прощайте, все мои надежды! — печально воскликнул раненый.

— Ваши надежды? Какого ж вы еще черта надеялись сделать с двуствольным ружьем? Ах, да! Как они могли вас задеть? Должно быть, эти молодцы живучее кошек.

— Они первые стреляли в меня,— сказал Орсо.

— Правда, я и забыл... Пиф! Паф! Бум! Бум!.. Двойной выстрел одной рукой!..[2] Пусть меня повесят, если кто-нибудь сделает лучше... Ну, вот вы и в седле... Перед отъездом взгляните на свою работу. Невежливо уезжать, не простившись.

Орсо пришпорил лошадь; ни за что на свете он не стал бы смотреть на несчастных, которых только что убил.

— Слушайте, Орс Антон,— сказал бандит, взяв поводья лошади,— хотите, я скажу вам откровенно? Ладно! Я не хочу вас обижать, но мне жаль этих бедных молодых людей. Прошу вас, извините меня... Такие красавцы... такие силачи... такие молодые... С Орландуччо я сколько раз охотился!.. Дня четыре тому назад он дал мне пачку сигар... Винчентелло всегда был такой весельчак!.. Это правда, вы сделали то, что должны были сделать... а, кроме того, выстрел слишком хорош, чтобы жалеть

---

[1] *Annocchiatura* — невольное колдовство, производимое взглядом или словами.

[2] Если какой-нибудь недоверчивый охотник усомнится в двойном выстреле, сделанном г-ном делла Реббиа, я ему могу посоветовать отправиться в Сартене: там ему расскажут, как один из самых достойных и любезных жителей этого города спасся один, с перебитой левой рукой, находясь в положении, по меньшей мере столь же опасном.

о нем... Но мне нет дела до вашей мести... Я знаю, что вы правы: когда есть враг, то нужно от него избавиться. Но Барричини — это был старинный род... И вот он выбыл из строя. И еще от двойного выстрела! Это замечательно!

Произнося надгробное слово Барричини, Брандолаччо поспешно вел Орсо, Килину и собаку Бруско в Стадзонский *маки.*

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Между тем Коломба с той минуты, как, вскоре после отъезда Орсо, она узнала от своих шпионов, что Барричини отправились в поле, была охвачена сильным беспокойством. Она бегала по всему дому, из кухни в комнаты, приготовленные для гостей; она ничего не делала и в то же время чем-то была озабочена; она беспрестанно останавливалась, прислушиваясь, нет ли в деревне какого-нибудь необычного шума. Около одиннадцати часов в Пьетранеру въехала довольно многочисленная кавалькада: полковник с дочерью, со слугами и проводником. Встречая их, Коломба прежде всего спросила:

— Вы видели моего брата?

Потом она спросила у проводника, по какой дороге они ехали, и по его ответам не могла понять, как они не встретили Орсо.

— Может быть, ваш брат ехал верхней дорогой,— сказал проводник,— мы ехали низом.

Но Коломба покачала головой и возобновила свои расспросы. Несмотря на природную твердость — гордость и нежелание выказать слабость перед посторонними еще более увеличивали эту твердость,— ей не удалось скрыть тревогу, которая тотчас же сообщилась полковнику и особенно мисс Невиль, когда Коломба рассказала им о попытке примирения, имевшей такой печальный конец. Мисс Невиль волновалась, требовала, чтобы послали нарочных по всем направлениям, а ее отец вызвался снова сесть на лошадь и ехать с проводником на поиски Орсо. Опасения гостей напомнили Коломбе ее обязанности, как хозяйки дома. Она заставила себя улыбнуться, попросила полковника сесть за стол и нашла двадцать правдоподобных причин для того, чтобы объяснить отсутствие брата. Полковник, считая, что он, как мужчина, должен попытаться успокоить женщин, тоже предложил свое объяснение.

— Держу пари, что делла Реббиа нашел дичь; он не мог устоять против искушения, и мы скоро увидим его с полным ягдташем. Да,— прибавил он,— мы слышали дорогой четыре ружейных выстрела. Два из них были громче, чем два других, и я сказал дочери: «Держу пари, что это делла Реббиа охотится; только мое ружье может бить так громко».

Коломба побледнела, и внимательно смотревшая на нее мисс Лидия без труда поняла, какие подозрения возбудила в ней догадка полковника. После нескольких минут молчания Коломба неожиданно задала вопрос, первыми или последними были два громких выстрела. Но ни полковник, ни его дочь, ни проводник не обратили внимания на это важное обстоятельство.

Через час ни один из посланных Коломбою еще не вернулся, и она, собравшись с духом, заставила гостей сесть за стол; но, кроме полковника, никто не мог есть. При малейшем шуме на площади она подбегала к окну, потом печально садилась снова и еще печальнее пыталась продолжать с друзьями незначительный разговор, который никого не интересовал и который прерывался долгими паузами.

Вдруг раздался топот лошади, скачущей галопом.

— Ах, на этот раз это брат! — сказала Коломба, вставая.

Но, увидя Килину, сидевшую на лошади Орсо, она закричала душераздирающим голосом:

— Мой брат убит!

Полковник уронил свой стакан, мисс Лидия вскрикнула, все бросились к двери. Прежде чем Килина успела соскочить с лошади, Коломба схватила ее, как перышко, и чуть не задушила, сжимая. Девочка поняла ее ужасный взгляд, и первое, что она сказала, было начало хора из *Отелло:* «Он жив!» Коломба перестала ее душить, и девочка легко, как котенок, упала на землю.

— А те? — спросила Коломба хриплым голосом.

Килина перекрестилась указательным и средним пальцами. Тотчас же смертная бледность на лице Коломбы сменилась живым румянцем. Она бросила огненный взгляд на дом Барричини и, улыбаясь, сказала своим гостям:

— Пойдем пить кофе.

Ириде бандитов пришлось рассказывать долго. Ее корсиканская речь, кое-как переводившаяся Коломбой на итальянский, а мисс Лидией на английский язык, вырвала не одно проклятие у полковника и не один вздох у мисс Лидии, но Коломба слушала бесстрастно; она только так крутила свою

камчатную салфетку, как будто бы хотела порвать ее на куски. Она раз пять или шесть прерывала девочку, чтобы заставить ее повторить слова Брандолаччо, что рана не опасна и что он видел и не такие. В заключение Килина передала, что Орсо настоятельно просил бумаги для письма и что он велел сестре умолить даму, которая, может быть, сейчас у них в доме, чтобы она не уезжала, не получив от него письма.

— Это его больше всего мучило,— прибавила девочка,— и я уже поехала, а он снова вернул меня, чтобы еще раз приказать мне передать это поручение. Это он повторял мне уже третий раз.

Узнав об этом приказании брата, Коломба слегка улыбнулась и сжала руку англичанки; та залилась слезами и решила, что лучше не переводить отцу этой части рассказа.

— Да, вы останетесь со мной, дорогая моя,— воскликнула Коломба, обнимая мисс Невиль,— и вы поможете нам!

Потом она достала из шкафа кучу старого белья и принялась резать его на бинты и корпию. Трудно было решить, видя ее блестевшие глаза, румянец, ее то задумчивое, то спокойное выражение, что́ сильнее ее волновало: рана Орсо или смерть врагов. Она то наливала полковнику кофе и хвалилась своим искусством варить его, то раздавала полотно мисс Невиль и Килине и учила их сшивать бинты и свертывать их; она в двадцатый раз спрашивала, не очень ли страдает Орсо от своей раны. Беспрестанно прерывая свою работу, она говорила полковнику:

— Двое, такие ловкие, такие страшные!.. Он один, раненый, с одной только рукой... он убил их обоих. Какое мужество, полковник! Разве это не герой? Ах, мисс Невиль! Какое счастье жить в такой спокойной стране, как ваша!.. Я уверена, что вы еще не знаете брата!.. Я говорила: ястреб расправит свои крылья!.. Вы обманывались его кротким видом... Это потому, что когда он с вами, мисс Невиль... Ах, если бы он видел, как вы стараетесь для него!.. Бедный Орсо!

Мисс Лидия совсем не старалась и не могла сказать ни слова. Ее отец спрашивал, почему до сих пор не подали жалобу судье. Он говорил о следствии, о коронере и о многих других тому подобных и совершенно неизвестных на Корсике вещах. Наконец он пожелал узнать, далеко ли от Пьетранеры усадьба этого доброго г-на Брандолаччо, который оказал помощь раненому, и нельзя ли ему самому отправиться туда, чтобы повидаться со своим другом.

Коломба ответила со своим обычным спокойствием, что Орсо в *маки,* что ухаживает за ним один бандит, что для него было бы большим риском показаться, прежде чем выяснятся намерения префекта и судей; наконец, что она распорядилась, чтобы искусный хирург тайно отправился к нему.

— Главное, помните, полковник, что вы слышали четыре выстрела и что вы мне сказали, что Орсо стрелял вторым.

Полковник ничего не понимал, а его дочь только вздыхала и утирала слезы.

Было уже не рано, когда в деревню вошла печальная процессия. Адвокату Барричини привезли трупы его детей; они лежали каждый поперек мула, которого вел крестьянин. Толпа клиентов и праздных зрителей шла за печальным шествием. С ними были жандармы, являющиеся всегда слишком поздно, и помощник мэра, который поднимал руки к небу, то и дело повторяя: «Что скажет господин префект!» Несколько женщин, в том числе и кормилица Орландуччо, рвали на себе волосы и дико голосили. Но их шумное горе не производило такого впечатления, как немое отчаяние человека, привлекавшего к себе все взоры. Это был несчастный отец; переходя от одного трупа к другому, он подымал их головы, испачканные землею, целовал их в синие губы, поддерживал их окоченевшие члены, как будто бы хотел уберечь их от толчков дороги. Иногда видно было, как он открывал рот, но из его уст не вылетело ни одного крика, ни одного слова; уставив глаза на трупы, он натыкался на камни, на деревья, на все встречавшиеся ему препятствия.

В виду дома Орсо вопли женщин и проклятия мужчин усилились. Когда несколько пастухов-реббианистов осмелились издать торжествующий крик, их противники не могли сдержать негодование. «Мщение! Мщение!» — вопило несколько голосов. Полетели камни, и две ружейные пули, пущенные в окна залы, где была Коломба со своими гостями, пробили ставни, и щепки посыпались на стол, за которым сидели обе девушки. Мисс Лидия подняла страшный крик, полковник схватился за ружье, а Коломба, прежде чем он мог удержать ее, бросилась к двери и стремительно отворила ее. Стоя на высоком пороге и вытянув руки, как бы проклиная своих врагов, она воскликнула:

— Подлецы! Вы стреляете в женщин, в чужеземцев! Корсиканцы ли вы? Мужчины ли вы? Презренные! Вы умеете только убивать из-за угла! Нападайте! Я презираю вас! Я одна, мой брат далеко... Убейте меня, убейте моих гостей; это

достойно вас... Вы не смеете, трусы, вы знаете, что мы мстим за себя. Ступайте, плачьте, как бабы, и будьте благодарны, что мы не требуем от вас еще крови.

В голосе и позе Коломбы было что-то величественное и страшное; при виде ее испуганная толпа отступила, как при появлении одной из злых фей, о которых на Корсике в зимние вечера рассказывают страшные истории. Помощник мэра, жандармы и несколько женщин воспользовались этим движением толпы и бросились между двумя станами, потому что пастухи-реббианисты уже схватились за оружие, и можно было опасаться, что на площади начнется схватка. Но обе партии были лишены своих вождей, а корсиканцы, дисциплинированные в своей ярости, редко отдаются ей в отсутствие главных зачинщиков междоусобных войн. К тому же Коломба, которую успех сделал благоразумнее, удержала свой маленький гарнизон.

— Дайте поплакать этим бедным людям,— говорила она,— дайте старику унести своих сыновей. Зачем убивать эту старую лисицу, когда у нее уже нет зубов, чтобы кусаться? Джудиче Барричини! Вспомни второе августа! Вспомни окровавленную книжку, в которой ты писал своей вероломной рукой! Мой отец вписал туда свой долг; твои сыновья уплатили его. Я даю тебе расписку, старый Барричини!

Коломба со скрещенными руками, с презрительной улыбкой на устах смотрела, как уносили трупы в дом ее врагов, как потом толпа медленно рассеивалась. Она заперла дверь и, вернувшись в столовую, сказала полковнику:

— Я прошу у вас извинения за своих земляков, полковник. Я никогда не поверила бы, что корсиканцы могут стрелять в дом, где есть чужеземцы, и я стыжусь за свою родину.

Вечером, когда мисс Лидия уходила в свою комнату, полковник пошел за нею и спросил ее, не лучше ли им будет завтра же уехать из этой деревни, где каждую минуту подвергаешься опасности получить пулю в лоб, и как можно скорее уехать из страны, где только и есть, что убийства да измены.

Мисс Невиль несколько времени не отвечала; было ясно, что предложение отца привело ее в немалое смущение. Наконец она сказала:

— Как мы можем оставить эту несчастную девушку в такое время, когда ей так нужно утешение? Не находите ли вы, папа, что это было бы жестоко с нашей стороны?

— Я о тебе забочусь, дитя мое,— сказал полковник,— и если бы я знал, что ты в безопасности в гостинице Аяччо, уве-

ряю тебя, мне было бы досадно уехать с этого проклятого острова, не пожав руки славному делла Реббиа.

— Ну, так останемся, папа. Давайте уедем, только когда убедимся, что им ничем уже не поможешь.

— Доброе сердце! — сказал полковник, целуя дочь в голову.— Мне нравится, что ты жертвуешь собой, чтобы облегчить чужое горе. Останемся; никогда никто еще не раскаивался в хорошем поступке.

Мисс Лидия не могла заснуть и металась на постели. То она слышала смутный шум, и ей казалось, что это готовятся брать приступом дом; то, успокоившись за себя, она думала о бедном раненом, который, должно быть, лежит теперь на холодной земле, и ему нет иной помощи, кроме той, какую он мог ждать от милосердия бандита. Она представляла его себе в крови, тяжко страдающим, и — странное дело — всякий раз, как образ Орсо являлся в ее воображении, он являлся таким, каким она видела его в минуту отъезда, когда он прижимал к своим губам данный ею талисман. Потом она думала о его храбрости. Она говорила себе, что он подверг себя страшной опасности, от которой только что избавился, из-за нее, для того чтобы скорее ее увидеть. Она почти убедила себя, что Орсо дал прострелить себе руку, защищая ее. Она упрекала себя за его рану, но из-за этой раны он еще больше нравился ей. И если знаменитый двойной выстрел не имел в ее глазах той цены, какую имел он в глазах Брандолаччо и Коломбы, то все-таки она находила, что немногие из героев романов проявили бы в такой опасный момент столько бесстрашия и хладнокровия.

Она занимала комнату Коломбы. Над дубовым аналоем рядом с освященной пальмовой ветвью висел на стене миниатюрный портрет Орсо в мундире подпоручика. Мисс Лидия сняла этот портрет, долго рассматривала его и, наконец, вместо того чтобы повесить на место, положила около своей постели. Она заснула только на рассвете, и солнце было уже очень высоко, когда она проснулась. У своей постели она увидела Коломбу, которая неподвижно ожидала, когда она откроет глаза.

— Не очень ли вам было скверно в нашем бедном доме? — спросила Коломба.— Я боюсь, что вы совсем не спали.

— Милая моя! Знаете ли вы что-нибудь о нем? — спросила мисс Невиль, приподнявшись на постели.

Она заметила портрет Орсо и, чтобы закрыть его, поспешила бросить на него платок.

— Да, знаю,— ответила Коломба, улыбаясь.

Взяв портрет, она сказала:

— Похож он, по-вашему? Он лучше, чем здесь.

— Боже мой! — сказала совершенно пристыженная мисс Лидия.— Я сняла... в рассеянности... этот портрет... Это мой недостаток... все трогать и ничего не класть на место... Что ваш брат?

— Ничего, все хорошо. Джоканто пришел сюда утром в четвертом часу. Он принес мне письмо для вас, мисс Лидия; Орсо мне не пишет. Правда, в адресе стоит: «Коломбе», но пониже: «для мисс Н...» Сестры совсем не ревнивы. Джоканто говорил, что ему было очень больно, но он все-таки дописал. Джоканто, у которого превосходный почерк, предлагал ему, что он будет писать под его диктовку. Орсо не захотел. Он писал карандашом, лежа на спине. Брандолаччо держал бумагу. Каждую минуту брат старался приподняться, и тогда при малейшем движении в его руке начинались ужасные боли. «Жалко было смотреть»,— говорит Джоканто. Вот его письмо.

Мисс Невиль прочла письмо, написанное, без сомнения, для большей предосторожности по-английски. Вот его содержание:

«Мадемуазель!

Меня увлекла несчастная судьба; я знаю, что скажут мои враги, какую они выдумают клевету. Мне это безразлично, только бы Вы не поверили ей. С тех пор как я увидел Вас, я убаюкивал себя безрассудными мечтами. Нужна была эта катастрофа, чтобы показать мне мое безумие; теперь я отрезвел. Я знаю, какое будущее ждет меня: я покорен судьбе. Кольцо, которое Вы дали мне и которое я считал счастливым талисманом, я не смею оставить у себя. Я боюсь, мисс Лидия, чтобы Вы не пожалели о том, что отдали его человеку недостойному; вернее, боюсь, что оно будет напоминать мне мое безумие. Коломба передаст Вам его. Прощайте! Вы покидаете Корсику, и я больше никогда не увижу Вас; скажите сестре, что Вы еще уважаете меня; я — говорю это с уверенностью — все еще стою этого уважения.

О. д. Р.»

Мисс Лидия, отвернувшись, читала это письмо, а Коломба, внимательно наблюдавшая за нею, подала ей египетский перстень, спрашивая ее взглядом, что это значит. Но мисс Лидия не смела поднять голову и печально смотрела на перстень, то надевая его на палец, то снимая.

— Милая мисс Невиль,— сказала Коломба,— можно мне узнать, что вам пишет мой брат? Пишет он о своем здоровье?

— Нет... об этом он ничего не пишет,— сказала, краснея, мисс Лидия.— Он пишет по-английски. Он просит меня сказать отцу... он надеется, что префект может устроить...

Коломба, улыбнувшись, села на постель, взяла мисс Невиль за обе руки и, смотря на нее своими проницательными глазами, сказала:

— Вы будете добры? Ведь вы ответите брату? Вы доставите ему такую радость! Когда пришло его письмо, я думала одно время разбудить вас, но не посмела.

— Напрасно,— сказала мисс Лидия.— Если одно мое слово ему...

— Теперь я не могу послать письмо. Префект приехал, и вся Пьетранера полна его людьми. Потом мы посмотрим. Ах, если бы вы знали моего брата, мисс Невиль, вы бы любили его, как я... Подумайте только, что он сделал! Один против двоих, да еще раненый!

Префект вернулся. Извещенный нарочным помощника мэра, он вернулся в сопровождении жандармов и стрелков, привезя с собой королевского прокурора, секретаря и прочих, чтобы расследовать новую страшную катастрофу, которая усложняла или, пожалуй, завершала вражду соперничавших родов Пьетранеры. Вскоре после приезда он повидался с полковником Невилем и его дочерью и не скрыл от них, что боится, как бы дело не приняло дурного оборота.

— Вы знаете, что бой был без свидетелей,— сказал он,— а за этими бедными молодыми людьми так прочно утвердилась репутация ловкости и храбрости, что никто не хочет верить, чтобы делла Реббиа мог убить их без помощи бандитов, у которых, говорят, он нашел себе приют.

— Это невозможно! — воскликнул полковник.— Орсо делла Реббиа — благородный юноша; я за него ручаюсь.

— Я верю,— сказал префект,— но королевский прокурор (эти господа всех подозревают) расположен, кажется, не в его пользу. У него в руках бумага, весьма неприятная для вашего друга. Это — угрожающее письмо к Орландуччо, в котором он назначает ему час и место... и это место кажется прокурору засадой.

— Орландуччо отказался драться — так порядочные люди не поступают,— сказал полковник.

— Здесь это не в обычае. Здесь устраивают засады, убивают друг друга из-за угла; вот как делается в этой стране.

За него только одно благоприятное показание: одна девочка утверждает, что слышала четыре выстрела, и из них два последних были громче других, словно из ружья крупного калибра, как у делла Реббиа. К несчастью, эта девочка — племянница одного из бандитов, подозреваемых в сообщничестве, и она ответила заученный урок.

— Господин префект,— перебила мисс Лидия, краснея до ушей,— мы были в дороге, когда раздались выстрелы, и слышали то же самое.

— В самом деле? Это важно. А вы, полковник, вы, без сомнения, заметили то же самое?

— Да,— живо ответила мисс Невиль,— мой отец — знаток оружия, и он сказал: «Вот господин делла Реббиа стреляет из моего ружья».

— И эти выстрелы, которые вы узнали, были именно последними?

— Ведь последними, папа, не правда ли?

У полковника память была не очень хороша, но он всегда боялся противоречить дочери.

— Нужно сейчас же сказать об этом королевскому прокурору, полковник. Впрочем, сегодня вечером мы ждем хирурга, который вскроет трупы и удостоверит, действительно ли раны нанесены тем оружием, о котором идет речь.

— Я сам дал его Орсо и узнал бы его на дне моря,— сказал полковник.— Храбрый малый!.. Я очень рад, что оно было у него в руках,— не знаю, как бы он выкрутился без моего «Ментона».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Хирург немного запоздал. Дорогой с ним случилось приключение. Его встретил Джоканто Кастрикони и крайне учтиво попросил его помочь одному раненому; его привели к Орсо, и он наложил на рану первую повязку. Потом бандит проводил его довольно далеко и вел с ним весьма почтительный разговор, рассказывая о знаменитых пизанских профессорах, которые, по его словам, были его близкими друзьями.

— Доктор,— сказал на прощанье богослов,— вы внушили мне слишком большое уважение, чтобы я счел необходимым напоминать вам, что врач должен быть так же скромен, как и духовник. (Он играл курком своего ружья.) Вы забыли место,

где мы имели честь видеться с вами. До свиданья, весьма рад с вами познакомиться.

Коломба умоляла полковника присутствовать при вскрытии трупов.

— Вы знаете, как никто, ружье моего брата,— сказала она,— и ваше присутствие необходимо. Кроме того, здесь столько дурных людей, что мы подвергнемся большому риску, если не будет никого для защиты наших интересов.

Оставшись одна с мисс Лидией, она стала жаловаться на сильную головную боль и предложила ей прогуляться неподалеку от деревни.

— Чистый воздух поможет мне,— говорила она,— я так давно не дышала им!

Во время прогулки она рассказывала мисс Лидии о своем брате, и мисс Лидия, для которой эта тема представляла особый интерес, не заметила, как они удалились на большое расстояние от Пьетранеры.

Солнце уже садилось, когда она обратила на это внимание и попросила Коломбу вернуться. Коломба знала дорогу, значительно, по ее словам, сокращавшую обратный путь, и, оставив тропинку, по которой они шли, двинулась по другой, по которой, по-видимому, ходили гораздо реже. Скоро им пришлось взбираться на такую крутую гору, что она должна была, чтобы удержаться, постоянно цепляться одной рукой за ветви, а другой тащила за собой свою подругу. Через четверть часа такого трудного подъема они очутились на маленькой площадке, поросшей миртами и толокнянкой, между которыми со всех сторон вырастали из земли большие гранитные глыбы. Мисс Лидия очень устала, деревни все еще не было видно, вокруг становилось все темнее.

— Знаете, милая Коломба,— сказала она,— я боюсь, как бы мы не заблудились.

— Не бойтесь,— отвечала Коломба.— Пойдем! Идите за мной.

— Но уверяю вас, что вы ошибаетесь: деревня не может быть с этой стороны. Я готова держать пари, что мы от нее удаляемся. Смотрите, видите эти далекие огни? Наверно, это Пьетранера.

— Дорогая моя,— сказала Коломба взволнованно,— вы правы, но в двухстах шагах отсюда... в этом *маки*...

— Ну?

— Там мой брат; я могла бы повидаться с ним и обнять его, если бы вы захотели...

Мисс Невиль посмотрела на нее с удивлением.

— Я ушла из Пьетранеры, не обратив на себя внимания, потому что я была с вами...— продолжала Коломба,— иначе за мной следили бы... Быть около него так близко, и не увидеть его?.. Отчего бы вам не пойти со мной к моему бедному брату? Вы доставили бы ему такую радость!

— Но, Коломба... это было бы неприлично с моей стороны.

— Я понимаю! Вы, городские женщины, вы всегда заботитесь о том, что прилично, а мы, деревенские, думаем только о том, что хорошо.

— Но ведь так поздно!.. И что подумает обо мне ваш брат?

— Он подумает, что его друзья не оставили его, и это даст ему твердость переносить страдания.

— А мой отец! Он будет беспокоиться...

— Он знает, что вы со мной. Ну же! Решайтесь... Вы ведь смотрели сегодня на его портрет,— прибавила она с лукавой улыбкой.

— Нет... Право, Коломба, я не смею... Там эти бандиты...

— Ну и что ж такого? Эти бандиты не знают вас. Какое вам до них дело? Тем более, вам самой хотелось на них посмотреть.

— Боже мой!

— Послушайте, сударыня, решайтесь. Оставить вас здесь одну я не могу. Неизвестно, что может случиться. Пойдем к Орсо или вернемся вместе в деревню... Я увижусь с братом... бог знает, когда... никогда, быть может...

— Что вы говорите, Коломба?.. Ну хорошо, пойдемте, но только на одну минуту, и сейчас же вернемся.

Коломба пожала ей руку и, не отвечая, пошла так быстро, что мисс Лидия с трудом поспевала за ней. К счастью, Коломба скоро остановилась и сказала своей подруге:

— Дальше не пойдем, не предупредив их, а то, пожалуй, еще попадем под пулю.

Она вложила два пальца в рот и свистнула; вскоре после этого послышался лай собаки и не замедлил появиться часовой бандитов. Это был наш старый знакомый пес Бруско, который сейчас же узнал Коломбу и стал служить ей проводником. Долго шли они по узкой тропинке, извивавшейся в *маки*, и наконец увидели двух двигавшихся им навстречу мужчин, вооруженных до зубов.

— Это вы, Брандолаччо? — спросила Коломба.— Где мой брат?

— Там! — ответил бандит.— Идите потихоньку: он спит, а это он первый раз заснул после того происшествия. Слава богу! Вот уж правда, что где пройдет черт, там отлично пройдет и баба.

Девушки осторожно подошли и около огня, благоразумно огороженного стенкой из камней, увидели Орсо, лежавшего на куче папоротника и укрытого *piloni*. Он был очень бледен; слышно было, как он тяжело дышал. Коломба села около него и смотрела на него молча, со сложенными руками, как будто бы молясь. Мисс Лидия, закрыв лицо платком, прижалась к ней, но от времени до времени поднимала голову, чтобы через плечо Коломбы посмотреть на раненого. Прошло четверть часа, и никто не вымолвил ни слова. По знаку патера Брандолаччо вместе с ним углубился в *маки,* к великому удовольствию мисс Лидии, которая впервые нашла, что в бородах и одежде бандитов слишком много местного колорита.

Наконец Орсо шевельнулся. Тотчас же Коломба склонилась над ним и начала целовать его, засыпая вопросами о ране, о боли, о том, не нужно ли ему чего-нибудь. Ответив, что он чувствует себя отлично, Орсо, в свою очередь, спросил у нее, в Пьетранере ли еще мисс Невиль и написала ли она ему. Коломба, нагнувшись над братом, совершенно закрывала от него свою подругу; кроме того, Лидию трудно было узнать в темноте. Коломба одной рукой держала ее за руку, а другой слегка приподнимала голову раненого.

— Нет, она не дала мне письма к вам... А вы все думаете о мисс Невиль? Вы, значит, ее очень любите?

— Люблю ли я ее, Коломба?.. Но она... она, может быть, презирает меня теперь.

Мисс Невиль попыталась вырвать руку, но нелегко было заставить Коломбу выпустить добычу: ее маленькая изящная ручка обладала изрядной силой, в чем читатель уже имел случай удостовериться.

— Презирать вас! — воскликнула Коломба.— После того, что вы сделали... Напротив, она так хорошо говорит о вас!.. Ах, Орсо, у меня есть много кое-чего порассказать вам о ней!

Рука хотела вырваться, но Коломба притягивала ее все ближе и ближе к Орсо.

— Но почему же она не отвечает мне? — сказал раненый.— Одной только строчки с меня было бы довольно.

Коломба все тянула руку мисс Невиль и, наконец, вложила ее в руку своего брата; потом она вдруг отодвинулась и рассмеялась.

— Орсо! — воскликнула она.— Не говорите дурно о мисс Невиль,— она отлично понимает по-корсикански.

Мисс Лидия сейчас же отняла руку и пробормотала несколько невнятных слов. Орсо подумал, что он бредит.

— Вы здесь, мисс Невиль! Боже мой, как вы решились? Какое счастье для меня!

С трудом поднявшись, он попытался придвинуться к ней.

— Я провожала вашу сестру, чтобы не догадались, куда она идет... а кроме того... я тоже хотела... увериться... Ах, как вам здесь плохо!

Коломба сидела у изголовья Орсо. Она осторожно приподняла его и положила его голову к себе на колени. Она обвила его шею руками и знаком подозвала мисс Невиль.

— Ближе, ближе,— говорила она,— больному вредно напрягать голос.

И так как мисс Лидия колебалась, то она опять взяла ее за руку и насильно усадила так близко, что ее платье касалось Орсо, а рука, которую Коломба продолжала держать, лежала на плече раненого.

— Вот так очень хорошо,— весело сказала Коломба.— Не правда ли, Орсо, хорошо в *маки* на биваке в такую прекрасную ночь?

— Да, ночь прекрасная,— сказал Орсо.— Я ее никогда не забуду.

— Как вам, должно быть, больно! — сказала мисс Невиль.

— Мне уже не больно, я хотел бы умереть здесь.

Его правая рука потянулась к руке мисс Лидии, которую Коломба все время держала в плену.

— Вас непременно нужно перенести куда-нибудь, где бы за вами был уход, господин делла Реббиа,— сказала мисс Невиль.— Я не усну после того, как видела, что вам плохо здесь... под открытым небом...

— Если бы я не боялся встретить вас, мисс Невиль, я попробовал бы вернуться в Пьетранеру и дал бы себя арестовать.

— Отчего ж это вы боялись встретиться с нею, Орсо? — сказала Коломба.

— Я не послушался вас, мисс Невиль... и теперь я не посмел бы встретиться с вами.

— Знаете ли, мисс Лидия, вы можете заставить моего брата делать все, что вам угодно! — со смехом сказала Коломба.— Я не позволю вам видеться с ним.

— Я надеюсь, что эта мрачная история выяснится, и скоро вам нечего будет бояться...— сказала мисс Невиль.— Я была бы очень рада, если бы знала, уезжая, что ваша невиновность доказана и... что ваше благородство оценено так же высоко, как и ваша храбрость.

— Вы уезжаете, мисс Невиль? О, не говорите этого слова!

— Что ж делать... Нельзя же отцу вечно охотиться. Он собирается уезжать.

Орсо уронил свою руку, касавшуюся руки мисс Невиль, и все замолчали.

— Ну, вот! — начала Коломба.— Мы вас не пустим. У нас в Пьетранере найдется, что показать вам. Кроме того, вы обещали мне нарисовать мой портрет, а вы еще его и не начинали. И потом я обещала вам *serenata* в семьдесят пять куплетов. И потом... Но чего это рычит Бруско? Вон Брандолаччо бежит за ним. Посмотрим, что там такое.

Она сейчас же встала и, без церемонии положив голову Орсо на колени к мисс Невиль, побежала к бандитам.

Немного удивленная тем, что очутилась в *маки* наедине с молодым человеком, голова которого лежала у нее на коленях, мисс Невиль не знала, что ей делать — она боялась неловким движением причинить раненому боль. Но Орсо сам оставил нежную опору, которую только что нашла для него сестра, и, опершись на правую руку, сказал:

— Итак, вы скоро уезжаете, мисс Лидия? Я никогда и не думал, чтобы вам можно было оставаться в этом несчастном краю... и однако... с той минуты, как вы пришли сюда, я во сто раз больше страдаю от мысли, что нужно проститься с вами... Я бедный поручик... без будущего... теперь беглец... Сейчас не время говорить, что я вас люблю... но ведь это единственная возможность высказать вам это, и мне кажется, что теперь, когда я облегчил свое сердце, я не так несчастлив.

Мисс Лидия отвернулась, как будто бы темнота не скрывала краски, проступившей на ее лице.

— Господин делла Реббиа,— сказала она дрожащим голосом,— разве я пришла бы сюда, если бы не...— И, говоря это, она вложила в руку Орсо египетский талисман. Потом, сделав страшное усилие, заговорила своим обычным шутливым тоном:

— С вашей стороны, господин Орсо, очень дурно говорить такие вещи. Вы знаете, что в *маки*, среди ваших бандитов, я никогда бы не посмела рассердиться на вас.

Орсо сделал движение, чтобы поцеловать руку, отдававшую ему талисман, и так как мисс Лидия отняла ее слишком

быстро, то он потерял равновесие и упал на раненую руку. Он не мог удержаться от болезненного стона.

— Милый мой, вам больно? — вскрикнула она, поднимая его.— Это я виновата! Простите меня.

Они несколько времени говорили очень тихо и находились очень близко друг от друга. Прибежавшая Коломба застала их в том же положении, в каком оставила.

— Стрелки! — закричала она.— Орсо, попробуйте встать и идти, я помогу вам.

— Оставьте меня,— сказал Орсо.— Скажите бандитам, пусть они спасаются... Пусть меня возьмут, мне все равно; только уведи мисс Лидию, бога ради, прошу тебя,— чтобы ее не застали здесь.

— Я не покину вас,— сказал Брандолаччо, прибежавший вслед за Коломбой.— Сержант стрелков — крестник адвоката; вместо того чтобы взять вас, он вас убьет, а потом скажет, что сделал это нечаянно.

Орсо попробовал встать, он даже сделал несколько шагов, но скоро остановился.

— Я не могу идти,— сказал он,— а вы бегите. Прощайте, мисс Невиль, дайте мне руку и прощайте!

— Мы не бросим вас! — закричали обе девушки.

— Если вы не можете идти,— сказал Брандолаччо,— значит, мне нужно вас нести. Ну, поручик, подбодритесь. Мы успеем ускользнуть вон через тот овраг. Господин патер отвлечет их.

— Нет, оставьте меня,— сказал Орсо, ложась на землю.— Коломба, бога ради, уведи мисс Невиль!

— Вы сильная, синьора Коломба,— сказал Брандолаччо,— берите его за плечи, а я возьму за ноги. Ладно! Вперед марш!

Они быстро понесли Орсо, несмотря на его протесты; мисс Лидия в смертельном страхе поспевала за ними; вдруг раздался выстрел, на который ответило сразу несколько. Мисс Лидия вскрикнула, Брандолаччо выругался, но пошел вдвое быстрее; по его примеру и Коломба бежала сквозь *маки*, не обращая внимания на ветви, хлеставшие ее по лицу и рвавшие ее платье.

— Нагнитесь, нагнитесь, дорогая,— говорила она подруге,— в вас может попасть пуля.

Так они шли или, вернее, бежали шагов пятьсот, пока Брандолаччо не объявил, что он больше идти не в силах, и свалился на землю, несмотря на увещевания и упреки Коломбы.

— Где мисс Невиль? — спрашивал Орсо.

Мисс Невиль, перепуганная выстрелами, останавливаясь каждую минуту в зарослях *маки,* скоро потеряла след беглецов и осталась одна во власти смертельного страха.

— Она отстала,— сказал Брандолаччо.— Ну, да она не пропадет! Женщина всегда сыщется. Слышите, Орс Антон, какую трескотню поднял патер из вашего ружья? Беда только, что ни зги не видно, от ночной перестрелки никакого толку.

— Тише! — сказала Коломба.— Слышите, лошадь? Мы спасены!

— Мы спасены! — повторил Брандолаччо.

Подбежать к лошади, схватить ее за гриву, вдеть ей в рот вместо удил веревочную петлю было минутным делом для бандита, которому помогала Коломба.

— Теперь предупредим патера,— сказал он.

Он свистнул два раза; далекий свист отозвался на этот сигнал, и выстрелы ментоновского ружья перестали раздаваться. Брандолаччо вскочил на лошадь; Коломба положила брата перед бандитом,— тот одной рукой обхватил его, а другой стал править лошадью. Поощренная двумя здоровыми пинками в брюхо, лошадь, несмотря на двойную тяжесть, проворно тронулась, а затем пустилась вскачь с обрыва — там, где сто раз убилась бы любая не корсиканская лошадь.

Коломба воротилась и стала изо всей мочи звать мисс Невиль, но никто не отвечал ей. Несколько времени она шла наудачу, стараясь найти прежнюю дорогу, и на узкой тропинке встретила двух стрелков, крикнувших ей:

— Кто идет?

— А, господа! — сказала она насмешливым тоном.— Вот так перестрелка! Сколько убитых?

— Вы были с бандитами,— сказал один из солдат.— Вы пойдете с нами.

— Охотно,— ответила она,— но у меня здесь подруга, нам сначала нужно найти ее.

— Ваша подруга уже задержана, и вы пойдете с ней в тюрьму.

— В тюрьму? Ну, это мы еще посмотрим! А покуда ведите меня к ней.

Стрелки отвели ее на стоянку бандитов, и они подобрали трофеи своего похода, то есть *piloni,* которым был покрыт Орсо, старый котел и кружку с водой. Тут же была и мисс Невиль; солдаты нашли ее полумертвою от страха, и она отвечала слезами на все их расспросы о числе бандитов и о направлении, по которому они ушли.

Коломба бросилась к ней в объятия и сказала ей на ухо:

— Они спасены!

Потом она обратилась к сержанту:

— Господин сержант, вы видите, что барышня ничего не знает о том, что вы у нее спрашиваете. Отпустите нас в деревню: там нас ждут с нетерпением.

— Вас, моя милочка, отведут туда даже скорей, чем вы хотите,— сказал сержант,— и вам придется объяснить, что́ вы делали в такое время в *маки* с этими разбойниками, что сейчас убежали. Я не знаю, каким образом колдуют эти плуты, но они, наверно, заговаривают девочек, потому что, где бандиты, там и красотки.

— Вы очень любезны, господин сержант,— сказала Коломба,— но я советую вам быть осторожнее. Эта барышня — родня префекту, с ней не шутите.

— Родня префекту! — шепнул один из стрелков своему начальнику.— И то! Она в шляпке.

— Шляпка ничего не значит,— сказал сержант.— Они обе были с патером, а он первый сердцеед во всей стране. Мой долг отвести их. Да и делать нам здесь больше нечего. Не будь этого проклятого капрала Топена... этот пьяница-француз показался прежде, чем я оцепил *маки*... Не будь его, мы захватили бы их, как в сетку.

— Вас семеро? — спросила Коломба.— Знаете ли, господа, что, если бы братья Гамбини, Сарокки и Теодоро Поли были с Брандолаччо и патером у креста святой Христины, они могли бы задать вам жару. Если б вам пришлось толковать с *начальником полей*[1], я постаралась бы при этом не присутствовать. Ночью пуля не разбирает.

Возможность встречи с названными Коломбой страшными бандитами, казалось, произвела на стрелков впечатление. Продолжая ругать эту французскую собаку, капрала Топена, сержант приказал отступать, и маленькое войско двинулось по дороге к Пьетранере, захватив с собой *piloni* и котел. С кружкой разделались ударом ноги. Один из стрелков хотел взять мисс Лидию за руку, но Коломба оттолкнула его.

— Не смейте трогать ее,— сказала она.— Вы думаете, мы хотим убежать? Пойдемте, Лидия, милая, обопритесь на меня и не плачьте, как девочка. Ну, случилось приключение, но ведь оно не кончилось дурно; через полчаса мы сможем поужинать. Я просто умираю от голода.

---

[1] Такое прозвище было у Теодоро Поли.

— Что обо мне подумают? — тихо говорила мисс Лидия.

— Подумают, что вы заблудились в *маки,* вот и все.

— Что скажет префект? А главное, что скажет мой отец?

— Префект?.. Вы посоветуете ему заниматься своей префектурой. Ваш отец?.. По тому, как вы говорили с Орсо, я заключаю, что у вас найдется, что сказать вашему отцу.

Мисс Лидия молча пожала ей руку.

— Не правда ли? — шептала ей на ухо Коломба.— Мой брат стоит того, чтобы его любить? Ведь вы любите его немножко?

— Ах, Коломба,— отвечала мисс Лидия, улыбаясь, несмотря на свое смущение.— Вы выдали меня, а я так доверяла вам!

Коломба обняла ее за талию и поцеловала в лоб.

— Моя маленькая сестричка,— сказала она тихонько,— вы меня прощаете?

— Приходится простить, моя строгая сестра,— ответила Лидия, возвращая ей поцелуй.

Префект и королевский прокурор остановились у помощника мэра, и полковник, сильно беспокоясь за дочь, в двадцатый раз пришел к ним узнать, нет ли о ней какого-нибудь известия, когда стрелок, отряженный сержантом в качестве вестового, доложил о лютой битве с бандитами, битве, в которой, правда, не было ни убитых, ни раненых, но зато были захвачены котел, *piloni* и две девушки, по уверению стрелков, любовницы или шпионки бандитов. С такой рекомендацией появились под конвоем две пленницы. Можно представить себе сияющее лицо Коломбы, стыд ее подруги, удивление префекта, радость и изумление полковника. Королевский прокурор не мог лишить себя злорадного удовольствия учинить мисс Лидии нечто вроде допроса и прекратил его, только приведя ее в совершенное смущение.

— Мне кажется, что мы можем выпустить их на свободу,— сказал префект.— Эти девицы прогуливались в хорошую погоду — ничего не может быть естественнее; случайно они встретили очень милого молодого раненого — тоже ничего нет естественнее.

Потом он обратился к Коломбе:

— Синьора, вы можете уведомить вашего брата, что его дело приняло лучший оборот, чем я надеялся. Вскрытие трупов и показание полковника доказывают, что он только защищался и что во время схватки он был один. Все уладится, но нужно, чтобы он скорее покинул *маки* и дал себя арестовать.

Было около одиннадцати часов, когда полковник, его дочь и Коломба сели за остывший ужин. Коломба ела с большим аппетитом, насмехаясь над префектом, королевским прокурором и стрелками. Полковник ел молча, все время смотря на дочь, которая не поднимала глаз от тарелки. Наконец мягко, но серьезно он спросил по-английски:

— Лидия, ты дала слово делла Реббиа?

— Да, папа, сегодня,— ответила она краснея, но твердо.

Потом она подняла глаза и, не замечая на лице отца никаких признаков гнева, кинулась к нему в объятия и поцеловала его, как делают в подобных случаях благовоспитанные девицы.

— В добрый час! — сказал полковник.— Он славный малый; но, черт возьми, мы не будем жить на его проклятой родине, или я не дам своего согласия.

— Я не понимаю по-английски,— сказала Коломба, смотревшая на них с крайним любопытством,— но я держу пари, что угадала, о чем вы говорите.

— Мы говорим,— отвечал полковник,— что заставим вас уехать в Ирландию.

— Хорошо, я согласна; и я буду *Surella Colomba*[1]. Так, полковник? Ударим по рукам?

— В таких случаях целуются,— сказал полковник.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Через несколько месяцев после двойного выстрела, повергшего в смятение общину Пьетранеры (так писали газеты), молодой человек с левой рукой на перевязи выехал после полудня из Бастии и направился к деревне Кардо, известной своим фонтаном, который летом доставляет превосходную воду изнеженным жителям города. Его сопровождала молодая женщина, высокого роста и замечательной красоты, верхом на маленькой вороной лошадке, которая привела бы знатока в восторг своей резвостью и своими статями, но у которой, к несчастью, по странной случайности, было разрезано одно ухо. В деревне молодая женщина проворно спрыгнула на землю, помогла своему спутнику слезть с лошади и отвязала от луки своего седла довольно тяжелые переметные сумки. Лошади были отданы на

[1] Сестрица Коломба *(корсик.)*.

попечение крестьянину; женщина, пряча сумки под своим *mezzaro*, и молодой человек с двуствольным ружьем направились в горы по очень крутой тропинке, которая, казалось, не вела ни к какому жилью. Дойдя до одного из уступов горы Кверчо, они остановились и оба сели на траве. Казалось, они кого-то ждали, потому что беспрестанно окидывали взглядом гору, а молодая женщина часто смотрела на хорошенькие часы, может быть, столько же для того, чтобы полюбоваться недавно приобретенной вещицей, сколько для того, чтобы знать, не пришел ли час свидания. Они ждали недолго. Из *маки* вышла собака и на кличку «Бруско», произнесенную молодой женщиной, бросилась к ним ласкаться. Немного времени спустя показались двое бородатых мужчин с ружьями в руках, с патронными сумками на поясах, с пистолетами сбоку. Их порванная, вся в заплатах одежда составляла контраст с великолепным оружием известной европейской марки. Несмотря на видимое неравенство положения, все четыре действующих лица этой сцены встретились, как старые друзья.

— Ну, Орс Антон,— сказал старший из бандитов молодому человеку,— вот и кончилось ваше дело за отсутствием состава преступления. Поздравляю. Мне жаль, что адвоката нет на острове, а то я посмотрел бы, как он бесится. А ваша рука?

— Мне сказали, что через две недели можно будет снять повязку,— сказал молодой человек.— Добрый мой Брандо, завтра я еду в Италию, и мне хотелось попрощаться с тобой, так же как и с господином патером. Вот почему я просил вас прийти.

— Вы очень торопитесь,— сказал Брандолаччо.— Вчера вас оправдали, а завтра вы уже едете.

— Есть дела,— весело сказала молодая девушка.— Господа, я принесла вам ужин: кушайте и не забудьте моего друга Бруско.

— Вы, синьора Коломба, балуете Бруско, но он благодарный пес, вы это сейчас увидите. Ну, Бруско,— сказал он, горизонтально протягивая ружье,— прыгни в честь Барричини!

Собака не тронулась с места и, облизываясь, смотрела на хозяина.

— Прыгни в честь делла Реббиа!

И тут Бруско прыгнул на два фута выше, чем от него требовалось.

— Слушайте, друзья,— сказал Орсо,— вы занимаетесь дурным ремеслом, и если вам не придется кончить свое поприще

вон на той площади внизу, что видна отсюда [1], то самое лучшее, что может случиться с вами,— это пасть в *маки* от жандармской пули.

— Ну что ж! — сказал Кастрикони.— И это смерть, не хуже всякой другой; лучше умереть так, чем от лихорадки, которая убьет вас в постели среди более или менее искренних рыданий ваших наследников.

— Я был бы рад, если б вы покинули эту страну,— продолжал Орсо,— и стали бы вести более спокойную жизнь. Например, отчего бы вам не устроиться в Сардинии, как сделали многие из ваших товарищей? Я мог бы вам в этом помочь.

— В Сардинии! — воскликнул Брандолаччо.— *I stos sardos* [2], чтоб их черт побрал вместе с их наречием. Это для нас слишком дурная компания.

— В Сардинии нечем жить,— прибавил богослов.— Что до меня, я презираю сардинцев. Для охоты за бандитами у них есть конная милиция; это кладет пятно и на бандитов, и на всю страну [3]. Провались она, Сардиния! Меня удивляет, синьор делла Реббиа, как это вы, человек образованный и со вкусом, раз попробовав пожить с нами в *маки*, не остались у нас.

— Но ведь когда я был вашим нахлебником,— сказал, улыбаясь, Орсо,— я был совсем не в таком состоянии, чтобы оценивать прелесть вашего положения: у меня до сих пор болят бока, когда вспомню, как в одну прекрасную ночь друг мой Брандолаччо скакал на лошади без седла, перекинув меня поперек, как какой-нибудь тюк.

— А удовольствие уйти от погони? — возразил патер.— Вы его ни во что ставите? Как вы можете оставаться нечувствительным к прелести полной свободы в таком прекрасном климате, как наш? С этим надежным товарищем в руках (он показал на свое ружье) вы король всюду, куда достает его пуля. Вы повелеваете, вы наказываете виновных... Это весьма нравственное и весьма приятное развлечение, синьор делла Реббиа, и мы никогда не отказываем себе в нем. Какая жизнь может сравниться с жизнью странствующего рыцаря, у которого и оружие, и здравый смысл лучше, чем у Дон Кихота? Слу-

---

[1] Площадь в Бастии, на которой совершаются казни.

[2] Ах, эти сарды! *(лат.)*

[3] Это критическое замечание о Сардинии принадлежит одному моему приятелю, бывшему бандиту, всецело за него ответственному. Он хочет сказать, что бандиты, позволяющие захватить себя всадникам, очень глупы и что милиционер, преследующий бандитов верхом, ни за что бы их не настиг.

шайте: однажды я узнал, что дядя маленькой Лиллы Луиджи, этот старый скряга, не хочет давать ей приданого; я написал ему — без угроз, это не в моем вкусе — ну и сейчас же убедил человека: он выдал ее замуж. Я составил счастье двух существ. Поверьте мне, синьор Орсо: ничто не может сравниться с жизнью бандита. Эх!.. Вы, может быть, были бы нашим, если б не одна англичанка, которую я видел только мельком, но о которой там, в Бастии, все говорят с восторгом.

— Моя будущая невестка не любит *маки,*— сказала, смеясь, Коломба,— ее там напугали.

— Итак, вы хотите остаться здесь,— сказал Орсо.— Пусть будет по-вашему. Скажите, могу я сделать что-нибудь для вас?

— Помните о нас немножко, вот и все,— отвечал Брандолаччо.— Вы и так много для нас сделали. Килина теперь с приданым, и чтобы пристроить ее, стоит только моему другу патеру написать несколько писем без угроз. Мы знаем, что ваш фермер будет давать нам хлеба и пороху, сколько нам понадобится. Итак, до свиданья. Надеюсь еще увидеться с вами когда-нибудь на Корсике.

— В черный день несколько золотых будут очень кстати,— сказал Орсо.— Мы старые знакомые, не откажитесь принять от меня этот маленький сверток: он пригодится вам.

— Никаких денег, поручик,— решительно возразил Брандолаччо.

— В городах деньги — это все,— добавил Кастрикони,— а в *маки* дороги только смелое сердце да ружье без осечки.

— Я не хотел бы расстаться с вами, не оставив вам что-нибудь на память,— возразил Орсо.— Ну, Брандо, что бы тебе дать?

Бандит почесал голову и искоса посмотрел на ружье Орсо.

— Знаете, поручик... Если б я посмел... да нет, вы им слишком дорожите.

— Чего тебе хочется?

— Ничего, сама штука-то ничего не значит. Нужно уметь обращаться с нею. Я все думаю об этом чертовском двойном выстреле одною рукой... Нет, такие вещи не повторяются.

— Ты хочешь это ружье? Я отдам тебе его, но пусть оно служит тебе как можно реже.

— Я не обещаю стрелять из него так же метко, как вы, но будьте покойны: когда оно попадет в руки кого-нибудь другого, тогда вы смело сможете сказать, что Брандо Савелли не умел держать в руках ружье.

— А что мне дать вам, Кастрикони?

— Так как вы непременно хотите оставить мне о себе какую-нибудь вещественную память, то я без церемонии попрошу вас прислать мне Горация возможно меньшего формата. Это доставит мне развлечение и не даст мне забыть латынь. В Бастии на пристани одна там... продает сигары, отдайте ей, а она передаст мне.

— Я пришлю вам эльзевир, господин ученый; у меня есть один экземпляр среди книг, которые я хотел увезти с собой... Ну, друзья мои, пора. Пожмем друг другу руки. Если вы вздумаете уехать в Сардинию, напишите мне. Адвокат Н. даст вам мой адрес на континенте.

— Поручик,— сказал Брандо,— завтра, когда вы выйдете из гавани, смотрите на гору, на это место: мы будем здесь и помахаем вам платками.

И они расстались. Орсо с сестрой двинулись по направлению к Кардо, а бандиты ушли в горы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В прекрасное апрельское утро полковник сэр Томас Невиль, его дочь, несколько дней тому назад вышедшая замуж, Орсо и Коломба выехали в коляске из Пизы, чтобы побывать в недавно открытом этрусском подземелье, которое ездили смотреть все иностранцы. Спустившись в подземелье, Орсо с женой вынули карандаши и сочли своим долгом зарисовать роспись стен; полковник же и Коломба, оба довольно равнодушные к археологии, оставили их вдвоем и пошли гулять по окрестностям.

— Милая Коломба,— сказал полковник,— мы не успеем вернуться в Пизу к нашему *luncheon* [1]. Вам хочется есть? Орсо с женой увлеклись древностями; уж как примутся рисовать вместе, до завтра не кончат.

— Да,— сказала Коломба,— а между тем они еще не принесли ни одного рисунка.

— По моему мнению, нам следует зайти вон на ту маленькую ферму. Там мы найдем хлеб, может быть, *алеатико*. И — кто знает? — может быть, даже сливки и земляннику. И будем терпеливо ждать наших рисовальщиков.

---

[1] Завтрак *(англ.)*.

— Ваша правда, полковник. Вы и я — рассудительные люди в семье, и нам не следует делать себя мучениками из-за этих влюбленных, которые живут одной поэзией. Дайте мне руку. Не правда ли, я совершенствуюсь? Я хожу под руку, ношу шляпы, модные платья; у меня есть золотые безделушки, я научилась многим прекрасным вещам, я больше не дикарка. Посмотрите, с какой грацией я ношу шаль... Этот блондин, этот офицер вашего полка, что был на свадьбе... Боже мой, я не могу запомнить его фамилии... Высокий, кудрявый; я сбила бы его с ног одним ударом кулака...

— Четверт? — спросил полковник.

— Кажется, так, только этого я никогда не выговорю. Ну, так он влюблен в меня без памяти.

— Ах, Коломба! Вы становитесь кокеткой... У нас скоро будет другая свадьба.

— Чтобы я вышла замуж! А кто же будет воспитывать моего племянника, когда мне подарит его Орсо? Кто же научит его говорить по-корсикански? И чтобы вас взбесить, я сделаю ему остроконечную шапку.

— Сначала подождем, пока у вас будет племянник, а там уж научите его играть стилетом, если вам это нравится.

— Прощайте, стилеты! — весело сказала Коломба.— Теперь у меня есть веер, чтобы бить вас по пальцам, когда вы будете говорить дурно о моей родине.

Разговаривая таким образом, они вошли на ферму,— там было и вино, и земляника, и сливки. Коломба помогала фермерше рвать землянику, а полковник в это время пил *алеатико*. На повороте аллеи Коломба заметила старика, сидевшего на солнце в соломенном кресле; казалось, он был болен, потому что его щеки ввалились, глаза впали; он был необыкновенно худ, и его неподвижность, бледность, остановившийся взгляд делали его похожим скорее на мертвеца, чем на живое существо. Несколько минут Коломба рассматривала его с таким любопытством, что привлекла к себе внимание фермерши.

— Этот бедный старик,— сказала она,— ваш земляк; я ведь вижу по вашему выговору, что вы корсиканка, синьора. С ним на родине случилось несчастье: его дети умерли ужасной смертью. Простите меня, синьора, но говорят, что ваши земляки не очень милостивы к своим врагам. Этот человек остался один; он приехал оттуда в Пизу к своей дальней родственнице, владелице этой фермы. Бедняга с горя и печали немножко рехнулся... Это стесняло барыню, у нее бывает много гостей, она и отослала его сюда. Он очень смирен, никому не мешает, за

целый день и трех слов не скажет. Тронулся! Доктор ездит каждую неделю и говорит, что он долго не протянет.

— Он безнадежен? — спросила Коломба.— В его положении это счастье.

— Поговорите с ним по-корсикански, синьора, он, может быть, немного подбодрится, если услышит родной язык.

— Посмотрим,— сказала Коломба с иронической улыбкой и подошла к старику так, что закрыла собою солнце. Бедный слабоумный поднял голову и стал пристально смотреть на Коломбу, которая тоже смотрела на него, все время улыбаясь. Мгновение спустя он провел рукой по лбу и закрыл глаза, как будто желая избегнуть ее взгляда. Потом он открыл их, но уже совсем широко; его губы дрожали; он хотел протянуть руку, но, завороженный Коломбой, остался прикованным к своему креслу, не будучи в состоянии ни говорить, ни двигаться. Наконец крупные слезы потекли по его щекам и из груди вырвались рыдания.

— В первый раз я вижу его таким,— сказала садовница.— Эта синьора — ваша землячка; она приехала повидаться с вами,— обратилась она к старику.

— Сжалься! — воскликнул он хриплым голосом.— Сжалься! Неужели тебе еще мало? Листок этот... что я сжег... Как ты сумела его прочесть? Но за что же обоих? Орландуччо... Ты ничего не могла о нем прочесть... Нужно было оставить мне одного... только одного... Орландуччо... Ты не прочла его имени.

— Мне нужны были оба,— тихо сказала Коломба по-корсикански.— Ветви обрезаны, и если бы ствол не сгнил, я вырвала бы и его... Не жалуйся — тебе недолго страдать! А я страдала два года!

Старик вскрикнул, и голова его упала на грудь. Коломба повернулась к нему спиной и медленно пошла к дому, невнятно напевая слова *ballata:* «Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало...»

Пока садовница хлопотала, помогая старику, Коломба с разгоревшимся лицом и блестящими глазами села за стол напротив полковника.

— Что с вами? — спросил он.— Вы теперь такая же, как были в Пьетранере в тот день, когда в нас стреляли во время обеда.

— Я вспомнила Корсику. Но это все в прошлом. Я буду крестной, не правда ли? О, какие славные имена я ему дам: Гильфуччо-Томмазо-Орсо-Леоне.

В это время вошла садовница.

— Ну, что? — совершенно спокойно спросила Коломба.— Он умер или только в обмороке?

— Сейчас уже ничего, синьора, но странно, как ваш вид подействовал на него.

— И доктор сказал, что он недолго протянет?

— Месяца два.

— Потеря небольшая,— заметила Коломба.

— О ком вы говорите? — спросил полковник.

— Об одном слабоумном из нашего края,— равнодушно сказала Коломба,— он живет здесь. Я буду справляться о нем. Послушайте, полковник, оставьте же земляники брату с Лидией!

Когда Коломба вышла, чтобы сесть в коляску, фермерша несколько времени провожала ее взглядом.

— Посмотри на эту хорошенькую синьору,— сказала она своей дочери.— Я уверена, что у нее дурной глаз.

Se Paris kai Phoibos Apollôn
Esthlon eont olesosin eni Skhaiêsi polêsin.

Гомер. Ил., XXII, 360[1]

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В церкви св. Роха отошла последняя обедня, и сторож совершал свой обход, запирая опустевшие часовни. Он уже собирался задвинуть решетку одного из этих аристократических святилищ, где некоторым богомолкам за особую плату разрешается молиться отдельно от прочих верующих, как вдруг заметил, что там стоит на коленях какая-то женщина, склонив голову на спинку стула и, по-видимому, погруженная в молитву. «Это госпожа де Пьен»,— сказал он про себя, останавливаясь у входа в часовню. Г-жа де Пьен была сторожу хорошо известна. В те времена для светской женщины, молодой, богатой, красивой, приносящей церкви благословенный хлеб, жертвующей покровы на престолы, раздающей щедрую милостыню через посредство своего священника, составляло известную заслугу быть благочестивой, если она не была замужем за правительственным чиновником, не состояла при супруге дофина и ничего не могла выгадать от посещения церквей, кроме разве спасения души. Такова была г-жа де Пьен.

Сторожу хотелось обедать, ибо такие люди, как он, обедают в час, но он не посмел нарушить благочестивые размышления столь уважаемой в приходе св. Роха особы. Поэтому он удалился, стуча по плитам стоптанными башмаками, не без надежды на то, что, обойдя церковь, он найдет часовню пустой.

Он был уже по ту сторону хора, когда в храм вошла молодая женщина и стала расхаживать вдоль одного из боковых

[1] Парис и Феб-стреловержец,
Сколь ни могучего, в Скейских воротах тебя ниспровергнут *(греч.)*. *Гомер, «Илиада»*, XXII, 360.

нефов, с любопытством озираясь по сторонам. Запрестольные образа, часовни, кропильницы — все эти предметы казались ей, по-видимому, такими же странными, как вам, сударыня, могли бы казаться странными михраб или надписи каирской мечети. Ей было лет двадцать пять, но к ней надо было внимательно присмотреться, чтобы не дать ей больше. Хоть и очень яркие, ее черные глаза ввалились и были окаймлены синевой, ее матово-белый цвет лица, ее бескровные губы говорили о страдании, а в то же время что-то дерзкое и веселое в ее взгляде шло вразрез с этой болезненной внешностью. В ее одежде вы бы заметили причудливую смесь небрежности и изысканности. Ее розовая шляпа, украшенная искусственными цветами, скорее подходила бы к легкому вечернему туалету. Изощренный глаз светской женщины сразу заметил бы, что ее длинная кашемировая шаль уже была в употреблении, прежде чем попасть к теперешней ее обладательнице. Из-под шали виднелось поношенное платье из дешевого ситца по франку за локоть. Наконец, только мужчина сумел бы оценить ее ножки в простых чулках и прюнелевых ботинках, по-видимому, давно уже страдающих от суровости мостовой. Вы помните, сударыня, что асфальт тогда еще не был изобретен.

Эта женщина, общественное положение которой вы, должно быть, угадали, подошла к часовне, где все еще находилась г-жа де Пьен; она некоторое время глядела на нее с беспокойным и смущенным видом и, когда увидала, что та встает и собирается уходить, заговорила с ней.

— Не могли ли бы вы мне указать, сударыня,— спросила она ее тихим голосом и с застенчивой улыбкой,— не могли ли бы вы мне указать, к кому мне обратиться, чтобы поставить свечу?

Эта речь была столь необычна для слуха г-жи де Пьен, что та не сразу поняла и должна была переспросить.

— Да, я бы хотела поставить свечу святому Роху, но я не знаю, кому заплатить.

Госпожа де Пьен обладала слишком просвещенным благочестием, чтобы разделять эти простонародные суеверия. Но все же она их уважала, ибо во всяком поклонении, как бы оно ни было грубо, есть что-то трогательное. В уверенности, что речь идет о каком-нибудь обете или о чем-нибудь подобном, и будучи слишком добросердечной для того, чтобы на основании костюма молодой женщины в розовой шляпе строить те заключения, к которым вы, быть может, не побоялись бы прийти, она указала ей на приближающегося сторожа. Незнакомка поблагодарила и

поспешила навстречу этому человеку, который, по-видимому, понял ее с полуслова. Беря свой молитвенник и оправляя вуаль, г-жа де Пьен успела заметить, как незнакомка достала из кармана маленький кошелек, вынула из кучки мелочи одинокую монету в пять франков и вручила ее сторожу, давая ему шепотом пространные наставления, которые он выслушивал с улыбкой.

Обе они вышли из церкви одновременно, но незнакомка шла очень быстро, и г-жа де Пьен скоро потеряла ее из виду, хотя держалась того же направления. На углу той улицы, где она жила, она снова ее встретила. Под своей поношенной шалью незнакомка прятала четырехфунтовый хлеб, купленный в соседней лавочке. Увидев г-жу де Пьен, она опустила голову, невольно улыбнулась и ускорила шаг. Ее улыбка говорила: «Что же делать? Я бедна. Смейтесь надо мной. Я сама знаю, что не ходят за хлебом в розовой шляпке и кашемировой шали». Это соединение ложного стыда, покорности и добродушия не ускользнуло от внимания г-жи де Пьен. Она не без грусти подумала о том, в каком положении должна находиться эта девушка. «Ее благочестие,— подумала она,— похвальнее моего. Экю, который она заплатила, несомненно гораздо бóльшая жертва, чем тот излишек, который я уделяю бедным, не подвергая самое себя никаким лишениям». Потом она вспомнила о двух лептах вдовицы, более угодных богу, нежели пышные приношения богачей. «Я делаю слишком мало добра,— сказала она себе.— Я не делаю всего того, что могла бы делать». Мысленно обращаясь к себе с такими упреками, которых она отнюдь не заслуживала, она вернулась домой. Свеча, четырехфунтовый хлеб и в особенности пожертвование единственной пятифранковой монеты запечатлели в памяти г-жи де Пьен черты этой молодой женщины, которую она почитала образцом благочестия.

С тех пор она довольно часто встречала ее на улице неподалеку от церкви, но на богослужениях ни разу. Проходя мимо г-жи де Пьен, незнакомка всякий раз опускала голову и тихо улыбалась. Г-же де Пьен нравилась эта смиренная улыбка. Она была бы рада найти случай чем-нибудь помочь бедной девушке, которая сперва внушила ей участие, а теперь возбуждала в ней жалость: она заметила, что ее розовая шляпка теряет свежесть, а кашемировой шали больше нет. Она, должно быть, вернулась к старьевщице. Было очевидно, что св. Рох не возместил сторицей сделанного ему приношения.

Однажды при г-же де Пьен к св. Роху внесли гроб, за которым шел довольно плохо одетый человек без крепа на шляпе,

по-видимому какой-то привратник. Уже больше месяца она не встречала женщины, которая ставила свечку, и ей пришло в голову, что это ее хоронят. Ничего невозможного в этом не было, потому что она была так бледна и худа в последний раз, когда г-жа де Пьен ее видела. Г-жа де Пьен обратилась к церковному сторожу, и тот расспросил человека, шедшего за гробом. Человек ответил, что он служит консьержем в доме на улице Людовика Великого; что у них умерла жилица, некая г-жа Гийо, у которой не было ни родных, ни друзей, только дочь, и что исключительно по доброте душевной он, консьерж, хоронит женщину, совершенно для него постороннюю. Г-жа де Пьен тотчас же представила себе, что ее незнакомка умерла в нужде и маленькая беспомощная девочка осталась одна; она решила послать за сведениями священника, который всегда помогал ей в ее благотворительных делах.

Через день, когда она выезжала из дому, ее карету на минуту задержала перегородившая улицу тележка. Рассеянно глядя в окно, она заметила возле тумбы ту самую молодую девушку, которую считала умершей. Она сразу узнала ее, хотя та еще больше побледнела и похудела и была одета в траур, но бедно, без перчаток, без шляпы. Выражение лица у нее было странное. Вместо обычной улыбки на лице застыла судорога; ее большие черные глаза смотрели дико; она обращала их к г-же де Пьен, но не узнавала ее, потому что ничего не видела. Весь ее облик выражал не скорбь, а яростную решимость. Тележка отъехала в сторону, лошади пошли крупной рысью, и карета г-жи де Пьен быстро удалилась; но образ молодой девушки и отчаянное выражение ее лица преследовали г-жу де Пьен еще долгое время.

Возвращаясь, она увидела на своей улице большую толпу. Все привратницы стояли у дверей и что-то рассказывали соседкам, слушавшим, казалось, с живым интересом. Особенно много толпилось людей перед одним домом, поблизости от того, в котором жила г-жа де Пьен. Все глаза были обращены к открытому окну в четвертом этаже; в каждой группе одна или две руки указывали на него собравшимся; потом руки вдруг опускались к земле, и все следили взглядом за этим движением. Случилось, по-видимому, какое-то необычайное происшествие.

Войдя в переднюю, г-жа де Пьен увидела, что все ее слуги встревожены. Каждый спешил ей навстречу, чтобы первым сообщить ей о необычайном происшествии, взволновавшем всю улицу. Но прежде чем она успела что-либо спросить, ее горничная воскликнула:

— Ах, сударыня!.. Если бы вы знали!..

И, с несказанной поспешностью распахивая двери, проникла со своей госпожой в «святая святых», я хочу сказать, в будуар, недоступный для прочих домочадцев.

— Ах, сударыня,— говорила мадемуазель Жозефина, снимая с г-жи де Пьен шаль,— я просто в себя не могу прийти! Никогда в жизни я ничего ужаснее не видела,— правда, я не видела, хотя я сразу же прибежала... Но все-таки...

— Да что же случилось? Говорите скорее.

— А то, сударыня, что рядом с нами несчастная бедная девушка выбросилась из окна каких-нибудь три минуты тому назад; если бы вы вернулись минутой раньше, вы бы сами слышали, как она хлопнулась.

— Ах, боже мой! И несчастная убилась?..

— Это было ужасно. Батист на войне бывал, а и то говорит, что никогда не видал ничего подобного. С четвертого этажа, сударыня!

— Она умерла на месте?

— Ах, сударыня, она еще шевелилась; говорила даже. «Пусть меня прикончат!» — так она говорила. Но у нее все кости превратились в кашу. Вы сами можете посудить, как она должна была разбиться.

— Но этой несчастной... оказали помощь? Послали за доктором, за священником?..

— Что касается священника... вам это, конечно, виднее... Но если бы я была священником... Быть настолько безнравственным созданием, чтобы убить самое себя!.. И потом, она была нехорошего поведения... Оно и видно... Она, говорят, когда-то служила в балете... Все эти барышни плохо кончают... Стала это она на подоконник, завязала юбки розовой лентой — и... хлоп!

— Это та бедная девушка в трауре! — воскликнула г-жа де Пьен, обращаясь к самой себе.

— Да, сударыня; у нее умерла мать дня три или четыре тому назад. Ну, она, должно быть, и потеряла голову... Вдобавок, может быть, и кавалер ее бросил... Да квартирный срок подошел... Денег нет, работать они не умеют... Сумасбродные головы! Долго ли до греха?..

Мадемуазель Жозефина продолжала еще некоторое время в том же духе, но г-жа де Пьен не отвечала. Она грустно размышляла об услышанном. Вдруг она спросила мадемуазель Жозефину:

— А есть ли у той несчастной девушки все, что ей сейчас необходимо?.. Белье... тюфяки?.. Нужно немедленно узнать.

— Я схожу от вашего имени, если вам угодно,— воскликнула горничная, в восторге от того, что увидит близко женщину, которая хотела покончить с собой; потом, подумав, добавила: — Только не знаю, хватит ли у меня сил смотреть на это, на женщину, упавшую с четвертого этажа... Когда Батисту пускали кровь, мне сделалось дурно. Я не могла.

— Ну, так пошлите Батиста! — воскликнула г-жа де Пьен.— Но чтобы мне сейчас же сказали, в каком положении эта бедняжка.

По счастью, как раз, когда она отдавала это распоряжение, вошел ее врач, доктор К. Он всегда обедал у нее по вторникам, перед итальянской оперой.

— Бегите скорее, доктор! — крикнула она, не дав ему времени положить трость и снять теплое пальто.— Батист вас проводит в соседний дом. Там несчастная девушка только что выбросилась из окна, и ей надо помочь.

— Из окна? — сказал врач.— Если окно было высоко, то мне, вероятно, нечего делать.

Доктору больше хотелось обедать, чем производить операцию; но г-жа де Пьен настаивала, и, получив обещание, что с обедом подождут, он согласился последовать за Батистом.

Немного погодя Батист вернулся один. Он требовал белья, подушек и тому подобное. Кроме того, он сообщил мнение доктора:

— Это пустяки. Она поправится, если только не умрет от... я не помню, от чего это, он говорил, она может умереть, но только это кончается на «ос».

— Тетанос! — воскликнула г-жа де Пьен.

— Вот именно, сударыня; но, во всяком случае, очень хорошо, что господин доктор сходил туда, потому что там уже оказался один докторишка без практики, тот самый, который лечил маленькую Бертелло от кори, и та умерла после третьего визита.

Через час вернулся доктор; пудра с него пооблетела, а его чудесное батистовое жабо измялось.

— Этим самоубийцам,— сказал он,— положительно везет. На днях ко мне в больницу привозят женщину, которая выстрелила себе в рот из пистолета. Скверный способ!.. Она сломала себе три зуба и продырявила левую щеку... Немного подурнеет, вот и все. Эта вот бросается с четвертого этажа. Иной порядочный человек нечаянно упадет со второго и раскроит себе череп. А эта девица сломала себе ногу... Сломаны два ребра, много ушибов, и больше ничего. Как раз в нужном месте

оказался навес, который смягчил удар. У меня это уже третий подобный случай с тех пор, как я вернулся в Париж. Она ударилась оземь ногами. Большая берцовая и малая берцовая отлично срастаются... Хуже то, что корочка у этого тюрбо совершенно ссохлась... Я боюсь за жаркое; к тому же мы пропустим первый акт *Отелло*.

— А сказала вам эта несчастная, что ее толкнуло на...

— О, я этих историй никогда не слушаю! Я их спрашиваю: ели вы перед этим? — и так далее и так далее, потому что это важно для лечения... Разумеется, когда кончаешь с собой, то всегда имеется какая-нибудь неосновательная причина. Вас бросил любовник, вас выселяет хозяин; кидаешься из окна, чтобы ему насолить. Не успеваешь долететь, как уже раскаиваешься.

— Она, бедняжка, наверно, раскаивается?

— Ну, еще бы! Она плакала и голосила так, что я чуть не оглох... А Батист — замечательный фельдшер; он куда лучше справлялся, чем какой-то подлекарь, который там был и чесал затылок, не зная, с чего начать... Всего обиднее для нее то, что если бы она убилась, она бы избавилась от перспективы умереть от чахотки; потому что у нее чахотка, это я ей гарантирую. Я ее не *выслушивал,* но *facies* [1] меня никогда не обманывает. Так торопиться, когда стоит только чуточку подождать!

— Вы завтра ее навестите, доктор, не правда ли?

— Придется, раз вы этого хотите. Я ей уже пообещал, что вы ей поможете. Проще всего было бы отправить ее в больницу... Там ее бесплатно снабдят аппаратом для сращения ноги... Но при слове «больница» она начинает кричать, чтобы ее прикончили, все кумушки ей подпевают. А между тем, если нет ни гроша...

— Я возьму на себя расходы, доктор... Знаете, слово «больница» меня тоже невольно пугает, как этих кумушек, о которых вы говорите. К тому же везти ее в больницу сейчас, когда она в таком ужасном состоянии, это значило бы ее убить.

— Предрассудок! Чистейший предрассудок светского общества. Лучше, чем в больнице, нигде не может быть. Когда я заболею не на шутку, то меня свезут в больницу. Оттуда я и пересяду в ладью Харона, а тело свое подарю ученикам... лет через тридцать или сорок, разумеется. Серьезно, сударыня, подумайте сами: заслуживает ли ваша протеже такого внимания с вашей стороны? По-моему, это какая-нибудь балетная тан-

---

[1] Лицо, выражение лица *(лат.)*.

цовщица... Нужно иметь балетные ноги, чтобы так удачно прыгнуть, как она...

— Но я ее видела в церкви... и потом, доктор... вы знаете мою слабость; я создаю себе целую повесть по лицу человека, по его взгляду... Смейтесь, сколько вам угодно, я редко ошибаюсь. Эта бедная девушка недавно молилась за свою больную мать. Ее мать умерла... И она потеряла голову... Отчаяние, нужда толкнули ее на этот ужасный поступок.

— Как вам угодно. Да, действительно у нее на темени имеется выпуклость, указывающая на экзальтацию. Все, что вы говорите, вполне правдоподобно. Я вспомнил, что над ее складной кроватью висит буксовая веточка. Это свидетельствует о благочестии, не так ли?

— Складная кровать? Ах, боже мой! Бедная девушка!.. Но, доктор, у вас опять ваша нехорошая улыбка! Я говорю не о том, благочестива она или нет. А я чувствую себя обязанной помочь этой девушке потому, что я виновата перед ней...

— Виновата?.. Понимаю. Вам, может быть, следовало устлать улицу матрацами, чтобы она не ушиблась?

— Да, виновата. Я видела, в каком она положении, мне следовало послать ей пособие; но бедный отец Дюбиньон был нездоров, и...

— У вас, должно быть, очень неспокойна совесть, если вы считаете, что недостаточно давать, как вы это делаете, всем, кто у вас просит. По-вашему, надо еще разыскивать самой застенчивых бедняков. Но не будем больше говорить о сломанных ногах или, вернее, скажем еще два только слова. Если вы берете под свое высокое покровительство мою новую пациентку, велите ей дать кровать получше, сиделку на завтра — на сегодня довольно будет кумушек,— бульон, лекарства и так далее. И еще было бы неплохо, если бы вы к ней прислали когонибудь из ваших аббатов, человека с головой, чтобы он ее отчитал и подправил ей психику, как я ей подправил ногу. Это особа нервная; могут быть осложнения... Вы были бы... конечно, да, вы были бы самой лучшей наставницей; но у вас найдется лучшее применение для ваших проповедей... Я кончил. Половина девятого. Ради бога, начните ваши оперные сборы. Батист принесет мне кофе и *Журналь де Деба*. Я сегодня носился целый день и даже не знаю, что делается на свете.

Прошло несколько дней, и больная чувствовала себя немного лучше. Доктор жаловался только, что ее душевное возбуждение не утихает.

— Я не очень-то полагаюсь на всех этих ваших аббатов,— говорил он г-же де Пьен.— Если вам не слишком противно зрелище человеческого несчастья, а я знаю, что вы достаточно мужественны для этого, вы бы лучше успокоили это бедное дитя, чем любой священник от святого Роха, и лучше даже, чем доза латукового сока.

Госпожа де Пьен охотно согласилась и сказала, что готова идти вместе с ним хоть сейчас. Они отправились к больной вдвоем.

В комнате, где стояли три соломенных стула и небольшой стол, она лежала на хорошей кровати, присланной г-жой де Пьен. Тонкие простыни, мягкие матрацы, несколько больших подушек говорили о сострадательной заботливости, виновника которой вам нетрудно угадать. Молодая девушка, страшно бледная, с горящими глазами, лежала с откинутой рукой, и эта часть руки, видневшаяся из-под кофты, синяя от кровоподтеков, позволяла догадываться, в каком состоянии все тело. Увидев г-жу де Пьен, она подняла голову и сказала с тихой и грустной улыбкой:

— Я так и знала, что это вы пожалели меня. Мне сказали, как вас зовут, и я была уверена, что это та дама, которую я встречала около церкви святого Роха.

Я, кажется, уже говорил вам, что г-жа де Пьен утверждала, будто обладает даром узнавать людей по их лицу. Она была в восторге, что у ее призреваемой оказался такой же талант, и это открытие еще больше расположило ее в пользу девушки.

— У вас здесь очень неуютно, бедное мое дитя! — сказала она, обводя взглядом убогую обстановку.— Почему вам не прислали занавесей?.. Просите у Батиста любую мелочь, какая вам потребуется.

— Вы очень добры... В чем я нуждаюсь? Ни в чем... Все кончено... Немного лучше, немного хуже — не все ли равно?

И, отвернув лицо, она заплакала.

— Вы очень страдаете, бедное мое дитя? — спросила г-жа де Пьен, садясь возле кровати.

— Нет, не очень... Но только у меня все время в ушах свистит этот ветер, когда я падала, и потом этот звук... трах! — когда я упала на мостовую.

— Тогда вы были безумны, мой дорогой друг; вы раскаиваетесь теперь, не правда ли?

— Да... но когда несчастен, тогда сам не знаешь, что делаешь.

— Я так жалею, что не знала раньше, в каком вы положении. Но, дитя мое, ни при каких обстоятельствах в жизни нельзя предаваться отчаянию.

— Вам легко говорить,— сказал доктор, который, сидя у столика, писал рецепт.— Вы не знаете, что значит потерять красивого молодого человека с усами. Но только, черт возьми, чтобы его догнать, незачем прыгать в окно.

— Перестаньте, доктор! — сказала г-жа де Пьен.— У бедной крошки, наверно, были другие основания, чтобы...

— Ах, я сама не знаю, что со мной было! — воскликнула больная.— Сто причин зараз. Во-первых, мама умерла, это на меня так подействовало! Потом я чувствовала себя одинокой... никому до меня не было дела!.. Наконец, человек, о котором я думала больше всех на свете... Подумайте, забыть даже мое имя! Да, меня зовут Арсена Гийо — Г, И, Й, О; а он мне пишет: Гио!

— Я же говорил: измена! — воскликнул доктор.— Всегда одно и то же. Полноте, красавица, забудьте его. Человек, у которого нет памяти, не стоит того, чтобы о нем вспоминали.— Он посмотрел на часы.— Четыре часа? — сказал он, вставая.— Я опаздываю на консилиум. Сударыня! Я приношу тысячу извинений, но я должен вас покинуть; я даже не успею проводить вас домой. До свидания, дитя мое; успокойтесь, все будет в порядке. Вы будете так же хорошо танцевать этой ногой, как и той. А вы, госпожа сиделка, сходите в аптеку с этим рецептом и делайте все, как вчера.

Доктор и сиделка вышли; г-жа де Пьен осталась с больной вдвоем, немного встревоженная тем, что в повести, которую она совсем иначе построила в своем воображении, оказывалась любовь.

— Так, значит, вас обманули, несчастное дитя! — заговорила она после короткого молчания.

— Меня? Нет. Разве обманывают таких, как я?.. Только я ему надоела... Он прав; я не то, что ему надо. Он всегда был добр и великодушен. Я ему написала, в каком я положении и не помирится ли он со мной... И он мне ответил... такое, что мне было очень больно... Давеча, придя домой, я уронила зеркало, которое он мне подарил, венецианское зеркало, как он его называл. Зеркало разбилось... Я подумала: это конец... Это значит, что все кончено... У меня ничего больше не оставалось от него. Золотые вещи я заложила... А потом я подумала, что, если я себя убью, ему будет больно, и я отомщу... Окно было открыто, и я бросилась.

— Но подумайте, несчастная,— ведь повод был настолько же легкомыслен, насколько самое действие преступно.

— Может быть; но что же делать? В горе не рассуждаешь. Хорошо счастливым людям говорить: будьте благоразумны.

— Я знаю: горе — плохой советчик. И все же даже среди самых тяжких испытаний есть вещи, которых нельзя забывать. Я вас видела в церкви за богоугодным делом не так давно. Вы имеете счастие *верить*. Вера, моя дорогая, должна была вас удержать в ту минуту, когда вы готовы были впасть в отчаяние. Вашу жизнь вы получили от бога. Она не вам принадлежит... Но мне не следует бранить вас сейчас, бедная девочка. Вы раскаиваетесь, вы страдаете, бог сжалится над вами.

Арсена склонила голову, и ее веки увлажнились слезами.

— Ах, сударыня,— сказала она с глубоким вздохом,— вы считаете меня лучше, чем я на самом деле... Вы думаете, что я набожна... а я совсем не так уж набожна... меня не учили, и если я ставила в церкви свечу... так это я просто не знала, что и делать.

— И что же, моя милая, это была хорошая мысль. В несчастье всегда нужно обращаться к богу.

— Мне сказали... что если я поставлю свечу святому Роху... но нет, я не могу вам этого рассказать. Такая дама, как вы, разве знает, на что можно пойти, когда нет ни гроша?

— Прежде всего у бога надо просить мужества.

— Словом, я не хочу делать вид, будто я лучше, чем я есть, и я бы вас обкрадывала, пользуясь помощью, которую вы мне оказываете, не зная меня... Я несчастная девушка... но на свете всякий живет, как может... Так вот, я поставила свечу, потому что мать говорила, что если поставить свечу святому Роху, то непременно на неделе найдешь мужчину, с которым будешь жить... Но я подурнела, я похожа на мумию... никому я больше не нужна... Остается только умереть. Это уже наполовину сделано!

Все это было сказано скороговоркой, голосом, прерывающимся от всхлипываний, и с каким-то неистовством, которое г-жу де Пьен не столько отталкивало, сколько пугало. Она невольно отодвинула стул от постели больной. Быть может, она даже ушла бы совсем, если бы чувство человечности, более сильное, чем отвращение к этой падшей женщине, не помешало ей оставить ее одну в таком отчаянии. Наступило молчание; затем г-жа де Пьен, опустив глаза, тихо прошептала:

— Ваша мать! Несчастная! Как вы можете так говорить?

— О, моя мать была такая же, как все матери... как все наши матери... Она кормила свою мать... я тоже ее кормила... Хорошо, что у меня нет ребенка. Я вижу, что пугаю вас. Это вполне понятно... Вы получили хорошее воспитание, вы никогда не страдали. Когда богат, легко быть честным. Я тоже была бы честной, если бы у меня к тому была возможность. У меня было много любовников... но только одного человека я любила. Он меня бросил. Будь я богата, мы бы поженились, мы бы основали честную семью... Вот я говорю с вами так, совершенно откровенно, хоть и знаю, что́ вы обо мне думаете, и вы правы... Но вы единственная порядочная женщина, с которой я когда-либо в жизни говорила, и вы кажетесь мне такой доброй, такой доброй... что я только что говорила про себя: даже когда она узнает, какая я, она меня пожалеет. Я скоро умру, я прошу вас об одном... Когда я умру, закажите по мне обедню в той церкви, где я вас видела в первый раз. Просто молитву, больше ничего, и я вас благодарю от всей души...

— Нет, вы не умрете! — воскликнула г-жа де Пьен в сильном волнении.— Бог смилуется над вами, бедная грешница. Вы раскаетесь в своих прегрешениях, и он вас простит. Я буду молиться за вас, если мои молитвы могут что-нибудь значить для вашего спасения. Те, кто вас воспитал, виновнее вас. Только будьте мужественны и надейтесь. А главное, постарайтесь быть спокойнее, бедное мое дитя. Надо, чтобы выздоровело тело; душа тоже больна, но я ручаюсь за ее исцеление.

Говоря это, она встала.

— Вот,— сказала она, вертя в руках бумажку, где лежало несколько золотых,— если вам что-нибудь понадобится...

И она хотела сунуть свой подарок под подушку.

— Нет! — порывисто воскликнула Арсена, отталкивая бумажку.— Мне от вас ничего не надо, кроме того, что вы мне обещали. Прощайте. Мы больше не увидимся. Отправьте меня в больницу, чтобы я могла умереть, никого не стесняя. Вы все равно не могли бы сделать из меня ничего путного. Такая важная дама, как вы, помолится обо мне; я довольна. Прощайте.

И, повернувшись, насколько ей позволял приковывавший ее к постели аппарат, она спрятала голову в подушку, чтобы ничего не видеть.

— Послушайте, Арсена,— сказала серьезным голосом г-жа де Пьен.— Я решила вам помочь. Я хочу сделать из вас честную женщину. Ваше раскаяние служит мне порукой. Я буду часто бывать у вас, я буду о вас заботиться. Настанет время, вы опять будете себя уважать, и этим вы будете обязаны мне.

И, взяв ее руку, она тихонько пожала ее.

— Вы до меня дотронулись! — воскликнула несчастная девушка.— Вы пожали мне руку!

И, прежде чем г-жа де Пьен успела отдернуть руку, она ее схватила, покрывая поцелуями и слезами.

— Успокойтесь, успокойтесь, моя дорогая,— говорила г-жа де Пьен.— Не говорите мне больше ничего. Теперь мне известно все, и я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Я буду лечить вашу головку... вашу сумасбродную головку. Вы будете меня слушаться, я этого требую, совершенно так же, как вы слушаетесь другого вашего доктора. Я вам пришлю моего знакомого священника, вы его послушаете. Я поищу для вас хороших книг, вы будете читать. Мы будем иногда беседовать. Когда вы совсем поправитесь, мы подумаем о вашем будущем.

Вернулась сиделка с аптечной склянкой. Арсена все еще плакала. Г-жа де Пьен еще раз пожала ей руку, положила свертоk с золотыми на столик и вышла из комнаты, пожалуй, еще более расположенная в пользу своей духовной дочери, чем до того, как она услышала ее странную исповедь.

Почему это, сударыня, всегда любят беспутных? Начиная от блудного сына и кончая вашей собачкой Диаманом, которая всех кусает и несноснее которой я не встречал животного, чем меньше кто заслуживает симпатии, тем легче он ее снискивает. Тщеславие, сударыня! Это чувство не что иное, как тщеславие! Мы радуемся преодоленной трудности! Отец блудного сына победил дьявола и отнял у него добычу, вы, с помощью пирожных, восторжествовали над дурными задатками Диамана. Г-жа де Пьен гордилась тем, что победила порочность куртизанки и своим красноречием разрушила преграды, воздвигнутые двадцатью годами обольщения вокруг бедной одинокой души. А потом, быть может,— надо ли об этом говорить? — к гордости от этой победы, к удовольствию от доброго дела примешивалось чувство любопытства, которое подчас испытывает добродетельная женщина, знакомясь с женщиной иной породы. Когда в гостиную входит певица, я замечал, как странно на нее смотрят. Всего внимательнее ее разглядывают не мужчины. Ведь вы сами, сударыня, последний раз в Театре комедии рассматривали в бинокль сидевшую в ложе актрису из «Варьете», на которую вам указали. «Как это можно быть персиянином!» Сколь часто задают себе подобные вопросы!

Итак, сударыня, г-жа де Пьен много думала о мадемуазель Арсене Гийо и говорила себе: «Я ее спасу».

Она направила к ней священника, и тот увещевал ее покаяться. Покаяние было нетрудным делом для бедной Арсены, которая, кроме немногих часов великой радости, видела в жизни одни лишь невзгоды. Скажите несчастному: вы сами виноваты,— он будет с вами вполне согласен; и если в то же время вы смягчите упрек, даря ему некоторое утешение, он вас благословит и обещает вам на будущее время все что угодно. Какой-то грек сказал, или, вернее, Амио сказал за него, такие слова:

В оковы ввергнутый свободный человек
Начальной доблести теряет половину.

В презренной прозе это сводится к афоризму, что в несчастье мы становимся тихими и кроткими, как ягнята. Священник говорил г-же де Пьен, что мадемуазель Гийо весьма невежественна, но что душа у нее неплохая, и он твердо надеется на ее спасение. И действительно, Арсена слушала его с вниманием и почтительностью. Она читала или просила ей читать выбранные для нее книги, повинуясь г-же де Пьен с той же точностью, с какой она исполняла предписания врача. Но что окончательно покорило сердце доброго священника и в чем ее покровительница усмотрела явный признак нравственного выздоровления, так это то, как Арсена Гийо распорядилась частью переданных ей денег. Она попросила, чтобы у святого Роха отслужили торжественную мессу за упокой души Памелы Гийо, ее покойной матери. Бесспорно, ничья душа столь не нуждалась в молитвах церкви.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды утром, когда г-жа де Пьен одевалась, в дверь святилища осторожно постучал слуга и передал мадемуазель Жозефине карточку, врученную ему каким-то молодым человеком.

— Макс в Париже! — воскликнула г-жа де Пьен, бросив взгляд на карточку.— Идите скорее, попросите господина де Салиньи подождать меня в гостиной.

Немного погодя в гостиной послышались смех и заглушенные вскрикивания, и мадемуазель Жозефина вернулась вся красная, в съехавшем на ухо чепчике.

— В чем дело? — спросила г-жа де Пьен.

— Да ничего, сударыня; просто это господин де Салиньи говорил, что я растолстела.

И действительно, полнота мадемуазель Жозефины могла удивить г-на де Салиньи, путешествовавшего два с лишним года. Когда-то он принадлежал к числу любимцев мадемуазель Жозефины и почитателей ее хозяйки. Приходясь племянником одной близкой приятельнице г-жи де Пьен, он прежде постоянно бывал у нее вместе со своей теткой. Впрочем, это был едва ли не единственный добропорядочный дом, где его можно было встретить. Макс де Салиньи слыл довольно беспутным малым, игроком, буяном, кутилой, «а впрочем, был прекрасный человек». Он приводил в отчаяние свою тетку, г-жу Обре, которая, однако же, его обожала. Она неоднократно убеждала его изменить образ жизни, но всякий раз дурные привычки брали верх над ее мудрыми советами. Макс был года на два старше г-жи де Пьен; они знали друг друга с детства, и, когда она не была еще замужем, он как будто взирал на нее с большой нежностью. «Милая моя,— говаривала г-жа Обре,— если бы вы захотели, я уверена, вы бы укротили этот характер». Г-жа де Пьен — тогда ее звали Элизой де Гискар,— быть может, нашла бы в себе мужество взяться за это, потому что Макс был так весел, так забавен, так мил в деревне, так неутомим на балах, что из него, без сомнения, вышел бы хороший муж; но родители Элизы смотрели на дело осторожнее. Сама г-жа Обре не очень-то ручалась за племянника; стало известно, что у него есть долги и любовницы; а тут еще случилась громкая дуэль, не безвинным поводом которой была одна актриса из «Жимназ». Брак, о котором г-жа Обре никогда особенно серьезно и не думала, был признан невозможным. Тогда появился г-н де Пьен, степенный и положительный, притом богатый и хорошего рода. Я мало что могу вам о нем сказать, кроме того, что он пользовался репутацией порядочного человека и что он ее заслуживал. Говорил он немного; но если открывал рот, то произносил какую-нибудь великую и неоспоримую истину. В вопросах сомнительных он подражал «благоразумному молчанию Конрара». Если он и не придавал особой прелести обществу, в котором он находился, то нигде не был неуместен. Ему всюду были рады из-за его жены, но когда он отсутствовал, находясь у себя в имении, что имело место девять месяцев в году и, в частности, в ту пору, к которой относится начало моего рассказа,— никто этого не замечал. И его жена не больше, чем другие.

Госпожа де Пьен, закончив свой туалет в каких-нибудь пять минут, вышла из комнаты немного взволнованная, потому что приезд Макса де Салиньи напоминал ей о недавней смерти той, кого она всех больше любила; то было, по-видимому, един-

ственное воспоминание, которое в ней возникло, и воспоминание это было настолько живо, что пресекло все те забавные предположения, которые особа менее серьезная начала бы строить по поводу съехавшего на сторону чепчика мадемуазель Жозефины. По пути в гостиную она была немного удивлена, слыша, как красивый бас весело распевает, аккомпанируя себе на рояле, неаполитанскую баркароллу:

Addio, Teresa!
Teresa, addio!
Al mio ritorno
Ti sposero [1].

Она отворила дверь и прервала певца, протягивая ему руку:

— Мой дорогой господин Макс, как я рада вас видеть!

Макс стремительно встал и пожал ей руку, глядя на нее растерянно и не зная, что сказать.

— Я очень жалела,— продолжала г-жа де Пьен,— что не могла приехать в Рим, когда ваша дорогая тетя заболела. Я не знаю, как вы за ней ухаживали, и очень вам благодарна за последнюю память о ней, которую вы мне прислали.

Лицо Макса, обычно веселое, чтобы не сказать смеющееся, приняло вдруг печальное выражение.

— Она мне часто говорила о вас,— сказал он,— и до последней минуты. Вы получили ее кольцо, я вижу; а книгу, которую она еще утром читала...

— Да, Макс, благодарю вас. Посылая этот печальный подарок, вы сообщили мне, что уезжаете из Рима, но не дали вашего адреса; я не знала, куда вам писать. Бедный друг! Умереть так далеко от родины! К счастью, вы сразу же к ней приехали... Вы лучше, чем хотите казаться, Макс... я вас знаю.

— Тетя говорила мне, когда была больна: «Когда меня не будет на свете, некому будет тебя бранить, кроме госпожи де Пьен. (И он невольно улыбнулся.) Постарайся, чтобы она не слишком часто тебя бранила». Вот видите: вы плохо исполняете ваши обязанности.

— Я надеюсь, что теперь у меня будет синекура. Я слышала, вы переменились, остепенились, стали совсем серьезным человеком.

---

[1] Прощай, Тереза!
Тереза, прощай!
Когда я вернусь,
Я женюсь на тебе *(итал.)*.

— И это действительно так; я обещал бедной тете стать хорошим, и...

— Вы сдержите слово, я уверена!

— Постараюсь. В путешествии это легче, чем в Париже; однако... знаете, я здесь всего лишь несколько часов и уже устоял против искушений. Идя к вам, я встретил одного моего старинного приятеля, который звал меня обедать с разными сорванцами,— и я отказался.

— Вы хорошо сделали.

— Да, но сознаться ли вам? Я надеялся, что меня пригласите вы.

— Как жаль! Я обедаю не дома. Но завтра...

— В таком случае я за себя не ручаюсь. Вам придется нести ответственность за мой сегодняшний обед.

— Послушайте, Макс: главное — это хорошо начать. Не ходите на этот холостой обед. Я обедаю у госпожи Дарсене; приходите к ней вечером, и мы побеседуем.

— Да, но только госпожа Дарсене ужасно скучная; она начнет меня расспрашивать. Мне не удастся даже поговорить с вами; я скажу что-нибудь неподобающее; а потом, у нее имеется взрослая костлявая дочь, которая, может быть, еще не замужем...

— Это прелестная девушка... а что касается неподобающих разговоров, то не подобает говорить о ней так, как вы.

— Я виноват, не спорю; но... я ведь только сегодня приехал, не покажется ли, что я очень уж поспешил прийти?

— Ну делайте, как знаете; но только вот что, Макс... Как друг вашей тетки, я имею право быть с вами откровенной: избегайте ваших прежних знакомств. Время невольно порвало много связей, которые вам только вредили; не завязывайте их вновь: я буду спокойна за вас, пока вы не дадите себя увлечь. В ваши годы... в *наши* годы надо быть рассудительным. Но оставим советы и поучения, а вы лучше расскажите мне, что вы делали за все то время, что мы не виделись. Я знаю, что вы были в Германии, потом в Италии; только и всего. Вы писали мне два раза, не больше, припомните. Два письма за два года,— вы сами чувствуете, что из них я ровно ничего не могла о вас узнать...

— Боже мой, я страшно виноват... но я так... надо сознаться,— так ленив!.. Я двадцать раз принимался писать вам; но что интересного мог я вам рассказать?.. Я ведь не умею писать писем... Если бы я вам писал всякий раз, когда я о вас думал, в Италии не хватило бы бумаги.

— Ну, так что же вы делали? Чем вы были заняты? Я уже знаю, что не писанием писем.

— Занят?.. Вы же знаете, что я никогда ничем не занимаюсь, к сожалению. Я смотрел, бродил. Подумывал о живописи, но зрелище стольких прекрасных картин совершенно исцелило меня от моей несчастной страсти. Да... затем старик Нибби чуть было не сделал из меня археолога. В самом деле, он убедил меня заняться раскопками... Нашли сломанную трубку и кучу битых черепков... Затем, в Неаполе я брал уроки пения, но лучше петь не стал... Я...

— Я недолюбливаю вашу музыку, хотя у вас красивый голос и вы хорошо поете. Она вас знакомит с людьми, с которыми вы и без того слишком склонны водить компанию.

— Я вас понимаю; но в Неаполе, когда я там был, бояться было нечего. Примадонна весила полтораста килограммов, а у второй певицы рот был как печь, а нос как башня Ливанская. Словом, два года прошло, я сам не знаю как. Я ничего не делал, ничему не научился, но незаметно прожил два года.

— Мне бы хотелось, чтобы вы были чем-нибудь заняты; мне бы хотелось, чтобы у вас появился серьезный интерес к чему-нибудь полезному. Праздность вас погубит.

— Говоря откровенно, я потому доволен своими путешествиями, что, ничего не делая, я в то же время не был и совершенно празден. Когда видишь много красивого, то не скучаешь; а когда я скучаю, я готов делать глупости. Право же, я порядком остепенился и даже забыл некоторые легкие способы тратить деньги. Бедная тетя уплатила мои долги, и больше я долгов не делал и делать не хочу. У меня есть на что жить холостяком; а так как я не собираюсь казаться богаче, чем на самом деле, то я перестану чудить. Вы улыбаетесь? Или вы не верите моему обращению? Вам нужны доказательства? Вот вам яркий пример. Фамен, тот приятель, что звал меня обедать, предлагал мне сегодня купить у него лошадь. Пять тысяч франков... Великолепное животное! В первую минуту мне захотелось купить, потом я подумал, что я не настолько богат, чтобы платить пять тысяч за причуду, и буду ходить пешком.

— Это чудесно, Макс; но знаете ли вы, что вам нужно сделать, чтобы беспрепятственно идти дальше по этому верному пути? Вам нужно жениться.

— Ах, жениться?.. Почему бы и нет?.. Но кому я нужен? А мне, хоть я и не имею права быть разборчивым, мне нужна женщина... О нет, мне уже ни одна не подошла бы...

Госпожа де Пьен покраснела, а он продолжал, не замечая этого:

— Женщина, которой бы я понравился... Да знаете ли вы, что этого было бы почти достаточно для того, чтобы она мне не понравилась?

— Почему это? Что за вздор!

— Ведь говорит же где-то Отелло,— это, кажется, когда он оправдывает себя в том, что подозревает Дездемону: «У этой женщины, должно быть, странный ум и извращенный вкус, если она выбрала меня, такого черного!» Не могу разве и я сказать: у женщины, которой я могу нравиться, наверное, ум навыворот?

— Вы были достаточно беспутны, Макс, и поэтому вам ни к чему делать вид, будто вы хуже, чем вы есть. Не говорите о себе так, потому что вам могут поверить на слово. Что касается меня, то я уверена, что если когда-нибудь... да, если вы полюбите женщину, которую вы будете уважать... то вы ей покажетесь...

Госпожа де Пьен не знала, как кончить, а Макс, глядевший на нее пристально и с крайним любопытством, вовсе и не старался помочь ей найти конец неудачно начатому периоду.

— Вы хотите сказать,— произнес он наконец,— что, если бы я действительно влюбился, меня бы полюбили, потому, что тогда я бы этого стоил?

— Да, тогда вы были бы достойны того, чтобы вас тоже любили.

— Если достаточно любить, чтобы быть любимым!.. То, что вы говорите, не очень-то верно, сударыня... Да что! Найдите мне смелую женщину, и я женюсь. Если она не очень уж некрасива, сам я не настолько еще стар, чтобы не мог увлечься... За дальнейшее отвечаете вы.

— Откуда вы сейчас? — перебила его г-жа де Пьен серьезным тоном.

Макс рассказал о своих путешествиях весьма лаконично, но все-таки при этом было видно, что он не последовал примеру туристов, о которых греки говорят: «Чемоданом уехал, чемоданом приехал» [1]. Его краткие замечания изобличали острый ум, не довольствующийся готовыми мнениями, образование большее, чем он то хотел показать. Он вскоре откланялся, заметив, что г-жа де Пьен смотрит на часы, и обещал, не без заминки, быть вечером у г-жи Дарсене.

---

[1] *Baulo hephthase, baulo egypisen.*

Однако он не пришел, и г-жа де Пьен была этим не совсем довольна. Зато он явился к ней на следующее утро просить прощения, оправдываясь тем, что устал с дороги и должен был остаться дома; но он не смотрел в глаза и говорил таким неуверенным голосом, что, и не обладая умением г-жи де Пьен читать по лицам, нетрудно было разоблачить притворство. Когда он с трудом кончил, она молча погрозила ему пальцем.

— Вы мне не верите? — спросил он.

— Нет. К счастью, вы еще не научились лгать. Вы не были вчера у госпожи Дарсене не потому, что отдыхали. Вас не было дома.

— Ну да,— отвечал Макс, силясь улыбнуться,— вы правы. Я обедал в «Роше-де-Канкаль» с этими шалопаями, потом поехал пить чай к Фамену, меня не хотели отпускать, а потом я играл.

— И, конечно, проиграли?

— Нет, выиграл.

— Тем хуже. Я предпочла бы, чтобы вы проиграли. В особенности если бы это могло навсегда отучить вас от столь же глупой, сколь и отвратительной привычки.

Она наклонилась к своему рукоделию и принялась работать с немного деланным старанием.

— Много было народу у госпожи Дарсене? — робко спросил Макс.

— Нет, мало.

— Какие-нибудь барышни на выданье?..

— Нет.

— Я все-таки рассчитываю на вас. Вы помните, что вы мне обещали?

— Мы еще успеем об этом подумать.

В голосе г-жи де Пьен была какая-то несвойственная ей сухость и неестественность. Помолчав, Макс продолжал весьма смиренно:

— Вы недовольны мной? Что бы вам выругать меня как следует, как делала тетя, а потом простить? Послушайте, хотите, я дам вам слово никогда больше не играть?

— Когда дают обещание, надо чувствовать в себе силу его исполнить.

— Обещание, данное вам, я исполню; я верю, что у меня хватит силы и мужества.

— Хорошо, Макс, я принимаю,— сказала она, подавая ему руку.

— Я выиграл тысячу сто франков,— продолжал он.— Хотите взять их для ваших бедных? Для столь дурно добытых денег нельзя придумать лучшего применения.

Она ответила не сразу.

— Почему бы и нет? — сказала она сама себе вслух.— Ну вот, Макс, вы будете помнить этот урок. Я вас записываю своим должником на тысячу сто франков.

— Тетя говорила, что лучший способ не иметь долгов — это всегда платить наличными.

С этими словами он вынул бумажник, чтобы достать деньги. В полуоткрытом бумажнике г-жа де Пьен мельком заметила женский портрет. Макс увидел, что она смотрит, покраснел и поспешил захлопнуть бумажник и вручить деньги.

— Мне бы хотелось взглянуть на этот бумажник... если можно,— сказала она с лукавой улыбкой.

Макс пришел в совершенное замешательство: он что-то невнятно пробормотал и постарался отвлечь внимание г-жи де Пьен.

Первой ее мыслью было, что в бумажнике хранится портрет какой-нибудь красавицы итальянки; но явное смущение Макса и общий колорит миниатюры — это все, что она успела разглядеть,— вскоре зародили в ней другое подозрение. Когда-то она подарила г-же Обре свой портрет, и ей пришло в голову, что Макс в качестве прямого наследника счел себя вправе его присвоить. Ей это показалось верхом неприличия. Сперва, однако, она не подала виду; но когда г-н де Салиньи собрался идти:

— Кстати,— обратилась она к нему,— у вашей тети был мой портрет, мне бы хотелось его разыскать.

— Я не знаю... какой портрет?.. В каком он был роде? — спросил Макс неуверенным голосом.

На этот раз г-жа де Пьен решила не замечать, что он лжет.

— Поищите его,— сказала она насколько могла естественнее.— Вы мне доставите удовольствие.

Если не считать портрета, она была довольна покорностью Макса и надеялась спасти еще одну заблудшую овцу.

На следующий день Макс нашел портрет и принес его ей с довольно равнодушным видом. Он сказал, что портрет этот никогда не отличался особенным сходством и что художник придал ей совершенно неестественную напряженность позы и строгость выражения. С этого дня его визиты стали короче, и он сидел у г-жи де Пьен с хмурым лицом, чего прежде она

никогда у него не замечала. Она приписывала это настроение тем усилиям, которые ему приходилось делать над собой поначалу, чтобы исполнить обещанное и бороться с дурными наклонностями.

Недели через две после приезда г-на де Салиньи г-жа де Пьен отправилась, по своему обыкновению, навестить свою призреваемую, Арсену Гийо, которой она за это время не забыла, так же как, надеюсь, и вы, сударыня. Расспросив ее о здоровье и о том, что ей велит делать доктор, и видя, что больная удручена еще больше прежнего, она взялась почитать ей, чтобы та не утомлялась разговором. Бедной девушке было бы, разумеется, приятнее разговаривать, чем слушать то, что ей собирались читать, потому что, как вы сами догадываетесь, книга была весьма серьезная, а Арсена никогда ничего не читала, кроме романов для кухарок. Книга, которую взяла г-жа де Пьен, была книгой душеспасительной; я не стану вам ее называть, во-первых, чтобы не обижать ее автора, во-вторых, чтобы вы не обвинили меня в намерении опорочить все такого рода сочинения. Достаточно сказать, что книга принадлежала перу молодого человека девятнадцати лет и имела своей прямой задачей обращение закоренелых грешниц; что Арсена была очень слаба и что накануне почью она не могла сомкнуть глаз. На третьей странице случилось то, что случилось бы и при чтении всякой другой книги, серьезной или несерьезной; случилось то, что было неизбежно: а именно, мадемуазель Гийо закрыла глаза и заснула. Г-жа де Пьен заметила это и порадовалась оказанному ею успокоительному действию. Сперва она понизила голос, чтобы не разбудить больную, вдруг замолчав, потом положила книгу и тихонько встала, чтобы выйти на цыпочках, но сиделка, когда являлась г-жа де Пьен, имела обыкновение уходить к привратнице, ибо посещения г-жи де Пьен несколько напоминали посещения духовника. Г-жа де Пьен хотела дождаться возвращения сиделки; а так как не было на свете человека, который бы так ненавидел праздность, как она, то она решила чем-нибудь занять то время, которое ей предстояло провести возле спящей. В небольшой каморке позади алькова стоял стол, на котором были чернильница и бумага; она села и принялась писать письмо. Пока она искала в ящике облатку, чтобы запечатать письмо, кто-то вдруг вошел в комнату и разбудил больную.

— Боже мой! Что я вижу? — воскликнула Арсена таким неузнаваемым голосом, что г-жа де Пьен даже вздрогнула.

— Ну и новости! Что это такое? Кидаться в окно, как дурочка! Видали вы когда-нибудь такую сумасбродку?

Не знаю, точно ли я передаю самые слова; во всяком случае, таков был смысл того, что говорил вошедший, в котором г-жа де Пьен сразу же узнала по голосу Макса де Салиньи. Последовали восклицания, заглушенные возгласы Арсены, потом довольно звонкий поцелуй. Затем Макс продолжал:

— Бедная Арсена, в каком ты виде! Ты знаешь, я бы тебя ни за что не разыскал, если бы Жюли не сказала мне твоего последнего адреса. Но видано ли такое сумасшествие!

— Ах, Салиньи, Салиньи! Как я счастлива! Как я раскаиваюсь в том, что я сделала! Теперь я перестану тебе нравиться. Я тебе не нужна буду больше...

— Глупая ты какая,— говорил Макс,— отчего было не написать мне, что тебе нужно денег? Отчего было не попросить у майора? А что твой русский? Или он уехал, этот твой казак?

Узнав голос Макса, г-жа де Пьен была в первую минуту удивлена едва ли не больше, чем сама Арсена. От удивления она не сразу к ним вышла; потом начала размышлять, показываться ей или нет, а когда размышляешь, прислушиваясь, трудно бывает скоро решиться. Таким образом ей пришлось услышать приведенный мною назидательный диалог; но тут она поняла, что, оставаясь в каморке, она еще и больше того может услышать. Она решилась и вошла в комнату с тем спокойным и величавым видом, который редко покидает добродетельных людей и который они, если требуется, принимают намеренно.

— Макс,— сказала она,— вы мучите эту бедную девушку; уйдите. Вы зайдете ко мне через час, и мы поговорим.

Макс побледнел, как мертвец, увидав г-жу де Пьен в таком месте, где он никогда бы не думал ее встретить; его первым движением было повиноваться, и он шагнул к двери.

— Ты уходишь!.. Не уходи! — воскликнула Арсена, отчаянным усилием приподымаясь на постели.

— Дитя мое,— сказала г-жа де Пьен, беря ее за руку,— будьте благоразумны. Послушайте меня. Вспомните, что вы мне обещали!

Затем она бросила Максу спокойный, но повелительный взгляд, и тот сейчас же удалился. Арсена снова упала на кровать; увидав, что он уходит, она лишилась чувств.

Госпожа де Пьен и сиделка, вернувшаяся вскоре вслед за тем, стали ей помогать с тем искусством, которое в подобного

рода случаях проявляют женщины. Мало-помалу Арсена пришла в себя. Сначала она обвела взглядом всю комнату, словно ища того, кого в ней только что видела; потом подняла свои большие черные глаза на г-жу де Пьен и, пристально смотря на нее, спросила:

— Это ваш муж?

— Нет,— отвечала г-жа де Пьен, слегка краснея, но все же мягким голосом.— Господин де Салиньи мой родственник.

Она сочла возможным позволить себе эту маленькую ложь, чтобы объяснить свою власть над ним.

— Так, значит, это вас он любит! — воскликнула Арсена и продолжала смотреть на нее горящими, как факелы, глазами.

Он!.. Молния озарила лицо г-жи де Пьен. Ее щеки вспыхнули на миг ярким румянцем, и голос замер на губах; но к ней быстро вернулось прежнее спокойствие.

— Вы заблуждаетесь, бедное дитя мое,— сказала она серьезным голосом.— Господин де Салиньи понял, что он не должен был напоминать вам о прошлом, которое, к счастью, изгладилось из вашей памяти. Вы забыли...

— Забыла! — воскликнула Арсена с мучительной улыбкой, на которую больно было смотреть.

— Да, Арсена, вы отвергли все ваши безумства тех лет, которым уже нет возврата. Подумайте, мое бедное дитя, ведь этой преступной связи вы обязаны всеми вашими несчастьями. Подумайте...

— Он вас не любит? — перебила ее Арсена, не слушая.— Он вас не любит — и понимает один ваш взгляд! Я видела ваши глаза и его глаза. Я не ошибаюсь... Да что ж... это понятно! Вы красивая, молодая, блестящая... я калека, изуродованная... умирающая...

Она не договорила: ее голос заглушили рыдания, громкие, мучительные; сиделка закричала, что побежит за доктором, потому что, по ее словам, господин доктор ничего так не боится, как этих конвульсий, и если они не прекратятся, бедняжка кончится.

Мало-помалу подъем сил, вызванный у Арсены самой живостью ее страдания, сменился тупым изнеможением, которое г-жа де Пьен приняла за спокойствие. Она продолжала свои увещания; но Арсена, лежа без движения, не слушала красноречивых уговоров предпочесть божественную любовь любви земной; глаза ее были сухи, зубы судорожно сжаты. В то время как ее покровительница говорила ей о небе и о будущем, она думала о настоящем. Неожиданный приезд Макса

пробудил в ней на миг безумные надежды, но взгляд г-жи де Пьен еще того быстрее их рассеял. Побыв мгновение в счастливом сне, Арсена вернулась к печальной действительности, ставшей во сто раз ужаснее после минутного забвения.

Ваш доктор вам расскажет, сударыня, что потерпевшие кораблекрушение, настигнутые дремотой среди мучений голода, видят во сне, будто они сидят за столом и вкусно едят. Они просыпаются еще более голодными и жалеют, что спали. Арсена испытывала муку, сравнимую с мукой этих людей. Когда-то она любила Макса так, как могла любить она. С ним ей всегда хотелось пойти в театр, с ним ей бывало весело за городом, о нем она постоянно рассказывала подругам. Когда Макс уехал, она очень плакала; но все же приняла ухаживания одного русского, и Макс был очень рад, что тот стал его преемником, потому что считал его человеком порядочным, то есть щедрым. Пока она могла вести рассеянную жизнь таких женщин, как она, ее любовь к Максу была только приятным воспоминанием, заставлявшим ее иногда вздыхать. Она думала о ней, как думают о забавах детства, но когда Арсена осталась без любовников, увидела себя покинутой, ощутила весь гнет нищеты и позора, тогда ее любовь к Максу как бы очистилась, потому что это было единственное воспоминание, не вызывавшее в ней ни сожалений, ни раскаяния. Оно даже возвышало ее в собственных глазах, и чем она себя чувствовала приниженнее, тем более она в своем воображении возвеличивала Макса. «Я была его милой, он меня любил»,— говорила она себе с какой-то гордостью, когда ее охватывало отвращение при мысли о своей продажной жизни. В Минтурнских болотах Марий укреплял свое мужество, говоря себе: «Я победил кимвров!» У девушки, живущей на содержании,— увы, ее больше никто не содержал,— чтобы бороться со стыдом и отчаянием, было только это воспоминание: «Макс меня любил... Он все еще меня любит!» Один миг она могла это думать; но теперь у нее отняли даже ее воспоминания — единственное, что у нее оставалось в жизни.

В то время как Арсена предавалась своим печальным думам, г-жа де Пьен с жаром доказывала ей необходимость навсегда отказаться от того, что она называла ее преступными заблуждениями. Глубокая убежденность делает человека почти бесчувственным; и подобно тому как хирург прикладывает к язве раскаленное железо, не обращая внимания на крики больного, так и г-жа де Пьен продолжала свое дело с безжалостной твердостью. Она говорила, что счастливая пора, в которой

бедная Арсена искала убежища, словно прячась от себя самой, была преступным и постыдным временем, которое она теперь по справедливости искупает. Все эти обманчивые мечты она должна возненавидеть и изгнать из сердца; тот, в ком она видит заступника и чуть ли не ангела-хранителя, должен стать в ее глазах лишь вредоносным сообщником, обольстителем, которого она должна забыть навеки.

При слове «обольститель», смехотворности которого г-жа де Пьен не сознавала, Арсена едва не улыбнулась сквозь слезы; но ее почтенная покровительница этого не заметила. Она невозмутимо продолжала свое поучение и закончила его словами, от которых бедная девушка еще сильнее разрыдалась, а именно: «Вы его больше никогда не увидите».

Приход доктора и полное изнеможение больной напомнили г-же де Пьен, что она достаточно потрудилась. Она пожала руку Арсены и сказала ей, уходя:

— Мужайтесь, дитя мое, и бог вас не оставит.

Один долг она исполнила, на ней лежал еще другой, труднейший. Ее ждал еще один виновный, чью душу ей надлежало привести к раскаянию; и, несмотря на уверенность, которую она почерпала в своем благочестивом рвении, несмотря на свою власть над Максом, в которой она уже имела случай убедиться, несмотря, наконец, на то, что в глубине души она все еще была хорошего мнения об этом беспутном человеке, она испытывала странное волнение, думая о предстоящем единоборстве. Прежде чем приступить к этому ужасному состязанию, ей хотелось собраться с силами, и она зашла в церковь, чтобы попросить у бога новых озарений для защиты правого дела.

Когда она вернулась домой, ей сказали, что г-н де Салиньи в гостиной и ждет ее уже довольно давно. Она застала его бледным, возбужденным, полным беспокойства. Они сели, Макс не смел открыть рта; и г-жа де Пьен, тоже взволнованная, сама, в сущности, не зная чем, некоторое время молчала и глядела на него лишь украдкой. Наконец она начала.

— Макс,— сказала она,— я не буду вам делать упреков...

Он довольно надменно поднял голову. Их взгляды встретились, и он тотчас же опустил глаза.

— Ваше доброе сердце,— продолжала она,— говорит вам больше, чем могла бы сказать я. Провидение хотело преподать вам урок; я надеюсь, я убеждена... что он не пропадет даром.

— Сударыня,— прервал ее Макс,— я, собственно, не знаю, что произошло. Эта несчастная девушка выбросилась из окна, так мне сказали; но я не имею самомнения... я хочу сказать —

прискорбия... думать, чтобы причиной этого безумного поступка могли послужить наши прежние отношения.

— Лучше скажите, Макс, что, совершая зло, вы не предвидели его последствий. Когда вы эту девушку толкнули на распутство, вы не думали, что в один прекрасный день она покусится на свою жизнь.

— Сударыня! — воскликнул Макс не без живости.— Разрешите вам сказать, что я отнюдь не совращал Арсену Гийо. Когда я с ней познакомился, она была вполне совращена. Она была моей любовницей, я этого не отрицаю. Я даже сознаюсь, я ее любил... как можно любить такую женщину... Мне кажется, что ко мне она была привязана больше, чем к другим... Но уже давно между нами прекратились какие бы то ни было отношения, и она, по-видимому, не очень об этом жалела. Когда она мне писала последний раз, я ей послал денег; но она не умеет их беречь... Ей было стыдно попросить у меня еще, потому что у нее есть своя гордость... Нужда заставила ее решиться на это ужасное дело... Мне это очень тяжело... Но, повторяю вам, мне не в чем себя упрекнуть.

Госпожа де Пьен потрогала какую-то лежавшую на столе работу, потом продолжала:

— Конечно, в мнении «света» вы не виноваты, на вас не лежит ответственность; но существует не только светская мораль, и мне бы хотелось, чтобы именно ее правилами вы руководствовались... Сейчас, может быть, вы не в состоянии меня понять. Оставим это. То, о чем я сейчас хочу просить вас,— это одно обещание, в котором, я уверена, вы мне не откажете. Эта несчастная девушка готова раскаяться. Она с уважением внимает советам одного почтенного священника, который по доброте своей навещает ее. Мы вполне можем быть спокойны за нее. Вы, вы больше не должны ее видеть, потому что ее сердце все еще колеблется между добром и злом, а у вас, к сожалению, нет ни желания, ни, вероятно, возможности быть ей полезным. Видясь с ней, вы можете причинить ей великий вред... Поэтому я вас прошу дать мне слово не бывать у нее больше.

Видно было, что Макс удивлен.

— Вы мне не откажете в этом, Макс; если бы ваша тетя была жива, она попросила бы вас о том же. Вообразите, что это она с вами говорит.

— Боже правый, чего вы от меня требуете? Какой я могу причинить вред этой бедной девушке? Напротив, разве не обя-

зан я, который встречал ее во времена ее безумств, не оставлять ее одну теперь, когда она больна, и больна очень опасно, если правда то, что мне говорили?

— Такова, конечно, светская мораль, но это не моя мораль. Чем тяжелее ее болезнь, тем необходимее, чтобы вы перестали ее видеть.

— Но примите в расчет, что раз она в таком состоянии, то и самая преувеличенная стыдливость не могла бы... Знаете, если бы у меня была больна собака и я бы знал, что видеть меня ей приятно, я считал бы, что поступаю дурно, оставляя ее околевать одну. Не может быть, чтобы вы не были того же мнения, вы, такая добрая и сострадательная. Подумайте об этом; с моей стороны это было бы поистине жестоко.

— Сейчас я вас просила обещать мне это только ради вашей доброй тети... ради вашей дружбы ко мне... теперь я вас прошу об этом ради само́й этой несчастной девушки... Если вы ее действительно любите...

— Ах, умоляю вас, не сближайте же таких понятий, которых сравнивать нельзя! Поверьте, мне крайне больно противиться вам в чем бы то ни было; но, право же, меня обязывает к этому честь... Вам это слово не нравится? Забудьте его. Но только позвольте и мне, в свою очередь, умолять вас, из сострадания к этой несчастной... а также немного и из сострадания ко мне... Если я был виноват... если я отчасти несу ответственность за ее беспорядочную жизнь... я должен теперь о ней позаботиться. Покинуть ее было бы чудовищно. Я бы себе этого никогда не простил! Нет, я не могу ее оставить. Вы этого не станете требовать...

— Позаботиться о ней есть кому. Но ответьте мне, Макс: вы ее любите?

— Люблю... люблю... Нет... я ее не люблю. Это слово сюда не подходит... Любил ли я ее? Увы, нет. С ней я старался отвлечься от более серьезного чувства, с которым мне приходилось бороться... Вам это кажется смешно, непонятно... Ваша чистая душа отказывается допустить, чтобы можно было прибегать к такому средству... Так знайте, это еще не самый дурной поступок в моей жизни. Если бы мы, мужчины, не могли иной раз давать другое направление нашим страстям... быть может, теперь... быть может, я и сам выбросился бы из окна... Но я не знаю, что я говорю, и вы меня не поймете... я и себя-то плохо понимаю.

— Я вас спросила, любите ли вы ее,— продолжала г-жа де Пьен, опустив глаза и слегка неуверенным голосом,— пото-

му что, если бы вы... хорошо относились к ней, у вас должно было бы хватить мужества причинить ей некоторую боль, чтобы вслед за тем сделать ей великое благо. Конечно, разлуку с вами ей будет трудно перенести; но было бы гораздо хуже, если бы она сошла сейчас с того пути, на который почти чудесным образом ступила. Для ее *спасения*, Макс, она должна совершенно забыть о той поре, которую ваше присутствие напоминало бы ей слишком живо.

Макс молча покачал головой. Он не был верующим, и слово «спасение», имевшее такую власть над г-жой де Пьен, говорило гораздо меньше его душе. Но об этом с ней не приходилось спорить. Он всегда старался не обнаруживать перед ней своих сомнений и промолчал и на этот раз; однако нетрудно было заметить, что он не убежден.

— Я буду с вами говорить на общепринятом языке,— продолжала г-жа де Пьен,— раз вы, к сожалению, никакого другого не понимаете; ведь речь идет у нас об арифметической задаче. Видясь с вами, она ничего не выиграет и много потеряет; так вот, выбирайте.

— Сударыня,— произнес Макс с волнением в голосе,— надеюсь, вы больше не сомневаетесь, что по отношению к Арсене у меня нет никакого иного чувства, кроме вполне понятного участия. Так в чем же может быть опасность? Ни в чем. Или вы мне не доверяете? Или вам кажется, что я хочу мешать тем добрым советам, которые вы ей даете? Ах, боже мой, я, который ненавижу всяческие печальные зрелища, в ужасе их сторонюсь,— неужели вы думаете, что, домогаясь встречи с умирающей, я питаю какие-то преступные намерения? Повторяю вам, для меня это вопрос долга, возле нее я ищу искупления, кары, если угодно...

При этих словах г-жа де Пьен подняла голову и устремила на него восторженный взгляд, придавший ее лицу чудесное выражение:

— Искупления, говорите вы, кары?.. В таком случае — да! Сами того не зная, Макс, вы повинуетесь, быть может, *внушению свыше,* и вы правы, споря со мною... Да, я согласна. Ступайте к этой девушке, и пусть она станет орудием вашего спасения, как вы чуть было не стали орудием ее гибели.

Вероятно, Макс понимал хуже, чем вы, сударыня, что значит «внушение свыше». Столь внезапная перемена решения его удивила, и он не знал, чем ее объяснить, не знал, благодарить ли ему г-жу де Пьен за то, что она, в конце концов, уступила; но в эту минуту для него всего важнее было уга-

дать, убедило ли его упорство ту, неудовольствия которой он боялся больше всего, или же оно просто надоело ей.

— Но только, Макс,— снова заговорила г-жа де Пьен,— я должна вас просить, или, вернее, я от вас требую...

Она остановилась, а Макс наклонил голову в знак того, что заранее подчиняется всему.

— Я требую,— продолжала она,— чтобы вы бывали у нее не иначе, как со мной.

Он казался удивленным, но поспешил заявить, что он это исполнит.

— Я не вполне на вас полагаюсь,— сказала она с улыбкой.— Мне все еще страшно, как бы вы не испортили моей работы, я же хочу довести ее до успешного конца. А под моим надзором вы станете, наоборот, полезным помощником, и, я надеюсь, ваше послушание будет вознаграждено.

С этими словами она подала ему руку. Было решено, что Макс будет у Арсены Гийо на следующий день и что г-жа де Пьен придет туда заблаговременно, чтобы подготовить ее к этому посещению.

Вам ясен ее план. Вначале она думала, что Макс будет полон раскаяния и она без труда извлечет из примера Арсены тему красноречивой проповеди против его дурных страстей; но он, вопреки ее ожиданиям, слагал с себя всякую ответственность. Приходилось менять вступление, а перелицовывать в решительный миг разученную речь — предприятие почти столь же опасное, как перестраивать войска посреди неожиданной атаки. Придумать наспех новый маневр г-же де Пьен не удалось. Вместо того чтобы прочесть Максу наставление, она начала с ним обсуждать вопрос приличия. Вдруг ей пришла в голову новая мысль: «Раскаяние сообщницы его тронет,— подумала она.— Христианская кончина женщины, которую он любил (а, к сожалению, она не могла не видеть, что кончина эта близка), наверное, окажет на него решающее действие». Надежда на это и побудила ее вдруг позволить Максу видеться с Арсеной. Для нее это представляло еще то преимущество, что задуманная проповедь таким образом откладывалась, потому что, как я вам, кажется, уже говорил, несмотря на все свое желание спасти человека, о заблуждениях которого она скорбела, она невольно страшилась вступить с ним в столь важный спор.

Она очень полагалась на правоту своего дела; но она все еще не была уверена в успехе, а потерпеть неудачу — значило отчаяться в спасении Макса, значило заставить себя изменить

свое мнение о нем. Дьявол, быть может, для того, чтобы ей не показалась подозрительной ее живая привязанность к другу детства, дьявол позаботился о том, чтобы оправдать эту привязанность христианским упованием. Искуситель не гнушается никаким оружием, и подобного рода уловки — для него дело привычное; вот почему португальцы так изящно говорят: *De boâs intençôes esta o inferno cheio* (благими намерениями вымощен ад). По-французски говорится, что он вымощен женскими языками, и это сводится к тому же, ибо женщины, на мой взгляд, всегда желают добра.

Вы мне велите продолжать. Итак, на следующий день г-жа де Пьен отправилась к своей призреваемой и нашла ее очень слабой, очень подавленной, но зато более спокойной и более покорной, нежели она ожидала. Она заговорила с ней о де Салиньи, но с большей осторожностью, чем накануне. Право же, Арсена должна совершенно отказаться от него и вспоминать о нем только для того, чтобы сокрушаться об их совместном ослеплении. Кроме того, она должна — и это входит в ее раскаяние — она должна показать самому Максу, что она раскаивается, явить ему пример, начав новую жизнь, и обеспечить и ему душевный мир, который сама она вкушает. К этим вполне христианским увещаниям г-жа де Пьен сочла полезным присоединить и некоторые мирские доводы: так, например, что Арсена, если она действительно любит г-на де Салиньи, должна прежде всего желать ему добра и что, меняя свое поведение, она заслужит уважение человека, который до сих пор не мог ее действительно уважать.

Все, что в этой речи было строгого и печального, сразу рассеялось, как только г-жа де Пьен под конец объявила ей, что она увидит Макса и что он сейчас будет здесь. При виде горячего румянца, вдруг залившего ее щеки, давно побелевшие от страданий, при виде необычайного блеска, которым загорелись ее глаза, г-жа де Пьен готова была раскаяться, что согласилась на это свидание; но было уже поздно менять решение. Остававшиеся до прихода Макса немногие минуты она употребила на благочестивые и настоятельные увещания, но они были выслушаны с явным невниманием, так как Арсена была всецело занята тем, что приводила в порядок свои волосы и прилаживала смявшуюся на чепчике ленту.

Наконец явился г-н де Салиньи, напрягая все мускулы лица, чтобы придать ему веселый и непринужденный вид. Он спросил ее о здоровье голосом, который он старался сделать естественным, но который и от простуды не мог бы так звучать.

Точно так же и Арсене было не по себе; она запиналась, не могла ничего сказать, но взяла руку г-жи де Пьен и поднесла ее к губам, как бы благодаря. Все, что говорилось в течение четверти часа, было то же самое, что говорится всюду, когда люди чувствуют себя неловко. Одна г-жа де Пьен хранила необычайное спокойствие, или, вернее, будучи лучше подготовлена, она лучше владела собой. Сплошь и рядом она отвечала за Арсену, и та находила, что ее толмач довольно плохо передает ее мысли. Беседа замирала; г-жа де Пьен заметила, что больная часто кашляет, напомнила ей, что доктор запретил ей говорить, и, обращаясь к Максу, сказала, что лучше бы он почитал немного вслух, чем утомлять Арсену расспросами. Макс поспешил взять книгу и отошел к окну, потому что в комнате было довольно темно. Он начал читать, мало что понимая. Арсена понимала едва ли больше, чем он, но казалось, что она слушает с живым интересом. Г-жа де Пьен занялась какой-то работой, которую принесла с собой, сиделка щипала себя, чтобы не уснуть. Глаза г-жи де Пьен беспрестанно переходили от постели к окну; сам стоглазый Аргус не бывал так зорок. Спустя несколько минут она наклонилась к уху Арсены.

— Как он хорошо читает! — сказала она ей шепотом.

Арсена бросила на нее взгляд, странно противоречивший улыбке ее губ.

— О да! — ответила она.

Потом опустила глаза, и на ее ресницах по временам появлялась крупная слеза и скользила по щеке, но она этого не замечала. Макс ни разу не обернулся. Когда он прочел несколько страниц, г-жа де Пьен сказала Арсене:

— Мы дадим вам отдохнуть, дитя мое. Я боюсь, что мы вас немного утомили. Мы скоро опять вас навестим.

Она встала, и, словно ее тень, встал и Макс. Арсена попрощалась с ним, почти не глядя на него.

— Я довольна вами, Макс,— сказала г-жа де Пьен, когда он проводил ее до дому,— а ею еще больше. Эта бедная девушка полна смирения. Она подает вам пример.

— Страдать и молчать — разве этому так уж трудно научиться?

— Чему прежде всего необходимо научиться — это закрывать сердце для дурных помыслов.

Макс распрощался с ней и быстро удалился.

Придя к Арсене на следующий день, г-жа де Пьен увидела, что та рассматривает букет редких цветов, лежавший на столике возле ее кровати.

— Мне их прислал господин де Салиньи,— сказала она.— Он велел справиться о моем здоровье. Сам он не приходил.

— Какие красивые цветы! — немного сухо произнесла г-жа де Пьен.

— Я прежде очень любила цветы,— сказала, вздохнув, больная,— и он меня баловал... Господин де Салиньи меня баловал, даря мне все самые красивые, какие только находил... Но теперь они мне ни к чему... Они слишком сильно пахнут... Вы бы взяли этот букет; он не рассердится, если я вам его отдам.

— Нет, моя дорогая; вам приятно смотреть на эти цветы,— отвечала г-жа де Пьен уже более мягко, потому что ее очень тронул глубоко печальный голос бедной Арсены.— Я возьму те, которые пахнут; оставьте себе камелии.

— Нет. Я терпеть не могу камелий... Они напоминают мне единственную ссору, которая у нас вышла... когда я была с ним.

— Перестаньте думать об этих безумствах, дорогое мое дитя.

— Как-то раз,— продолжала Арсена, внимательно глядя на г-жу де Пьен,— как-то раз я увидала у него в комнате красивую камелию в стакане с водой. Я хотела взять, но он не позволил. Он даже не дал мне дотронуться. Я заупрямилась, наговорила ему глупостей. Он взял ее, запер в шкаф и положил ключ в карман. Я взбесилась и даже разбила ему фарфоровую вазу, которую он очень любил. Ничего не помогло. Я поняла, что ему ее дала порядочная женщина. Я так и не узнала, откуда у него эта камелия.

Говоря это, Арсена не сводила с г-жи де Пьен пристального и почти злого взгляда, и та невольно потупила глаза. Наступило довольно долгое молчание, нарушаемое только сдавленным дыханием больной. Г-жа де Пьен смутно вспомнила один случай с камелией. Однажды за обедом у г-жи Обре Макс ей сказал, что его тетушка поздравила его сегодня с именинами, и попросил ее тоже подарить ему букет. Она, смеясь, вынула из волос камелию и дала ему. Но как такой ничтожный случай мог сохраниться у нее в памяти? Г-жа де Пьен не могла себе этого объяснить. Это ее почти пугало. Не успело рассеяться ее как бы смущение перед самой собой, как вошел Макс, и она почувствовала, что краснеет.

— Спасибо за цветы,— сказала Арсена,— но мне от них нехорошо... Они не пропадут; я их подарила госпоже де Пьен. Не заставляйте меня говорить, мне запрещено. Не почитаете ли вы что-нибудь?

Макс сел и стал читать. На этот раз, кажется, никто не слушал: каждый, в том числе и чтец, следил за ходом собственных мыслей.

Вставая, чтобы уходить, г-жа де Пьен оставила букет на столе, но Арсена указала ей на ее забывчивость, и она принуждена была его взять, недовольная тем, что почему-то не согласилась сразу же принять этот пустяк. «Что в этом может быть дурного?» — думала она. Но дурно было уже то, что она задавала себе этот простой вопрос.

Макс, хоть его об этом и не просили, зашел к ней.

Они сели и, не глядя друг на друга, так долго молчали, что им стало неловко.

— Я очень жалею эту бедную девушку,— сказала наконец г-жа де Пьен.— Надежды, по-видимому, больше нет.

— Вы видели доктора? — спросил Макс.— Что он говорит?

Госпожа де Пьен покачала головой.

— Ей немного дней осталось жить на свете. Сегодня утром ее причастили.

— На нее больно было глядеть,— сказал Макс, подходя к окну, вероятно, чтобы скрыть волнение.

— Конечно, тяжело умирать в ее годы,— медленно продолжала г-жа де Пьен.— Но если бы она жила дольше,— почем знать, не было ли бы это для нее несчастьем?.. Спасая ее от отчаянной смерти, провидение хотело дать ей время раскаяться... Это великая милость, всю цену которой она теперь сама сознает. Аббат Дюбиньон очень доволен ею, ее не надо так уж жалеть, Макс!

— Не знаю, нужно ли жалеть тех, кто умирает молодым...— ответил он немного резко.— Я сам хотел бы умереть молодым; но мне больно видеть, как она страдает.

— Телесные страдания часто бывают полезны для души...

Макс ничего не ответил и сел в дальнем конце комнаты, в темном углу, полускрытом тяжелыми портьерами. Г-жа де Пьен работала или делала вид, что работает, устремив глаза на вышивание; но она ощущала взгляд Макса, словно бременящую ее тяжесть. Ей казалось, что этот взгляд, которого она пыталась избежать, скользил по ее рукам, по ее плечам, по ее лбу. Ей чудилось, что он остановился на ее ноге, и она поспешно спрятала ее под платье. Быть может, есть доля истины в том, что говорят о магнетическом флюиде, сударыня.

— Вы знакомы с адмиралом де Риньи? — спросил вдруг Макс.

— Да, немного.

— Я, может быть, попрошу вас об одной услуге... о рекомендательном письме к нему...

— Для кого это?

— В последние дни я строил разные проекты,— продолжал он с деланной веселостью.— Я стараюсь обратиться к вере и хотел бы совершить какой-нибудь истинно христианский поступок, но не знаю, как за это взяться...

Госпожа де Пьен бросила на него строгий взгляд.

— Вот на чем я остановился,— продолжал он.— Я очень жалею, что не обучался строю, но это можно наверстать. Пока же я не так уж плохо владею ружьем... и, как я имел честь вам сказать, чувствую необыкновенное желание отправиться в Грецию и постараться убить там какого-нибудь турка во славу креста.

— В Грецию! — воскликнула г-жа де Пьен, роняя клубок.

— В Грецию. Тут я ничего не делаю, мне скучно, я ни на что не гожусь, не приношу никакой пользы, нет никого на свете, кому бы я мог понадобиться. Почему бы мне не отправиться пожинать лавры и сложить голову за правое дело? К тому же я не вижу для себя другого способа достигнуть славы или увековечить свое имя, а этого я очень хочу. Представьте себе, какая будет честь для меня, когда в газете прочтут: «Нам сообщают из Триполицы, что господин Макс де Салиньи, молодой филэллин, подававший самые блестящие надежды»,— ведь можно же это сказать в газете,— «подававший самые блестящие надежды, пал жертвой своей пламенной преданности святому делу веры и свободы. Свирепый Куршид-паша до такой степени забыл приличия, что велел отрубить ему голову...» Она у меня как раз не в порядке, по мнению всех, не правда ли?

И он засмеялся деланным смехом.

— Вы это серьезно говорите, Макс? Вы хотите ехать в Грецию?

— Совершенно серьезно; но только я постараюсь, чтобы мой некролог появился как можно позже.

— Что бы вы стали делать в Греции? Солдат у греков достаточно... Вы были бы отличным солдатом, я уверена, но...

— Великолепным гренадером, пяти с половиной футов! — воскликнул он, вставая с места.— Греки были бы чересчур разборчивы, если бы отказались от такого новобранца. Кроме шуток,— продолжал он, опускаясь в кресло,— кажется, это лучшее, что я могу придумать. В Париже я не могу оставаться (он произнес это с какой-то порывистостью): здесь я несчастен,

здесь я наделал бы тысячу глупостей... У меня нет сил сопротивляться... Но мы еще поговорим об этом; я не сейчас еще еду... но я уеду... О да, так надо; я дал себе честное слово. Вы знаете, я уже третий день учусь по-гречески. «Зои́ му, сас агапо́». Не правда ли, какой замечательно красивый язык?

Госпожа де Пьен читала лорда Байрона и вспомнила эту греческую фразу, рефрен одного из его мелких стихотворений. Перевод, как вам известно, дан в примечании, а именно: «Жизнь моя, я вас люблю.— Это тамошний любезный способ выражаться». Г-жа де Пьен сердилась на свою хорошую память; она не стала спрашивать, что значат эти греческие слова, и только боялась, как бы по ее лицу не было заметно, что она поняла. Макс подошел к роялю, и его пальцы, как бы случайно упав на клавиши, подобрали несколько печальных аккордов. Вдруг он взялся за шляпу и, обернувшись к г-же де Пьен, спросил ее, собирается ли она быть вечером у г-жи Дарсене.

— Возможно, что буду,— ответила она неуверенно.

Он пожал ей руку и тотчас же ушел, оставив ее во власти смятения, какого она никогда еще не испытывала.

Все ее мысли были смутны и сменялись с такой быстротой, что ни на одной из них она не успевала остановиться. Это напоминало вереницу картин, которые появляются и исчезают в окне вагона, мчащегося по железной дороге. Но подобно тому как среди самого стремительного бега, не различая подробностей, глаз все же схватывает общий характер проносящейся местности, так и посреди хаоса осаждавших ее мыслей г-жа де Пьен испытывала чувство страха, и ей казалось, будто она скользит по крутому склону среди ужасных пропастей. В том, что Макс ее любит, для нее не могло быть сомнения. Эта любовь (она говорила: эта привязанность) возникла уже давно; но до сих пор она нисколько не тревожила г-жу де Пьен. Между такой верующей женщиной, как она, и таким вольнодумцем, как Макс, возвышалась неодолимая преграда, за которой прежде она считала себя в безопасности. Хоть ей было и приятно и лестно сознавать, что она внушает серьезное чувство такому легкомысленному человеку, каким, по ее мнению, был Макс, она никогда не думала, что эта привязанность может когда-нибудь нарушить ее покой. Теперь же, когда повеса исправился, она начинала его бояться. Его обращение, которое она приписывала себе, грозило стать и для нее и для него причиной горя и мучений. Временами она старалась

убедить себя, что опасности, которые ей чудятся, ни на чем, собственно говоря, не основаны. Это внезапное решение уехать, новая манера держать себя, которую она замечала в г-не де Салиньи, могли, в конце концов, объясняться его все еще не угасшей любовью к Арсене Гийо; но странное дело: такая мысль казалась ей нестерпимее всякой другой, и она испытывала почти что облегчение, доказывая себе ее неправдоподобие.

Так г-жа де Пьен провела весь вечер, создавая себе призраки, разрушая их, воссоздавая снова. Она решила не ехать к г-же Дарсене и для большей верности отпустила кучера и собралась лечь рано; но, приняв это мужественное решение и видя, что отменить его уже нельзя, она тотчас же изобразила его себе как недостойную слабость и раскаялась в нем. Больше всего она боялась, как бы Макс не догадался, чем оно вызвано; а так как она не могла скрыть от самой себя истинной причины, по которой она оставалась дома, то кончила тем, что осудила себя, потому что самое ее беспокойство относительно г-на де Салиньи казалось ей преступлением. Она долго молилась, но от этого ей не стало легче. Не знаю, в котором часу ей наконец удалось уснуть; во всяком случае, когда она проснулась, ее мысли были так же смутны, как и накануне, и она была так же далека от какого бы то ни было решения.

За завтраком — ибо, сударыня, мы завтракаем всегда, в особенности если мы накануне плохо пообедали,— она прочла в газете, что какой-то паша разгромил какой-то город в Румелии. Женщины и дети были перебиты, несколько филэллинов пали с оружием в руках или были медленно замучены ужасными пытками. Эта газетная заметка не способствовала тому, чтобы г-жа де Пьен нашла привлекательным задуманное Максом путешествие в Грецию. Пока она грустно думала о прочитанном, ей подали от него письмо. Накануне вечером он очень скучал у г-жи Дарсене; обеспокоенный тем, что г-жи де Пьен там не было, он писал ей, чтобы узнать о ее здоровье и спросить, в котором часу ему следует явиться к Арсене Гийо. У г-жи де Пьен не хватило духу писать ответ, она велела сказать, что будет в обычное время. Потом ей пришло в голову, не сходить ли ей сейчас же, чтобы не встречаться там с Максом; но, подумав, она решила, что это было бы ребяческой и постыдной ложью, хуже даже, чем ее вчерашнее малодушие. Поэтому она вооружилась мужеством, горячо помолилась и, когда настало время, вышла из дому и твердым шагом поднялась в комнату Арсены.

Она нашла бедную девушку в самом жалком состоянии. Было ясно, что недалек ее последний час и за день болезнь страшно шагнула вперед. Ее дыхание превратилось в мучительный хрип, и г-же де Пьен сказали, что утром она несколько раз бредила и что доктор не думает, чтобы она могла дотянуть до завтра. Арсена все-таки узнала свою покровительницу и поблагодарила ее за то, что она пришла.

— Вам уже не надо будет взбираться по нашей лестнице,— сказала она ей угасшим голосом.

Каждое слово стоило ей, по-видимому, тягостного напряжения и истощало остатки ее сил. Чтобы расслышать, что она говорит, приходилось наклоняться к ее постели. Г-жа де Пьен взяла ее за руку, и та оказалась уже холодной и словно неживой.

Вскоре пришел Макс и молча подошел к постели умирающей. Она слегка кивнула ему головой и, видя, что он принес какую-то книгу в футляре, тихо прошептала:

— Вы сегодня не читайте.

Госпожа де Пьен бросила взгляд на то, что Арсена приняла за книгу; это была карта Греции в переплете, которую он купил по дороге.

Аббат Дюбиньон, с утра находившийся возле Арсены, видя, с какой быстротой тают силы болящей, решил употребить с пользой для ее души немногие остававшиеся мгновения. Он отстранил Макса и г-жу де Пьен и, склонясь над ложем страданий, обратился к несчастной девушке с торжественными и утешающими словами, которые религия приурочивает к таким мгновениям. Г-жа де Пьен молилась на коленях в углу, а Макс, стоя у окна, казалось, обратился в изваяние.

— Вы прощаете всем, кто вас обидел, дочь моя? — сказал священник взволнованным голосом.

— Да!.. Пусть они будут счастливы! — отвечала умирающая, делая усилие, чтобы ее было слышно.

— Положитесь же на милосердие божие, дочь моя! — произнес аббат.— Раскаяние отверзает небесные врата.

Еще несколько минут аббат продолжал свои увещания; потом умолк, не зная, не труп ли уже перед ним. Г-жа де Пьен тихо встала с колен, и все некоторое время стояли не шевелясь, тревожно всматриваясь в посиневшее лицо Арсены. Ее глаза были закрыты. Все затаили дыхание, словно боялись смутить ужасный сон, быть может уже охвативший ее, и в

комнате отчетливо раздавалось слабое тиканье часов, лежавших на ночном столике.

— Кончилась бедная барышня! — сказала наконец сиделка, поднося к губам Арсены свою табакерку.— Видите, стекло не затуманилось. Она умерла!

— Бедняжка! — воскликнул Макс, очнувшись от оцепенения, в которое он, казалось, был погружен.— Какую радость знала она в жизни?

Вдруг, словно воскреснув при звуке его голоса, Арсена открыла глаза.

— Я любила! — глухо прошептала она.

Она шевелила пальцами и словно хотела протянуть руки. Макс и г-жа де Пьен подошли, и каждый взял ее за одну руку.

— Я любила,— повторила она с грустной улыбкой.

То были последние ее слова. Макс и г-жа де Пьен долго не выпускали ее ледяных рук, не смея поднять глаз...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, сударыня, вы мне говорите, что мой рассказ окончен, и не желаете слушать дальше. Я полагал, что вам захочется узнать, уехал ли г-н де Салиньи в Грецию или нет; было ли... но уже поздно, и с вас довольно. Как угодно. Но, по крайней мере, воздержитесь от опрометчивых суждений; я утверждаю, что не сказал ничего такого, что давало бы вам на них право. А главное, не сомневайтесь в правдивости моего рассказа. Вы сомневаетесь? Сходите на Пер-Лашез: в двадцати шагах по левую руку от могилы генерала Фуа вы увидите совсем простую каменную плиту, всегда окруженную свежими цветами. На камне вы можете прочесть имя моей героини, вырезанное крупными буквами: *Арсена Гийо,* а наклонившись над этой могилой, вы различите, если только дождь не распорядился уже по-своему, строчку карандашом, выведенную очень тонким почерком:

Бедная Арсена! Она молится за нас.

Pasa gynē kholos estin; ekhei d'agathas dyo hōras:
Tēn mian en thalamo, tēn mian en thanato.

Palladas[1]

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что говорят, помещая поле битвы при Мунде в стране пунических бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. Согласно собственным моим соображениям по поводу текста анонимного автора *Bellum Hispaniense* и кое-каким сведениям, почерпнутым в превосходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз сыграл на все против защитников республики, следует искать в окрестностях Монтильи. Находясь в Андалусии ранней осенью 1830 года, я совершил довольно дальнюю поездку, чтобы разрешить еще остававшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я в скором времени обнародую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросовестных археологов. Пока моя диссертация еще не разъяснила географической загадки, которая смущает всю ученую Европу, я хочу вам рассказать небольшую повесть; она ни в чем не предрешает интересного вопроса о местонахождении Мунды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и двинулся в поход, не имея иной поклажи, кроме *Записок* Цезаря и нескольких рубашек. И вот однажды, скитаясь по возвышенной части Каченской равнины, изнемогая от усталости, умирая от жажды, сжигаемый раскаленным солнцем, я от всей души посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заметил

---

[1] Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей:
Или на ложе любви, или на смертном одре.
Паллад (греч.).

поодаль от тропинки, по которой я следовал, небольшую зеленую лужайку, поросшую камышами и тростником. Это возвещало мне близость источника. И действительно, когда я подъехал, предполагаемая лужайка оказалась болотом, в котором терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного ущелья меж двух высоких уступов сьерры Кабра. Я решил, что, подымаясь по течению, я найду воду чище, меньше пиявок и лягушек и, быть может, немного тени среди утесов. При въезде в ущелье мой конь заржал, и тотчас же ему ответил другой конь, мне невидимый. Не успел я проехать и ста шагов, как ущелье, вдруг расширяясь, обнаружило передо мной как бы природный цирк, сплошь затененный высотою окружавших его откосов. Трудно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей мчался, кипя, и терялся в небольшом водоеме, устланном белоснежным песком. Пять-шесть прекрасных зеленых дубов, всегда защищенных от ветра и освежаемых ручьем, росли по берегам, осеняя его своей густой листвой; наконец, вокруг водоема мягкая, лоснистая трава предлагала ложе, подобного которому было бы не сыскать ни в одной харчевне на десять миль кругом.

Не мне принадлежала честь открытия столь красивых мест. Там уже отдыхал какой-то человек, и, когда я появился, он, по-видимому, спал. Разбуженный ржанием, он встал и подошел к своему коню, который было воспользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать окрестной травой. То был молодой малый среднего роста, но по виду сильный, с мрачным и гордым взглядом. Цвет его лица, должно быть, красивый когда-то, стал под действием солнца темнее его волос. Одной рукой он взялся за недоуздок, в другой держал медный мушкетон. Сознаюсь, что в первый миг мушкетон и свирепый облик его обладателя меня несколько озадачили; но я перестал верить в разбойников, постоянно про них слыша и никогда с ними не сталкиваясь. К тому же я встречал столько честных поселян, вооружившихся до зубов, чтобы ехать на рынок, что вид огнестрельного оружия не давал мне права подвергать сомнению нравственность незнакомца. И потом, подумал я, на что ему мои рубашки и эльзевировские *Записки?* Поэтому я приветствовал человека с мушкетоном дружелюбным кивком и спросил его, улыбаясь, не нарушил ли я его сон. Он молча смерил меня взглядом от головы до ног; потом, как бы удовлетворенный осмотром, столь же внимательно взглянул на подъезжавшего проводника. Я видел, как тот побледнел и остано-

вился, выказывая явный испуг. «Дурная встреча!» — подумал я. Но благоразумие тотчас же подсказало мне не проявлять ни малейшего беспокойства. Я слез с лошади, велел проводнику разнуздать ее и, опустившись на колени у ручья, погрузил в него голову и руки; потом выпил изрядный глоток, лежа ничком, как плохие воины Гедеона.

Тем временем я наблюдал за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с видимой неохотой; второй же как будто не замышлял против нас ничего дурного, ибо коня он отпустил, а мушкетон, который он сперва держал наперевес, теперь был опущен к земле.

Не считая нужным обижаться на недостаточное внимание, оказанное моей особе, я растянулся на траве и с непринужденным видом спросил у человека с мушкетоном, нет ли у него огня. В то же время я вынул портсигар. Незнакомец, все так же молча, порылся у себя в кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь. Бесспорно, он делался общительнее, ибо сел против меня, не расставаясь, однако же, с оружием. Закурив, я выбрал лучшую из остававшихся у меня сигар и спросил его, курит ли он.

— Да, сеньор,— ответил он.

То были первые слова, которые он произнес, и я заметил, что *s* он произносит не по-андалусски [1], из чего я заключил, что это путешественник, как и я, только что не археолог.

— Вот эта недурна,— сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую регалию.

Он слегка наклонил голову, запалил свою сигару о мою, поблагодарил вторичным кивком, потом принялся курить со всей видимостью живейшего удовольствия.

— Ах! — воскликнул он, медленно выпуская первый клуб дыма изо рта и поздрей.— Как давно я не курил!

В Испании угощение сигарой устанавливает отношения гостеприимства, подобно тому как на Востоке дележ хлеба и соли. Незнакомец оказался разговорчивее, чем я думал. Впрочем, хоть он и заявил, что живет в Монтильском округе, он был, по-видимому, довольно плохо знаком с местностью. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились; не мог назвать ни одной окрестной деревни; наконец, когда я его спросил, не встречал ли он поблизости разрушенных стен,

---

[1] Андалусцы произносят *s* с придыханием, так что смешивают его с мягким *c* и *z*, которые испанцами выговариваются как английское *th*. По одному лишь слову *señor* можно узнать андалусца.

больших черепиц с закраинами, изваянных камней, он признался, что на подобные вещи никогда не обращал внимания. Зато он выказал себя знатоком по части лошадей. Он раскритиковал мою, что было нетрудно; потом рассказал мне родословную своего коня, знаменитого кордовского завода: действительно, благородное животное, такое выносливое, по словам хозяина, что прошло однажды тридцать миль за день галопом и крупной рысью. Посреди своей речи незнакомец вдруг запнулся, словно спохватившись и сердясь, что сказал лишнее. «Дело в том, что я очень торопился в Кордову,— продолжал он с легким смущением.— Мне надо было хлопотать в суде по поводу одной тяжбы...» Говоря это, он взглянул на Антоньо, моего проводника, который потупил взор.

Тень и ручей настолько меня очаровали, что я вспомнил про ломти превосходной ветчины, положенные моими монтильскими друзьями в сумку моего проводника. Я велел их принести и пригласил незнакомца принять участие в походном завтраке. Если он давно не курил, то не ел он, должно быть, по меньшей мере двое суток. Он глотал, как голодный волк. Я решил, что встреча со мною ниспослана бедному малому свыше. Проводник мой меж тем ел мало, пил еще того меньше и не говорил вовсе, хотя с самого начала нашего путешествия проявил себя беспримерным болтуном. Присутствие нашего гостя, по-видимому, его стесняло, и какая-то недоверчивость отстраняла их друг от друга, хоть я и не мог разгадать ее причины.

Уже исчезли последние крошки хлеба и ветчины; мы выкурили каждый по второй сигаре; я велел проводнику взнуздать лошадей и собирался проститься с моим новым приятелем, как вдруг тот меня спросил, где я думаю провести ночь.

Не успев обратить внимания на предостерегающий знак проводника, я ответил, что направляюсь в Воронью венту.

— Скверный ночлег для такого человека, как вы, сеньор... Я тоже туда еду, и если вы мне позволите вас проводить, мы поедем вместе.

— С удовольствием,— сказал я, садясь в седло. Проводник, державший стремя, снова мне подмигнул. Я в ответ пожал плечами, как бы говоря ему, что нисколько не тревожусь, и мы двинулись в путь.

Таинственные знаки Антоньо, его беспокойство, некоторые вырвавшиеся у незнакомца слова, в особенности же его тридцатимильный пробег и малоправдоподобное объяснение такового уже помогли мне составить мнение о моем попутчике.

Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с бандитом, но не все ли мне было равно? Я достаточно хорошо знал характер испанцев, чтобы быть вполне уверенным, что мне нечего бояться человека, с которым мы вместе ели и курили. Самое его присутствие было надежной защитой на случай какой-либо дурной встречи. К тому же я был рад узнать, что такое разбойник. С ними встречаешься не каждый день, и есть известная прелесть в соседстве человека опасного, в особенности когда чувствуешь его кротким и прирученным.

Я надеялся понемногу вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивания проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я отзывался о них почтительно. В то время в Андалусии имелся знаменитый бандит по имени Хосе Мария, подвиги которого были у всех на устах. «Что, если рядом со мной Хосе Мария?» — говорил я себе... Я повторил рассказы, которые слышал об этом герое, все, впрочем, к его чести, и громко выразил восхищение его храбростью и великодушием.

— Хосе Мария — просто шут,— холодно произнес незнакомец.

«Судит он себя по заслугам, или же это излишняя скромность с его стороны? — спрашивал я себя мысленно, ибо, всматриваясь в своего спутника, я обнаруживал в нем приметы Хосе Марии, объявления о которых часто видывал на воротах андалусских городов.— Да, это он... Светлые волосы, голубые глаза, большой рот, отличные зубы, маленькие руки; тонкая рубашка, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гнедая лошадь... Никаких сомнений. Но не будем нарушать его инкогнито».

Мы подъехали к венте. Она оказалась именно такой, как он мне ее описал, то есть одной из самых жалких, какие я когда-либо встречал. Большая комната служила и кухней, и столовой, и спальней. Огонь разводили тут же посредине, на плоском камне, и дым выходил через проделанную в крыше дыру, или, вернее, задерживался, образуя облако в нескольких футах над землей. Вдоль стен было разостлано пять или шесть старых ослиных попон: то были постели для путешественников. В двадцати шагах от дома, или, вернее, от этой единственной описанной мною комнаты, возвышалось нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом прелестном жилище не было иных живых существ, по крайней мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти — двенадцати, черных, как сажа, и одетых в ужасные лохмотья. «И это все, что осталось

от населения Бэтической Мунды! — подумал я.— О Цезарь! О Секст Помпей! Как бы вы удивились, если бы вернулись в мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвалось удивленное восклицание.

— Ах! Сеньор дон Хосе! — промолвила она.

Дон Хосе нахмурил брови и поднял руку повелительным движением, тотчас же заставившим старуху замолчать. Я обернулся к проводнику и сделал ему незаметный знак, давая понять, что ему нечего пояснять мне, с каким человеком я собираюсь провести ночь. Ужин был лучше, нежели я ожидал. Нам подали на маленьком столике, не выше фута, старого вареного петуха с рисом и множеством перца, потом перец на постном масле, наконец, *гаспачо,* нечто вроде салата из перца. Благодаря этим трем острым блюдам нам пришлось часто прибегать к бурдюку с монтильским вином, которое оказалось превосходным. После ужина, заметив висевшую на стене мандолину,— в Испании повсюду мандолины,— я спросил прислуживавшую нам девочку, умеет ли она на ней играть.

— Нет,— отвечала она.— Но дон Хосе так хорошо играет!

— Будьте так добры,— обратился я к нему,— спойте мне что-нибудь; я страстно люблю вашу национальную музыку.

— Я ни в чем не могу отказать столь любезному господину, который угощает меня такими великолепными сигарами! — весело воскликнул дон Хосе и, велев подать себе мандолину, запел, подыгрывая на ней; голос его был груб, но приятен, напев — печален и странен; что же касается слов, то я ничего не понял.

— Если я не ошибаюсь,— сказал я ему,— это вы пели не испанскую песню. Она похожа на *сорсико,* которые мне приходилось слышать в Провинциях [1], а слова, должно быть, баскские.

— Да,— мрачно ответил дон Хосе.

Он положил мандолину наземь и, скрестив руки, стал смотреть на потухавший огонь с видом какой-то странной грусти. Освещенное стоявшей на столике лампой, его лицо, благородное и в то же время свирепое, напоминало мне мильтоновского Сатану. Быть может, как и он, мой спутник думал о покинутом крае, об изгнании, которому он подвергся по

[1] Привилегированные провинции, пользующиеся особыми правами, то есть Алава, Бискайя, Гипускоа и часть Наварры. Местный язык там баскский.

своей вине. Я старался оживить беседу, но он не отвечал, поглощенный своими печальными мыслями. Старуха уже улеглась в углу комнаты, за дырявым одеялом, повешенным на веревке. Девочка последовала за ней в это убежище, предназначенное для прекрасного пола. Тогда мой проводник, встав, пригласил меня сходить с ним в конюшню; но при этих словах дон Хосе, словно вдруг очнувшись, резко спросил его, куда он идет.

— В конюшню,— ответил проводник.

— Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор позволит.

— Я боюсь, не больна ли лошадь сеньора; мне бы хотелось, чтобы сеньор ее посмотрел; может быть, он укажет, что с ней делать.

Было ясно, что Антоньо желает поговорить со мной наедине; но мне не хотелось возбуждать подозрений в доне Хосе, и я полагал, что в этом случае лучше всего выказать полнейшее доверие. Поэтому я ответил Антоньо, что в лошадях ничего не смыслю и хочу спать. Дон Хосе пошел за ним в конюшню и вскоре вернулся оттуда один. Он сказал мне, что лошадь здорова, но что мой проводник считает ее весьма драгоценным животным, трет ее своей курткой, чтобы она вспотела, и собирается провести ночь за этим приятным занятием. Тем временем я улегся на ослиные попоны, старательно закутавшись в плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе расположился у двери, предварительно освежив порох в своем мушкетоне, который он положил под сумку, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной ночи, оба мы через пять минут спали глубоким сном.

Я считал себя достаточно усталым, чтобы спать в подобном пристанище; но час спустя пренеприятный зуд нарушил мою дремоту. Как только я понял его природу, я встал в убеждении, что лучше провести остаток ночи под открытым небом, чем под этим негостеприимным кровом. Я на цыпочках подошел к дверям, перешагнув через ложе дона Хосе, почивавшего сном праведника, и ухитрился выйти из дому, не разбудив его. Возле двери была широкая деревянная скамья; я растянулся на ней и устроился, как мог, чтобы доспать ночь. Я уже собрался вторично закрыть глаза, как вдруг мне почудилось, будто передо мною проходят тень человека и тень коня, движущихся совершенно бесшумно. Я приподнялся на своем ложе, и мне показалось, что я вижу Антоньо. Удивлен-

ный его выходом из конюшни в такой поздний час, я встал и пошел ему навстречу. Увидев меня, он остановился.

— Где он? — шепотом спросил меня Антоньо.

— В венте; спит; он не боится клопов. Куда это вы ведете лошадь?

Тут я заметил, что Антоньо, желая без шума вывести лошадь из сарая, тщательно закутал ей ноги в обрывки старой попоны.

— Говорите тише,— сказал мне Антоньо,— ради бога! Вы не знаете, что это за человек. Это Хосе Наварро, знаменитейший бандит Андалусии. Я весь день делал вам знаки, которых вы не желали понимать.

— Бандит или не бандит, не все ли равно? — отвечал я.— Нас он не грабил, и я держу пари, что он об этом и не помышляет.

— Пусть так; но тот, кто его выдаст, получит двести дукатов. Я знаю, что в полутора милях отсюда находится уланский пост, и еще до зари приведу сюда нескольких дюжих молодцов. Я бы взял его коня, но он такой злой, что никого не подпускает к себе, кроме Наварро.

— Черт бы вас побрал! — сказал я ему.— Что худого вам сделал этот несчастный, чтобы его выдавать? И потом, уверены ли вы, что это и есть тот разбойник, о котором вы говорите?

— Вполне уверен; давеча он пошел за мной в конюшню и сказал мне: «Ты как будто меня знаешь; если ты скажешь этому доброму господину, кто я такой, я пущу тебе пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь с ним; вам нечего бояться. Пока вы тут, он ни о чем не догадается.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что звука подков уже не могло быть слышно. Антоньо мигом освободил коня от отрепьев, которыми он ему окутал ноги; он собирался сесть в седло. Я мольбами и угрозами пытался его удержать.

— Я бедный человек, сеньор,— отвечал он.— Двумястами дукатов брезговать не приходится, в особенности когда представляется случай избавить край от такой язвы. Но смотрите: если Наварро проснется, он схватится за мушкетон, и тогда берегитесь! Я-то слишком далеко зашел, чтобы отступать; устраивайтесь как знаете.

Мошенник уже сидел верхом; он пришпорил коня, и впотьмах я скоро потерял его из виду.

Я был очень рассержен на своего проводника и изрядно встревожен. Поразмыслив минуту, я решился и вошел в венту.

Дон Хосе все еще спал, вероятно, набираясь сил после трудов и треволнений нескольких беспокойных ночей. Мне пришлось основательно встряхнуть его, чтобы разбудить. Я никогда не забуду его дикого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить мушкетон, предусмотрительно отставленный мною подальше от постели.

— Сеньор! — сказал я ему.— Извините, что я вас бужу, но у меня есть к вам глупый вопрос: было ли бы вам приятно, если бы сюда явилось полдюжины улан?

Он вскочил на ноги и спросил меня грозным голосом:

— Кто вам это сказал?

— Если предупреждение идет на пользу, то не все ль равно, от кого оно исходит?

— Ваш проводник меня предал, но он поплатится! Где он?

— Не знаю... В конюшне, должно быть... Но мне сказали...

— Кто?.. Старуха не могла сказать.

— Кто-то, кого я не знаю... Без дальних слов: есть у вас основания не дожидаться солдат или нет? Если есть, то не теряйте времени, а если нет, то покойной ночи, и извините меня, что я прервал ваш сон.

— Ах, этот проводник, этот проводник! Он мне сразу показался подозрительным... но... ничего, мы с ним сосчитаемся!.. Прощайте, сеньор. Да воздаст вам бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не настолько уж плох, как вы можете думать... да, во мне что-то есть еще, что заслуживает сострадания порядочного человека... Прощайте, сеньор. Я жалею об одном, что ничем не могу отплатить вам...

— В отплату за мою услугу обещайте мне, дон Хосе, никого не подозревать, не думать о мести... Нате, вот вам сигары на дорогу; счастливого пути!

И я протянул ему руку. Он молча пожал ее, взял свой мушкетон и сумку и, сказав что-то старухе на непонятном мне наречии, побежал к сараю. Несколько мгновений спустя я услыхал, как он скачет по равнине.

Я же снова лег на скамью, но уснуть не мог. Я задавал себе вопрос, правильно ли я поступил, спасая от виселицы вора и, быть может, убийцу потому только, что поел с ним ветчины и рису по-валенсийски. Не предал ли я своего проводника, совершавшего законное дело, не обрек ли я его мести негодяя? Но долг гостеприимства!.. Дикарский предрассудок, говорил я себе, я буду ответствен за все преступления, кото-

рые совершит этот бандит... Но предрассудок ли, однако, этот внутренний голос, не сдающийся ни на какие доводы? Быть может, из щекотливого положения, в котором я очутился, мне нельзя было выйти без укоров совести. Я все еще пребывал в величайшей неуверенности относительно нравственности моего поступка, как вдруг увидел полдюжины приближающихся всадников с Антоньо, благоразумно следовавшим в арьергарде. Я пошел им навстречу и сообщил, что бандит спасся бегством тому уже два с лишним часа... Старуха на вопрос ефрейтора отвечала, что Наварро она знает, но что, живя одиноко, она ни за что бы не донесла на него, потому что могла бы поплатиться за это жизнью. Она добавила, что когда он у нее останавливается, он всегда уезжает среди ночи. Мне же пришлось отправиться за несколько миль предъявить паспорт и подписать заявление у алькайда, после чего мне разрешили продолжать мои археологические разыскания. Антоньо был на меня зол, подозревая, что это я помешал ему заработать двести дукатов. Все же в Кордове мы расстались друзьями; там я его вознаградил, насколько то позволяло состояние моих финансов.

. . . . . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Кордове я провел несколько дней. Мне указали на одну рукопись доминиканской библиотеки, где я мог найти интересные сведения о древней Мунде. Весьма радушно принятый добрыми монахами, дни я проводил в их монастыре, а вечером гулял по городу. В Кордове, на закате солнца, на набережной, идущей вдоль правого берега Гуадалкивира, бывает много праздного народа. Там дышишь испарениями кожевенного завода, доныне поддерживающего старинную славу тамошних мест по части выделки кож; но зато можно любоваться зрелищем, которое чего-нибудь да стоит. За несколько минут до «ангелуса» множество женщин собирается на берегу реки, внизу набережной, которая довольно высока. Ни один мужчина не посмел бы вмешаться в эту толпу. Когда звонят «ангелус», считается, что настала ночь. При последнем ударе колокола все эти женщины раздеваются и входят в воду. И тут подымаются крик, смех, адский шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, таращат глаза и мало что видят. Между

тем эти смутные белые очертания, вырисовывающиеся на темной синеве реки, приводят в действие поэтические умы, и при некотором воображении нетрудно представить себе купающуюся с нимфами Диану, не боясь при этом участи Актеона. Мне рассказывали, что однажды несколько сорванцов сложились и задобрили соборного звонаря, чтобы он прозвонил «ангелус» двадцатью минутами раньше урочного часа. Хотя было еще совсем светло, гуадалкивирские нимфы не стали колебаться и, полагаясь больше на «ангелус», чем на солнце, со спокойной совестью совершили свой купальный туалет, который всегда крайне прост. Меня при этом не было. В мое время звонарь был неподкупен, сумерки — темны, и только кошка могла бы отличить самую старую торговку апельсинами от самой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда ничего уже не видно, я курил, облокотясь на перила набережной; вдруг какая-то женщина, поднявшись по лестнице от реки, села рядом со мной. В волосах у нее был большой букет жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий запах. Одета была она просто, пожалуй, даже бедно, во все черное, как большинство гризеток по вечерам. Женщины из общества носят черное только утром; вечером они одеваются *à la francesa* [1]. Подходя ко мне, моя купальщица уронила на плечи мантилью, покрывавшую ей голову, «и в свете сумрачном, струящемся от звезд», я увидел, что она невысока ростом, молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот вполне французский знак внимания и поспешила мне сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей случается найти мягкие *папелито* [2]. По счастью, у меня в портсигаре как раз такие были, и я счел долгом ей их предложить. Она соблаговолила взять один и закурила его о кончик горящей веревки, которую за медную монету нам принес мальчик. Смешивая клубы дыма, мы с прекрасной купальщицей так заговорились, что остались на набережной почти одни. Я счел, что не поступлю нескромно, предложив ей пойти в *неверúю* [3] съесть мороженого. Немного подумав, она согласилась; но прежде чем решиться, захотела узнать, который час. Я поставил свои часы на бой, и этот звон очень ее удивил.

---

[1] На французский лад, по-французски *(исп.)*.

[2] Папелито — папироса *(исп.)*.

[3] Неверия — кафе, где имеется ледник, или, вернее, склад снега. В Испании в каждой деревне есть такая неверия.

— Каких только изобретений у вас нет, у иностранцев! Из какой вы страны, сеньор? Англичанин, должно быть? [1]

— Француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньора или сеньорита, вы, вероятно, родом из Кордовы?

— Нет.

— Во всяком случае, вы андалуска. Я это слышу по вашему мягкому выговору.

— Если вы так хорошо различаете произношение, вы должны догадаться, кто я.

— Я полагаю, что вы из страны Иисуса, в двух шагах от рая.

(Этой метафоре, означающей Андалусию, меня научил мой приятель Франсиско Севилья, известный пикадор.)

— Да, рай... Здешние люди говорят, что он создан не для нас.

— Так, значит, вы мавританка или...— Я запнулся, не смея сказать: еврейка.

— Да полноте! Вы же видите, что я цыганка; хотите, я вам *скажу бахи?* [2] Слышали вы когда-нибудь о Карменсите? Это я.

В те времена — тому уже пятнадцать лет — я был таким нехристем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с собой ведьму. «Что ж! — подумал я.— На той неделе я ужинал с грабителем с большой дороги, покушаем сегодня мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь, надо видеть все». У меня была и другая причина поддержать с ней знакомство. По выходе из коллежа — признаюсь к своему стыду — я убил некоторое время на изучение тайных наук и даже несколько раз пытался заклинать духа тьмы. Давно уже исцелившись от страсти к подобного рода изысканиям, я все же продолжал относиться с известным любопытством ко всяким суевериям и теперь рад был случаю узнать, на какой высоте стоит искусство магии у цыган.

Беседуя, мы вошли в неверию и уселись за столик, озаренный свечой под стеклянным колпачком. Тут я мог вдоволь разглядывать свою *хитану,* в то время как добрые люди, сидя за мороженым, дивились, видя меня в таком обществе.

---

[1] В Испании всякого путешественника, у которого нет с собой образцов коленкора или шелка, считают англичанином, *инглесито.* То же самое на Востоке. В Халкиде я имел честь быть представленным как *милордос французос.*

[2] Погадаю.

Я сильно сомневаюсь в чистокровности сеньориты Кармен; во всяком случае, она была бесконечно красивее всех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, надо, говорят испанцы, чтобы она совмещала тридцать «если», или, если угодно, чтобы ее можно было определить при помощи десяти прилагательных, применимых каждое к трем частям ее особы. Так, три вещи у нее должны быть черные: глаза, веки и брови; три — тонкие: пальцы, губы, волосы, и т. д. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла притязать на все эти совершенства. Ее кожа, правда, безукоризненно гладкая, цветом близко напоминала медь. Глаза у нее были раскосые, но чудесно вырезанные; губы немного полные, но красиво очерченные, а за ними виднелись зубы, белее очищенных миндалин. Ее волосы, быть может, немного грубые, были черные, с синим, как вороново крыло, отливом, длинные и блестящие. Чтобы не утомлять вас слишком подробным описанием, скажу коротко, что с каждым недостатком она соединяла достоинство, быть может, еще сильнее выступавшее в силу контраста. То была странная и дикая красота, лицо, которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. В особенности у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого я не встречал ни в одном человеческом взгляде. Цыганский глаз — волчий глаз, говорит испанская поговорка, и это — верное замечание. Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы изучать взгляд волка, посмотрите на вашу кошку, когда она подстерегает воробья.

Было бы, конечно, смешно, чтобы вам гадали в кафе. А потому я попросил хорошенькую колдунью разрешить мне проводить ее домой; она легко согласилась, но захотела еще раз справиться о времени и снова попросила меня поставить часы на бой.

— Они действительно золотые? — сказала она, разглядывая их с необыкновенным вниманием.

Когда мы вышли, стояла темная ночь; лавки были большей частью заперты, а улицы почти пусты. Мы перешли Гуадалквивирский мост и в конце предместья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам отворил мальчик. Цыганка сказала ему что-то на незнакомом мне языке; впоследствии я узнал, что это *роммани,* или *чипе кальи,* наречие хитанов. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас одних в довольно большой комнате, где стояли небольшой стол, два

табурета и баул. Еще я должен упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и вязку лука.

Когда мы остались наедине, цыганка достала из баула карты, по-видимому, уже немало послужившие, магнит, высохшего хамелеона и кое-какие другие предметы, потребные для ее искусства. Потом она велела мне начертить монетой крест на левой ладони, и магический обряд начался. Ни к чему излагать вам ее предсказания; что же касается ее приемов, то было очевидно, что она и впрямь колдунья.

К сожалению, нам скоро помешали. Внезапно с шумом отворилась дверь, и человек, до самых глаз закутанный в бурый плащ, вошел в комнату, не очень-то любезно окликая цыганку. Я не понимал, что он говорил, но по его голосу можно было судить, что он чем-то весьма недоволен. При виде его *хитана* не выказала ни удивления, ни досады, но бросилась ему навстречу и с необычайной поспешностью стала ему что-то говорить на таинственном языке, которым уже пользовалась в моем присутствии. Слово *паильо,* часто повторявшееся, было единственным, которое я понимал. Я знал, что так цыгане называют всякого человека чуждого им племени. Полагая, что речь идет обо мне, я готовился к щекотливому объяснению; уже я сжимал в руке ножку одного из табуретов и строил про себя умозаключения, дабы с точностью установить миг, когда будет уместно швырнуть им в голову пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко мне; потом, отступив на шаг:

— Ах, сеньор,— сказал он,— это вы!

Я в свой черед взглянул на него и узнал моего друга дона Хосе. В эту минуту я немного жалел, что не дал его повесить.

— Э, да это вы, мой удалец! — воскликнул я, смеясь насколько мог непринужденно.— Вы прервали сеньориту, как раз когда она сообщала мне преинтересные вещи.

— Все такая же! Этому будет конец,— процедил он сквозь зубы, устремляя на нее свирепый взгляд.

Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своем наречии. Она постепенно воодушевлялась. Ее глаза наливались кровью и становились страшны, лицо перекашивалось, она топала ногой. Мне казалось, что она настойчиво убеждает его что-то сделать, но что он не решается. Что́ это было, мне представлялось совершенно ясным при виде того, как она быстро водила своей маленькой ручкой взад и вперед под подбородком. Я склонен был думать, что речь идет о том, что-

бы перерезать горло, и имел основания подозревать, что горло это — мое.

На этот поток красноречия дон Хосе ответил всего лишь двумя-тремя коротко произнесенными словами. Тогда цыганка бросила на него полный презрения взгляд, затем, усевшись по-турецки в углу, выбрала апельсин, очистила его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вывел меня на улицу. Мы прошли шагов двести в полном молчании. Потом, протянув руку:

— Все прямо,— сказал он,— и вы будете на мосту.

Он тотчас же повернулся и быстро пошел прочь. Я возвратился к себе в гостиницу немного сконфуженный и в довольно дурном расположении духа. Хуже всего было то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение моих часов.

По некоторым соображениям я не пошел на следующий день потребовать их обратно и не обратился к коррехидору с просьбой их разыскать. Я закончил свою работу над доминиканской рукописью и уехал в Севилью. Пространствовав несколько месяцев по Андалусии, я решил вернуться в Мадрид, и мне пришлось снова проезжать через Кордову. Я не собирался задерживаться там надолго, ибо невзлюбил этот прекрасный город с его гуадалкивирскими купальщицами. Но чтобы повидать некоторых друзей и выполнить кое-какие поручения, мне нужно было провести по меньшей мере три-четыре дня в древней столице мусульманских владык.

Едва я появился вновь в доминиканском монастыре, один из монахов, всегда живо интересовавшийся моими изысканиями о местонахождении Мунды, встретил меня с распростертыми объятиями, восклицая:

— Хвала создателю! Милости просим, дорогой мой друг. Мы все считали, что вас нет в живых, и я сам множество раз прочел *Pater* и *Ave,* о чем не жалею, за упокой вашей души. Так, значит, вас не убили; а что вас обокрали, это мы знаем!

— Как так? — спросил я его не без удивления.

— Ну да, вы же знаете эти прекрасные часы, которые вы в библиотеке ставили на бой, когда мы вам говорили, что пора идти в церковь. Так они нашлись, вам их вернут.

— То есть,— перебил я его смущенно,— я их потерял...

— Мошенник под замком, а так как известно, что он способен застрелить христианина из ружья, чтобы отобрать у него песету, то мы умирали от страха, что он вас убил. Я с вами схожу к коррехидору, и вам вернут ваши чудесные часы.

А потом посмейте рассказывать дома, что в Испании правосудие не знает своего ремесла!

— Я должен сознаться,— сказал я ему,— что мне было бы приятнее остаться без часов, чем показывать против бедного малого, чтобы его потом повесили, особенно потому... потому...

— О, вам не о чем беспокоиться! Он достаточно себя зарекомендовал, и дважды его не повесят. Говоря — повесят, я не совсем точен. Этот ваш вор — идальго; поэтому его послезавтра без всякой пощады удавят [1]. Вы видите, что одной кражей больше или меньше для него все равно. Добро бы он еще только воровал! Но он совершил несколько убийств, одно другого ужаснее.

— Как его зовут?

— Здесь он известен под именем Хосе Наварро; но у него есть еще баскское имя, которого нам с вами ни за что не выговорить. Знаете, с ним можно повидаться, и вы, который интересуетесь местными особенностями, не должны упускать случая узнать, как в Испании мошенники отправляются на тот свет. Он в часовне, и отец Мартинес вас проводит.

Мой доминиканец так настаивал, чтобы я взглянул на приготовления к «карошенький маленький пофешенья», что я не мог отказаться. Я отправился к узнику, захватив с собой пачку сигар, которые, я надеялся, оправдали бы в его глазах мою нескромность.

Меня впустили к дону Хосе, когда он обедал. Он довольно холодно кивнул мне головой и вежливо поблагодарил меня за принесенный подарок. Пересчитав сигары в пачке, которую я ему вручил, он отобрал несколько штук и вернул мне остальные, заметив, что так много ему не потребуется.

Я спросил его, не могу ли я с помощью денег или при содействии моих друзей добиться смягчения его участи. Сначала он пожал плечами, грустно улыбнувшись; потом, подумав, попросил меня отслужить обедню за упокой его души.

— Не могли ли бы вы,— добавил он застенчиво,— не могли ли бы вы отслужить еще и другую за одну особу, которая вас оскорбила?

— Разумеется, дорогой мой,— сказал я ему.— Но только, насколько я знаю, никто меня не оскорблял в этой стране.

---

[1] В 1830 году дворянство еще пользовалось этой привилегией. Теперь, при конституционном строе, право на *гарроту* предоставлено и простому народу.

Он взял мою руку и пожал ее с серьезным лицом. Помолчав, он продолжал:

— Могу я вас попросить еще об одной услуге?.. Возвращаясь на родину, вы, может быть, будете проезжать через Наварру; во всяком случае, вы будете в Витории, которая оттуда недалеко.

— Да,— отвечал я,— я, конечно, буду в Витории: но возможно, что заеду и в Памплону, а ради вас я, пожалуй, охотно сделаю этот крюк.

— Так вот, если вы заедете в Памплону, вы увидите много для вас интересного... Это красивый город... Я вам дам этот образок (он показал мне серебряный образок, висевший у него на шее), вы завернете его в бумагу...— он остановился, чтобы одолеть волнение,— и передадите его или велите передать одной женщине, адрес которой я вам скажу. Вы скажете, что я умер, но не скажете, как.

Я обещал исполнить его поручение. Я был у него на следующий день и провел с ним несколько часов. Из его уст я услышал печальную повесть, которую здесь привожу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Я родился,— сказал он,— в Элисондо, в Бастанской долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа, и вы достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы сразу же заключить по моему имени, что я баск и чистокровный христианин. Если я называю себя *дон*, то это потому, что имею на то право, и, будь я в Элисондо, я бы вам показал мою родословную на пергаменте. Из меня хотели сделать священника и заставляли учиться, но преуспевал я плохо. Я слишком любил играть в мяч, это меня и погубило. Когда мы, наваррцы, играем в мяч, мы забываем все. Как-то раз, когда я выиграл, один алавский юнец затеял со мной ссору; мы взялись за *макилы* [1], и я опять его победил; но из-за этого мне пришлось уехать. Мне повстречались драгуны, и я поступил в Альманссний кавалерийский полк. Наши горцы быстро выучиваются военному делу. Вскоре я сделался ефрейтором, и меня обещали произвести в вахмистры, но тут, на мою беду, меня назначили в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье,

[1] Макилы — баскские палки с железными наконечниками.

вы, должно быть, видели это большое здание за городской стеной, над Гуадалквивиром. Я как сейчас вижу его ворота и кордегардию рядом. На карауле испанцы играют в карты или спят; я же, как истый наваррец, всегда старался быть чем-нибудь занят. Я делал из латунной проволоки цепочку для своего затравника. Вдруг товарищи говорят: «Вот и колокол звонит; сейчас девицы вернутся на работу». Вы, быть может, знаете, сеньор, что на фабрике работают по меньшей мере четыреста — пятьсот женщин. Это они крутят сигары в большой палате, куда мужчин не допускают без разрешения *вейнтикуатро* [1], потому что женщины, когда жарко, ходят там налегке, в особенности молодые. Когда работницы возвращаются на фабрику после обеда, множество молодых людей толпится на их пути и городит им всякую всячину. Редкая девица отказывается от тафтяной мантильи, и рыболовам стоит только нагнуться, чтобы поймать рыбку. Пока остальные глазели, я продолжал сидеть на скамье у ворот. Я был молод тогда; я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и спадающих на плечи кос [2]. К тому же андалусок я боялся; я еще не привык к их повадке: вечные насмешки, ни одного путного слова. Итак, я уткнулся носом в свою цепочку, как вдруг слышу, какие-то штатские говорят: «Вот цыганочка». Я поднял глаза и увидел ее. Это было в пятницу, и этого я никогда не забуду. Я увидел Кармен, которую вы знаете, у которой мы с вами встретились несколько месяцев тому назад.

На ней была очень короткая красная юбка, позволявшая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акации, заткнутый за вырез сорочки. В зубах у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода. У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились. В Севилье же всякий отпускал ей какой-нибудь бойкий комплимент по поводу ее внешности; она каждому отвечала, строя глазки и подбочась, бесстыдная, как только может быть цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу; но она, следуя обычаю женщин и кошек, которые

---

[1] Вейнтикуатро — чиновник, ведающий городской полицией и благоустройством города.

[2] Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций.

не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила.

— Кум! — обратилась она ко мне на андалусский лад.— Подари мне твою цепочку, чтобы я могла носить ключи от моего денежного сундука.

— Это для моей булавки,— отвечал я ей.

— Для твоей булавки! — воскликнула она, смеясь.— Видно, сеньор плетет кружева, раз он нуждается в булавках.

Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что краснею, и не нашелся, что ответить.

— Сердце мое! — продолжала она.— Сплети мне семь локтей черных кружев на мантилью, милый мой булавочник!

И, взяв цветок акации, который она держала в зубах, она бросила его мне щелчком прямо между глаз. Сеньор! Мне показалось, что в меня ударила пуля... Я не знал, куда деваться, и торчал на месте, как доска. Когда она прошла на фабрику, я заметил цветок акации, упавший наземь у моих ног; я не знаю, что на меня нашло, но только я его подобрал тайком от товарищей и бережно спрятал в карман куртки. Первая глупость!

Часа два-три спустя я все еще думал об этом, как вдруг в кордегардию вбежал сторож, тяжело дыша, с перепуганным лицом. Он нам сказал, что в большой сигарной палате убили женщину и что туда надо послать караул. Вахмистр велел мне взять двух людей и пойти посмотреть, в чем дело. Я беру людей и иду наверх. И вот, сеньор, входя в палату, я вижу прежде всего триста женщин в одних рубашках или вроде того, и все они кричат, вопят, машут руками и подымают такой содом, что не расслышать и грома божьего. В стороне лежала одна, задрав копыта, вся в крови, с лицом, накрест исполосованным двумя взмахами ножа. Напротив раненой, вокруг которой хлопотали самые расторопные, я вижу Кармен, которую держат несколько кумушек. Раненая кричала: «Священника! Священника! Меня убили!» Кармен молчала: она стиснула зубы и вращала глазами, как хамелеон. «В чем дело?» — спросил я. Мне стоило немалого труда выяснить, что случилось, потому что все работницы говорили со мной разом. Раненая женщина, оказывается, похвасталась, будто у нее столько денег в кармане, что она может купить осла на трианском рынке. «Вот как! — заметила Кармен, у которой был острый язычок.— Так тебе мало метлы?» Та, задетая за живое, быть может, потому, что чувствовала себя небезвинной по этой части, ответила, что в метлах она мало что смыслит, не имея чести быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита Кар-

менсита скоро познакомится с ее ослом, когда господин коррехидор повезет ее на прогулку, приставив к ней сзади двух лакеев, чтобы отгонять от нее мух. «Ну, а я,— сказала Кармен,— устрою тебе мушиный водопой на щеках и распишу их, как шахматную доску» [1]. И тут же — чик-чик! — ножом, которым она срезáла сигарные кончики, она начинает чертить ей на лице андреевские кресты.

Дело было ясное; я взял Кармен за локоть. «Сестрица! — сказал я учтиво.— Идемте со мной». Она посмотрела на меня, как будто меня узнав, но покорно произнесла: «Идем. Где моя мантилья?» Она накинула ее на голову так, что был виден только один ее большой глаз, и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда мы явились в кордегардию, вахмистр заявил, что случай серьезный и что надо отвести ее в тюрьму. Вести ее должен был опять я. Я поместил ее меж двух драгун, а сам пошел сзади, как полагается при таких обстоятельствах ефрейтору. Мы двинулись в город. Сначала цыганка молчала; но на Змеиной улице,— вы знаете ее, она вполне заслуживает это название своими поворотами,— на Змеиной улице она начинает с того, что роняет мантилью на плечи, чтобы я мог видеть ее обольстительное личико, и, оборачиваясь ко мне, насколько можно было, говорит:

— Господин офицер! Куда вы меня ведете?

— В тюрьму, бедное мое дитя,— отвечал я ей возможно мягче, как хороший солдат должен говорить с арестантом, особенно с женщиной.

— Увы! Что со мной будет? Господин офицер! Пожалейте меня. Вы такой молодой, такой милый!..— Потом, понизив голос: — Дайте мне убежать,— сказала она,— я вам дам кусочек *бар лачи,* и вас будут любить все женщины.

Бар лачи, сеньор, это магнитная руда, при помощи которой, по словам цыган, можно выделывать всякие колдовства, если уметь ею пользоваться. Натрите щепотку и дайте выпить женщине в стакане белого вина, она не сможет устоять. Я ей ответил насколько можно серьезнее:

— Мы здесь не для того, чтобы говорить глупости, надо идти в тюрьму, таков приказ, и тут ничем помочь нельзя.

Мы, люди баскского племени, говорим с акцентом, по которому нас нетрудно отличить от испанцев; зато ни один из них ни за что не выучится говорить хотя бы *baï jaona* [2]. По-

[1] *Pintar un javeque* — расписать шебеку. У испанских шебек борт по большей части бывает расписан красными и белыми квадратами.

[2] Да, господин.

этому Кармен догадалась без труда, что я родом из Провинций. Ведь вам известно, сеньор, что цыгане, не принадлежа ни к какой стране, вечно кочуя, говорят на всех языках, и большинство их чувствует себя дома и в Португалии, и во Франции, и в Провинциях, и в Каталонии, всюду; даже с маврами и с англичанами — и то они объясняются. Кармен довольно хорошо говорила по-баскски.

— *Laguna ene bihotsarena*, товарищ моего сердца! — обратилась она ко мне вдруг.— Мы земляки?

Наша речь, сеньор, так прекрасна, что, когда мы ее слышим в чужих краях, нас охватывает трепет... Я бы хотел духовника из Провинций,— добавил, понижая голос, бандит.

Помолчав, он продолжал:

— Я из Элисондо,— отвечал я ей по-баскски, взволнованный тем, что она говорит на моем языке.

— А я из Этчалара,— сказала она. (Это от нас в четырех часах пути.) — Меня цыгане увели в Севилью. Я работала на фабрике, чтобы скопить, на что вернуться в Наварру к моей бедной матушке, у которой нет другой поддержки, кроме меня да маленького *barratcea* [1] с двумя десятками сидровых яблонь. Ах, если бы я была дома, под белой горой! Меня оскорбили, потому что я не из страны этих жуликов, продавцов тухлых апельсинов; и все эти шлюхи ополчились на меня, потому что я им сказала, что все их севильские *хаке* [2] и с ножами не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой. Товарищ, друг мой! Неужели вы ничего не сделаете для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Я не знаю, сказала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды; но, когда она говорила, я ей верил; это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, а я верил, что она наваррка; уже одни ее глаза, и рот, и цвет кожи говорили, что она цыганка. Я сошел с ума, я ничего уже не видел. Я думал о том, что, если бы испанцы посмели дурно отозваться о моей родине, я бы им искромсал лицо совершенно так же, как только что она своей товарке. Словом, я был как пьяный; я начал говорить глупости, я готов был их натворить.

— Если бы я вас толкнула и вы упали, земляк,— продолжала она по-баскски,— то не этим двум кастильским новобранцам меня поймать...

---

[1] Сада.

[2] Х а к е — задиры, хвастуны.

Честное слово, я забыл присягу и все и сказал ей:

— Ну, землячка милая, попытайтесь, и да поможет вам божья матерь горная!

В эту минуту мы проходили мимо узкого переулка, которых столько в Севилье. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно упал навзничь. Одним прыжком она перескакивает через меня и бросается бежать, показывая нам пару ног!.. Говорят — баскские ноги: таких ног, как у нее, надо было поискать... таких быстрых и стройных. Я тотчас же встаю, но беру пику [1] наперевес, загораживая улицу, так что мои товарищи, едва собравшись в погоню, оказались задержаны. Затем я сам побежал, и они за мной; но догнать ее нечего было и думать с нашими шпорами, саблями и пиками! Скорее, чем я вам рассказываю, наша пленница скрылась. Вдобавок все местные кумушки облегчали ей бегство, и потешались над нами, и указывали неверную дорогу. После нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось воротиться в кордегардию без расписки от начальника тюрьмы.

Мои люди, чтобы избежать наказания, заявили, что Кармен говорила со мной по-баскски; да и казалось довольно неестественным, по правде говоря, чтобы хрупкая девочка могла одним ударом кулака свалить такого молодца, как я. Все это показалось подозрительным, или, вернее, слишком ясным. Когда пришла смена караула, меня разжаловали и посадили на месяц в тюрьму. Это было мое первое взыскание по службе. Прощайте, вахмистерские галуны, которые я уже считал своими!

Мои первые тюремные дни прошли очень невесело. Поступая в солдаты, я воображал, что стану по меньшей мере офицером. Дослужились же до генерал-капитанов Лонга, Мина, мои соотечественники, Чапалангарра, «черный», как и Мина, и нашедший, как и он, убежище в вашей стране; Чапалангарра был полковником, а я сколько раз играл в мяч с его братом, таким же бедняком, как и я. А теперь я себе говорил: «Все то время, что ты служил безупречно, пропало даром. Теперь ты на дурном счету; чтобы снова добиться доверия начальства, тебе придется работать в десять раз больше, чем когда ты поступил повобранцем! И ради чего я навлек на себя наказание? Ради какой-то мошенницы-цыганки, которая насмеялась надо мной и сейчас ворует где-нибудь в городе». И все же я невольно думал о ней. Поверите ли, сеньор, ее дырявые чулки, которые она показывала снизу доверху, так и стояли у меня

[1] Вся испанская кавалерия вооружена пиками.

перед глазами. Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку, и среди всех проходивших мимо женщин я не видел ни одной, которая бы стоила этой чертовой девки. И потом, против воли, нюхал цветок акации, которым она в меня бросила и который, даже и сухой, все так же благоухал... Если бывают на свете колдуньи, то эта женщина была колдунья.

Однажды входит тюремщик и подает мне алькалинский хлебец[1]. «Нате,— сказал он,— это вам от вашей кузины». Я взял хлебец, но очень удивился, потому что никакой кузины у меня в Севилье не было. «Может быть, это ошибка»,— думал я, рассматривая хлебец; но он был такой аппетитный, от него шел такой вкусный запах, что, не задумываясь над тем, откуда он и кому назначается, я решил его съесть. Когда я стал его резать, мой нож наткнулся на что-то твердое. Я смотрю и вижу маленький английский напильник, запеченный в тесто. Там оказался еще и золотой в два пиастра. Сомнений не могло быть, то был подарок от Кармен. Для людей ее племени свобода — все, и они готовы город спалить, лишь бы дня не просидеть в тюрьме. К тому же бабенка была хитра, и с этим хлебцем провести тюремщиков было нетрудно. За один час этим маленьким напильником можно было перепилить самый толстый прут; с двумя пиастрами я у первого старьевщика мог бы обменять свою форменную шинель на вольное платье. Вы сами понимаете, что человек, которому не раз случалось выкрадывать орлят из гнезд в наших скалах, не затруднился бы спуститься на улицу из окна, с высоты неполных тридцати футов; но я не хотел бежать. Во мне еще была воинская честь, и дезертировать казалось мне тяжким преступлением. Но все-таки я был тронут этим знаком памяти. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что где-то есть друг, которому ты не безразличен. Золотой меня немного стеснял, я был бы рад его вернуть; но где найти моего заимодавца? Это казалось мне нелегким делом.

После церемонии разжалования я считал, что все уже выстрадал; но мне предстояло проглотить еще одно унижение: это было по выходе моем из тюрьмы, когда меня назначили на дежурство и поставили на часы как простого солдата. Вы не можете себе представить, что́ в подобном случае испытывает человек с самолюбием. Мне кажется, я предпочел бы расстрел.

---

[1] Из Алькала́ де лос Панадерос, местечка в двух милях от Севильи, где пекут превкусные хлебцы. Говорят, что своими качествами они обязаны тамошней воде, и каждый день их во множестве привозят в Севилью.

По крайней мере, шагаешь один, впереди взвода; сознаешь, что ты что-то значишь; люди на тебя смотрят.

Я стоял на часах у дверей полковника. Это был богатый молодой человек, славный малый, любитель повеселиться. У него собрались все молодые офицеры и много штатских, были и женщины, говорили — актрисы. Мне же казалось, словно весь город съезжается к его дверям, чтобы на меня посмотреть. Вот подкатывает коляска полковника, с его камердинером на козлах. И что же я вижу, кто оттуда сходит?.. Моя цыганочка. На этот раз она была разукрашена как икона, разряжена в пух и прах, вся в золоте и лентах. Платье с блестками, голубые туфельки тоже с блестками, всюду цветы и шитье. В руке она держала бубен. С нею были еще две цыганки, молодая и старая. Их всегда сопровождает какая-нибудь старуха, а также старик с гитарой, тоже цыган, чтобы играть им для танцев. Вам известно, что цыганок часто приглашают в дома, и они там пляшут *ромалис* — это их танец — и нередко многое другое.

Кармен меня узнала, и мы обменялись взглядом. Не знаю, но в эту минуту я предпочел бы быть в ста футах под землей.

— *Agur laguna!* [1] — сказала она.— Господин офицер! Ты стоишь на карауле, как новобранец!

И не успел я найтись, что ответить, как она уже вошла в дом.

Все общество было в патио, и, несмотря на толпу, я мог через калитку видеть [2] более или менее все, что там происходило. Я слышал кастаньеты, бубен, смех и крики «браво»; иногда мне видна была ее голова, когда она подпрыгивала со своим бубном. Слышал я также голоса офицеров, говоривших ей всякие глупости, от которых у меня кровь кидалась в лицо. Мне кажется, что именно с этого дня я полюбил ее по-настоящему, потому что три или четыре раза я готов был войти в патио и всадить саблю в живот всем этим ветрогонам, которые с ней любезничали. Моя пытка продолжалась добрый час; потом цыганки вышли, и коляска их увезла. Кармен на ходу еще раз взглянула на меня этими своими глазами и сказала мне совсем тихо:

---

[1] Здравствуй, товарищ!

[2] У большей части севильских домов бывает внутренний двор, окруженный галереей. Там обыкновенно сидят летом. Двор этот накрыт пологом, который днем поливают водой, а на ночь убирают. Ворота на улицу почти всегда открыты, а проход, который ведет во двор, *zaguán*, перегорожен железной калиткой очень изящной работы.

— Земляк! Кто любит хорошо поджаренную рыбу, тот идет в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая как козочка, она вскочила в коляску, кучер стегнул своих мулов, и веселая компания покатила куда-то.

Вы сами догадываетесь, что, сменившись с караула, я отправился в Триану, но прежде побрился и причесался, как на парад. Кармен оказалась в съестной лавочке у Лильяса Пастьи, старого цыгана, черного как мавр, к которому многие горожане заходили поесть жареной рыбы, в особенности как будто с тех пор, как там обосновалась Кармен.

— Лильяс! — сказала она, как только меня увидела.— Сегодня я больше ничего не делаю. Успеется завтра![1] Идем, земляк, идем гулять.

Под носом у него она накинула мантилью, и мы очутились на улице, а куда я иду — не знаю.

— Сеньорита! — сказал я ей.— Мне кажется, я должен вас поблагодарить за подарок, который вы мне прислали, когда я был в тюрьме. Хлебец я съел; напильник мне пригодится, чтобы точить пику, и я его сохраню на память о вас; но деньги — вот.

— Скажите! Он сберег деньги! — воскликнула она, хохоча.— Впрочем, тем лучше, потому что я сейчас не при капиталах; да что! Собака на ходу всегда найдет еду[2]. Давай проедим все. Ты меня угощаешь.

Мы вернулись в Севилью. В начале Змеиной улицы она купила дюжину апельсинов и велела мне их завернуть в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы, бутылку мансанильи; наконец зашла в кондитерскую. Тут она швырнула на прилавок золотой, который я ей вернул, еще золотой, который у нее был в кармане, и немного серебра; потом потребовала у меня всю мою наличность. У меня оказались всего-навсего песета и несколько куарто, которые я ей дал, стыдясь, что больше у меня ничего нет. Я думал, она скупит всю лавку. Она выбрала все, что было самого лучшего и дорогого, *йемас*[3], *туррон*[4], засахаренные фрукты, на сколько хватило денег. Все это я опять должен был нести в бумажных мешочках. Вы, может быть, знаете улицу Кандилехо, с головой

---

[1] *Mañana será otro dia* — испанская пословица.

[2] *Chuquel sos pirela, cocal terela* — пес, который ходит, кость находит — цыганская пословица.

[3] Засахаренные желтки.

[4] Род нуги.

короля дона Педро Справедливого [1]. Она должна была бы навести меня на размышления. На этой улице мы остановились у какого-то старого дома. Кармен вошла в узкий проход и постучала в дверь. Нам отворила цыганка, истинная прислужница сатаны. Кармен сказала ей что-то на *роммани.* Старуха было заворчала. Чтобы ее утихомирить, Кармен дала ей два апельсина и пригоршню конфет и позволила отведать вина. Потом она набросила ей на плечи плащ и вывела за дверь, которую и заперла деревянным засовом. Как только мы остались одни, она принялась танцевать и хохотать как сумасшедшая, напевая: «Ты мой *ром,* я твоя *роми*» [2]. А я стоял посреди комнаты, нагруженный покупками и не зная, куда их девать. Она бросила все на пол и кинулась мне на шею, говоря: «Я плачу свои долги, я плачу свои долги! Таков закон у *калес*» [3]. Ах, сеньор, этот день, этот день!.. Когда я его вспоминаю, я забываю про завтрашний.

---

[1] Король дон Педро, которого мы зовем Жестоким и которого Изабелла Католичка называла не иначе, как Справедливым, любил прогуливаться вечером по улицам Севильи в поисках приключений, подобно халифу Харуну аль Рашиду. Однажды ночью на глухой улице он затеял ссору с мужчиной, дававшим своей даме серенаду. Они дрались, и король убил влюбленного кавалера. При звуке шпаг в окно высунулась старуха и осветила эту сцену маленьким светильником, *candilejo,* бывшим у нее в руке. А надо знать, что король дон Педро, в общем ловкий и сильный, обладал странным недостатком в телосложении. Когда он шагал, его коленные чашки издавали громкий хруст. По этому хрусту старуха сразу его узнала. На следующий день дежурный *вейнтикуатро* явился к королю с докладом: «Ваше величество! Сегодня ночью на такой-то улице был поединок. Один из дравшихся убит».— «Нашли убийцу?» — «Да, ваше величество».— «Почему же он еще не наказан?» — «Ваше величество! Я ожидаю ваших приказаний».— «Исполните закон». А как раз незадолго перед тем король издал указ, гласивший, что всякий поединщик будет обезглавлен и что его голова будет выставлена на месте поединка. *Вейнтикуатро* нашел остроумный выход. Он велел отпилить голову у одной из королевских статуй и выставил ее в нише посреди улицы, на которой произошло убийство. Королю и всем севильянцам это очень понравилось. Улица была названа по светильнику старухи, единственной очевидицы этого случая. Таково народное предание. Суньига рассказывает об этом несколько иначе (см. *Anales de Sevilla,* т. II, стр. 136). Как бы там ни было, в Севилье все еще существует улица Кандилехо, а на этой улице — каменный бюст, который считается портретом дона Педро. К сожалению, бюст этот новый. Прежний очень обветшал в XVII веке, и тогдашний муниципалитет заменил его тем, который можно видеть сейчас.

[2] *Rom* — муж; *romi* — жена.

[3] *Calo,* женский род — *calli,* множественное число — *cales.* Дословно: черный — так называют себя цыгане на своем языке.

Бандит умолк; потом, раскурив потухшую сигару, продолжал:

— Мы провели вместе целый день, ели, пили и все остальное. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, она стала пихать их пригоршнями в старухин кувшин с водой. «Это ей будет шербет»,— говорила она. Она давила *йемас,* кидая их об стены. «Это чтобы нам не надоедали мухи»,— говорила она... Каких только шалостей и глупостей она не придумывала! Я сказал ей, что мне хотелось посмотреть, как она танцует; но где взять кастаньеты? Она тут же берет единственную старухину тарелку, ломает ее на куски и отплясывает *ромалис,* щелкая фаянсовыми осколками не хуже, чем если бы это были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости. С этой женщиной нельзя было соскучиться, ручаюсь вам. Наступил вечер, и я услышал, как барабаны бьют зорю.

— Мне пора в казарму на перекличку,— сказал я ей.

— В казарму? — промолвила она презрительно.— Или ты негр, чтобы тебя водили на веревочке? Ты настоящая канарейка одеждой и нравом [1]. И сердце у тебя цыплячье.

Я остался, заранее мирясь с арестантской. Наутро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

— Послушай, Хосеито! — сказала она.— Ведь я с тобой расплатилась? По нашему закону, я тебе ничего не была должна, потому что ты *паильо;* но ты красивый малый, и ты мне понравился. Мы квиты. Будь здоров.

Я спросил ее, когда мы с ней увидимся.

— Когда ты чуточку поумнеешь,— отвечала она, смеясь. Потом, уже более серьезным тоном: — Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю. Но только это ненадолго. Собаке с волком не ужиться. Быть может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согласилась стать твоей *роми.* Но это глупости; этого не может быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дешево отделался. Ты повстречался с чертом, да, с чертом; не всегда он черен, и шею он тебе не сломал. Я ношу шерсть, но я не овечка [2]. Поставь свечу своей *махари* [3], она это заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Карменсите, не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами [4].

---

[1] Испанские драгуны ходят в желтом.

[2] *Me dicas vriardá de jorpoy, bus ne sino braco* — цыганская пословица.

[3] *Majari* — святая; святая дева.

[4] Виселица, вдова последнего повешенного.

С этими словами она отодвинула засов, запиравший дверь, и, выйдя на улицу, закуталась в мантилью и повернулась ко мне спиной.

Она была права. Лучше мне было не думать о ней больше; но после этого дня на улице Кандилехо я ни о чем другом думать не мог. Я целыми днями бродил, надеясь ее встретить. Я справлялся о ней у старухи и у хозяина съестной лавочки. Оба они отвечали, что она уехала в *Лалоро* [1] — так они называют Португалию. Это, должно быть, Кармен велела им так говорить, но я вскоре убедился, что они лгут. Несколько недель спустя после моей побывки на улице Кандилехо я стоял на часах у городских ворот. Неподалеку от этих ворот в крепостной стене образовался пролом; днем его чинили, а на ночь к нему ставили часового, чтобы помешать контрабандистам. Днем я видел, как около кордегардии сновал Лильяс Пастья и заговаривал с некоторыми из моих товарищей; все были с ним знакомы, а с его рыбой и оладьями и подавно. Он подошел ко мне и спросил, не знаю ли я чего о Кармен.

— Нет,— отвечал я ему.

— Ну так узнаете, куманек.

Он не ошибся. На ночь я был наряжен стеречь пролом. Как только ефрейтор ушел, я увидел, что ко мне подходит какая-то женщина. Сердце мое подсказывало, что это Кармен. Однако я крикнул:

— Ступай прочь! Проходу нет!

— Ну, не будьте злым,— сказала она, давая себя узнать.

— Как! Это вы, Кармен?

— Да, земляк. И вот в чем дело. Хочешь заработать дуро? Тут пойдут люди с тюками; не мешай им.

— Нет,— отвечал я.— Я не могу их пропустить, таков приказ.

— Приказ! Приказ! На улице Кандилехо ты не думал о приказах.

— Ах! — отвечал я, сам не свой от одного этого воспоминания.— Тогда нетрудно было забыть всякие приказы; но я не желаю денег от контрабандистов.

— Ну хорошо, если ты не желаешь денег, хочешь, мы еще раз пообедаем у старой Доротеи?

— Нет,— сказал я, чуть не задыхаясь от усилия.— Я не могу.

---

[1] Красная (земля).

— Отлично. Раз ты такой несговорчивый, я знаю, к кому обратиться. Я предложу твоему ефрейтору сходить к Доротее. Он, кажется, славный малый и поставит часовым молодчика, который будет видеть только то, что полагается. Прощай, канарейка. Я уж посмеюсь, когда выйдет приказ тебя повесить.

Я имел малодушие ее окликнуть и обещал пропустить хотя бы всех цыган на свете, лишь бы мне досталась та единственная награда, о которой я мечтал. Она тут же поклялась, что завтра же исполнит обещанное, и побежала звать своих приятелей, которые оказались в двух шагах. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все основательно нагруженные английскими товарами. Кармен караулила. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как только заметит дозор, но этого не потребовалось. Контрабандисты управились мигом.

На следующий день я пошел на улицу Кандилехо. Кармен заставила себя ждать и пришла не в духе.

— Я не люблю людей, которых надо упрашивать,— сказала она.— Первый раз ты мне оказал услугу поважнее, хотя и не знал, выгадаешь ли что-нибудь на этом. А вчера ты со мной торговался. Я сама не знаю, зачем я пришла, потому что я не люблю тебя больше. Знаешь, уходи, вот тебе дуро за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо, и мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не поколотить ее. Мы препирались целый час, и я ушел в бешенстве. Некоторое время я бродил по улицам, шагая, куда глаза глядят, как сумасшедший; наконец я зашел в церковь и, забившись в самый темный угол, заплакал горькими слезами. Вдруг я слышу голос:

— Драконьи слезы! Я сделаю из них приворотное зелье.

Я поднимаю глаза; передо мной Кармен.

— Ну что, земляк, вы все еще на меня сердитесь? — сказала она.— Видно, я вас все-таки люблю, несмотря ни на что, потому что с тех пор, как вы меня покинули, я сама не знаю, что со мной. Ну вот, теперь я сама тебя спрашиваю: хочешь, пойдем на улицу Кандилехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был вроде как погода в наших краях. У нас в горах гроза тем ближе, чем солнце ярче. Она мне обещала еще раз встретиться со мной у Доротеи и не пришла. И Доротея сказала мне опять, что она уехала в *Ламоро* по цыганским делам.

Зная уже по опыту, как к этому относиться, я искал Кармен повсюду, где мог рассчитывать ее встретить, и раз

двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Как-то вечером я сидел у Доротеи, которую почти приручил, угощая ее время от времени рюмкой анисовки, как вдруг входит Кармен в сопровождении молодого человека, поручика нашего полка.

— Уходи,— быстро проговорила она мне по-баскски.

Я стоял ошеломленный, с яростью в сердце.

— Ты здесь что делаешь? — обратился ко мне поручик.— Проваливай вон отсюда!

Я не мог ступить шагу: у меня словно ноги отнялись. Офицер в гневе, видя, что я не ухожу и даже не снимаю бескозырки, взял меня за шиворот и грубо тряхнул. Я не помню, что я ему сказал. Он обнажил саблю, я вынул свою. Старуха схватила меня за руку, и поручик нанес мне в лоб удар, след от которого у меня и до сих пор остался. Я подался назад и, двинув локтем, повалил Доротею; потом, видя, что поручик на меня наступает, я ткнул его саблей и пронзил. Тогда Кармен погасила лампу и на своем языке велела Доротее удирать. Сам я выскочил на улицу и побежал наугад. Мне казалось, что за мной гонятся. Когда я пришел в себя, я увидел, что Кармен со мной.

— Глупая канарейка! — сказала она мне.— Ты умеешь делать только глупости. Я же говорила, что принесу тебе несчастье. Ничего, все можно исправить, когда дружишь с романской фламандкой [1]. Прежде всего повяжи голову этим платком и брось портупею. Подожди меня в этом проходе. Я через две минуты вернусь.

Она исчезла и скоро явилась с полосатым плащом, который где-то раздобыла. Она велела мне снять мундир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком одеянии, с платком на голове, которым она повязала мою рану, я был похож на валенсийского крестьянина, из тех, кого можно встретить в Севилье, где они торгуют чуфовым оршадом [2]. Потом она отвела меня в какой-то дом, вроде Доротеина, в глубине переулочка. Она и еще какая-то цыганка омыли и перевязали мне рану лучше любого полкового хирурга, напоили меня чем-то; наконец меня уложили на тюфяк, и я уснул.

---

[1] *Flamenca de Roma* — жаргонный термин, обозначающий цыганку. *Roma* значит здесь не вечный город, а народ роми или «женатых людей», как называют самих себя цыгане. Первые появившиеся в Испании цыгане пришли, вероятно, из Нидерландов, почему их и стали звать «фламандцами».

[2] *Chufa* — клубневидный корень, из которого приготовляют довольно приятный напиток.

Вероятно, эти женщины примешали мне в питье какое-то снотворное снадобье, как они умеют готовить, потому что на следующий день я проснулся очень поздно. У меня сильно болела голова и был небольшой жар. Я не сразу мог вспомнить ужасную сцену, в которой участвовал накануне. Перевязав мне рану, Кармен и ее приятельница, сидя на корточках возле моего тюфяка, о чем-то посовещались на *чипе кальи,* что было, по-видимому, врачебной консультацией. Затем они мне заявили, что я скоро поправлюсь, но что мне необходимо как можно скорее уехать из Севильи, потому что, если меня здесь поймают, я буду наверняка расстрелян.

— Мой мальчик! — сказала мне Кармен.— Тебе надо чем-нибудь заняться: раз король тебя уже не кормит больше ни рисом, ни треской[1], тебе следует подумать о заработке. Ты слишком глуп, чтобы воровать *á pastesas*[2], но ты ловок и силен; если ты человек смелый, поезжай к морю и становись контрабандистом. Разве я не обещала, что приведу тебя на виселицу? Это лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты возьмешься за дело с толком, ты будешь жить по-царски, пока *миньоны*[3] и береговая стража тебя не сцапают.

Вот в каких заманчивых выражениях эта чертова девка описала мне новое поприще, которое она мне предназначала, единственное, по правде говоря, которое для меня еще оставалось, раз мне грозила смертная казнь. Сознаться вам, сеньор? Она меня уговорила без особого труда. Мне казалось, что эта беспокойная и мятежная жизнь теснее нас свяжет. Я думал, что отныне она всегда будет меня любить. Мне часто приходилось слышать о контрабандистах, которые путешествуют по Андалусии на добром коне, с мушкетоном в руке, посадив на круп свою возлюбленную. Я уже представлял себе, как я разъезжаю по горам и долам с моей хорошенькой цыганочкой за спиной. Когда я ей говорил об этом, она от хохота хваталась за бока и отвечала, что ничего не может быть лучше ночи, проведенной на биваке, когда каждый *ром* уходит со своей *роми* в маленькую палатку, устроенную из трех обручей, покрытых одеялом.

— Если мы уйдем с тобою в горы,— говорил я ей,— я буду за тебя спокоен! Там мне уже не придется делиться с поручиком.

---

[1] Обычная пища испанского солдата.

[2] *Ustilar á pastesas* — воровать с ловкостью, похищать без насилия.

[3] Род вольнонаемной милиции.

— А, ты ревнуешь! — отвечала она.— Тем хуже для тебя. Неужели же ты настолько глуп? Разве ты не видишь, что я тебя люблю, если я ни разу не просила у тебя денег?

Когда она так говорила, мне хотелось ее задушить.

Словом, сеньор, Кармен достала мне вольное платье, в котором я и выбрался из Севильи, никем не узнанный. Я прибыл в Херес, получив от Пастьи письмо к одному торговцу анисовой, у которого собирались контрабандисты. Меня познакомили с этими людьми, и их начальник, по прозвищу Данкайре, принял меня в свою шайку. Мы отправились в Гаусин, где я встретился с Кармен, назначившей мне там свидание. Во время экспедиций она служила нашим людям лазутчиком, и лучшего лазутчика на свете не было. Она приехала из Гибралтара, где успела условиться с одним судохозяином относительно погрузки английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. Мы отправились поджидать их поблизости от Эстепоны, потом часть их спрятали в горах; нагрузившись остальным, мы двинулись в Ронду. Кармен поехала вперед. Опять-таки она дала нам знать, когда можно вступить в город. Это первое путешествие, а за ним и несколько других были удачны. Жизнь контрабандиста нравилась мне больше, чем солдатская жизнь; я делал Кармен подарки. У меня были деньги и возлюбленная. Раскаяние меня не мучило, потому что, как говорят цыгане, того, кто наслаждается, чесотка не грызет [1]. Всюду нас встречали радушно; товарищи относились ко мне хорошо и даже выказывали уважение. Это потому, что я убил человека, а среди них не у всякого был на совести такой подвиг. Но что мне особенно нравилось в моей новой жизни, так это то, что я часто видел Кармен. Она была со мною ласковее, чем когда бы то ни было; однако перед товарищами она не сознавалась, что она моя любовница, и даже велела мне поклясться всякими клятвами, что я им ничего про нее не скажу. Я был так малодушен перед этим созданием, что исполнял все ее прихоти. К тому же я впервые видел, что она держит себя как порядочная женщина, и в простоте своей думал, что она и в самом деле бросила прежние свои повадки.

Шайка наша, состоявшая из восьми или десяти человек, соединялась только в решительные минуты, обыкновенно же мы разбредались по двое, по трое по городам и селам. Каждый из нас для виду промышлял каким-нибудь ремеслом: один был медником, другой барышником; я же торговал мелким това-

[1] *Sarapia sat pesquital ne punzava.*

ром, но в людных местах я избегал показываться из-за своей скверной севильской истории. В один прекрасный день или, вернее, ночь все мы должны были сойтись под Вехером. Мы с Данкайре прибыли раньше других. Данкайре казался очень весел.

— У нас будет одним товарищем больше,— сказал он мне.— Кармен только что выкинула одну из своих лучших штук. Она высвободила своего *рома* из Тарифской тюрьмы.

Я уже начинал осваиваться с цыганским языком, на котором говорили почти все мои товарищи, и при слове *ром* меня передернуло.

— Как? Своего мужа? Так, значит, она замужем? — спросил я главаря.

— Да,—отвечал тот,—за Гарсией Кривым, таким же хитрым цыганом, как она сама. Бедняга был на каторге. Кармен так опутала тюремного врача, что добилась освобождения для своего *рома*. Да, это золото, а не женщина! Целых два года она старалась его выручить. Ничто не помогало, пока не сменили врача. С этим она, по-видимому, быстро сумела договориться.

Судите сами, как приятно мне было узнать эту новость. Вскоре явился и Гарсия Кривой; противнее чудовище едва ли бывало среди цыган: черный кожей и еще чернее душой, это был худший из негодяев, которых я когда-либо в жизни встречал. Кармен пришла вместе с ним; и когда при мне она называла его своим *ромом,* надо было видеть, какие она мне строила глаза и какие выделывала гримасы, чуть только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и во всю ночь не сказал ей ни слова. Поутру мы уложились и двинулись в путь, как вдруг заметили, что за нами гонится дюжина конных. Андалусские хвастуны, на словах готовые все разнести, тотчас же струхнули. Все пустились наутек. Данкайре, Гарсия, красивый мальчик из Эсихи, по прозвищу Ремендадо, и Кармен не растерялись. Остальные побросали мулов и разбежались по оврагам, где всадники не могли их настигнуть. Нам пришлось пожертвовать караваном; мы поспешили снять наиболее ценный груз и, взвалив его себе на плечи, стали спускаться с утесов по самым крутым обрывам. Тюки мы кидали вниз, а сами пускались следом, скользя на корточках. Тем временем неприятель нас обстреливал; я в первый раз слышал, как свищут пули, и отнесся к этому спокойно. На глазах у женщины нет особой чести шутить со смертью, мы остались невредимы, кроме бедного Ремендадо, раненного в спину. Я хотел нести его дальше и бросил свой тюк.

— Дурак! — крикнул мне Гарсия.— На что нам падаль? Прикончи его и не растеряй чулки.

— Брось его! — кричала мне Кармен.

От усталости мне пришлось положить его на минуту под скалой. Гарсия подошел и выстрелил ему в голову из мушкетона.

— Пусть теперь попробуют его узнать,— сказал он, глядя на его лицо, искромсанное двенадцатью пулями.

Вот, сеньор, какую милую жизнь я вел. К вечеру мы очутились в чаще, изнемогая от усталости, без еды и разоренные утратой мулов. Что же сделал этот адов Гарсия? Он достал из кармана колоду карт и начал играть с Данкайре при свете костра, который они развели. Я в это время лежал, глядя на звезды, думая о Ремендадо и говоря себе, что охотно был бы теперь на его месте. Кармен сидела рядом со мной и по временам пощелкивала кастаньетами, напевая. Потом, наклоняясь, словно чтобы сказать мне что-то на ухо, целовала меня почти насильно, и так два или три раза.

— Ты дьявол,— говорил я ей.

— Да,— отвечала она.

Передохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, а наутро маленький козопас принес нам хлеба. Мы провели на месте целый день, а ночью подошли к Гаусину. Мы ждали вестей от Кармен. Ничего не было. Утром мы видим, идет погонщик, сопровождая хорошо одетую женщину с зонтиком и девочку, по-видимому ее служанку, Гарсия сказал:

— Вот два мула и две женщины, которых нам посылает Николай-угодник; я предпочел бы четырех мулов; да ничего, я устроюсь.

Он взял мушкетон и начал спускаться к дороге, прячась в кустах. Мы с Данкайре шли за ним на некотором расстоянии. Подойдя на выстрел, мы выскочили и закричали погонщику остановиться. Женщина, завидя нас, вместо того чтобы испугаться,— один наш костюм того стоил,— разражается хохотом.

— Ах, *эти лильипенди* приняли меня за *эрани*! [1]

Это была Кармен, но так искусно переряженная, что я бы ее не узнал, говори она на другом языке. Она спрыгнула с мула и стала о чем-то тихо беседовать с Данкайре и Гарсией, потом сказала мне:

— Канарейка! Мы еще увидимся до того, как тебя повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро обо мне услышите.

---

[1] Эти дураки приняли меня за приличную женщину.

Мы с ней расстались, причем она указала нам место, где мы могли найти приют на несколько дней. Для нашей шайки эта девушка была провидением. Вскоре она нам прислала немного денег и еще более ценное сведение, а именно: в такой-то день два английских милорда поедут из Гибралтара в Гранаду по такой-то дороге. Имеющий уши да слышит. У них было много звонких гиней. Гарсия хотел их убить, но мы с Данкайре этому воспротивились. Мы отобрали у них только деньги и часы, не считая рубашек, в которых весьма нуждались.

Сеньор! Становишься мазуриком, сам того не замечая. Красивая девушка сбивает вас с толку, из-за нее дерешься, случается несчастье, приходится жить в горах, и не успеешь опомниться, как из контрабандиста делаешься вором. Мы решили, что после истории с милордами нам неуютно в окрестностях Гибралтара, и углубились в сьерру Ронда. Вы мне говорили о Хосе Марии; как раз там я с ним и познакомился. В свои экспедиции он возил свою возлюбленную. Это была красивая девушка, тихая, скромная, милая в обращении; никогда ни одного дурного слова, и что за преданность!.. В награду за это он очень ее мучил. Он вечно волочился за девицами, обходился с нею дурно, а то вдруг принимался ревновать. Раз он ударил ее ножом. И что же? Она только еще больше его полюбила. Женщины так уж созданы, в особенности андалуски. Эта гордилась своим шрамом на руке и показывала его как лучшее украшение на свете. И вдобавок ко всему Хосе Мария был очень плохой товарищ!.. В одну из наших с ним экспедиций он устроил так, что ему достался весь барыш, а нам тумаки и хлопоты. Но я продолжаю свой рассказ. О Кармен не было ни слуху, ни духу. Данкайре сказал:

— Кому-нибудь из нас нужно съездить в Гибралтар разузнать про нее, она, наверно, что-нибудь приготовила. Я бы поехал, да меня в Гибралтаре слишком хорошо знают.

Кривой сказал:

— Меня тоже знают, я там столько штук понастроил *ракам*[1]. А так как у меня всего один глаз, то меня легко узнать.

— Так, значит, мне придется ехать? — сказал я в восторге от одной мысли увидеть Кармен.— Ну-с, так что же я должен делать?

Те мне сказали:

---

[1] Прозвище, которое простой народ в Испании дал англичанам из-за цвета их мундиров.

— Постарайся пробраться морем или через Сан Роке, как тебе покажется удобнее, и, когда будешь в Гибралтаре, спроси в порту, где живет шоколадница, по имени Рольона; когда ты ее разыщешь, она тебе расскажет, что там делается.

Было решено, что мы отправимся все трое в сьерру у Гаусина, там я расстанусь со своими спутниками и явлюсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. В Ронде один человек, у которого были с нами дела, раздобыл мне паспорт; в Гаусине мне дали осла; я его навьючил апельсинами и дынями и двинулся в путь. Когда я прибыл в Гибралтар, то оказалось, что Рольону там знают, но что она или умерла, или отправилась *finibus terrae* [1], и ее исчезновением, по-моему, и объяснялось, почему мы потеряли связь с Кармен. Я поставил осла в стойло, а сам, забрав апельсины, пошел ходить по городу, как бы ими торгуя, главным же образом, чтобы посмотреть, не встречу ли какое-нибудь знакомое лицо. Там множество проходимцев со всех концов света, и это настоящая Вавилонская башня, потому что там нельзя пройти десяти шагов по улице, не услышав столько же языков. Мне попадалось немало цыган, но я им не доверял; я их щупал, а они меня. Нам было ясно, что мы жулики; но важно было знать, одной ли мы шайки.

Проведя два дня в бесплодных скитаниях, я ничего не узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и уже собирался вернуться к товарищам, предварительно кое-что закупив, как вдруг, идя по улице, на закате, я слышу из окна женский голос, который меня окликнул: «Апельсинщик!..» Я подымаю голову и вижу на балконе Кармен — стоит, облокотившись, рядом с каким-то офицером в красном, с золотыми эполетами, завитыми волосами и осанкой важного милорда. Она же была одета роскошно: шаль на плечах, золотой гребень, вся в шелку; и мошенница, как всегда, хохотала до упаду. Англичанин на ломаном испанском языке крикнул, чтобы я шел наверх, что сеньора хочет апельсинов; а Кармен сказала мне по-баскски:

— Иди и не удивляйся ничему.

Действительно, с ней мне ничему не следовало удивляться. Не знаю, причинила ли мне встреча с нею больше радости или огорчения. Мне открыл дверь высокий лакей-англичанин, в пудре, и проводил меня в великолепную гостиную. Кармен сразу же заговорила со мной по-баскски:

— Ты ни слова не говоришь по-испански, ты со мной незнаком.

---

[1] На каторгу или ко всем чертям.

Потом, обращаясь к англичанину:

— Я же вам говорила, я с первого взгляда признала в нем баска; вы услышите, что это за диковинный язык. Не правда ли, какой у него глупый вид? Словно кошка, пойманная в кладовке.

— А у тебя,— сказал я ей на своем языке,— вид наглой мошенницы, и мне сильно хочется искромсать тебе лицо на глазах у твоего дружка.

— У моего дружка! — отвечала она.— Скажи: это ты сам додумался? И ты меня ревнуешь к этому болвану? Ты еще глупее, чем был до наших вечеров на улице Кандилехо. Разве ты не видишь, дурень ты этакий, что я сейчас занята цыганскими делами и веду их самым блестящим образом? Этот дом — мой, рачьи гинеи будут мои; я вожу его за кончик носа и заведу в такое место, откуда ему уже не выбраться.

— А я,— сказал я ей,— если ты вздумаешь вести цыганские дела таким манером, устрою так, что у тебя пропадет охота.

— Вот еще! Или ты мой *ром,* чтобы мной командовать? Кривой это одобряет, а ты здесь при чем? Мало тебе того, что ты единственный, который может себя назвать моим *минчоррó* [1]?

— Что он говорит? — спросил англичанин.

— Он говорит, что ему хочется пить и что он не отказался бы от стаканчика,— отвечала Кармен.

И упала на диван, хохоча над своим переводом.

Сеньор! Когда эта женщина смеялась, не было никакой возможности говорить толком. Все с ней смеялись. Дылда англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и велел, чтобы мне принесли напиться.

Пока я пил:

— Видишь перстень у него на пальце? — сказала она.— Если хочешь, я тебе его подарю.

Я отвечал:

— Я бы отдал палец, чтобы встретиться с твоим милордом в горах и чтобы у каждого из нас в руках была *макила.*

Англичанин подхватил это слово и спросил:

— *Макила?* Что это значит?

— *Макила,*— отвечала Кармен, все так же смеясь,— это апельсин. Не правда ли, какое смешное слово для апельсина? Он говорит, что ему хотелось бы угостить вас *макилой.*

---

[1] Моим любовником, или, вернее, моей причудой.

— Вот как? — сказал англичанин.— Ну, так приходи опять завтра с *макилами.*

Пока мы разговаривали, вошел слуга и сказал, что обед подан. Тогда англичанин встал, дал мне пиастр и предложил Кармен руку, словно она не могла идти сама. Кармен, смеясь по-прежнему, сказала мне:

— Мой милый! Я не могу пригласить тебя к столу; но завтра, как только ты услышишь, что бьют развод, приходи сюда с апельсинами. Ты увидишь комнату, обставленную лучше, чем на улице Кандилехо, и посмотришь, прежняя ли я Карменсита. А потом мы поговорим о цыганских делах.

Я ничего не ответил, и до меня уже на улице донесся крик англичанина: «Приходите завтра с *макилами!*» — и хохот Кармен.

Я вышел, не зная, что мне делать, не спал ночь, а наутро был так зол на эту изменницу, что решил уехать из Гибралтара, не повидавшись с ней; но как только раздался барабанный бой, все мое мужество меня покинуло; я взял свою корзину с апельсинами и побежал к Кармен. Ее ставни были приотворены, и я увидел ее большой черный глаз, который меня высматривал. Пудреный лакей тотчас же провел меня к ней; Кармен услала его с каким-то поручением и, как только мы остались одни, разразилась своим крокодиловым хохотом и бросилась мне на шею. Никогда еще я не видел ее такой красивой. Разряженная как мадонна, надушенная... шелковая мебель, вышитые занавеси... ах!.. а я — вор вором.

— *Минчорро!* — говорила Кармен.— Мне хочется все здесь поломать, поджечь дом и убежать в сьерру.

И нежности!.. И смех!.. Она плясала, она рвала на себе свою фалбалу; никакая обезьяна не могла бы так скакать, так кривляться и куролесить. Угомонившись, она мне сказала:

— Послушай, теперь дело цыганское. Я прошу его съездить со мною в Ронду, где у меня сестра в монастыре... (Здесь опять хохот.) Мы проезжаем местом, которое я тебе укажу. Вы на него нападаете; грабите дочиста. Лучше всего было бы его укокошить; но только,— продолжала она с дьявольской улыбкой, которая у нее иногда бывала, и этой улыбке никому не было охоты вторить,— знаешь ли, что следовало бы сделать? Надо, чтобы Кривой выскочил первым. Вы держи́тесь немного позади, *рак* бесстрашен и ловок; у него отличные пистолеты... Понимаешь?

Она снова разразилась хохотом, от которого я вздрогнул.

— Нет,— сказал я ей,— я ненавижу Гарсию, но он мой товарищ. Быть может, когда-нибудь я тебя от него избавлю,

но мы сведем счеты по обычаю моей страны. Я только случайно цыган; а кое в чем я всегда останусь, как говорится, честным наваррцем [1].

Она продолжала:

— Ты дурак, безмозглый человек, настоящий *паильо*. Ты как карлик, который считает, что он высокий, когда ему удалось далеко плюнуть [2]. Ты меня не любишь, уходи.

Когда она мне говорила: «уходи», я не мог двинуться с места. Я обещал ей уехать, вернуться к товарищам и поджидать англичанина; со своей стороны, она мне обещала быть нездоровой до тех пор, пока не поедет из Гибралтара в Ронду. Я провел в Гибралтаре еще два дня. Она имела смелость прийти ко мне переряженной в гостиницу. Я уехал; у меня тоже был свой план. Я вернулся в условленное место, зная, где и когда должны проехать англичанин с Кармен. Данкайре и Гарсия меня уже ждали. Мы заночевали в лесу у костра из сосновых шишек, который горел ярким пламенем. Я предложил Гарсии сыграть в карты. Он согласился. Когда мы играли вторую партию, я ему сказал, что он плутует; он расхохотался. Я швырнул ему карты в лицо. Он хотел схватить мушкетон; я наступил на него ногой и сказал:

— Говорят, ты владеешь ножом, как лучший малагский хват; хочешь попробовать со мной?

Данкайре пытался нас разнять. Я несколько раз ударил Гарсию кулаком. Злость сделала его храбрым; он вынул нож, я — свой. Мы сказали Данкайре посторониться и не мешать нам. Он увидел, что нас не остановишь, и отошел. Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать, нож выставил вперед. Это их андалусский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинулся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед ним оказалось пустое место, а я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струею крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком, как бревно.

— Что ты сделал? — сказал мне Данкайре.

---

[1] *Navarro fino.*

[2] *Or esorjle de or narsichislé, sin chismar lachinguel* — цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть».

— Послушай,— сказал я ему.— Вместе мы жить не могли. Я люблю Кармен и хочу быть один. К тому же Гарсия был мерзавец, и я не забыл, как он поступил с бедным Ремендадо. Теперь нас только двое, но мы люди хорошие. Скажи: хочешь, будем друзьями на жизнь и на смерть?

Данкайре пожал мне руку. Это был человек пятидесяти лет.

— Чертовы любовные истории! — воскликнул он.— Если бы ты попросил у него Кармен, он бы тебе продал ее за пиастр. Теперь нас только двое: как нам быть завтра?

— Положись на меня,— отвечал я ему.— Теперь мне весь свет нипочем.

Мы похоронили Гарсию и перенесли наш лагерь на двести шагов дальше. На следующий день подъехала Кармен со своим англичанином в сопровождении двух погонщиков и слуги. Я сказал Данкайре:

— Я беру на себя англичанина. Припугни остальных, они без оружия.

Англичанин оказался храбр. Не толкни его Кармен под руку, он бы меня убил. Словом, в этот день я отвоевал Кармен и с первого же слова сообщил ей, что она вдова. Когда она узнала, как это произошло:

— Ты всегда будешь *лильипенди!* — сказала она мне.— Гарсия наверное бы тебя убил. Твой наваррский прием — просто глупость, а он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Но, видно, пришел его час. Придет и твой.

— И твой,— ответил я,— если ты не будешь мне настоящей *роми.*

— Ну что ж! — сказала она.— Я не раз видела в кофейной гуще, что мы кончим вместе. Ладно! Будь что будет.

И она щелкнула кастаньетами, как всегда, когда хотела прогнать какую-нибудь докучную мысль.

Когда говоришь о себе, забываешься. Вам, должно быть, скучно слушать все эти подробности, но я скоро кончу. Такую жизнь мы вели довольно долго. Мы с Данкайре завербовали несколько товарищей надежнее прежних и промышляли контрабандой, а также иной раз, надо сознаться, грабили на большой дороге, но только в последней крайности, когда иначе нельзя было. Впрочем, путешественников мы не трогали и только отбирали у них деньги. Первые месяцы я был доволен Кармен; она по-прежнему была нам полезна, указывая нам, что можно предпринять. Она жила то в Малаге, то в Кордове, то в Гранаде; но по первому моему знаку бросала все и приезжала ко мне то в какую-нибудь глухую венту, а то и на

бивак. Только раз, в Малаге, она меня встревожила. Я узнал, что она имеет виды на некоего весьма богатого негоцианта, с которым она, должно быть, собиралась повторить гибралтарскую шутку. Несмотря на уговоры Данкайре, я поехал и прибыл в Малагу среди дня. Я разыскал Кармен и тотчас же увез ее. У нас вышло крупное объяснение.

— Знаешь,— сказала она мне,— с тех пор как ты стал моим *ромом* по-настоящему, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим *минчорро*. Я не хочу, чтобы меня мучили, а главное, не хочу, чтобы мной командовали. Чего я хочу, так это быть свободной и делать, что мне вздумается. Смотри не выводи меня из терпения. Если ты мне надоешь, я сыщу какого-нибудь молодчика, который поступит с тобой так же, как ты поступил с Кривым.

Данкайре нас помирил; но то, что мы друг другу наговорили, легло нам на сердце, и что-то между нами изменилось. Вскоре затем с нами случилась беда. Нас настигли солдаты. Данкайре был убит, и с ним два моих товарища; двух других забрали. Я же был тяжело ранен и, если бы не мой добрый конь, попался бы в руки солдатам. Падая от усталости, с пулей в теле, я скрылся в лесу вдвоем с уцелевшим товарищем. Слезая с коня, я лишился чувств и думал уже, что подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ снес меня в знакомую нам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же приехала. Целых две недели она не отходила от меня ни на шаг. Она глаз не сомкнула; она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком. Как только я смог держаться на ногах, она в величайшей тайне отвезла меня в Гранаду. У цыганок всюду есть верные убежища, и я больше полутора месяцев прожил под самым боком у коррехидора, который меня разыскивал. Несколько раз, глядя сквозь ставни, я видел, как он идет по улице. Наконец я поправился; но я многое передумал на ложе болезни и решил переменить образ жизни. Я предложил Кармен покинуть Испанию и постараться зажить честно в Новом Свете. Она подняла меня на смех.

— Мы не созданы сажать капусту,— сказала она,— наш удел — жить за счет *паильо*. Кстати, я устроила одно дело с Натаном бен Юсуфом в Гибралтаре. У него есть бумажная материя, которая только тебя и ждет, чтобы переправиться. Он знает, что ты жив. Он на тебя рассчитывает. Что скажут наши гибралтарские корреспонденты, если ты изменишь своему слову?

Я дал себя увлечь и снова принялся за свой гадкий промысел.

Пока я прятался в Гранаде, там происходил бой быков, и Кармен на нем была. Вернувшись, она много говорила об одном очень ловком пикадоре, по имени Лукас. Она знала, как зовут его лошадь и во что ему обошлась его расшитая куртка. Я не придал этому значения. Несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, рассказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного торговца на Сакатине. Это нарушило мое спокойствие. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим пикадором.

— Это малый, с которым можно сделать дело,— отвечала она.— Если река шумит, то в ней либо вода, либо камни [1]. Он заработал на боях тысячу двести реалов. Одно из двух: или эти деньги надо забрать, или же, так как это хороший всадник и человек смелый, его можно завербовать в нашу шайку. Такие-то умерли, тебе надо их заменить. Возьми его к себе.

— Я не желаю,— сказал я,— ни его денег, ни его самого и запрещаю тебе с ним разговаривать.

— Берегись,— отвечала она.— Когда меня дразнят, я делаю назло.

К счастью, пикадор уехал в Малагу, а я занялся переправкой бумажной материи бен Юсуфа. Эта экспедиция стоила мне немалых хлопот, Кармен тоже, и я забыл про Лукаса; возможно, что и она про него забыла, если и не совсем, то на время. В эту-то пору, сеньор, я и встретился с вами, сначала близ Монтильи, а потом в Кордове. Не буду говорить о последней нашей встрече. Вы об этом знаете, может быть, даже больше моего. Кармен украла у вас часы; она хотела еще и ваши деньги, и в особенности это кольцо, что у вас на руке; она говорила, что это волшебный перстень и что ей очень важно его получить. Мы сильно поспорили, и я ее ударил. Она побледнела и заплакала. Я в первый раз видел ее плачущей, и это произвело на меня ужасное впечатление. Я просил у нее прощения, но она дулась на меня целый день и, когда я опять уезжал в Монтилью, не захотела меня поцеловать. Мне было очень тяжело, но три дня спустя она вдруг ко мне приехала с радостным лицом и веселая, как птичка. Все было забыто, и нас можно было принять за влюбленных со вчерашнего дня. Прощаясь со мной, она сказала:

---

[1] *Len sos sonsi abela, pani o rebleudani terela* — цыганская пословица.

— В Кордове праздник, я хочу туда съездить, там узнаю, кто возвращается с деньгами, и скажу тебе.

Я ее отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом празднике и о перемене в настроении Кармен. «Она, вероятно, уже отомстила,— сказал я себе,— раз сама вернулась». От крестьянина я узнал, что в Кордове бой быков. Кровь во мне вскипает, я скачу как сумасшедший и направляюсь в цирк. Мне показали Лукаса, и на скамье у барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмотреть на нее минуту, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Когда вышел первый бык, Лукас, как я и предвидел, изобразил любезного кавалера. Он сорвал у быка кокарду [1] и поднес ее Кармен, а та тут же приколола ее к волосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас вместе с лошадью свалился ничком, а бык на них. Я стал искать глазами Кармен, ее уже не было. Я был лишен возможности выбраться со своего места и должен был дожидаться окончания боя. Потом я отправился в тот дом, который вы знаете, и просидел там тихо весь вечер и часть ночи. Часам к двум утра вернулась Кармен и была немного удивлена, увидев меня.

— Ступай со мной,— сказал я ей.

— Что ж, едем! — отвечала она.

Я пошел за своим конем, посадил ее позади себя, и так мы ехали всю ночь, не сказав друг другу ни слова. К утру мы остановились в глухой венте, поблизости от небольшого скита. Тут я сказал Кармен:

— Послушай, я забуду все. Я ничего тебе не скажу; но обещай мне одно: уехать со мной в Америку и сидеть там спокойно.

— Нет,— отвечала она сердито,— я не хочу в Америку. Мне и здесь хорошо.

— Это потому, что здесь ты с Лукасом; но ты помни: если он поправится, то долго не протянет. Да, впрочем, охота мне возиться с ним! Мне надоело убивать твоих любовников; я убью тебя.

Она пристально посмотрела на меня своим диким взглядом и сказала:

— Я всегда думала, что ты меня убьешь. В тот день, когда я тебя в первый раз увидела, я как раз, выходя из дому, повстречалась со священником. А сегодня ночью, когда

---

[1] *La divisa* — бант, цвет которого обозначает, с какого пастбища бык. Бант этот прикрепляется к шкуре быка крючком, и верхом галантности является сорвать его у живого зверя и поднести женщине.

мы выезжали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц пробежал дорогу между копыт у твоей лошади. Это судьба.

— Карменсита! — спросил я ее.— Ты меня больше не любишь?

Она ничего не ответила. Она сидела, скрестив ноги, на рогоже и чертила пальцем по земле.

— Давай жить по-другому, Кармен,— сказал я ей умоляющим голосом.— Поселимся где-нибудь, где нас ничто уже не разлучит. Ты же знаешь, что у нас недалеко отсюда, под дубом, зарыто сто двадцать унций... Потом еще у еврея бен Юсуфа есть наши деньги.

Она улыбнулась и сказала:

— Сначала я, потом ты. Я знаю, что так должно случиться.

— Подумай,— продолжал я,— я теряю и терпение и мужество; решайся, или я решу по-своему.

Я ушел от нее и направился в сторону скита. Отшельника я застал за молитвой. Я подождал, пока он кончит; я бы рад был молиться, но не мог. Когда он встал с колен, я подошел к нему.

— Отец мой! — обратился я к нему.— Не помолитесь ли вы за человека, который находится в большой опасности?

— Я молюсь за всех скорбящих,— сказал он.

— Не могли ли бы вы отслужить обедню о душе, которая, быть может, скоро предстанет перед своим создателем?

— Да,— ответил он, пристально глядя на меня.

И так как в лице у меня было, должно быть, что-то странное, ему хотелось, чтобы я разговорился.

— Я как будто вас где-то встречал,— сказал он.

Я положил ему на скамью пиастр.

— Когда вы будете служить обедню? — спросил я.

— Через полчаса. Сын соседнего трактирщика придет прислуживать. Скажите мне, молодой человек: нет ли у вас чего-нибудь на совести, что вас мучит? Не послушаете ли вы советов христианина?

Я готов был заплакать. Я сказал ему, что вернусь, и поспешил уйти. Я прилег на траву и лежал, пока не зазвонил колокол. Тогда я вернулся, но остался стоять возле часовни. Когда обедня кончилась, я пошел к венте. Я надеялся, что Кармен сбежит; она могла взять моего коня и ускакать... но она оказалась тут. Ей не хотелось, чтобы могли подумать, будто она меня испугалась. Пока я уходил, она распорола подол платья и вынула оттуда свинец. Теперь она сидела у стола

и глядела в миску с водой, куда вылила растопленный свинец. Она была так поглощена своей ворожбой, что не заметила, как я вошел. Она то брала кусок свинца и с печальным видом поворачивала его во все стороны, то напевала какую-нибудь колдовскую песню, где они призывают Марию Падилью, возлюбленную дона Педро, которая, говорят, была *Бари Кральиса,* или великая цыганская царица [1].

— Кармен! — сказал я ей.— Вы идете со мной?

Она встала, бросила свою миску и накинула на голову мантилью, словно собиралась в путь. Мне подали коня, она села на круп, и мы поехали.

— Так, значит, моя Кармен,— сказал я ей, когда мы проехали немного,— ты хочешь быть со мною, да?

— Я буду с тобою до смерти, да, но жить с тобой я не буду.

Мы были в пустынном ущелье; я остановил коня.

— Это здесь? — сказала она и соскочила наземь. Она сняла мантилью, уронила ее к ногам и стояла неподвижно, подбочась кулаком и смотря на меня в упор.

— Ты хочешь меня убить, я это знаю,— сказала она.— Такова судьба, но я не уступлю.

— Я тебя прошу,— сказал я ей,— образумься! Послушай! Все прошлое позабыто. А между тем ты же знаешь, что ты меня погубила; ради тебя я стал вором и убийцей. Кармен! Моя Кармен! Дай мне спасти тебя и самому спастись с тобой.

— Хосе! — отвечала она.— Ты требуешь от меня невозможного. Я тебя больше не люблю; а ты меня еще любишь и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла опять солгать тебе; но мне лень это делать. Между нами все кончено. Как мой *ром,* ты вправе убить свою *рому;* но Кармен будет всегда свободна. *Кальи* она родилась и *кальи* умрет.

— Так ты любишь Лукаса? — спросил я ее.

— Да, я его любила, как и тебя, одну минуту; быть может, меньше, чем тебя. Теперь я никого больше не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя.

Я упал к ее ногам, я взял ее за руки, я орошал их слезами. Я говорил ей о всех тех счастливых минутах, что мы прожили вместе. Я предлагал ей, что останусь разбойником,

---

[1] Марию Падилью обвинили в том, что она будто бы околдовала короля дона Педро. Народное предание повествует, будто она подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, показавшийся очарованным глазам короля живой змеей. Этим объясняется отвращение, которое он всегда питал к несчастной государыне.

если она этого хочет. Все, сеньор, все, я предлагал ей все, лишь бы она меня еще любила!

Она мне сказала:

— Еще любить тебя — я не могу. Жить с тобой — я не хочу.

Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась и просила пощады, но эта женщина была демон.

— В последний раз,— крикнул я,— останешься ты со мной?

— Нет! Нет! Нет! — сказала она, топая ногой, сняла с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула его в кусты.

Я ударил ее два раза. Это был нож Кривого, который я взял себе, сломав свой. После второго удара она упала, не крикнув. Я как сейчас вижу ее большой черный глаз, уставившийся на меня; потом он помутнел и закрылся. Я целый час просидел над этим трупом, уничтоженный. Потом я вспомнил, как Кармен мне говорила не раз, что хотела бы быть похороненной в лесу. Я вырыл ей могилу ножом и опустил ее туда. Я долго искал ее кольцо и наконец нашел. Я положил его в могилу рядом с ней, вместе с маленьким крестиком. Может быть, этого не следовало делать. Затем я сел на коня, поскакал в Кордову и у первой же кордегардии назвал себя. Я сказал, что убил Кармен, но не желал говорить, где ее тело. Отшельник был святой человек. Он помолился за нее. Он отслужил обедню за упокой ее души... Бедное дитя! Это *калес* виноваты в том, что воспитали ее так.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Испания принадлежит к тем странам, где в наши дни особенно часто встречаются эти рассеянные по всей Европе кочевники, известные под именем цыган, *bohémiens, gitanos, gypsies, zigeuner* и т. д. Большинство обитает, или, вернее, ведет бродячую жизнь, в южных и восточных провинциях, в Андалусии, в Эстремадуре — в королевстве Мурсии; много их в Каталонии. Отсюда они нередко заходят во Францию. Их можно видеть на всех наших южных ярмарках. Мужчины обыкновенно промышляют барышничеством, коновальством, стрижкой мулов; занимаются также починкой медной посуды и инструментов, не говоря уже о контрабанде и других недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и

торгуют всякого рода снадобьями, иногда безвредными, а иногда и нет.

Физические особенности цыган легче заметить, нежели описать, и если видел одного, то среди тысячи людей узнаешь представителей этой расы. Физиономия, выражение — вот что главным образом отличает их от других народов, населяющих ту же страну. Цвет кожи у них очень смуглый, всегда более темный, чем у народностей, меж которых они живут. Отсюда имя *калес,* черные, которым они нередко себя обозначают [1]. Глаза их, явно раскосые, с красивым вырезом, очень черные, осенены длинными и густыми ресницами. Взгляд их можно сравнить лишь со взглядом хищного зверя. В нем соединяются отвага и робость, и в этом отношении глаза их довольно верно отражают характер этой нации, хитрой, смелой, но «от природы боящейся побоев», как Панург. Мужчины по большей части хорошо сложены, стройны, подвижны; я не помню, чтобы когда-либо видел среди них хоть одного, который был бы тучен. В Германии цыганки часто очень красивы, среди испанских *хитан* красота — большая редкость. В ранней юности они еще могут сойти за приятных дурнушек; но, став матерями, они делаются отталкивающими. Нечистоплотность и мужчин и женщин невероятна, и кто не видел волос цыганской матроны, тому трудно себе их представить, даже рисуя себе самые жесткие, самые жирные и самые пыльные космы. Кое-где в больших городах Андалусии некоторые молодые девушки, миловиднее остальных, проявляют больше внимания к своей внешности. Они танцуют за плату, исполняя танцы, весьма похожие на те, что у нас запрещаются на публичных балах во время карнавала. Мистер Борроу, миссионер-англичанин, автор двух преинтересных сочинений об испанских цыганах, которых он задумал обратить в христианство на средства Библейского общества, утверждает, что не было случая, чтобы *хитана* была неравнодушна к иноплеменнику. На мой взгляд, в его похвалах их целомудрию многое преувеличено. Во-первых, большинство из них находится в положении Овидиевой некрасивой женщины: *Casta guam nemo rogavit* [2]. Что же касается красивых, то они, как все испанки, привередливы в выборе возлюбленных. Им нужно понравиться, их нужно заслужить. Мистер Борроу приводит в доказательство их

[1] Я заметил, что немецкие цыгане хоть и отлично понимают слово *калес,* не любят, когда их так называют. Сами себя они зовут *романе чаве.*

[2] Девственница, которой никто не пожелал *(лат.).*

добродетелей случай, делающий честь его собственной добродетели и прежде всего его наивности. Один его безнравственный знакомый тщетно предлагал, по его словам, несколько унций некоей красивой *хитане*. Андалусец, которому я рассказал этот анекдот, заметил, что этот безнравственный человек имел бы больше успеха, если бы показал два-три пиастра, и что предлагать цыганке золотые унции — столь же малоубедительный способ, как обещать миллион или два миллиона трактирной служанке. Как бы там ни было, несомненно то, что по отношению к своим мужьям *хитаны* проявляют необычайное самоотвержение. Нет такой опасности и таких лишений, на которые они бы не пошли, чтобы помочь им в нужде. Одно из имен, которым называют себя цыгане, *ромэ*, или «мужья», свидетельствует, по-моему, о том уважении, какое они питают к супружеству. В общем, можно сказать, что главное их достоинство — это патриотизм, если можно назвать патриотизмом верность, которую они соблюдают по отношению к своим единоплеменникам, их готовность помочь друг другу, нерушимость тайны, которой они связаны в компрометирующих делах. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех тайных и нелегальных обществах.

Несколько месяцев тому назад я побывал в цыганском таборе, расположившемся в Вогезах. У одной старухи, старейшины их племени, в шатре лежал при смерти чужой ее семье цыган. Этот человек выписался из больницы, где пользовался хорошим уходом, чтобы умереть среди соотечественников. Он уже тринадцать недель лежал у своих хозяев, и к нему относились с бóльшим вниманием, нежели к сыновьям и зятьям, жившим под тем же кровом. У него была мягкая постель из соломы и мха, с довольно чистым бельем, тогда как остальная семья, числом одиннадцать человек, спала на досках в три фута длиной. Вот каково их гостеприимство. Эта же старуха, такая человечная к своему гостю, говорила мне при больном: *Singo, singo, homte hi mulo* — «скоро, скоро ему придется умереть». В конце концов, жизнь этих людей так жалка, что весть о смерти не страшит их нисколько.

Примечательной чертой характера цыган является их равнодушие к вопросам веры. Не то, чтобы это были вольнодумцы или скептики. Безбожниками они никогда не были. Отнюдь; религию той страны, где они живут, они считают своей; но, меняя отечество, они меняют и ее. Суеверие, которое у неразвитых народов занимает место религиозного чувства, также им чуждо. Да и как могло бы существовать суеверие у людей,

живущих большей частью за счет чужой легковерности? Однако я замечал, что испанские цыгане до странности боятся прикоснуться к мертвому телу. Редкий из них согласился бы за деньги снести покойника на кладбище.

Я уже сказал, что большинство цыганок занимается гаданием. По этой части они мастерицы. Но что служит для них источником немалых выгод, так это торговля талисманами и приворотными зельями. У них не только имеются жабьи лапы для удержания непостоянных сердец или толченая магнитная руда для пробуждения любви в бесчувственных; когда нужно, они прибегают к могущественным заговорам, заставляющим дьявола приходить им на помощь. В прошлом году одна испанка рассказала мне такой случай. Однажды она шла по улице Алькала́, грустная и озабоченная; сидевшая на тротуаре цыганка окликнула ее: «Красавица! Ваш милый вам изменил». Это была правда. «Хотите, я вам его верну?» Понятно, с какой радостью это предложение было принято и какое доверие должна была внушить к себе особа, умевшая угадывать с первого же взгляда сокровенные тайны сердца. Так как нельзя было приступить к магическим операциям на самой людной улице Мадрида, было назначено свидание на следующий день. «Нет ничего легче, чем возвратить неверного к вашим ногам,— сказала хитана.— Найдется у вас какой-нибудь платок, шарф, мантилья, которые он вам подарил?» Ей дали шелковую косынку. «Теперь зашейте малиновым шелком в угол косынки пиастр. В другой угол зашейте полпиастра; сюда — песету; сюда — монету в два реала. Потом в середину надо зашить золотой. Лучше всего — дублон». Зашивают дублон и все прочее. «Теперь дайте мне косынку, я отнесу ее в полночь на Кампо Санто. Идите со мной, если хотите видеть изрядную чертовщину. Я вам обещаю, что завтра же вы опять встретитесь с тем, кого любите». Цыганка отправилась на Кампо Санто одна, потому что дама слишком боялась чертей, чтобы ее сопровождать. Я предоставляю вам догадываться, вернулись ли к несчастной покинутой любовнице ее косынка и ее неверный.

Несмотря на свою бедность и на какое-то отвращение, которое они внушают, цыгане все же пользуются известным уважением у необразованных людей и весьма этим гордятся. Они чувствуют свое умственное превосходство и искренне презирают народ, оказывающий им гостеприимство. «Язычники так глупы,— говорила мне одна вогезская цыганка,— что нет никакой заслуги в том, чтобы их надуть. Давеча на улице меня подзывает крестьянка, я вхожу к ней. У нее дымит печь, и

она просит меня поворожить, чтобы была тяга. Я велю подать себе сперва большой кусок сала. Потом начинаю бормотать на *роммани.* «Ты дура, говорю, дурой родилась, дурой и умрешь...» Отойдя к двери, я ей сказала по-немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не дымила,— это ее не топить». И пустилась наутек».

История цыган все еще представляет загадку. Известно, правда, что первые их толпы, весьма немногочисленные, появились в Восточной Европе в начале XV столетия; но неизвестно, ни откуда они пришли, ни почему перекочевали в Европу; и, что еще удивительнее, никто не знает, каким образом они за короткое время так невероятно размножились в ряде весьма отдаленных друг от друга стран. У самих цыган не сохранилось никаких преданий об их происхождении, и если большинство из них называет своей первоначальной родиной Египет, то это потому, что они переняли ходивший о них в давние времена вымысел.

Большинство востоковедов, изучавших язык цыган, полагает, что это выходцы из Индии. И действительно, многие корни и грамматические формы *роммани,* по-видимому, встречаются в наречиях, происшедших от санскрита. Естественно, что в своих долгих скитаниях цыгане усвоили много иностранных слов. Во всех диалектах *роммани* мы находим немало слов греческих. Например: *cocal* — кость, от *kokkalon; petalli* — подкова, от *petalon; cafi* — гвоздь, от *karfi,* и т. п. В настоящее время у цыган почти столько же различных диалектов, сколько существует отдельных орд их племени. На языке тех стран, где они живут, они изъясняются с большей легкостью, нежели на своем собственном, которым пользуются лишь для того, чтобы свободно разговаривать друг с другом при посторонних. Сравнивая диалекты немецких и испанских цыган, разобщенных на протяжении нескольких веков, мы обнаружим очень большое число общих слов; но первоначальный язык повсюду, хоть и в неодинаковой степени, видоизменился от соприкосновения с более культурными языками, которыми эти кочевники вынуждены были пользоваться. Немецкий, с одной стороны, испанский — с другой, настолько исказили основу *роммани,* что шварцвальдский цыган не мог бы беседовать со своим андалусским собратом, хотя им достаточно было бы обменяться несколькими фразами, чтобы увидеть, что каждый из них говорит на наречии, происходящем от одного и того же языка. Несколько наиболее употребительных слов общи, мне кажется, всем диалектам; так, во всех словарях, какие мне приходилось

видеть, *pani* значит «вода», *manro* — «хлеб», *mâs* — «мясо», *lon* — «соль».

Числительные повсеместно почти одни и те же. Немецкий диалект представляется мне гораздо более чистым, нежели испанский, ибо он сохранил много первоначальных грамматических форм, тогда как испанские цыгане усвоили формы кастильского наречия. Однако некоторые слова составляют исключение, свидетельствуя о древней общности языка. В немецком диалекте прошедшее время образуется присоединением *iut* к повелительному наклонению, всегда являющемуся основой глагола. В испанском *роммани* все глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов первого спряжения. От неопределенного наклонения *jamar* — «есть» следовало бы, по общему правилу, образовать *jamé* — «я ел», от *lillar* — «брать» — *lilé* — «я взял». Однако некоторые старые цыгане говорят в виде исключения: *jayon, lillon.* Я не знаю других глаголов, которые сохранили бы эту древнюю форму.

Щеголяя здесь своими скудными познаниями в языке *роммани,* я должен привести несколько слов из французского арго, заимствованных нашими ворами у цыган. Из *Парижских тайн* порядочное общество узнало, что *chourin* означает «нож». Это чистый *роммани; chouri* является одним из тех слов, которые общи всем диалектам. Г-н Видок называет лошадь *grès;* это опять-таки цыганское *gras, gre, graste, gris.* Добавьте еще слово *romanichel,* что на парижском арго означает «цыгане». Это искажение *rommani tchave* — «цыганские парни». Но чем я горжусь, так это словопроизводством *frimousse* — «лицо, личико» — слово, которое в ходу у всех школяров или, во всяком случае, было в ходу в мое время. Прежде всего заметьте, что Уден в своем любопытном словаре писал в 1640 году — *firlimousse.* А *firla, fila* на *роммани* значит «лицо»; *mui* имеет то же значение, оно вполне соответствует латинскому *os.* Цыган-пурист сразу понял сочетание *firllamui,* и я считаю, что оно в духе его языка.

Всего этого, думается мне, достаточно, чтобы дать читателям *Кармен* выгодное представление о моих исследованиях в области *роммани.* Я закончу пословицей, которая будет здесь кстати: *En retudi panda nasti abela macha* — «В рот, закрытый глухо, не залетит муха».

Незачем рассказывать, каким путем нижеследующие письма попали к нам в руки. Они показались нам любопытными, нравоучительными и назидательными. Мы их печатаем без всяких изменений, опуская лишь некоторые собственные имена и несколько мест, не имеющих отношения к случаю с аббатом Обеном.

I

Г-жа де П. к г-же де Ж.

Нуармутье, ...ноября 1844

Я обещала тебе писать, моя дорогая Софи, и держу слово; да это и лучшее, чем я могла бы занять эти длинные вечера. Из моего последнего письма ты знаешь, как вдруг я убедилась одновременно, и что мне тридцать лет, и что я разорена. Первое из этих несчастий, увы, непоправимо. Со вторым мы миримся довольно плохо, но как-никак миримся. Чтобы привести в порядок наши дела, нам необходимо прожить по меньшей мере два года в этом мрачном замке, откуда я тебе пишу. Я была неподражаема. Как только мне стало известно положение на-

ших финансов, я предложила Анри переселиться ради дешевизны в деревню, и через неделю мы были в Нуармутье. Я не стану тебе описывать наше путешествие. Уже много лет мне не приходилось бывать так долго наедине с мужем. Разумеется, оба мы были в довольно дурном расположении духа, но, так как я твердо решила ничем этого не обнаруживать, все обошлось хорошо. Ты знаешь мои «великие решения» и знаешь, умею ли я их выполнять. Вот мы и на новоселье. В отношении живописности Нуармутье не оставляет желать лучшего. Леса, скалы, море в четверти мили. У нас четыре толстые башни, со стенами в пятнадцать футов толщиной. В амбразуре одного из окон я устроила себе кабинет. Моя гостиная, длиной в шестьдесят футов, украшена ковром «с зверями»; она поистине великолепна, когда в ней горят восемь свечей: таково праздничное освещение. Я умираю от страха всякий раз, когда прохожу по ней после захода солнца. Все это, само собой разумеется, очень плохо обставлено. Двери не запираются, обшивка трещит, ветер свищет, и море шумит самым зловещим образом. Однако я начинаю привыкать. Я прибираюсь, чиню, сажаю; к холодам у меня будет сносный бивуак. Ты можешь быть уверена, что к весне твоя башня будет готова. Ах, если бы ты была уже в ней! Нуармутье хорош тем, что у нас нет никаких соседей. Одиночество полное. Гостей у меня, слава богу, не бывает, кроме нашего кюре, аббата Обена. Это очень тихий молодой человек, хоть у него густые брови дугой и большие черные глаза, как у предателя из мелодрамы. Прошлое воскресенье он говорил нам проповедь; для провинциальной проповеди — довольно недурно, и притом точно на заказ: что «несчастие является благодеянием промысла, очищающим наши души». Пусть так! В таком случае мы должны быть благодарны честному маклеру, который пожелал нас очистить, похищая у нас наше состояние. До свидания, моя дорогая. Привезли мой рояль и груду ящиков. Иду получать их.

P. S. Я распечатываю письмо, чтобы поблагодарить тебя за подарок. Все это слишком роскошно, чересчур роскошно для Нуармутье. Серая шляпка мне очень нравится. Я узнаю твой вкус. Я надену ее в воскресенье к обедне: вдруг окажется какой-нибудь коммивояжер, который сможет ее оценить. Но за кого ты меня принимаешь, посылая мне романы? Я хочу быть особой серьезной, да я такая и есть. Разве у меня нет на то веских причин? Я буду учиться. К моему возвраще-

нию в Париж через три года (мне будет тридцать три года, боже правый!) я хочу быть Филамантой. По правде говоря, я не знаю, каких книг у тебя попросить. Чем ты мне посоветуешь заняться? Немецким или латынью? Было бы очень приятно читать *Вильгельма Мейстера* в подлиннике или *Сказки* Гофмана. Нуармутье — самое подходящее место для фантастических сказок. Но как научиться немецкому в Нуармутье? Латынью я бы занялась охотно, потому что я нахожу несправедливым, что ее знают только одни мужчины. Мне хочется брать уроки у нашего кюре...

II

Она же к той же

Нуармутье, ...декабря 1844

Тебя это удивляет, но время идет быстрее, чем ты думаешь, быстрее, чем думала я сама. Что больше всего поддерживает мое мужество, так это малодушие моего господина и повелителя. Право же, мужчины ниже нас. Его подавленность, его *avvilimento* [1] переходят границы дозволенного. Он встает насколько может позже, уезжает верхом или на охоту, или же отправляется в гости к скучнейшим людям — нотариусам или королевским прокурорам, которые живут в городе, то есть в шести милях от нас. Надо его видеть, когда идет дождь! Вот уже неделя, как он начал *Мопра,* и все еще на первом томе. «Лучше хвалить себя, чем хулить других». Это одна из твоих пословиц. Поэтому я его оставлю и скажу о себе. Деревенский воздух полезен мне бесконечно. Чувствую я себя восхитительно, и когда гляжу на себя в зеркало (что за зеркало!), то нахожу, что мне нельзя дать тридцати лет; и потом я много гуляю. Вчера мне удалось свести Анри на берег моря. Пока он стрелял чаек, я читала песнь пиратов из *Гяура.* На берегу, у морских волн, эти прекрасные стихи кажутся еще прекраснее. Наше море не может сравниться с морем Греции, но в нем есть своя поэзия, как во всяком море. Знаешь, что меня поражает в лорде Байроне? Это то, что он видит и понимает природу. Он говорит о море не потому, что едал палтуса и устрицы. Он плавал; он видел бури. Все его описания дагерро-

[1] Упадок духа *(итал.).*

типны. А у наших поэтов — прежде всего рифма, потом уже смысл, если в стихе хватит места. Пока я гуляла, читая, смотря и любуясь, аббат Обен — я не помню, говорила ли я тебе о моем аббате, это наш сельский кюре — подошел ко мне. Это молодой священник, который мне очень нравится. Он образован и умеет «говорить с людьми». К тому же по его большим черным глазам и бледному, меланхолическому лицу я догадываюсь, что у него должна была быть интересная жизнь, и мне хочется, чтобы он мне ее рассказал. Мы говорили о море, о поэзии; и, что должно тебя удивить в кюре из какого-то Нуармутье, он хорошо говорит об этом. Потом он свел меня к развалинам старого аббатства на скале и показал мне большой портал, весь покрытый изваяниями очаровательных чудовищ. Ах, если бы у меня были деньги, как бы я все это восстановила! Затем, несмотря на возражения Анри, которому хотелось идти обедать, я настояла на том, чтобы зайти к священнику в дом, посмотреть любопытный ковчежец, который он нашел у одного крестьянина. Это действительно очень красиво: ларчик из лиможской эмали, который был бы прелестной шкатулкой для драгоценностей. Но что за дом, боже праведный! А мы-то еще считаем, что мы бедны! Представь себе маленькую комнатку вровень с землей, с неровным кирпичным полом, выбеленную известью, где стоят стол, четыре стула и соломенное кресло с подушкой в виде блина, набитой какими-то персиковыми косточками и обтянутой холстиной в белую и красную клетку. На столе лежало несколько больших греческих и латинских фолиантов. Это отцы церкви, а под ними я нашла *Жослена,* как будто его спрятали. Аббат покраснел. Впрочем, он отлично принимал нас в своей жалкой лачуге: ни гордости, ни ложного стыда. Я и раньше подозревала, что у него должна была быть какая-то романическая история. Теперь у меня есть тому доказательство. В византийском ларчике, который он нам показал, лежал увядший букет, которому по меньшей мере пять-шесть лет.

— Это святыня? — спросила я его.

— Нет,— ответил он, немного смутясь.— Я не знаю, как это сюда попало.

Он взял букет и бережно спрятал его в стол. Разве не ясно?.. Я вернулась в замок, полная печали и мужества; печали о той бедности, которую я видела; мужества на то, чтобы нести свою собственную бедность, которая для него была бы азиатской пышностью. Если бы ты видела его удивление, когда Анри передал ему двадцать франков для одной женщины, за

которую он нас просил! Я должна ему сделать какой-нибудь подарок. Это соломенное кресло, в котором я сидела, слишком уж жестко. Я хочу ему подарить гибкое железное кресло, как то, которое я брала с собой в Италию. Ты мне выберешь такое и пришлешь возможно скорее...

III

Она же к той же

Нуармутье, ...февраля 1845

Я положительно не скучаю в Нуармутье. К тому же я нашла интересное занятие, и им я обязана своему аббату. Мой аббат знает решительно все и вдобавок ботанику. Мне вспомнились *Письма* Руссо, когда он при мне назвал по-латыни жалкий лук, который, за неимением лучшего, я поставила на камин.

— Так вы знаете ботанику?

— Очень плохо,— отвечал он.— Но все же настолько, что могу указывать здешним жителям полезные для них лекарственные травы; а главное, надо сознаться,— в достаточной степени, чтобы находить некоторый интерес в моих одиноких прогулках.

Я тотчас же подумала, что было бы очень забавно собирать, гуляя, красивые цветы, сушить их и потом аккуратно раскладывать в «моем старом Плутархе для брыжей».

— Поучите меня ботанике,— сказала я ему.

Он хотел подождать до весны, потому что в это противное время года нет цветов.

— Но у вас есть засушенные цветы,— сказала я.— Я видела у вас.

Я, кажется, рассказывала тебе про некий бережно хранимый старый букет. Если бы ты видела его лицо!.. Несчастный бедняга! Я сразу же раскаялась, что позволила себе этот нескромный намек. Чтобы его загладить, я поспешила сказать аббату, что у него должна быть коллекция засушенных растений. Это называется гербарий. Он это тут же подтвердил и на следующий же день принес мне в кипе серой бумаги множество красивых растений, каждое с особым ярлычком. Курс ботаники начался; я сразу же сделала поразительные успехи. Но чего я не знала, так это безнравственности этой самой бота-

ники и как трудны первоначальные объяснения, в особенности для аббата.

Да будет тебе известно, моя дорогая, что растения выходят замуж совсем как мы, но у большинства из них бывает по многу мужей. Они называются «фанерогамами», если только я не путаю этого варварского слова. Это по-гречески и значит: заключивший брак публично, в муниципалитете. Потом имеются «криптогамы», тайные супружества. Грибы, которые ты ешь, живут в тайном браке.

Все это чрезвычайно скандально; но он очень недурно выпутывается, лучше, чем я, которая имела глупость громко расхохотаться раз или два в самых затруднительных местах. Но теперь я стала осторожнее и больше не задаю вопросов.

IV

Она же к той же

Нуармутье, ...февраля 1845

Ты непременно хочешь знать историю этого столь бережно хранимого букета; но, право же, я не решаюсь его спросить. Во-первых, более чем вероятно, что никакой истории и нет; а если и есть, то, может быть, он не захочет ее рассказывать. Что касается меня, то я совершенно уверена...

Но довольно! К чему притворяться! Ты же знаешь, что от тебя у меня не может быть секретов. Я знаю эту историю и расскажу ее тебе в двух словах; нет ничего проще.

— Как это вышло, господин аббат,— сказала я ему однажды,— что с вашим умом, с вашим образованием вы соглашаетесь быть кюре в маленькой деревушке?

Он грустно улыбнулся.

— Легче,— отвечал он,— быть пастырем бедных крестьян, чем пастырем горожан. Каждый должен браться за то, что ему по силам.

— Вот поэтому-то,— сказала я,— вы и должны были бы занимать лучшее место.

— Мне как-то говорили,— продолжал он,— что его преосвященство епископ N-ский, ваш дядя, соизволил подумать обо мне, желая дать мне приход святой Марии: это лучший при-

ход в епархии. Так как в N. живет моя старая тетушка, единственная моя родственница, то говорили, что это очень удобное для меня назначение. Но мне хорошо и здесь, и я с удовольствием узнал, что его преосвященство остановился на другом лице. Что мне еще надо? Разве я не счастлив в Нуармутье? Если я тут приношу хоть какую-нибудь пользу, то мое место здесь; я не должен его покидать. К тому же город мне напоминает...

Он замолчал и смотрел мрачно и рассеянно; потом вдруг сказал:

— Мы не работаем. А наша ботаника?

Мне не хотелось и думать про старое сено, раскиданное по столу, и я продолжала расспрашивать:

— Давно вы приняли священство?

— Тому девять лет.

— Девять лет... но мне кажется, что вы должны были тогда уже быть в таком возрасте, когда занимаются какой-нибудь профессией? Признаться, мне всегда казалось, что вы стали священником не по юношескому призванию.

— Увы, нет,— сказал он, словно стыдясь.— Но если мое призвание и было поздним, если оно определялось причинами... причиной...

Он запнулся и не знал, как кончить. Я набралась храбрости.

— Держу пари,— сказала я,— что некий букет, который я видела, играл при этом известную роль.

Едва у меня вырвался этот дерзкий вопрос, как я прикусила язык, испугавшись сказанного; но было поздно.

— Да, сударыня, это правда; я вам все это расскажу, но не сегодня... в другой раз. Сейчас будут звонить к вечерне.

И он ушел, не дожидаясь, пока ударит колокол.

Я ждала какую-нибудь ужасную историю. Он пришел на следующий день и сам возобновил вчерашний разговор. Он мне признался, что любил одну молодую особу в N.; но у нее были кое-какие средства, а он, студент, ничего не имел, кроме собственной головы... Он ей сказал:

— Я еду в Париж, где надеюсь получить место; а вы, пока я буду работать день и ночь, чтобы стать достойным вас,— вы меня не забудете?

Молодой особе было лет шестнадцать — семнадцать, и у нее была весьма романическая душа. В знак верности она дала ему свой букет. Через год он узнал, что она вышла

замуж за N-ского нотариуса, как раз когда он должен был получить место учителя в коллеже. Это его сразило, он не стал держать конкурса. Он признался, что много лет он ни о чем другом не мог думать; и, вспоминая этот нехитрый случай, он был так взволнован, как будто все это с ним только что произошло. Потом, вынимая из кармана букет, он сказал:

— Хранить его — это ребячество; может быть, это даже нехорошо.

И он бросил его в огонь. Когда бедные цветы перестали трещать и гореть, он произнес уже спокойнее:

— Я вам благодарен за то, что вы заставили меня это рассказать. Вам я обязан тем, что расстался с воспоминанием, которое мне не подобало хранить.

Но он был грустен, и нетрудно было видеть, чего ему стоила эта жертва. Боже мой, что за жизнь у этих бедных священников! Самые невинные мысли для них запретны. Они обязаны изгонять из сердца все те чувства, которые составляют счастье остальных людей... вплоть до воспоминаний, привязывающих к жизни. Священники похожи на нас, на несчастных женщин: всякое живое чувство — преступление. Дозволено только страдать, да и то не показывая виду. Прощай, я упрекаю себя за свое любопытство, как за дурной поступок, но виной этому ты.

(Мы опускаем несколько писем, в которых ничего не говорится об аббате Обене.)

V

Она же к той же

Нуармутье, ...мая 1845

Давно уже я собираюсь тебе написать, моя дорогая Софи, но мне мешал какой-то ложный стыд. То, что я хочу тебе рассказать, так странно, так забавно и вместе с тем так печально, что я не знаю, тронет это тебя или рассмешит. Я и сама еще ничего не понимаю. Начну без всяких предисловий. Я тебе не раз говорила в моих письмах об аббате Обене, приходском священнике нашей деревни Нуармутье. Я даже описала тебе некий случай, определивший его призвание. В том одиночестве, в котором я живу, и при тех грустных мыслях, о которых ты

знаешь, общество умного, образованного, любезного человека было для меня чрезвычайно ценно. По-видимому, он заметил, что я им интересуюсь, и в скором времени стал у нас бывать как давнишний друг. Для меня, признаться, было совершенно новым удовольствием беседовать с незаурядным человеком, у которого изящество ума еще больше оттеняется отчужденностью от жизни. Быть может, также,— потому что я должна тебе все рассказать, и не от тебя я могла бы скрыть какой-либо недостаток моего характера,— быть может, также «наивность» моего кокетства (это твое выражение), которой ты меня нередко попрекала, сказалась помимо моей воли. Я люблю нравиться людям, которые мне нравятся, я хочу, чтобы меня любили те, кого я люблю... Я вижу, как при таком вступлении ты широко раскрываешь глаза, и слышу, как ты говоришь: «Жюли!..» Будь спокойна, не мне в мои годы делать глупости. Но продолжаю. Между нами установилась своего рода близость, но при этом ни разу, спешу это отметить, он не сказал и не сделал ничего такого, что не подобало бы его священному сану. Ему было хорошо со мной. Мы часто беседовали об его юности, и я не раз, и напрасно, заводила речь о романическом увлечении, которому он был обязан букетом (пепел его теперь в моем камине) и своим печальным одеянием. Вскоре я заметила, что он перестал думать о неверной. Однажды он встретил ее в городе и даже говорил с ней. Все это он мне рассказал по возвращении, спокойно добавив, что она счастлива и что у нее прелестные дети. Несколько раз ему привелось быть свидетелем вспышек Анри. Отсюда некоторые мои признания, в известной степени вынужденные, а с его стороны — еще большее внимание. Он знает моего мужа так, как если бы был знаком с ним десять лет. К тому же он был таким же хорошим советчиком, как и ты, и притом более беспристрастным, потому что, по-твоему, виноваты всегда обе стороны. Он всегда находил, что я права, но советовал вести себя осторожно и обдуманно. Словом, он выказывал себя преданным другом. В нем есть что-то женственное, что меня пленяет. Он напоминает мне тебя. Это характер восторженный и твердый, чувствительный и замкнутый, фанатический в вопросах долга... Я нанизываю фразы, чтобы оттянуть объяснение. Я не могу говорить откровенно; эта бумага меня смущает. Как бы я хотела сидеть у камина, работая с тобой вдвоем, вышивая одну и ту же портьеру! Но пора, пора, моя Софи, произнести это ужасное слово. Несчастный в меня влюбился. Тебе смешно или ты

скандализована? Я бы хотела тебя видеть в эту минуту. Он мне ничего не сказал, разумеется, но мы никогда не ошибаемся, и эти его большие черные глаза!.. Теперь ты, наверно, смеешься. Какой светский лев не пожелал бы иметь глаза с таким красноречивым взглядом! Я видела столько этих господ, которые старались говорить глазами, и говорили только глупости!.. Когда я убедилась, в каком состоянии больной, моя лукавая душа, признаюсь, сначала как будто даже обрадовалась. Победа в мои годы, и такая невинная победа!.. Что-нибудь да значит — внушить такую страсть, немыслимую любовь!.. Но нет, это нехорошее чувство у меня быстро прошло. «Вот порядочный человек,— сказала я себе,— которого мое легкомыслие может сделать несчастным. Это ужасно, этому необходимо положить конец». Я стала ломать голову над тем, как бы мне его удалить. Однажды мы с ним гуляли на берегу во время отлива. Он ничего не решался мне сказать, мне тоже трудно было говорить. Наступали убийственные паузы по пять минут, во время которых, чтобы скрыть смущение, я собирала ракушки. Наконец я ему сказала:

— Дорогой аббат! Вы непременно должны получить приход лучше этого. Я напишу моему дяде, епископу; я к нему поеду, если нужно.

— Покинуть Нуармутье! — воскликнул он, всплеснув руками.— Но я же здесь так счастлив! Чего же мне желать с тех пор, как вы здесь? Вы осыпали меня благодеяниями, и мой скромный домик превратился в дворец.

— Нет,— продолжала я,— мой дядя очень стар; если случится такое несчастье, что я его лишусь, то я не буду знать, к кому обратиться, чтобы вы могли получить приличный приход.

— Увы, сударыня, мне будет так грустно расстаться с этой деревней!.. Кюре святой Марии умер... но меня успокаивает то, что его заменит аббат Ратон. Это достойнейший священник, и я этому очень рад; ведь если бы его преосвященство вспомнил обо мне...

— Кюре святой Марии умер! — воскликнула я.— Я сегодня же еду в N. и поговорю с дядей.

— Ах, нет, не надо! Аббат Ратон гораздо достойнее меня; и потом, покинуть Нуармутье...

— Господин аббат! — сказала я твердо.— *Это необходимо!*

При этих словах он опустил голову и не посмел больше спорить. Я чуть не бегом вернулась в замок. Он шел за мной

следом, в двух шагах, бедняга, и был так взволнован, что не мог раскрыть рта. Он был убит. Я не стала терять ни минуты. В восемь часов я была у дяди. Оказалось, что он очень держится за своего Ратона; но он меня любит, и я знаю свое влияние. Словом, после долгих прений я добилась того, чего хотела. Ратон устранен, и аббат Обен — кюре св. Марии. Вот уже два дня, как он в городе. Бедняга понял мое «так надо». Он меня торжественно благодарил и говорил только о своей признательности. Я была довольна, что он не стал задерживаться в Нуармутье и даже сказал мне, будто торопится поблагодарить его преосвященство. Уезжая, он прислал мне свой красивый византийский ларчик и просил у меня позволения иногда писать мне. Ну что, моя милая? «Доволен ты, Куси?» Это урок. Я его не забуду, когда вернусь в свет. Но тогда мне будет тридцать три года, и мне нечего будет бояться, что меня могут полюбить... да еще такой любовью!.. Конечно, это невозможно. Все равно; от всего этого безумства у меня остались красивый ларчик и истинный друг. Когда мне будет сорок лет, когда я буду бабушкой, я начну интриговать, чтобы аббат Обен получил приход в Париже. Ты его увидишь, моя дорогая, и это он даст первое причастие твоей дочери.

VI

*Аббат Обен к аббату Брюно, профессору богословия в Сент-А ****

N., ...мая 1845

Дорогой учитель! Вам пишет уже не скромный сельский священник из Нуармутье, а кюре св. Марии. Я простился с болотами, и теперь я горожанин, живущий в прекрасном церковном доме на главной улице N.; кюре большого храма, хорошо построенного, хорошо содержимого, великолепной архитектуры, изображенного во всех альбомах с видами Франции. Когда я в первый раз служил в нем литургию у мраморного алтаря, блистающего позолотой, мне казалось, что это не я. Но это сущая правда. Одно из моих удовольствий — это думать, что на ближайших каникулах Вы меня посетите; я смогу предоставить Вам хорошую комнату, хорошую постель, не говоря уже о некоем бордо, которое я называю «Нуармутье» и которое, смею утверждать, достойно Вас. Но, спросите Вы, как же это я попал

из Нуармутье к св. Марии? Вы меня оставили у церковных дверей, а я вдруг оказываюсь на колокольне.

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit[1].

Дорогой учитель! Провидение послало в Нуармутье великосветскую даму из Парижа, которая в силу невзгод, каких мы с Вами никогда не претерпим, принуждена временно жить на десять тысяч экю в год. Это милая и добрая особа, к сожалению, немного испорченная легкомысленным чтением и обществом столичных вертопрахов. Смертельно скучая со своим мужем, которым она не очень-то может похвалиться, она сделала мне честь обратить на меня свое расположение. То были бесконечные подарки, постоянные приглашения, и что ни день, то какой-нибудь новый проект, при котором я оказывался необходим. «Аббат! Я хочу учиться латыни... Аббат! Я хочу учиться ботанике». *Horresco referens*[2], она пожелала, чтобы я наставлял ее в богословии! Где Вы были, дорогой учитель! Словом, для этой жажды знаний потребовались бы все наши профессора из Сент-А. К счастью, ее причуды были скоротечны, и редкий курс доходил до третьего урока. Когда я ей сказал, что по-латыни *rosa* значит «роза», «но, аббат,— воскликнула она,— ведь вы же кладезь премудрости! Как это вы дали себя похоронить в Нуармутье?» Говоря Вам откровенно, дорогой учитель, эта милейшая дама, начитавшись скверных книжек, которые нынче фабрикуются, вбила себе в голову довольно странные идеи. Раз она дала мне одно сочинение, которое только что получила из Парижа и от которого пришла в восторг,— *Абеляра* г-на де Ремюза. Вы, наверное, читали его и, надо полагать, оценили ученые разыскания автора, к сожалению, отмеченные предосудительным духом. Я начал со второго тома, с *Философии Абеляра,* и, прочтя его с живейшим интересом, вернулся к первому, к жизни великого ересиарха. Разумеется, моя знатная дама только ее и соблаговолила прочесть. Дорогой учитель! Это открыло мне глаза. Я понял, что надлежит опасаться общества красавиц, столь влюбленных в науку. По части экзальтации эта особа дала бы Элоизе несколько очков вперед. Столь новое для меня положение весьма меня смущало, как вдруг она мне говорит: «Аббат! Я хочу, чтобы вы сделались кюре святой Марии; носитель этого звания умер. *Так надо!*» Она тотчас же садится в карету, едет к его преосвященству; проходит несколько дней —

---

[1] О Мелибей, божество сотворило нам эти досуги *(лат.)*.
[2] Повествуя, дрожу *(лат.)*.

и я кюре св. Марии, немного сконфуженный тем, что получил это назначение по протекции, но, впрочем, в восторге, что избежал когтей столичной «львицы». «Львица», дорогой учитель, это на парижском наречии значит модная женщина.

Ō Zeu, gunaikōn Rōpasas genos[1].

Или надо было отказаться от счастья и мужественно встретить опасность? Это было бы глупо. Ведь св. Фома Кентерберийский принял замки в дар от Генриха II? До свидания, дорогой учитель, я надеюсь пофилософствовать с Вами через несколько месяцев, сидя в покойных креслах, за жирной пуляркой и бутылкой бордо, *more philosophorum. Vale et me ama*[2].

---

[1] Стих, взятый, кажется, из *Семерых против Фив* Эсхила: «Зевс, что за племя нам послал ты в женщинах!» Аббат Обен и его учитель, аббат Брюно, хорошо знают древних авторов.

[2] По обычаю мудрецов. Будь здоров и люби меня *(лат.)*.

Госпоже де Ларюи

Молодой человек в волнении ходил по вокзальному залу. У него были синие очки, и, хотя он не был простужен, он поминутно подносил платок к носу. В левой руке он держал маленький черный саквояж, в котором находились, как я потом узнал, шелковый халат и шальвары.

Время от времени он подходил к выходной двери, вынимал карманные часы и проверял их по вокзальным. Поезд уходил только через час, но есть люди, которые всегда боятся опоздать. На таких поездах не ездят деловые люди: вагонов первого класса было мало. Час был не тот, когда биржевые маклеры, окончившие дела, едут обедать на дачу. Парижанин без труда узнал бы в пассажирах, которые начали собираться, фермеров или пригородных лавочников. Тем не менее всякий раз, как кто-нибудь входил в вокзал или экипаж останавливался перед входной дверью, у молодого человека в синих очках сердце расширялось, как пузырь, колени начинали дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки сваливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели совсем криво.

Но стало еще хуже, когда, после долгого ожидания, из боковой двери, единственного места, за которым он не наблюдал, показалась женщина, вся в черном, с густой вуалью на лице, держа в руках темный сафьяновый саквояж, в котором, как я впоследствии установил, находились чудесный капот и голубые атласные туфли. Женщина и молодой человек пошли друг другу навстречу, смотря направо и налево, но не прямо перед собой. Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли, задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, за которое я отдал бы сто лет жизни философа.

Когда они обрели дар слова, молодая женщина (я забыл сказать, что она была молода и красива) произнесла;

— Леон, Леон, какое счастье! Я никогда бы вас не узнала в этих синих очках!

— Какое счастье! — ответил Леон.— Я бы никогда не узнал вас под этой черной вуалью!

— Какое счастье! — повторила она.— Займем скорее места. Вдруг поезд уйдет без нас! (Она крепко сжала ему руку.) Никто ничего не подозревает. В настоящее время я с Кларой и ее мужем еду к ним на дачу, где *завтра* должна с ними проститься. И вот уже час, как они уехали,— прибавила она, смеясь и опуская голову,— а завтра... проведя *последний вечер* с нею (она снова сжала его руку)... завтра утром она отвезет меня на станцию, где я встречу Урсулу, которую я послала вперед к тетке... О, у меня все предусмотрено! Возьмем билеты... Узнать нас невозможно! Ах! А вдруг в гостинице спросят наши фамилии? Я уже забыла...

— Господин и госпожа Дюрю.

— Ах, нет! Только не Дюрю! В пансионе был сапожник по фамилии Дюрю.

— Ну, тогда Домон?..

— Домон.

— Превосходно. Все равно никто у нас ничего не спросит.

Раздался звонок, двери зала отворились, и молодая женщина, не поднимая вуали, устремилась со своим спутником к вагону первого класса. Второй звонок — и дверца купе захлопнулась за ними.

— Мы одни! — радостно закричали они.

Но почти в то же мгновение человек лет пятидесяти, одетый в черное, со скучающим и важным видом вошел в купе и расположился в углу. Паровоз дал свисток, и поезд тронулся.

Молодая пара, сев как можно дальше от неприятного своего соседа, начала говорить вполголоса, да еще вдобавок, из предосторожности, по-английски.

— Сударь! — проговорил их спутник на том же языке, но с более чистым британским акцентом.— Если у вас есть секреты, вам лучше было бы не говорить их при мне по-английски. Я англичанин. Мне очень жаль, что я вас стесняю, но в другом купе сидит только один мужчина, а у меня правило — никогда в дороге не садиться с одиноким мужчиной. А у него еще физиономия Иуды. Вот это могло бы его соблазнить. (Он указал на чемодан, брошенный им на подушку.) Впрочем, если я не засну, то буду читать.

Действительно, он честно постарался заснуть. Он открыл чемодан, вынул оттуда дорожную шапочку, надел ее на голову и просидел несколько минут с закрытыми глазами. Потом с недовольным видом открыл их, отыскал в чемодане очки и греческую книгу и принялся внимательно читать. Чтобы достать книгу, пришлось перерыть в чемодане множество мелких предметов, уложенных в беспорядке. Среди других вещей он извлек из недр чемодана довольно толстую пачку английских банковых билетов, положил их на диван перед собою и, прежде чем обратно уложить их, показал молодому человеку, спросив, сможет ли он разменять их в N.

— По всей вероятности. Ведь это на пути в Англию.

N. было место, куда ехала молодая пара. В N. есть довольно чистенькая гостиница, где останавливаются только по субботам вечером. Говорят, что там хорошие номера. Хозяин и прислуга нелюбопытны: они живут не так уж далеко от Парижа, чтобы страдать этим провинциальным недостатком. Молодой человек, которого я уже назвал Леоном, присмотрел эту гостиницу несколько дней тому назад, когда приезжал без синих очков, и его описание вызвало у его подруги желание побывать там.

А в тот день она находилась в таком настроении, что даже тюремные стены показались бы ей полными прелести, если бы ее туда заключили вместе с Леоном.

Между тем поезд все шел; англичанин читал свою греческую книгу, не оборачиваясь к спутникам, которые разговаривали так тихо, как умеют шептаться только любовники. Читатель, быть может, не особенно удивится, если я ему открою, что они и были любовниками в полном смысле этого слова. Прискорбно то, что они не были повенчаны, но к этому имелись серьезные препятствия.

Поезд подошел к N. Англичанин вышел первым. Покуда Леон помогал своей спутнице выйти из вагона так, чтобы не видно было ее ножек, какой-то человек выскочил на платформу из соседнего купе. Он был бледен, даже желт, с впалыми, налитыми кровью глазами, плохо выбрит — признак, по которому часто можно узнать большого преступника. Платье у него было чистое, но крайне изношенное. Его сюртук, когда-то черный, а теперь серый на спине и на локтях, был застегнут до самого верха, вероятно для того, чтобы не видно было жилета, еще более вытертого. Он подошел к англичанину и смиренно начал:

— *Uncle!..*[1]

— *Leave me alone, you wretch!*[2] — закричал англичанин, и серые глаза его загорелись гневом.

Он направился к выходу.

— *Don't drive me to despair*[3],— продолжал другой голосом жалобным и в то же время почти угрожающим.

— Присмотрите, пожалуйста, одну минуту за моими вещами,— сказал старик англичанин, бросая к ногам Леона свой чемодан.

Затем он схватил за руку человека, который к нему обратился, отвел, или, вернее, толкнул его в угол, где, по его расчетам, их нельзя было слышать, и стал что-то говорить ему, казалось, очень резким тоном. Потом он вынул из кармана несколько бумажек, скомкал их и сунул в руку человека, который называл его дядей. Тот взял бумажки, не поблагодарив, и почти сейчас же исчез.

В N. только одна гостиница, и потому нет ничего удивительного, что через несколько минут туда сошлись все действующие лица этой правдивой истории. Во Франции всякий путешественник, который имеет счастье идти под руку с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что во всех гостиницах ему отведут лучшую комнату; недаром всеми признано, что мы самый учтивый народ в Европе.

Если комната, отведенная Леону, была лучшей в гостинице, то это не значит, что она была вполне хороша. Здесь стояла широкая кровать орехового дерева с ситцевым пологом, на котором лиловой краской была изображена трагическая история Пирама и Фисбы. Стены были оклеены обоями с видом Неаполя и множеством фигур; к сожалению, шутники-постояльцы от нечего делать пририсовали усы и трубки всем мужским и женским фигурам, а небо и море были исписаны множеством глупостей в стихах и в прозе. На этом фоне висело несколько гравюр: *Луи-Филипп присягает конституции 1830 года, Первая встреча Жюли и Сен-Прё, Ожидание счастья* и *Сожаление* с картин Дюбюфа. Комната эта называлась голубой, так как два кресла, стоявшие по правую и по левую сторону камина, были обиты голубым утрехтским бархатом, но в течение уже многих лет на них были надеты коленкоровые серые чехлы с малиновыми кантиками.

---

[1] Дядюшка! *(англ.)*

[2] Оставь меня в покое, негодяй! *(англ.)*

[3] Не доводите меня до отчаяния *(англ.)*.

Пока служанки хлопотали около вновь прибывшей дамы, предлагая ей свои услуги, Леон, сохранявший здравый смысл, несмотря на всю свою влюбленность, пошел на кухню заказать обед. Потребовалось все его красноречие и даже подкуп, чтобы добиться обещания, что обед им подадут в комнату. Но представьте себе его ужас, когда он узнал, что в общей столовой, находившейся рядом с его комнатой, господа офицеры 3-го гусарского полка, пришедшие в N. на смену господам офицерам 3-го егерского, собираются сегодня объединиться с этими последними за прощальным обедом, где будет царить полная непринужденность. Хозяин клялся всеми святыми, что, не считая природной веселости, свойственной французским военным, господа гусары и господа егеря известны всему городу как люди весьма благоразумные и добродетельные и что их соседство нисколько не потревожит вновь приехавшую даму, ибо господа офицеры имеют обыкновение вставать из-за стола еще до полуночи.

Когда Леон, весьма смущенный этим сообщением, несмотря на уверения хозяина, возвращался в голубую комнату, он обратил внимание на то, что англичанин занял соседнюю с ним комнату. Дверь была открыта. Англичанин сидел за столом, на котором стояли стакан и бутылка, и смотрел на потолок с таким вниманием, будто считал разгуливающих там мух.

«Какое нам дело до соседей? — подумал Леон.— Англичанин скоро напьется, а гусары разойдутся до полуночи».

Войдя в голубую комнату, он первым делом проверил, есть ли задвижки и хорошо ли заперты двери, сообщающиеся с соседними комнатами. Со стороны англичанина дверь была двойная, а стена капитальная. Со стороны гусар стена была тоньше, но дверь запиралась на ключ и задвижку. В конце концов, это была более надежная защита от любопытных, чем каретные занавески. А ведь сколько людей, сидя в фиакре, считают себя отделенными от всего мира!

Положительно, самое пылкое воображение не может представить себе более полного счастья, чем блаженство двух молодых влюбленных, после долгого ожидания оказавшихся наедине, вдали от ревнивцев и любопытных, и получивших возможность досыта наговориться о перенесенных ими страданиях и вкусить наслаждение полной близости. Но дьявол всегда находит способ влить каплю горечи в чашу счастья. Джонсон сказал,— хотя и не первый, ибо он заимствовал эту мысль у одного греческого писателя,— что никто не может сказать: «Се-

годня я буду счастлив». Истина эта, признанная в столь отдаленные времена величайшими философами, до сих пор неизвестна большому количеству смертных, в особенности большинству влюбленных.

Во время довольно посредственного обеда в своей голубой комнате, состоявшего из нескольких блюд, похищенных со стола гусар и егерей, Леон и его спутница очень страдали от разговоров, которые вели между собой военные в соседнем зале. Там говорили не о стратегии и не о тактике, и я не стану передавать содержание этой беседы.

Это был ряд нелепых историй, почти сплошь вольного содержания, и сопровождались они громким смехом, к которому иногда трудно было не присоединиться и нашим влюбленным. Подруга Леона не была чересчур чопорной, но есть вещи, которые неприятно слышать даже наедине с любимым человеком. Положение делалось все более затруднительным, и, когда настало время подавать господам офицерам десерт, Леон счел нужным спуститься на кухню и попросить хозяина передать обедающим, что в соседней комнате находится больная женщина, которая надеется, что учтивость побудит их шуметь не так сильно.

Метрдотель, как всегда при парадных обедах, совсем захлопотался и не знал, кому отвечать. В ту минуту, когда Леон давал ему поручение к офицерам, лакей требовал от него бутылку шампанского для гусар, а горничная — портвейну для англичанина.

— Я ему сказала, что у нас нет портвейна,— прибавила она.

— Дура! У нас есть все вина. Я найду ему портвейн! Принеси мне бутылку сладкой настойки, бутылку красного за пятнадцать су и графин водки.

Сфабриковав в одну минуту портвейн, хозяин вошел в общий зал и исполнил поручение Леона. В первое мгновение его слова вызвали страшную бурю. Наконец какой-то бас, покрывавший все голоса, спросил, какого рода женщина находится по соседству. Наступило молчание. Хозяин отвечал:

— Право, не знаю, как вам сказать. Она очень мила и застенчива. Мари-Жанна говорит, что у нее обручальное кольцо на пальце. Очень может быть, что это новобрачная совершает свадебную поездку, как это часто случается.

— Новобрачная! — закричали сразу сорок голосов.— Пусть она придет чокнуться с нами! Мы выпьем за ее здоровье и поучим молодого его супружеским обязанностям.

При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши влюбленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату возьмут приступом. Но вдруг раздался голос, водворивший тишину. Очевидно, говорил начальник. Он упрекнул офицеров в недостатке вежливости и приказал им занять свои места, выражаться прилично и не кричать. Он еще что-то прибавил, но так тихо, что в голубой комнате не было слышно. Слова его были выслушаны почтительно, но вызвали сдержанный смех. С этой минуты в зале воцарилась относительная тишина, и наши любовники, благословляя спасительную власть дисциплины, начали беседовать более непринужденно. Но после стольких треволнений требовалось известное время, чтобы вновь обрести в себе те нежные чувства, которые были заметно нарушены тревогою, дорожными неудобствами и, особенно, грубым весельем соседей. Однако в их возрасте этого нетрудно достичь, и вскоре они забыли о всех невзгодах своего рискованного путешествия и все мысли устремили к главной его цели.

Они считали, что с гусарами заключен мир; увы, это было только перемирие! В ту минуту, когда они меньше всего ожидали этого, когда они были за тысячу миль от подлунного мира, вдруг двадцать четыре трубы в сопровождении нескольких тромбонов заиграли известную песню французских солдат: *Победа за нами!* Кто бы выдержал подобную бурю? Бедных любовников очень стоило пожалеть.

. . . . . .

Однако жалеть их особенно не стоило, так как в конце концов офицеры покинули столовую и, продефилировав мимо голубой комнаты, один за другим, с громким бряцанием сабель и шпор, прокричали по очереди:

— Доброй ночи, молодая!

Потом шум затих. Впрочем, я ошибаюсь. Англичанин вышел в коридор и крикнул:

— Человек, принесите мне еще бутылку такого же портвейна!

В гостинице городка N. водворилось спокойствие. Ночь была теплая, светила полная луна. С незапамятных времен любовники с удовольствием смотрят на спутницу нашей планеты. Леон и его подруга растворили окно, выходившее в маленький садик, и некоторое время наслаждались свежим воздухом, напоенным запахом клематисов. Но недолго им пришлось посидеть у окна. Какой-то человек ходил по саду взад

и вперед, опустив голову, скрестив руки, с сигарой во рту. Леону показалось, что это племянник англичанина, любителя портвейна.

. . . . . .

Я не люблю вдаваться в излишние подробности и не считаю себя обязанным рассказывать читателю то, что он легко может вообразить; поэтому я не стану излагать час за часом все, что произошло в гостинице городка N. Скажу только, что свечка, поставленная на нетопленном камине в голубой комнате, наполовину выгорела, когда в комнате англичанина, где до сих пор было тихо, раздался странный звук, какой мог бы произвести тяжелый предмет при падении. За этим звуком последовал не менее странный треск, затем заглушенный крик и несколько неразборчивых слов, похожих на проклятие. Юные постояльцы голубой комнаты вздрогнули. Может быть, это их внезапно разбудило. На них обоих звук этот, который они не могли себе объяснить, произвел почти зловещее впечатление.

— Это наш англичанин во сне,— сказал Леон, пытаясь улыбнуться.

Он хотел успокоить свою спутницу, но на него тоже напала невольная дрожь. Через две или три минуты кто-то открыл дверь в коридор, казалось, с большой осторожностью, потом она тихонько снова закрылась. Кто-то шел медленным, неуверенным шагом, словно хотел скрыться незамеченным.

— Проклятая гостиница! — воскликнул Леон.

— Здесь как в раю! — ответила молодая женщина, кладя голову на его плечо.— Я смертельно хочу спать!..

Она вздохнула и почти тотчас снова погрузилась в сон.

Один знаменитый моралист сказал, что люди перестают болтать, когда им не о чем больше просить. Поэтому нет ничего удивительного, что Леон не стал делать никаких попыток возобновить разговор или рассуждать относительно звуков в гостинице городка N. Но, помимо воли, все это его тревожило, а в памяти возникало многое такое, на что в другом состоянии духа он не обратил бы ни малейшего внимания. Ему вспомнилась зловещая фигура племянника англичанина. Какая ненависть была у него во взгляде, когда он смотрел на дядю, меж тем как разговаривал он с ним подобострастно, вероятно, потому, что просил денег!

«Что может быть легче для молодого и крепкого человека, доведенного к тому же до отчаяния, чем влезть из сада в окно? К тому же он, видимо, тоже остановился в этой гостинице, раз

ночью прогуливался по саду. Может быть... даже наверно... несомненно, ему было известно, что в черном чемодане находится толстая пачка банковых билетов... А этот глухой удар, похожий на удар дубины по лысому черепу!.. Этот заглушенный крик!.. Это ужасное проклятие! И затем шаги! У племянника — лицо убийцы... Но как можно совершить убийство в гостинице, полной офицеров? Конечно, дверь у этого англичанина, как у человека осторожного, была заперта на задвижку; ведь он знал, что этот негодяй находится поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хотел разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан... Но зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуты полного счастья?»

Вот что проносилось у Леона в голове. Будучи во власти этих мыслей, в которых я не стану разбираться подробнее,— для него самого они были смутными, как сонные видения,— он машинально остановил свой взгляд на двери, соединяющей голубую комнату с комнатой англичанина.

Во Франции двери закрываются неплотно. В голубой комнате между дверью и полом была щель, по крайней мере, в два сантиметра. Вдруг в этой щели, едва освещенной отблеском паркета, показалось что-то темное, плоское, похожее на лезвие ножа, так как край, озаренный светом свечи, представлял собою тонкую, ярко блестевшую линию. Оно медленно ползло по направлению к голубой атласной туфельке, небрежно брошенной неподалеку от этой двери. Может быть, это какое-нибудь насекомое вроде сороконожки?.. Нет, это не насекомое. Оно не имело определенной формы... Две-три темные полоски с блестящими краями проникли в комнату. Движение их ускоряется вследствие покатости пола... Они подвигаются все быстрее, сейчас они доберутся до туфельки. Сомнений быть не может! Это — жидкость, и жидкость эта (теперь при свечке ясно виден ее цвет) не что иное, как кровь. И покуда Леон испуганно, не шевелясь, смотрел на эти ужасные струйки, молодая женщина продолжала спокойно спать, и ровное дыхание ее согревало шею и плечо ее любовника.

. . . . . .

Из того, что Леон сейчас же по приезде в гостиницу города N. позаботился заказать обед, можно заключить, что он был достаточно рассудителен, умен и даже предусмотрителен. И на этот раз он не опровергнул представления, которое можно было бы о нем составить Он не пошевелился, но напряг все силы своего ума, чтобы предотвратить страшное несчастье, которое ему угрожало.

Боюсь, что большинство моих читателей и особенно читательниц, исполненных героических чувств, осудит такое поведение, такое бездействие Леона при данных обстоятельствах. Мне скажут, что он должен был броситься в комнату англичанина и задержать убийцу или, по крайней мере, поднять трезвон, чтобы разбудить прислугу гостиницы. На это я прежде всего отвечу, что во французских гостиницах шнурок от звонка служит исключительно для украшения комнаты и не связан ни с каким металлическим аппаратом. Почтительно, но твердо добавлю, что если нехорошо предоставить англичанину умирать по соседству с вами, то не особенно похвально и жертвовать для него женщиной, которая спит, положив голову вам на плечо. Что бы произошло, если бы Леон поднял шум и разбудил всю гостиницу? Сейчас же появились бы жандармы и прокурор со своим писцом. Люди эти по своей профессии настолько любопытны, что, прежде чем приступить к расследованию дела, они задали бы Леону ряд вопросов: «Как ваша фамилия? Ваши документы? Кто эта женщина? Почему вы оказались с нею в голубой комнате? Вы должны явиться в суд, чтобы показать, что такого-то числа такого-то месяца в такой-то час ночи вы были свидетелем такого-то происшествия».

Именно эта мысль о прокуроре и жандармах прежде всего пришла в голову Леону. В жизни бывают иногда случаи, когда не знаешь, как тебе следует поступить. Что лучше: оставить без помощи незнакомого тебе путешественника, которого режут, или покрыть позором и потерять любимую женщину? Неприятно, когда приходится разрешать подобную задачу. Бьюсь об заклад, что она любого поставит в тупик.

Леон поступил так, как, вероятно, большинство людей поступило бы на его месте: он не шевельнулся. Не отводя глаз от голубой туфли и красного ручейка, который почти касался ее, он долго пребывал в каком-то оцепенении, его виски покрылись холодным потом, а сердце билось так сильно, что готово было разорваться. Вихрь мыслей, образов, причудливых и грозных, преследовал его, а внутренний голос твердил непрестанно: «Через час все откроется, и это — твоя вина».

Но, неотступно повторяя: «Как выйти из этой передряги?» — в конце концов находишь луч надежды. Леон подумал: «Если мы уедем из этой проклятой гостиницы до того, как станет известно, что произошло в соседней комнате, мы можем, пожалуй, замести наш след. Здесь нас никто не знает; меня видели только в синих очках, а ее — только под вуалью. Мы в двух шагах от вокзала, и через час мы будем очень далеко от

N.». Перед тем как предпринять эту поездку, он внимательно изучил расписание поездов и теперь вспомнил, что есть восьмичасовой поезд на Париж. А там они сразу затеряются в этом огромном городе, где скрывается столько преступников. Кто же там найдет двух невиновных? Но, может быть, кто-нибудь войдет в комнату англичанина раньше восьми часов? Вот в чем вопрос.

Убедившись, что другого выхода нет, он сделал отчаянное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, в котором он так долго пребывал, но как только он пошевелился, его юная спутница проснулась и страстно его поцеловала. Прикоснувшись к его ледяной щеке, она вскрикнула:

— Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор!

— Ничего,— ответил он неуверенно,— мне показалось, что в соседней комнате какой-то шум...

Он высвободился из ее объятий и прежде всего отодвинул голубую туфлю и заставил креслом дверь в соседнюю комнату, чтобы скрыть от своей подруги ужасную жидкость, которая перестала течь и образовала довольно большую лужу на полу. Потом приоткрыл дверь в коридор, прислушался, решился даже подойти к двери англичанина. Она была заперта. В гостинице уже началось движение. Рассветало. Конюхи на дворе чистили лошадей; с третьего этажа по лестнице спускался какой-то офицер, звеня шпорами: он шел наблюдать за интересной операцией, которую лошади любят больше, чем люди, и для которой существует специальное название: «засыпать корм».

Леон вернулся в голубую комнату и со всеми предосторожностями, которые может подсказать любовь, прибегая к массе обиняков и смягченных выражений, изложил своей спутнице положение, в каком они очутились.

Опасно оставаться, опасно и слишком поспешно уезжать. Но еще опаснее дожидаться в гостинице, пока раскроется катастрофа в соседней комнате. Нечего и говорить, что сообщение это произвело ужасное впечатление. Слезы, нелепейшие планы; сколько раз несчастные бросались друг другу в объятия со словами: «Прости меня, прости меня!» Каждый считал себя главным виновником. Они поклялись умереть вместе, так как молодой человек не сомневался, что правосудие признáет их виновными в убийстве англичанина. И так как они не были уверены, что им позволят поцеловаться на эшафоте, они стали целоваться наперед, сжимая друг друга в объятиях и заливаясь слезами.

Наконец, наговорив множество бессмыслиц, нежных и душераздирательных слов, они признали среди тысячи поцелуев, что план, придуманный Леоном, то есть отъезд восьмичасовым поездом, единственно выполнимый и наилучший. Но оставалось еще переждать два томительных часа. При каждом звуке шагов по коридору они дрожали всем телом. Каждый скрип сапог, казалось, возвещал прибытие имперского прокурора.

Свой легкий багаж они уложили во мгновение ока. Молодая женщина хотела сжечь в камине голубую туфлю, но Леон поднял ее, вытер о постельный коврик, поцеловал и спрятал себе в карман. Он удивился, что от нее пахнет ванилью; его спутница душилась «букетом императрицы Евгении».

В гостинице все уже проснулись. Слышно было, как смеются лакеи, поют служанки, солдаты чистят мундиры своих офицеров. Леон хотел заставить свою подругу выпить чашку кофе с молоком, но она объявила, что у нее так сдавило горло, что если она сделает хоть глоток, то умрет.

Леон вооружился своими синими очками и пошел вниз уплатить по счету. Хозяин извинялся перед ним за вчерашний шум, который он до сих пор не мог себе объяснить, так как господа офицеры обыкновенно бывают очень тихие. Леон стал уверять, что он ничего не слышал и превосходно выспался.

— Зато ваш сосед с другой стороны,— продолжал хозяин,— едва ли вас беспокоил. Он никогда не шумит. Бьюсь об заклад, что он и теперь еще спит сном праведника.

Леон оперся на конторку, чтобы не упасть, а молодая женщина, которая пришла вместе с ним, судорожно вцепилась в его руку и туже затянула вуаль.

— Это милорд,— продолжал безжалостный хозяин.— Ему подавай все самое лучшее. Да, это очень достойный человек. Но не все англичане на него похожи. У нас тут остановился один, прямо скаред. Все ему слишком дорого: и комната и стол. За билет английского банка в пять фунтов стерлингов он захотел сто двадцать пять франков... Хорошо еще, если бумажка не фальшивая!.. Да вот, вы должны понимать в этом толк: я слышал, как вы говорили по-английски... Хорошая бумажка?

С этими словами он протянул ему пятифунтовый банкнот. На одном углу было маленькое красное пятнышко, происхождение которого Леону стало сразу ясно.

— По-моему, да,— ответил он сдавленным голосом.

— У вас времени много! — продолжал хозяин.— Поезд отходит только в восемь, да еще всегда опаздывает... Присядьте, пожалуйста, сударыня. Вы утомились, как видно...

В эту минуту вошла толстая служанка.

— Скорее горячей воды,— сказала она,— для чая милорду! Подайте также губку! У него разбилась бутылка с вином и залила всю комнату.

При этих словах Леон упал на стул, спутница его — также. Им обоим так хотелось расхохотаться, что они едва сдержались.

Молодая женщина радостно пожала руку своему спутнику.

— Знаете что,— обратился Леон к хозяину,— мы поедем двухчасовым поездом. Приготовьте нам к двенадцати часам завтрак поплотнее.

ЛОКИС

(РУКОПИСЬ ПРОФЕССОРА ВИТТЕНБАХА)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

. . . . . .

— Будьте добры, Теодор,— сказал профессор Виттенбах,— дайте мне тетрадку в пергаментном переплете со второй полки, над письменным столом, нет, не эту, а маленькую, в восьмушку. Я собрал в нее все заметки из своего дневника за 1866 год, по крайней мере, все то, что относится к графу Шемету.

Профессор надел очки и среди глубокого молчания прочел следующее:

«Локис

с литовской пословицей в качестве эпиграфа:

Miszka su Lokiu
Abu du tokiu[1].

Когда в Лондоне появился первый перевод на литовский язык Священного писания, я поместил в *Кенигсбергской научно-литературной газете* статью, в которой, отдавая должное работе ученого-переводчика и благочестивым намерениям Библейского общества, я счел долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а кроме того, указал, что перевод этот может быть пригоден для одной только части литовского народа. Действительно, диалект, который применил переводчик, с большим трудом понимают жители областей, говорящие на *жомаитском* языке, в просторечии именуемом *жмудским*. Я имею в виду Самогитский палатинат, язык которого, может быть, еще более при-

[1] Два сапога — пара; дословно: Мишка и Локис — одно и то же. *Michaelium cum Lokide ambo (duo) ipsissimi.*

ближается к санскриту, чем верхнелитовский. Замечание это, несмотря на яростную критику со стороны одного весьма известного профессора Дерптского университета, открыло глаза почтенным членам совета Библейского общества, которое не замедлило прислать мне лестное предложение принять на себя руководство изданием Евангелия от Матфея на самогитском наречии. В то время я был слишком занят изысканиями в области зауральских языков, чтобы предпринять работу в более широком масштабе, которая охватила бы все четыре Евангелия. Итак, отложив женитьбу на моей невесте Гертруде Вебер, я отправился в Ковно с намерением собрать все лингвистические памятники жмудского языка, печатные и рукописные, какие только мне удалось бы достать, не пренебрегая, разумеется, также и народными песнями — *dainos,* равно как и сказками и легендами — *pasakos.* Все это должно было дать мне материалы для составления жмудского словаря — работа, которая неизбежно должна была предшествовать самому переводу.

Я имел с собой рекомендательное письмо к молодому графу Михаилу Шемету, отец которого, как меня уверяли, обладал знаменитым *Catechismus Samogiticus* отца Лавицкого, книгой столь редкой, что самое существование ее оспаривалось упомянутым мною выше дерптским профессором. В его библиотеке, согласно собранным мною сведениям, находилось старинное собрание *dainos,* а также поэтических памятников на древнепрусском языке. Я написал письмо графу Шемету, чтобы объяснить цель моего посещения, и получил от него крайне любезное приглашение провести в его замке Мединтильтасе столько времени, сколько потребно будет для моих разысканий. Письмо свое он заканчивал уверением, изложенным в самой приветливой форме, что сам он может похвалиться умением говорить по-жмудски не хуже его крестьян и что он был бы счастлив присоединить и свои старания к моим в предприятии, которое он называл *великим* и увлекательным. Подобно некоторым другим наиболее богатым землевладельцам в Литве, он исповедовал евангелическое вероучение, священнослужителем которого я имею честь состоять. Меня предупреждали, что граф не лишен некоторых странностей, но, впрочем, весьма гостеприимный хозяин, любитель наук и искусств и особенно внимателен к лицам, которые ими занимаются. Итак, я отправился в Мединтильтас.

У подъезда замка меня встретил графский управитель и тотчас же проводил меня в приготовленную для меня комнату.

— Его снятельство,— сказал он мне,— крайне сожалеет, что не может сегодня отобедать вместе с господином профессором. У него один из приступов мигрени, которой он, к сожалению, часто болеет. Если господину профессору не угодно откушать у себя в комнате, он может пообедать с господином Фребером, доктором графини. Обед — через час; к столу не переодеваются. Если господину профессору что-нибудь понадобится, вот звонок.

И он удалился, отвесив глубокий поклон.

Моя комната была просторна, хорошо обставлена, украшена зеркалами и позолотой. С одной стороны окна выходили в замковый сад или, лучше сказать, парк, с другой — в широкий парадный двор. Несмотря на предупреждение, что к столу не переодеваются, я счел необходимым вынуть из чемодана свой черный фрак. Оставшись в одном жилете, я занялся разборкой своего легкого багажа, как вдруг стук колес привлек меня к окну, выходящему во двор. Туда только что въехала прекрасная коляска. В ней сидели дама в черном, какой-то господин и еще одна женщина, одетая как литовская крестьянка, столь рослая и крупная на вид, что я сначала готов был принять ее за переодетого мужчину. Она вышла первой; две другие женщины, по виду не менее крепкие, стояли уже на крыльце. Господин наклонился к даме в черном и, к крайнему моему удивлению, отстегнул широкий ремень, которым она была прикреплена к своему месту в коляске. Я заметил, что волосы у этой дамы, длинные и седые, были растрепаны, а широко раскрытые глаза безжизненны: ее можно было принять за восковую фигуру. Отвязав свою спутницу, господин снял перед ней шляпу и весьма почтительно сказал ей несколько слов, но она, по-видимому, не обратила на них ни малейшего внимания. Тогда он повернулся к служанкам и едва заметно кивнул им головой. Три женщины тотчас же схватили даму в черном и, несмотря на то, что она изо всех сил цеплялась за коляску, подняли ее, как перышко, и внесли в дом. Кучка домовой челяди наблюдала эту сцену и, казалось, не видела в ней ничего необыкновенного.

Человек, руководивший всеми этими действиями, вынул часы и спросил, скоро ли будет обед.

— Через четверть часа, господин доктор,— ответили ему.

Мне нетрудно было догадаться, что передо мною был доктор Фребер, а дама в черном была графиня. По ее возрасту я заключил, что она приходится матерью графу Шемету, а предосторожности, принятые по отношению к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее был поврежден.

Через несколько минут доктор вошел в мою комнату.

— Графу нездоровится,— сказал он мне,— и потому я должен сам представиться господину профессору. Доктор Фребер, ваш покорный слуга. Мне чрезвычайно приятно лично познакомиться с ученым, заслуги которого известны всем читателям *Кенигсбергской научно-литературной газеты.* Угодно вам будет, чтобы подавали на стол?

Я ответил любезностью на любезность, прибавив, что, если время садиться за стол, я готов.

Когда мы вошли в столовую, дворецкий, по северному обычаю, поднес нам серебряный поднос, уставленный водками и солеными, очень острыми закусками для возбуждения аппетита.

— Разрешите мне в качестве врача, профессор,— обратился ко мне доктор,— рекомендовать вам стаканчик вот этой *старки* сорокалетней выдержки. Попробуйте: настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возьмите дронтхеймский анчоус; ничто так не прочищает и не расширяет пищевод, а ведь это один из важнейших органов нашего тела... А теперь — за стол. Отчего бы нам не разговаривать по-немецки? Вы из Кенигсберга, а я хоть и из Мемеля, но учился в Иене. Таким образом, мы не будем стеснены, так как прислуга, знающая только по-польски и по-русски, не будет нас понимать.

Сначала мы ели молча, но после первого стакана мадеры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются болезненные припадки, лишившие нас сегодня его общества.

— И да и нет,— ответил доктор,— это зависит от того, куда он ездит.

— Как так?

— Если, например, он ездит по Россиенской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении.

— Мне случалось ездить в Россиены, и со мной ничего подобного не бывало.

— Это, профессор, объясняется тем, что вы не влюблены,— ответил мне доктор со смехом.

Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер.

— Значит,— сказал я,— невеста графа живет в Россиенах?

— Да, в окрестностях. Невеста?.. Не знаю, невеста ли. Злостная кокетка! Она доведет его до того, что он потеряет рассудок, как его мать.

— А в самом деле, кажется, графиня... не совсем здорова?

— Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшедшая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда.

— Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей рассудок.

Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке.

— Надо вам сказать, профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку. Под Севастополем нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не говорю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, где я ем и пью как нельзя лучше, живу как князь, а жалованье мне платят, словно лейб-медику... Но свобода, мой дорогой профессор,— вот чего мне недостает. С этой чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе!

— И давно она на вашем попечении?

— Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей мере двадцать семь лет тому назад, еще до рождения графа. Разве вам не рассказывали об этом в Россиенах или в Ковно? Ну так послушайте. Это редкий случай. Я хочу поместить о нем статью в *Санкт-Петербургском медицинском журнале.* Она помешалась от страха...

— От страха? Как это могло быть?

— От страха, который она испытала. Она из рода Кейстутов. О, в семье наших хозяев не терпят неравных браков! Как же, мы ведем свой род от Гедимина!.. Так вот, профессор, через два или три дня после свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы с вами обедаем (ваше здоровье!), граф, отец нынешнего, отправился на охоту. Наши литовские дамы — амазонки, как вам известно. Графиня тоже едет на охоту... Опережает она ловчих или отстает от них, этого я вам не могу сказать наверное... Но только вдруг граф видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет двенадцати — четырнадцати. «Ваше сиятельство! — кричит он.— Медведь утащил графиню!» — «Где?» — спрашивает граф. «Вон там»,— отвечает казачок. Все мчатся к указанному месту: графини нет! Тут лежит ее задушенная лошадь, там — шубка графини, разорванная в клочья. Ищут, обшаривают весь лес. Наконец кто-то из ловчих кричит: «Вон медведь!» И правда, через полянку шел медведь, волоча графиню. Наверное, он хотел затащить ее в чащу и там сожрать без помехи. Ведь эти животные — лакомки; они, как монахи, любят пообедать спокойно. Граф, всего два дня как повенчанный, поступил как рыцарь: он хотел броситься на медведя с охотничьим ножом, но, дорогой мой профессор, литовский медведь не олень, он не дастся простому ножу. К счастью, граф-

ский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напившийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил из своего карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля: в зверя или в женщину...

— И уложил медведя?

— Наповал. Только пьяницам удаются такие выстрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их по сходной цене... Графиня была вся покрыта ссадинами, без сознания, разумеется; одна нога у нее была сломана. Ее привезли домой, она пришла в себя, но рассудок ее покинул. Ее отвезли в Санкт-Петербург. Созвали консультацию — четыре доктора, увешанные орденами. Они говорят: «Графиня — в положении; весьма вероятно, что разрешение от бремени повлечет за собою благоприятный перелом». Предписали свежий воздух, жизнь в деревне, сыворотку, кодеин... Каждый получил по сто рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового мальчика... Но где же благоприятный перелом? Как бы не так!.. Буйство ее усилилось. Граф показывает ей ребенка. Это всегда производит неотразимое впечатление... в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» — кричит она. Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуются то идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее привязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее. А между тем, профессор, благоволите обратить внимание на следующее обстоятельство. Никакими уговорами я не мог добиться от нее повиновения; есть только одно средство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут волосы... Вероятно, в молодости у нее были чудные косы. Кокетство — вот единственное человеческое чувство, которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне предоставили право поступать с ней по моему благоусмотрению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее.

— Какое же?

— Побои. Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие — *кликушество;*[1] одна начнет выкликать, за ней — другая, через три дня все бабы в деревне — *кликуши.* Только побоями я их и вылечил. (Возьмите рябчика, они очень нежны.) Граф так и не позволил мне попробовать.

---

[1] По-русски сумасшедших называют кликушами — от слова клик: вопль, вой.

— Как? Вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?

— Ну, ведь он почти не знает своей матери, а потом — это было бы для ее же блага. Но признайтесь, профессор: вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума?

— Положение графини было ужасно... Очутиться в лапах такого свирепого зверя!

— А сын — не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и благодаря своему хладнокровию вышел из него невредимым.

— Из когтей медведя?

— Медведицы, притом такой огромной, каких давно не видывали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут-то было; ударом лапы она откинула рогатину, схватила графа и повалила его на землю так же легко, как я опрокинул бы эту бутылку. Но, не будь глуп, он притворился мертвым... Медведица понюхала его, понюхала, а потом, вместо того чтобы растерзать, лизнула. У него хватило присутствия духа не шелохнуться — и она пошла прочь своей дорогой.

— Медведица приняла его за мертвого. Говорят, что эти звери не трогают трупов.

— Нужно этому верить на слово и воздерживаться от проверки на личном опыте. Но, кстати о страхе, позвольте мне рассказать одну севастопольскую историйку. Мы сидели впятером или вшестером за кувшином пива, позади походного лазарета славного пятого бастиона. Караульный кричит: «Бомба!» Все мы бросились плашмя наземь... впрочем, не все: один из нас по имени... ну, да ни к чему его называть... один молодой офицер, только что к нам прибывший, остался на ногах, с полным стаканом в руке, как раз в тот момент, когда бомба разорвалась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному Андрею Сперанскому, славному малому, и разбила кувшин; к счастью, он был почти пуст. После взрыва мы поднялись и увидели в дыму нашего товарища, который допивал последний глоток пива как ни в чем не бывало. Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю капитана Гедеонова, только что выписавшегося из лазарета. Он говорит мне: «Я обедаю сегодня с вами и, чтобы отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампанское». Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. Около него откупоривают бутылку... Паф! Пробка летит прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался, а если продолжал

тянуть пиво, вместо того чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себе отчета. В самом деле, профессор, машина, называемая человеком...

— Господин доктор! — сказал вошедший в залу слуга.— Жданова говорит, что ее спятельство не желают кушать.

— Черт бы ее подрал! — заворчал доктор.— Иду... Сейчас я накормлю мою чертовку, профессор, а потом, если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыграть с вами в преферанс или в дурачки.

Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что не умею играть в карты, и когда он отправился к своей больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо мадемуазель Гертруде.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь была теплая, и я оставил открытым окно, выходившее в парк. Написав письмо и не чувствуя еще никакой охоты спать, я стал снова пересматривать литовские неправильные глаголы, стараясь в санскрите найти причины их различных неправильностей. Я с головой ушел в эту работу, как вдруг заметил, что кто-то с силой потряс одно из деревьев около моего окна. Послышался треск сухих веток, и мне почудилось, будто какое-то очень тяжелое животное пытается взобраться на дерево. Под живым впечатлением рассказов доктора о медведях я поднялся не без некоторой тревоги и в нескольких шагах от окна, в листве дерева, увидел человеческое лицо, ярко освещенное моей лампой. Явление это продолжалось один момент, но необыкновенный блеск глаз, с которыми встретился мой взгляд, поразил меня несказанно. Я невольно откинулся назад, потом подбежал к окну и строго спросил непрошеного гостя, что ему нужно. Но он тем временем уже начал торопливо спускаться с дерева; ухватившись за толстую ветку, он повиснул на мгновение в воздухе, затем соскочил на землю и тотчас же скрылся. Я позвонил; вошел слуга. Я рассказал ему о случившемся.

— Господину профессору, наверно, почудилось.

— Нет, я уверен в том, что говорю,— возразил я.— Боюсь, не забрался ли в парк вор.

— Этого не может быть, сударь.

— Тогда это кто-нибудь из обитателей замка?

Слуга широко раскрыл глаза и ничего не ответил. Наконец он спросил, не будет ли каких приказаний. Я велел ему затворить окно и лег в постель.

Спал я очень крепко и не видел во сне ни воров, ни медведей. Я заканчивал свой утренний туалет, когда в дверь постучали. Отворив дверь, я увидел перед собой рослого и красивого молодого человека в бухарском халате, с длинной турецкой трубкой в руке.

— Я пришел извиниться, профессор,— сказал он,— за плохой прием, оказанный мною такому почтенному гостю. Я — граф Шемет.

Я поспешил ответить, что, напротив, могу только поблагодарить его почтительнейшим образом за его великолепное гостеприимство, и спросил, избавился ли он от своей мигрени.

— Почти что,— ответил он и прибавил с печальным выражением лица: — До следующего приступа. Прилично ли вас здесь устроили? Не забывайте, что вы находитесь в варварской стране. В Самогитии не приходится быть очень требовательным.

Я уверил его, что чувствую себя превосходно. Разговаривая с ним, я не мог удержаться, чтобы не рассматривать его с несколько беззастенчивым любопытством. В его взгляде было что-то странное, невольно напомнившее мне взгляд человека, которого я накануне видел на дереве.

«Но может ли это быть,— думал я,— чтобы граф Шемет лазил ночью по деревьям?»

У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколько узкий лоб. Черты лица были совершенно правильны, только глаза были слишком близко посажены один к другому, так что, как мне казалось, между их слезными железами не поместился бы еще один глаз, как того требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был проницательный. Наши глаза, помимо нашей воли, несколько раз встречались, и мы оба неизменно отводили их в сторону с некоторым смущением. Вдруг граф, расхохотавшись, воскликнул:

— Да, вы меня узнали!

— Узнал?

— Конечно! Вчера вы поймали меня на большой шалости.

— О, граф!..

— Целый день я сидел, не выходя, у себя в кабинете с головною болью. Вечером мне стало лучше, и я вышел пройтись по саду. Я увидел свет в ваших окнах и не мог сдержать своего любопытства... Конечно, я должен был бы сказать, кто я, и представиться вам, но положение было такое смешное... Мне стало

стыдно, и я удрал... Вы не сердитесь, что я помешал вам работать?

Своим словам он хотел придать шутливый характер, но он краснел, и, очевидно, ему было неловко. Я постарался, как мог, убедить его, что не сохранил ни малейшего неприятного впечатления от этой первой нашей встречи, и, чтобы переменить разговор, спросил, правда ли, что у него есть *Самогитский катехизис* отца Лавицкого.

— Возможно. По правде сказать, я не очень хорошо знаю отцовскую библиотеку. Он любил старинные книги и всякие редкости. А я читаю только современные произведения. Но мы ищем, профессор. Итак, вы хотите, чтобы мы читали Евангелие по-жмудски?

— А разве вы не находите, граф, что перевод Священного писания на местный язык крайне желателен?

— Разумеется. Однако разрешите мне маленькое замечание: среди людей, знающих только жмудский язык, не найдется ни одного грамотного.

— Может быть, но позвольте возразить вам, ваше сиятельство, что главным препятствием к распространению грамотности является именно отсутствие книг. Когда у самогитских крестьян будет печатная книга, они захотят ее прочесть и научатся грамоте. Это уже случалось со многими дикими народами... я, конечно, отнюдь не хочу применять это наименование к здешним жителям... К тому же,— добавил я,— разве не прискорбно, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после себя никаких следов? Вот уже тридцать лет, как прусский язык стал мертвым языком. А недавно умер последний человек, говоривший по-корнийски...

— Печально! — прервал меня граф.— Александр Гумбольдт рассказывал моему отцу, что он видел в Америке попугая, который один только знал несколько слов на языке племени, ныне поголовно вымершего от оспы. Вы разрешите подать чай сюда?

Пока мы пили чай, разговор шел о жмудском языке.

Граф не одобрял способа, каким немцы напечатали литовские книги. И он был прав.

— Ваш алфавит,— говорил он,— не подходит для нашего языка. У вас нет ни нашего *ж*, ни нашего *л*, ни нашего *ы*, ни нашего *ё*. У меня есть собрание дайн, напечатанных в прошлом году в Кенигсберге, и я с большим трудом угадываю слова — так странно они изображены.

— Ваше сиятельство, конечно, имеет в виду дайны, изданные Лесснером?

— Да. Довольно посредственная поэзия, не правда ли?

— Пожалуй, он мог бы найти что-нибудь и получше. Согласен, что сборник этот, в том виде как он есть, представляет интерес чисто филологический. Но я уверен, что если хорошенько поискать, то можно найти и более благоуханные цветы вашей народной поэзии.

— Увы, я очень сомневаюсь в этом, несмотря на весь мой патриотизм.

— Несколько недель тому назад я достал в Вильне действительно превосходную балладу, притом исторического содержания... Ее поэтические достоинства замечательны!.. Вы разрешите мне ее прочесть вам? Она при мне.

— Пожалуйста.

Он попросил у меня позволения курить и глубже уселся в кресло.

— Я чувствую поэзию, только когда курю,— сказал он.

— Баллада называется *Три сына Будрыса.*

— *Три сына Будрыса?* — переспросил граф с некоторым удивлением.

— Да, ваше сиятельство знает лучше меня, что Будрыс — лицо историческое.

Граф пристально посмотрел на меня своим странным взглядом. В нем было что-то непередаваемое, какая-то смесь робости и дикости, производившая на человека непривычного почти тягостное впечатление. Чтобы избежать его, я поспешил начать чтение.

«ТРИ СЫНА БУДРЫСА

Старый Будрыс на дворе своего замка кличет троих сыновей своих, кровных литовцев, как и он. Говорит им:

— Дети! Давайте корм вашим боевым коням, седла готовьте, точите сабли да копья.

Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солнца. Ольгерд пойдет на русских, Скиргелло — на соседей наших, поляков, Кейстут ударит на тевтонов [1].

Вы молоды, сильны и смелы: идите воевать. Да хранят вас литовские боги! На этот раз я не пойду на войну, но дам вам совет: трое вас, и три перед вами дороги.

Один из вас пусть идет с Ольгердом на Русь, к Ильменю-озеру, под стены Новгорода. Там полным-полно горностаевых шкур и узорных тканей. Рублей у купцов — что льду на реке.

[1] Рыцарей тевтонского ордена.

Второй пусть идет с Кейстутовой конною ратью. Крошн крестоносцев-разбойников! Янтаря там — что морского песку, сукна там горят и блестят, других таких не найти. У попов на ризах рубины.

Третий за Неман пусть отправляется вместе с Скиргелло. На том берегу жалкие сохи да плуги. Зато наберет он там добрых коней, крепких щитов и сноху привезет мне. Польские девицы, детки, краше всех полонянок. Резвы, как кошки, белы, как сметана, под темною бровью блестят звездами очи.

Когда я был молод, полвека назад, я вывез из Польши красивую полоняночку, и сделалась она мне женою. Давно ее уж нет, а я все не могу посмотреть в ту сторону, не вспомнив о ней!

Благословил он молодцов, а те уже в седлах, с оружием в руках. Тронулись в путь. Осень приходит, следом за нею зима. Они все не возвращаются. Старый Будрыс уже думает, что они погибли.

Закрутились снежные вихри. Всадник приближается, черной буркой прикрывает драгоценную поклажу.

— Там мешок у тебя? — говорит Будрыс.— Полон, наверно, новгородскими рублями?

— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

В снежном облаке приближается всадник, бурка у него топорщится от драгоценной поклажи.

— Что это, сынок? Немецкий янтарь?

— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

Разыгралась снежная буря. Всадник скачет, под буркой драгоценную хоронит поклажу... Но еще не показал он добычи, как Будрыс уже гостей созывает на третью свадьбу».

— Браво, профессор! — воскликнул граф.— Вы отлично произносите по-жмудски. Но кто вам сообщил эту прелестную дайну?

— Одна девица, с которой я имел честь познакомиться в Вильне у княгини Катажины Пац.

— А как зовут ее?

— Панна Ивинская.

— Панна Юлька! — воскликнул граф.— Ах, проказница! Как я сразу не догадался? Дорогой профессор! Вы знаете жмудский и всякие ученые языки, вы прочитали все старые книги, но вас провела девочка, читавшая одни только романы. Она перевела нам на жмудский язык, и довольно правильно, одну из прелестных баллад Мицкевича, которой вы не читали, потому что она не старше меня. Если угодно, я могу показать вам се

по-польски, а если вы предпочитаете великолепный русский перевод, я вам дам Пушкина.

Признаться, я растерялся. Представляю себе радость дерптского профессора, напечатай я как подлинную дайну эту балладу о сыновьях Будрыса.

Вместо того чтобы позабавиться моим смущением, граф с изысканной любезностью поспешил переменить тему разговора.

— Так что вы знакомы с панной Юлькой? — спросил он.

— Я имел честь быть ей представленным.

— Что вы о ней думаете? Говорите откровенно.

— Чрезвычайно милая барышня.

— Вы говорите это из любезности.

— Очень хорошенькая.

— Гм...

— Ну конечно! Какие у нее чудесные глаза!

— Н-да!..

— И кожа необыкновенной белизны!.. Я вспоминаю персидскую газель, где влюбленный воспевает нежную кожу своей возлюбленной. «Когда она пьет красное вино,— говорит он,— видно, как оно струится в ее горле». Когда я смотрел на панну Ивинскую, мне пришли на память эти стихи.

— Может быть, панна Юлька и представляет собою подобный феномен, но я не слишком уверен, есть ли у нее кровь в жилах... У нее нет сердца!.. Она бела как снег — и как снег холодна!

Он встал и молча принялся ходить по комнате — как мне показалось, для того, чтобы скрыть свое волнение. Вдруг он остановился.

— Простите,— сказал он,— мы говорили, кажется, о народной поэзии...

— Совершенно верно, граф.

— Нужно согласиться все-таки, что она очень мило перевела Мицкевича... «Резва, как кошка... бела, как сметана... блестят звездами очи...» Это ее собственный портрет. Вы согласны?

— Вполне согласен, граф.

— Что же касается до этой проделки... совершенно неуместной, разумеется... то ведь бедная девочка ужасно скучает у своей старой тетки. Она живет как в монастыре.

— В Вильне она выезжала в свет. Я видел ее на полковом балу.

— Да, молодые офицеры — вот подходящее для нее общество. Посмеяться с одним, позлословить с другим, кокетничать

со всеми... Не угодно ли вам посмотреть библиотеку моего отца, профессор?

Я последовал за ним в большую галерею, где находилось много книг в прекрасных переплетах, но, судя по пыли, покрывавшей их обрезы, открывались они редко. Можете судить о моем восторге, когда одним из первых томов, вынутых мною из шкафа, оказался *Catechismus Samogiticus!* Я не мог сдержаться и испустил радостный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таинственная сила притяжения, которую мы сами не сознаем... Граф взял книгу, небрежно перелистал ее и надписал на переднем чистом листе: «Профессору Виттенбаху от Михаила Шемета». Не могу выразить словами, как я был восхищен и тронут подарком; я мысленно дал обещание, что после моей смерти драгоценная книга эта послужит украшением библиотеки университета, где я обучался.

— Смотрите на эту библиотеку как на ваш рабочий кабинет,— сказал мне граф,— здесь вам никто не будет мешать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующий день после завтрака граф предложил мне прогуляться. Он собирался посетить со мной один *капас* (так называют литовцы могильные холмы, известные в России под названием курганов), весьма известный в округе, так как в древности у него сходились в некоторых торжественных случаях поэты и колдуны (это было тогда одно и то же).

— Могу предложить вам очень спокойную лошадь,— сказал граф.— К сожалению, туда нельзя проехать в коляске: дорога такая, что ее не выдержит ни один экипаж.

Я бы предпочел остаться в библиотеке и делать выписки, но, не считая себя вправе противоречить желаниям моего гостеприимного хозяина, согласился. Лошади ждали нас у крыльца. Во дворе слуга держал собаку на сворке. Граф остановился на минуту и, обернувшись ко мне, спросил:

— Вы знаете толк в собаках, профессор?

— Очень мало, ваше сиятельство.

— Зоранский староста — у меня есть там земля — прислал мне этого спаньеля, о котором он рассказывает чудеса. Разрешите мне посмотреть его?

Он кликнул слугу и тот подвел собаку. Это было великолепное животное. Собака уже привыкла к слуге и весело пры-

гала, живая, как огонь. Но в нескольких шагах от графа она вдруг поджала хвост и стала пятиться, словно на нее напал внезапный страх. Граф погладил собаку — она жалобно завыла. Посмотрев на нее с минуту глазом знатока, граф сказал:

— Думаю, будет хорошая собака. Взять ее на псарню!

И он вскочил на коня.

— Профессор! — обратился ко мне граф, когда мы выехали на въездную аллею замка.— Вы, конечно, заметили, как испугалась меня собака. Я хотел, чтобы вы это видели своими глазами... В качестве ученого вы должны уметь разгадывать загадки. Почему животные меня боятся?

— Вы, граф, оказываете мне много чести, принимая меня за Эдипа. Я просто скромный профессор сравнительного языкознания. Быть может...

— Заметьте,— прервал он меня,— что я никогда не бью ни лошадей, ни собак. Меня бы мучила совесть, если бы я ударил хлыстом бедное животное, не сознающее своих проступков. А между тем вы не поверите, какое отвращение внушаю я лошадям и собакам. Чтобы приручить их, мне требуется вдвое больше труда и времени, чем кому-либо другому. Например, вот эта лошадь, на которой вы едете,— сколько времени бился я с ней, чтоб ее объездить! А теперь она кротка, как ягненок.

— Мне думается, граф, что животные — хорошие физиономисты и что они сразу замечают, любит их человек, которого они видят в первый раз, или нет. Я подозреваю, что вы цените животных только за ту пользу, которую можно извлечь из них. Между тем есть люди, от природы имеющие пристрастие к определенным животным, и те это сейчас же замечают. У меня, например, с детства какая-то инстинктивная любовь к кошкам. Редко бывает, чтобы кошка убежала, когда я хочу приласкать ее, и еще ни разу ни одна кошка меня не оцарапала.

— Весьма возможно,— сказал граф.— Действительно, у меня нет того, что называется пристрастием к животным... Они не лучше людей... Я вас везу в лес, где сейчас в полном расцвете звериное царство, в *маточник,* великое лоно, великое горнило жизни. По нашим народным преданиям, никто еще не изведал его глубин, никто не мог проникнуть в сердцевину этих лесов и болот, исключая, конечно, господ поэтов и колдунов, которым нет преград. Там республика зверей или конституционная монархия — не сумею сказать, что именно. Львы, медведи, лоси, зубры (наши бизоны) — все это зверье мирно живет вместе. Мамонт, сохранившийся там, пользуется особенным уважением. Кажется, он у них председатель сейма. У них

строжайший полицейский надзор, и если кто-нибудь провинится, его судят и подвергают изгнанию. Виновное животное попадает тогда из огня да в полымя. Оно принуждено бежать в человеческие области. И не многие это выносят [1].

— Прелюбопытное сказание! — воскликнул я.— Но вы упомянули о зубре. Действительно ли это благородное животное, которое описано Цезарем в его *Записках* и на которое охотились меровингские короли в Компьенском лесу, еще водится, как я слышал, в Литве?

— Безусловно. Отец мой собственноручно убил одного зубра, конечно, с разрешения правительства. Вы могли видеть его голову в большом зале. Сам я не встречал зубров ни разу; думаю, что они чрезвычайно редки. Зато у нас тут полным-полно волков и медведей. Предвидя возможность встретиться с одним из этих господ, я взял с собой этот инструмент (он указал на ружье в черкесском чехле, висевшее у него за плечами), а у моего конюшего за седлом двустволка.

Мы начали углубляться в чащу. Вскоре узкая тропинка, по которой мы ехали, пропала. Ежеминутно приходилось объезжать огромные деревья, низкие ветви которых преграждали нам путь. Некоторые из них, засохшие от старости, свалились на землю, образовав словно вал с колючими заграждениями, переправиться через который не представлялось возможности. Местами нам попадались глубокие болота, покрытые водяными лилиями и ряской. Дальше встречались лужайки, где трава сверкала как изумруд. Но горе тому, кто ступил бы на них: богатая и обманчивая растительность их обыкновенно прикрывает топи, готовые поглотить навеки и коня и всадника. Из-за трудной дороги мы должны были прервать беседу. Я изо всех сил старался не отставать от графа и удивлялся, с какою безошибочной точностью, без компаса, держал он правильное направление, которого следовало держаться, чтобы добраться до *капаса*. Очевидно, он с давних пор охотился в этих дебрях.

Наконец мы увидели холм посреди обширной поляны. Он был довольно высок, окружен рвом, который еще можно было явственно различить, несмотря на кустарники и обвалы. По-видимому, здесь уже производились раскопки. На вершине я заметил остатки каменного строения; некоторые камни были обожжены. Большое количество золы, перемешанной с углем, и валявшиеся там и сям осколки грубой глиняной посуды свидетельствовали, что на вершине кургана в течение долгого вре-

[1] См. *Пан Тадеуш* Мицкевича и *Плененная Польша* Шарля Эдмона.

мени поддерживали огонь. Если верить народным преданиям, некогда на *капасах* происходили человеческие жертвоприношения. Но ведь любой из угасших религий приписывают эти ужасные обряды, и я сомневаюсь, чтобы подобное мнение о древних литовцах можно было подтвердить историческими свидетельствами.

Мы уже спускались с холма и собирались сесть на наших лошадей, которых оставили по ту сторону рва, как вдруг увидели, что навстречу нам идет какая-то старуха с клюкой и с корзиной на руке.

— Добрые господа! — сказала она, поравнявшись с нами.— Подайте милостыньку, Христа ради. Подайте на шкалик, чтобы согреть мое старое тело.

Граф бросил ей серебряную монету и спросил, что она делает в лесу, так далеко от жилья. Вместо ответа она указала на корзину, полную грибов. Хотя мои познания в ботанике весьма ограниченны, все же мне показалось, что бóльшая часть этих грибов была ядовитой породы.

— Надеюсь, матушка,— сказал я,— вы не собираетесь их есть?

— Эх, барин! — отвечала старуха с печальной улыбкой.— Бедные люди едят, что бог пошлет.

— Вы не знаете наших литовских желудков,— заметил граф,— они луженые. Наши крестьяне едят все грибы, какие им попадаются, и чувствуют себя отлично.

— Скажите ей, чтоб она не ела хоть этого *agaricus necator* [1], который я вижу у нее в корзине! — воскликнул я.

И я протянул руку, чтобы выбросить один из самых ядовитых грибов, но старуха проворно отдернула корзину.

— Берегись! — сказала она голосом, полным ужаса.— Они у меня под охраной... Пиркунс! Пиркунс!

Надо вам сказать, что «Пиркунс» — самогитское название божества, которое русские почитали под именем Перуна; это славянский Юпитер-громовержец. Меня удивило, что старуха призывает языческого бога, но еще больше изумился я, увидев, что грибы начали приподниматься. Черная змеиная голова показалась из-под них и высунулась из корзины, по крайней мере, на фут. Я отскочил в сторону, а граф сплюнул через плечо по суеверному обычаю славян, которые, подобно древним римлянам, верят, что таким способом можно отвратить влияние колдовских сил. Старуха поставила корзину на землю, присела

[1] Смертоносный агарик *(лат.)* — одна из пород ядовитых грибов.

около нее на корточки и, протянув руку к змее, произнесла несколько непонятных слов, похожих на заклинание. С минуту змея оставалась недвижимой, затем обвилась вокруг костлявой руки старухи и исчезла в рукаве бараньего полушубка, который вместе с дырявой рубашкой составлял, по-видимому, весь костюм этой литовской Цирцеи. Старуха посмотрела на нас с торжествующей усмешкой, как фокусник, которому удалась ловкая проделка. Лицо ее выражало и хитрость и тупость, что нередко встречается у так называемых колдунов, по большей части одновременно и простофиль и плутов.

— Вот,— сказал мне граф по-немецки,— образчик *местного колорита:* колдунья зачаровывает змею у подножия кургана в присутствии ученого профессора и невежественного литовского дворянина. Это могло бы послужить неплохим сюжетом для жанровой картины вашему соотечественнику Кнаусу... Хотите, чтобы она вам погадала? Прекрасный случай.

Я ответил, что ни под каким видом не стану поощрять подобное занятие.

— Лучше я спрошу ее,— сказал я,— не может ли она что-либо рассказать относительно любопытного поверья, о котором вы мне только что сообщили. Матушка! — обратился я к старухе.— Не слыхала ли ты чего насчет уголка этого леса, где звери будто бы живут дружной семьей, не зная людской власти?

Старуха утвердительно кивнула головой и ответила со смехом, простодушным и вместе с тем лукавым:

— Я как раз оттуда иду. Звери лишились царя. *Нобль,* лев, помер; они будут выбирать нового царя. Поди, попробуй,— может, тебя выберут.

— Что ты, матушка, городишь? — воскликнул со смехом граф.— Знаешь ли ты, с кем говоришь? Ведь барин (как бы это сказать по-жмудски: «профессор»?)... барин великий ученый, мудрец, *вайделот* [1].

Старуха внимательно на него посмотрела.

— Ошиблась,— сказала она,— это тебе надо идти туда. Тебя выберут царем, не его. Ты большой, здоровый, у тебя есть когти и зубы...

— Как вам нравятся эпиграммы, которыми она нас осыпает? — обратился ко мне граф.— А дорогу туда ты знаешь, бабушка? — спросил он у нее.

Она показала рукой куда-то в сторону леса.

---

[1] Дурной перевод слова «профессор». Вайделоты были литовскими бардами.

— Вот как? — воскликнул граф.— А болота? Как же ты через них перебралась? Должен сказать вам, профессор, что в тех местах, куда она указывает, находится непролазное болото, целое озеро жидкой грязи, покрытое зеленой травой. В прошлом году раненный мною олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она медленно, медленно засасывала его... Минуты через две от него были видны только рога, а вскоре и они исчезли, да еще две мои собаки в придачу.

— Я ведь не тяжелая,— сказала старуха, хихикая.

— Тебе, я думаю, не стоит никакого труда перебираться через болота — верхом на помеле.

Злобный огонек мелькнул в глазах старухи.

— Добрый барин! — снова заговорила она тягучим и гнусавым голосом нищенки.— Не дашь ли табачку покурить бедной старушке? Лучше бы тебе,— добавила она, понизив голос,— в болоте броду искать, чем ездить в Довгеллы.

— В Довгеллы? — вскричал граф, краснея.— Что ты хочешь сказать?

Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайное действие. Он явно смутился, опустил голову и, чтобы скрыть свое замешательство, долго возился, открывая кисет, привязанный к рукоятке охотничьего ножа.

— Нет, не езди в Довгеллы,— повторила старуха.— Голубка белая не для тебя. Верно я говорю, Пиркунс?

В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученная, без сомнения, таким штукам, гадина зашевелила челюстями, будто шептала что-то.

— Он говорит, что моя правда,— добавила старуха.

Граф сунул ей в руку горсть табаку.

— Ты знаешь, кто я такой? — спросил он.

— Нет, добрый барин.

— Я — помещик из Мединтильтаса. Приходи ко мне на днях. Я дам тебе табаку и водки.

Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задумчивым; он то завязывал, то развязывал шнурки своего кисета и не отдавал себе отчета в том, что делает.

— Вы будете надо мной смеяться, профессор,— начал он после долгого молчания.— Эта подлая старуха гораздо лучше знает меня, чем она уверяет, и дорога, которую она мне только что показала... В конце концов тут нечему удивляться. Меня в этих краях решительно все знают. Мошенница не раз видела

меня по дороге к замку Довгеллы... Там есть девушка-невеста; она и заключила, что я влюблен в нее... Ну, а потом, какой-нибудь красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне несчастье... Это совершенно очевидно. И все-таки... ее слова, помимо моей воли, меня волнуют. Они почти пугают меня... Вы смеетесь, и вы правы... Дело в том, что я хотел поехать в замок Довгеллы к обеду, а теперь я колеблюсь... Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор. Ехать нам или не ехать?

— Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение,— ответил я со смехом.— В брачных делах я плохой советчик.

Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводья, воскликнул:

— Пусть лошадь за нас решает!

Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы.

На стук копыт наших лошадей хорошенькая белокурая головка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича.

— Добро пожаловать,— сказала она.— Вы приехали как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая я в нем красивая.

Занавески задернулись. Подымаясь на крыльцо, граф пробормотал сквозь зубы:

— Уверен, что эту обновку она надевает не для меня...

Он представил меня г-же Довгелло, тетке панны Ивинской; она приняла меня чрезвычайно любезно и завела разговор о моих последних статьях в *Кенигсбергской научно-литературной газете*.

— Профессор приехал пожаловаться вам на панну Юлиану, сыгравшую с ним очень злую шутку,— сказал граф.

— Она еще ребенок, профессор; вы должны ее простить. Часто она приводит меня в отчаяние своими шалостями. Я в шестнадцать лет была рассудительнее, чем она в двадцать. Но, в сущности, она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасная музыкантша, чудесно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски... Вышивает...

— И пишет стихи по-жмудски! — добавил со смехом граф.

— На это она не способна! — воскликнула г-жа Довгелло.

Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы.

Госпожа Довгелло была образованна и знала древности своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, время пролетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская, но графу Шемету оно показалось очень длинным; он то вставал, то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальцами по стеклу, как человек, теряющий терпение.

Наконец через три четверти часа в сопровождении гувернантки-француженки появилась панна Юлиана. В своем новом платье, описание которого потребовало бы специальных знаний, каковыми я не обладаю, она выступала с грацией и с некоторой гордостью.

— Ну что, разве я не хороша? — спросила она графа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со всех сторон.

Сама она не глядела ни на графа, ни на меня; она глядела только на свое платье.

— Что это значит, Юлька?— сказала г-жа Довгелло.— Ты не здороваешься с профессором? А ведь он на тебя жалуется!

— Ах, профессор,— воскликнула девушка с очаровательной гримаской,— что же я такое сделала! Вы хотите наложить на меня епитимью?

— Мы сами на себя наложили бы епитимью, если бы лишили себя вашего общества,— ответил я ей.— Я совсем не собираюсь жаловаться на вас; напротив, я в восторге оттого, что благодаря вам узнал о новом и блестящем возрождении литовской музы.

Она склонила голову и закрыла лицо руками, стараясь, однако, не испортить свою прическу.

— Простите, я больше не буду! — проговорила она тоном ребенка, который тайком полакомился вареньем.

— Нет, я не прощу вас, дорогая панна,— сказал я ей,— пока вы не исполните одного обещания, данного мне в Вильне у княгини Катажины Пац.

— Какого обещания? — спросила она, поднимая голову со смехом.

— Вы уже позабыли? Вы мне обещали, что, если мы встретимся в Самогитии, вы мне покажете какой-то народный танец, который вы очень расхваливали.

— А, *русалку?* Я чудесно ее танцую, и вот как раз подходящий кавалер.

Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитр фортепьяно и обратилась к своей гувернантке:

— Душенька, сыграйте это! *Allegro presto* [1].

Не присаживаясь, она сама проиграла ритурнель, чтобы дать темп.

— Пойдите сюда, граф Михаил; как истый литовец, вы должны хорошо плясать *русалку*... Но только, слышите: извольте плясать ее по-деревенски!

Госпожа Довгелло пыталась протестовать, но напрасно. Граф и я, мы оба настаивали. У него были на то свои причины, так как его роль в этом танце, как вы сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав несколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень странным. Панна Ивинская, отодвинув стулья и стол, чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за воротник и потащила на середину залы.

— Имейте в виду, профессор, что я, с вашего позволения, изображаю русалку.

Она низко присела.

— Русалка — это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко, не то вынырнет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там, уж наверно, загрызет вас...

— Да это настоящая сирена! — воскликнул я.

— Он,— продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета,— молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцуя вокруг него... Да, но чтобы все было по правилам, мне нужен *сарафан!* Какая досада!.. Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм, без местного колорита... Вдобавок еще я в туфельках! Невозможно танцевать *русалку* в туфельках... да еще на каблуках.

Она приподняла платье и, весьма грациозно тряхнув красивой маленькой ножкой, не без риска показать икру, отправила одну из туфелек в дальний угол гостиной. За первой туфлей последовала вторая, и панна Ивинская осталась на паркете в шелковых чулках.

— Готово,— сказала она гувернантке.

И танец начался.

---

[1] В быстром темпе *(итал.)*.

Русалка носится вокруг своего кавалера. Он простирает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ними и ускользает. Все это прелестно, музыка полна движения и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, что, когда кавалер думает уже схватить русалку и поцеловать, она, сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он падает к ее ногам как мертвый... Но граф придумал другой конец, он сжал проказницу в своих объятиях и поцеловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила легкий крик, густо покраснела и упала на диван, надувши губки и жалобно восклицая, что он сжал ее, как настоящий медведь, а он, мол, такой и есть. Я заметил, что такое сравнение не понравилось графу, так как напоминало ему о семейном несчастье; чело его омрачилось. Зато я от души поблагодарил панну Ивинскую и расхвалил ее танец,— на мой взгляд, танец был в античном вкусе и напоминал греческие священные пляски. Мою речь прервало появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вельяминовых. Панна Ивинская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно сунула в них ножки и побежала встречать княгиню, сделав перед гостьей один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что при каждом из них она ловко оправляла туфельки на ногах.

Генерал привез с собой двух адъютантов и, подобно нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что во всякой другой стране хозяйка дома была бы нéмного смущена нежданным посещением шести проголодавшихся гостей, но запасливость и гостеприимство в литовских семьях таковы, что наш обед не запоздал, кажется, и на полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких пирогов, и горячих и холодных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам чрезвычайно интересные подробности относительно кавказских языков, из коих одни принадлежат к *арийской,* а другие к *туранской* группе, хотя между различными тамошними народностями существует значительное сходство в нравах и обычаях. Да и меня самого заставили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духовное лицо, ни профессора, который столь легко мог бы перенести такой большой путь, какой мы проделали сегодня. Я должен был

объяснить, что, имея поручение от Библейского общества изучить наречие *чарруа,* я провел три с половиной года в Уругвайской республике, почти не слезая с лошади и живя в пампасах среди индейцев. Между прочим, пришлось мне упомянуть и о том, как, проплутав однажды трое суток в бесконечных степях, не имея чем утолить голод и жажду, я должен был последовать примеру сопровождавших меня *гаучо,* а именно — вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь.

Все дамы вскрикнули от ужаса. Генерал заметил, что калмыки в подобных крайностях поступают так же. Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток.

— Морально,— ответил я,— он вызвал во мне глубокое отвращение, но физически он мне очень помог, и ему я обязан тем, что имею честь обедать сегодня здесь. Многие европейцы (я хочу сказать — белые), которые долго жили среди индейцев, к нему привыкают и даже входят во вкус. Мой дорогой друг, дон Фруктуосо Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как однажды, направляясь в полной парадной форме на конгресс, он проезжал мимо *ранчо,* где пускали кровь жеребенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил *чупон,* то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей.

— Ваш президент — мерзкое чудовище! — воскликнула панна Ивинская.

— Простите, дорогая панна,— возразил я ей,— это человек отлично воспитанный и выдающегося ума. Он превосходно владеет несколькими индейскими наречиями, чрезвычайно трудными; в особенности это касается языка *чарруа,* в котором глагол имеет бесчисленное количество форм в зависимости от переходного или непереходного его употребления и даже в зависимости от общественного положения разговаривающих.

Я собирался привести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке *чарруа,* но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее крови.

— Ради бога, дорогой мой профессор,— воскликнула с притворным ужасом панна Ивинская,— не говорите ему! Он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съесть нас.

После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. Мы все хотели

пойти вместе с ним, но нам было объявлено, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодисменты.

— Панна Юлька проказит,— заметил граф.

Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова аплодисменты. Затем наступил мой черед. Когда я входил в гостиную, я увидел на всех лицах серьезное выражение, не предвещавшее ничего хорошего. Я приготовился к какой-нибудь каверзе.

— Профессор! — обратился ко мне генерал самым официальным тоном.— Наши дамы находят, что мы оказали слишком большое внимание шампанскому, и соглашаются допустить нас в свое общество не иначе, как подвергнув предварительно некоторому испытанию. Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными глазами с середины комнаты до этой стены и дотронуться до нее пальцем. Задача, как видите, несложная, надо только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по прямой линии?

— Думаю, что да, генерал.

Панна Ивинская тотчас накинула мне на глаза носовой платок и крепко-накрепко завязала его на затылке.

— Вы стоите посреди гостиной,— сказала она.— Протяните руку... Так! Бьюсь об заклад, что вам не дотянуться до стенки.

— Шагом марш! — скомандовал генерал.

Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, державшую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стенки. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с бо́льшим успехом, чем я.

Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно резвилась. Насмешливая, проказливая, она избирала жертвой своих шуток то одного из нас, то другого. Я все же заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, который, надо сказать, нисколько на это не обижался и, казалось, находил даже удовольствие в том, что она его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала

на одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как глаза его загорались мрачным огнем, в котором действительно было что-то наводящее страх. «Резва, как кошка, бела, как сметана». Мне казалось, что этими словами Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Разошлись мы поздно. Во многих знатных литовских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но там не найдется, как в нашей милой Германии, хорошего пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бедняк, дворянин или крестьянин, славянин отлично может уснуть и на голых досках. Поместье Довгеллы не составляло исключения из общего правила. В комнате, которую отвели нам с графом, стояло только два кожаных дивана. Меня это не испугало, так как во время моих странствий мне нередко приходилось спать на голой земле, и воркотня графа насчет недостаточной цивилизованности его соотечественников меня даже позабавила. Слуга стащил с нас сапоги и подал халаты и туфли. Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по комнате, потом остановился перед диваном, на котором я уже растянулся, и спросил:

— Как вам понравилась Юлька?

— Очаровательна.

— Да, но какая кокетка!.. Как, по-вашему, ей действительно нравится тот блондинчик-капитан?

— Адъютант?.. Откуда мне знать?

— Он фат... и потому должен нравиться женщинам.

— Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я вам скажу правду? Панна Ивинская гораздо больше хочет нравиться графу Шемету, чем всем адъютантам, вместе взятым.

Он покраснел и ничего не ответил, но мне казалось, что слова мои были ему очень приятны. Он еще немного походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и сказал:

— Ну, надо ложиться. Уже поздно.

Он взял свое ружье и охотничий нож, который принесли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вынул ключ.

— Пожалуйста, спрячьте его,— сказал он, к величайшему моему удивлению, протягивая мне ключ,— я могу позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня.

— Лучшее средство не забыть оружия,— заметил я,— это положить его на стол возле вашего дивана.

— Нет... Говоря откровенно, я не люблю иметь подле себя оружие, когда я сплю... И вот почему. Когда я служил в гродненских гусарах, мне как-то пришлось ночевать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, и пуля пролетела в двух вершках от головы моего товарища... Я так и не мог вспомнить, что мне пригрезилось.

Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не получу пулю в голову, в этом я был уверен; но, глядя на высокий рост и геркулесовское сложение моего спутника, на его мускулистые, поросшие черными волосами руки, я должен был признать, что ему ничего не стоило бы задушить меня этими руками, если ему пригрезится что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, поставив свечку на стул возле моего дивана, стал читать *Катехизис* Лавицкого, который захватил с собою. Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись раз пять или шесть с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал, хотя принял такую позу, как поминаемый у Горация спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен:

...Turpi clausus in arca,
Contractum genibus tangas caput [1]

Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он избрал, засыпая. Так прошло, может быть, с час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я улегся поудобнее, как вдруг странный смех моего соседа заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых уст вырывались невнятные слова:

— Свежа!.. Бела!.. Профессор сам не знает, что говорит... Лошадь никуда не годится... Вот лакомый кусочек!..

Тут он принялся грызть подушку, на которой лежала его голова, и в то же время так громко зарычал, что сам проснулся.

Я не двигался на своем диване и притворился спящим. Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер глаза, печально

---

[1] Запертый в позорный сундук, где колени мои соприкасались с втянутой в плечи головой *(лат.)*.

вздохнул и почти целый час не менял позы, погруженный, повидимому, в раздумье. Мне было очень не по себе, и я решил, что никогда не буду ночевать в одной комнате с графом. В конце концов, усталость все же превозмогла мое беспокойство, и, когда утром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После завтрака мы вернулись в Мединтильтас. Оставшись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что считаю графа больным, что у него бывают кошмары, что он, быть может, лунатик и в этом состоянии может оказаться небезопасным.

— Я все это заметил,— отвечал мне доктор.— При своем атлетическом телосложении он нервен, как хорошенькая женщина. Может статься, это у него от матери... Утром она была чертовски зла... Я не очень-то верю рассказам об испугах и капризах беременных женщин, но достоверно, что графиня страдает манией, а маниакальность может передаваться по наследству...

— Но граф в полном рассудке,— возразил я.— У него здравые суждения, он образован, признаюсь, гораздо более, чем я ожидал; он любит читать...

— Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями сидит запершись у себя в комнате; нередко бродит по ночам, читает какие-то невероятные книги... немецкую метафизику... физиологию... бог знает что. Еще вчера ему прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря начистоту, Геркулес нуждается в Гебе. Тут есть очень хорошенькие крестьянки... В субботу вечером, побывавши в бане, они сойдут за принцесс... Любая из них не отказалась бы развлечь барина. В его годы да чтоб я, черт возьми!.. Но у него нет любовницы, и он не женится... Напрасно! Ему необходима «разрядка».

Грубый материализм доктора оскорблял меня до последней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, что от всей души желаю графу Шемету найти достойную его супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от доктора о склонности графа к философским занятиям. Чтобы этот гусарский офицер и страстный охотник интересовался метафизикой и физиологией — это никак не укладывалось у меня в голове. А между тем доктор говорил правду, и я в тот же день имел случай убедиться в этом.

— Как вы объясняете, профессор, —вдруг спросил меня граф к концу обеда,— да, как вы объясняете *дуализм,* или *двойственность,* нашей природы?

Видя, что я не совсем понимаю его вопрос, он продолжал:

— Не случалось ли вам, оказавшись на вершине башни или на краю пропасти, испытывать одновременно искушение броситься вниз и совершенно противоположное этому чувство страха?..

— Это можно объяснить чисто физическими причинами,— сказал доктор.— Во-первых, утомление, которое вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к мозгу, который...

— Оставим кровь в покое, доктор,— нетерпеливо вскричал граф,— возьмем другой пример. У вас в руках заряженное ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысль об убийстве вызывает в вас величайший ужас, а между тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в голову в продолжении одного часа... я думаю, что если бы записать все ваши мысли, профессор,— а я вас считаю мудрецом,— то они составили бы целый фолиант, на основании которого, быть может, любой адвокат добился бы опеки над вами, а любой судья засадил вас в тюрьму или же в сумасшедший дом.

— Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над таинственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени. Но если бы случайно мне в это время пришла в голову другая мысль, в чем заключалась бы моя вина? Я не более ответствен за свои мысли, чем за те внешние обстоятельства, которые их вызывают. Из того, что у меня возникает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее осуществлять или хотя бы принял такое решение. Мне никогда не приходила в голову мысль убить человека, но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, чтобы отогнать ее!

— Вы так уверенно говорите о разуме! Но разве он всегда, как вы утверждаете, на страже, чтобы руководить нашими поступками? Для того чтобы разум заговорил в нас и заставил себе повиноваться, нужно поразмыслить,— следовательно, необходимы время и спокойствие духа. А всегда ли вы располагаете тем и другим? В сражении я вижу, что на меня летит ядро; я отстраняюсь и этим открываю своего друга, ради

которого я охотно отдал бы свою жизнь, будь у меня время для размышления...

Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях человека и христианина, о долге нашем подражать воину из Священного писания, всегда готовому к бою; наконец я ему указал, что, непрестанно борясь со своими страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его.

Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побывали в Довгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, панна Ивинская резвилась и вела себя балованным ребенком. Графа она завораживала, и я не сомневался, что он влюблен в нее по уши. Вместе с тем он вполне сознавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко всему, что не составляло для нее предмета забавы. Часто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душевное страдание, но стоило ей проявить к нему малейшую ласку, как он все забывал, его лицо озарялось, и он сиял от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в последний раз съездить с ним в Довгеллы — может быть, потому, что я занимал разговором тетку, пока он гулял по саду с племянницей. Но у меня было еще много работы, и, как он ни настаивал, я должен был, извинившись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настроении. Время от времени брови его сдвигались, и глаза приобретали зловещее выражение. Когда доктор оставил нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной в мою комнату и высказал все, что было у него на душе.

— Я очень жалею,— говорил он,— что покинул вас и поехал к этой сумасбродке,— она смеется надо мной и интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено; мне все это глубоко опротивело, и я больше не буду с ней встречаться.

Он по привычке походил некоторое время взад и вперед по комнате, затем продолжал:

— Вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? Доктор, дурак, уверен в этом. Нет, я никогда не любил ее. Меня занимало ее смеющееся личико... Я любовался ее белой кожей... Вот и все, что есть в ней хорошего... особенно кожа... Ума — никакого. Я никогда не видел в ней ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно смотреть, когда скучно и

нет под рукой новой книги... Конечно, ее можно назвать красавицей... Кожа у нее чудесная... А скажите, профессор, кровь, что течет под этой кожей, наверно, будет получше лошадиной крови? Как вы думаете?

И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не по себе.

На следующий день я распрощался с ним и отправился продолжать свои изыскания в северной части палатината.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Занятия мои продолжались около двух месяцев, и могу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где я бы не побывал и не собрал каких-нибудь материалов. Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и поблагодарить жителей этой области, в особенности духовных лиц, за то поистине заботливое содействие, которое они оказали моим исследованиям, и за те превосходные добавления, которыми они обогатили мой словарь.

После недельного пребывания в Шавлях я намеревался отправиться в Клайпеду (порт, который мы называем Мемелем), чтобы оттуда морем вернуться домой, как вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, доставленное мне его егерем:

«Господин профессор!

Разрешите мне написать Вам по-немецки. Я бы наделал еще больше ошибок, если бы стал писать Вам по-жмудски, и Вы потеряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли Вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я собираюсь Вам сообщить, вряд ли его увеличит. Без дальних слов — я женюсь, и Вы догадываетесь, на ком. «Юпитер смеется над клятвами влюбленных». Так же поступает и Пиркунс, наш самогитский Юпитер. Итак, я женюсь 8-го числа ближайшего месяца на панне Юлиане Ивинской. Вы будете любезнейшим из смертных, если приедете к нам на свадьбу. Все крестьяне из Мединтильтаса и окрестных деревень соберутся на праздник и будут до отвала наедаться говядиной и свининой, а когда напьются, то будут танцевать на лужке справа от известной Вам аллеи. Вы увидите костюмы и обычаи, достойные Вашего внимания. Своим приездом Вы

доставите мне громадное удовольствие и Юлиане тоже. Добавлю, что Ваш отказ поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как Вам известно, мы с моей невестой исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в тридцати милях отсюда, прикован к месту подагрой. Смею надеяться, что Вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверения, дорогой профессор, в искренней моей преданности.

Михаил Шемет»

В конце письма в виде постскриптума было прибавлено довольно изящным женским почерком по-жмудски:

«Я литовская муза, пишу по-жмудски. Со стороны Михаила было дерзостью сомневаться в том, что Вы одобрите его выбор. И правда, нужно быть такой безрассудной, как я, чтобы согласиться выйти за него. 8-го числа ближайшего месяца, господин профессор, Вы увидите довольно *шикарную* новобрачную. Это уже не по-жмудски, а по-французски. Только не будьте рассеянны во время церемонии».

Ни письмо, ни постскриптум мне не понравились. Я находил, что жених и невеста высказывают непростительное легкомыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого количества дворян, которые съедутся в замок Мединтильтас, я встречу людей образованных, которые снабдят меня полезными сведениями. Мой жмудский словарь был уже достаточно богат, но значение многих слов, которые я слышал от простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне ясным.

Всех этих соображений, взятых вместе, было достаточно, чтобы заставить меня принять приглашение графа, и я ответил ему, что утром 8-го числа прибуду в Мединтильтас. И как же мне пришлось в этом раскаяться!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Подъезжая к замку, я заметил множество дам и господ в утренних туалетах; некоторые расположились на террасе около крыльца, некоторые разгуливали по аллеям парка. Двор был полон крестьян в воскресных нарядах. Вид у замка был

праздничный: всюду цветы, гирлянды зелени, флаги, венки. Управляющий провел меня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не может предложить мне лучшей. В замок наехало столько гостей, что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимал в мой первый приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна: она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешил облачиться, чтобы обвенчать жениха и невесту. Но ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Им уже давно пора было приехать, но туалет невесты — дело не такое простое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда, а те, кто боится проголодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у специально устроенного буфета, уставленного всякими пирогами и крепкими напитками. Когда люди долго чего-нибудь ждут, они непременно начинают злословить. Две мамаши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, изощрялись в насмешках над невестой.

Было уже за полдень, когда приветственный залп холостых ружейных выстрелов возвестил о ее прибытии, и вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкою великолепных лошадей. Лошади были в мыле; нетрудно было догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, г-жа Довгелло и граф. Он сошел и подал руку г-же Довгелло. Панна Ивинская сделала движение, полное грации и детского кокетства, будто она хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устремленных на нее со всех сторон. Тем не менее она привстала в коляске и хотела опереться на руку графа, как вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дождем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или вдруг почувствовав ужас, который граф Шемет внушал животным, заржали и встали на дыбы; колесо задело за камень у крыльца; казалось, что несчастье неотвратимо. Панна Ивинская слегка вскрикнула... И вдруг все успокоились. Схватив ее на руки, граф взбежал с ней на крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все аплодировали его ловкости и рыцарской галантности. Крестьяне бешено кричали «Виват!», а невеста, вся зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей его толпе...

Внезапно на крыльце показалась высокая, бледная, исхудавшая женщина; одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Никто не заметил, откуда она появилась.

— Медведь!..— пронзительно закричала она.— Медведь! Хватайте ружье!.. Он тащит женщину! Убейте его! Стреляйте! Стреляйте!

То была графиня. Приезд молодой привлек всех на крыльцо, во двор, к окнам замка. Даже женщины, присматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязанностях; оставшись без присмотра, она проскользнула на крыльцо и явилась никем не замеченная среди нас. Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмотря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не знали об ее болезни. Пришлось им объяснять. Гости долго еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. «Дурной знак!» — говорили люди суеверные, а таких в Литве немало.

Между тем панна Ивинская попросила себе пять минут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату,— процедура эта длилась добрый час. За это время лица, не знавшие о болезни графини, успели расспросить людей, осведомленных о причине и всех подробностях ее недуга.

Наконец невеста появилась в великолепном уборе, осыпанная бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим. Когда же наступило время идти в церковь, вдруг, к моему великому изумлению, г-жа Довгелло в присутствии всего общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те, внимание которых в эту минуту было отвлечено, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления; только какой-то человек, одетый в черное, записал что-то на принесенном им листе бумаги, а некоторые из присутствующих с видом полнейшего равнодушия дали свою подпись. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие означало. Если бы я знал об этом заранее, я не преминул бы возвысить свой голос священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода на том основании, что будто бы бракосочетание состоялось лишь вследствие физического принуждения, примененного к одной из сочетающихся сторон.

Совершив обряд, я счел своим долгом обратиться с несколькими словами к юной чете с целью вразумить их относительно всей важности и святости соединивших их обязательств,

и так как я еще не мог забыть неуместного постскриптума панны Ивинской, я напомнил ей, что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не забавы и радости юношеских лет, но важные обязанности и серьезные испытания. Мне показалось, что эта часть моего обращения произвела на молодую и на всех тех, кто понимал по-немецки, большое впечатление.

Ружейные залпы и радостные крики встретили свадебный кортеж при выходе его из церкви. Затем все двинулись в столовую. Завтрак был превосходный, гости изрядно проголодались, и сначала не было слышно ничего, кроме стука ножей и вилок. Но вскоре шампанское и венгерское развязали языки, раздался смех, даже крики. Тост за здоровье молодой был принят с шумным восторгом. Только что опять все уселись, как поднялся старый пан с седыми усами и заговорил громовым голосом:

— С прискорбием вижу я, что наши старинные обычаи забываются. Никогда отцы наши не стали бы пить за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы пивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из ее сапожка, потому что в мое время дамы носили сапожки из красного сафьяна. Покажем же, друзья, что мы еще истые литвины. А ты, сударыня, соблаговоли мне дать твою туфельку.

Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех:

— Возьми ее сам, пан... Но в ответ пить из твоего сапога не согласна.

Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и быстро и ловко выпил, пролив себе на платье не больше половины. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее, не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе как драгоценную реликвию, а г-жа Довгелло приказала горничной возместить изъян в туалете ее племянницы.

За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я счел не совсем удобным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из-за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драк и разбитых голов. На лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника весьма напоминал поле битвы. Мне любопытно было посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузда-

ные цыганки, и я счел для себя неприличным находиться в этой кутерьме. Итак, я вернулся в свою комнату, почитал немного, затем разделся и вскоре заснул.

Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь была светлая, хотя луна была подернута легкою дымкою. Я пытался опять заснуть, но безуспешно. Как всегда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позаняться, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление было, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из наших пьяниц вывалился из окна. Я открыл окно и посмотрел в сад, но ничего не увидел. Я зажег свечку и, улегшись снова в постель, стал просматривать свой словарь, покуда мне не подали утренний чай.

Около одиннадцати я вышел в гостиную. У многих были подпухшие глаза и помятые физиономии; я узнал, что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни граф, ни молодая графиня еще не появлялись. Гости отпускали шуточки, но к половине двенадцатого начали перешептываться, сначала тихо, потом все громче и громче. Доктор Фребер решился наконец послать камердинера постучать графу в дверь. Через четверть часа вернулся взволнованный слуга и сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. Г-жа Довгелло, я и доктор стали совещаться, как поступить. Беспокойство лакея передалось и мне. Мы втроем направились к комнате графа. У дверей мы застали перепуганную горничную молодой графини, уверявшую, что случилась беда, так как окно госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Никакого ответа. Наконец лакей принес лом, и мы взломали дверь... Нет, у меня не хватает духу описать зрелище, которое нам предстало! Молодая графиня лежала мертвая на своей постели; ее лицо было растерзано, а открытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор никто больше его не видел.

Доктор осмотрел ужасную рану молодой женщины.

— Эта рана нанесена не лезвием! — вскричал он.— Это укус!..»

Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть в огонь.

— И это все? — спросила Аделаида.

— Все! — отвечал мрачно профессор.

— Почему же вы назвали эту повесть *Локис?* — продолжала она.— Ни одно из действующих лиц не носит этого имени.

— Это не имя человека,— сказал профессор.— А ну-ка, Теодор, вам понятно, что значит *локис?*

— Совершенно непонятно.

— Если бы вы постигли законы перехода санскрита в литовский язык, вы бы признали в слове *локис* санскритское *arkcha* или *rikscha.* В Литве локисом называется зверь, которого греки именовали *arktos,* римляне — *ursus,* а немцы — *Bär.* Теперь вы поймете и мой эпиграф:

Miszka su Lokiu
Abu du tokiu.

Известно, что в *Романе о Лисе* медведь называется *Damp Brun.* Славяне зовут его Михаилом, по-литовски Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя *локис.* Подобным же образом французы забыли свое неолатинское слово *goupil* или *gorpil,* заменив его именем *renard*[1]. Я мог бы привести вам много других примеров...

Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись.

---

[1] Лис *(франц.).*

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое — и единственное — научное издание Собрания сочинений Проспера Мериме выходило во Франции в конце 20-х и первой половине 30-х годов нашего века. Осуществлявшееся под общей редакцией Пьера Траара и Эдуарда Шампиона и при участии многих видных французских текстологов и историков литературы (Пьера Жоссерана, Огюста Дюпуи, Мориса Левайана и др.), издание это не было завершено. Тем не менее в вышедших томах были напечатаны почти все художественные произведения писателя, а также ряд циклов его статей («Исторические и литературные портреты», «Англо-американские этюды», «Этюды по русской литературе») и важные материалы его переписки. Каждый том этого Собрания сочинений снабжен обстоятельной вступительной статьей (иногда несколькими), обширными текстологическими и историко-литературными комментариями.

Проза Мериме переиздавалась после этого еще несколько раз; отметим издания, вышедшие под редакцией Жильбера Сиго (1957) и Мориса Партюрье (1967).

На русском языке первые сборники прозы Мериме появились сравнительно поздно — в 1914 и 1919 годах. Большие однотомники писателя выходили в 1930 и 1937 годах, двухтомник Избранных произведений — в 1956 году. Первое Собрание сочинений Мериме на русском языке — в семи небольших томиках — вышло в 1927—1929 годах (под редакцией А. А. Смирнова, М. А. Кузмина, М. Л. Лозинского), но оно не включило даже всех прозаических сочинений писателя. Более полное Собрание сочинений Мериме (в трех томах) было напечатано в 1933—1934 годах (предполагавшийся четвертый том не был выпущен, поэтому в издание вошли не все художественные произведения писа-

теля). Наиболее полное Собрание сочинений Мериме на русском языке вышло в шести томах в 1963 году приложением к журналу «Огонек», но массовый, популярный характер издания не позволил включить в него всего художественного наследия Мериме.

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

Работа над этим произведением приходится в основном на вторую половину 1828 года. 16 декабря Мериме сообщал своему другу Альберу Стапферу: «Я работаю очень много,— много не только для такого лентяя, как я, но даже для настоящего писателя... Я пишу дрянной роман, который мне надоел, но я хочу закончить его, так как у меня много других планов. Если бог мне поможет, я немало изведу бумаги в 1829 году». В январском номере журнала «Ревю франсез» за 1829 год появляется глава XVII романа («Аудиенция»), а в феврале парижские газеты сообщают, что роман закончен, в начале марта книга выходит из печати (в издательстве Александра Менье). В первом издании роман имел следующее название: «1572. Хроника времен Карла IX». Книга была написана очень быстро; такая поспешность не вполне удовлетворила писателя, и он тщательно правил текст романа при его последующих переизданиях (1832, 1842, 1847, 1853). Помимо большой стилистической правки, Мериме несколько изменил название книги — сначала он заменил слово «времен» на «царствования», затем убрал также дату «1572»; кроме того, он снял открывавший роман эпиграф из Рабле, поясняющий его основную мысль об историчности морально-нравственных норм и представлений: «То, что сарацины и варвары называли подвигом, мы теперь называем разбоем и злодейством».

Интерес к французскому XVI столетию, к одному из его кульминационных моментов — Религиозным войнам вообще и резне Варфоломеевской ночи в частности,— был весьма характерен для французской историографии и литературы романтического периода. Однако Мериме, любивший в истории «только анекдоты», содержащие «подлинную картину нравов и характеров данной эпохи», в период работы над романом опирался не на труды и публикации ученых, а на подлинные свидетельства современников и участников событий. Основными источниками романа Мериме были книги поэта-гугенота Теодора Агриппы д'Обинье, обширнейшие жизнеописания и мемуары Брантома, записки военачальников Блеза де Монлюка и Франсуа Лану, дневники парижского горожанина Пьера де л'Этуаля.

В многочисленных рецензиях, появившихся вскоре же после выхода романа в свет, особо отмечалась свобода Мериме от преувеличений и односторонности романтической школы. «У него не найдешь,— писал, например, А. Патен в «Ревю энсиклопедик»,— ни однобокого персонажа, ни персонажей гротескного или загадочного, этого основного трио всякого романтического произведения». Критика подчеркивала лаконизм языка, мастерство в изображении характеров. Особенно удался Мериме, по мнению критики, образ Дианы де Тюржи. «Портрет Дианы и особенно ее глаза, по моему мнению, написаны с натуры»,— писал Гюстав Планш в «Ревю де дё монд». Хотя некоторые критики отмечали известную непродуманность композиции и незавершенность романа, их основной упрек был адресован скорее не Мериме-романисту, а Мериме-историку. Спор разгорелся вокруг интерпретации писателем событий Варфоломеевской ночи. Критики, прежде всего Ш. Маньен в «Глоб», упрекали автора в противоречии между историко-философским предисловием и самим романом и оспаривали его точку зрения на Варфоломеевскую ночь как на трагедию, разыгравшуюся во многом случайно.

Литературные друзья и единомышленники Мериме встретили его книгу благожелательно. Сент-Бёв писал своему школьному товарищу Жюлю Лудьеру: «Мериме, автор Клары Газуль и мой большой друг, выпустил прекрасную книгу, полуроман, полухронику о дворе Карла IX в 1572 году», а Стендаль сообщал Сеттону Шарпу: «Мериме только что выпустил «1572 год», очень умную книгу, в духе Вольтера».

Отклики на роман появились и в иностранной печати. Вскоре роман стали переводить на иностранные языки. В Германии «Хроника» вышла уже в 1829 году, через год ее напечатало одно американское издательство.

Отдельные главы из романа Мериме были напечатаны в России. «Литературная газета» Дельвига и Пушкина в мае 1830 года (№ 28) поместила в переводе П. П. Шигаева главу XI романа под названием «Поединок»; «Северный Меркурий» также напечатал две главы — гл. XX (декабрь 1830, №№ 148, 149) и гл. XVII (июнь 1831, № 68). В мае 1839 года большие отрывки из книги были напечатаны в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду». Полностью роман был переведен на русский язык лишь в 1882 году (под названием «Варфоломеевская ночь») в «Историческом вестнике» (№№ 9, 10, 11, 12) и сразу же переиздан отдельной книгой; в 1929 году появился перевод М. А. Кузмина, в 1963 году — перевод Н. М. Любимова.

Стр. 29. *Фукидид* (ок. 460 — ок. 395 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, один из основных представителей историографии древности.

Аспазия (вторая половина V в. до н. э.) — древнегреческая куртизанка, возлюбленная афинского государственного деятеля и полководца Перикла (499—429 гг. до н. э.); славилась своей красотой и умом.

Мезре Франсуа (1610—1683) — популярный в свое время французский историк.

Монлюк Блез де Монтескью (ок. 1499—1577) — французский полководец, участник Религиозных войн; оставил интересные «Комментарии», охватывающие события 1521—1574 годов.

Брантом Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский мемуарист, автор многотомной серии жизнеописаний замечательных людей его времени; в 1856 году Мериме написал предисловие к новому изданию собрания сочинений Брантома.

Д'Обинье Теодор Агриппа (1552—1630) — французский поэт, историк и политический деятель, один из вождей гугенотов и соратник Генриха IV в его войнах с католиками. В 1855 году Мериме издал роман д'Обинье «Приключения барона де Фенеста» с большим предисловием.

Таван Жан (1555—1630) — французский историк и мемуарист, рьяный католик.

Лану Франсуа (1531—1591) — французский полководец, один из крупных гугенотских военачальников, автор мемуаров.

Этуаль Пьер Тезан (1546—1611) — французский мемуарист. Его «Мемуары-дневники», отличаясь большой точностью и несомненными литературными достоинствами, являются одним из ценных исторических источников. Впервые изданы в 1744 году.

...до его отъезда в Польшу... — Будущий французский король Генрих III в 1573 году был избран польским королем, но пробыл им недолго: смерть брата освободила для него французский престол.

Стр. 30. *Мехмет-Али* (1769—1849) — вице-король Египта. Описанное избиение мамелюков произошло в Каире 1 марта 1811 года.

...изречение Фигаро... — Мериме цитирует пьесу Бомарше «Преступная мать» (д. II, явл. 7).

...одного министра, которого я здесь называть не стану... — Намек на предвыборные махинации французского премьер-министра Вилеля в ноябре 1822 и в 1824 году.

Стр. 31. *...как на чужестранцев, как на врагов.* — В издании 1829 года за этой фразой следовало: «в то время как кровавым террором руководила небольшая группа жестоких людей. Эта разница, на мой взгляд, несколько извиняет Варфоломеевскую ночь».

Стр. 32. *Герцог Гиз* — Анри де Лоррен (1550—1588), один из вождей католической партии и инициаторов Варфоломеевской резни. В 1835 году Мериме написал о нем большую биографическую статью.

Адмирал — то есть Гаспар де Колиньи (1519—1572), глава протестантской партии.

Бираг Рене (1507—1583) — государственный деятель и кардинал, хранитель печати, затем канцлер Франции. Его обвиняли в том, что он был одним из организаторов Варфоломеевской ночи.

Екатерина — Екатерина Медичи (1519—1589), жена французского короля Генриха II, мать Франциска II, Карла IX и Генриха III. Была регентшей в первые годы царствования малолетнего Карла IX.

Стр. 33. *Принц Конде* — Луи де Бурбон (1530—1569), дядя будущего короля Генриха IV, один из вождей протестантов. Попав в плен к католикам в битве при Жарнаке, он был убит Монтескью по распоряжению герцога Ангулемского (будущего Генриха III).

...тогдашних ультрароялистов.— Намек на партию крайних реакционеров, пришедших к власти при Карле X (1824—1830).

Людовик XI (1423—1483) — французский король с 1461 года; он значительно укрепил королевскую власть и во многом содействовал объединению страны. Однако изречение «разделяй и властвуй» принадлежит не ему.

Ассуэр.— Так в Библии назван один из персидских царей, преследовавших евреев.

Стр. 34. *Жанна д'Альбре* (1528—1572) — королева Наваррская, жена Антуана де Бурбона, мать будущего Генриха IV; пользовалась большой популярностью среди протестантов. Предполагают, что она была отравлена по приказанию Екатерины Медичи. Умерла 9 июня 1572 года.

Король Наваррский — то есть будущий Генрих IV. Титул короля Наварры он получил в 1572 году, после смерти своей матери.

Принц Конде.— Здесь имеется в виду Анри де Бурбон (1552—1588), один из вождей протестантов.

Стр. 35. *Герцог Альба* Фердинанд Альварес де Толедо (1508—1582) — испанский полководец и государственный деятель. Приводимые слова герцога Альбы были сказаны им во время так называемого «Свидания в Байоне» в 1565 году.

Лотарингский дом — старинная французская феодальная фамилия, владевшая обширными землями на северо-востоке Франции; Гизы были из этой семьи.

...в память отца...— то есть в память Франсуа де Лоррена, герцога Гиза (1519—1563), который был одним из вождей католической партии. Убит протестантом Жаном Польтро де Мере.

...гугеноты, дважды их осаждавшие...— Протестантские войска осаждали Париж в 1562 и 1567 годах.

...одна из сестер короля была выдана замуж за принца...—

Речь идет о Маргарите Французской (1553—1615), дочери Генриха II и Екатерины Медичи, в 1572 году ставшей женой Генриха Наваррского.

Стр. 36. *...шестьдесят с лишним тысяч жертв.*— Эту цифру указывает и Вольтер («Опыт о нравах», гл. 171), однако она явно преувеличена.

Рейтары — неточность Мериме: все отряды рейтаров были выведены за Рейн еще в 1571 году.

Эпиграф к главе первой — из драмы Байрона «Преображенный урод» (ч. I, явл. 2. Песня солдат).

Этамп — небольшой город километрах в 70-ти от Парижа.

Стр. 37. *Гаспар де Шатильон* — то есть адмирал де Колиньи.

Стр. 39. *Святой Христофор* — католический святой, считавшийся покровителем путешественников.

Стр. 40. *...бой под Дре...* — Сражение под Дре состоялось в 1562 году. Победу одержали католики во главе с герцогом Франсуа де Гизом.

...бой... под Арне-ле-Дюк.— Эта битва состоялась 25 июня 1570 года. Победу одержали протестанты.

Мержи.— В коллекции исторических документов, издававшейся Б. Петито, т. 34 занимают мемуары некоего Жана де Мержи. Не исключено, что Мериме заимствовал имя своего героя именно из этого источника.

Стр. 41. *Во время первой осады Орлеана...*— Войска католиков под командованием Франсуа де Гиза осадили Орлеан в 1563 году, во время так называемой первой гражданской войны (1562—1563).

Стр. 43. *Монморанси.*— Речь идет, очевидно, о коннетабле Анн де Монморанси (1493—1567), французском государственном деятеле, советнике королей Франциска I и Генриха II.

Стр. 45. *...в бою под Монконтуром...*— Битва под Монконтуром произошла в 1569 году, войска католиков под командованием герцога Анжуйского наголову разбили отряды протестантов под начальством Колиньи.

Стр. 46. *Гамельн* — город на Везере, в Брауншвейге. Сюжет этой легенды Мериме заимствовал, очевидно, из «Немецких легенд» братьев Гримм (т. I, 1816).

Стр. 48. *Фон Фалькенштейн* — персонаж немецких народных легенд.

Стр. 49. *Ларошфуко* Франсуа (ок. 1531—1572) — родственник Конде, один из вождей протестантов.

Стр. 50. Эпиграф к главе второй — из комедии Мольера «Смешные жеманницы» (явл. 7). Перевод Н. Яковлевой.

Стр. 52. *Подобно персам под Саламином...* — Битва под Саламином (остров у побережья Греции) между греками под командованием Фемистокла и персами произошла в 480 г. до н. э.

Махаон и *Подалирий* — сыновья и ученики легендарного древнегреческого врача Эскулапа.

Стр. 56. Эпиграф к главе третьей — из драмы Шекспира «Цимбелин» (д. II, явл. 4). Перевод Ф. Миллера.

Стр. 57. *...к мосту Сен-Мишель...* — В ту пору на многих парижских мостах с обеих сторон проезжей части помещались жилые дома, лавки торговцев и мастерские ремесленников.

...кинжал... — Ошибка Мериме: кинжалы стали употреблять при дуэлях значительно позже.

Стр. 58. *...собирались захватить Амбуаз.* — Речь идет о так называемом «Амбуазском заговоре» — попытке протестантов захватить малолетнего короля Франциска II, чтобы вырвать его из-под влияния Гизов (1560).

Стр. 60. *Сегье* Пьер (1504—1580) — французский государственный деятель, председатель парижского магистрата.

Монморанси Торе — сын коннетабля Анн де Монморанси.

Стр. 63. *...каждый выпад... остроту обидную...* — цитата из комедии Мольера «Ученые женщины» (д. IV, явл. 3).

Стр. 64. *...ловкости и задиристости Коменжа.* — Мериме придал этому персонажу черты характера Ливаро, одного из приближенных Генриха III.

Стр. 67. Эпиграф к главе четвертой — из комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» (д. V, явл. 2). Перевод А. Федорова.

...дуэльное бешенство отправляло на тот свет больше дворян... — Неточность Мериме: дуэли стали особенно популярны значительно позже — в последние годы царствования Генриха IV и особенно при Людовике XIII.

Стр. 69. *Жодель* Этьен (1532—1573) — французский поэт и драматург, один из предшественников классицизма.

Стр. 70. *«Красавчик-карапузик принц...»* — Эту песенку приводит Брантом в своем «Жизнеописании принца Конде».

...в сражении под Жизнейлем... — Сражение произошло 17 ноября 1568 года.

Стр. 71. *...под Жарнаком...* — Битва под Жарнаком состоялась в 1569 году; войска католиков под командованием герцога Анжуйского одержали решительную победу над кальвинистами; их предводитель принц Луи де Конде был ранен и взят в плен.

...привели следующий стих... — Мериме цитирует Овидия («Фасты», I, 493).

Стр. 72. *«Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа...»* — первая часть романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Вышла в 1534 году.

Стр. 73. *Ахав* — упоминаемый в Библии царь Израиля; побуждаемый своей женой Иезавелью, он перешел в язычество и жестоко преследовал евреев.

Стр. 74. *Брат Любен.*— Образ этого проповедника Мериме мог заимствовать из романа Агриппы д'Обинье «Приключения барона де Фенеста» (кн. I, гл. 8).

Стр. 75. Эпиграф к главе пятой — из первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гл. 27).

Стр. 77. *...ввергнул в море две тысячи свиней.*— Брат Любен имеет в виду слова Христа: «Не мечите бисер перед свиньями» — и евангельский рассказ о том, как Христос изгнал бесов из двух одержимых и вселил их в свиней.

Стр. 80. Эпиграф к главе шестой — из драматической хроники Шекспира «Король Ричард III» (д. V, явл. 3). Перевод Б. Лейтина.

Стр. 82. *Дандело* — брат Колиньи; умер от лихорадки 7 мая 1569 года.

Стр. 84. *Руанские убийцы наказаны...*— После заключения мира в Сен-Жермен-ан-Ле в городах были образованы судебные палаты, в которые входили и гугеноты и католики. Руанская палата жестоко наказала убийц-католиков, в то время как тулузская не проявила такой же решительности.

Стр. 87. *Сбор в Мадридском замке...*— Мадридский замок построен под Парижем (на территории нынешнего Булонского леса) итальянским архитектором делла Роббиа для Франциска I в 1529 году. Назван так потому, что как раз в это время Франциск находился в плену в Испании.

Стр. 88. *...посмотрите его бюст в Ангулемском музее!* — Ангулемский музей — собрание скульптур, созданное в 1824 году; позднее влилось в Лувр. Бюст Карла IX из этого собрания приписывается Жермену Пилону или мастеру его круга.

Стр. 89. *Беарнезка* — то есть Жанна д'Альбре.

Маргарита Наваррская — жена будущего Генриха IV, дочь Генриха II и Екатерины Медичи.

Стр. 90. *Герцог Анжуйский* — брат короля, будущий король Генрих III.

Ретц Альбер де Гонди (1522—1602), герцог — маршал Франции, крупный военный и политический деятель, дипломат.

Телиньи Луи — зять Колиньи; убит во время Варфоломеевской ночи.

Мерю — Шарль де Монморанси, третий сын коннетабля Анн де Монморанси.

Эпиграф к главе девятой — из пьесы Лопе де Вега «Перчатка доньи Бланки» (д. II, явл. 10).

Стр. 97. Эпиграф к главе десятой — из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (д. II, явл. 4). Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Стр. 107. Эпиграф к главе одиннадцатой — из опубликованной Вальтером Скоттом антологии «Песни шотландского рубежа, состоящие из исторических и романтических баллад».

Стр. 113. *Пельская башня* — одна из сторожевых башен в Париже, сооруженная в XII веке. Первоначально входила в систему городских укреплений, затем служила тюрьмой и караульным помещением для городской стражи.

Стр. 114. Эпиграф к главе двенадцатой — из комедии Мольера «Блистательные любовники» (д. I, явл. 2).

Паре Амбруаз (ок. 1510—1590) — знаменитый французский ученый и врач-хирург. С 1536 года — личный врач французских королей. Убежденный протестант, Паре тем не менее не подвергся преследованиям во время Варфоломеевской ночи.

Стр. 116. *...ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа...* — Цитата из комедии Мольера «Сицилиец» (явл. I).

Стр. 121. Эпиграф к главе тринадцатой — из драматической хроники Шекспира «Король Генрих IV» (ч. I, д. I, явл. 3). Перевод Е. Бируковой.

Стр 124. *Венсен* — замок в окрестностях Парижа (построен в XIV в.), одна из резиденций французских королей.

Эпиграф к главе четырнадцатой — из комедии Мольера «Тартюф» (д. III, явл. 2). Перевод М. Лозинского.

Стр. 125. *«Преужасная жизнь Пантагрюэля»* — вторая часть романа Рабле; появилась в 1532 году.

Стр. 126. *...у Германа Оксерского* — то есть у церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, находившейся напротив колоннады Лувра. С колокольни этой церкви был дан сигнал к началу избиения гугенотов во время Варфоломеевской ночи.

Стр. 127. *...как Далила предала Самсона.* — В Библии рассказывается, как куртизанка Далила, обрезав у влюбленного в нее Самсона волосы, тем самым лишила его силы и отдала в руки филистимлянам.

Стр. 135. Эпиграф к главе шестнадцатой — из комедии Мольера «Амфитрион» (д. II, явл. 2). Перевод В. Брюсова.

Стр. 139. Эпиграф к главе семнадцатой — из трагедии Шекспира «Макбет» (д. III, явл. I). Перевод Ю. Корнеева.

Стр. 144. Эпиграф к главе восемнадцатой — из поэмы Байрона «Дон Жуан» (песнь II, октава 164).

Стр. 148. *Иоанн Златоуст* (347—407) — константинопольский патриарх. Здесь речь идет о сборнике его проповедей.

Стр. 149. Эпиграф к главе девятнадцатой — из первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гл. 42).

На другой день после бракосочетания Маргариты с королем Наваррским... — Торжественная церемония состоялась 18 августа 1572 года.

Стр. 152. Эпиграф к главе двадцатой — из трагедии английского драматурга Томаса Отуэя (1652—1685) «Спасенная Венеция» (д. III, явл. 2).

...бывшего Турнельского дворца. — Турнельский дворец, один из старых королевских дворцов в Париже, был разрушен в 1563 году по распоряжению Карла IX.

Стр. 154. *Сен-Кантен* — французский город и крепость на реке Сомме. В 1557 году после осады был взят войсками герцога Савойского, выступавшего в войне с Францией на стороне Испании.

Стр. 157. *Гедеон истребил мадианитян...* — В Библии рассказывается, как народ Израиля страдал от набегов мадианитян (одно из древних арабских племен), пока их не разбил израильский военачальник Гедеон.

Стр. 159. Эпиграф к главе двадцать первой — из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (д. I, явл. 2). Перевод М. Зенкевича.

Стр. 169. Эпиграф к главе двадцать второй взят Мериме из Брантома.

Стр. 184. Эпиграф к главе двадцать четвертой — из сатиры английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Семейство Фейдж в Париже» (1818).

Стр. 185. *Бирон* Арман де Гонто (1524—1592) — французский полководец, особенно отличившийся в войнах Генриха IV.

...он потерял в бою руку... — Левая рука Лану (Мериме ошибочно пишет, что правая) была раздроблена выстрелом из аркебузы при осаде Фонтене-ле-Конт в 1570 году. Следуя уговорам Жанны д'Альбре, он согласился на ампутацию.

Стр. 186. *Вместе с Лану выехал итальянский священник...* — Это был аббат Гадань, шпион, состоявший на службе у Екатерины Медичи.

Стр. 187. Эпиграф к главе двадцать пятой — из романа Агриппы д'Обинье «Приключения барона де Фенеста» (кн. II, гл. 19).

Стр. 189. *Монтгомери* Габриэль де Лорж (1530—1574) — капитан шотландской гвардии Генриха II. Он смертельно ранил короля на турнире (1559). Впоследствии Монтгомери стал одним из вождей протестантов и, попав в руки католиков, был казнен.

Стр. 192. Эпиграф к главе двадцать шестой — из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. III, явл. 4). Перевод М. Лозинского.

Стр. 195. *...жарится... в... медном быке...*— Способ казни, придуманный агригентским тираном Фаларисом (VI в. до н. э.).

Стр. 197. Эпиграф к главе двадцать седьмой — из трагедии Томаса Отуэя «Спасенная Венеция» (д. V, явл. I).

Стр. 198. *...позаимствуйте, как говорится, у овцы храбрости.*— Мериме перефразирует Рабле. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» (кн. I, гл. 6) сказано: «Ты ведь у меня храбрая, как овечка».

Стр. 199. *Дзанни* — популярная маска итальянской народной комедии дель арте.

Стр. 205. *...в четвертый раз был заключен мир...*— Мирный договор, подписанный в Булони герцогом Анжуйским, положил конец четвертой гражданской войне (1572—1573).

...Карл IX умер.— Карл IX умер 30 мая 1574 года.

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

Эта новелла была напечатана в только что возникшем и просуществовавшем затем многие годы журнале «Ревю де Пари». Его основателем был Луи-Дезире Верон (1798—1867), врач по специальности, литератор и журналист по призванию. Мериме поддерживал с ним тесные творческие связи, печатая в его журнале большинство своих произведений 30-х годов. «Маттео Фальконе» появился в «Ревю де Пари» 5 мая 1829 года. При создании этой новеллы писатель воспользовался небольшой заметкой из «Ревю триместриэль» (июль 1828), давшей ему основную сюжетную канву. В этой же статейке Мериме нашел указание и на книгу Габриэля Фейделя, из которой он затем почерпнул неизвестные ему детали быта корсиканцев и описание природы этого острова. (Посетив Корсику в 1839 г., Мериме внес в текст новеллы ряд уточнений и поправок.) В первой половине 1833 года новелла была включена в вышедший в издательстве И. Фурнье сборник произведений Мериме, названный им «Мозаика». Появление книги было отмечено сочувственными рецензиями Шарля Ремюза и Гюстава Планша. Сборник был переиздан с некоторыми изменениями состава и правкой текста в 1842 и 1850 годах, причем новелла «Маттео Фальконе» неизменно присутствовала во всех изданиях (при жизни Мериме «Мозаика» перепечатывалась еще одиннадцать раз).

В России эта новелла Мериме была очень популярна. Трижды она была переведена еще до выхода «Мозаики» — в августе 1829 года в журнале «Атеней» (№ 15), в октябре 1832 года в «Литературных при-

бавлениях» к «Русскому инвалиду» (№№ 81, 82) и в декабре 1832 года в «Дамском журнале» (№№ 50, 51). В 1835 году ее напечатал «Сын отечества» (ч. 174, № 50), в 1836 году новелла была включена в изданную Н. Надеждиным антологию «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей» (ч. 8). В 1843 году В. А. Жуковский сделал стихотворное переложение новеллы, правда воспользовавшись при этом не непосредственно произведением Мериме, а его поэтической обработкой, выполненной немецким романтиком Шамиссо.

Стр. 211. *Порто-Веккьо* — город и порт на юго-восточном побережье Корсики.

Муфлоны — порода диких баранов, более крупных, чем домашние, и с более грубой шерстью.

Когда... я посетил Корсику... — В действительности Мериме, работая над новеллой, еще ни разу не был на Корсике; он посетил этот остров лишь в сентябре 1839 года (о чем он рассказал в «Заметках о путешествии по Корсике», 1840).

Стр. 212. *Корте* — город в центре Корсики.

Стр. 215. *Бастия* — город и порт на северо-восточном побережье Корсики.

ВЗЯТИЕ РЕДУТА

Эта новелла появилась в сентябре 1829 года в «Ревю франсез» (№ 11), в 1833 году вошла в «Мозаику» и неизменно входила во все перепечатки этого сборника. Источником сюжета новеллы мог послужить устный рассказ кого-либо из действительных участников боя у Шевардинского редута. Общая оценка войны 1812 года заимствована Мериме из ряда трудов тех лет, главным образом из обширной работы графа Сегюра «История Наполеона и Великой армии» (1824). На русском языке эта новелла была впервые опубликована в 1830 году в «Московском телеграфе» (ч. 34, № 13).

Стр. 223. *...умерший в Греции от лихорадки...* — Намек на участие некоторых французов в освободительной борьбе греческого народа против турецкого владычества.

...в битве при Иене. — Это сражение произошло 14 октября 1806 года; наполеоновские войска наголову разбили прусскую армию, открыв себе дорогу на Берлин.

...окончил военную школу в Фонтенбло... — Неточность Мериме: открытая Наполеоном в 1803 году в Фонтенбло офицерская школа была в 1808 году переведена в Сен-Сир.

Шевардинский редут — редут на левом фланге русской армии накануне Бородинской битвы, сильно выдвинутый вперед. Бой за редут произошел 24 августа (5 сентября) 1812 года, за два дня до генерального сражения.

Стр. 225. *...аксиома «non bis in idem»* — выражение, принятое в судебной практике, означающее, что за одно и то же преступление дважды не карают.

ТАМАНГО

Новелла появилась в «Ревю де Пари» 4 октября 1829 года. Источники сюжета новеллы многочисленны: аболиционистская литература была в те годы весьма обширной. В основу описанной Мериме истории не легло какое-то определенное историческое событие. Необходимые ему детали писатель выбрал из вышедших в разное время книг, из газетных заметок и журнальных статей; «местный колорит» — несколько йолофских слов и реалий — он мог заимствовать из дневников и записок какого-либо из африканских путешественников тех лет. В 1833 году новелла включена в «Мозаику».

В России новелла «Таманго» долгое время находилась под цензурным запретом. Ее перевод — под названием «Черный царь» — появился лишь в 1895 году в сборнике «Читальня народной школы» и после этого много раз переиздавался.

Стр. 228. *В битве при Трафальгаре...* — 21 октября 1805 года в Гибралтарском проливе у мыса Трафальгар английская эскадра под командованием адмирала Нельсона (погибшего в этом бою) разгромила объединенный франко-испанский флот. Командовавший этим флотом французский адмирал Пьер де Вильнёв покончил с собой.

Каперское судно — принадлежащее частному владельцу судно, имевшее разрешение во время войны нападать на вражеские корабли, разоружать и грабить их.

Люгер — небольшое двухмачтовое парусное военное судно.

Джерси — небольшой остров в проливе Ла-Манш, принадлежащий Англии.

Заключение мира... — Имеется в виду мир, заключенный между Францией и Англией в 1814 году после первого отречения Наполеона.

Стр. 230. *Джоаль* (Жоаль) — небольшой порт на западном побережье Африки.

Мартиника — один из самых крупных островов в группе Малых Антильских островов (Вест-Индия). В этой старой французской коло-

нии в XIX веке широко применялся труд негров-рабов, вывезенных из Африки.

Стр. 230. *Йолофский язык* (уолоф, волоф) — язык одного из самых крупных негритянских племен Сенегала. Йолофский язык относится к сенегальско-гвинейской группе суданской семьи африканских языков.

Стр. 232. *«Сицилийская вечерня»* — трагедия французского поэта Казимира Делавиня (1793—1843), поставленная в 1819 году в парижском театре «Одеон» и пользовавшаяся большим успехом. В ней рассказывается о восстании на Сицилии в 1282 году против захвативших остров французов. На этот сюжет значительно позже Верди написал свою известную оперу.

Стр. 236. *Мама-Джумбо.*— Вера в это существо действительно была распространена среди негров Западной Африки. Мериме мог прочесть об этом поверье в записках английского путешественника Мунго-Парка, который совершил длительное путешествие по африканскому побережью в 1795—1797 годах.

Фольгар, как они это называют...— Это португальское слово (означающее «увеселение»), вопреки утверждению Мериме, не засвидетельствовано ни в одном наречии Западной Африки.

Стр. 238. *Пёли* — одно из крупных негритянских племен Сенегала.

Стр. 243. *...как Кориолан...*— Римский военачальник Кориолан в 493 г. до н. э., поссорившись с гражданами своего города, осадил его, став во главе врагов Рима. Он отказался разговаривать со всеми посланцами родного города; лишь его мать Ветурия, пришедшая во главе римских женщин, заставила его смягчиться и снять осаду.

Стр. 245. *Кингстон* — город и крупнейший порт острова Ямайка.

ЭТРУССКАЯ ВАЗА

Новелла появилась в феврале 1830 года в «Ревю де Пари». В этом произведении Мериме впервые отошел от книжных источников или устных рассказов и обратился к собственным наблюдениям и жизненному опыту. В основных персонажах новеллы легко угадываются черты друзей Мериме — Виктора Жакмона (Жюль Ламбер), барона де Мареста (Альфонс де Темин), Шарля Ленормана (Теодор Невиль). В основе сюжета лежат личные переживания Мериме: его короткая и драматическая связь с г-жой де Лакост. Современники не сомневались в том, что в образе Матильды писатель изобразил свою возлюбленную.

Гортензия Аллар, например, писала Сент-Бёву: «Я не могла сказать вам вчера вечером, что сидевшая напротив вас дама, с которой я беседовала,— это героиня «Этрусской вазы» Мериме, та самая, из-за которой он дрался на дуэли, и единственная, кого он действительно любил; она и сейчас хороша... Это г-жа Лакост». У всех, знавших Мериме, также не вызывало сомнений, что Сен-Клер — это он сам.

В 1833 году «Этрусская ваза» была включена в «Мозаику». Первый русский перевод новеллы появился в апреле 1830 года в газете «Северный Меркурий» (№№ 40, 41). В 1832 году, в переводе Б. Романовича, новелла была напечатана в «Сыне отечества» (т. 27, ч. 149, №№ 16, 17). Новый перевод «Этрусской вазы» был помещен в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» в сентябре 1833 года (№№ 75, 76). Наконец, в 1883 году в журнале «Изящная литература» (№ 9) был напечатан перевод Д. В. Григоровича, затем много раз переизданный.

Стр. 246. *Зонтаг* Генриэтта (1805—1854) — немецкая певица, с успехом выступавшая в Париже на сцене Итальянской оперы.

Стр. 247. *Я думаю, что он близок к иезуитам.*— Иезуиты были изгнаны из Франции еще в 1764 году. Однако в период Реставрации «Общество Иисуса» было восстановлено, и иезуиты стали играть заметную роль в контрреволюционной политике последних Бурбонов. Сторонники иезуитов были во всех слоях французского общества, но тщательно скрывали свою принадлежность к организации.

...выходил из церкви Сен-Сюльпис.— Парижская церковь Сен-Сюльпис и находившаяся при ней семинария руководились в то время иезуитами.

Экарте — старинная карточная игра, в которой обычно принимают участие два партнера.

Стр. 249. *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) — русский фельдмаршал, участник войны 1812 года и ряда других кампаний; особенно отличился в русско-турецкую войну 1828—1829 годов.

Стр. 250. *Паста* Джудитта (1798—1865) — итальянская певица; с успехом выступала в Париже и Лондоне. Приятельница Мериме и Стендаля.

Веллингтон Артур (1769—1852), герцог — английский полководец, командовавший войсками союзников в битве под Ватерлоо.

Стр. 252. *...басню о лисице с отрубленным хвостом.*— Мериме намекает на басню Лафонтена, в которой рассказывается, как лисица, у которой отрубили хвост, убеждала зверей в его бесполезности и советовала всем также отрубить себе хвосты.

Бреммель Джордж (1778—1840) — английский великосветский щеголь и законодатель мод; его обычно считают «создателем» дендизма.

Фонди — небольшой городок недалеко от Неаполя.

Стр. 253. *Frailty, thy name is women!* — слова Гамлета о его матери (д. I, явл. 2). Перевод Б. Пастернака.

Стр. 254. *...самая умная женщина во Франции...* — намек на французскую писательницу г-жу де Сталь (1766—1817).

Что за человек паша? — Речь идет о египетском паше Мехмеде-Али (1769—1849). Его независимая в отношении Турции политика создала ему популярность в европейском обществе.

Альмеи — танцовщицы на Ближнем Востоке.

Мемнон — легендарный герой, сын богини Авроры (Зари). Согласно древнегреческим преданиям, находившаяся в окрестностях Фив колоссальная статуя была воздвигнута в честь Мемнона (в действительности сооружена в честь египетского фараона Аменхотепа).

Ибрагим-паша (1789—1848) — сын Мехмеда-Али, египетский военачальник.

Стр. 255. *Мюнстерская башня.* — Эта башня имеет высоту 142 м.

Джерид — небольшой дротик.

Мурад-бей (1750—1801) — начальник египетских мамелюков; разбитый в 1798 году наполеоновскими войсками, перешел на сторону французов.

Ханджар (арабск.) — тонкий обоюдоострый кинжал.

Мечла — плащ.

Хаик — покрывало для защиты от солнца.

«Джурдина — это Журден» — цитата из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (д. V, явл. I).

Стр. 256. *Порта* — официальное название султанской Турции.

Шарле Никола-Тусен (1792—1845) — французский художник-баталист и рисовальщик, создавший большое число литографий, изображавших солдат и офицеров наполеоновской армии.

Паша — романтик? — Отзвук ожесточенных литературных споров, которыми были отмечены 20-е годы XIX века. Все прогрессивные литераторы объединились тогда под флагом романтизма.

Малек-Айятальнефус-Эбн-Эсраф. — Такого поэта не существовало.

«Раздумья» — сборник стихов французского поэта-романтика Альфонса де Ламартина (1790—1869) «Поэтические раздумья», вышедший в 1820 году.

Стр. 258. *Лесли* Чарльз-Роберт (1794—1859) — английский художник-портретист.

Стр. 259. *Политехническая школа* — учебное заведение в Париже; среди его студентов было немало революционно настроенной молодежи.

Школа готовила военных инженеров разных специальностей (артиллеристов, саперов и т. п.).

...«глашатая зари»... — слова из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (д. III, явл. 5).

Стр. 261. *Верьерский лес* — лес под Парижем, недалеко от Версаля.

Стр. 263. *Севинье* Мария де Рабютен-Шанталь (1626—1696) — французская писательница; ее многочисленные письма стали значительным явлением французской прозы.

Стр. 264. *Шрот* — известный парижский торговец произведениями искусства.

Стр. 265. *...бой лапифа с кентавром.*— Речь идет об одном из эпизодов древнегреческой мифологии: кентавры, полулюди-полулошади, приглашенные на свадьбу царя племени лапифов Пейритоя с Гипподамией, вздумали похитить невесту, что послужило поводом к битве кентавров с лапифами.

Тортони — кафе на Итальянском бульваре в Париже.

Стр. 266. *...фабрики Ментона.*— В первой половине XIX века оружие, изготовленное на английском заводе в городе Ментоне (графство Рэтленд), считалось особенно хорошим.

Гиерские острова — небольшой архипелаг у южных берегов Франции, недалеко от Тулона. Эти острова славятся своей живописностью и мягким климатом.

ПАРТИЯ В ТРИКТРАК

Эта новелла была напечатана в «Ревю де Пари» в июне 1830 года. Сюжет новеллы Мериме мог заимствовать из рассказов своих друзей-моряков. Рецензенты (например, Гюстав Планш) отмечали некоторую искусственность завязки и преувеличение в изображении страстей. На долю этого произведения выпал меньший успех, чем тот, каким пользовались «Маттео Фальконе», «Таманго» или «Этрусская ваза». В 1833 году «Партия в триктрак» вошла в «Мозаику». На русском языке впервые напечатана во второй части пятитомника «Рассказчик, или Избранные повести иностранных авторов, изданные Николаем Гречем» (СПб. 1832).

Стр. 267. *Триктрак* — старинная французская игра в шашки, которые передвигают в зависимости от количества очков, выбрасываемых на костях.

...о пресловутом мосте под Эсслингом...— Этот мост соединял остров Лобау с левым берегом Дуная. Он позволил французским войскам

быстро перейти реку и разбить австрийскую армию под Эсслингом (май 1809 г.).

«Конститусьонель» — основной орган либеральной оппозиции в период Реставрации.

...бежал с понтона в Кадисе... — Французы, вынужденные капитулировать в 1808 году в испанском городе Байлене, содержались на понтонных судах в гавани Кадиса.

Стр. 268. *...в последнюю кампанию...* — Речь идет о кампании 1813—1814 годов, последней кампании Наполеона перед его первым отречением и ссылкой на остров Эльба.

Стр. 274. *Мингер* (голл.) — господин.

Стр. 277. *Жан Барт* (1651—1702) — французский моряк; сын простого рыбака, в молодости пират, он дослужился до чина капитана и командовал эскадрой. Даже на этом посту он сохранил ухватки и речь простого боцмана.

Стр. 279. *Портсмутские понтоны* — то есть плавучая тюрьма для военнопленных в английском портовом городе Портсмуте.

ДВОЙНАЯ ОШИБКА

Эта небольшая повесть Мериме была частично напечатана в августе 1833 года в «Ревю де Пари» (гл. VI—IX); в сентябре повесть вышла отдельной книжкой (издатель И. Фурнье) и сейчас же перепечатана бельгийским типографом Луи Оманом. «Двойная ошибка», в основу сюжета которой легли личные наблюдения и переживания автора, была встречена критикой холодно. Ипполит Фортуль, посвятив творчеству Мериме в целом хвалебный разбор в своей большой статье «О современном искусстве» («Ревю энсиклопедик», июль — сентябрь 1833) и противопоставив его Виктору Гюго, который «описывает лишь вещи», тогда как Мериме — человеческие характеры, наиболее резко отозвался о «Двойной ошибке», видя в ней лишь надуманность ситуаций и искажение действительности. Пытаясь сделать более ясной свою основную мысль, Мериме, переиздавая в 1842 году свою повесть, добавил заключительную фразу («Эти две души, не понявшие одна другую, были, может быть, созданы друг для друга»), отсутствовавшую в первом издании. В ряде более поздних писем Мериме признавал свою неудачу (например, в письме к г-же де Ла Ронжаклен от 3 августа 1857 г.: «Это один из моих грехов, совершенных лишь для того, чтобы заработать денег»; или к принцессе Юлии от апреля 1864 г.: «Мне когда-то захотелось разработать подобный сюжет, но я потерпел фиаско, так

как ничего не понимаю в женской душе»). Однако писателю, по-видимому, было дорого это произведение: при жизни он переиздал «Двойную ошибку» восемь раз.

В России эта повесть Мериме была напечатана в «Современнике» в 1847 году (№ 6); в 1859 году она была выпущена отдельной книгой.

Стр. 282. Эпиграф — из испанской народной песни.

Стр. 283. *...подобно Фрозине...* — Фрозина — сводня из комедии Мольера «Скупой», пытающаяся устроить брак старика Гарпагона с молодой девушкой Марианной, возлюбленной его сына. В д. II, явл. 6 Фрозина говорит, что может повенчать кого угодно, даже таких заклятых врагов, как Венецианская республика и турецкий султан, постоянно враждовавших между собой.

Стр. 286. *...жестом, несколько напоминавшим Тартюфа...* — Намек на сцену из комедии Мольера «Тартюф» (д. III, явл. 3): делая вид, что изучает качество бархата на платье Эльмиры, Тартюф пытается дотронуться до ее колен.

Стр. 287. *...Квентин Дорвард...* — Этот роман Вальтера Скотта был издан в 1823 году и вскоре же переведен во Франции.

Стр. 288. *«Персидские письма»* — философский роман французского писателя-просветителя Шарля де Монтескье (1689—1755), вышедший в 1721 году.

Стр. 289. *...чуть не доведя ее до запала.* — Запалом в ветеринарии называется затрудненность дыхания от переутомления.

Кнастер — один из сортов крепкого курительного табака.

Стр. 290. *«Лиллибулеро»* — любимая песенка дядюшки Тоби, одного из главных героев романа Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759—1767).

Стр. 293. *«Вы лучше на жену мою взгляните».* — Этих слов в «Гамлете» Шекспира нет.

«Maometto» — «Магомет II», опера Россини, созданная композитором в 1820 году.

Стр. 297. *Потье* Шарль (1775—1838) — популярный в 20-е и 30-е годы парижский актер, выступавший в комических ролях на сцене театра «Варьете».

Стр. 303. *P.P.C.* — сокращенная форма вежливости (Pour prendre congé); эти три буквы писались обычно на визитных карточках при прощальном визите.

Стр. 304. *...верный Ахат* — герой поэмы Вергилия «Энеида», друг и спутник Энея.

...вечер драматических пословиц... — «Пословицами» назывались произведения своеобразного драматического жанра — небольшие пьески,

иллюстрирующие суть какого-либо морального изречения или пословицы. Возникнув как чисто салонное развлечение актеров-любителей, «пословицы» в XIX веке проникают и на большую сцену; самым талантливым автором «пословиц» был Альфред де Мюссе.

Стр. 305. *Калидор* (в переводе с греческого — «вода красоты») — рекламировавшееся в те годы шарлатанское средство для ращения волос.

Карамания — область в Центральной Турции.

Стр. 306. *«Гяур»* — одна из «восточных» поэм Байрона, написанная в 1813 году. В поэме рассказывается, как невольница Лейла была брошена со скалы в море за неверность.

«Сотир»... — Слово «сотир» или, точнее, «сотер» — древнегреческое.

Стр. 310. *...Султана Махмуда...* — Речь идет о Махмуде II (1785—1839), турецком султане (с 1809 г.), прославившемся жестоким истреблением янычар.

Мамамуши — якобы «турецкий» титул, присвоенный г-ну Журдену («Мещанин во дворянстве» Мольера).

Франки. — Так мусульманские народы Средиземноморья называют всех европейцев.

Стр. 311. *Ларнак* — город на острове Кипр.

Стр. 313. *«И какого черта отправились вы сегодня рисовать!»* — Воспоминание о знаменитой сцене из комедии Мольера «Плутни Скапена», в которой Жеронт в ответ на рассказ хитреца Скапена о несчастиях, постигших сына Жеронта на турецкой галере, все время повторяет: «И какого черта отправился он на эту галеру!» (д. II, явл. 7).

Стр. 314. *«Монитер»* — парижская ежедневная газета, основанная в 1789 году. В 1799—1869 годах была официальным правительственным органом.

Стр. 315. *Мингрелия* — область на юге Грузии; девушки-мингрелки славились своей красотой и потому часто попадали в турецкие гаремы.

Стр. 318. *Каррик* — шинель с тремя широкими пелеринами. Моду на нее ввел английский актер Гаррик; название шинели — его искаженная фамилия.

«Ты везешь Цезаря и его счастье» — то есть пока на борту находится Цезарь, кораблю будет сопутствовать его удача. Эту фразу приводит Плутарх в своем «Жизнеописании Цезаря».

Стр. 320. *Виргиния* — героиня пасторального романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) «Павел и Виргиния» (1787).

Стр. 322. *Долина пресной воды* — живописное место в окрестностях Константинополя, излюбленное место прогулок жителей города.

Святая София — замечательный памятник византийской архитектуры в Константинополе (построен в первой половине VI века); в XV веке превращен турками в мечеть.

Геро — одна из героинь античной мифологии, возлюбленная юноши Леандра, жившего на другом берегу пролива Геллеспонт (Дарданеллы). Каждую ночь Геро зажигала сигнальный огонь, чтобы он мог переплыть пролив. В одну из бурных ночей ее огонь погас, и Леандр погиб в волнах. Найдя утром его труп, Геро бросилась с башни в море.

Стр. 323. *Янсенист* — сторонник одного из оппозиционных течений в католической церкви, возникшего в XVII веке во Франции; название «янсенист» происходит от имени богослова Корнелия Янсения (1585—1638). Янсенисты отличались крайней строгостью в вопросах морали.

Стр. 334. *...во избежание объяснений, как в «Мизантропе».*— Намек на сцену из комедии Мольера «Мизантроп» (д. V, явл. 2): два претендента на руку Селимены — Альцест и Оронт — просят ее сделать, наконец, свой выбор.

ДУШИ ЧИСТИЛИЩА

Эта новелла Мериме была напечатана 15 августа 1834 года в «Ревю де дё монд» (в 1837 г. переиздана в сборнике «Додекатон, или Книга двенадцати», куда вошли также произведения Жорж Санд, Мюссе, Стендаля, Виньи, Дюма-отца, Барбье, Гозлана и др.). В 1841 году, вместе с «Венерой Илльской» и повестью «Коломба», издана отдельной книгой. В «Душах чистилища» Мериме, всегда живо интересовавшийся историей и литературой Испании, разработал широко известный и популярный сюжет о Дон Жуане, воспользовавшись обеими версиями этой легенды (о доне Хуане Тенорьо и доне Хуане де Маранья). Эта новелла Мериме не привлекла внимания критики, и писатель не стремился ее переиздавать.

В России «Души чистилища» долгое время находились под цензурным запретом. Первый русский перевод новеллы появился только в январе — феврале 1897 года в рижской газете «Прибалтийский листок» (№№ 22, 29); с тех пор новелла много раз издавалась в разных переводах.

Стр. 338. *Цицерон где-то говорит...*— Мериме ссылается на главу XXI третьей части трактата Цицерона «О природе богов».

Дон Хуан Тенорьо — персонаж ряда легенд, впервые литературно обработанных испанским драматургом Тирсо де Молина (1571—1648) в пьесе «Севильский озорник» (ок. 1618). Распутник и кутила, дон

Хуан убил отца или мужа одной из соблазненных им женщин, а затем пригласил на ужин статую убитого, которая явилась на приглашение и увлекла его в преисподнюю. По-своему интерпретировали эту версию легенды Мольер в комедии «Дон Жуан», Моцарт в опере под тем же названием и Пушкин в драме «Каменный гость».

Дон Хуан де Маранья — подразумевается севильский вельможа дон Мигель, граф де Маньяра (1626—1679), проведший беспутную молодость, но затем раскаявшийся, ставший на путь благотворительности и ушедший в монастырь. Мериме в своей новелле использует черты обоих персонажей.

Дюсис Жан-Франсуа (1733—1816) — французский драматург, автор сентиментальных мелодрам и переделок пьес Шекспира.

Стр. 339. *...в войне против восставших морисков...*— Морисками назывались проживавшие в Андалусии арабы; они непрерывно подвергались притеснениям и преследованиям со стороны испанских властей и католической церкви. Восстание морисков вспыхнуло в 1568 году и было жестоко подавлено в 1570 году. В 1609—1610 годах последние мориски были выселены в Африку.

Альпухарра — гористый малодоступный район Андалусии, где укрылись восставшие мориски.

Стр. 340. *Литания* — католическая молитва.

Романсы о Сиде.— Так назывались короткие эпические песни, возникшие в Испании в XIV—XV веках и рассказывавшие о национальном герое испанского народа Руй Диасе, прозванном Сидом (от а р а б с к. «сеид» — «господин»). Легендарный Сид жил в 1040—1099 годах. Первоначально (в XII—XIII в.) о нем сложились большие эпические поэмы.

Бернардо дель Карпьо — национальный герой Испании, по преданию, незаконный сын королевы Кастилии доньи Химены, победитель французов при Ронсевале. О нем ходило много легенд, не раз обрабатывавшихся крупными писателями, в том числе Лопе де Вега.

Моралес Луис (ок. 1509—1586) — испанский художник, автор картин на религиозные темы.

Стр. 341. *...при штурме Альмерии...*— Этот испанский город и порт на Средиземном море был отвоеван у мавров в 1489 году.

Вехерский кади — судья у мусульман (в данном случае из андалусского города Вехера-де-ла-Фронтера, близ Кадиса).

Гора Эльвиры.— На этой горе близ Гренады располагался один из отрядов восставших морисков.

Альфаки — в данном случае мулла, возглавляющий военный отряд.

Стр. 342. *Рота* — селение близ Кадиса, славившееся своими овощами.

Саламанка — город, в котором находится один из самых старых испанских университетов (основан ок. 1230 г.).

Стр. 345. *...тот, кто лежит у тебя под пятой!* — Согласно библейскому преданию, св. Михаил, предводитель небесного воинства, поверг к своим ногам восставшего против бога сатану.

Стр. 346. *Аудитор* — член суда или коронного совета.

Стр. 348. *...как древние евреи поступали с хананеянами.*— В Библии содержится призыв к истреблению соседних с древними евреями племен, в том числе и хананеян, финикийского племени, населявшего до евреев Палестину.

Коррехидор — правитель города, назначавшийся королем.

...Гуадалкивир зимою.— В зимние месяцы река Гуадалкивир (Гвадалквивир) из-за большого количества осадков и прилива морской воды часто выходит из берегов.

Стр. 350. *Сегидилья* — короткая песенка, чаще всего на популярный мотив; обычно сопровождается танцами.

Стр. 354. *Лиценциат* — ученая степень в Испании и ряде других стран, средняя между бакалавром и доктором.

Стр. 356. *Симония* — продажа церковных должностей, а также подкуп церковнослужителей (по имени библейского волхва Симона, пытавшегося, по преданию, подкупить апостолов Петра и Иоанна).

Стр. 358. *Мурсиец* — уроженец испанского города Мурсии.

Стр. 359. *Альфальфа* — сорт люцерны, культивируемый в Испании.

Стр. 360. *Каинова печать.*— В Библии рассказывается о том, как старший сын Адама и Евы Каин убил из зависти своего брата Авеля. За это бог обрек его на вечное проклятие и отметил его лоб клеймом, чтобы каждый мог узнать братоубийцу.

Стр. 361. *Ломбер* — старинная карточная игра, возникшая в Испании.

Стр. 364. *Вакх и Ариадна...*— Имеется в виду один из эпизодов античной мифологии: афинский царь Тезей выбрался из лабиринта на острове Крите лишь с помощью клубка нитей, который ему дала влюбленная в него дочь критского царя Миноса Ариадна. В благодарность за спасение Тезей увез Ариадну с собой, но в пути покинул ее на острове Наксосе, где она вынуждена была стать женой бога веселья и вина Вакха.

Стр. 365. *...рипост вслед за парадом...*— Парадом в фехтовании называется отражение удара, рипостом — ответный выпад.

...начиная хотя бы с Сида.— В сказаниях о легендарном герое Испании Сиде рассказывается о том, как он, защищая честь своего отца, убил отца своей возлюбленной Химены.

Стр. 366. *Бросьте Минерву и послужите немного Марсу.*— В античной мифологии Минерва считалась богиней наук и искусств, Марс — богом войны.

Едем убивать еретиков — то есть голландских протестантов, отколовшихся от католической церкви.

Дублон — старинная золотая монета в Испании.

Пиларская божья матерь — Мадонна дель Пилар, знаменитый храм в Сарагосе. Согласно распространенной в Испании легенде, апостолу Сант-Яго (наиболее почитаемому в стране святому) явилась богоматерь, стоящая на столпе (по-испански «пилар»), и указала, где воздвигнуть в ее честь храм. Он существует и сейчас; в нем хранится, как ценная реликвия, часть столпа, на котором якобы стояла дева Мария.

Стр. 369. *Фараон* — старинная карточная игра.

Стр. 371. *Берг-оп-Зом* — эта крепость в Голландии была осаждена испанскими войсками в 1588 и 1622 годах. Мериме, весьма свободно обращавшийся с хронологией (у него, например, отец Хуана участвует в 1489 году в осаде Альмерии и в 1568 — в подавлении восстания морисков), мог иметь в виду любую из этих осад.

Стр. 375. *...понадобился бы огненный дождь* — намек на эпизод из Библии, повествующий об истреблении упавшим с неба огненным дождем погрязшего в грехах города Содома (Ев. от Луки, XVII, 29).

Стр. 378. *То же самое Химена говорила Родриго.*— В романсах о Сиде говорится о том, что после слез и упреков Химена все же согласилась стать женой Родриго, убийцы своего отца.

Стр. 382. *Торре дель Льоро* — одна из башен городских укреплений Севильи; буквально — «башня плача».

Триана — предместье Севильи, расположенное на другом берегу реки, напротив города.

Стр. 391. *Мурильо* Бартоломео Эстебан (1617—1682) — великий испанский художник.

Возвращение блудного сына.— Очень распространенный в изобразительном искусстве сюжет; он основан на библейской притче о блудном сыне (Ев. от Луки, XV, 11—32), который, растратив свою часть наследства, нищим вернулся в отчий дом, где снова нашел любовь и приют.

Иерихонская купель.— Иерихон — упоминаемый в Библии город; купелью в христианских храмах называется сосуд для святой воды.

Сульт Никола-Жан (1769—1851) — французский маршал, участник многих войн Наполеона; командовал французскими войсками в Испании, откуда вывез большое количество первоклассных произведений искусства.

ВЕНЕРА ИЛЛЬСКАЯ

Эта новелла была напечатана 15 мая 1837 года в «Ревю де дё монд»; в 1841 году, вместе с «Душами чистилища» и повестью «Коломба», издана отдельной книгой.

Путешествие по югу Франции в 1834 году, в частности посещение Русильона (в середине ноября), подсказали писателю бытовую обстановку «Венеры Илльской». Познакомился Мериме и с забавными провинциальными археологами-энтузиастами (в частности, с Жобером де Насса (1784—1855), намек на которого мы находим в новелле: «мой друг г-н де П.»), позволившими ему создать образ г-на де Пейрорада. После напечатания новеллы одна провинциальная газета поместила сообщение о найденной в Илле бронзовой статуе, но, как писал Мериме своему другу Элуа Жоанно (11 ноября 1847 г.), «статуи Венеры Илльской никогда не существовало, и надписи на ней были сочинены мною с помощью Муратори и Орелли. Я задумал написать этот рассказ, прочитав у Фреера одну средневековую легенду. Кроме того, кое-какие подробности я заимствовал у Лукиана, рассказывающего о статуе, избивающей людей».

В России «Венера Илльская» была переведена сразу же после появления новеллы во французском журнале — ее напечатала «Библиотека для чтения» (1837, т. 24, № 10).

Стр. 392. Эпиграф к новелле — из сочинения древнегреческого писателя-сатирика Лукиана Самосатского (125 — ок. 180), из главы 17-й его диалога «Любитель лжи, или Невер». В этом диалоге рассказывается о коринфском полководце Пелихе, у которого была статуя, якобы обладавшая даром исцеления больных. По ночам она сходила со своего пьедестала и бродила по саду. Вылеченные ею больные приносили ей в дар монеты. Когда один из конюхов польстился на это золото и серебро, статуя жестоко его наказала.

Канигу — гора в департаменте Восточных Пиренеев высотой 2786 метров.

Стр. 393. *Серабона* — селение в Русильоне (см. ниже). Росписи местной церкви описаны Мериме в «Заметках о путешествии по югу Франции».

...времен Карла Великого... — Король франков Карл Великий (742—814) был провозглашен императором в 800 году.

Стр. 395. *Русильон* — старая французская провинция с главным городом Перпиньяном; первоначально самостоятельное графство, Русильон окончательно вошел в состав королевства в 1659 году.

Терм — древнеримское божество, охранитель границ и полевых межей; изображался в виде столба с человеческой головой.

Стр. 396. *...финикийские...* — Финикия — древняя страна на восточном побережье Средиземного моря, расположенная по склонам Ливанских гор. Известная с третьего тысячелетия до новой эры, Финикия имела многочисленные торговые колонии на островах и западном побережье Средиземного моря.

...кельтские...— Кельты, жившие в центральной Европе между Рейном, Майном и Дунаем, были вытеснены оттуда в IX в. до н. э. германскими племенами и заселили территории будущих Франции и Англии; в VI в. до н. э. они дошли до Пиренеев. Остатки их поселений находят также в Испании и северной Италии.

Стр. 397. *Кусту* — фамилия трех известных французских скульпторов: Никола (1658—1733), его брата, Гийома-отца (1677—1746), и Гийома-сына (1716—1777); в данном случае речь идет, очевидно, о Никола Кусту.

Мирон — греческий скульптор (жил в V в. до н. э.).

Раненный Венерой дурень...— Игра слов: по-французски слово «дурень» (maraud) звучит так же, как и одно из имен древнеримского поэта Публия Вергилия Марона (70—19 гг. до н. э.), из поэмы которого «Энеида» (н. IV, стих 33) и взята латинская цитата.

Стр. 400. *Мурр* — старинная народная игра, известная еще в древнеримскую эпоху. Игра состоит в том, что двое играющих одновременно показывают несколько пальцев и при этом произносят какое-либо число; выигрывает тот, кто назвал число, равное количеству пальцев, показанных им и его партнером. Статуя «Игрок в мурр» находится в Лувре; ее приписывают древнегреческому скульптору Клеомену (I в. до н. э.).

Германик (15 г. до н. э.— 19 г. н. э.) — древнеримский полководец, прозванный Германиком за его победы над германскими племенами.

Стр. 401. *«Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче!»* — стих из трагедии Расина «Федра» (д. I, явл. 3).

Стр. 402. *Вулкан* — в древнеримской мифологии бог огня; по некоторым легендам, был мужем богини Венеры.

Стр. 403. *Тир* — один из самых крупных финикийских портов и городов-государств; выходцы из Тира основали несколько торговых колоний в Северной Испании и во Франции, и, в частности, в Русильоне.

Ваал — верховный бог древних семитов.

Стр. 404. *Тетрик* — назначенный Римом префект Аквитании (юго-западная Франция), в 268 г. н. э. захвативший власть и провозгласивший себя императором Галлии. Ему удалось удерживать власть до 273 года.

Грутер Ян (1560—1627) — голландский филолог-классик, автор капитального труда о древнеримских надписях.

Орелли Иоганн-Каспар (1787—1849) — швейцарский филолог, автор комментированных изданий произведений Горация, Цицерона и Тацита, а также свода древних латинских надписей.

Стр. 405. *Диомед* — один из героев древнегреческой мифологии; в «Илиаде» Гомера рассказывается, как Диомед во время Троянской войны в пылу боя ранил Афродиту. После этого разгневанная богиня долго препятствовала его возвращению на родину. В «Метаморфозах» Овидия есть рассказ о том, как Венера (Афродита) превратила спутников Диомеда в белых птиц.

Стр. 407. *...назначить свадьбу на пятницу?* — Согласно библейским мифам, в пятницу был распят Иисус Христос, поэтому у христиан пятница считается «тяжелым днем».

Пятница — это день Венеры! — В романских языках название пятницы происходит от латинского *veneris dies,* то есть «день Венеры». По-французски пятница — *vendredi.*

Латинская цитата — из «Энеиды» Вергилия (п. VI, стих 883).

...конституция — это только пустой звук.— Так называемая «Хартия 1830 года», данная Луи-Филиппом, провозгласила католицизм не государственной религией, а лишь религией «большинства французов». Тем самым утверждалась свобода вероисповедания.

Стр. 408. *...как Цезарь, собравший своих солдат при Диррахии.*— Во время войны с Помпеем, в 48 г. до н. э., войска Цезаря были почти разбиты при Диррахии (на территории современной Албании). Однако Цезарю удалось собрать остатки своих легионов, поднять дух солдат и добиться победы при Фарсале.

Стр. 410. *Похищение сабинянок* — эпизод из легендарной истории Древнего Рима: когда-то Рим был населен одними мужчинами; соседнее племя сабинян отказывалось выдавать своих женщин замуж за римлян. Тогда на устроенном в городе пышном празднестве римляне неожиданно напали на безоружных гостей и похитили самых красивых сабинянок.

Стр. 411. *Кольюрское вино* — вино, приготовляемое в небольшом городке Кольюр, в департаменте Восточных Пиренеев, южнее Перпиньяна.

Стр. 412. *...рассказывают Монтень...*— Мериме имеет в виду одно из вольных мест «Опытов» французского писателя и философа Мишеля де Монтеня (1533—1592).

Мадам де Севинье — см. прим. к стр. 263 наст. тома.

Стр. 413. *Минотавр* — согласно мифу, чудовище с головой быка и туловищем человека, пожиравшее самых красивых афинских юношей и девушек, посылаемых ему как ежегодная дань.

Стр. 414. *Друидические памятники.*— Друидами назывались жрецы у древних кельтов Галлии и Британии. Друидическая культура относится к долетописному, легендарному периоду истории Франции.

КОЛОМБА

Эта повесть Мериме была напечатана 1 июля 1840 года в «Ревю де дё монд», в 1841 году издана отдельной книгой вместе с двумя предыдущими новеллами писателя. Сюжет повести Мериме привез из своей поездки по Корсике в сентябре 1839 года (описанной в его «Заметках о путешествии по Корсике»). Корсиканские бандиты, суровые законы кровной мести, живописная и не тронутая цивилизацией природа этого острова давно привлекали писателя. Первым обращением Мериме к корсиканской теме была новелла «Маттео Фальконе» (1829). Но тогда Мериме пользовался исключительно книжными источниками, теперь же он описывал своих героев и сам остров «с натуры». Около 15 сентября в небольшом местечке Фоццано писатель знакомится с Коломбой Бартоли, которая станет героиней его повести. Но реальная Коломба уже стара (она родилась в 1775 г.; Гюстав Флобер, путешествующий по Корсике через год после Мериме, пишет сестре Каролине: «Мы будем проезжать деревню, в которой увидим самую настоящую Коломбу; она стала не светской дамой, как в новелле Мериме, а полной, низенькой и милой старушкой»), и Мериме рисует в своей повести портрет ее дочери Катерины, о которой он с восхищением писал одному из своих друзей. Семья Коломбы действительно была замешана в вендетте, однако сама героиня не играла той роли, какую ей отвел Мериме.

Существуют довольно противоречивые свидетельства о том, где и когда Мериме писал «Коломбу». Некоторые исследователи настаивают на том, что повесть была написана в Марселе, причем писатель якобы шестнадцать раз перерабатывал рукопись. Однако более вероятно, что Мериме писал «Коломбу» в Париже, в первые месяцы 1840 года. Подробных сведений о характере работы писателя над этим произведением у нас нет. Если критика не посвящала «Душам чистилища» и «Венере Ильской» обстоятельных разборов, то «Коломба» стала предметом многочисленных восторженных рецензий. «Никогда, быть может,— писал рецензент «Ревю де Пари»,— г-н Мериме не поднимался до столь волнующей, столь глубокой правды, никогда он не показывал в полной мере все достоинства своего стиля и своего ума». Эта повесть Мериме выдержала много изданий: при жизни автора она была переиздана более двадцати раз. В России «Коломба» была переведена сразу же после ее появления во французском журнале — перевод был напечатан в «Библиотеке для чтения» (1840, т 41, № 8). В 1881 году к этому произведению Мериме обратился В. М. Гаршин; его перевод был напечатан в журнале «Изящная литература» в 1883 году (№ 10) и стал затем одним из наиболее часто печатаемых русских переводов «Коломбы».

Стр. 419. Латинская цитата — из «Посланий» (1, 6, 1) Горация.

Стр. 420. *...пелазгических или циклопических ворот в Сеньи* — остатки гигантских сооружений каменного века в итальянском городе Сеньи, километрах в пятидесяти от Рима.

Тердесьен — один из сортов темно-красной краски (так называемая «сиенская земля»).

Стр. 421. *Сент-Джемс-Плейс* — площадь в одном из аристократических районов Лондона.

Стр. 422. *Бульябес* — рыбный суп.

Тот.— Имеется в виду Наполеон I.

Стр. 425. *Меня отставили с половинным жалованьем...*— Правительство Бурбонов так обычно поступало со всеми наполеоновскими офицерами.

Стр. 426. *...под Виттори́ей...*— В этом сражении в Северной Испании соединенные англо-испанские войска под командованием Веллингтона нанесли поражение французам (1813).

Стр. 428. *Campo Santo* (досл. «Святое поле»).— Так в Италии и Испании называются украшенные надгробиями и памятниками городские кладбища.

Наклонная башня — сооружение XII века с семью ярусами аркад романского стиля. В результате опускания почвы эта башня немного наклонилась, но затем более не меняла своего положения.

Орканья Андреа ди Чьоне Арканьоло (ок. 1308—1368) — флорентийский художник и скульптор, автор фресок в часовне знаменитого пизанского кладбища.

Блюхер Гетгард (1742—1819) — немецкий генерал; подход его корпуса во время битвы при Ватерлоо окончательно решил исход сражения в пользу союзников.

Стр. 429. *Филиппини* Антонио-Пьетро (ок. 1529—1594) — французский историограф, корсиканец по рождению; его пятитомная «История Корсики» была переиздана в 1827—1832 годах; Мериме пользовался этим изданием.

Сампьеро д'Орнано (Корсо) (1498—1567) — корсиканский военачальник и патриот, прославившийся своей борьбой с Генуей.

Стр. 432. *Фьеско* Джан Луиджи, граф Лаванья (1522—1547) — глава заговора против генуэзского кондотьера Андреа Дориа.

Стр. 433. *Аттила* — вождь гуннов; в 452 г. н. э. вторгся в Италию и опустошил ее.

Стр. 437. *Маркиз Маскариль.*— Это имя и титул присвоил себе слуга в комедии Мольера «Смешные жеманницы», по указанию своего господина изображающий знатного вельможу и выражающийся изысканно и запутанно.

Стр. 441. *Франческа да Римини.*— В «Аде» Данте (песнь V) рассказывается о любви Франчески да Римини и Паоло Малатеста, брата ее мужа. Они открылись друг другу в любви, читая рыцарский роман о любовных похождениях Ланселота.

Стр. 443. *Фидий* (ок. 490—430 гг. до н. э.) — скульптор Древней Греции.

Стр. 444. *По правилу Горация...*— Мериме приводит далее слова из «Поэтического искусства» Горация (стих 148), сказанные им относительно Гомера.

Стр. 446. *...«от природы боялся побоев», как Панург...*— Намек на одну из «черт характера» героя романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. II, гл. 21).

Стр. 453. *Компания.*— Имеется в виду Ост-Индская торговая компания, державшая в своих руках всю английскую торговлю с Индией и наживавшая на этом огромные деньги. Компания безжалостно эксплуатировала индусов.

Стр. 457. *Конрад* — герой поэмы Байрона «Корсар» (1814).

Стр. 460. *Марбеф* Луи-Шарль-Рене (1712—1786) — губернатор Корсики, немало сделавший для благоустройства острова.

Стр. 463. *...под Катр-Бра...*— Эта битва на территории Бельгии состоялась 16 июня 1815 года: французские войска под командованием маршала Нея одержали победу над англичанами. Эта битва предшествовала сражению при Ватерлоо.

Стр. 467. *Амбигю Комик* — парижский театр, основан в 1769 году. На сцене этого театра с успехом шли мелодрамы.

Стр. 470. *Шенди* — главный герой романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Стр. 473. *Латинская фраза* — измененная цитата из Сатиры XIV Ювенала.

Стр. 474. *...стихи Вергилия...*— Далее приводится цитата из «Энеиды» Вергилия (п. IX, стихи 587—588).

Стр. 478. *Прозопопея* — олицетворение (поэтич.).

Стр. 497. *Моя кроткая Коломба...*— Коломба по-итальянски и по-корсикански — голубка.

Стр. 501. *Орецца* — город в центре Корсики.

Стр. 507. *Сартене* — город на юге Корсики.

Стр. 509. *«Отелло»* — опера Россини, написанная в 1816 году на сюжет одноименной трагедии Шекспира.

Ирида — в древнегреческой мифологии вестница богов.

Стр. 510. *Коронер.*— В Англии так называют следователя по уголовным делам.

Стр. 530. *Эльзевир* — фамилия голландских печатников, работавших в Лейдене, Утрехте и Амстердаме в XVI—XVII веках. Основателем

фирмы был Луи Эльзевир (ок. 1540—1617). Их издания отличались небольшим, удобным форматом, высоким качеством печати и изяществом шрифта. В XIX веке во Франции выходила серия книг, по оформлению подражавшая этим старинным изданиям и называвшаяся «Эльзевир».

АРСЕНА ГИЙО

Эта новелла была напечатана в «Ревю де дё монд» 15 марта 1844 года. В 1846 году новелла была включена, вместе с «Кармен» и «Аббатом Обеном», в отдельную книгу, которая была переиздана в 1852 году в расширенном виде (были добавлены переводы из Пушкина и статья о Гоголе). Мериме долго не решался опубликовать «Арсену Гийо», справедливо опасаясь, что ее резкий антиклерикализм вызовет общественный скандал. Желая замаскировать свою сатиру, Мериме перенес время действия новеллы в эпоху Карла X (1824—1830), однако скандал все-таки разразился, тем более нежелательный, что как раз в это время писатель выставил свою кандидатуру во Французскую Академию (новелла появилась в журнале на следующий день после выборов). Мериме сообщал одному из своих друзей: «...говорят, что я произвел грандиозный скандал своей девицей, которая только что появилась в «Ревю де дё монд» под именем Арсены Гийо. Благодаря ее появлению стало ясно, что я атеист, злодей, неиезуит и т. д. и что очень странно, что меня до сих пор не арестовали в каком-нибудь сомнительном притоне». Критики и рецензенты не были столь суровы к писателю, как великосветские ханжи, но откликов на новеллу в печати было немного.

В России «Арсена Гийо» была напечатана в «Литературной газете» 17 июля 1845 года (№ 27). В декабре 1884 года в «Русских ведомостях» появился перевод А. Н. Плещеева.

Стр. 534. Эпиграф к новелле — слова умирающего Гектора, обращенные к Ахиллу («Илиада», п. XXII, стихи 359—360).

В те времена... — Опасаясь скандала, Мериме в этой новелле несколько раз подчеркивает, что действие происходит в правление Карла X. Его царствование характеризуется усилением реакции и церковного гнета.

Супруга дофина — то есть жена наследника престола, герцога Ангулемского, старшего сына Карла X; она была известна как ревностная католичка.

Стр. 535. *Михраб* — особая ниша в мечети, обращенная на восток,

куда во время молитвы должно быть обращено лицо каждого мусульманина.

Стр. 536. *Две лепты вдовицы* — намек на евангельские слова Христа: «...эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела» (Ев. от Марка, XII, 41—44).

Стр. 538. *Она, говорят, когда-то служила в балете...* — В начале 30-х годов Мериме и его друзья часто встречались с артистками кордебалета парижской оперы. Печальную историю одной из них писатель рассказал в письме к своей приятельнице Женни Дакен (конец июля 1832 г.): «Мне хочется рассказать вам историю из быта оперы, которую я узнал в этом смешанном обществе. На улице Сент-Оноре в одном из домов жила бедная женщина, снимавшая за три франка в месяц комнатушку под самой крышей. Она оттуда никогда не показывалась. У нее была дочь лет двенадцати, всегда опрятно одетая и очень скромная. Девочка никогда ни с кем не разговаривала; три раза в неделю она выходила после полудня и возвращалась одна около полуночи. Она была фигуранткой в опере. Однажды она спускается к привратнику и просит у него зажженную свечу. Ей ее дали. Жена привратника, удивленная тем, что девочка долго не спускается, поднимается к ней на чердак, находит на убогом ложе мертвую мать девочки, а ее саму сжигающей большую кучу писем, вываленную из объемистого чемодана. «Моя мать умерла сегодня ночью,— говорит она,— перед смертью она просила меня сжечь все эти письма, не читая их». Этот ребенок так никогда и не знал настоящего имени своей матери; теперь она осталась совсем одна; она может зарабатывать на хлеб, лишь изображая коршунов, обезьян и дьяволов в опере».

Стр. 539. *Тетанос* — столбняк.

...пудра с него пообletела, а его чудесное батистовое жабо измялось.— Заставляя доктора К. носить кружевное жабо и пудрить волосы, Мериме делает его сторонником старых, дореволюционных обычаев.

Стр. 540. *Тюрбо* — палтус, сорт рыбы.

Я ее не «выслушивал».— Метод выслушивания больных, предложенный в начале 20-х годов доктором Рене Лаэнеком (1781—1826), вызывал в то время споры.

Харон — лодочник, согласно мифу, перевозивший души умерших через реку Стикс в загробное царство.

Стр. 541. *...на темени имеется выпуклость, указывающая на экзальтацию.*— В первой половине XIX века весьма популярной была псевдонаука френология, одним из основателей которой был немецкий ученый Франц Иосиф Галль (1758—1828). Согласно его учению, по строению черепа можно было определить характер и темперамент человека.

«Журналь де Деба» — парижская ежедневная газета умеренно либерального направления, основанная в 1789 году.

Стр. 542. *Латуковый сок* — распространенное в то время успокаивающее средство.

Стр. 546. *«Как это можно быть персиянином!»* — фраза из философского романа Шарля де Монтескье «Персидские письма» (письмо XXX).

Стр. 547. *Амио* Жак (1513—1593) — французский гуманист и переводчик; его основным трудом был перевод «Жизнеописаний» Плутарха.

Стр. 548. *...«а впрочем, был прекрасный человек»* — ставшая крылатой фраза из «Послания Франциску I» французского поэта Клемана Маро (1495—1544); в этом послании Маро перечисляет пороки одного гасконца и это перечисление неожиданно заключает вышеприведенной строкой.

«Жимназ» — основанный в 1820 году в Париже драматический театр; на его сцене ставились водевили и легкие комедии.

...«благоразумному молчанию Конрара» — фраза из первого «Послания» Буало. Валантен Конрар (1603—1675) — французский писатель, один из основателей Французской Академии; он почти не публиковал своих произведений.

Стр. 551. *Нибби* Антонио (1792—1839) — известный итальянский археолог; в 1829—1837 годах он руководил раскопками римского форума.

...а нос как башня Ливанская.— Здесь Мериме иронически употребляет обращение Соломона к Суламифи («Песнь песней», VII, 5).

Стр. 552. *Ведь говорит же где-то Отелло...*— Приводимые далее Максом слова говорит не Отелло, а отец Дездемоны Брабанцио (д. I, явл. 3). Сам Отелло лишь замечает в одном месте, что он черен и не обладает даром красноречия (д. III, явл. 3).

Стр. 558. *В Минтурнских болотах Марий укреплял свое мужество, говоря себе: «Я победил кимвров!»* — Речь идет о римском полководце Гае Марии (156—86 гг. до н. э.), разбившем в битве при Верцеллах в 101 г. до н. э. германское племя кимвров. Изгнанный из Рима его соперником Люцием Корнелием Суллой (138—78 гг. до н. э.), Марий некоторое время скрывался в Минтурнских болотах.

Стр. 565. *Аргус* — в древнегреческой мифологии — стоглазый великан, у которого во время сна пятьдесят глаз оставались открытыми.

Стр. 567. *...о магнетическом флюиде...*— В эпоху Реставрации были широко распространены сеансы гипноза (называвшегося также «магнетизмом»); считалось, что человек способен испускать некие «магнетические флюиды», воспринимаемые другим человеком.

Де Риньи Анри (1782—1835) — французский адмирал, командовавший средиземноморским флотом Франции. Французская эскадра под его командованием приняла участие в битве при Наварине (1827), в которой соединенный англо-франко-русский флот нанес поражение турецко-египетскому флоту.

Стр. 568. *Филэллин* — друг греков.

Куршид-паша — турецкий военачальник, отличавшийся особенной жестокостью в период греко-турецкой войны.

Стр. 569. *...читала лорда Байрона...* — Приведенная греческая фраза как рефрен заканчивает каждую строфу стихотворения Байрона «Афинской девушке» (1810).

Стр. 570. *Румелия* — так называлась часть Турции, расположенная на европейском берегу Босфора и Дарданелл.

Стр. 572. *Фуа* Максимилиан-Себастьян (1775—1825) — французский генерал и политический деятель либерального направления. Его похороны превратились в многотысячную демонстрацию республиканцев, противников реакционного режима Бурбонов. Мериме принимал активное участие в этой демонстрации, и его фигура изображена на пьедестале памятника генералу Фуа работы скульптора Давида д'Анже.

КАРМЕН

Эта новелла была напечатана в «Ревю де дё монд» 1 октября 1845 года, в 1846 году издана отдельной книгой (вместе с «Арсеной Гийо» и «Аббатом Обеном»), переизданной в 1852 году. Замысел «Кармен» возник у Мериме давно, быть может, еще во время его первой поездки по Испании в 1830 году. В четырех «Письмах об Испании», печатавшихся в «Ревю де Пари» в 1830—1833 годах, мы находим всех главных персонажей новеллы. Однако основную фабулу своего произведения Мериме нашел не на испанских дорогах и придорожных венгах, а в устных рассказах своей приятельницы, графини де Монтихо, в письме к которой (от 16 мая 1845 г.) Мериме признавался, что использовал рассказанную ею историю. Работая над новеллой, писатель заинтересовался бытом, нравами и языком цыган, он изучил современную ему научную литературу и принялся собирать всевозможные материалы об этом своеобразном народе. Так, в отдельном издании новеллы появилась заключительная главка, отсутствовавшая в журнальном варианте.

Отзывы критики были многочисленны, но разноречивы; некоторые упрекали автора как раз за заключительную главку, сюжетно ничем

не связанную с новеллой. Оценка Сент-Бёва была сдержанной, а в личных заметках маститый критик писал: «Я только что прочел «Кармен» Мериме; это неплохо, но сухо, резко и лишено развития; это «Манон Леско», но более подперченная и в испанском духе». Однако «Кармен», особенно благодаря одноименной опере Бизе (1875), стала едва ли не самым известным и популярным произведением Мериме.

В России «Кармен» была переведена сразу же после ее появления во французском журнале, причем одновременно в двух разных изданиях — в «Библиотеке для чтения» (1846, т. 74) и в «Отечественных записках» (1846, т. 44, № 1).

Стр. 573. Эпиграф к новелле — из сочинений позднегреческого поэта V в. н. э. Паллада Александрийского.

Мунда — город в древней Испании; около него Юлий Цезарь одержал решительную победу над сыновьями Помпея Гнеем и Сикстом (45 г. до н. э.). Первоначально этот город отождествляли с современной Мондой в провинции Малага, около которого жило финикийское (или пуническое) племя бастулов. В настоящее время ученые склонны отождествлять древнюю Мунду с современной Монтой в провинции Кордова.

Герцог Осунский (1579—1624) — испанский общественный деятель и коллекционер.

Стр. 574. *Сьерра* — горная цепь.

Стр. 575. *Гедеон* — израильский полководец, о котором рассказывается в Библии; перед его битвой с соседним племенем мадианитян бог повелел ему испытать своих солдат, заставив их напиться воды; те из них, кто пил прямо из озера, были отосланы домой как «плохие воины» (Книга Судей, VII, 2—7).

Регалия — сигара одного из лучших сортов.

Стр. 577. *Хосе Мария* — об этом испанском бандите Мериме подробно рассказал в своем третьем «Письме об Испании».

Стр. 578. *Сорсико* — национальный баскский танец, сопровождаемый пением.

...мильтоновского Сатану.— Речь идет об одном из персонажей поэмы Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный Рай».

Стр. 582. *Алькайд* — комендант города, крепости, замка.

«Ангелус» — вечерняя молитва у католиков.

Стр. 583. *...купающуюся с нимфами Диану, не боясь при этом участи Актеона.*— Намек на один эпизод из античной мифологии: юный охотник Актеон подсмотрел однажды, как богиня Диана купалась с нимфами. За это он был превращен разгневанной богиней в оленя и растерзан своими же охотничьими собаками.

«...и в свете сумрачном, струящемся от звезд...» — цитата из трагедии Корнеля «Сид» (д. IV, явл. 3).

Стр. 584. *Халкида* — город в Греции на острове Эвбея. Мериме посетил эту страну в сентябре 1841 года; в Халкиде он был 6 октября.

Франсиско Севилья, известный пикадор.— О нем Мериме писал в своем первом «Письме об Испании».

Хитана — цыганка.

Стр. 585. *Об остальном можете справиться у Брантома.*— Мериме имеет в виду книгу Пьера Брантома (1540—1614) «Галантные дамы».

Стр. 587. *...в древней столице мусульманских владык.*— В средние века Кордова была столицей арабского халифата в Испании.

«Pater» и *«Ave»* — начальные слова католических молитв «Отче наш» и «Богородица».

Стр. 588. *...при конституционном строе...*— Конституционная монархия после долгой борьбы демократических сил испанского общества была установлена в стране в 1836 году. До этого конституция провозглашалась в Испании дважды: при французах в 1812 году и в период революционного подъема 1820—1823 годов.

...«карошенький маленький пофешенья» — цитата из комедии Мольера «Господин де Пурсоньяк» (д. III, явл. 3). Это говорит солдат-швейцарец, коверкающий французский язык.

Стр. 591. *Булавка* — затравник у ружья.

Стр. 592. *...когда господин коррехидор повезет ее на прогулку...*— В старой Испании существовало следующее наказание для женщин легкого поведения и подозреваемых в колдовстве: их сажали на осла и возили по городу; впереди шел коррехидор, а сзади — стражники, бичевавшие наказуемую кнутом.

Шебека — старинное, очень узкое военное судно, применявшееся на Средиземном море.

...андреевские кресты.— Крест Андрея Первозванного — диагональный крест в память о том кресте, к которому, согласно христианским легендам, святой был пригвожден турками.

Стр. 594. *Лонга* Франсиско (1783—1831) — испанский военачальник, прославившийся во время войны с Наполеоном (1808—1813).

Мина Франсиско (1784—1836) — испанский генерал, один из вождей либеральной оппозиции абсолютистскому режиму Фердинанда VII.

Чапалангарра Хоакин де Пабло Антон (ум. 1830) — испанский военачальник-республиканец; вынужденный эмигрировать в 1823 году после подавления испанской революции, он в 1830 году вернулся на родину, сделал попытку поднять восстание, был схвачен и расстрелян.

«Черный».— Так в Испании называли сторонников кортесов (народного парламента) в период революции 1820 года.

Стр. 598. *Дон Педро* (1334—1369) — король Кастилии, решительно расправившийся с непокорными феодалами и за это прозванный ими «Жестоким»; в народе о нем слагали много различных легенд. Вольтер написал о нем трагедию; о нем писали также Лопе де Вега и Кальдерон. Мериме несколько лет изучал его деятельность и в сентябре 1848 года выпустил книгу «История Дона Педро I» (в декабре 1847 — феврале 1848 г. печаталась в «Ревю де дё монд»).

Изабелла Католичка (1451—1504) — королева Кастилии; при ней завершилось объединение Испании.

Сунъига Дьего Ортис (ок. 1610—1680) — испанский историк; жил и работал в Севилье, городские архивы которой хорошо изучил.

Стр. 601. *Драконьи слезы!* — Игра слов: по-французски (и по-испански) слова «драгун» и «дракон» — омонимы.

Стр. 604. *Данкайре.*— В переводе с испанского эта кличка значит «игрок на чужие деньги».

Стр. 605. *Ремендадо.*— В переводе с испанского это прозвище значит «пятнистый».

Стр. 608. *Рольона.*— Эта кличка в переводе с испанского значит «пышка».

Стр. 617. *Мария Падилья* (ок. 1330?—1361) — возлюбленная короля Кастилии Дона Педро I, с которой он познакомился в 1352 году.

Бланка Бурбонская (ок. 1338—1361) — жена короля Дона Педро, дочь Пьера I, герцога Бурбонского. Вышла замуж в 1353 году, но была брошена мужем; приняла участие в заговоре против него, но была схвачена, заточена и, очевидно, отравлена.

Стр. 619. *Борроу* Джордж (1803—1881) — английский исследователь и путешественник, автор работ «Цыгане» (1841) и «Библия в Испании» (1843), с которыми Мериме был хорошо знаком.

Библейское общество — основанная в 1649 году в Лондоне организация, занимавшаяся переводом на живые языки и распространением Библии.

...Овидиевой некрасивой женщины...— Далее цитата из «Любовных элегий» Овидия (кн. I, элегия VIII, стих 43); эту фразу произносит старая сводня.

Стр. 622. *...это выходцы из Индии.*— Современными исследователями установлено, что родиной цыган была северо-западная Индия, откуда они вышли не позже X века и перешли в Европу через Малую Азию и Балканский полуостров.

Стр. 623. *«Парижские тайны»* — популярный роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857), вышедший в 1842—1843 годах. Один из персонажей романа носит прозвище Chourineur — «Поножовщик».

Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) — знаменитый авантюрист, в молодости вор, затем сыщик и полицейский агент. Его перу принадлежат «Мемуары» (1826) и описание жизни парижского дна — «Истинные тайны Парижа» (1844).

Удек Антуан (ум. 1653) — лексикограф, преподаватель итальянского языка Людовика XIV. Его словарь вышел не в 1640, а в 1649 году; предлагаемая в нем этимология весьма сомнительна.

АББАТ ОБЕН

Эта новелла была напечатана в газете «Конститюсьонель» 24 февраля 1846 года без указания имени автора. 28 февраля Мериме писал г-же де Монтихо: «Я посылаю вам маленькую историйку, которую я только что напечатал без подписи, ибо мне вполне достаточно заговорить о кюре, чтобы старые ханжи принялись кричать об антирелигиозности. Все приключение — чистейшая правда, я мог бы назвать действующих лиц». В том же году «Аббат Обен», вместе с «Кармен» и «Арсеной Гийо», вошел в отдельный сборник, переизданный в расширенном виде в 1852 году. В России эта новелла была напечатана в «Библиотеке для чтения» (1846, т. 75).

Стр. 626. *Филамента* — героиня комедии Мольера «Ученые женщины» (1672).

«Мопра» — роман Жорж Санд, напечатанный в 1836 году.

...песнь пиратов из «Гяура».— Песнь пиратов есть не в «Гяуре» Байрона, а в его поэме «Корсар».

Стр. 627. *«Жослен»* — изданная в 1836 году поэма Альфонса де Ламартина (1790—1869). В ней рассказывается о борьбе в душе молодого деревенского священника, вынужденного выбирать между любовью и религиозным долгом. Религия в поэме в конце концов торжествует.

Стр. 628. *...«моем старом Плутархе для брыжей»* — цитата из комедии Мольера «Ученые женщины» (д. II, явл. 7). Герой комедии Кризаль говорит о «толстом Плутархе, годном только для того, чтобы закладывать в него кружевные брыжи».

Стр. 634. *«Доволен ты, Куси?»* — полустишие из трагедии Вольтера «Аделаида Дюгесклен» (д. V, явл. 6).

Стр. 635. *О Meliboee...*— цитата из «Буколик» Вергилия (эклога I, стих 6).

Horresco referens — цитата из «Энеиды» Вергилия (п. II, стих 204).

«Абеляр» г-на де Ремюза.— Речь идет о двухтомном сочинении Шарля де Ремюза (1797—1875) «Абеляр, его жизнь, его философия и его теология» (1845), повествующем о французском средневековом философе, богослове и писателе Петре Абеляре (1079—1142), о его любви к Элоизе.

Стр. 636. *Фома Кентерберийский* — Фома Бекет (1117—1170), английский политический и церковный деятель, епископ Кентерберийский, канцлер Англии. Пользовался неограниченным доверием короля Генриха II, но после возникшей между ними ссоры был убит по приказанию короля. Причислен к лику святых.

ГОЛУБАЯ КОМНАТА

Эта новелла была написана в сентябре 1866 года. Написана она была совершенно неожиданно, по словам Мериме, явившись результатом ночной бессонницы после выпитого вечером «слишком крепкого чая». На вилле императрицы Евгении в Биаррице Мериме прочел новеллу хозяйке дома и ее гостям, и хотя все присутствующие были в восторге, он наотрез отказался печатать «Голубую комнату», считая ее слишком слабой. «Голубая комната» была напечатана лишь после смерти Мериме. Первоначально эту новеллу предполагали опубликовать в сборнике «Личные бумаги и переписка императорской семьи», но так как его издание задерживалось, рукопись Мериме была передана для публикации в Брюссель. Напечатанная 6—7 сентября 1871 года бельгийской газетой «Эндепанданс бельж», «Голубая комната» вызвала шумный политический скандал. Спорили не о ее литературных достоинствах, а о том, мог ли Мериме — сенатор Империи и бонапартист — написать столь «аморальное» произведение и посвятить его императрице Евгении (авторская рукопись заканчивается словами: «Сочинено и написано Проспером Мериме, без ума от ее величества императрицы»). Республиканская пресса не сомневалась в принадлежности новеллы перу Мериме (12 сентября парижская газета «Либерте» поместила «Голубую комнату» на своих страницах), бонапартистская пресса отрицала это с пеной у рта. Газета «Авенир либераль», например, писала: «Нет, автор «Коломбы», сенатор, академик, не писал «Голубой комнаты»! Нет, императрица никогда не читала подобной литературы!» Однако многочисленные авторские свидетельства сделали принадлежность «Голубой комнаты» перу Мериме неоспоримым. В 1873 году «Голубая комната» вошла в книгу Мериме «Последние новеллы». В России перевод этого произведения писателя появился в сентябре 1871 года в «Иллюстрированной газете» (№№ 35, 36).

Стр. 637. *Госпожа де Ларюн.*— Так Мериме в письмах к друзьям называл императрицу Евгению. Происхождение этого прозвища таково: Ларюн — название небольшой горы в предгорьях Пиренеев, недалеко от курортного местечка Сен-Жан-де-Люс; обитатели императорской виллы в Биаррице, где не раз гостил Мериме, часто совершали прогулки к этой горе.

Стр. 640. *Пирам и Фисба* — молодые влюбленные, герои одного из древних мифов. Когда на Фисбу напала львица, девушке удалось спастись, но она потеряла свое покрывало; Пирам, найдя это покрывало и думая, что его возлюбленная погибла, кончает с собой; Фисба, обнаружив труп Пирама, также лишает себя жизни.

Жюли и Сен-Пре — герои романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Дюбюф Эдуард (1820—1883) — модный в то время французский художник академически-салонного направления.

Стр. 641. *Джонсон* Сэмюэль (1709—1784) — английский критик и писатель-моралист, один из видных деятелей английского Просвещения.

ЛОКИС

Возникновение замысла этого произведения следует отнести к 1866 году, когда Мериме ближе познакомился с сестрой своей приятельницы графини Пшедзецкой — Элеонорой Швейковской, прототипом его героини. Тогда же широкие лингвистические интересы Мериме заставили его обратиться к работам Августа Шляйхера, посвященным балтийским языкам. Работая над новеллой, Мериме пользовался советами И. С. Тургенева; «местный колорит» он заимствовал из произведений Адама Мицкевича, прежде всего из его поэмы «Пан Тадеуш». В сентябре 1868 года Мериме уже читает Женни Дакен первый вариант новеллы. По ее совету он перерабатывает «Локиса»; 16 ноября он сообщает ей, что тщательно переписал весь текст, внеся в него те исправления, на которые она ему указала. Однако эти поправки не удовлетворили Женни Дакен, и Мериме вновь принимается править свой текст. Он пишет ей 23 февраля 1869 года: «Я думаю, что в своей новой форме мой медведь покажется вам более приличным». Летом 1869 года, в Сен-Клу, Мериме читает новеллу императрице Евгении. Лишь получив ее одобрение, он решается передать рукопись для публикации в «Ревю де дё монд», где «Локис» и был напечатан 15 сентября. В 1873 году вошел в сборник «Последние новеллы».

В России впервые переведен (под названием «Медведь. Литовская повесть») М. Белинским и издан в Киеве в 1885 году; в 1891 году новый перевод новеллы появился в журнале «Вестник иностранной литературы» (№ 1).

Стр. 650. *Виттенбах.*— Как полагают многие исследователи, под этим именем в новелле выведен известный немецкий ученый-лингвист Август Шляйхер (1821—1868), автор грамматики литовского языка (1856) и его словаря (1857); он выпустил также сборник литовского фольклора (1857) и произведения литовского поэта К. Донелайтиса (1865).

Эпиграф к рукописи — сконструированная самим Мериме (очевидно, с помощью книг А. Шляйхера) литовская пословица; первое слово в ней, однако, не литовское, а русское.

«Кенигсбергская научно-литературная газета».— Такого издания в действительности не существовало.

Жмудский (иначе жемаитский, или самогитский) — один из диалектов литовского языка, имеющий существенные отличия от языка литературного (в основу которого лег западноаукштайтский диалект).

Самогитский палатинат — один из округов старой Литвы, примерно соответствовавший бывшей Ковенской губернии.

Стр. 651. *Лавицкий.*— Мериме вспомнил, очевидно, польского иезуита отца Андрея Лавицкого, сопровождавшего в Москву Лжедмитрия. Но этот иезуит никогда не был автором указанной писателем книги, которой, по-видимому, вообще не существовало.

Древнепрусский язык — один из вымерших балтийских языков; последние из тех, что говорили на нем, жители захваченной немецкими рыцарями территории Восточной Пруссии, исчезли уже в XVII веке.

Евангелическое вероучение — то есть протестантизм.

Стр. 653. *Дронтхейм* — немецкое название норвежского города Тронхейм.

Россиены — литовский город Расейняй.

Стр. 654. *«Санкт-Петербургский медицинский журнал».*— Журнала с таким названием не существовало.

Кейстут (1297—1382) — великий князь литовский, сын Гедимина; вместе со своим братом Ольгердом успешно боролся с Тевтонским орденом.

Гедимин — один из первых литовских великих князей (1316—1341), основатель Литовско-белорусского государства; вел упорную борьбу с Тевтонским и Ливонским рыцарскими орденами. Мериме, по-видимому,

не знал о родстве Гедимина и Кейстута, поэтому он и противопоставил семьи, предками которых они являлись.

Стр. 659. *...по-корнийски...*— Корнийское наречие кельтского языка, распространенное в Корнуэльсе (юго-запад Англии), стало мертвым в XVIII веке.

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник; в 1799—1804 годах он совершил длительное путешествие по Южной Америке. В 1829 году путешествовал по России.

Стр. 660. *Три сына Будрыса* — баллада Мицкевича, переведенная на русский язык в 1829 году Пушкиным (перевод напечатан в 1833 г.).

Ольгерд, Кейстут — сыновья Гедимина; *Скиргелло* — его внук.

Стр. 662. *Газель* — персидская поэтическая форма, стихотворение из пяти или шести двустиший.

Стр. 664. *Эдип* — сын фиванского царя, сумевший разгадать загадку Сфинкса.

Стр. 665. *«Плененная Польша»* — книга польского эмигранта Коецкого, жившего во Франции и писавшего под псевдонимом Шарля Эдмона. Полное название его книги: «Плененная Польша и ее три поэта — Мицкевич, Красинский, Словацкий». Книга вышла из печати в 1864 году. В нее были включены переводы произведений этих трех поэтов.

Меровингские короли (или Меровинги) — французская королевская династия, правившая в V—VIII веках.

Стр. 667. *Цирцея* — волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней, дав им выпить волшебный напиток.

Кнаус Людвиг — немецкий художник-жанрист; с 1852 по 1860 год жил и работал в Париже.

Нобль — царь зверей во французском средневековом животном эпосе «Роман о Лисе» (XIII в.).

Вайделоты были литовскими бардами.— В старой Литве вайделотами назывались жрецы, которые были также певцами и сказителями.

Стр. 670. *Русалка.*— Описание этого «литовского народного танца» — выдумка Мериме.

Стр. 673. *Чарруа* — племя южноамериканских индейцев, живущих в долине реки Ла-Плата.

Гаучо — южноамериканские скотоводы.

Ривера — генерал, один из вождей борьбы за независимость Уругвая, первый президент Уругвайской республики (1830—1835). Однако он не мог быть другом профессора Виттенбаха.

Стр. 676. *...поминаемый у Горация...*— Приводимая далее цитата —

из второй «Сатиры» Горация (VII, 59—61), в которой рассказывается, как во время сатурналий поэт проник к понравившейся ему замужней женщине, все время опасаясь, что внезапное возвращение мужа заставит его спрятаться в сундук.

Стр. 677. *Физиология.*— Во времена Мериме этим термином обозначали гипноз, телепатию и другие «таинственные» явления человеческой психики.

Геркулес нуждается в Гебе.— Согласно античным легендам, Геркулес (Геракл) после смерти был допущен в сонм богов, где его супругой стала богиня юности Геба.

Стр. 680. *Шавли* — прежнее название литовского города Шауляй.

А. Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Виппер. Проспер Мериме — романист и новеллист . . . 5

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX. *Перевод И. Любимова*

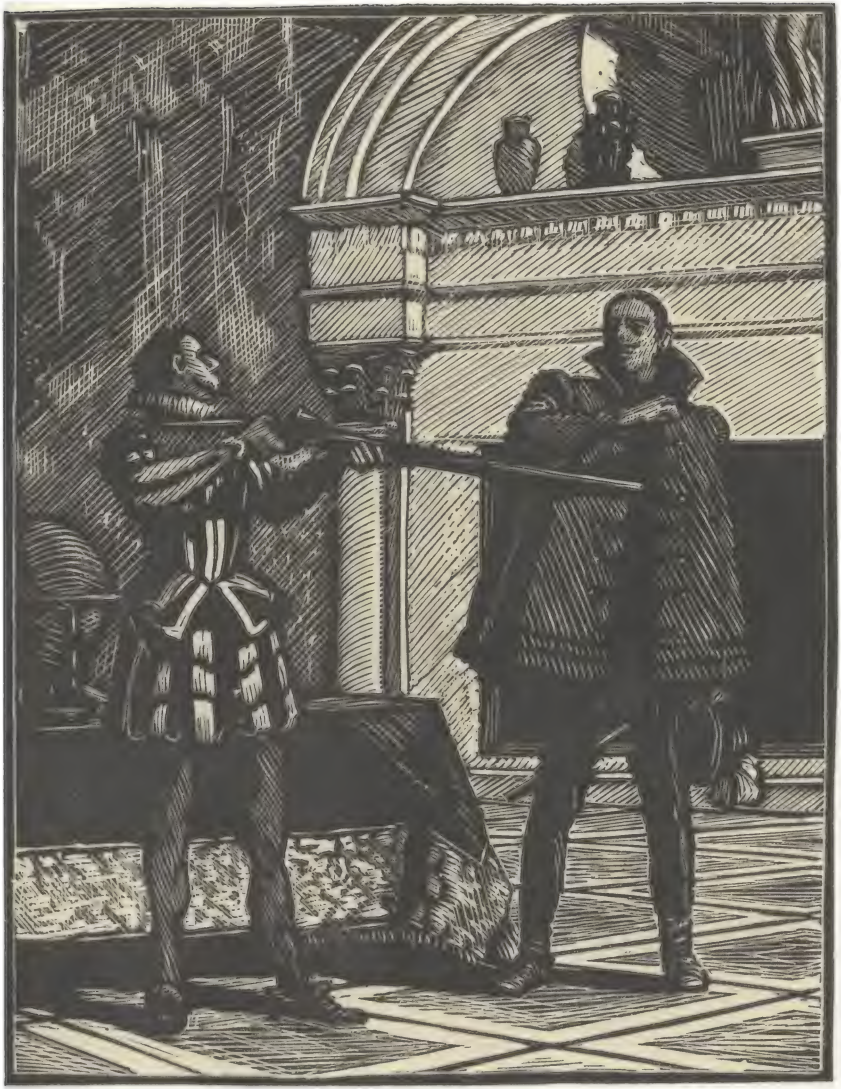
Предисловие 29
Глава первая. Рейтары 36
Глава вторая. Утро после попойки 50
Глава третья. Придворная молодежь 56
Глава четвертая. Обращенный 67
Глава пятая. Проповедь 75
Глава шестая. Вожак 80
Глава седьмая. Вожак (Продолжение) 86
Глава восьмая. Разговор между читателем и автором 87
Глава девятая. Перчатка 90
Глава десятая. Охота 97
Глава одиннадцатая. Записной дуэлист и Пре-о-Клер 107
Глава двенадцатая. Белая магия 114
Глава тринадцатая. Клевета 121
Глава четырнадцатая. Свидание 124
Глава пятнадцатая. В темноте 134
Глава шестнадцатая. Признание 135
Глава семнадцатая. Аудиенция 139
Глава восемнадцатая. Новообращаемый 144
Глава девятнадцатая. Францисканец 149
Глава двадцатая. Легкоконный отряд 152
Глава двадцать первая. Последнее усилие . . . 159
Глава двадцать вторая. Двадцать четвертое августа 169

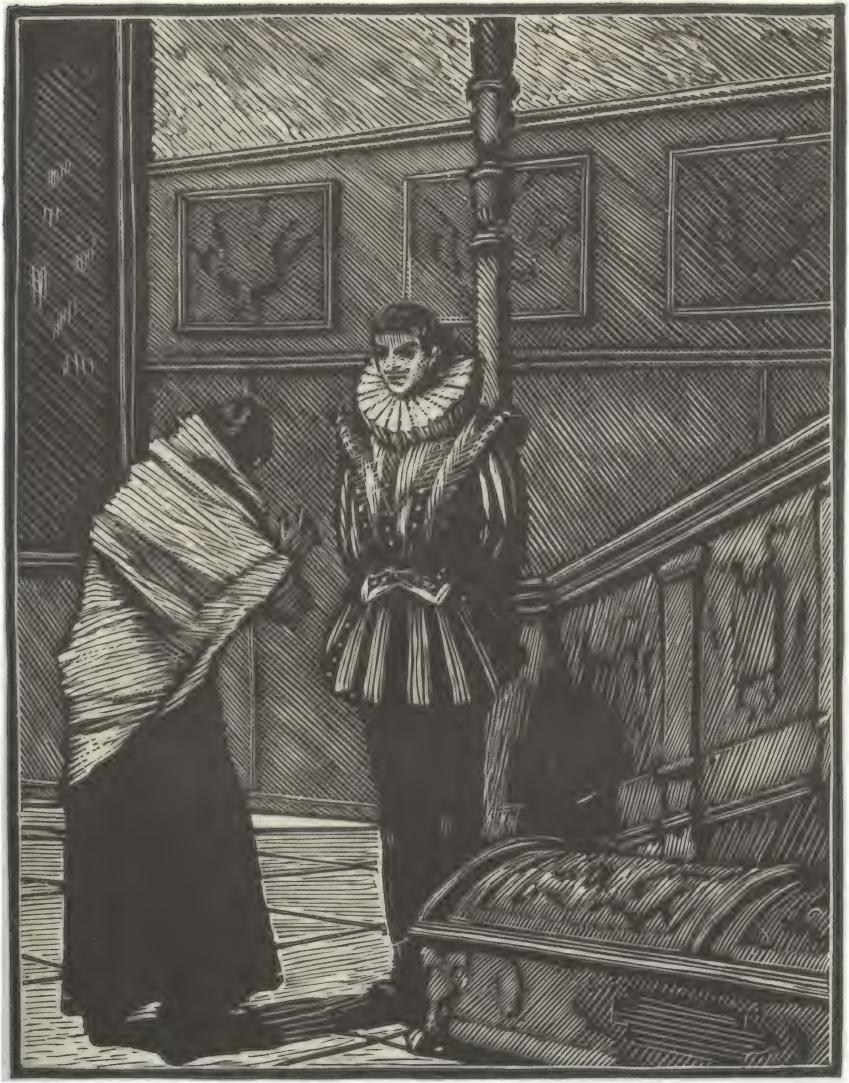
Глава двадцать третья. Два монаха 174
Глава двадцать четвертая. Осада Ла-Рошели . . 184
Глава двадцать пятая. Лану 187
Глава двадцать шестая. Вылазка 192
Глава двадцать седьмая. Лазарет 197

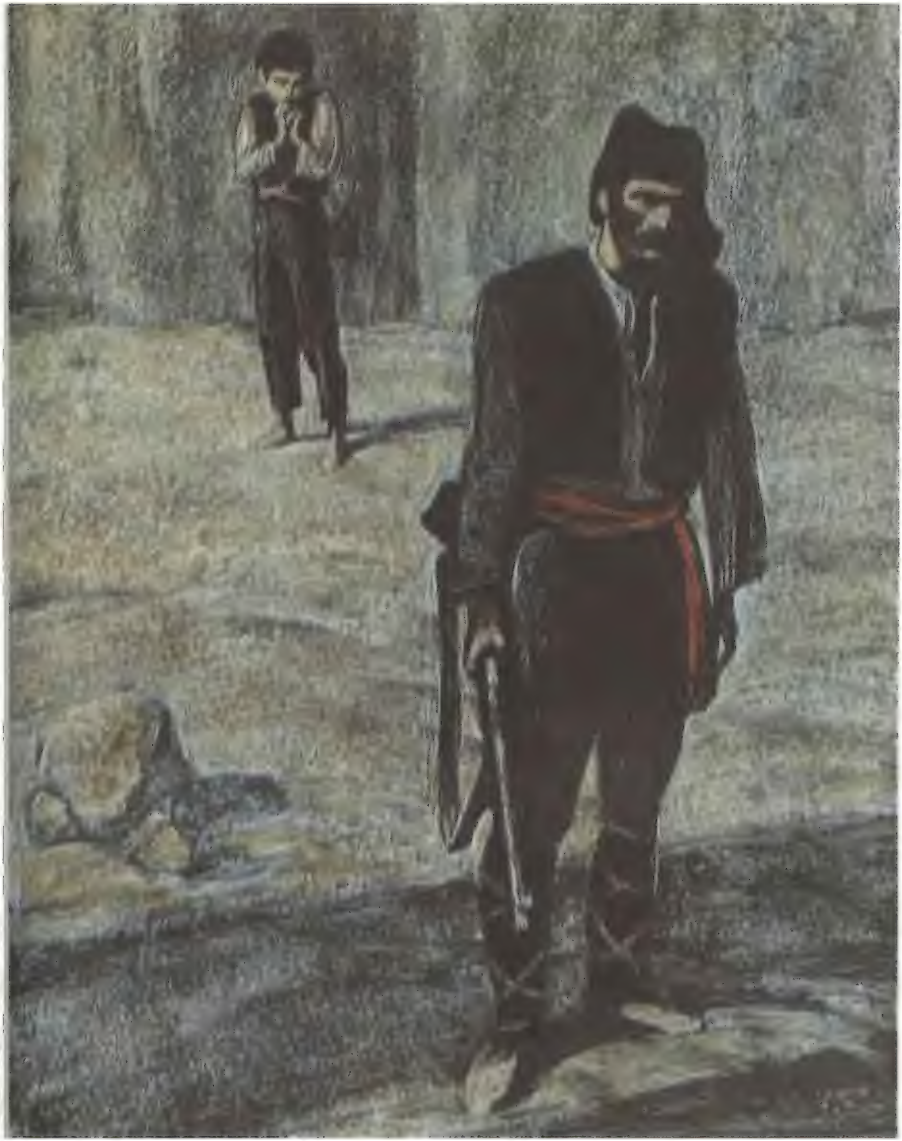
НОВЕЛЛЫ

Маттео Фальконе. *Перевод О. Лавровой* 211
Взятие редута. *Перевод Е. Лопыревой* 223
Таманго. *Перевод А. Тетеревниковой* 228
Этрусская ваза. *Перевод Д. Григоровича* 246
Партия в триктрак. *Перевод М. Кузмина* 267
Двойная ошибка. *Перевод М. Кузмина* 282
Души чистилища. *Перевод А. Смирнова* 338
Венера Илльская. *Перевод А. Смирнова* 392
Коломба. *Перевод В. Гаршина* 419
Арсена Гийо. *Перевод М. Лозинского* 534
Кармен. *Перевод М. Лозинского* 573
Аббат Обен. *Перевод М. Лозинского* 624
Голубая комната. *Перевод М. Кузмина* 637
Локис. *Перевод М. Кузмина* 650

Примечания *А. Михайлова* 689







БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 95

Проспер Мериме

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX
НОВЕЛЛЫ

*

Редактор М. Ваксмахер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Иллюстрации на суперобложке
С. Бродского

Портрет П. Мериме
В. Фаворского

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Заселяева

Корректоры
Р. Шунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 19/II 1968 г. Подписано к печати 3/VI 1968 г. Бумага типогр. № 1 форм. 60×84¹/₁₆ — 46 печ. л. = 42,92 усл. печ. л. 42,55 уч.-изд. л.+6 накидок+1 вкл.=43,33 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2408. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Подготовка форм к «Хронике царствования Карла IX» выполнена Ю. Стольцером

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28